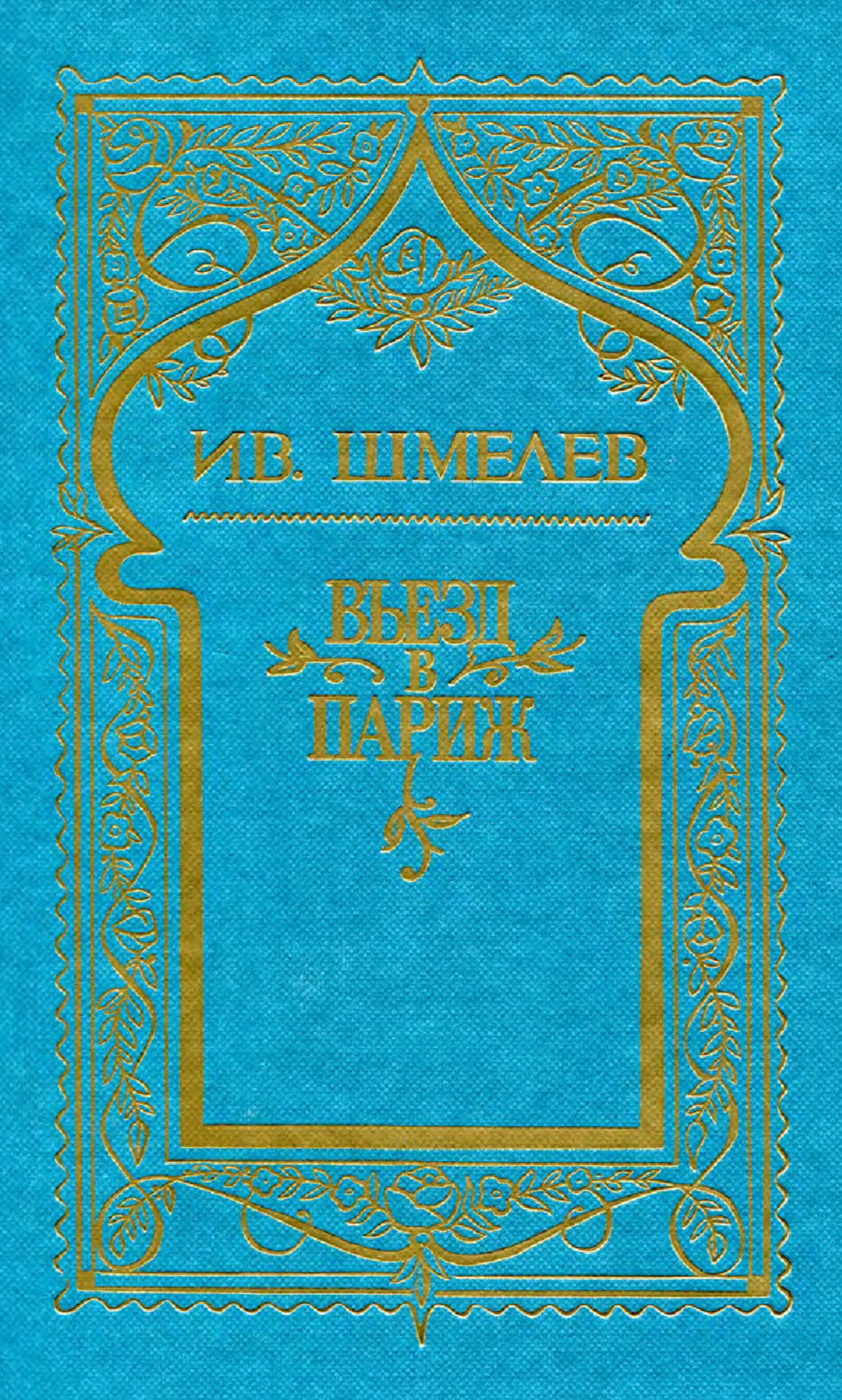
ИВ. ШМЕЛЕВ
ВЪЕЗД
В
ПАРИЖ

ИВ. ШМЕЛЕВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ВЪЕЗД В ПАРИЖ

РАССКАЗЫ
ВОСПОМИНАНИЯ
ПУБЛИЦИСТИКА

Москва
«РУССКАЯ КНИГА»
1998

УДК 882
ББК 84Р
Ш 72

Составитель и автор предисловия
Е. А. Осьминина

Разработка оформления
Ю. Ф. Алексеевой

Шрифтовое оформление
В. К. Серебрякова

Шмелев И. С.

Ш72 Собрание сочинений В 5 т Т 2 Въезд в Париж. Рассказы. Воспоминания. Публицистика – М Русская книга, 1998. – 512 с.

В настоящий том собрания сочинений И С Шмелева вошли рассказы и очерки, написанные им в эмиграции Среди них есть и хорошо известные российскому читателю проиэведения, и те, которые не публиковались в нашей стране

УДК 882
ББК 84Р

Ш $\frac{4702010000 - 006}{М - 105(03)98}$ **б/об.**

ISBN5 – 268 – 00136 – 1 – общ.
ISBN5 – 268 – 00213 – 9 – т. 2

«КРУШЕНИЕ КУМИРОВ»

Когда Иван Сергеевич Шмелев вернулся из Крыма весной 1922 года, друзья едва узнали его при встрече. И. А. Белоусов писал: «...вместо живого, подвижного и всегда бодрого, я встретил согнутого, седого, с отросшею бородой, разбитого человека. В Москве он несколько поправился, но страшно тосковал, что не может писать. «А писать хочется и есть о чем: сложилась повесть – «Черный Спас»!..» – говорил Шмелев. В 1923 году он уехал за границу, в Берлин»[1]. В действительности Шмелев уехал в самом конце 1922-го и Берлин, строго говоря, тогда не считался заграницей, а был скорее «третьей столицей» России: железный занавес еще не упал.

Нельзя сказать, что Берлин принес Шмелевым какое-то облегчение. «Дорогой Иван Алексеевич (это письмо Бунину. – *Е. О.*), после долгих хлопот и колебаний, – ибо без определенных целей, как путники в ветре, проходим мы с женой жизнь, – пристали мы в Берлине 13 (н. с.) ноября. Почему в Берлине? Для каких целей? Неизвестно. Где ни быть – все одно. Могли бы и в Персию, и в Японию, и в Патагонию. Когда душа мертва, а жизнь только известное состояние тел наших, тогда все равно. Могли бы уехать обратно хоть завтра. Мертвому все равно – колом или поленом <...>. Осталось во мне живое одно – наша литература, и в ней Вы, дорогой, теперь только Вы, от кого я корыстно жду наслаждения силою и красотой родного слова, что может и даст толчки к творчеству, что может заставить принять жизнь, жизнь для работы»[2].

---

[1] Белоусов И. А. Литературная среда // Никитинские субботники. М., 1928. С. 188.

[2] Шмелев И. С. Письмо И. А. Бунину, конец 1922 г. // Грин М. Устами Буниных. – Франкфурт-на-Майне: Посев, 1981. Т. 2. С. 100.

Вероятно, именно работа спасла Шмелева в это время от душевной болезни. По приезде в Париж в январе 1923 года (визу выхлопотал Бунин) Иван Сергеевич сразу включился в общественную жизнь эмиграции. Считая своим долгом рассказать миру о происшедшем в России, он пишет письма известнейшим западным писателям. Собственно, и его «Солнце мертвых», начатое в Париже и законченное в Грассе у Буниных, является также открытым письмом Европе, на которое действительно откликнулись Р. Роллан, Г. Гауптман, С. Лагерлёф, Р. Киплинг, К. Гамсун, Т. Манн.

Он выступает на публике: так, на вечере «Миссия русской эмиграции» в феврале 1924 года произносит речь «Душа Родины»; принимает участие в работе «Союза русских инвалидов»; сближается со многими военными; пишет воззвания и даже сам собирает пожертвования. (И будет заниматься этим практически до последних дней жизни. Русские инвалиды, белые офицеры, вероятно, были связаны для него с памятью о сыне.)

Наконец Шмелев включается в газетную полемику с бывшими деятелями Временного правительства, издававшими в эмиграции самые влиятельные газеты, например с П. Н. Милюковым («Последние новости»). Сам же печатается в конституционно-монархической «Русской газете» (из произведений, включенных в настоящий том, в ней публиковались статьи «Крестный подвиг», «Душа Родины», «Русское дело», «Убийство»), национальном «Возрождении» («Драгоценный металл», «Похоть» совести», «Вечный завет»), славянофильской «Россия и славянство» («Мученица Татьяна», «Душа Москвы»).

И конечно, пишет рассказы – любимый его жанр в двадцатые годы, – также сначала появлявшиеся в газетах – том же «Возрождении», «Руле», журналах «Перезвоны», «Современные записки», «Иллюстрированная Россия» и многих других. Потом Шмелев собрал их в несколько сборников – «Про одну старуху» (1927), «Свет Разума» (1928) – с одним и тем же подзаголовком «Новые рассказы о России»; «Въезд в Париж. Рассказы о России зарубежной» (1929); «Родное. Про нашу Россию. Воспоминания» (1931). Оттуда, а также из посмертных изданий «Избранных рассказов» (1955) и сборника «Душа Родины» (1967) взято по нескольку произведений для данного тома.

При всей этой бурной общественно-публицистической деятельности (элемент публицистики явно очевиден в рассказах) Шмелев остается вне какой-либо определенной политической группы или партии. Напротив, он считает партийную борьбу пагубной для русской эмиграции. Необходимо, по его мнению, «стать выше респуб-

ликанизма, монархизма, демократизма! Умирает мать, а дети спорят, в какой шляпе гулять ей пристало! Не любовь тут, а самовлюбленность! Каждый хочет своим средством ее спасти, пальцем не шевельнув...»[1]. Ту же точку зрения он излагает и в статье «Русское дело», и в заявлении по поводу Зарубежного съезда 1926 года, на который собрались «правые» партии эмиграции: «...во всем, что творится вокруг Зарубежного съезда, как раз и вижу – 1) нежелание найти именно Россию, а как раз желание искать какую-то СВОЮ Россию, т. е. никакую, и – 2) нежелание спорить о том, какой должна быть Россия, т. е. упорное желание идти к ней со всякими ПАРТИЙНЫМИ ПРОГРАММАМИ»[2].

Однако совершенно определенная «идеологическая» позиция у Шмелева была. Отчетливо прочитывающаяся по всем его произведениям, она коренным образом отличается от позиции дореволюционной. Испытав страшную личную трагедию, потеряв родину и сына, Иван Сергеевич пересмотрел былые идеалы, пережил «крушение кумиров» – как и многие русские эмигранты в двадцатые годы нашего столетия.

«Крушение кумиров» – речь известного религиозного философа С. Л. Франка, произнесенная им в Берлине в 1923 году и вскоре вышедшая отдельной книгой, на которую Шмелев откликнулся специальной рецензией. Сокрушенные кумиры русской интеллигенции: кумир революции, кумир политики, кумир культуры, кумир «нравственного идеализма» были свергнуты и для него. Впрочем, кумиром политики он, кажется, перестал обольщаться еще до революции. А вот остальные три кумира мы и рассмотрим здесь более подробно применительно к эмигрантскому творчеству писателя (не касаясь книги С. Л. Франка, хотя, в общем, можно говорить о совпадении их позиций).

Кумир революции... Тема революции и гражданской войны стала главной для всей русской литературы двадцатых – начала тридцатых годов. Писались на эту тему и объемные эпопеи: так, Шмелев задумывал чрезвычайно обширный роман «Солдаты» (1924 – 1933). Вероятно, тут не обошлось без влияния его новых «военных» друзей: генерала А. И. Деникина и капитана К. С. Попова, которые сами пишут в конце 1920-х годов книги очерков –

---

[1] Шмелев И. С. Письмо М. В. Вишняку от 14 октября 1925 г. // Вишняк М. В. Современные записки. – СПб.; Дюссельдорф: Голубой всадник, 1993. С. 132.

[2] Зарубежный съезд Заявление И. С. Шмелева // Возрождение. 1926. № 247. С. 5

соответственно «Офицеры» и «Гг. Офицеры». Шмелев бросил «Солдат», опубликовав всего несколько глав о начале века – материал был слишком велик по объему, сказалась и травля со стороны «левой» части эмиграции. Писались о революции им и романы – к ним можно отнести «Няню из Москвы»; и полудокументальные повествования – «Солнце мертвых»; и, конечно же, небольшие рассказы, в числе которых «Два Ивана», «Про одну старуху» (оба 1924), «Письмо молодого казака», «В ударном порядке» (1925), «Блаженные», «Чертов балаган» (1926), «Свет Разума», «Прогулка» (1927), «Крест», «Виноград» (1936), «Куликово Поле» (1939 – 1947). Некоторые из них имеют документальную основу. О рассказах «Про одну старуху» и «Куликово Поле» Шмелев писал: «Ни-когда я не БРАЛ с «рассказов»; только вот разве – в двух словах – как старуха прокляла сына, ездила за хлебом и умерла... Я создал «Про одну старуху». И тут – тоже, в двух скупых словах – «случаи». И все – как в связи с «потусторонним». Первый я дал «Глас в нощи». Второй будет «Куликово Поле»[1]. В других рассказах мы встретим знакомых героев: дьякон и учитель из «Двух Иванов» появляются и в «Свете Разума»; дьякон также упомянут в «Солнце мертвых», как и случай с убитой работницей фермы из «Крымских рассказов». Это подлинная история, связанная с жизнью писателя С. Н. Сергеева-Ценского, который и изображен под именем художника Пинькова (в Алуште Шмелев некоторое время жил у Ценского, а потом купил себе домик рядом с его дачей). Кроме крымских впечатлений мы найдем в его рассказах и «среднерусские». Шмелев стремился охватить взглядом как можно большее пространство и показать влияние революции на представителей самых разных классов и сословий: интеллигенции, купцов, мещан, военных, крестьян... Его мастерство «сказа» тут поистине неоценимо: речь от лица персонажа дает ощущение «человеческого документа», к чему, по всей видимости, он и стремился. Одновременно «сказ» позволяет ему показать душу героя как бы изнутри, в момент ее наивысшего потрясения. Потому что в центре шмелевских рассказов – русский человек в подлинно «пограничной ситуации» – на границе жизни и смерти – от голода или неминуемого расстрела. Сознание героя мутится: он не чувствует времени и не ощущает пространства – «Каменный век» (1924), «Туман» (1928), «На пеньках» (1924), «Тени дней» (1926). Смертный ужас затопляет душу героя, вынося на поверхность самое сокровенное. «Со времен Достоевско-

---

[1] Шмелев И. С. Письмо Р. Г. Зоммеринг от 28 апреля 1937 г. – Цит. по: Келер Л. И. С. Шмелев о себе и о других // Русская литература в эмиграции / Под. ред Н. Полторацкого – Питтсбург, 1972. С. 238.

го никто в европейской литературе не проникал в ночную область человеческого духа смелее Шмелева, никто не выявлял в ней таких мрачных глубин»[1], – восторгался А. В. Амфитеатров.

Но как бы хаотично, ужасно и фантастично ни было все вокруг, как бы ни был потрясен герой, как бы ни развивались события – в рассказах Шмелева всегда ясен смысл происходящего. Ясно, где добро и где зло – в ярком и беспощадном свете разума. Это не Ремизов, у которого все взвихренно, расплывчато и сама революция оценивается неоднозначно. Шмелев ближе Бунину и мог бы, вероятно, подписаться под словами Ивана Алексеевича: «Вообще, теперь самое страшное, самое ужасное и позорное даже не сами ужасы и позоры, а то, что надо объяснять их, спорить о том, хороши они или дурны»[2]. Не зря Шмелев и Бунин посвящают друг другу рассказы: сейчас они почти единомышленники. Для Шмелева также однозначно: Зло есть Зло и никогда Добром стать не может.

А революция и есть такое Зло. Произвол, убийство, беззаконие. Причем не только Октябрьская социалистическая: «...большевизм – следствие Февральской революции с ее деятелями, – вот что понимает Шмелев. – Пришла шайка существ злой и развратной воли и, прикрывшись «народным волеизъявлением», сумела ОБМАНОМ, СТРАХОМ И ПОТАКАНИЕМ ВСЕМУ НИЗМЕННОМУ, ЧТО ЕСТЬ В ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ, НАДЕТЬ НА ЛИШЕННЫЙ ВОЖДЕЙ НАРОД ПОЗОРНЕЙШЕЕ ЯРМО»[3].

В критике в это время писатель приобретает репутацию непримиримого. Литературовед Н. К. Кульман пишет о нем: «Ни один из русских современных писателей не вскрыл с такой убедительностью реальное и метафизическое зло большевизма, хотя почти все в той или иной форме уделили ему внимание»[4]. Образ такого Шмелева мы найдем и в стихах Лоло (Л. Г. Мунштейна):

Тебя мы лаврами венчали
В былые дни – в родном краю,
Теперь ты стал певцом печали,
Борцом за родину свою.
Живое, пламенное слово

---

[1] Амфитеатров А. В. Шмелев и «Мэри» // Возрождение. 1928. 18 дек. С. 3 – 4.

[2] Бунин И. А. Окаянные дни. – М.: Сов. писатель, 1990. С. 88 – 89.

[3] И. С. Шмелев о революции // Шмелев И. С. Душа Родины. – Париж, 1967. С. 191.

[4] Кульман Н. К. Про нашу Россию // Россия и славянство. 1930. 1 марта. № 66. С. 3.

Как «Солнце мертвых» жгет сердца.
Пусть не иссякнет до конца
Святая ненависть Шмелева[1].

Но эта «святая ненависть» вовсе не была слепой ненавистью. Шмелев много думал о корнях революции, ее причинах и происхождении И свергнул следующий кумир – кумир культуры, причем культуры западной.

Здесь хотелось бы сделать отступление и во избежание недоразумений сказать несколько слов вообще об отношении Шмелева к Западу, его культуре и цивилизации.

Немецкий язык Иван Сергеевич знал с детства, французский начал учить в Крыму. Читал в подлиннике Пруста (который ему не понравился), беседовал с Томасом Манном. Оказавшись в Париже, любовался городом и парижанами с добродушной усмешкой. Писал И. А. Белоусову:

«Вообще народ приятный, очень неглупый и аккуратный. Каждый купил на Пасху шоколадного зайчика и четверку ветчины, и все очень успешно танцевали тустеп. Каждый счел долгом уехать за город, а кто не мог уехать, то делал вид, что уже уехал: спускал жалюзи и сидел во тьме – уехал! А то неприлично. Каштаны распустились в свое время, не считаясь с политич<еским> барометром, и консьержка напротив моих окон юлит от весны. Умею говорить по-французски. Езжу под землей и прохожу по Елис<ейским> Полям без страха. Тени Великих со мной ходят. Нотр-Дам Вам кланяется, а старик Пантеон сочувственно жмет руку. Иногда я останавливаюсь где-нибудь в густом месте, на площади Этуали или Конкорд или у Бастилии бывшей – и спрашиваю себя, из какого это романа. В первый день Парижа повез меня наш славный поэт тезка (вероятно, Бунин. – *Е. О.*) в такси-автомобильчике – по огненно-зеркальному авеню к площадям. Шехерезада и ничего не пойму. И уже когда поздно ночью пригубил я немножко – постиг, что я в Париже. И теперь еще стоишь перед Инвалидами или на мосту Алекс<андра> III... да куда я попал! Мне бы теперь по дрова ходить, или на Сухаревке дровами торговать, а тут Париж огнями голову кружит»[2].

---

[1] Л о л о (Л. Г Мунштейн). Братьям писателям // Иллюстрированная Россия. 1929 № 5

[2] Ш м е л е в И С. Письмо И А Белоусову от 13 апреля 1923 г – РГАЛИ, ф. 66, оп. 1, ед. хр 1044.

Насколько другие описания мы встретим в его рассказах! Даже красоты города во «Въезде в Париж» (1925), например, производят отталкивающее впечатление. Все слишком тяжелое, каменное, «материальное» (точно такое же – в одном из очерков А. И. Деникина «Офицеры» – «Стальные сапожки»). Из рассказа в рассказ повторяются устойчивые образы и символы: шофер, лакей, кровь, пожар; эпитеты: мясное, плотское, бычье. Мы встретим их и в рассказах, и в публицистике, и в отвлеченных рассуждениях из частных писем: «...шоффер да «лакей» в мире хозяйничают и все завоняли бензином и курячьим духом. У Чехова, помните: «от тебя, брат, курицей пахнет». А тут еще и кровью все залито»[1].

Шмелев не любит теоретических рассуждений, предпочитая, как истинный художник, выговаривать мысль в образах. Но эти образы очень легко «расшифровываются» с помощью книг его единомышленников-философов. Как правило, он сам где-либо на них указывает. Так, в его дневнике мы найдем заметки о статье С. Н. Булгакова «Две встречи», которая прекрасно «комментирует» и объясняет шмелевский взгляд на европейское понятие красоты. Булгаков разбирает живопись Ренессанса и видит в ней торжество человеческого, земного, «мистическое обмирщвление», «торжество языческого мироощущения, жертвою, а вместе и орудием которого сделались деятели Ренессанса»: «И какая прямая дорога отсюда, чрез это открывается в «новое время» с его пустотой и падением»[2].

А говоря об образах шофера, машины, камня, следует вспомнить работы ближайшего друга Шмелева И. А. Ильина. В статье «Бессердечная культура», построенной так же, как шмелевские «Два письма», он размышляет: «Под многовековым влиянием языческого, а потом католического Рима люди культивировали ВОЛЮ и МЫШЛЕНИЕ <...> западноевропейская культура сооружена как бы из КАМНЯ и ЛЬДА. Здесь религия, искусства и наука (за немногими, гениальными исключениями!) холодны; а политика, техника, хозяйство и деловой оборот – жестки и суровы и вменяют себе эту жестокость в великую заслугу <...> Поэтому эти судорожные спазмы современной культуры, – революции, гражданские и международные войны, – не случайны: они суть естественные выражения сердечной жестокости, алчности, зависти и ненависти»[3].

---

[1] Шмелев И. С. Письмо М. А. Карнеевой от 22 февраля 1924 г. – ОР РГБ, ф. 358, к. 413, ед. хр. 42.

[2] Цит. по: Булгаков С. Н. Сочинения: В 2 т. – М.: Наука, 1993 Т 2 С. 634. Заметки Шмелева о статье в кн.: Шмелев И С. Свет вечный. – Париж, 1968. С. 350.

[3] Ильин И. А. Путь к очевидности. – Мюнхен, 1967. С. 6, 7, 8

Шмелев также считает идею революции – западной идеей («Виноград»), обвиняя русскую интеллигенцию, что она принесла эту идею в Россию. И парадоксальным образом сближает Париж и «Москву в позоре», богатых иностранцев и красных комиссаров – «На пеньках», цикл «Сидя на берегу» (1925). Кумир революции, обрушившись, повлек за собой и крушение кумира культуры.

Но этой, привычной нам западной культуре писатель противопоставляет культуру иную. Русскую, национальную, православную. Это противопоставление присутствует во многих рассказах и составляет основу цикла «Сидя на берегу». С этого цикла и начинается обращение Шмелева к прежней России, России православной.

Горячая, искренняя вера заменила прежний «нравственный идеализм» Шмелева – таков итог свержения последнего кумира. Но говорить об этом труднее всего. Что решающим образом повлияло на обращение Шмелева? Потеря сына? Мучительные раздумья о судьбе России? Страшный опыт «роковых минут» мира? Мы можем констатировать только свершившиеся изменения в его мировоззрении и творчестве.

Итак, уже работая над циклом «Сидя на берегу», Шмелев писал П. Б. Струве, редактору «Возрождения», где часто публиковался: «В записях и в памяти есть много кусков, – они к<ак>-ниб<удь> свяжутся книгой (в параллель «Солнцу мертвых»). М<ожет> б<ыть> эта книга будет – «Солнцем живых» – это для меня, конечно. В прошлом у всех нас, в России, было много ЖИВОГО и подлинно светлого, что, б<ыть> м<ожет>, навсегда утрачено. Но оно БЫЛО. Животворящее, проявление Духа Жива, что, убитое, своей смертью воистину должно попрать смерть. Оно жило – и живет доныне – как росток в терне, ждет...»[1] В публицистике Шмелева размышления о православии как «душе Родины» появляются еще раньше.

И постепенно «Россия православная» заслоняет в творчестве писателя образ «России красной». «Крымский цикл» заменяется «замоскворецким». Уже в сборник «Свет Разума» Шмелев включает рассказ о далеком светлом – «Весенний плеск» (1925), который можно считать как бы прелюдией к «Лету Господню». Создает он и переходный цикл – не о религиозном детстве, а о колеблющейся юности, куда вместе с романом «История любовная» (1926 – 1927)

---

[1] Шмелев И С. Письмо П. Б. Струве от 27 мая 1925 г. – Цит. по: Струве Г. Из переписки И. С. Шмелева с П. Б. Струве и К. И. Зайцевым // Мосты. 1958. № 1. С. 401.

можно отнести рассказы, собранные в сборник «Родное»: «Как мы открывали Пушкина» (1926), «Веселый ветер», «Как я узнавал Толстого» (1927), «Как я стал писателем» (1929 – 1930). И в сборник «Избранных рассказов»: «Как я встречался с Чеховым», «Как я покорил немца» (1934), были у Шмелева и другие рассказы об отрочестве.

Вероятно, по «времени изображения» к этим рассказам можно отнести и «Старый Валаам» (1936), заново написанный по первой юношеской книге «На скалах Валаама». Экземпляр книги привез ему писатель Б К. Зайцев из самого монастыря, куда ездил в 1935 году. Благодарный Шмелев откликнулся письмом:

«В Коневском скиту говели?! По-мню... озерко, дождик, и в сарайчике схимонах Сисой с чернобородым монашком (л<ет> 45 – 50) и лучок очищает от ботвы. Рассказал мне про птицу-гагару... Схим<онах> Федот... не тот ли черный монах? Ему теперь д<олжно> б<ыть> лет под 80. Именно – во пустыне были Вы <...> Хотел бы, перед недалеким концом, окинуть взором беглым все, на что молодые глаза смотрели безмятежно, юные глаза... Сколько было после.! И – для чего пережито?! Нет, лучше, пожалуй, и не «окидывать» – взроешь душу»[1].

Но «по духу» «Старый Валаам» ближе уже к более поздним вещам Шмелева – «Богомолью» и «Лету Господню». Так же, как и в этих романах, Иван Сергеевич описывает в книге церковные обряды, в данном случае – монастырские. Объясняет, «что значит «благословение», как положено отвечать на «входную молитву», каков чин монастырской трапезы, в чем суть отшельничества, иконописания и др.»[2]. Начиная с 1930-х годов, писатель интересуется монастырской темой: в 1936 году едет в Псково-Печерский монастырь (очерк «Рубеж» написан по впечатлениям поездки), в 1937 – 1938-м – в обитель преподобного Иова Печерского в Карпатах, где был издан «Старый Валаам».

Сближают книгу с поздними вещами и размышления героев: о спасении души, о воспитании воли, о чудесах, о смерти, о молитве. Это уже тот Шмелев, который мог писать племяннице в 1948 году:

---

[1] Шмелев И С Письмо Б К Зайцеву (без даты) – РГАЛИ, ф 1623, оп. 2, ед хр 7

[2] Любомудров А М Православное монашество в творчестве и судьбе И. С Шмелева // Христианство и русская литература – СПб· Наука, 1994 С. 383. Обращаем внимание на еще одну работу этого исследователя, которую мы не могли по техническим обстоятельствам издания указать в 5-м томе настоящего собрания сочинений. Любомудров А. М Оптинские источники романа И С Шмелева «Пути небесные» // Русская литература. 1993 № 3

«Милая моя, держись молитвой! Все мы – в испытаниях. Надо переносить, вытерпливать. Такой удел – назначенный, – м<ожет> б<ыть> избранным: закалка! Помни о Христе, о его заповедях блаженства. <...> Не отчаивайся. Мы часто не понимаем: что для нас РАНА, и что – лишь царапина!?»[1] Это тот Шмелев, который чувствует незримо присутствие мира иного. Тот, который все-таки «окинул взглядом» свое прошлое – подвел итог былым заблуждениям (обратим внимание на перекличку слов из письма Б. К. Зайцеву со строками очерка «У старца Варнавы»):

«Валаам прошел виденьем: богомольцы, люди, плеск Ладоги, гранитные кресты, скиты, молчальники и схимонахи... Кельи в густых лесах, гагара-птица на глухом озерке, схимонах Сысой с гагарой-птицей... – «все во Христе, родимый... и гагара-птица во Христе...» – олени на дорогах, как свои... в полночный час за дверью – «время пе-нию... моли-тве ча-а-ас!..» – блеск белоснежный храма, лазурь и золото над небом, над лесом, жития... и написалась книга, ПУТЬ открылся. Батюшка-Варнава БЛАГОСЛОВИЛ «на путь». Дал КРЕСТИК и благословил. КРЕСТИК – и страдания, и радость. Так и верю»[2].

Сокрушив былые кумиры, Шмелев действительно обрел «и страдания, и радость» на своем жизненном пути. И светлый образ о. Варнавы Гефсиманского, когда-то благословившего писателя, витает над ним. С посещения Валаамского монастыря этот путь начался. Закончился он в православной обители Покрова Пресвятой Богородицы под Парижем 24 июня 1950 года. Это был день памяти Святых апостолов Варфоломея и Варнавы.

Елена Осьминина

---

[1] Шмелев И. С. Письмо Ю. А. Кутыриной от 1948 г. (дата неразб.). Архив Музея И. С. Шмелева в Крыму

[2] Шмелев И. С. У старца Варнавы // Шмелев И. С. Избранные рассказы. – Нью-Йорк: Изд-во им Чехова, 1955. С. 157.

НОВЫЕ
РАССКАЗЫ
О
РОССИИ

ПРО ОДНУ СТАРУХУ

I

...Как мы с ней тогда на постоялом ночевали, она мне про свое все жалилась. Да и после много было разговору...

В то лето я по всяким местам излазил, не поверишь... Да тифу этого добивался... а он от меня бегал! Кругом вот валятся – а не постигает! Самовольно с собой распорядиться совесть не дозволяла, так на волю Божию положил... Да, видно, рано еще... не допито. Потом один мне монах в Борисоглебске объяснил: «Два раза Господь тебя от смерти чудесно сохранил – вот ты и должен помнить, а не противляться! А за свою настойчивость обязательно бы своего добился, каждому дана свобода, да, значит, раньше уж сыпняк у тебя был, застраховал!..»

В самую эпидемию ложился, в огонь!.. И где я не гонял тогда, с места на место, как вот собака чумелая! А думают – спекулянт, дела крутит... Правда, многие меня знавали, как, бывало, дела вертел... а теперь, один как перст, гнездо разорено... По России теперь таких!.. Какие превращения видал... – не поверишь, что у человека в душе быть может: и на добро, и на зло. А то все закрыто было. Бо-льшое перевращение... на край взошли!..

Так вот, про старуху... А про себя лучше не ворошить.

Из Волокуш она, Любимовского уезда, за Костромой... а я-то ярославский, будто и земляки. Да в каждой губернии таких старух найдется. Ну, от войны да смуты ей, пожалуй что, всех тяжелей досталось. Махонькая была, сухенькая, а одна ломила – и по дому, и в поле. Легкая была на ногу, кость да жилка, и годов уж за шестьдесят. Невестка неделями от спины валялась, трое ребятишек, мелочь, – все на одной старухе. И характером настойчивая была, сурьезная. Сын, Никешка, спьяну побьет когда... – да чтобы она соседям!.. Поплачет перед печкой с чугунками – слезой-то и вытекет. И

жену-то он доконал, побил шибко на масленой, у кума из-за блинов скандал затеял да в полынью с санями и угодил... привез полумертвую – на въезде и бросил, в казенку занадобилось. Калекой с того и стала.

Как старуху-то я за Тамбовом встретил – совсем уж и не узнать, шибко заслабела, и в голове уж непорядки, от расстройки. Да и все... – спокою ни у кого нет. Про себя скажу: во скольких уж я делах кружился и все в голове, бывало, держу... а с семнадцатого года стал путать. А как два раза пистолет приставляли, и гнездо все наше!.. Ну, сурьезная была старуха, горбом возила. К господам Смирновым на поденщину бегала – полы помыть, пополоть, на сенокос там... У господ Смирновых делянки снимал я прежде... – имение какое было, сколько народу от них кормилось!.. – ну, деревню ее хорошо знаю, Волокуши, – округ по лесам работали. И на маслобойку гоняла, посуду мыть, – там ей снятым молочком платили, а она творожком внучат питала, – и грибы грибникам сушила, и на патошном картошку корзинами таскала, а ей патокой выплачивали... И патошников хорошо знал, Сараевых, царство небесное... – товар у них брал, глюкозу, в Иваново на красильни ставил... Как все налажено-то было, спокон веку!.. Ну, сказать, неправда была... а все будто и утряхивалось, коромысло-то ходило, и у каждого надежда – Господь сыщет... Ну, а где правда-то настоящая, в каких государствах, я вас спрошу?! Не в законе правда, а в человеке. Т е п е р ь вот правда!..

При сыне волом работала, а как Никешку на войну забрали, все на нее и свалилось. Сумела обернуться, паек солдатский исхлопотала, надел сдала, огород да покос оставила, лошадку удержала – картошку на патошный возить. И еще туфли, чуни, плела на лазареты. Эти чуни, скажу вам, по тем местам я распространил, со Звенигородского уезду, – многие кормиться стали, поправились. Ну, и она плела, по ночам, глаза продавала. А сын раз всего только и написал, как в госпитале лежал, – сулился домой с гостинцами. Свое помню: мои двое... прапорщики были, скорого обучения... – месяц, бывало, письма не получаешь и то надумаешься!.. А жили мы в достатке, и домик в Ярославле, и в Череповце мучное дело налажено, – и то какое беспокойство! А тут одна старуха, за все про все. Так и не показался. Справки ей Смирновы наводили, – ответили так, что в плену. А потом товарищ его в дом писал, что убит в бою, – через год уже. Ну, поплакала – и опять, крутись...

А тут и пошло самое-то крутило, смута... Господ Смирновых описали в комитет, выдали старухе пять пудов ржи, да хомут еще, да зеркало. Просила корову, на сирот, а ей – телка! Понятно, ей обидно, плакалась: «Куды мне хомут, у меня свой хомут!..»

«А ты не завиствуй, – говорят, – мы тебе зеркало какое дали, всего увидишь!»

Вот и поговори. А чего старуха может!

«У меня, – говорит, – кормильца убили...»

«Ну что ж, что убили... такую уж присягу принимал!..»

Все и разговоры.

А как стали тащить-то, комбедные-то эти как пошли вертеть, – опять старуху отшили: пожаловали ведерко патки, с сараевского заводу, да овцу. А на патошном восемнадцать коров было, глядеть страшно! Слышит старуха – бабенке одной пегую определили, а бабенка молодая, вдовая, без детей, с Ленькой она гуляла, с куманистом главным... Старик один так их величал, очень значительно! Кума-нисты... Ну, понятно, обидно: гулящей кобыле корову дали, а на сирот – овцу! Вот и пошла старуха к Леньке Астапову. Рассукин-то сукин был!.. Я его самолично за виски трепал, как он у меня струмент унес, – лес мы тогда сводили. Знала, понятно, и старуха, какой сукин сын-вор был, и мужики сколько его лупили... ну, а все, думается, совести-то, может, у него осталось... А дело такое было... это тоже знать нужно.

С войны он загодя еще сбег и у смирновского лесника укрывался... – он потом того лесника на расстрел присудил, в город угнали, что уж там – неизвестно. Будто народный лес продавал! Во какой, су-кин сын! Ходила старуха по грибы да на Леньку в чащах и напоролась!.. Заяви она кому следует – сейчас бы его полевым судом, как дизелтир!.. Ну, он ее, конечно, застращал: спалю! Да еще магарычу с нее затребовал, – махорки да самогону принеси, а то обязательно спалю! Въелся в ее, как клещ! Ну, напугалась, доставила ему, глупая... а он будто еще и нехорошо с ней сделал... В лесу чего кто увидит! А лесник-то про все его подвиги потом рассказывал. Во какой, су-кин сын!..

Ну, пошла она к Леньке... – а уж он так тогда поднялся – шапку, смотри, держи! Все полномочии ему, коту, от ихней власти, сам все делил-теребил по именьям да заводам и всякие пустые слова умел, без пути городит... Такого-то образования в остроге сколько угодно, – дери-крой! Ну, приходит к нему в волость, в победный их комитет... – а прозывается бе-дный! – про обиду свою уж и не вспоминает, – нужда-то уж все стирает, – в ноги им повалилась: «Призрите на сироток... ваше благородие!»

Во-от как! Она мне сама всю эту историю рассказывала, слушать неприятно. И было это для нее как знак судьбы... По народу бы теперь походить-послушать... – поймешь, какая это тайна – жизнь, чего показывает... Я так соображаю, что либо народу гибель, либо, если выбьется из этой заразы, должен обязательно просветлеть: всех посетил Господь гне-

вом. Ну, пала перед ним: «Вовсе уж помираем, оголодали... заработать негде, сами знаете, все казенное стало... Хоть самую плохонькую коровчонку определите, с патошного-то, по вашему закону!..»

«Нет у нас плохоньких, – все первый сорт!»

Ну, в легкий час угодила. Сначала было заломался:

«А ты кто такая?.. что я вас, гражданка, не по-мню!..»

Ну, объяснила: «Да Пигачовы-то мы, сироты... с Волокуш, крайний двор?..»

Признал. Надел шапку свою баранью, со звездой, палец поднял: «Пиши ей, – подручному своему адъютанту, Ваське... своякову сыну старухину, – пиши ей мандат по моему указу, что вот по ее бедности от народной власти определяю от кулаков-кровопийц Сараевых с завода корову... Как твое фамилие?..»

Старуха говорит опять: «Да, чай, сами знаете... Пигачовы мы...»

«Мало чего, – говорит, – знаю, а мне требуется!»

Ну, форсу напустил. Имя как?.. Мнительно уж тут ей стало – допрос такой строгий, и все записывают? Думаться стало – не смеются ли уж над ней... Тут он ей и присудил: «За твою верность нашей власти даю тебе корову! Можете выбирать любую!»

У ней и ноги ушли, – не ждала! Сейчас ее на завод, – выбирай! Тут она прямо заробела. Я сараевских коров очень хорошо знал, – одна к одной, не коровы, а го-ры! По четыре сотенки были, как слоны! А сами знаете, какие у мужиков коровенки... – коза! А семеро еще коров стояло. Как увида-ла... – стоят горами, не подойдешь! И уж сдали, понятно, от ихнего ухода, а огромадные. На цепях, на каждой бляха с кличкой, с номером... А Ленька над ней куражится: «Выбирайте, гражданка Пигачова, какая на вас смотрит... Властью народной приказываю тебе – выбирай! Мандат тебе от меня на вечное владение...»

А оне все, будто одинаки, – до чего огромадные! И страшно-то ей, и бедность-то одолела... – а тут такое счастье, не передохнешь! А он-то ее дурачит, ломается: «Желаете эту, самую огромадную... первая самая корова?! Ради твоей бедности... и пущай все знают, как мы...»

И действительно, ведет к ней невиданную корову, сам ее помню, голанской породы, черно-белая, пегая, рожки, правда, не очень велики, а лик строгий... Потому я помню, что у Сараевых ее торговал, только не продали. Ведерная корова была, по пятому телку. Старуха в ноги упала, уж и себя не помнит, – и крестится-то, и плачет... Первую ведь коровку за всю-то жизнь заводит... – бедно уж очень жили. И как раз под масть, черная с белым, в хозяина-покойника...

«Может, – говорит, – смеешься?..»

Ну, не верит! А он над ней командует-мудрует, как... главнокомандующий какой: «От моего имени, полномочие по дикрету! Веди смело, никто не имеет права отобрать!.. У нас строго».

Вывели ей корову на дорогу, поставили.

«Постерегите, кормильцы... – говорит, – к куме забегу на минутку, богословлюсь...»

Ну, тут же оборотилась, с вербочкой со святой бежит – крестится, платок съехал... Те гогочут, народ высыпал, смотрит... а старуха уж ничего не видит, не слышит, – погнала в Волокуши, домой к себе. Бежит – ног под собой не чует. Четыре версты простегала – не видала. А корова идет строго, шаг у ней мерный, бочища... – старуха близко и подойти опасается. То с краю забежит, то с головы оглянет. Морда страшенная, ноздри в кулак, подгрудок до земли, ну и вымя... котел артельный!.. а глаза... – во какие, строгие, глядеть страшно, будто чего сказать могут! Тогда еще ей, старухе-то, будто чего-то в сердце толкнуло... Подогнала к Волокушам, – место глухое, елки... – ка-ак она затрубиит!.. – по лесу-то как громом прокатило! Глазища на старуху уставила, прямо – в нее мычит, жаром дышит, ноздрями перебирает-сопит, страшно старухе стало. А зимой дело было, уж заполдни. Народ по избам, старухин-то двор с краю, – никто этого дела не знает. Снег да лес, да она с коровой страшенной этой. Ну, ворота отворила, загонять... А та не желает в ворота... непривышная, понятно, к такому постою да и пуганая, что ли... петуха пугается! Рогом на петуха, бодаться-брыкаться... никак в ворота не хочет! Измаялась с ней старуха, смокла. А невестка пластом лежит, неможет. Ребятишки повыскакали, – виз-жать... А та еще пуще упрямится, хвостом стегает, к дороге воротит, в снегу увязла... Прыгала-прыгала за ней старуха, валенок утопила, задвохнулась... – никак! И плачет, и закрещивает:

«Красавка-Красавка... Господи Сусе, помоги...»

Никак. Стоит – снег обнюхивает – сопит, боками водит... Покликала уж старуха соседа... Старик бе-довый был, завиствовал, что патошники, бывало, ей помогали. Ну, вышел, – бобыль он был. Рада уж старуха, что народу-то никого, еще не прознали, – деревня-то лесовая, в один порядок... И уж так-то ей хотелось корову во двор поскорей втащить, – народ-то ненавиствует, испортют еще с дурного глазу...

Ну, старик, как водится, – корову принимать, помогать... Старуха корочку ей сует, – нет! так морду прочь и воротит. Стал старик веником ее кропить-осенять, окрещивает-махает... А она к этому обычаю, пожалуй, непривышна, – пуще напугалась! Задом бить принялась – так снег и поле-

тел! Как старуха ни исхитрялась – голову-то ей в ворота направить, – никак! Да еще рогами норовит... А тот все веником! Старуха уж стала ему кричать: «Не пужай веником... нескладный!..»

А он ей свои резоны: «Я, – кричит, – ее не пужаю!.. А коль она намоленой воды пужается... уж не от меня это, а чего-то ее не допущает!..»

Заганул ей... А она уж и допрежде заробела-надумалась..

«Да чего ж, – говорит, – не пущает-то... Господи Сусе?..»

«Ну, уж это нам неизвестно, а... Господь уж, значит, не богословляет...»

А сам на нее глядит, будто чего и знает!

«И масть-то вон у ней такая... гробовая!.. Да ты, – говорит, – сама-то на глаза-то ей погляди... ну?!. каки глаза-то у ей?!. а?! Сле-зы у ей на глазах-то... с чего такое?!..»

Действительно... на глазах-то, глядит, слезы!.. И такое воспаление, в глазах-то, – ну, кровь живая!.. Совсем заробела тут старуха...

«Да с чего ж т а к о е у ей... сле-зы-то?!.»

А он ее опять тревожит: «Ну... нам это неизвестно, чего там она чует... а знак от ее имеется!.. Ну, ладно, – говорит, – скажу тебе, только никому, смотри, не сказывай до время... а то нас с тобой заканителют...»

Тут он ей и открыл глаза!

«Кро-овь на ней, потому! Обеих патошников... и Миколай Иваныча, и Степан Иваныча... убил Ленька!.. в лесу вчера расстрелял! Прибегал с час тому Серега Пухов, от кума... шепнул!.. За дровами ездил, сам видал... – обеи лежат в овражке, за болотцом, снежком запорошило... По приказу ихнему убил и печать приложил, по телехвону! Тебе-то, понятно, не сказывают, а мне-то уж известно!..»

Так старуха и села в снег! А Бедовый – его и по деревне так величали, хорошо его знаю... яд-мужик!.. – пуще ее дробит: «Ну, и дал тебе на сирот Ленька-сволота не молочко, а кровь человеческую!.. коровка-то вот и чует, – слезы-то у ей к чему... Чего она тебе в дом-то принесет?! Го-ре!!.. Господь-то и предостерегает, от греху-то! Хрещенской воде силу не дает... когда это видано?!»

Так и отшил старуху, застращал. А она была божественная, хорошей жизни. А тут уж и народ, прознали, со дворов набегли, пуще ее дробят...

«Это он насмех ей... с себя отвести желает, путает... И чего только, окоянные, удумают!.. Сирот еще хотят пугать, несмышленых!..»

Да как принялись все корову дознавать – всего в ней и досмотрели! И глаза будто не коровьи, а... как у чиродея! И молоко-то теперь кровью у ней пойдет... и бочищи-то вон как раздуло!.. – чего ни на есть – а в ней есть! А корова на-

рода напугалась – пуще мотается! да как опять затруби-ит... – так и шарахнулись!

«Ма-тушки... во, мык-то у ней!.. только что не скажет!.. – как принялись тут бабы разбираться!.. – в елках-то как ходит... позывает... жуть!..»

И в одно слово все: «И ей уж не жить, посохнет от такого греха... и человеку через ее... го-ре задавит!..»

Да так настращали старуху, что и самим жуть, страшно стало.

«Теперь от ее на всех прокинется, не отчураешься! В Потемкине тоже вон коров делили... да там барин хоть своей смертью кончился... и то бык чего начертил, троих мужиков изломал, а намедни все и погорели... А тут... да тут и не развяжешься!.. в глазах у ней кровь стоит!..»

А старуха с перепугу плачет, руками от себя отводит...

«Да пущай... горе наше сиротское... – в голос прямо кричит, – пущай лучше сироты никогда молочка не увидят... ни в жись не приму т а к о е!..? А сама-то разливается!.. – Еще давеча мне чегой-то толкануло... Сараевы-покойники все мне, бывалычка, на сирот чего помогали, а тут... да Господь с ней!..»

И погнала старуха корову в волость. Пошла корова, как обмоленная, – диву дались!

«Во, пошла-то... гляди, хо-дом!!.. – кричат вдогон. – Господь-то как!.. Теперь пусти ее... она прямо к им наведет, к овражку... очень слободно!..»

Пригнала старуха корову в волость, к ночи уж... Ленька как раз на коне ей встрелся, – за спиной ружье, у боку пистолет. Известно, пьяный. Велел подручному своему дознать, какого ей еще рожна надо? Ну, сказала своякову сыну, – ненадобна ей корова! Ленька на дыбы, в обиду: почему мандату не покоряется, дара от него не желает принимать? А та – ничего не скажу, а не нужна. Он на нее – с конем!..

«Чего, такая-сякая, брезговаешь моей коровой?!»

Тут она ему намек подала: «Коль так не понимаешь, – скажу. Пускай мне корову при хозяевах отдадут, при Сараевых! Вели их привести, они третий день в заводе заперты... тогда приму!»

«А не хочешь?.. – обложил ее всякими словами. – Кончились твои хозяева, теперь мы хозяева!.. А коровьего счастья не желаешь... – так вот тебе мой дикрет: всей бедноте от меня порция, а старухе ни хе-ра!»

Да – бац!.. – и положил корову из пистолета в ухо!

Рухнула корова на все четыре ноги, а старуха от них пустилась... – чисто ветром ее несло! А уж совсем темно стало. Мчит – ни зги не видать, дороги не слыхать... – и такой-то страх на нее напал, – ужас! Гонит будто за ней корова страшенная-гробовая... в спину ей храпит-дышит, жгет... А в ухо ей голос, голос: «Го-ре задавит!.. не быть живу!..»

Добежала до Волокуш – себя не помнит. А ей все чудится, – трубит по лесу, зычит-показывает!.. Вскочила в избу, на печь прямо забилась... А уж все спят, жуть... А корова будто и на печь к ней мордой страшной заглядывает, сопит-дышит!..

До бел-света глаз не могла сомкнуть старуха, – всю ночь проплакала-продрожала.

С того случая, через корову эту, она уж совсем заслабла. Сама сознавалась мне... Тоска напала, сердце сосет, – места себе найти не может... – будто чего случится!.. В пролубь головой хотела, только вот сирот жалко.

А жизнь прямо каторжная пошла. Не пошло впрок чужое, да и его-то не шибко оказалось. Грабежи да поборы. А там и до церкви Божией добрались, ризу серебряную с Боголюбской сняли, увезли, – будто на голодающих. А кругом свои голодающие, – никто ничего не понимает. Только уж под жабры когда прихватило, – тогда поняли... – жуликам пошло счастье! Ленька, понятно, недолго поцарствовал, – свои же мужики пришили, устерегли. А неурожай другой год, ни у кого хлеба не осталось. Урожай – неурожай, а и м все подай, – до мужика добрались. А глотку не разевай, а то свинцовая примочка имеется, аптеки-то ихние известны, не забалуешь!.. Это тебе не податной инспектор, рассрочки-то...

Ну, вертелась-вертелась старуха на мякине... – телка давно проели, и овечку проели, полушубок Никешкин тоже за хлеб ушел, а заработков никаких ни у кого. Стали мужики за хлебом по чужим местам ездить, на Волгу да за Тамбов... Пошел разговор, что хлеба там горы, с царских годов лежат непочаты, а мужики там богатые, дают хлебом за ситчик да за одежу. Которые ездили – привозили. А то и безо всего, случалось, ворочались, страсти рассказывали: народ поморить хотят, землю для себя готовят... Стоят по местам заграды, хлеб у народа отымают, от правов отучают! Такой уж у н и х закон – отымать, народ под свое право покорить. Сперва, понятно, не верили, а потом узнали. Ну, закон – закон, а есть-то надо...

А уж и вовсе плохо стало у старухи: отдала казакин свой и шерстяную шаль верному человеку – на мучку выменить. Взял с нее половину промену, через две недели воротился, выдал два пуда муки, закаялся: «Никаких бы денег с тебя не взял, измаялся! Там нашего брата из пулеметов бьют, у Танбова... Лесами сорок верст гнали на подводах, заград-то бы ихний миновать... беда! И по лесам как-то раз бандиты по-

шли, разувают-раздевают, понимаешь... крест сымают! И каждый с вагону стаскивает, и везде упокойники по линии, вшивый этот тиф, понимаешь... всего набрался, не отчешусь!..»

Поахала-поахала старуха... – казакин один восемь рублей стоил. К другим тыкалась, не берутся... А у ней двенадцать аршин ситчику лежало, от барыни Смирновой подарок, а там за два аршина, сказывают, пуд сеянки дают! Давал ей один за все два пуда, – рыск беру! Удержалась. А тут привезли муки, говорят – так пошло ходко, до пуда за аршин доходит! Видит старуха – не миновать самой ехать: никто не берется, рыск. Только будто шибчей отымать стали. Как это так, хлеб – да отымать?! Ну, не верит, – обманывают. Возьмут ситчик – и прощай, отняли – скажут. Стала она невестке говорить, – за мукой не миновать ехать надо... Та и вызывается: «Лучше я, маменька, съезжу... может, добрые люди пособят довезти, больную пожалеют... Для деток уж последние силы положу...»

Ну, старуха и руками, и ногами: «И ты еще где поляжешь, не встанешь... и мука пропадет. А что я с ими на старости!.. изведусь тут, ждамши. Соседи тут без меня помогут поприглядеть, а я посходней, может, как сумею, слезы мои пожалеют...»

Ну, и рыскнула. Ситчиком обмоталась, как ее обучили, лошадку на сапоги выменяла у живореза одного да за пуд муки, – оставила им припасу, – да ведерко патки прихватила, уберегла. С товарами и пустилась.

II

Поехала с двоими из села, попутчики, – и помогут, в случае, муку на вагон поднять. После Святой погода теплая. Сухариками запаслась, как на богомолье.

Поехали... В Москве, на вокзале, как попали в переделку, да досмотр, – завертел старуху народ, кинулся бежать с чего-то, – сшибли старуху и патку ее опрокинули, и попутчиков она потеряла... Плачет на полу над паткой, оберегает, чтобы не ходили, в пригоршни с полу да в ведерко. А над ней смеются... Энти собрались, со звездой: «Сгребай их, – кричат, – прямо полками у нас ходют... сахари их, старуха!..»

Ну, собрала... а фунтов пяток недобрала, на ногах растаскали. А попутчиков нет и нет. Бог их знает, сами рады от нее отвязаться были... Указали ей, как на Рязанский дойти, рядом, через площадь. Там она суток трои на камнях провалялась, пока билет выправила. Не дают билета! Покажь сперва бумагу от волкома! Понятно, она ихних новых порядков не понимает: от какого Вол-кова?! Ну, растолковали,

что, мол, от волостного комитета, за мукой едет, для сирот... А у ней была такая бумажка, в чулке запрятана, да пропала, – ночью кто-то у ней чулки облазил, нашаривал. Сиротами молила – никакого внимания. Тут один сердобол встрелся в ее дело, за три фунта патки бумагу ей написал, с печатью. Стала в вагон сажаться, – опять сшибли, позаняли-набились, на вагоны понасели, а их стаскивают, в ружьи палят для страху... А старуха осталась на асфальту, сидит, – заливается. Стали ее с левольвером гнать, кричать... – вымести всех отседа, для порядку! Какой-то опять матрос вступился: «По-вашему, сор это – вымести?! Я, – кричит, – всех вас застрелю!..»

И те, понимаешь, пистолеты выхватили, стреляться! Так и сучутся над старухой... Еще которые подскочили, тоже... за старуху вступаться...

«Нельзя так над старинным человеком!..»

Значит, ей уж Господь помогал... В голос плачет-заливается, своего добивается, понятно. Все ведь трудами какими нажито, последнее... Ну, тут ее взяли и подали в окошко, публике, – в двери-то уж никак!.. И патку ее туда, и мешок. А там скандалются, – куды вы ее нам на головы!.. Ну, затискали ее под лавку, – все позанято, не продохнуть. Да так три дня и пролежала под лавкой, все молилась – Господи Сусе, донеси! И до ветру-то нельзя сходить, и до воды не доберешься... От духоты-то с ей обморок пошел, – маленько очнется, а дыхнуть-то нечем, опять обморок. Стонала там, а кто услышит... всякому до себя только! И эти всю ее облепили, как мука! Сосед под лавкой оказался, сочувственный, дал ей водицы глотнуть из бычьего пузыря, – лучше, говорит, не разобьется – не разольется. А вода-то протухлая оказалась, затошнило старуху... А он еще пуще настращал: «Третий раз, – говорит, – такую муку принимаю, езжу, не дай-то Бог! За мукой – что!.. а вот оттуда когда, с мукой!.. Народ жесточей, каждый себя сберегает, прямо – за глотки рвут. А совсюду у них рвут... Оттуда-то самая война и пойдет. Да в дороге-то слезать сколько надо, в обход, да ночью... а то начисто отбирают. Как хошь – так и выпутывайся!..»

Он-то, конечно, от чистосердия, жалеючи... а у ней сердце совсем упало, – Господи Сусе, донеси!..

Донесло ее за Тамбов, в места по тем временам самые хлебные. Куда люди, туда и она. С человеком одним разговорилась... из людей бывалых. Ну, проникся в ее положение, не вовсе душу потерял. И деревню ее знавал, по своим делам прежним...

«Трафься, – говорит, – за мной, у меня этот струмент налажен».

Ну, вроде как довесок она стала. Он чайку попить пристал к лавошнику одному знакомому – и она с ним. По-

одаль, понятно, сторожит, виду не подает, а трафится. Ночевал он там, на постоялом, и она, в сани под навес забилась.

«Вы, – говорит, – ее уж не тревожьте, – хозяина предупредил, – с одних местов мы, у ней внучатки голодающие, и сына на войне убили».

Она ему, понятно, про свое объяснила досконально, про все горя свои. Щец с грыбками похлебала, – Христа-ради ей отпустили, из уважения. Ну, правда, он у ней патки фунтов пяток забрал... Она было плакаться, – дорого, мол, за щи-то да за ночевку, – а потом и говорит: «Ну, ты, батюшка, может, вдобавку пути какие мне расскажешь, как бы посходней с мучкой...»

Посмеялся: «Ладно уж, укажу... Бог с тобой!»

Ситчик ее поглядел, совет подал:

«Ситчик, бабушка, хороший, Коншинского клейма, не продешеви. Фунта на два выше других в аршин!»

Видит – полпуда лишку! Рассказал ей на село Загорово ход, тридцать верст.

«Там мало почато, и вроде как ярмонка стала. А мне, – говорит, – в другое место надо, за крупой...»

В ноги ему старуха повалилась, а он тут ее маленько и порадовал. Вынимает некоторый капитал...

«Прими на сирот... да помяни, – говорит, – Симеона и Иоанна, воинов... в муках и за отечество напрасную кончину от злодеев принявших...»

Вот... и дает ей несколько денег.

«Тут, – говорит, – и за твою патку, расторговал... дорогу маленько оправдаешь. А меня извини, по делам мне нужно».

Духу-то ей и поднял. А насчет патки-то ее... – он ее, может, в помойку выкинул, – всего там было. Обещалась на обедню подать, как домой вернется. И пошла ходом на Загорово-село.

Лесами пустилась, за народом. Идти весело, дорогу новую проломили-протоптали, – прямо через трущобу, по болотам. И везде, у водицы там, энти объявляться стали, перекупщики-спикулянты: ситец, сапоги – рвут, мешочки с мукой наготове... Ну, поостерегли старуху: у таких и мучки с речки купишь! А пески там тонкие, не отличишь. И балаганы сбиты, к сторонке, где поглуше, – «райки» называются... Кто уж каким рукомеслом занимается – всякий тут струмент пущен!.. Зазывают так ласково: «Чайку попить с сахаринчиком не угодно ли?.. Блинков... помянуть кого?..»

Наладили уж, по сезону. Сказать прямо, – публичные номера! Мамаши эти... на дачу приглашают... спикулянтов, и вообще... девчонок, бабенок молодых заманивают на мучку да щец тарелочку... А народ-то голодный, затощал!.. Корчаги

у них дымят, каша в котлах, колбаска горячая... – соблазн! И страху свою содержут, – во, какие котищи за котлами спят, ободья на шее гни! А народ устамши, в голове не соображает... Насмотрелся я там, чего с жизнью-то поуделали, Гос-поди-и!.. И дурман пьют, и порошки дают нюхать... – хуже в тыщу раз этих... гнилых домов! Опоят-обчистют, а трясин там... кругом, концов не сыщешь. А кому искать?! Ночью костры горят, песни играют, воют... У того последние деньги вырезали, у того пачпорт вынули... А то конные налетят, окружат... – проверка!

«Есть спирт?.. оружие?!»

Тут уж покоряйся, ни-ни!.. Как кому посчастливит, а то и по шее надают, и... не дай Бог. И калечные всякие при дороге сидят, за ноги ловют, причитают... слепые, обгорелые, – с голодных местов подались. А их лают, – когда вы только подохнете!.. Прямо мешком по морде хлещут, – душу не трави! Каждому думается – на их место скоро. А то охрану предлагают нанять, матросы или там с ружьями, квиток выдают с бланком... – за десять фунтов муки доведут без убытку. Одни отымают, другие охраняют, – одна шайка. А народ промежду тычется...

Ну, старуха на себя понадеялась. Постращали: смотри, бабка, рыск берешь! Два раза ее шарили, штыком все спирт искали! Ведерко проткнули насмех, – тряпкой законопатила. Мне потом про ее мытарства рассказывали, где мы-то с ней стояли... Она там пятеро суток на мучке у вокзала высидела... Сапоги один вертел, – казенные, говорит, с клеймом! под расстрел за это!.. народное, говорит, достояние... Ну, за слезы ее отдал, только испозорил! Всего довелось хлебнуть. Мужчина на елке удавился, – деньги у него вырезали. Висит уж безо всего, посняли с него, понятно... бумажек рваных нашвыряли ему к ногам, на помин души, на погребение мертвого тела... И кто он и откуда – неизвестно. И хоронить некому...

Повидала за дорогу... – за цельную жизнь, может, того не видала. И вот, добралась до Загорова-села...

III

А тут леса кончились.

Глядит старуха – народ к канаве сбился, у межевого столба, а к столбу голый человек проволокой прикручен, а наместо лица черное пятно уж, а на груди билет прицеплен, объявление. Которые читали – говорят: «Застрелен за разбой и бандит!» Стал один рассуждать, – «столбов, мол, на всех не хватит, за разбой-то!» – ну, тут стали расходиться, напугались таких слов.

Смотрит старуха – на село-то никто не идет, а стали жить по канаве да по кустам. По грибы приехали будто – на

гулянки! Друг от дружки поодаль, стерегутся. А село на горке, версты две. Днем воспрещено строго: кого поймают – начисто отберут. А к ночи во – пойдет! Подневали-поспали, – темнеть стало, сперва пошли мальчишки шнырять, в разведку. За ними – бабы, с мешочками, и все в украдку... а там и возками стали наезжать. Глядит старуха – прямо чудеса! Муку уж волокут, пересыпают, да шепотком все, будто чего воруют. На мосту у них верховой стоит-стерегет... то петухом закричит, то свистнет, – у ихних мужиков свои знаки. Петухом ежели, – можете не беспокоиться, врага нет... а как совой зальется... – все в траву головой, как от грому. Прямо... представление веселое!..

Ждет старуха, трафится, как люди. Старик один на нее наступил – чего имеется? Патку попробовал – горькая! На сапоги нацелился, помял – отложил. Ситчик?.. Старуха ему про клеймо...

«Нам, – говорит, – это без надобности, а чтобы вид был! У тебя вон скушный, а нам требуется веселого! Старухи наши теперь не шьются, а хоронить – в сенцо одеваем, в соломку обуваем!»

Цену-то ей, стало быть, сшибает. По десять фунтов за аршин! Настращал. А за сапоги – пуд! Мужик еще наскочил, сапоги примерил, – даю полтора! За ситчик бабы ухватились, накинули...

«Веселенькаго бы, канареешнаго... а энто чего!»

Ребятва – патку растаскивать, а темно... Старуха ситчиком обмотана, из пазухи конец высунула, на патку села, сапоги цепко держит. И куриная у ней слепота, понимаешь... ну, ничего не видит! А цены-то уж смекнула, да как бы не прошибиться... Безголосый тут один насунулся, всех отшил, очень самостоятельный оказался: «Чего баушку мою заклевали... я у тебе покупатель!»

Ну, патку забрал, – за пустяк отдала старуха, только бы развязаться. Потом сапоги – за два пуда с половиной, продешевила... ну, крест вынимал – из страдания даю только! Истомилась, а до зари досидела, фунтик выпрашивала на аршин накинуть. Сделал безголосый по ее, взял пять аршин за три пуда за пять фунтов. А из села уж и – никого, пропали на заре все, и верховой уехал.

Спать стали по кустам. Переволокла старуха муку поглуше, намаялась, наплакалась: мешки-то залатанные, текет мучка, а волочить-то – эна еще куда, к Костроме! Прикинула – к семи пудам муки-то у ней выходит. Приткнулась на мешках, – четыре мешочка да ведерко, а не спится: как бы мешки-то не вспороли?.. И все-то у ней мука перед глазами, все сыпется! На стоянке потом рассказывала. И голод донял, мучку стала жевать, – сухарики-то уж доела. А уж день

полный, морить стало, напекать... Храпят кои по кустам, кои бродят. Подойдут к старухе – дивятся: то бедная вовсе была, канючила, а то вон – чисто крыса в лобазе! А она жалобится, понятно: пятеро ду-уш... весь дом променяли!.. Стали ее некоторые тревожить – не довезешь! Она, понятно, волнуется, – куда с мукой теперь?.. Без муки плохо, а теперь и с мучкой наплачешься... Расстроилась с устатку, разливается, не может никак уняться... голова-то уж у ней плохо соображает! А ее пуще дробят, завидуют: «Теперь бабка как есть пропала!.. Не выдерется из муки... так и будет здесь на дачах жить, муку жевать... Ничего, лето теперь идет, тепло!..»

Пить ей смерть хочется, с мучки-то, а отойтить боится, – всякого есть народу! И речка вон, а... Ну, с травки росу сшурхнет, пальцы полижет...

Вполдня стал народ подаваться, муку понесли, поволокли. А старуха сидит. А ее дождем стращают, завиствуют. Ну, были и сурьезные. Видют – затруднение у старухи, не может головой понять, как ей сбираться, одурела... – сколько, может, ночей неспамши! – ну, совет подали: подводу подряди, за конпанию кого подговори! Женщина одна набилась, молодая, тяжелая, с девчонкой тоже намыкалась, четыре пуда наменяла... и еще псаломщик пристал, чахотошный, – трех пудов осилить не мог, мотался. Вот и сговорились бедовать вместе. Псаломщику тоже на Москву ехать. Пошел он на село, муку им стеречь доверил. Приходит...

«До полпути берутся, а там перекладать... требуют четыре пуда! аспиды, а не люди...»

Старуха посчитала-посчитала...

«Сама переволоку, а двух пудов не дам!.. Буду по мешочку подтаскивать, отложу – за другим схожу...»

Рассчитала дня за три до машины дотащить. Ну, псаломщик ей привел резоны: мешки плохие, протрусишь больше! Чего поделаешь, – решили торговаться. Пошла женщина с псаломщиком, старуха с девчонкой при муке осталась. По семь фунтов с пуда порядили, не вывернешься. Приехал мужик, старик ночной оказался. Стала ему старуха ситчиком предлагать, – муки-то жалко! – заломался: «Куда мне твои два аршина, сопли вытирать? мне на рубаху пять требуется, лучше мукой давай!»

Ну, оторвала ему пять аршин, он ей пудик присыпал. Ладно. Мука поехала, сами пеши пошли.

«Я, – говорит, – такой вас дорогой повезу, – волки не бегали! Никаких неприятностей не будет».

Да и посадил в болото. Пришлось стаскиваться, лошади-то помочь. Стал ругаться: «Черт вас тут носит, спикулянтов... лошадь из-за вас зарезал! Что хотите – дальше не повезу!.. А желаете – по два фунта с пуда набавляйте!..»

Псаломщик было на него грозить... А он шкворень из-под сенца вытащил и, ни слова не говоря, шину будто настукивает...

«Сымайте муку... колесо рассохлось!..»

Это уж как они опять поклали... А чаща-глушь такая – ни в жись не выбраться! И Богом его стращали, и...

«Сымайте...» – и все.

Дали. Ну, вывез на настоящую дорогу, до полпути. Тут они его, на народе-то, начали корить, – псаломщик все бумагу ему показывал – ругался... А он ворот-то отстегнул, и... – во всю-то грудь у него опухоль, и кровью сочится, – глядеть страшно.

«Рак завелся от неприятностев, а вас, чертей, все вожу! Вы вон кобелям московским возите, а на мне семеро душ, сын с войны калека... чего я сто-ю?!»

Не дай Бог, сколько я видал горя... – всплыло, не разберешься. И старика того загоровского я знал – правильный был, покуда жизнь с колеи не съехала... А тут – нужда по нужде стегает!

Ну, с полпути уж мальчишку порядили, до машины. Опять старуха пудик отсыпала. Ну, увидала вагоны – закрестилась...

IV

А вагоны – мимо да мимо: полным набито, не сесть. На крышах сидят с мукой. Стали у станции, под акатником дожидать, – как цыганы. Народу... станом стоят, в день-то один поезд проходил. Четыре дня так просидели, – слабосильные все, не влезешь, – а от псаломщика только разговоры, – всякой шапки боится, настращен. При нем семерых скинули из вагонов – упокойников... да ночью старика насмерть придавили, – муки на него пять пудов на голову сбросили в потемках. Кто – кто?! а тут разберешь – кто!.. Наслушалась старуха, навидалась... голова у ней как вот дерюжка стала, не упомнит ничего. Ночи не спала, не ела – не пила... Сидит у муки, плачет. Псаломщик вертелся-вертелся... нашел! Прибег-запыхался: еду! Солдаты партией ехали, а он к ним, значит... голос им доказал! Ну, они его с собой прихватили – песни им играть дорогой, – и муку устроили. Потом женщину ту, с девчонкой, – а солидная уж была, родить ей скоро, – солдат здешний посадил...

Старуха и не видала, как дело-то у них вышло, – дремалось ей. А они разговор имели... Жалась бабенка, отплевывалась, а солдат, понятно, резоны ей...

«И неделю проваландаешься, а уж ты мне доверься... я деликатно посажу!..»

Ну, ходила она с ним на полчасика, девчонку старухе подкинула: «Пойду, – говорит, – у главного дознаюсь...»

Ну, посадил. Приходил с товарищем, имущество ихнее забрали.

«Меня-то бы прихватили... – стала старуха проситься, – бабу-то вон сажаешь...»

А им смехи!..

«На полсотню годков просрочилась!»

Видала от мешков, как их всаживали: один с пистолетом спереду шел и народ стращал. Затиснули бабенку с девчонкой в теплушку, как клин вколачивали, с мужиками за грудки... одного отчаянно выхватили из вагону – рубаху исполосовали, а их всадили! Мужик на буфер потом вскочил, поехал без картуза, верхом... – в вагоне-то мука осталась, не кинешь!

Заприметила старуха того солдата, устерегла, как близко он проходил...

«Сынок, помоги... бабу-то вон сажал!.. возьми уж, чего требуется...»

А тот над ней потешается, – куды ты мне сдалась, старая! Ну, которая публика тут жила до поезду, дивятся, смех пошел, – старуха солдату навязывается, бесстыжая! Потом ей женщина одна растолковала. Заплевалась старуха: да куды ж люди-то подевались. Господи!.. одна-то страмота!.. А ей читают нотацию: «Во как хлебушек-то теперь дается! Прежде вон, за монетку, и в бумажку завернут, дураки-то вот когда были... а как все умные стали...»

Ну, разговор пошел... Вот один старик и говорит: «А чего окаянным будет, которые эти порядки удумали?! Народу сколько загублено через их... семерых вон свалили, как полешки, и впортокол не пишут!..»

А ему говорят – мигают: «Ты того спроси... в шапке красной вон идет!..»

Ну, старик, понятно, схоронился. А там опять голос подается: «Бальшия дела будут... теперь у каждого пропечатано, в свой впортокол записано!..»

А сажаться надо. На пятый день опять поезд подошел. Старые все уехали, новые садятся, а старуха опять все ждет. Стала в голос причитать, а никто не вступается. Ушел поезд. А народ смеется, которые отчаянные: «Это они смерти твоей дожидаются, вот и не сажают... Им опосля тебя наследство-то какое будет!..» Солдат тот опять проходит: «Сидишь?..»

«Сижу, сынок... Возьми уж положенное, ослобони... у меня внучки голодные, сиротки...»

В ноги ему повалилась. А с ним матрос стоял...

«Знаешь, – говорит, – чего я с ей сделаю?!. – матрос-то... а морда у него... – прямо зверь! – Я, – говорит, – ее... в ва-

гон беспременно посажу! Она, – говорит, – мне до смерти надоела, видеть ее не могу, как она передо мной ходит, мысли мутит! Давеча спать пошел, а она опять... возля сидит-скулит!.. Чего ты скулишь-воешь... третий день воешь, работать мне мешаешь?! Я тебя видеть не могу...»

А старуха в ноги ему: «Прости, сынок, Христа-ради... сирота я слабая, безначальная... погибаю...»

Пошел матрос от нее...

«Видеть, – говорит, – ее не могу!..»

День прошел... – только поезду подходить – приходят двое каких-то, и матрос тот с ними...

«Забирайте ее канитель. Даешь им, бабка, полпуда, шут с ими!»

Понесли они мешки, а он теребит: вставай, посадка сейчас тебе будет! В чувство ее привел. И ведь посадил! Понятно, матросу покоряются. Пальцем погрозил: «Мать примите!» – только и всего. Пошел, – не успела старуха и слова ему сказать. Втащили ее, дали местечко в уголку. Отсыпала она полпудика. Поехали. Повалилась как мертвая, с устатку.

Проснулась – народ шумит, обязательно вылазить надо да лесом верст двадцать обходить, а то на главной заграждение-досмотр, отбирают, больше пуда не дозволяется. Старуха заполошилась, – да почему такое?.. А все в одно слово: обходить! В тихом месте сойдем, а то заградительный отряд, самый лихой. Со встречного поезда предупреждали, что – стерегут! Вчера спекулянты с матросами ехали, с собственной охраной, – кровопролитный бой был, отбились и двоих и х н и х убили... Теперь, не приведи Бог, – рвут!..

К ночи, на остановке, поволокли мешки, посыпались из всего поезда. Стали мальчишки вскакивать, в «пассажиры» наниматься, – на заграде, мол, пудик на себя покажут, а там соскочут, но только отсоветовали старухе: скакунов уж знают, не верят! Пришлось старухе нанять – до подводы донести за мучку, а уж там все налажено, по пяти фунтов с пуда, до глухого перегона. Плачет, а дает. Поехали, цельный караван. И ночь уж. По местам у них верховые, где поверней сворачивать... Двое со звездой попались, – на откупе у мужиков, предустерегают: и мужики тоже стерегутся, – бывало, что и лошадей отымут. Завезли в леса, послали на малую станцию разведать, – страшную-то заставу обошли! А с малой прискакал верховой, говорит: в кустах хоронются с пулеметом, на дальнюю надо подаваться! Мужики говорят: желаете – за пять еще фунтов повезем, а то прощайте... сами едва живы! Деваться некуда, согласились которые... Глядит старуха – мешочка-то уж и нет.

Доставили в глухое место... Случилось мне такими путями путать, навидался горя... Будто уж и не на земле живешь,

чудно!.. Дебри, народ как в облаве мечется, кровное свое прячет... а кругом, по весне-то, сила соловьев, всю ночь свищут... даже в голове путается... Ну, сон и сон, страшный... Ну, сидят – ждут. Хлеба ни у кого. Развели костерки, катышков замесили из мучки – да в кипяток без соли. Продневали. Ночью, перед зарей, поезд подошел, – совсем слободно. Народ-то округ бежит, лесами, два-три перегона, а поезд почесть пустой идет. В самом том поезде и тому человеку довелось ехать, вот что патку-то на постоялом ей менял...

Ну, посажались. И старухе пособили. Стали ей прикидывать, капиталы-то ее, – в одно слово: боле четырех пудов нет! А к восьми было. Сидит – шепчет свое: Господи Сусе, донеси! Теперь уж путь гладкий, аккурат до Москвы, а там только на Ярославский дотащить, рядом. Да как вспомнила про посадку, да, сказывают, в Москве-то опять досмотр, боле пуда не дозволяют... – забилась она на мешках! Значит, душой-то уж поразбилась... Которые с ней ехали, сказывали: нас-то расстроила, плакамши... А тут еще гулящая конпания, с бубном, с гармоньями, солдатишки шлющие да матросы... Стали баб-девок зазывать в свой вагон, ручательство дают, что с ними нигде не отберут ни порошинки... просют с ими танцевать!.. Ну, пошли некоторые, муку поволокли... на свадьбу! При всем народе волоклись, платочки только насунули... Тронулись, а уж к заре дело, народ притомился, позатих. Спать теперь до самой Москвы можно, без опаски.

V

В самый рассвет, перегона через два, – остановка... Досмотр! Перехитрили, те-то, – вперед заставу перегнали! Ну, деться уж некуда, по всей линии с ружьями дежурют, – не убежишь. Гул-крик поднялся, из вагонов мешки летят, из ружьев палят... Стали кругом говорить – смерть пришла! Не умолишь. Самые тут отпетые, ничего не признают, кресты сымают... Называются – «особого назначения»! Такая расстройка у всех пошла... – кто на крышу полезли хорониться, которые под вагоны, мешки спускают, под себя суют, в сапоги сыплют, за пазуху... – дым коромыслом! а которые самогон держут, откупиться... А там – в бубен!.. Ну, ад-содом!.. Старуха, понятно, затряслась-обмерла, в мешки вцепилась, кричит: «Убейте лучше... не дамся!..»

Вы-ла... Я через сколько вагонов голос ее слыхал: «Не да-ам!..»

Вот и подошли. Пятеро подошли.

«Вылазь!.. все вылазь!..»

Глядеть – страсти. Морды красные, а которые зеленые, во натянулись!.. губы дрожат, самые отчаянные. Тоже не каждый отважится... Такие подобрались, – человечьего на них одни глаза, да и те, как у пса цепного, злю-щие! Весь карактер уж новый стал, обломался. Ну, не разговаривай, а то – в подвал!

Влезли...

«Это чье?.. это?!.. как не мука?!.. пори!.. Чей мешок? ничей?!. выкидывай!.. Разговариваешь?!. Взять его!..»

Крик, вой... не дай-то Бог! Облютели. Которые молют: «Дети малые... мать-старуха!.. с войны герой... нога сухая, поглядите!..»

Ни-каких разговоров! Женщина одна грудь вынула...

«Всее высосали... глядите... последнее променяла!..»

Никаких!

«Выкидывай спикулянтов!..»

Ад-смрад! Свежему человеку... – с ума сойдешь. Пистолетом тычут, за ворот...

«Приказано по дикрету, от рабочей власти!..»

«Да мы сами рабочие... пролетары самые...»

Никаких! Один за сапоги прихватил, – на мешке его выкинули. Пуще облютели, от плача.

«Мы, – кричат, – вас отучим!..»

А сами налиты, сапоги горят, штаны с пузырями, и вином от них... и звезды во какие, как кровь запекло. Ну, совесть продали, мучители стали, палачи.

К старухе...

«Вставай, не жмурься! – кричит на нее, – пистолет у боку, зад разнесло. – Тебе говорят!..»

А старуха прижухнулась, не дыхнет. Уцепилась за мешки, как померла. Ну, он ее за плечи, отдирать... Она не подается, впилась в муку-то, головы не подымает. И махонькая совсем, и тощая, а так зацепилась, пальцы закрючила, – не может он ее снять с мешков! Он тогда ее за ногу, заголил ей... совсем зазорно. И тут не подается, – ногой зацепилась под мешок, а сама молчит. Осерчал, кричит товарищу своему: «Волоки ее с мукой, чертовку... разговаривать с ней... тащи!..»

Поволокли ее на мешках. Три было у ней мешочка, один к другому прикручены.

«Напаслась, спикулянтка!..» – кричит.

Стряхнули ее с вагона швырком, а она и тут не сдается... – брякнулась с мешками, как приросла.

«Отдирай ее без никаких!»

Народ уж стал просить: «Старуху-то хоть пожалейте... срам глядеть!..»

А им чего!..

«Отдирай!..» – который вот с пистолетом, уши у него набухли досиня.

Ухватил мешок за углы, а другой сзади взялся, за плечи ее прихватил, – на себя, значит, отдирать... Ну, стала она маленько подаваться, отодрали ей голову от мешка... Белая... да в муке-то извалялась... ну, чисто смерть, страшная!.. Так вот, мотнулась... руками так на того, который за мешок тянул... от себя его будто... ка-ак закричи-ит!.. «Ми-кки-ит?!!»

Тот от ее... назад!!.. на кортках закинулся, на руки... пополовел, как мертвец... затрясся!..

«Ма... менька?!..» – тоже как кри-кнет!..

Понимаешь... – его признала!.. сына-то, пропадал-то с войны который!.. Встретились в таком деле, на мешках!..

Ка-ак она восста-ла-а... ка-ак за голову себя ухватит... да закричи-ит!.. Ух ты, закричала... не дай Бог!

«Во-он ты где?!! с ими?!.. у родных детей хлеб отымаешь?!.. Мы погибаем-мучимся... а ты по дорогам грабишь?!.. родную кровь пьешь?!!. да будь ты... проклят, анафема-пес!!.. про-клят!!!»

Завы-ла, во весь народ... прямо, не по-человечески, а страшнее зверя самого страшного, как завыла!.. Не поверишь, чтобы мог так человек кричать... Весь тут народ вроде как сумашедчии стали... Волосы на себе дерет, топочет-наступает...

«Про-кля-тый!!!»

Все перепугались, молчат... – как представление страшное, невиданное!..

И вот, спросите в Борисоглебске и по всем тем местам... – все помнят, кто жив остался. Как громом!.. Из сил выбилась, упала на мешки, головой бьется, в муку долбит... – так из мешков-то... ффу!.. – пыль!..

Обступили их... А он, так себя за голову, глядит на нее, ровно как очумелый, не поймет!.. Потом, так вот, на народ, рукой, – отступись... Ну, шарахнулись... Он сейчас – бац!.. – в голову себе, из левольвера!.. И повалился. Вот это место, самый висок, наскрозь.

Тут смятение, набежали... главный ихний подлетел, латыш, каратель главный. Ну – видит... Пачпорт! Слазили ей за пазуху, нашли. Видят – Марфа Трофимовна Пигачова, деревни Волокуши... А им, конечно, известно, что он тоже Пигачов, той деревни, – значит, на мать наскочил, грабил-издевался, такое ужасное совпадение! А она по дороге все жалилась про горя свои... Ну, стали объяснять им про сирот, мучку вот им везла, а сын... вон он где оказался!.. у матери, у родных детей отымать стал, хуже зверя последнего... Ну, тут уж и нашвыряли им всяких слов!.. Прямо, голову народ поднял, не узнать! Ну, в такой бы час... да если бы с того пункта по всему народу пошло-о... – никакая бы сила не

удержала!.. И те-то, сразу как обмокли! Такое дело, явственное... Ни-чего не сделали! Главный и говорит – может муку забирать! Приняли ее с муки, мешки в вагон подали, из публики. А старуха про муку уж не чует, бьется головой на камнях, уж не в себе. А поезду время отходить. Да уж и не до досмотра тут им... Главный ей и говорит: «Желаете, мамаша, сына похоронить?.. мы вас сами отправим?..»

Стали ей толковать, в разум ей вложить чтобы... А она так вот, в кулаки руки зажала, к груди затиснула... – ка-ак опять затрясется!..

«Про... кля-тый!..»

Так и шарахнулись! И тут ему не дает прощения!!

Тут народ сажаться уже стал. Ее опять допрашивают, – поедешь, мать? – а она чуть стонет: «О... ой... домой...» Силы-то уж не стало, истомилась. И лицо все себе о камни исколотила. Ну, велел тот карманы осмотреть у мертвого. Денег много нашли, часики золотые сняли с руки, портсигар хороший... Главный и подает старухе: «Возьмите, от вашего сына!»

Она все будто без понятия, сидит на земле, задумалась... Он ей опять, и публика стала ей внушать, – бери, мать, на сирот! Она тут поняла маленько... руками на того, на латыша, как когтями!.. Да как ему плюнет на руку!..

«Про... клятые!..»

И упала на панель, забилась... Тот сейчас – в вагон! Подхватили, в вагон на мешки поклали...

Пошел поезд. Остался тот лежать, – из вагонов народ глядел, – и те над ним стоят, коршунье... А старуха и не чует уж ничего. Стало ее трясти, рыдает-бьется... – у-у-у... у-у-у... Два перегона она так терзалась... Сколько мытарств приняла, а напоследок – вот! А которые, конечно, рады, что переполох такой случился и досмотру настоящего не было, – опять муку назад потаскали. Через ее спаслись маленько.

Стали к большой станции подходить, – что не слыхать старуху?! Глядят – голова у ней мотается! Знающие говорят – отошла старуха! Как так?! Отошла, преставилась. Подняли ей голову, а у ней изо рту жилочка уж алая, кровяная... За руки брали – не дышит живчик. Подошли к станции, а там бегут солдаты, трое... кричат: «Которая тут старуха, у ней сын застрелился?.. По телефону дано знать... мешок муки ей и проводить на родину с человеком, при бумаге!..»

«Здесь, – говорят, – эта самая старуха... только примите ее, пожалуйста, приказала долго жить!.. И муку ее забирайте, можете блины печь!..»

Схватили мешки – раз, им под ноги! И старуху легонько выложили, – вся в муке!

«Ну только... – тут уж весь народ вступился, – у ней внучки-сироты голодают, имейте это в виду!..»

«Ладно, – говорят, – в протокол запишем, дело разберем».

Записали в протокол, что собственной смертью померла. Были, которые настаивали, – запишите, что от горя померла, муку у ней рвали... сами свидетели!..

«Ну, вы нас не учите! – говорят. – В свидетели хотите?.. Слазьте!..»

Насилу от них отбились.

«Муку дошлем», – говорят.

Пошел поезд. А уж там – дослали, нет ли, – неизвестно.

Июнь, 1924 г.
Ланды

ДВА ИВАНА

(История)

I

В Крым Иван Степаныч попал прямо из костромской глуши.

На учительских курсах он понравился прилежанием и скромным видом, и ему предложили нежданно место учителя в городке у моря. Заветная мечта – пожить в Крыму хоть недельку – блестяще осуществилась. Крым представлялся ему чудесной страной – «за гранью непогоды», – светлым и дивным садом, который когда-то будет по всей земле. Там и личная его жизнь изменится, посветлеет. Он был мечтателен. У теплого моря... – да это прямо Италия! Удивительный быт татар, очаровательная природа, горы под облака, таинственные огни маяков за бурною далью моря!.. Он ухватился за место с радостью, приехал – и не ошибся: школа была прекрасна, море и горы – еще прекраснее.

Вскоре он женился на черноглазой учительнице-гречанке, и месяца через два она шепнула ему стыдливо: «Я, кажется...» От счастья он осмелел и купил клочок пустыря в рассрочку, завел огородик, садик, пчел – продавал мед приезжим... Через год жена опять сказала ему: «Я – уже!», и Иван Степаныч решил построиться.

Он был тихого нрава, с доброй народнической закваской. На книжной полочке у него стояли Короленко и Глеб Успенский, висели в рамочке Некрасов и Златовратский. Он читал «Русские ведомости», – раз даже напечатали там его заметку о хрестоматии для татар, – и, выпив на именинах стаканчик красного, с чувством подтягивал, пощипывая бородку: «Выдь на Волгу... Чей стон раздается?..» А когда шел ночью домой и глядел на звезды, в нем кипели горячие чувства к народу и человечеству. Вспышки далекого маяка за кипящим морем вызывали любимое:

«А все-таки впереди... огни!»

В это он свято верил.

И уже собирался он строиться, уже отпускали ему в рассрочку камень и черепицу, – как все расстроилось: с год уже шла война, недоставало людей, и Иван Степаныча позвали на помощь. Он был очень высок и худ, – ребятишки прозва-

ли его «селедкой», – и с грудью у него было что-то, но его все же взяли. В день призыва жена объявила ему, что она – «опять!». То и другое он принял не без волнения, но покорно, как народную тяготу, и так же честно подгонял к войску воловьи гурты, – его сунули в это дело. – как обучал ребят букве «е».

II

В том же городке, в Слободке, жил-работал дрогаль Иван. Занесло его к морю из-под Рязани, на дачу водовозом. Он огляделся, сколотил деньжонок, женился на заезжей тулячке, купил плановое место с развалюшкой и занялся извозом. Жена нарожала ему ребят, и он решил осесть прочно. Домишко перетряхнул, прикупил лошадь, завел корову. Но тут началась война, и дрогаля потребовали на помощь. Было ему уже к сорока, и пробовал он отмотаться грыжей, но его взяли за дюжий вид, и попал он на то же воловье дело, к Ивану Степанычу подручным. Так они и служили вместе.

В тягостную минуту Иван Степаныч успокаивал себя доводом, что война – естественный результат человеческого несовершенства, но последствия ее могут быть благотворны. И давно лелеемое, заветное, – дух захватывало при мысли! – вставало перед ним в красоте ослепляющей. А Иван-дрогаль никаких доводов не имел и считал войну злом, из которого надо выкрутиться как можно скорей и лучше, – во всяком случае, с пустыми руками возвращаться домой не следует.

Сидя у костерка в степи или в скотском вагоне, провожая быков к тылам, оба с тоскою думали о семье. Иван называл войну господской затеей, а Иван Степаныч старался войну осмыслить.

– Война, – говорил он, – явление стихийное. Люди, Иван, еще дикари. Когда моральный уровень человечества поднимется, тогда и войны не будет. Человечество, понимаешь... стремится к звездам! нравственно улучшается!..

– Не надо мне никаких звезд... это все генералам нужно!

– Чудак!.. – смеялся Иван Степаныч. – А может, после войны перемены будут... государственные?!..

– Не надо мне ничего, никаких переменов. Мне мое отдай! Хозяйство горбом наладил, семья...

– Тебе!.. мало ли что... а перед всей-то жизнью мы с тобой что? мошки!! перед человечеством?!..

– А, блажной ты, Иван Степаныч! кака така я мошка?! Коль все мошки, с чего ж я-то буду плошей других?! Тебе вот звезду нужно – и сшибай, а мне мое! Ты вот про человечество, и я тебе тоже по человечеству говорю... Другой год по пустому делу быков гоняем, а семья без хлеба, поди, сидит. С лошадями Анисье не управиться да с детями... Вам

вон доходы какие, может, идут, а нам что!.. Кончать надо эти порядки.

– Вот и будет... перемена какая... Если стихия разольется... – перед ней все бессильно! – намекал осторожно Иван Степаныч.

– О-пять ты свои стихи! Не дураки и мы тоже... Нет, кончать надоть эти порядки.

Хоть и недоговаривали, а Ивану Степановичу казалось, что у них думы общие, и он был доволен. Но когда взбесившийся бык припер рогами и сломал ему два ребра, и, подлечив в госпитале, отпустили Ивана Степановича совсем, он признался себе, что надо смотреть проще, и с радостью поехал домой, поплевывая кровью.

Поехал с ним и дрогаль Иван, которого отпустили на побывку.

III

Прибыли они в Крым весной, под синим небом. Тополя стояли зелеными столбами, дороги пылили белым, цвели сады, пахло морем и свежей степью. Они наняли знакомца Керима и покатили, – и в мыслях было уже домашнее. Но было еще одно, новое у всех в жизни, чего не видно было в полях: произошла революция.

Иван Степаныч принял ее восторженно. Иван не принял ее никак: он лишь прикидывал, что из этого для него выйдет. Одно он решил твердо: на фронт он уже не вернется, потому что пойдет «разделка». Что за «разделка» – для него было не совсем ясно, но он ото всех слышал одно и то же и затаил в себе накрепко, как полезное для него.

– А что, Иван Степаныч... «разделка» вон, сказывают, будет?..

– Пока трудно сказать, что будет... выяснится!.. – весело говорил Иван Степаныч. – Знаю только, что хорошо будет! Народ теперь полный хозяин... открыт выход народным силам!..

– Си-лам... правильно! – одобрял Иван.

– Теперь... все для народа и все – народу! – взволнованно говорил Иван Степаныч, и слезой поблескивало в глазах.

– Все?! Это ты дело говоришь, вот это пра-вильно!

Стали Керима расспрашивать, как дела.

– Никакой дела... рыва-люций! За бутилка вино давал! – ткнул Керим в солдатские новые штаны.

Потрепал себя по затылку, замотал головой и засмеялся.

На Перевале остановились наладить тормоз. Легко дышалось, – снежок еще лежал по дубкам. Весело было, что все так же синеет в туманце море, внизу уже наступило лето, и сейчас в это лето они опустятся.

– Сейчас и до-ма... – сказал Иван, прикуривая в горстку. – Припасу-то везешь, Иван Степаныч?.. Ну, какого-нибудь... деньжонок. Чай, порядком наколотил... любого зашибешь по письменности!..

– Нет, голубчик... я этими делами не занимаюсь!

– Тол-куй!.. Что через тебя денег-то прошло-о! Война-то тебе за радость. Ну, что я перед тобой... чего с сенца-то насшибаешь, а и то малость принапас. Теперь домишко поправлю, коровку прикуплю... да выше меня и человека не будет! Да, гляди, по «разделке» что накапает... А ты это верно насчет войны тогда... Голо-ва ты, прямо... как вот нагадал!

А Иван Степаныч про свое интересовался:

– А как, Керим... радовался народ шибко?

Татарин попридержал конец, обернулся и сверкнул зубами:

– Дурак с ружьями ходил... чиво радовался?! Хароши пасажир нема!..

И погнал под гору.

– Про сады-дачи чего слыхать? – справился Иван. – Делить-то будут?

Поддернул коней Керим, метнулся, ожег зубами:

– Я тебе дал!!! Весь земля наш, татарски!!!.. Морда будем делить... твой рыва-люций!.. – крикнул татарин горлом и плюнул в пыль.

– Во, забрало! – подмигнул Иван. – Шибкие дела будут... держись, Иван Степаныч!

А Иван Степаныч смотрел, мечтая, в синевшую туманность. Дремотной она казалась и праздничной. Ширь-даль какая! «А они и не чувствуют величия совершившегося! Сады да штаны... А какие возможности открываются!..»

Донесло благовест с городка, – воскресенье было. Иван Степаныч толкнул Ивана и крикнул, показывая в беловатые пятнышки:

– Слышишь... звон-то?! Вот она, революция-то, – Пасха наша!

– К обедням благовестят... – сказал Иван. – Сколько годов в церкви не был!..

– И церковь обновится... и там будет революция!

– Бога в это дело мешать не годится, это ты зря. Попы свое знают, а мы уж промеж себя... и на церкву выделим, без обиды... Главное, чтобы на семейное положение, у кого дети. У меня вот их четверо... а есть какие сады! вот у Зурибана... а их и всего-то двое! И капиталы имеются...

– Нет, Иван. Революция должна и церковь обновить!

– Обновить-то, понятно, надо... – отчислим там...

Стало видно и виноградники – коврики по холмам, и белые брызги – дачки. А там и сады пошли развертываться в долинах и горы пошли кружиться...

Петлями пошла дорога.

IV

Приехали и расстались.

Было много заплат и дырьев, а праздника что-то не было. Красный флаг висел кое-где с балкона. За городового стоял газетчик, с повязкой на рукаве. Ребятишки играли «в революцию». Висела вывеска – «Народный Университет». Распоясанные солдаты гуляли с девками в розанах. Пылили автомобилями «уполномоченные». На базаре стали ругать «буржуем».

Хотелось Ивану Степанычу отдохнуть, в садике покопаться, но тревожная совесть заставляла «делать». Как и что – этого он не знал, но горячо взялся «делать». Он записался в партию, – иначе было нельзя «делать». Зачислился в комитеты, и ему обещали «широкое поле деятельности». Писал «Проект обновленной школы», хрестоматию для татар, устав о родительских комитетах, ввел бесплатные завтраки, отменил утреннюю молитву, получал повестки на заседания и посылал телеграммы о кредитах. Ему тоже посылали телефонограммы и предложения, наезжали делегаты, товарищески пожимали руку и предлагали «пересматривать» и «вносить». Кредиты обещали щедро.

После бессонной ночи и трудового дня он выступал на собраниях и говорил со слезами, что «жить в эти великие дни – великое счастье!». Ему кричали садовники, дрогали, поденщики:

– А насчет дач?.. про сады как?!..

Про сады он еще не знал и восторженно повторял выдержки из речей – в газетах, – особенно поразившие:

– ...и позволю себе закончить историческими словами: «Мы бесконечно счастливы, что нам удалось дожить до этого великого момента... что мы можем творить новую жизнь народа – не д л я народа, а вместе с народом!!»

Его перебивали: к делу! Он смущался и говорил невнятно.

Его позвали в лазарет солдаты, как своего. Он и им говорил восторженно, что «будущее принадлежит народу, выявившему в эти исторические дни свой гений...». Здоровяки в красных бантах требовали – «насчет войны, да повеселей!». О войне он говорил неопределенно и продолжал свое: «...Мы можем почитать себя счастливейшими людьми! По-

коление наше попало в наисчастливейший период русской истории!..»

Ему свистали. А когда он закончил заветным призывом – «подыматься к звездам», его перебили смехом: «А не сорвешься?!..»

Он говорил о величайшей трудности первых шагов, об ужасном наследстве – темноте народа, и закончил до слез задрожавшим голосом: «И хоть темно еще, и не для всех еще видима дорога в прекрасное будущее, но все-таки... впереди... огни!»

Ему похлопали. Но появился дрогаль Иван, в новой рубахе писарского сукна, с огромным бантом, и объявил, что про огни это напрасно, что огней нам пока не надо и чтобы делить по-братски и на каждое дите чтобы... Дрогаля проводили весело и вынесли резолюцию: давать сливочного масла на макароны, варить лапшу из баранины, по бутылке красного для здоровья, и чтобы гулять по ночам – для воздуха! – потому что теперь свобода.

Иван Степаныч перестал выступать, а тревожная совесть говорила, что надо «делать», и он объявил лекцию в «Народном Университете» – «О нравственных предпосылках революции». Но пришло всего пять человек, знакомых.

А жизнь варилась. В новом земстве вертели новые, бойкие, речистые. Оклады установили тоже новые, но они скоро кончились: деньги вышли, а новых не поступало. Иван Степаныч затратил «из своих» на бланки и телеграммы, – и этих ему не уплатили. Ночью порвали у него розы и поломали посадки, выдрали рамки с медом и подавили пчел. Он только вздохнул: «Какая некультурность!»

На берегу шли митинги, вносились требования. Дрогаль Иван говорил о крови, которую проливал в окопах, ради господ. «Господам нужны звезды и капиталы, а бедному человеку!..» Требовал на каждое дите по десятине садов и виноградников, а дачи там – глядя по семейству, потому что теперь «открылась в народе сила!». Слушал его Иван Степаныч и узнавал знакомое.

Он перестал ходить на собрания, пописывал доклады и волновался, дадут ли жалованье. Татары объявили «свое царство» и принялись резать греков. Налетели матросы из Севастополя и принялись избивать татар. Убили у Ивана Степаныча в садике знакомца Керима, прятавшегося в водяной яме, а Ивана Степаныча арестовали – почему татарина укрывает?! – и грозили утопить в море, да заступился дрогаль Иван: «Блажной он, товарищи! Служили вместе... Только что вот ребят велит не учить молиться...»

А потом пришли немцы и успокоили. Все подорожало, жалованья не хватало и на неделю. Иван Степаныч продал

шинель и брюки и стал пробавляться уроками за хлеб. Прошел год бестолковой жизни, и жена объявила, что она – «опять». Тут Иван Степаныч упал духом и принялся работать на виноградниках, какие еще остались. Беженцы с севера продавали вещи, дачи. Пошел азарт. Заторговали, кто чем. Ивану Степанычу торговать было нечем, за землю грек требовал уплату, дети просили молочка...

Тут Иван Степаныч вспомнил про дрогаля Ивана и пошел в Слободку, понес новые сапоги – последнее, что осталось у него от фронта.

«Ладно, – сказал Иван, – надо помогать друг дружке. Маленько поукрепился, пользуйся. Анисья моя молочком уважит».

Иван Степаныч горячо пожал мозолистую дрогалеву руку и укрепился духом. Бодро шагал домой и в волнении повторял: «С нашим народом не пропадешь!..»

V

Каждый вечер ходил он с бутылкой за молоком в Слободку. Шагал в пыли и высчитывал:

– На двадцать рублей дешевле других берут. За месяц уступки... шестьсот рублей!..

Сумма поражала его, и он вспоминал время, когда покупал три бутылки, ел баранину и даже выписывал газету.

«Мы тонем! – с ужасом думал он. – Представители духа, мы сходим на нет. На смену идут э т и...»

Он смотрел на домишки с садиками. В вони отбросов и навоза жили «утрудяшшии», – так называл их теперь в раздражении Иван Степаныч, – дрогали, молочники, огородники, скупщики... Недавно он называл их чудесным словом – народ.

...Прачка Марья... Купила корову за сто тысяч! «Огурец» дерет за головки пятнадцать тысяч и пьет винцо. Свинью продали за шестьдесят тысяч! а мы гибнем... Они знают – и все же считают меня буржуем. Вот итог всех усилий! А революция духа где? У меня болит печень и грудь, пятеро душ на шее, а им... все равно! Считают на миллионы и заплывают салом.

Проходя мимо фаэтонщика Шевчука, Иван Степаныч почувствовал озлобление.

«...Кричал на собраниях, что надо по-братски, а с меня, с учителя его мальчишки, требовал за прокат наседки тысячу! О, род жестоко-выйный!»

Доение коров по дворикам, всплески, хрюканье и мычанье – звуки налаженности и сытости – раздражали.

«...Сумели наворовать за смуту, скупить за пустяк... теперь – не трожь! А все рычат, что мы донашиваем шляпы и воротнички. Мы верили, что грядет новое и прекрасное, голодали, сгорали, гибли, а они дорвались и будут обрастать салом! На Пасху у меня не было белого хлеба, а они пекли куличи...

...И я начинаю опускаться, копаюсь в пошлости! – поймал себя Иван Степаныч на куличе. – Надо быть выше. Я могу подыматься на вершины духа, где у них закружится голова! Да если бы я, с моими знаниями, захотел отдаться пошлому их приобретательству!..»

Дворик Ивана котлом кипел: хрипели в закутке свиньи, гакали гуси, посвистывали утята, выдоенные коровы пускали слюну на зеленые вороха, засыпанные отрубями. Пахло сытью, – и Иван Степаныч почувствовал голод до тошноты, увидев блестящий жбан, пенившийся парным молоком, доверху.

...Три коровы, лошади, куры, овечки, свиньи... Откуда сие? Мудрый Эдип, разреши! Кто-то обессилен, ясно...

Красная круглая Анисья цедила молоко.

– В горницу проходите. Мой чайком напоит. Давно, поди, чаю не пивали!..

Иван Степаныч уныло отказался, но дюжий дрогаль явился на пороге:

– Господину пи... дагогу! Да нет, ты нас не по молочку знай, а как настояще стоющих... Ну буде куражиться, в сам деле! Ве-селый я нонеча, и-ди-и!..

И опять прихватил Ивана Степаныча под мышки.

В белой горнице пахло салом и сдобою, сиял самоварчик-дынька. Иван Степаныч взглянул на стол, в сине-желтых букетиках, – и зарябило: залитый сметаной творог, кусище шафранного пирога с глазастыми яйцами, ком масла в дырках, в матовом жире холодец, вино...

– Вечеряю! Ешь-пей, Иван Степаныч! – размашисто ляпнул по столу веселый дрогаль. – Ошибся маленько нонче, другой хваетон торгую... Давай... мадерцы? Во как живу теперь! Пируй без внимания... Где это видано?! Телятина за семьсот, а у меня и кошка не ест... На кой они мне, бумажки?.. Машка, чего уставилась?!.. Ташши мозги телячьи!.. да яичкем закрась... да кулича давешнего спроси! Учителя своего угощай, лишей учить вас, дураков, будет!..

Машка зарделась и шмыгнула.

– Деньги энти корзинами вожу... Самоваришко вот генеральский за восемь тыщ забрал, а ему цена... двадцать! Зеркальную трюму у Губкиной барыни прихвачу за пятерку... шибко набивается. Не выдержать им рубля финансов! Четвертого коня покупаю, за сто за пятьдесят! Сдавай позицию, потому... народ пошел, прямо... развитие финансов! Вот тебе

и мозги телячьи, с яичкем, ешь без внимания... Где ты их найдешь? за боле тыщи?!

Давно не видал Иван Степаныч такого изобилия. Он ел все, что черпал ему дрогаль вилкой и пальцем в дегте; выпил и мадерцы.

– А бедному люду как?..

– Теперь энто отменено, не полагается быть! Бастуй-крути!.. А ты чего впустую?! Да с ма-слицем! За две тыщи угнали, а у меня без внимания... Да мозгов-то приложи, во как я сыт! Умней будешь! А Машку пуще всего арихметике учи и в гости ко мне ходи... без внимания, чего хошь. Хошь утячьих яичек дам на выводок?! С утенком будешь, сала натопишь... Во, она, ривалюция-то чего доказала! Господь-то как определил... а ты напротив Бо-ога хотел!.. Я-а, брат, помню... про церкву тогда смеялся!.. Понятно, не сказываю, а то б тебя из училища гнать надо... Ну-ну, не серчай... любя говорю, как вместе служили при бычках... Я попу селезня намедни, с хрестом были! А?! опровежрение-то судьбы!.. Вот тебе сахару... цельный кусок! И внакладку можно, привышные вы. Кусается сахарок, а? Не в силах?!..

– Не в силах... – усмехнулся Иван Степаныч. – Пора мне...

– Сиди, не гоню! Молочко твое не готово... У ней свои апирации! ей обязательно надоть на день... восемьдесят кружек... арихметика! А?.. Правда-то как сказалась! Чего мозги-то изделали?! – хлопнул себя дрогаль по белому лбищу, поставленному на бурые щеки. – Которые гвоздили, а ты поддакивай! Ри-валюция!.. Удумали хлестко! Дай Бог здоровья. Куличика-то возьми, не бойся... да мажь, мажь его полютей... во как! Не в силах ты, видать, на масло! С мозгами теперь быть надо... А кто с мозгами?.. Утру-дяшшии... Я не барин, штанов не скину, как опять чего будет... Спикуляция! Глаза открыли... Помню, как ты про нас старался... образовал... Вот и угощаю!

Иван Степаныч подавился студнем – в горлышко ему попало – и закашлялся-посинел.

– Никак подавился?!.. Машка, стучи ему... под шею ему, сюды, дура!.. Пролезло?.. Я, я уж... ужли подавился! Это у тебя дорожка заросла, отвыкши... А Машку арихметики спрашивай, лупи ее, стерву... на милиены учи! Ишь, какая мордастая... Песни твои поет. Ты ее про коня обучал? Чего ты, говорит, овса не ешь, никто тебя не кует?.. Этого быть не может.

– Совсем и не так, папаса... – покраснела Машка.

– Меня не учи, ученая! Я все знаю. Ты ее веселому обучай!..

Анисья принесла молоко.

– Посчитаю уж с тебя по восемьдесят, Иван Степаныч.

– По семьдесят рублей брали... Но все равно...

– А таперь по ста двадцать даю-ут! – сказал дрогаль. – До тыщи догоним... и дадут! Совместно надоть! Ты на мене, я на тебе... оборот капиталов! Все мозги открылись!.. Друух!..

– Страшная жизнь пошла... – как сквозь сон отозвался Иван Степаныч.

– Ничего не страшная... Не пужайся, и все! Спроси ее, когда лучше было?

– Да чего уж! – всплеснула руками Анисья. – Намедни варенья захотелось абрикосного... ну вот хочь помри! Прихоть вот, по нашему женскому положению... сами понимаете...

– Говори, не стесняйся! Ну, опять у ей фабрика заработала, с харчей... – сказал, просияв, дрогаль. – Пять ей банок приволок, – мажься! Боле тыщи кинул – плевать! Я энти деньги... из корзины выпирают! как сено уминаю!..

– Чечунча-то у барыни все лежит? – спросила Анисья.

– Какая?.. А, да... на муку выменяли.

– Ишь ты, и не сказали! А мы молочко-то вам как считаем!..

Идя домой, Иван Степаныч смотрел на проступавшие звезды, и ему хотелось бежать, бежать... ткнуться куданибудь, где бы – ни дрогалей, ни революции, ни слов, ни мыслей... Он переел, и его мутило с непривычки.

VI

Год ли, два ли прошло – Иван Степаныч и не считал. И календарей не было. Он еще учил в загаженной и холодной школе. Иногда в классе он вскидывал голову и озирался: где же... окна?!.. Раньше окна были широкие, через них солнце лило... за ними горы под облака... Теперь... фанеры, заклейки, тряпки – а в них свистело. Кучка одичалых ребят пугливо-злобно следили, как он, в корчах от кашля, стучал кулаком в бессилии и шипел не своим голосом – «молчать!». В ответ летело:

– Селедка-селедка!.. холера!..

Он читал им из тощей книжки, присланной от начальства, диковинные фразы:

– ...«Проле-тари-ат... несет... свет... миру...» Написано?.. – спрашивал он, изнемогая. – Дальше... «Нет бога...» С маленькой буквы – «бога»!

– Х-лера!.. с-ледка!.. – шипело ему в ответ.

– ...«а лишь... природа...»

Сводило скулы, он кашлял, сплевывал на пол кровью, уныло рассматривал и с жутью и отвращением растирал.

Войдя как-то в класс, он увидал на черной доске, мелом:

ХАЛЕРА!

Он сел за столик, подышал в пальцы, оглянул класс... Сидело семеро, в тряпках, с желтыми лицами, глядели исподлобья, с ненавистью. Трое недавно померли. И эти скоро. Он всматривался в них долго, силясь сообразить – да зачем все это?.. Детские лица меркли, сливались, уходили. Глаза его налились слезами, спазма сдавила горло, он склонился на столик и затрясся. Он рыдал и не мог остановиться. Наконец выплакался, утер рукавом лицо. Они все так же сидели, съежившись, неподвижно, как неживые. Тогда он – чтобы оживить их – пошел к доске, улыбнулся им ласково и грустно и поправил ошибки мелом.

– Дети... – шепотком сказал он, теряя голос, – надо... не «ха-лера»... а... «хо-лера»... И «ять» не надо...

И грустно улыбнулся. Но лица детей не оживились.

Семьи убавилось. Жена ходила в сады, а после уроков ходил и Иван Степаныч. Думал, – на родину убраться, за Кострому?.. Но денег не было, да и доктор сказал по совести: не больше годика проскрипеть. Да и за Костромой – что хорошего?!..

VII

Осенью как-то копал Иван Степаныч «чашки» в садах, под грушами, – за бутылку вина и полфунта хлеба. И видит: идет-пошатывается человек, с мешком и лопатой. Дрогаль Иван?.. Он самый, похудел только и постарел, и рвань рванью.

Признал дрогаль Ивана Степаныча и подивился:

– Жив?!

– Жив, пока... – уныло сказал Иван Степаныч.

– Во-о, чудеса!.. А болтали... учитель помер!.. – с раздумкой сказал дрогаль и сел под дерево закурить. – Выходит, долго тебе не помереть... примета такая...

Он стал крутить папироску, но табак сыпался – не слушались его пальцы.

Тихо было в садах. Посвистывали синицы.

– Во, нажгли-то!.. – вскрикнул дрогаль нежданно; Иван Степаныч даже уронил лопату. – А?!.. – выругался дрогаль, швырнул порванную бумажку, достал из мешка бутылку и вытянул все до донышка. – Царское жалованье пропиваю!.. Во, придумали-исхитрились!..

Он выкрикивал злобно-весело, словно дразнил себя, а замутившиеся до крови глаза его оглядывали Ивана Степаныча.

– Ну, красив ты стал... упокойник! А то солью еще платили... листовым табаком... Не будешь дурако-ом!.. Анисье мыла осьмушку, во?! Подмыливай веселей... чего мужу не жалей! Во, нажгли-то!.. В старых книгах не писано, а энти... прописали!..

– Да, ужасно... – сказал Иван Степаныч. – Мне и так было плохо, а как ты-то дошел?

– Дошел-то не я, а дошлые! – крикнул дрогаль и погрозил Ивану Степанычу бутылкой. – С вашего табуну, одного стану!.. Ноги вам эн еще когда переломать следовало!.. За что-о?!! Гляди, упокойник... первое!.. – пригнул палец дрогаль. – Коней семь месяцев без путя гоняли по своему... тра... мо-ту... срамоту!.. повинность-то ихняя... Замотали! Лошадки-и!.. Воронок в Саблах версты до пунхту не дотянул... Серый у Карасубазара под комиссаром сдох... гнал, мать его... пистолетом грозился... – запеку у самую чеку! Запек. Плакал над ими, как над детьми... Кормов нету, последнего за мешок муки отдал. Цены лошади не было!.. Второе... – пригнул дрогаль еще палец, – двух коров комиссары взяли... для их растил! бур-жуй выхожу по-ихнему... третью свои воры зарезали об Страшной. Анисья давиться стала, с вожжой ее застал в сарае... Это тебе... – оглядел дрогаль пальцы, – три?.. – и погрозился. – Шестеро ртов... Курей покрали, порасенка солдаты унесли... другого собаки порвали, сами съели... Ни-щий... Думайшь, что... нищий?!.. Есть чего, закопано до времени, сызнова буду начинать, как придет... Хорошо ай плохо? Ну, сказывай, упокойник!..

– Что же говорить, ясно... – со вздохом сказал Иван Степаныч.

– А кто... яснил?! Кобель-мерин, а... черт мерил?.. Ну, ты повеселей скажи. Как, нечего?! А ты духу набери-поври. Бывало, как хорошо умел! А копать-то ты, видать, не умеешь... Враскачку ее бери, глыбже... грудями-то навались, гру-дями!.. Куды тебе копать... другие тебе будут копать, вот-вот... Бьет-то тебя как... никак кровью?! Это с бычка с того, с фронту... шабаш! Стало быть, это в тебе чихотка завелась... гниет в грудях! Молочка бы тебе попить-полечить, с медом бы... а то сальца топленого... а ты копать пошел! Во, нажгли-то!.. – гикнул дрогаль и ляпнул пятерней по другой... – Во-о, исхитри-лись как!.. Это тебе за нас.

– Как?!.. мне... за вас?! – вне себя крикнул Иван Степаныч, и серое лицо его пошло розоватыми пятнами.

– Как-как!.. А кто обучал, головы морочил? Ваше! все ваше!.. Силы отворились! В кабалу хотели забрать? Настоя-

щих порешили, кто умел... расстреляли?.. теперь на дураках ездют, солью кормят?! Надысь махонькой у меня помер... А у тебя?! Двоех... Всех перехоронишь и сам подохнешь... и помету от вас, окаянных, не останется! Праздники?!.. Как с Перевалу тогда катили... Праздники! Про Бога смеялся... с ними?..

– Как тебе не грешно... Иван?!

– Не оборачивай... я тебя, блудуна, зна-ю!.. Заместо шапки кота?! Я те твоим котом... потом! На господское метили, рванье дырячье?.. Местов захапали, жалованьев себе наклали, почету... на автомобилях пылят-гоняют... цари, так их в душу... с подворотни!.. Глаза запорошили... Мы-то за что муку принимаем?!! – крикнул дрогаль, схватил лопату и ударил в грушу. – Так бы... по пузырю!.. И суда не будет. Под Корбеком полоснули такого же, и милицейский не приходил!..

Мертвыми глазами глядел Иван Степаныч на дрогаля. Выпала у него лопата из рук, и он схватился за дерево.

– Знаешь, сколько я с фронту тогда привез?.. Пятьсот! Богаче меня не могло быть, при моей работе... Огни сулил?! Думаешь, беспонятные? Все поспалили, дармоеды... Про звезду твою, думаешь, не понимал... чего ты думал?! Увидали теперь... на шапках! Куда гнул-то... Думаю, какую такую звезду занадобилось? Вот она-а!.. Только вот хозяева-то... душегубы-то наши тебя не уважили, а то б ты себя доказа-ал! Все у нас говорят... сам не подохнет, – все едино, живу ему не быть!..

– Дикие!.. Дикие!.. Дикари!.. – в голос хрипнул Иван Степаныч. – Господи!..

– Теперь за Го-спода?!.. Я жилой вытянусь... соль лопаю, табаком заедаю, дьяволы... а свое ворочу!.. с вас, со сволочей, сыму... до кости!..

VIII

Шел Иван Степаныч из садов затемно, нес свои полфунта и бутылку вина. К ночи засвежело, дул ветер, пробирал до костей. С утра Иван Степаныч не ел, ослаб, – а до дому было версты четыре. Да есть и не хотелось, – хотелось пить. Присел передохнуть на щебень – и тут же почувствовал слабость и дурноту: летали перед ним мухи... Он попробовал встать, но его сдуло ветром. Еще соображая, он еле-еле достал из мешка бутылку, зубами вытянул пробку и напился. Сразу стало теплей, бодрей. Он выпил еще, прислушиваясь, как пошло по телу, радуясь, что вернется сила. Он допил все, посидел... Вернулись силы. Тогда он забрал мешок, поднялся легко и пошел бойко, уже не слыша ветра. Ветер теперь дул сбоку, – дорога давала петлю.

Он прошел с версту. Быстро густели сумерки, и скоро совсем стемнело. Вино работало в голове, путало ноги, – и стало мутить от голоду. Стало вино мотать поперек дороги,

но голова была легкая. А ноги так и попрыгивали, не чуя камней и ямин. Иван Степаныч выбрался на бугор, откуда виднелось море, – теперь невидное. Вправо, где городок, не было огонька. И впереди, за четною далью моря, – не вспыхивала искра. Маяки давно погасли.

Иван Степаныч остановился. Вспомнилось ли ему с вина или схватило за сердце болью... – в помутившейся голове сверкнуло давно забытое:

«...а все-таки... впереди... огни!»...

Скакнуло на заплетающийся язык, и, выворачивая его из клея, силясь увидеть из-под тяжелых век, вглядываясь в душившую ветром темень, Иван Степаныч выговорил с усмешкой, чему-то радуясь:

– А все-таки... впереди... о... гни!..

Его швыряло вином и ветром, как мачту баркаса в шторме. Он что-то кричал несвязно, смеялся, гукал, махал руками, – невиданная ночная птица, – забился кашлем и ткнулся в колени, в пыль. Свалило его вином и ветром.

В этот вечер дьякон искал по балкам свою корову. Шел домой запоздно и наткнулся впотьмах на мягкое. Пригляделся... – и оробел: никак убили?! Но слабые стоны и бормотанье сказали ему, что человек еще жив. Он нагнулся и разобрал, что это Иван Степаныч. Потом увидал на белой пыли дороги черневшееся пятно... Кровь?! Остро пахло... вином как будто?..

«Неужто пья-ный?!..» – скорбно подумал дьякон и потолкал:

– Жив ты... Иван Степаныч?!..

Но мог разобрать только:

– Хо-лодно...

Что делать?.. Не донести одному, неблизко. Лошади у дьякона уже не было, да и ни у кого не было. Он подсунул под голову Ивану Степанычу его мешок с полфунтом, подумал... – еще покрадут?.. – но все-таки снял с себя женину кофту ватную, накрыл потеплее и спешно пошел домой. Разбудил старшего сынишку, взял тачку – и они вдвоем подняли Ивана Степаныча на тачку, посадили бочком, подсунули ему ноги, чтобы не волоклись, и с великим трудом, сами несильные, доставили уже глухою ночью к школе.

К утру Иван Степаныч отмаялся: выхлестало его кровью.

Май 1924 г
Ланды

«В УДАРНОМ ПОРЯДКЕ»

(Рассказ ветеринара)

I

В час ночи, помню, телефон ударил. Сам товарищ Шилль, из исполкома: в совхозе «Либкнехтово» заболел внезапно Ильчик!

– Поручение в ударном порядке!.. С первым же поездом или возьмете экстренно паровоз... Ильчик должен быть выздоровлен! – кричал мне Шилль: жирно стучало в трубке. – Ну да!.. даже в газетах было, что это наш дар... ну да! Англичанам, залог торговых сношений! Если сдохнет, все раскричат, что это... ну да! Примите меры в ударном порядке! Возлагаю на вас ответственность!

Скажете – анекдот? Нет, этого жеребеночка я знал прекрасно. В ту пору пороли «лошадиную горячку», собирали осколки былого конского богатства, искали Крепышей и Холстомеров – увы, погибших. Ведомства наперебой сбивали свои конюшни, для подработки. На бегах, понятно. Даже Наркомпрос тянулся. Ну, и мы, конечно, совхозы наши. Шилль горел азартом, заделался таким спортсменом... – играл в тотализатор. Трубил губами даже «Эй да, тройка! снег пуши-стый!..». И все сбоили. Была у нас кобыла, полукровка из орловцев, Забота, – откуда-то стянули. Ковылем ее покрыли. По аттестату – сын Крепыша, но я-то видел, что Крепышом тут и не пахло. Выгодно, понятно: паек на воспитание, доходы. Появился Ильчик. С маткой его отправили в совхоз, на травку. Делегация какая-то случилась, из Англии. Повезли в совхозы, расхвастались: смотрите, рысаков готовим... Холстомеры будут! Из делегатов – лошадник оказался, похвалил: нельзя ли, дескать... нам «орловца»? дружбу закрепить между великими народами!.. Ильчика в подарок, в обмен на йоркширов. Выпили и подписали, что сосунок останется до году с маткой. И вдруг – такая телеграмма: «Ильчик заболел внезапно!»

Под утро – агроном ко мне, старик. Бледный, дрожит:

– Михал Иваныч, родной... не подведи! Шурин у меня в «Либкнехтове», помощником... попадет под суд, если подох-

нет Ильчик! Брат его расстрелян, корнет... пойдут анкеты. И еще там один знакомый, беженец, маленький помещик зацепился, в приказчиках. Шум пойдет, наедут... Оберните как-нибудь, родной!

Чудотворца надо! Когда «внезапно заболел»... – готовься. Ну, мне-то не впервой, прошел все фронты. И «билет» имею, – примочку. Понятно, связи спиртовые. Ветеринар всегда с «примочкой», – компрессы, растиранья! Руку набил в манерах с ними, и потом, фигура у меня такая, валкая, и голос... Очень помогает. Пивали с ..., а это – марка!

Ладно. Собрал свой чемодан походный, буйволовой кожи, спиртику, понятно, в дозе, для примочек всяких... получил мандат всемерный, ударный. Шилль благословил в дорогу:

– Помните одно: дипломатические осложнения возникнуть могут! Англичане слишком упрямы, обидчивы... – связались с ними!..

Взял паровоз – айда!

На станции меня уже ждала разбитая пролетка парой. Кучерок потертый, старичок, остаток чей-то. Но каково же было удивленье! Знакомый оказался, Левон Матвеич, из Манина! Этого не ожидал никак. Совхоз «Либкнехтово»-то оказался совсем родной: Манино так окрестили, бывшее гнездо близких мне стариков, которых я считал умершими! Все эти годы мытарили меня по фронтам, по эпидемиям. Вернулся – в сыпняк свалился. Дела, метанья, все из головы пропало. А еще в 18-м году писали мне, что Василий Поликарпыч Печкин скончался от удара, а Марья Тимофеевна уехала куда-то. Ну, подумал, мужички прогнали! Внуки у них пропали, знал я это: один у Колчака, другого где-то расстреляли. Оба – были офицеры, из реалистиков. Сын Печкина, уже в годах, крупный колониальщик, от тифа помер, в каземате. Все развалилось... А в Манино все собирался, – от попа узнаю! И вдруг...

– Батюшка, Михал Иваныч... живы?! А у нас-то говорили, солдатишка воротился ихний... расстреляли, говорит, его за спирт! Сам будто видел!

Здорово сдал старик, лысина одна осталась да зуб торчком, со свистом. Заплата на заплате, босиком, веревкой подпоясан. А бывало, – в малиновой рубахе, шелковой, в синей безрукавке, сухенький такой, субтильный, бородка подстрижена в пакетик, на головке бархатная шапочка, в перышках павлиньих, синий кушачок с серебрецом, и ручки – стальные кулачонки. Бывают ямщики такие, ярославцы, особой крови, полукровки. Половые тоже.

Заплакал даже, как увидал меня. И все в оглядку, шепотком все, – запугали, видно. Нервные они – такие.

А верно, было: судили меня за спирт, за спаиванье комсостава, да командарм вступился: пивал и с ним я. Ветеринар!

ну – сами понимают, при лошадях! «Телеграф расейский» тут не соврал. Почти.

И чудеса опять: старики-то живы оказались! Верно, был с Василием Поликарпычем удар, и Марья Тимофевна с полгода где-то пропадала: разыскивала внуков. Золото возила – не нашла. И золото запхала в чьи-то хайла – не открылись хайла.

До Манина верст десять было. Много мне старик поведал-выплакал, зубом свистал, слезами досказал. Василий Поликарпыч в параличе, живут на скотном, выгнали из дома. За главного – товарищ Ситик...

– Си-тик! Не Ситник... а, сказывает... грузинский молдаван, черный ходит, на манер цыгана. А то видали – рыжий, вот как корова... как смоется! Краской, что ли, мажет... Помните, в зальце-то у них была икона «Все Праздники»? Себе оставил. Думали: ну что ж, хрещеный человек... порадовалась даже Марья Тимофевна. На редкость ведь! Ну, ризу снял... серебряная, плотная. Смотрю, хлеб на иконе режет! Я ему еще сказал: «Так не годится, мне лучше подарите!» – «Глупый ты, говорит, старик. Я святым делом занимаюсь, хлеб – самое святое дело!» Сукин сын... всю исполосовал, все-то лики исчаряпал как!.. А-а, Михал Иваныч?.. чашу-то какую разбили! И все свиньям под хвост. Сердце истаяло, глядемши. Что же это допущено? Михал Иваныч?! Сколько выхожено было... Тридцать четвертый год я здесь, все видел. Василий Поликарпыч лежит, не узнает своих. Марья Тимофевна в скотницах у н и х... уж упросила, чтобы коров доить дозволили... молочной частью ведует... Да что, от ста коров четыре всего осталось. Вот такое награжденье за их труды! Михал Иваныч?.. А теперь что будет!.. Все, должно, погибнем...

– А что такое?

– Да Ильчик наш... бок напорол, на борону попал. Теперь всех расшвыряют. Фрухты с оранжерей всем главным посылали, в глотку им... Только не тревожьте! Два года бились, сидели в заводинке, не дохнули... А нонче – депеша от Шила ихнего! «Ответите за жеребенка головами!» А, Михал Иваныч?! Из чеки один с утра дежурит, наскакал с уезду... стерегет, паскуда... все нюхает. Во какой струмент при нем! Глазами сверлит. Как нас расшумели! С Англией теперь война через нас будет, энтот говорит! За крохотного жеребенка!.. А, Михал Иваныч?!.. Где это видано? С ума все посходили, что ли?.. Михал Иваныч?..

– Ничего, – говорю, – Левон Матвеич... Без шума они не могут. Как-нибудь избегнем.

– Да ведь сдо-хнет! Лежит... а все кругом дрожат. Михал Иваныч?.. Крепостное право помню... пе-сни-то как пели! Солнышко видали!.. А теперь, поверьте... ночка бы скорей пришла, заснуть бы... А, Михал Иваныч?..

Крепостное право!.. Он на фронтах не был, старик. А-а... Жеребенок, война... Какая чушь! Свежему человеку если... Я не смеялся: по опыту я знал, как может обернуться с жеребенком. В Сибири где-то, при погрузке Крепыша... – нашли его у казаков в деревне где-то, рассказывали мне на фронте... – или еще какой-то знаменитости... – по всей России разогнали кровных, все прятали!.. – доску продавил в вагоне, застрял... ногу сломал. Понятно, пристрелили. Судили трибуналом провожатых. Старшего – к расстрелу, других – в работы. А тут ведь – Англия!..

Плакался Левон Матвеич, лысиной ко мне бодался, все шепотком. Мужики не разоряли, уважили. Чтили старика, труд его почтили – всей жизни. Знали: ногами выходил, с лотком на голове. Только луга косили, полстада взяли, – сами приходили, просили: соседи грозят забрать. Сады, оранжереи – все в порядке было. Всем деревням по мере яблока на двор давал! Яблони велел сажать, сам обходил округу. С мужиками ругался. Кричал: «Смотрите, дураки... мужик я был... с двугривенного начал!!! всей России скажите, что плутовал... – на суд поставлю! докажи, мерзавец!» И дом не тронули. Готовое забрал совхоз: яблочки приятно кушать. Именьице давало сорок тысяч чистоганом, теперь – плывет, на шею село. Скотине не хватает.

– Поглядите, Михал Иваныч... чалый-то какой! Овса не выпросишь. Дают стаканчик, жидоморы! Ну... Михаил Иваныч?!.. Мужики ахают... Черт будто обломал!.. Да что же... неужто по всей России так... Чашу какую расплескали!.. Михал Иваныч?..

Много я повидал на фронтах! Гибли богатства, люди, города пылали, мосты взрывались вмиг... Ну, война!.. Но этот случай, с Маниным, меня потряс. Столько о нем я знал, об этих тихих людях, милых старичках, об ихнем прошлом! Марья Тимофевна... Василий Поликарпыч... Боже мой, за что?! Этих-то за что?! Весь бы рабочий мир гордился ими! Их бы под стекло, в витринах поставить надо... показывать на выставках... Тетя Маня... Маша-ярославка... ягодная Маша...

Мы проезжали перелесками, полями, деревнями, болотцами, кустами. Все казалось как будто прежним. Кончался август. Осинки начали краснеть, березки золотились краем, зеленела озимь. Сух был и ясен воздух. Небо бледнело изголуба-бело, и паутинки падали и липли. По сухим буграм стояли одинокие березки, золотились, – белые, в сиянии,

свечи. Встречались ребятишки, рыжики несли в лукошках, предлагали – за миллионы только.

Затрясся мой старик на козлах, перегнулся к лошадям, – и засвистело зубом:

– А-а-а... мили-е-ны!.. Все с ума сошли... Ми... хал Иваныч?..

Рябины обвисали, красили деревни. Свежим пятном кое-где белела стройка – разжившихся с променов, с грабежей, с удачи. Попалась девка в пухлом плюше, голубая, как кукла; стояла на пригорке, под красным зонтиком, каракулевой муфтой до колен укрывши пузо; чудной сидел старик на бревнах, склонившись головой – в цилиндре, думал думу; босой и в котелке, в рубахе распояской, тросточкой показывал мужик на крышу: там другой трудился – набивал на палку рогатый руль велосипеда. Мальчишки кучкой катились с косогора по сухой траве, – лепились на качалку-кресло, путались в дыре, галдели. Попалась баба под горой, тащила с речки на коромысле – бадью и судно. Новое кривлялось, искало места. Встречались и фигуры поновее: товарищ – парень, в галифе с блестящим задом, с кожаной заплатой, подрагивая ляжкой, расставив ноги, лихо умывался под колодцем, с часами у запястьев; гордая его красою баба, мать по виду, ему качала; или верховой мотался, с наглым взглядом, в приплюснутой фуражке, красной, – портфель на ляжках, кобура с наганом, в красных звездах, длинная пола шинели развевалась, сияли шпоры.

Левон Матвеич выжидал, когда отъедет, шептал – плевался:

– Самый этот вредный... чека зовется. Все по именьям рыщут. У нас сады все рыли, семь сундуков искали, им все известно... Золото в сундуках зарыто! Зарыто – не зарыто, а найди, поди-ка!

– А где же Даша? – вспомнил я вдруг певунью.

Вспомнил ночные песни, душные ночи лета, светлые полосы из окон, пятна цветов на клумбах и звон рояля... зеленые тени абажуров, тени на полотне террасы... Канарейку... Вон ее милая головка у рояля, вон перекинулась страница, бледная рука мнет непокорную бумагу... Где ж она, милая консерваторка, племянница-сиротка, радость дома?.. Вспомнил, как Василий Поликарпыч, сгорбившись, слушает в качалке, подтопывает сапожком мягким. Встанет, избочится, нежно погладит сзади и запоет, счастливый:

Я – ге-не-рал...
А ты... ки-нарей-ка.

И чуть пройдется.

– Отпелась, Михал Иваныч, Кинареичка-то наша!..

И я узнал: наша красавица певунья – как она «Тройку» пела или – «Во поле березынька стояла»! – была сестрой милосердия, в Самаре ее арестовали на вокзале, и она пропала, а Василий Поликарпыч, уже после удара, посылал садовника Тимку – красноармейца, разузнавать в Самару. Дал живого золота Тимке с сотню – «только всю правду дознай про нашу Кинарейку!». Тимка таки дознался, гулял с ними. Сказывали ему, что верно, была у них красавица певица, точь-в-точь такая, да только Маша, а не Даша; гоняли ее из тюрьмы петь солдатам, русские песни она пела; потом взял ее к себе на квартиру «главный», да она уж не пела больше, – и не видали. Что-то вышло, не говорили только. Сказал один в красной шапке, с которым кутил Тимка: вывели ее, понятно... все равно, так бы не отпустили! она офицерам служила, карточку при ней взяли!

– Помните, бывал у нас сын генерала Хворостова, улан-то? С ним она и поехала отсюда... Вот какие дела-то у нас, Михал Иваныч... А может, и найдется!..

Старик остановил лошадей, обернулся ко мне и, поглядывая к кустам, стал загибать на пальцах:

– ...Вот сколько выходит, по одим соседям... семнадцать человек перегубили! Наших душегубцев один всего оказался... телеграфист со станции, Алешка, такой, помните, волосатый? депеши возил, бывало? Такой лютый людоед взялся... Василию Поликарпычу в рот пистолет совал, – где деньги?! А бывало, полтинник получит, до самого забора козыряет!..

Я привык в трудные минуты обращаться к медицине. Всегда она при мне в приличной дозе. И тут, услыхав о моих стариках и певунье-Даше, – с детства я живал в Манине, как родной, – мой покойный отец был из той же ярославской деревни, торговал зеленым горошком, – я почувствовал, что пружина ослабела и надо зарядиться.

– Постой-ка, Левон Матвеич... – сказал я ему и щелкнул себя по горлу, – «колеса смазать...».

У березок мы остановились. Я произвел смешение жидкостей в должной мере, и мы помянули прошлое, закусив яблочком.

– Михал Иваныч!.. Ангел вопияще!.. – бодал лысиной Левон Матвеич.

А я посматривал на березки. Милые вы мои, все те же... И травка та же, родная, горевая. И пахнет... помните, в хрестоматии... Гоголь, что ли... или Толстой... – «И пахнет свежей горечью полыни, медом гречихи и кашки»! Мне за это на экзамене влетело, за диктовку!

— Выпьем, старик! — налил я по второму, а он плачет.

— Михал Иваныч... Теперь хорошо, никто не видит... будто опять слободно, с вами. Осветили! Крови-то сколько приняла, впитала... — похлопал он по травке.

И вот, смотрю я на тихие березки... белые, золотые, на крови нашей! Повернулось во мне, как колья...

— Ну, — говорю, — старик... чувствую я... верно ты говоришь... впитана! Теперь она мне тысячу раз родней стала! Она скажет! Скажет?..

— Скажет, Михал Иваныч. Кровь всегда отзовется!

Пошел он к лошадям, встал перед ними, поглядел так, всплеснул руками, охватил морду чаленького, старого, — Василий Поликарпыч на нем на дрожках ездил, — ткнул в него, захлюпал. Шапка его свалилась, лысина покраснела, и по ней задрожали жилы. И чалый в него зафыркал. А меня слезы задушили.

— Ну, старик, едем. «В ударном порядке» — приказали! Так плох сосунок-то?

— Издохнет, Михал Иваныч. За вами поехал — дых у него стал частый. Теперь с англичанами воевать придется! — задребезжал его смех свистящий, и зуб его желтый засмеялся. — Да только они... визгу от них много... себя застращивают, чтобы еще лютее! Теперь вот... — конторщик мне говорил, — дикрет пишут! Чтобы по-нашему говорить не смели, а на весь свет изобретают! Книжку показывал конторщик... велено поихнему чтобы!.. — понизил старик голос, пригляделся к кустам и плюнул.

Кругом только березки были. И птичка какая-то пищала, прощальная.

А вон и Манино завиднелось по низинке, и во мне задрожало сердце.

II

Я увидал манинские сады, десятин на двадцать, — Царский, Господский, Новый... — в бархате строгих елей, в золоте и багрянце клена. Золотая чаша... расплескалась?..

Глухари загремели глухо — вкатили в еловую аллею. И поднялось былое. Вот увижу парусинную поддевку, белую бородку, палку, — покрикивает Василий Поликарпыч; к навесам ползут телеги, плывут на плечах корзины, желтеют-алеют груды, шуршит солома, и душит вином от яблок, — вином, смолою... Подводы плывут навстречу, жуют мужики с хрустом, сияет солнце... «Здравствуй, Михал Иваныч! — кричит, бывало, — по яблочки приехал?..»

Да, черт... на сладкие тогда яблочки приехал!

Было как на кладбище грустно. В елях сады сквозили, сады дремали. Краснели точки. Мальчишки шныряли воровато, пугливо выглядывала баба – кто такие? Чернели пустынные навесы, где-то как в пустоту стучало, – в ящик?.. Бежала коровенка, орала девка, яблоками швыряли в коровенку: «А, лих те носит!..»

– Хозяйского-то глаза нету, гляди-ка!.. – сказал Матвеич. – Летось сгноили... нонче совсем не уродило... Сушильника намедни арестовали, Николая... За одно словечко! «Сволочи, царя убили!» Велели на чай жарить. Китайцы не дают чаю... ну, гыт, мы им покажем! Ну вот – казать и будем...

По низине пошел малинник, – десятины, вправо – поля клубники, ржавые сухие гряды, красно. По косогорам ряды «смороды», – так и звала Марья Тимофевна, – смородина, крыжовник. А вон и веселое сверканье, – одни за другими, стены, – оранжереи, грунтовые сараи, с высокими щитами – парусами. Пробоин сколько! – словно залито дегтем. За радугами стекол виднелось мне зеленое мерцанье, помнились грозди сливы, персиков, померанцев, шпанской вишни...

Если бы вы видали! Печкин-Печкин!.. Ярославец ты ярославец!..

Смотрел на дырья...

– Верите ли, Михал Иваныч... стеклышка вставить не осилят! Что поморозили, поганцы!..

Белая, золотая слива! печкинские ренклоды... И Москва, и Питер, и Гельсингфорс, и Вена, и Стокгольм, и Лондон – все едали. Я вспомнил дипломы в золоченых рамах и золотисто-синий «ерб ве-ли-ко-британский!» – победу ярославца. Бывало, перед стенкой встанет, пожует бородкой на дипломы, глазок прищурит, – так у него из глаз-то – таким-то смехом, бойцовым таким, мудрющим!.. «Бумага... а красиво!» Весь белый, в жарко начищенных сапожках, легкий, щеки как яблочки, румянец стариковский этот, – поокивает мягко:

– Слива моя завоевала! Онтоновка «кольвиль» ихний побила... експерты отменно похвалили. Русское яблочко... гордиться можем! А за Маничкину малину... в честь Манюши... – «ерб» прислали! Сорт сами укрепили, че-тыре ихних сен-ти-метра! Тридцать тысяч россады взяли, ягоду очень уважают англичане! Только у них собьется... щепы такой у них нету... да и подливки... секрет не скажем! А вот и портреты наши, в ихних журналах были... – покажет на золотые рамки с вырезкой из английского журнала. – Тогда бы нас они сняли, как ягоды носили... корольки прямо были! – Так петушок и ходит. – Что, Мишука... не удает ваш Ро-стовте?..

Великий был патриот Василий Поликарпыч!

И вот как ехал я этими садами, вспомнилось мне – как сказка! – «как в люди вышли». Рассказывал и Василий По-

ликарпыч, и отец покойный, – торговал когда-то горошком с заграницей. И я подумал: сколько же растеряли по всей России! Про это написать нужно. Всем рассказать нужно, как лапотки скидали.

Учил когда-то... Король какой-то лапоть у себя повесил, в герб вписал: «Из мужиков поднялся!» Ну, и у Василия Поликарпыча был свой «лапоть», стоял в уголку, в конторе – первый его лоток, как память. А у Марьи Тимофевны была брошка. Заказал ей к золотой свадьбе Василий Поликарпыч брошку: золотое плетеное лукошко, полно малины, рубинами доверху! Сам придумал. Ну, скажите... хорошему поэту впору?.. А она про заказ как-то разузнала – ладно! Съездила куда-то, ни единая душа не знала. Пир, гости... показывают подарки, – совсем недавно было. От Марьи Тимофевны Василию Поликарпычу подарка нету! Ну, дивятся. И Василий Поликарпыч какой-то не свой ходит. Она ему: «Уж прости, забыла!» А он всегда деликатный: «Ну, что ты, Манюша... ты у меня подарок!» А сам расстроен. Все помню, хоть здорово я тогда урезал. С протодиаконом мы тогда за «русскую славу» пили, на войну я ехал. Подходит ужин. Ну, уж... рассказывать не буду. Всего было. Приехал сам вице-губернатор, – понятно, и исправник... Перед сладким протодиакон разодрал такого... ей-Богу, лопнуло в коридоре стекло у лампы! «Многая лет-та-а-а!..» Одну старушку из-за стола под руки выводили, на мозг ей пало! Знаете, как у лошадей «оглум» бывает?... И вот, как музыканты протрубили, – двери настежь, и вносят двое... Под розовой кисейкой, на стол, на середку ставят! Ну, все понятно... Перед «молодыми». Встала Марья Тимофевна во флёрдоранже, лицо – как старинная царица... или будто Марфа Посадница! Черты у ней – старое серебро на перламутре! Влюбиться можно. И вот подымает она кисейку... – ивовая корзина, а в ней и цветная тебе капуста, и редиска молодая, и молодой картофель, и – «огурчики зелены», верхом! А посередке – портрет самой Марьи Тимофевны, во флёрдоранже. И все это, до корзины, – из марципана, чудеснейшей работы, от Абрикосова Сыновей! Как увидал это Василий Поликарпыч, поднялся, так это часто-часто затеребил бородку, голову так вот, бочком да кверху, приложил к щеке руку да как говорочком пустит бывалое... «О-гурчики зеле-ные!..» И заплакал, обнял Марью Тимофевну, под крики. Смотрю, как поднялся протодьякон, здорово был в заряде... и давай орать: «Сельди га-лански... ма-рожено... ха-ро-о-ши!..» Всех уложил врастяжку. Подошел к Марье Тимофевне, кричит: «Берите ее в министры! у нас министры не быстры!» А тут вице-губернатор!.. Ну, ничего, смеялся. А потом комплимент Василию Поликарпычу преподнес. Вынул его из-за стола, как

ребенка, на руки взял, помните, как в «Соборянах»... – поцеловал осторожно и возгласил: «Твоей головой, Вася, всякую стену прошибить можно!»

Все о них рассказывать если, – роман выйдет. Пиши – Россия!

Помните, конечно, как девки наши или молодухи ягоды по дачам продавали? Голос певучий, мягкий, малиновый, грудной. Красавицы какие попадались! Стоит за решеткой, беленькая, цветной платочек, с решетом клубники или малины, сама малинка. «Не возьмете, барыня, малинки? Садовая, усанка... хорошая малинка?..» Таким шелковым говорком стелет, как мех лисий. Не то что парень – трубой выводит, хоронит будто: «Садовая мали-на-а!..» Другая попадется – сливками обольет, – глазами – лаской, ситцевая бабенка наша, сама малина со сливками! На нашем севере ягодки попадаются такие!.. И глаза, и губы... – цветы-сады! Помните: «В саду ягода-малинка под закрытием росла...»? Такая и была Марья Тимофевна наша, Маша-ярославка, ягодная Маша. Вся из русского сада вышла. Должно быть, была красавица. Я ее помню уже пожилою, вальяжною, боярыней. Отец говорил: «Была первый сорт, навырез». Светлая, глаза с синевой, белолицая, и застенчива, и бойка, и тиха, и жарка... Маша! Привезли ее, сироту, в Москву, к тетке, – ягодами торговала тетка на Смоленском рынке. И пошла она носить ягоды по дачам, со всякою овощею, по сезону. А зимой – с мороженой навагой, на салазках, с мерзлыми карасями, – стучат-то, как камни! – с белозерскими снетками, с селедкой переяславской, с мочеными яблочками, с клюквой. Пешая всегда, и в дождь, и в ведро, и метель, и по грязи. Ночами ходила за товаром, из садов прямо забирала, – днями напрашивалась по дачам, у заборов. Ее скоро признали, полюбили – ярославку, «ягодную Машу», – так и звали. Сколько соблазнов было! «Прошла чистою ягодой, не помялась, не подмокла!» – шутил, бывало. Василий Поликарпыч. Кому и знать-то? Скажет, а Марья Тимофевна закраснеет. Смотреть приятно. Стыдливая красота... – теперь не встретишь, по опыту уж знаю. И сама, и товар – всегда на совесть.

Скоро бок о бок с нею стали встречать парня-ярославца с лотком, с корзиной на голове, с тележкой – веселого, разбитного, умевшего говорить под песни. Он так и сыпал: «Ваше сиятельство, ваше степенство, ваша милость... сударыня-барыня... да вы глазками поглядите, зубками надкусите..!» – прикидывая метко, кому как впору. Под его певучую игру торговца, за его свежесть и пригожесть, за белые его зубы – смеющимся горошком – любили у него покупать дамы: он приносил веселье. Сколько же он знал всяких приговорок! – теперь забыто. Бывало, слышат голосок разлив-

ный: «Ко-ренья... бобы-го-ро-шек, младой карто-фель... цветна ка-пуста... редиска молодая... огурчики зелены!..» И в каждом звуке вы слышите и хруст, и запах, прямо, ну... вырезал словами! «Вася-певун едет!» – улыбались, брали. «Барышня-сударыня... огурчик! извольте – надкусите... медсахар! огурчики... все как омурчики... Дынька-с? Барышня, прикажите... не потрафлю – накажите, оставляю без денег-с... Живой сахарок-с, извольте кушать! Прикажите-с? Сахар к сахару идет-с... ротиком накусите, – царская-с! самого дамского вкуса-аромата, нежна, пухла, как вата... губки румянит, красота не вянет! Прикажите!..»

И покупательницы смеялись:

– И хитрюга же ты, Василий!.. Сразу видно, что ярославский!..

– Далеко сразу не увидишь... из-под Ростова, села Хвостова... Не я, барыня, – товар мой хитрый. Не дохвалишь – в канаву свалишь. Каждый день по четыре пуда на голове таскаю. Прикажите, сердце освежите... Парочку-с или... тройку? Есть для вас одна канталупа!..

Заглядывались на красавца ярославца. Ему сватали огородникову дочку с большим приданым, вдова одна с капиталом набивалась, но ярославец наметил Машу. Повенчались и повели дело шире. Маша открыла палатку на Смоленском, Василий – на Болоте, оптом. Подрастали дети. В Охотном была же фруктово-колониальная торговля, на два раствора. Василий Поликарпыч приглядел по дешевой цене, в рассрочку, запущенную усадьбу с фруктовым садом, завел грунтовые сараи-оранжереи – для деликатных фруктов, заложил яблочные сады, ягодное хозяйство – «Манину забаву» – и отпустил Марью Тимофевну на вольный воздух. Дочерей повыдавали замуж, подрастали внуки. В Охотном на фруктово-бакалейном деле остался уже почтенный Поликарп Васильич, в золотых очках, профессорского вида, уважаемый деятель фруктово-колониальной биржи, а Василий Поликарпыч, уже именитый, поставщик Двора, Праги, Эрмитажа, Дюссо... – и заграницы, к Марье Тимофевне перебрался, – «под яблоньками соловьев слушать»!

Ну вот, «соловьи» и прилетели.

Метрдотели в шикарных ресторанах предлагали в разгар морозов: «Первая земляника, «королева»... персики, шпанская вишня – «Щечка Ляпмератрис»... от самого Печкина-с, отборные-с?!»

Золотые гербы-медали стояли на обертках, выжигались на ящиках, в отправку. Оранжереями ведал «волшебник-гений», ярославец от графа Воронцова, бывавший на выставках в Европе – «с одной корзинкой». Лежали его персики и сливы, клубники – на русских кленовых листьях, на

русском мохе, в лубяных коробках, под стеклянными колпаками мальцевских заводов. Стоили эти выставки Василию Поликарпычу «за пять тысяч!» – но... – «для чести-с, для русской славы-с!». И все – выхожено ногами, вымешено по грязи, вымочено дождями, выкрикано осипшим горлом – долгими-долгими годами.

И вот я въезжал в «манинское царство», в радостную когда-то «чашу», в царство веселых фруктов, созданное трудами ярославцев. И еще чем-то... – любовью, честью, гордостью, сметкой, волей – всем повольем, что из дикого поля-леса вывело в люди Великую Россию.

Въехал – и не узнал и дома! Где порядок? Зеленые кадушки, усыпанные красным песком дорожки, газоны с зеркальными шарами, птичники с царственно-важеватою цесаркой, с павлинами на палках, с корольками? Где серебристые, палевые, золотистые, трубчато-веерные воркуньи, турманки, шилохвостые, монашки? Где пекинские, с шишками на носах, утки, гуси, несшиеся, бывало, на белых крыльях в аллеях, зарей ноябрьской, крепкой, вздымая красные вороха морозных листьев, оглушая железным криком? Все слиняло, глазело дырой и грязью. В сосновом доме – светло, просторно вывел его хозяин – в бемских зеркальных окнах, чтобы светлее было, – торчала заплатами фанера, не смотрелись цветы в вазонах – гиацинты, глоксиньи, хризантемы, левкои, гортензии, гвоздики – по сезону глядя. Сидел за ними какой-то тупоглазый, «молдаван грузинский».

На въезде встретил меня его помощник, задерганный человек, когда-то садовод-любитель, похрамывающий капитан в отставке, – знал я от агронома, – с большой семьею.

«Товарищ ветеринар?» – спросил он меня, тревожно нащупывая глазами.

«Он самый. Что вы тут натворили с жеребенком?»

Он уныло пожал плечами. Я намекнул, что положение мне известно, и он поблагодарил меня унылым взглядом.

«Пригласите заведующего! – скомандовал я. – Я буду у жеребенка».

Я приказал старику, чтобы ни одна душа не знала, что я знакомый, и чтобы не тревожил пока и Марью Тимофевну.

«А там увидим, смотря по ходу».

Он понял. За эти годы все стали хитрецами, иные – подлецами. Что это за товарищ Ситик? – вот что нужно.

Я нашел сосунка на травяном загоне, у конюшен. Он лежал, вытянув ножки стрелой, голова за спинку: его уже сводило. У загона стояла матка, вытягивала шею, ржала.

Явился товарищ Ситик, в кожаной куртке, тяжеловесный, важный, но в его маслянистых глазах грузина – или молдава-

на? – мелькало что-то, приглядывалось ко мне, искало. Я показал ему «ударную» бумагу, совсем небрежно, и сказал с нажимом, как я умею с ними:

«А плохой вы коневод, товарищ! Плоха ваша Забота, сильно потеряла формы... А мне говорил... – и тут я загнул имя! – что вы заявляли себя специалистом!.. Плохо, очень плохо».

Ситик засуетился, стал объяснять, что помощники саботируют все дело, что он уже готовит рапорт, что послали матку на работу, и вот – Ильчик...

«Позуольте, товарищ заведующий... – раздался за моей спиной робкий голос, и я увидал тощего, суетливого вида, господина в какой-то венгерской куртке. Это и был «помощник». – Вы посвави сами... – у него «л» не выходило, – затянулась уборка... и... держим дармоедов... кричали про Заботу...»

«Прошу без замечаний! – крикнул на него Ситик. – Вы там поговорите!»

«А, ты, молдаван грузинский!» Ладно. С ними я умею обращаться, практиковал на фронте.

«Виноватые ответят! – сказал я строго. – Заведующий не конюх! Ну, посмотрим, товарищ, что готовите «империалистам»? А за саботаж мы взыщем».

Так и засиял мой Ситик:

«Вы, товарищ, партиец?»

Я его смерил, пристукнул взглядом:

«Ну да?.. 902 года. А вы?..»

Он был – набеглый, с 18-го только. Я еще шибанул парой таких махровых, совнаркомовских, что он сварился. И я потащил арканом: о лошадиных статьях, о масти, об уходе, о плановом хозяйстве, о культурах. А он стал путать. Я говорил о Манине, как о своем кармане, об оранжерейном деле, о доходах, и он заходил за мною, как мимишка. Я намекнул, что «Либкнехтовом» интересуется «особа», вынул блокнот и зачеркал поспешно. Это его перекосило.

«Да, товарищ... все это очень жалко. В таком хозяйстве надо быть специалистом. Я только что говорил с... – и я назвал «особу», – на «Либкнехтово» у нас есть планчик... Ну-с, пощупаем вашего больного...»

Ситнику я испортил «выезд»! Он смотрел на меня, как рыба.

В лошадках я понимаю-таки недурно. Ильчик был хороших кровей, но плох скелетом. Кобыла носила его в работе. Я шикнул мастерством осмотра, – прощупывал и слушал,

определил температуру и дыханье, снял грязную повязку, прощупал зондом...

«Вы... так лечили?! – гаркнул я так, что ахнула кобыла. – Вы не пролили даже... йодом?! Ясное заражение крови... И пневмония! Двусторонний плеврит... менингит... и вот – отеки! Исход летальный!..»

Болван не знал даже, что такое «летальный».

«Ле-тальный?»... – повторил он, как пупсик.

«Полетит голубчик! – и я свистнул. – Пристрелите, не стоит мучить. А теперь мы составим рапорт. Черт знает... срамить нашу республику... Советов!..»

«Что такое?..»

Но я натянул потуже:

«Послать в Европу, чтобы нас подняли на смех? Мало, что на нас вешают всех собак... мало?!.. Чтобы дураками еще считали?!.. Если делегатские болваны не понимают, это не значит, что никто там не понимает! За орловца выдаем – собачку?! На глазах всех империалистов! Здорово шикнули?! А потрачено нами сколько! корму, силы, молока, отрубей, яиц, ухода... когда каждая соринка – пот рабочих! Ублюдок, искривление позвоночника, сращение грудной кости, расплющенная голень, коротконогость... это – рысак-орловец? Не срамитесь!»

Я его захлестал «словами».

«И вы... заведуете совхозом?! Простите... ваша профессия, товарищ?..» – и я стремительно вынул книжку.

«Это не относится к делу...» – пробормотал он, из красного ставши бурым.

«Хорошо. От... политического отдела есть здесь кто-то... По моим справкам – должен быть на месте?..»

Упало, как гробовая крышка. Побежали.

III

Прибежал запыхавшийся, развязный, некто, в кожаной куртке, с истощенным лицом в бутонах, похожий на галчонка, но в шпорах и с наганом.

«Товарищ?..»

«Ясный!» – сказал товарищ.

«То есть как это... я-сно?» – посадил я его на лапки.

Он засбоил с приема.

«Ну да... Ясный... партийная моя...»

«Какого года?»

Он стоял, как заершившийся воробей перед собакой: маловат был ростом.

«Ну... уже пару лет! Почему это вас интересует, товарищ?» – попробовал он взять в ногу, но я и сам был в куртке, и кожа моя была покрепче.

«Чтобы знать, крепка ли дисциплина. Вот случай, – показал я на жеребенка, – на ваш компетентный взгляд... что это? На вас шпоры, значит – понимаете в лошадях. Что скажете, товарищ?»

Он смотрел на меня, на жеребенка, не знал, что делать.

«Осмотрите! Вы от политической части, и заключение ваше важно. Исход, конечно, летальный, но... что вы скажете о... статьях?»

Он не колебался ни секунды. С видом эксперта, для чего-то всадив пенсне, он нагнулся над жеребенком и постоял, руки в боки. Потом, покачав головой, – «Мда, неважно!..» – он потянул за ножку. Жеребенок открыл глаза, и синий его язык высунулся со свистом.

«На живот не жмите! – закричал я, видя, что этот нахал кому-то подражает. – Перитонит, больно!»

Меня мутило, но было нужно – «во имя человека» – спасать забитых.

Он подавил у шеи, взглянул на десны, в обложенное нёбо и потрепал по гривке.

«Да, он... сдохнет!»

«Совершенно верно. А не имеем ли мы характерный случай деградации форм скелета?..» – хватил я крепко.

«Да, случай характерный...» – серьезно сказал галчонок.

«Да вы, позвольте... в кавалерии служили?»

«Я?.. – оторопел он что-то, и его пенсне упало. – Я, собственно, интересовался медициной, фармакопеей... я был...»

«В аптеке? – сразу попал я в точку. – Кстати, вы не знакомы с...? – ввинтил я такое имя из ихнего синклита, что у него зазвенели шпоры. – Он тоже интересовался фармакопеей, теперь интересуется анатомией. Он будет доволен, что у него специалисты и по конской части. Как ваше... Чистый?..»

«Ясный. Товарищ Ясный. Я пока сверхштатный...»

«Только? Ну, теперь, надеюсь... Сейчас актик осмотра... Хорошего они тут нам с вами чуть было не натворили!.. Такой-то экземплярчик – послали бы в Европу, русачка-собачку! Неприятно, что дойдет до совнархоза... Страшно, что не нашлось специалиста, изводили средства... Но, действуя в ударном порядке... А ну-ка пристрелите! – приказал я оторопевшему галчонку. – Не стоит мучить. Ну, вы мастер...»

Стоявшие отскочили, Ситик тоже. «Сверхштатный» показал зубки, его повело дрожью, и стало его лицо хоречьим. Он нервно отстегнул кобуру и вытянул «присягу». Рука его ходила. Все так же щерясь, он присел к жеребенку боком, навел в затылок...

«Под ухо!» – крикнул я, стиснув зубы, повернулся – и увидал матку!

Кобыла смотрела странно. Она как будто присела, вытянув голову, выкинув вперед уши...

«Возьмите матку!» – крикнул я с болью, – и стукнул выстрел.

Кобыла метнулась с ржаньем, сделала большой круг и остановилась в дрожи, наставив уши. Фыркнула – потянула воздух и дико перемахнула загородку. Она круто остановилась перед жеребенком, замоталась, фыркнула раз и раз и, что-то поняв, склонилась. Она обнюхивала его, лизала окровавленную шею, лизала губы... – и странный, хрипучий стон, похожий на рыданье, услышал я, душою... Его я помню, этот странный звук. Виню себя, – забыл о матке. Увести бы надо...

Не до сантиментов было. Я не подал вида. Мастер качал наганом, стоял, ощерясь, бледный.

«Чистая работа! – сказал я. – Умеете, товарищ Ясный. Вовремя скакнули, матки строги. Теперь я вскрою, и составим актик».

Матку едва стащили, свели в конюшню. Я вскрыл: гнойник, плеврит, перитонит, – все ясно.

«Товарищ доктор... и вы, товарищ... прошу обедать! – пригласил нас Ситик. – Там обсудим».

В знакомом кабинете еще висел диплом какой-то, в золоченой рамке, с отбитою коронкой; продранные стулья, чужие будто, стояли сиротливо; дремало кожаное кресло, в подушечках, – вот придет хозяин отдыхать. Стол утащили: был простой, из кухни. Курячьи кости валялись на газетке, огрызки огурцов и хлеба, револьвер. Маркс мохнатый висел в простенке, портрет товарища Свердлова, в веночке из бессмертников, – Ситик был сантиментален! – конечно, Ленин и рядом «Боярышня» из «Нивы», в красках. Туфли бежали по полу в разброде, висели на гвозде подштанники. Все – пусто, гнусно, по-цыгански.

Я уселся в кресло и предложил товарищам – курите: были у меня хорошие крученки, в веском портсигаре. Взяли осторожно, как кошка рыбку. А я изобразил картинно, как Ильчик, мать – Забота, отец – Ковыль, погиб от двустороннего плеврита, от крупозной пневмонии, перитонита, менингита... Рана, при наличии дефектов организма... признаки орловца слабы, скелет недоразвился... вышло к счастью, иначе – урон престижа, повод к критике хозяйства... что, по справкам, есть пара жеребят от полукровок, лучших; что рекомендовал бы направить одного в «Либкнехтово», где тов. Ситик, энергичнейший работник, специалист по коневодству, имеет сознательных помощников; что при осмотре тов. Ясный показал незаурядное знакомство с делом; что...

«Чем-нибудь дополнить, товарищ Ситик?»

Он сиял. Чего же больше? Лучше не напишешь.

«Гениально! – промолвил Ясный. – Вы большой ученый!»

«Три факультета... перманентная работа в центрах... консультант при совнархозе... Только в экстренных случаях, как ваш, куда проедешь... – и я загнул покрепче. – А на вас косятся, тов. Ситик! Да, да... Надеюсь, с моим докладом... я вношу реформы в конезаводство... вы нам пригодитесь».

Ясный смотрел подобострастно, дрожали пальцы. Ситик – восхищенно. Пошел распорядиться.

«Карточку вашу, тов. Ясный?.. Завтра ко мне заедет... я поговорю. Что бы вы хотели?»

Он прошептал: местечко. Малый был не промах!

«Отметим. Только... ни слова! Просьбами завален!.. – Я показал на горло: – Ни слова даже, что знакомы... испортить могут!»

Обед был царский – отбивные котлеты, куры, борщ с пупками, с печенками, пломбир, печкинские сливы с индюшечье яйцо, и – брага вроде самогона. Жрать хотелось, но в этом доме я не тронул ни кусочка: дожирали стариков моих, прошлое в меня глядело. Я сослался на строгую диету, – пробит кишечник! – ржаные сухари, да редька, да полосканье спиртом. Очень удивились и дали редьки. Грыз ее и плакал, под примочку. Думал, как бы стариков увидеть. К «допингу» прибегнуть? Нет вернее. И не ошибся. Они исправно жрали. Я подгонял на брагу, спирт в резерве. Крепок я на спирт. Они совели. Я предлагал за Коминтерн, за «мировую», за особ... Ситик был в развале, галчонок копошился, зеленел, овцой воняло от его кожанки. Я развел им, по-сибирски, на 70, долил горячей, «по рецепту...» – назвал я имя, – галчонок встрепенулся – и мы хватили! У Ясного глаза запели в небо. Ситик подавился. А я – под редьку. Поднял хлыст – «даешь Европу!» – и мы хватили, без отказу. Галчонка завертело от «Европы», он поднялся, зацепился шпорой. Я слышал только – «о, товарищ!..» – Куда-то утащился.

«Вы прикажите... лошади всегда... а я...» Ситик ушел куда-то.

«Очи» задремали. Я был свободен. Прошел по дому. Комнаты – пустыня. Сухая пальма, клетка без попугая, простреленный портрет митрополита в углу – мишень. Яблоки гнилые грудой, пузыри бычачьи – плавать. Комнатка «певуньи-канарейки». Одна кровать, матрас залитый, скоробленные сапоги, в грязи, бабий платок глазастый, гребень, мыльная вода в тазу, скверный запах помады кислой... Канарейка, Даша!.. Розовая ленточка у изголовья, – от образка

осталась. Я пошел. Спальня Марьи Тимофевны, пустая комната, видно по стене, где был киот, – сосна светлее. Черные шнурочки от потолка, пятна на полу – от пролитой лампадки. В воздухе остался запах – пролитой печали?.. Внуков комнату увидел, с кружками цели, углем, с пульками в сосне от «монтекристо», и вспомнилось, как дед серчал, потом махнул рукой. Стрельбе учились, летом, – война была. Здесь жила надежда старика: «Оставлю дело, молодые будут...» Иссякли крови былого ярославца, ярославки светлой. Лица вспомнил, светлые глаза... Там храпят другие, пьяные глаза... «молдаван грузинский», аптекарь с пушкой... наследники! А, черт!.. В угол пустой смотрел я, где спали внуки, мальчики, – кровати изголовьями смыкались. «Ну, так и будет? – спросил я в угол. – Безоплатно?»... Угол этот раздвинулся, во всю Россию для меня тогда, в пустое... ответил жутью. В открытое окно я видел сад, уснувшие деревья, яблоньки кривые, точки яблок редких... и синичка близко где-то, за окном, пищала осенняя... Я поклонился в угол, пошел.

Вышел в сад. Недреманое око спало. «Помещик» появился, капитан хромой, – с приглядкой.

«Вы помещик, с юга?» – спросил я.

Он потерялся, съежился, заерзал...

«Я-с?.. Собственно... в бывое въемя... мевкий».

Жалко мне стало ерзу эту, человечьего загона. Я им объяснил, что – знаю, что агроном мой друг... Пошли садами. И яблоньки ходили с нами, говорили мне о прошлом, трещины казали, дупла, знакомые изломы. Соки в них ходили, старые, былые. Яблочки все те же – анис и боровинка, в алых жилках, коричневое, в точках, коробковка, скрыжапель, антоновское – зелень, китайка – золотая осень. Я слышал голос, мягкий, ласковый, певучий: «Кушай, Мишанька, сиротка ты моя болезная... на-ка вот, сла-дкое...» Я помнил ласковую руку – и столько было солнца...

Теперь – мы, трое, без причала, хитрили, укрывались, жались. Кругом травили – ату! ату!! Лисий хвост вертелся, дрожал зайчиный. И – сонно огрызался медведь в берлоге, – рогатиной пыряли. А человек... Где же – человек-то?!..

«Хозяева – на скотном? Я дорогу знаю. Не беспокойтесь, господа... и вообще не беспокойтесь! – сказал я капитану. – Я здесь – свой. Плохо живут?»

«Позор! – вдруг крикнул капитан. – Я дважды ранен, две кампании... и так позорно!..»

Слезы у него прошибло.

«Кричат, как на мальчишку... Утром – рапорт... сливки приношу... пеночки...»

Он затопал, заплевался, – заковылял куда-то.

«Помещик» затаенно засопел: «Кошмар! Есви бы вы видави!..»

Он пошел к сараям, а я – на скотный.

IV

Вот и скотный двор, навоз и – мухи, мухи. День был погожий, мухи разгулялись. Нашатырным спиртом пахло из сараев, – старым спиртом. Флигилек-людская осел в навозе, крыша золотилась ржавью, низкие оконца – перламутром. Рябина разрослась, обвисла. Лазил, бывало, на нее, смотрел на пруд, как утки лущатся носами, бредут коровы, молоко несут, сочится, каплет. Хвостами машут мух. А мухи на рябине – туча тучей...

И стал я мальчик Миша. Иду к Матрене... творогу сказать на ужин... Жиляют блохи, скотник снял портки, трясет на волю, а воробьи смеются...

Я вошел в казарму. Сумеречно стало, душно. Направо, налево – двери. Куда? Пошел направо: чище, дверь в войлоке. Низкий потолок, полати, лампадка теплится, иконы у потолка, на полках. У окна старушка, стол, кошка на окне. Я не узнал старушку. Монахиня? Сухенькая, в кулачок лицо...

«Тетя Маша!..» – назвал я, и голос пересекся.

Старушка встала, пригляделась.

«Кто такой... Господи Исусе...» – услыхал я шепот.

Я – под потолок, под копоть. Она – внизу, держится за стол. Лампадка замигала от прихода. Сердце мое забилось.

«Тетя Маша... я... ветеринар ваш... Миша...»

Рот затянуло у меня, протянул к ней руку; она схватила, узнала Мишу... вся осела, заплакала...

«Мишенька... родной... жив ты, Миша...»

Села она на лавку, не могла стоять. Сел и я, поцеловал холодное лицо, сухое, старческие губы, обмяклые, глаза сырые. Руки поцеловал скорузлые, рабочие, в проволочках как будто, в нитках...

«Тетя Маша... бедная тетя Маша...»

Я ревел, как баба, трясся, рычал, не мог я... Она погладила меня по голове, как в детстве, давно.

«Дал Господь увидеть... всех мы растеряли... Ну, ничего, Господня воля... ничего, Миша... Ну, не плачь... ну...»

Меня трясло, грудь ломило, слов не выходило. Я стиснул зубы, а они разжались, резали мне губы.

«Ничего... живем все вместе... все взяли... Да что... ничего не надо... потеряли всех... Погоди, оправлю его... посмотришь... Он у меня безногий теперь... отходился, Господи... не вникает, Миша... Легче ему так-то... с Покрова уже не говорит, другой удар был... Молочко, спасибо, пьет».

Она пошла за занавеску, к печке, повозилась там. А я смотрел. Иконы смотрели с полок, знакомые, ризы сняли. Голые иконы, а знакомы. И – портреты, рядом. Внуки, сын, Даша, дочки, Василий Поликарпыч, в мундире депутатском, купеческом, пуговицы в ряд, белый пояс, шпага депутата, медаль на шее, три на груди, два ордена – генералом смотрит. Стакан шрапнельный, с войны германской. На столе Псалтырь, Четьи-Минеи, ломтик хлеба, – мухи, мухи...

«Погляди, голубчик... Только не узнает...» – тихо позвала старушка.

Полог откинулся, светло в закутке, – окошко на пруды. На крашеной кровати – Матрена на ней спала, в клопах, – на пуховике, под ватным одеялом голубого шелка, белой строчки разводами, лежал Василий Поликарпыч, красавец ярославец, теперь – апостол, мученик, угодник, – как с иконы, сухой и темный, белая бородка клином. Свет от окна сиял на лбу, на шишках костяных, вощеных. Спал Василий Поликарпыч. Тонкая рубашка, голландская, была чиста, свежа. В прорезе – жарко было в избе – виднелось тело, черно-медный крестик, давний, деревенский, крестильный. Всю жизнь был с ним, ходил по всем дорогам...

«Вот какой... Василий Поликарпыч наш... будто ушел... – сказала тетя Маша. – Поцелуй его... любил тебя...»

Я скрепился, приложился ко лбу, к руке... Он открыл глаза, повел, пальцы зашевелились, пожевал губами, задремал...

Не узнал он Мишу.

«Еще недавно говорил все... одно: «Ногами ослаб» да «Больно». А теперь молчит».

Она перекрестила, и мы пошли. Полог задернулся. Как мощи. Отходил дороги Василий Поликарпыч, откричался, отторговался. Я смотрел на тетю Машу. Другая, старица, русская святая, глаза темней, ушли от жизни, в душу. Лик строгий, вдумчивый. Русская святая смотрит.

Мы не говорили. Все нам известно.

«Не пойду отсюда. Будут гнать, лягу на дворе... – говорила она спокойно. – Образа вынесла. Все с нами... – показала она на полки, – иконы, лица. – С Господом всегда... и наши с нами...»

Я стал на колени перед святой и попросил благословить меня. В ноги поклонился. Она благословила, как мать родная. Твердо, нажимая мне на лоб, на грудь, на плечи, как давно, в детстве, она сказала:

«Спаси и сохрани тебя Христос и Пресвятая Богородица!.. Терпи, Миша... не сдавайся греху... Господь взыскует...»

Я поклонился ей – родине моей в ней поклонился. Ушел как пьяный. Вытер слезы в сенцах. Нашел Матвеича, велел закладывать. Голову давило, было душно. Взял свой чемо-

дан. Лошади готовы. Сажусь в пролетку. Слышу окрик сзади:

«Уже?!»

Товарищ Ясный, с полотенцем, на крыльце. Сбегает, шпорой звякнул.

«Уже! – сказал я – и крикнул старику: – Пошел!»

Ехали аллеей, в кленах, в листьях, бубенцы гремели глухо. За ними свет вечерний, тихий, – солнце текло по кленам, розово все было, медно, золотисто. Золото в садах вечерних, в березах далей. Шорох бежал за нами в листьях, крутился по колесам, с глухарями. И было слышно какую-то пичужку, – высвистывала она робко, грустно, будто говорила свистом – «прощай».

Ноябрь 1925 г.
Париж

ПИСЬМО МОЛОДОГО КАЗАКА

Лети мое письмо еропланом-птицей скрозь всю Европу и Германию, прямо на Тихий Дон, в наше место, в Большие Куты, на Семой Проулок на уголок, под кривой явор, в родительское гнездо, к дорогим и бесценным родителям старому казаку НиколаюОристарховичу Думакову и родительнице нашей Настасье Митревне в руки. От сына вашего меньшого, молодого Казака Первой Сотни Перво-Линейного Захоперского Полку, Ивана Николаевича Думакова, с дальней стороны, из-под городу Рван, с железного завода, называется Французская Республика.

Кланяемся вам, бесценные родители, от бела лица до сырой земли.

И так что извещаем. Молитвами вашими и благословением, как отпущали на бранный бой, жив ваш сын Казацкий сокол Иван Николаевич Думаков. И от пули, и от снаряда, и с газов, и с-под красного расстрелу, окроме всяких болезней. И с голоду, и с политической измены. Прошел наскрозь. И стою на посту-дозору, хочь и давно пику перворядную сломило не стыдным ветром, а безвинным горем. Но не убивайтесь про меня, родители, не стыдитесь сына вашего Ивана Николаевича Думакова, 27 лет. Обе руки мои при мне у груди, голова на плечах, гляжу на все четыре стороны, ничего с меня не убыло, а прибыло. Одна тоска сердце мое вередит Казацкое, что не имею от вас досыла, как отшел с дому. Отпишите мне скорей на девятое мое письмо, которое с голубыми марками, ихняя женщина сеет, как требует казенная хворма Французской Республики.

Зачего вы молчите не говорите, как в земле лежите? Аль уж и Тихий Дон не текет, и ветер не несет, летняя птица не прокричит? Не может этого быть, сердце мое не чует. Было известие на стреле со Станицы нашему Казацкому Подхорунжему Семеон Михайловичу Копыткову от кума ихнего

Кулика, который без глаз с германского плена, сидит на хуторе у пчелы, какие постигло смерти и какие кресты поставлены. Знато нам, которые здесь ушедчи, с Барыкиных Хуторов, и с Каменного Намета, и с Власьевской, и с Гусятинской, и сокруг места нашего, которые спят Казаки, спрокинув голову, вольной-невольной смертью. И которые живут под ветром чужих государств, покрыты нуждой и славой заместо родимой доли. Горе и нужда как чирий спадет, а слава, как каленое тавро, железом выжгена на груди до смерти. И после смерти на Золотых Досках прогремит!

Слышно нам, как Соломатова Кузьму моего поручного Первой Сотни взяли на казнь расстрела. И еще смерть дали Васеньке Выжгину, и Хоме Беркуту, и Вселоду Топчуку, старому Хорунжему, потерял он руку в боях Германских, и милому другу и приятелю Еремке Крылу! И еще Мишке Веткину, и Конону Синь-Носу с Глинищенской, и всем Глазунам за семенной произвол за чего восставали гордо! Память их пройдет по Казацкой Земле до моря и даже за море к нам дошедчи. И зачего Степке Руденкову и Артамошке Бессыхину бант кровавый на грудь змеям, сорвавши Крест, навесили. И пробьет время! И что погорели наши Куты с Высокого Конца и до Пожарных Сараев, где ракиты, грачи шубуршат на гнездах. И порубили те ракиты, и ставки сохнут. И кобылка хлеба поточила, и бык закатал учителя Иван Николаича, мово тезку. Царство Небесное, я его помню, стих в Крестоматии учили про Казака. Книжки такой неизвестно тут, а все газети. А вы мне собирались сватать, то та краса пропащая стала Ксютка Акимкина, старого Кондрата дочка, ушла без чести, как сучонка за шматок сала, за ихним комиссаром безо всякой веры. Гнилая ягодина на выплевки! А живы вы не живы, вести не добежало до меня.

Так что горюете по сыну вашему молодому Казаку Ивану Николаничу Думакову, а я жив. Гляжу на вашу сторону. Как ветер на вас дует, гляжу – сторожу. Матушка! А никто не слышить. Никто не понимает нашего Казацкого языку. А как с вашей стороны ветер сухой подует, слезы сушит и в груди жгет. Но не печальтесь. Я стою во весь рост, шапка только на мне чужая, шляпа мятая, а не шапка наша. Пропала моя Казацкая, утопил ее, в море скинул, как потчевали нас на чужом корабле красным вином французским. Не в чужом море кинул, в нашем Черном, как мое горе. Плыви – тони!..

Родитель наш дорогой, Николай Ористархыч. В девятое письмо пишу, а вы утирайте слезы. Слово ваше сберег до сердца Казацкого, как Крест благословления. И вот утирайте слезы, не попинайте, Коня вашего споминайте, а моего друга Голубенка! Гуляет его душа по родной Степи, не на чужих лугах иностранных. Здесь и одной голове тесно, и глядеть

не родимым очам, а как пришельные. Все походы со мной прошел, левое плечико пуля поцеловала, все четыре ноги царапаны. Семнадцать Атак носил. Два раза пропадал, по чужим коновязям стаивал. Два раза его отбивал, наше тавро по Отестату доказывал. Отбил. По Кольцу Крест-косушка! Тавро наше. При вакуации в Хведосии сам его положил безбольно. Глаза завязал ему, в губы поцеловал, слезами обмыл на смерть. Ух, не печалуйтесь, не жгите глаза слезами, содержите бережно до сына вашего молодого Казака. Я приду. Погляжу в глаза, чтоб веселые были, меня оглядали, какой я на вас выйду.

Пал мой Голубенок серолобастый, шелкова шерстка, белы ножки, крапина на груди как перцем. Ох, родимые... стуканула та пуля в мое сердце, пьяным напоила безвинно, дожидала вторая верного места. Да встало мне: а кто ж за все, за кровь нашу, за Степь горевую нашу, за Коня, боевого друга, за ваши горя, родители мои, ответа стребует? Шепнул мне ветер: стой Казак! береги пулю, дойдет время! Выплеснул патрон тот чередной, при мне лежит, тоску мою сторожить. Не плачьте, не убивайтесь. Ворочусь на Родину, на Тихий Дон, на Казацкую Волю новую! Сидит на бугру черная птица, крачет, бела лебедя когтями точит. Пойдет моя пуля за реку, пробьет моя пуля стервятнику! Рука моя дрогает, сердце в груди туркает, дожидает.

Родители мои бедные, от свиного корма питаетесь, корочку угрызаете. Известна мне ваша доля. Ночами во снях вижу, за ворота глядаю, будто все двор метете. А подметать чего нет, омыто до самого порога. Ждите, переступлю порог.

А жизнь моя ничего, в прохладе. Был я в городе Париж, высокая каланча железная, подает радио, телеграф во все страны, до нашего Дона. А не слыхать по ней доли вашей, скрозь летить! Большой город, веселый, бульвары и памятники на каждом рынке. А люди неизвестны. И будто бывал уж по тем местам, знато мне то место, с чего? Споминал, как сказывали старину, как ваш Дед славный Казак Ористарх Думаков гулял в городе том Париже, Конем своим с Дону травы чужие мял, из реки ихней Коня своего поил водой темной, в бубен трепал, спал под чужим небом, под звездами Французскими! Плясал трепака с ихнего вина сладкого, шапкой землю трепал Казацкой, бодал сапогом кованым, гремел лихью, с песней прошел Казацкой от Тихого Дону до ихнего Парижа! Где теперь Казаки, слава ваша? Под кем живете?! Перед кем шапку ломаете?! пики гнете?!..

А я молодой Казак, какую песню спою, и где моя шапка, и где мой Конь? Воду ношу, железо кую чужое. Уголь копал, камень бил по балканским горам-лесам, проволоку сдирал Французскую, кровию белы руки плачуть. И кто я теперь, Казак! И где мои песни? Какого коня поить?..

Но не плачьте, родители, не убивайтесь, не сушите сердце, слезу зажмите. Приду – выпью, пьян напьюсь с ее дочума, разыму глаза, голову кину прочь, чтобы не мешали думки. Я теперь прямо гляжу на свет через многие страны, через всякие народы вижу. Всего вижу, всего я знаю. Нет теперь меня выше, хоть и сточили ноги! Не хуже другого сын ваш молодой Казак. Не утеряюсь в других народах, дождусь доли. Ух, горем своим напился, слезой умылся, кулаками утерся досуха. Жив я, Казак, чую, не долго у чужих косяков слониться.

С родимой стороны степовой ветер дует, бело лицо колет, сердце жгет. Чую-знаю, идет срок мой, ждет меня конь мой, древо на пику выросло. Кинусь на степь играть, Коня горячить – гулять. Эх, вы, Горы Карпатские! ходил через их, гулял!.. Все дороги-пути известны.

Лети, мое письмо, еропланом-птицей на Тихой Дон, к старому Казаку родителю Николаю Ористарховичу Думакову в руки, родительнице нашей Настасье Митревне на сердце!

Девятое письмо гоню. Что ж от вас позыва не слышу, досыла не получаю? Скрозь землю отзовитесь, шупотком скажите, – травой услышу! Голос подайте мне – и вот и я!..

А теперь голову преклоню: благословите, родители, батюшка и матушка, меньшого сына вашего молодого верного Казака Ивана. Дошлите мне вашу грамотку с нарочным человеком. Не доходят письма мои, и ваши не доходят. Едет нарочный человек, стрелит стрелою на тихой Дон. А вы дождитесь. В думку ему вложите. Бумагу дорога измотает, не прочитать, одне-то слезы увидишь.

Помолите Угодников и Пресвятую Богородицу и спаса нашего на Хоруге нашем Казацком, Глаз Строг. И ворочусь несрочно, на радости! Чует сердце, встает мой срок!

Поклоны мои земные дайте Земле Казацкой, Донскому Войску, Батюшке Дону Тихому, солнцу красному, месячку ясному, Степи широкой. Поклоны мои земные друзьям-братьям, злою неволею погибшим, кому могилы не дадено, а пылью-прахом неведомо где ложатся. Поклонитесь от меня Крестам на погосте, вербам, дорогам, Большим Кутам и Св. Кресту Господню на Храме нашем, и всем родным, вживе которые остались, молодого Казака не забыли.

А вам в ноги припадаю, родители мои старые, горевые, батюшка и матушка. Не печальтесь, не плачьте, жив. Во весь рост стою я, меньшой ваш сын, ширше́ плечами стал, могутней. До радостного свиданьица!..

Март 1925 г
Париж

СВЕТ РАЗУМА

С горы далеко видно.

Карабкается кто-то от городка. Постоит у разбитой дачки, у виноградника, нырнет в балку, опять на бугор, опять в балку. Как будто дьякон... Но зачем он сюда забрался? Не время теперь гулять. Что-нибудь очень важное?.. Остановился, чего-то глядит на море. Зимнее оно, крутит мутью. Над ним – бакланы, как черные узелки на нитке. Чего – махнул рукой. Понятно: пропало все! Мне – понятно.

Живет дьякон внизу, в узенькой улочке, домосед. Служить-то не с кем: месяц, как взяли батюшку, увезли. Сидит – кукурузу грызет с ребятами. Пройдется по улочкам, пошепчется. В улочках-то чего не увидишь! А вот как взошел на горку да огляделся...

Не со святой ли водой ко мне? Недавно Крещение было. Прошло Рождество, темное. В Крыму оно темное, без снега. Только на Куш-Кае, на высокой горе, блестит: выпал белый и крепкий снег, и белое Рождество там стало – радостная зима, далекая. Розовая – по зорям, синяя – к вечеру, в месяце – лед зеленый. А здесь, на земле, темно: бурый камень да черные деревья.

Славить Христа – кому? Кому петь: «Возсия мирови Свет Разума?..»

Я сижу на горе, с мешком. В мешке у меня дубье. Дубье – голова и мысли.

«Возсия мирови Свет Разума?!.»

А дьякон лезет. На карачках из балки лезет, как бедный зверь. Космы лицо закрыли.

– Го-споди, челове-ка вижу!.. – кричит дьякон. – А я... не знаю, куда деваться, души не стало. Пойду-ка, думаю, прогуляюсь... Бывало, об эту пору сюда взбирались с батюшкой, со святой водой... Ах, люблю я сторону эту вашу... куда ни гля-ди – простор! «И Тебе видети с высоты Востока!..» А я к вам, по душевному делу, собственно... поделиться сомне-

ниями... не для стакана чая. Теперь нигде ни стакана, ни тем паче чаю. Угощу папироской вас, а вы меня беседой?.. Хотите – и тропарек пропою. Теперь во мне все дробит...

Он все такой же: ясный, смешливый даже. Курносый, и глаз прищурен – словно чихнуть обирается. Мужицкий совсем дьякон. И раньше глядел простецки, ходил с рыбаками в море, пивал с дрогалями на базаре, а теперь и за дрогаля признаешь. Лицо корявое, вынуто в щеках резко, стесано топором углами, черняво, темно, с узким-высоким лбом – самое дьяконское, духовное. Батюшка говорил, бывало: «Дегтем от тебя, дьякон, пахнет... ты бы хоть резедой попрыскался!..» Смущался дьякон, оглядывая сапоги, молчал. Семеро ведь детей – на резеду не хватит. И рыбой пахло. И еще пенял батюшка: «Хоть бы ты горло чем смазывал, уж очень ржавый голос-то у тебя!» Голос, правда, был с дребезгом – самый-то ладный, дьячковский голос. Мужицкие сапоги, скребущие, бобриковый халат солдатский, из бывшего лазарета, – полы изгрызены. Нет и духовной шляпы, а рыжая «татарка». Высок, сухощав и крепок. Но когда угощает папироской, дрожат руки.

– Вот, человека увидал – и рад. Да до чего же я рад-то!.. А уж тропарь я вам спою, на все четыре стороны. Извините, не посетили на Рождество. Сами знаете, какое же нынче Христово Рождество было! О. Алексия бесы в Ялту стащили. Я теперь уж один ревную, скудоумный... Приеду в храм, облекусь и пою. Свечей нет. Проповедь говорил на слово: «Возсия мирови Свет Разума», по теме: «И свет во тьме светит, и тьма его не объя!»

– А как, ходят?

– На Рождество полна церковь набилась. Рыбаки пришли, самые отбившиеся, никогда раньше не бывали. Ры-бы мне принесли! Знаете Мишку, от тифа-то которой помирал, – мы тогда его с Михал Павлычем отходили, когда и мой Костюшка болел? Принес корзинку камсы, на амвон поставил и пальцем манит. А я возглашаю на ектеньи! А он мне перебивает: «Отец дьякон, рыбы тебе принес!» Меня эта рыба укрепила, говорил с большим одушевлением! Прямо у меня талант проповеди открылся, себе не верю... При батюшке и не помышлял, а теперь жажду проповеди! Открывается мне вся мудрость. Я им прямо: «Свет во тьме светит, и тьма его не объя!» А они вздыхают. «Вот, – говорю, – некоторый человек, яко евангельский рыбарь, принес мне рыбки. Я, конечно, чуда не совершу, но... насыщайтесь, кто голоден! А душу чем насытим?» Выгреб себе три фунтика, и тут же, с амвона, по десятку раздал. И вышло полное насыщение! И уж три раза приносили, кто – что, и насыщались вдосталь. И духовное было насыщение. Прямо им говорю: «Братики, не угасайте! Будет Свет!» А они мне, тихо:

«Ничего, бу-дет!» «Нет у нас свечек, – говорю, – возжем сердца!» И возжгли! Пататраки, грек, принес фунт стеариновых! Вот вам и... «свет во тьме»! И справили Рождество.

Дьякон смазывает себя по носу – снизу вверх – и усмешливо щурит глаза. Нет, он не унывает. У него семеро, но он и ограбленную попадью принял с тремя ребятами, сбился дюжиной в двух каморках, чего-то варит.

– Принял на себя миссию! Пастыря нет – подпасок. А за меня цепляются. Молю Господа и веду. Послали петицию в Ялту, требуем назад пастыря. Все рыбаки и садовники, передовые-то наши, самые социалисты, подмахнули! Тре-буем! Пришел матрос Кубышка с поганого гнезда ихнего, говорит мне: «Ты, дьякон, гляди... как бы в ад тебе не попасть! Наши зудятся, народ ты мутишь на саботаж... рыбаки рыбы нам не дают!» А меня осенило, и показываю в Евангелии, читай: «Блаженни ести, егда... радуйтеся и веселитесь!..» – «Довеселишься!» – говорит. Ну, довеселюсь. Вызвали к Кребсу ихнему. Мальчишка пустоглазый, а кро-ви выпустил!.. Наган-то больше его. Он – Кребс, а я – православный дьякон. Иду, как апостол Павел, без подготовки, памятуя: осенит на суде Господь! Вонзился в меня тот Кребс, плюнул себе на крагу от сердечного озлобления, и: «Арестовать! А-а, народ у меня мутить?!» Ну, что тут пристав покойный, Артемий Осипыч!.. А я ему горчишник, от Евангелия: «Не имаши власти, аще не дано тебе свыше!» Так и перевернуло беса! И вдруг, как из-под земли, делегация от рыбаков, и Кубышка с ними: «Отдай нашего дьякона, нашим именем правишь!» Он им речь, – они ему встречь: «Не перечь!» Отбили... А до вас я вот по какому делу...

Дьякон вынул из глубины халата зеленую бумажку.

– Язва одна возстала! Прикинулся пророком – и мутит. Вот, почитайте... новые христиане объявляются... – сказал он дрогнувшим голосом и смазал нос. – Как это называется?!

«Новый Вертоград...» – читаю я на бумажке, машинкой писано.

– Черто-град!.. Прости, Господи!.. – кричит дьякон. – Такой соблазн! Не баптист, не евангелист, не штундист, а прямо... дух нечист!.. Все отрицает! И в такое-то время, когда все иноверцы ополчились?! Ни церкви, ни икон, ни... воспылания?!. Отними у народа храм – кабак остался! А он, толстопузый, свою веру объявил... мисти-цисти-ческую! В кукиш... прости, Господи! И на евангельской закваске! Первосвященником хочет быть, во славе! И... интелли-гент?!. А?!. Свет разума?!. Объявил свою веру – и мутит! Но я вызвал его на единоборство, как Давид Голиафа. Зане Голиаф он и есть. Восьмипудовый. И вот теперь вышло у меня сомнение. Высших пастырей близко нет, предоставлен скудоумию своему и решил с вами поделиться тревогой!..

Дьякон вскочил, оглянул море, горы: снежную Куш-Каю, дымный и снежный Чатыр-Даг, всплеснул, как дитя, руками:

– Да ведь чую: воистину, Храм Божий! Хвалите Его, небеса и воды! Хвалите, великие рыбы и вси бездны, огонь и град, снег и туман... горы и все холмы... и все кедры, и всякий скот, и свиньи, и черви ползучие!.. Но у нас-то с вами разбег мысли, а мужику надо, на-до!.. – стукнул он себе в грудь. – Я про реформацию учил – все на уме построено! А что на уме построено – рассыплется! Согрей душу! Мужику на глаза икону надо, свечку надо, теплую душу надо... Знаю я мужика, из них вышел, и сам мужик. Тоскливо мне с господами сидеть подолгу, засыпаю. Храм Господень с колоколами надо!.. В сердце колокола играют... А не пустоту. С колоколами я мужика до последнего неба подыму! И я вызвал е г о на единоборство!

– Кого – его? Ах, да... интеллигента-то?..

– Самого этого езуита, господина Воронова. Ка-кая фамилия! Черный ворон, хоть он и рыжий, с проседью. И вот, послушайте и разрешите сомнение. А вот как было...

Еще в самую революцию, как социалисты-то наши на машинах-то все пылили, а интеллигентки, высуня язык, бегали, уж так-то рады, что светопреставление началось... – ах, что бы я мог порассказать... а вы роман бы какой составили!.. – в самое это время и объявился у нас тот господин Воронов, и даже потомственный дворянин. Из Англеи! В нем всякой закваски есть, от всех поколений. Вы его видали! Вот. И я на его лавочке нарвался. Пудов восьми, бык-быком. А как я на лавочке нарвался... Это после было, как я испытывать его ходил, его «Вертоград Сердца». Но скажу наперед, ибо потом сразу уж все трагической пойдет. Росту он к сажени, плечи – копна, брюхо на аршин вылезло. Ходит в полосатом халате и в ермолке, с трубкой. Рычит, в глазищах туман и кровь. Открыл он с мадамой лавочку «Дружеское Содействие». Принимать на комиссию. Всякого добра потащили, и он свои картины повесил для прославления. Денег у него было много, и давай по нужде скупать. Купил я у него, простите за глупость... машинку «примус», за сорок тысяч. Принес жене, а Катерина Александровна моя так вот ручки сложила: «Ах, ты, дурак-дьякон! Слезами своими, что ли, топить-то ее буду? Керосин-то ты мне достал?!» Хлопнул я себя в лоб: правда! Керосину уж другой год нет, и миллионы стоит! Не догадался. Жалко Катеньку было, как она с ребятами за дубовыми кутюками, как вот и вы, по горам ползала. Пошел назад. Не отдает денег! «А, – говорю, – вы мстите, что я дьякон и борюсь идеальным мечом?» «Нет, – говорит, – я в лавке не проповедаю, и у меня правило на стене. Грамотны?» Читаю объявление в разрисованном веночке из незабудок:

«Вынесенная вещь назад не принимается». Хуже Мюр-Мерилиза! А мне сорок тысяч – неделю жить. «Хорошо, – говорит, – возьмите мылом, два куска. Чистота тела первое условие свободы духа!» «Дайте, – говорю, – один кусок и двадцать тысяч!» «Нет. Кусок и... молоток хотите или – щипчики для сахарку?» А сахарку у нас и в помине нет! Взял его мыло, а оно в первую стирку как завертится, как зашипит, так все в вонючий газ и обратилось! Поплакали, постояли над пузыриками, и пузыри-то улетучились, вот вам по слову совести! А мыло-то, дознано потом было, он сам варил по волшебному рецепту мошенническому. Так мы и прозвали: «Воронье мыло духовное!» Но теперь я обращусь к самому важному и даже трагическому.

В самые первые недели революции было то. Вышел я раз возглашать на ектенье и вижу: стоит у правого крылоса, поджав руки на брюхе, самый о н, мурластый, и злокозненно ухмыляется. А после службы подают мне зеленую бумажку, а на ней отпечатано: «Видимая церковь есть капище идолов, а священники и дьякона – жрецы! Придите в Невидимую, ко Мне!» С большой буквы! А внизу, от Иоанна: «Аз семь истинная лоза виноградная, а Отец Мой – виноградарь». Не обратили внимания: ну, штундист! Только, слышим, в народе стали говорить, что какая-то новая вера объявляется, а другие – что господин Воронов виноторговлю открывает и заманивает, а у его отца огромные виноградники закуплены, в компании с англичанами. Но все сие было только предтечею горших бед.

Снесся о. настоятель с преосвященным и поехали мы к самому прокурору. Оскорбляют Церковь! А прокурор новый, присяжный поверенный, воров защищал недавно. Мелким бесом рассыпался, чуть под благословение не полез. «Ах, я так уважаю религиозные проявления! Свобода совести для меня высший идеал, в ореоле блеска! Но... с точки зрения философии и политики, не смею пальца поднять на инакомыслие. О н тоже мучается религиозной совестью, а в борьбе огненной идеи рождается светлая истина... Идите с ветвями мира и проповедуйте ваше Евангелие во все концы, слова не скажу. Вейтесь идеальным мечом! И вы должны быть спокойны, так как у вас, *кажется*, что-то предсказано? «Созижду Церковь Мою... и врата адовы не одолеют во веки веков, аминь!» Переврал! «И теперь мы отделили вашу Церковь от нашего государства, – и до свидания! У меня горы дел, а я еще не завтракал!..»

Еще я тогда, выходя, сказал о. Алексию: «Пустой граммофон, лопнет скоро!» О. Алексий вздохнул: «Претерпим!» А *тот*, как служба, является со столиком в ограду, разложит листочки, свечку зажжет – и приманивает. Зычно орет: «Совлеките ветхия одежды, прилепитесь к чистоте!» И

опять листочки. «Что такое брак в духе?» И написано там... прямо, блуд! Будто Церковь занимается сводничеством!! Припутали Бога в блуд! «Будьте свободны, и пусть только любовь соединяет тела и души». И опять – от Иоанна: «Бог есть Любовь».

Собрали мы приходской совет и постановили: претерпеть попущение, но в ограду не допускать. Поставили дрогаля Спиридона Высокого стеречь. Ну, он – ревнитель – и Воронова шугнул, и столик его опрокинул, и дрючком гнал его до самого дома. Тот – в милицию. А я пришел объяснять: борьба у нас идеальная, сам прокурор сказал, а на церковный двор ни за что не пустим. Милицейский начальник почесал нос и отмахнулся: «Хоть проглотите друг дружку, мне не до религии, уходите...»

А тот стал у себя на квартире творить соблазн. Объявил причащение вином бесплатно, все из одной бутылки причащаются, женщины стали к нему в сад бегать. Узнали мы про него. Оказывается, саратовский помещик, с полным высшим образованием, два миллиона уже прожег, три жены у него было, с каким-то немецким пастырем снюхался, и его из Питера выгнали, по протекции... а то быть бы ему в каторжных работах за все святотатства, и кощунства, и уголовное кровосмешение. Долго жил в Англии, и будто там его посвятили в пророки. Называет себя знаменитым художником. А как революция наступила – и прикатил. И, действительно, привез картины симфонические... Как-с?.. Да, символические, странного вида. То на стенке громадное сердце висит, а из него кровь струями, с надписями: «Любовь плоти», «Любовь плоти» – по струйкам-то... а вверху полыхает золотом, и написано: «Любовь духовная». То еще два скелета нарисовано, и начертано на этом, понимаете, месте: «Ветхий человек»! А рядом – голые обнимаются, во всех прирожденных формах, даже до соблазна, и написано по грудям: «Новый Адам»! Потом чаша на полотне, в цветочках, и из нее льется пенное, и написано: «Причаститесь Духа». И еще – дверь написана золотая, с красной печатью, и поперек пущено: «Печать Тайны»! И огромная картина – море, по волнам все столбиками, и будто не волны, а свившиеся человеческие голые фигуры, зеленого цвета, словно духи тьмы, и написано: «Море страстей плотских», – а над ними желтая рожа светится, как луна.

Стали девушки к нему ходить, «тайну» чтобы узнать. А он им проповедует: дадим слово жить в духовной любви! Ему женщина, которая с ним приехала, скандалы устраивала, а он ее бил жгутом и поленом. Раз ночью даже в сад в одной сорочке выгнал и орал в окошко: «Совлеки ветхого человека, тогда впущу!» Ну, хуже всякого штундиста. Поня-

ли мы с о. Алексием, что это нам испытание, и обличали по силе возможности. А он грязнейшими клеветами нас. Предложил батюшка ему предстать для словопрения о вере в 4 часа дня в церкви. Отклонил, гадина: «В капище ваше не пойду, а желаете под открытым небом, в моем саду?» В сад к нему не пошли, понятно... в блудилище-то его гнусное! Так все и тянулось. А тут он брешь-то нам и пробил! Тут-то и начинается самая трагедия... дабы воссиял Свет Разума!.. И не знаю, как мне и понимать резюме, что вышло. И вот, метусь...

В оны дни пришел к нам, во храм, старший учитель здешний – и добрый же человек какой, но глу-пый! Иван Иваныч, который регентствовал у нас, и говорит внезапно и прикровенно: «Постиг я весь социализм теперь и отрицаю все, а главное – религию и Церковь! Это же все одна профанация и скелет сгнивший!..» А батюшка ему кротко: «И очень хорошо, одной паршивой овцой меньше в стаде». «Ну, – говорит, – узнаете овцу!» И перекинулся к Воронову. Стал тоже листки раздавать. А дура-ак!.. Тихий дурак, шестеро детей. Но благоустроился. Приятели ему пообещали учебным комиссаром сделать, на весь уезд, и автомобиль сулили. Стал он прихожан соблазнять. «Вон, – говорят, – и учитель новую веру принял... чего-нибудь тут да есть, ему известно, хороший человек был!» Жена его плакала приходила: «Отговорите его, стал все про духовную любовь говорить и от меня отказывается, велит «ветхую плоть» какую-то совлечь... Я, конечно, уж не молодая, но еще не ветхая...»

А она – гречанка, простая бабочка. «А он, – говорит, – с молодыми девушками в садах спорит насчет духовной какой-то любви, без брака. Помогите по мере сил!» Что с дураком поделаешь! Но не в сем тревога.

Дьякон вынул еще бумажку. Сверху – в медальоне портрет: мурластый, с напухшими глазами, – тупое, бычье. И подписано: «Воронов, глава Духовного Вертограда». И от Иоанна: «Вы уже очищены... Пребудьте во Мне, и Я в вас».

– Ну, не идол ли индейский, по роже-то?! – воскликнул с великой скорбью дьякон и щелкнул по портрету. – Всего его и веры. Не понимают, но смущаются. Вечерами на аристоне «куплеты» играет в садике, и с ним девицы. Голодают все, а он лепешки печет, кур жарит, и бутылки не переводятся. С «бесами» в дружбе, они ему ордеры на вино дают. Последил я через забор – чистый султан-паша в гареме! В пестром халате с кисточкой, и поет сладеньким голоском: «Пашечка, сестра Машечка... возродимся духовно, сорвем пелену греха!» И они-то, дурехи, грызут кости курячьи и воркуют: «Сорвемте, братец по духу, Ларион Валерьяныч... только винца дозвольте!» А он бутылку придерживает и то-

мит: «А что есть грех?» – «Стыд, братец». – «Верно. Ева познала грех – стыд!» Возмутился я духом и возревновал. А он еще: «Будем причащаться духу!» И я крикнул через забор: «Так у тебя непотребный дом?! На это милиция существует!» И побежал в милицию. А начальник мне, дерзко: «Раз он такой магнит – его счастье!» Как-то во мне все спуталось, докладываю-то не по порядку...

Как пришли вторые большевики, он в окошко на шесте выставил: «Долой ветхую церковь», а внизу: «Всех причащаю Любви!» Стал домогаться, чтобы наш храм ему передали, бумагу подал. Совсем, было, подмахнул ему какой-то комиссар Шпиль, адвокатишка бывший, да наши дрогали подошли с дрючками и матроса привели: «Только подмахни, будет тебе не шпиль, а цельное полено!» Их не поймешь. Венчался у нас чекист Губил – помните, с кулак у него на шее дуля! – всем образам рублевые свечи ставил и велел полное освещение!

И вот, уехали с Врангелем. А тот все пережил, такой гладкий. И домогается! О. Алексия другой месяц в Ялте томят, чуть не расстреляли. Ну, я за него и принял бремя. Ничего не страшусь. Что страх человеческий! Душу не расстреляешь. И схватился с тем хулителем веры в последний бой!.. На Рождество проповедь сказал. Плакали. И Писание не так знаю, и в риторике слаб, и в гомилетике, но на волю Божию положился. Начну про хозяйство – а потом и сведется к Господу! Говорю: «Бывает засуха в полях, а там и урожая дождутся, такожде и в душах наших! Пропоем тропарь Празднику!» И поем. И про Свет Разума говорил: «Слушай Христа, что Он велит. И не устрашайся! Христа принимай к себе! Какой Он был? Что есть Солнце Правды?» Поговорил о Правде. Все вздыхают. «Можем мы без Христа?» – «Не мо-жем!» – все, в один раз! Прихожу домой... Кто шапку картошки принес, кто яичко, кто муки стаканчик. Идешь по базару – говорят: «Спасибо, отец дьякон!» Работаю по садам с ними, за полфунта хлеба, и все меня знают. И Свет Разума поддерживаю. Только теперь постигаю великое – Свет Разума! Все мудрецы посрамлены, по слову Писания. До чего доделали! У-мы!! И приняли кабалу и тьму. А которые не приняли – бежали в Египет от меча Иродова. А Свет-то Разума хранить надо? Хоть в помойке и непотребстве живем, а тем паче надо Его хранить. И только на малых сих надежда, поверьте слову! Мы с вами одиночки, из интеллигенции-то, а все – прохвосты, пересчитайте-ка наших-то! Волосы поднимутся. Об них страшную комедию писать надо, кровавыми слезами. Факты, фак-ты такие, и все запечатлены! Поцеловали печать. Думали – на пять минут только обманно предались, а потом в тинку и паутинку за-

тянулись. И уже во вкус входят! И вот, Господь возложил бремя. Но вот какая история...

Этот самый Иван Иваныч и попал к тому в лапы. А тот бумагу себе у них выправил на проповедь. А те и рады: рас-ка-чивай! Выгоняй «опиум» из народа, Свет-то Разума! В скотов обратим, запрягем и поедем. С «опиумом»-то народ – без страха, а без него – сразу покорятся! Раз понятия Правды нет, тогда все примется, хлеба бы только не лишали! А если еще и селедку дают, – чего! А Ворон-то и рад. Он и плут, и сумасшедший дурак, у него одно засело – под себя покорить... В нем, может, помещик-самодур отозвался, прадедушка какой-нибудь... Я, простите, Ломброзо читал – и думаю, что... наследственность о-чень содействует революции! Говорите – Бакунин? Я вам пятерых здешних насчитаю. Вы Аршина-то прощупайте. Бездна падения! Родови-тый, и какие родственники в историю вошли! Так вот. Ворон-то для них – ору-дие!..

Накануне Крещения достал я иеромонаха одного, привезли втайне из Симферополя, рыбаки сложились на подводу. С трудом и вина достали для совершения таинства Св. Евхаристии. У Токмакова запечатано для комиссаров, в наздраве не дали доктора, из страха: такие-то трусы интеллигенты, предались. А надо все же чистого, вина-то. Да и неверы. А добрые доктора – в чеке сидят. Отслужили обедню. И к самому концу, как с крестным ходом на Иордань идти, на море, смотрю – какой-то мальчишка листочки рассовывает. И мне в руку, на амвон сунул! Напечатано на машинке: «Я, учитель Иван Иваныч Малов, отвергаю Церковь и Крещение и принимаю новое, огнем и духом, сегодня, в 12 часов дня, на море, всенародно, со своей семьей». И тут я возмутился духом и возревновал! Говорю о. иеромонаху: «Нарушим все каноны, предадим анафеме сейчас же, извергнем из лона сами, дабы соблазн парализовать, в назидание пасомым, хоть и собора нет, и время неположенное!» Но иеромонах поколебался: надо увещевать! А какое там увещевать, раз сейчас тот его в свое непотребство совратит?! И как подвели-то для соблазна! Учитель, со всеми ребятишками, и как раз в самое торжество, когда Животворящий Крест будем всенародно погружать! А в народе смущение, все на меня глядят: что же я не ревную?! Скорбью одолеваем, возмутился! Кадила не удержу. А самолично анафемствовать не могу! Поглядел я на образ Чудотворца Николая. А Он, без свечей и без лампады, стро-гий! И передалось словно от Него: «Следуй, дьякон, Свету Разума!» И тут-то со мной и вышло... И до сего часу в смятении, не согрешил ли... А в сердце своем решил... А вот, слушайте...

Возглашаю верующим с амвона: «Братие, как и в прежние годы, шествуем крестным ходом на Иордань и освятим воду,

и... – тут я голосу припустил, – возревнуем о Господе и будем вкупе, да знамение Кресте Господне на нас!» И пошли. Все. И только тронулись с «Царю Небесный», в преднесении хоругвей, – наро-ду, откуда только взялось! Столько никогда не видал на Иордани. А это через листочки по городу, что учитель новую веру принимает – ихнюю! Так и собрал весь город. Чувствую, что вызван на единоборство! Но только все – под хоругвями. Идем на подвиг. Говорю-шепчу: «Господи, да не постыдимся!» Подбегает ко мне Мишка-рыбак и шепчет: «Решили ему «крещение» показать!» Говорю: «Не предпринимайте сами, а Господь укажет». Укорительно посмотрел на меня, сказал: «Эх, отец дьякон! А мы-то думали...» Скрылся он от меня – и опять заявляется: «Должны мы перетянуть! Надо доказать приверженность, чтобы в море попрыгали массой!» А у нас, как вы знаете, есть обычай: когда погружаем крест в море, некоторые бросаются с мола и плывут. Одни кидают деревянные кресты, а плывущие их ловят и плывут с ними к берегу, во славу Креста Господня! И которые приплывут сами – тем всегда бывало от публики приношение. Температура в воде до нуля, а в это Крещение на берегу было до семи градусов мороза. А народ-то сильно отощал, на себя не надеются, до берега-то саженей двадцать! Мишка и шепчет: «Собрали мы призы: пять бутылок вина, пять пакетов листового табаку, два фунта муки и курицу – двенадцать призов. Надо им носы наломать, для славы веры!» Значит, передалось нашим-то, по-няли! Но сердце мое смутилось: недостойно сие высоты веры и Света Разума! О вере рвение – и вдруг бутылки вина и табачишко! Веру деньгами укрепляем и дурманом?! А ревность во мне кипит: «Господи, – думаю, – не осуди, не вмени малым сим и мне, скудоумцу, во смертный грех! Как умеем... нет у нас иного инструмента для посрамления язычников! Для малых сих, для укрепления духа ратуем. Ты все видишь, и все Тебе ведомо, до самых грязных глубин, до сухой слезинки, выплаканной во тьме беззвучной! Ведь чисты сердцем, как дети. И хулиганы, и пьяницы, и воры, и убийцы даже, и мучители-гонители есть, а чисты перед Тобою, как стеклышко, перед сиянием Света Разума!» Не на них вина, а на мудрых земною мудростью: до чего довели народ! Со-бою его заслонили, подменили, сочли себе подобным, мудрым их скудельной мудростью! А ему высшая мудрость дарована. Свет Разума, но ключ у него украден, не открыта его сокровищница! И понял я тут внезапно, что такое Свет Разума! Вот, сие... – показал дьякон себе на сердце.

– Мятется во мне, и психологию я знаю, но это превыше всякой ученой психологии! Высший Разум – Господь в

сердцах человеческих. И не в едином, а купно со всеми. Это и это, – показал он на голову и на сердце, – но в согласовании неисповедимом. Как у Христа. Ковыль только на целине растет. И укрепился я духом. Сказал Мише: «Ревнуйте, братики, Бог нам прибежище и сила!» Будто и нехорошо? Да червячок-то по-червячиному хвалу поет, а свинья хрюкает! Да будем же хоть и по-свиному возноситься! И до орла. И до истинного подобия Бога-Света... Да как посмотрел на паству-то на свою – страшно и скорбно стало. Рвань та-ка-я, лица у всех убитые, зеленые, в тоске предсмертной. И сколько голодом поморили, а поубивали ско-лько! И все, чувствую, устремлены в упованье на меня: «Подаждь, Господи!» И ропот во мне поднялся: «Куда же, Господи, ведешь нас?! Зачем испытуешь так?»

Вы знаете нашу пристань. Слева, где ресторанчик пустой на сваях, поближе к пристани, поставили они кресло под красным бархатом, и на том кресле, смотрю, сам окаянный сидит, Кребс-то наш, хозяин жизни и смерти, мальчишка, в лаковых сапогах и в офицерской папахе серой, и в светлом, офицерском, полушубке, с кармашками на груди. С убиенного снял себе! Сидит, как бес-Ирод, нога на ногу, развалясь, и курит. На позорище веры православной выехал! И свита его кругом, и трое за ним красных дураков наших, в шлыках и с ружьями. На позорище нашем угнездился. А у самой воды, на камушках, столик под розовой скатеркой, а на столике – бутылка для «причащения» и чурек татарский. И стоит идол тот, в хорошей шубе, с лисьим воротником, морда багровая, в громаднейшей лисьей шапке, как с протодьякона, Ворон-то окаянный, и красным кушаком подпоясан, как купчина, мясник с базара. А сбочку, гляжу: дурак-то наш, интеллигент-то наш скудоумный и скудосердый, учитель Иван Иваныч! Как червь, тощий, длинноногая оглобля согнутая, без шапчонки, плешивенький, ноги голенастые, голые, из-под горохового пальтишка видны. Стоит и дрожит скелетом, на грязное море смотрит, «крещения» дожидается. И татары возле него шумят, пальцами в него тычут, насмехаются. И все его шестеро ребятишек, босые, в пальтишках, жмутся! А его жена, гречанка, кричит на него источно, деток охраняет-вырывает, а он только ладошками взад отмахивается, ушел в себя. А Ворон из книги что-то вычитывает и рукой размахивает, как колдует. А Кребс покатывается на кресле и дым через папаху пускает, ногами сучит.

С пристани мне все видно. И такое во мне смятение!.. Возглашаю, а сам на трагедию взираю. Запели «Спаси, Господи, люди Твоя»... и иеромонах спустился по лесенке Крест в море погружать, и все на колени пали по моему знаку. И как в третий раз погрузили Крест, Ворон и приказал Ивану

Иванычу в море погрузиться, а сам книгой на него, как опахалом. Тот скинул пальтишко – и бух по шейку! А Ворон руки воздел. Да хватился детишек, а мать их в народ запрятала! Тот, дурак-то, из моря машет, желтый скелет страшенный, и Ворон призывает зычно: «Идите в мой Вертоград!» – а народ сомкнулся. И бакланы, помню, над дураком-то нашим вместо голубя пронеслись, черные, как нечистые духи! Слышу – кричат в народе: «Зачем дозволяют позорить веру?! В море его скинуть, Кребса, нечистого!» А он – за ружьями! Покуривает себе. И потребовал от Воронова стакан вина. И, говорили, того дурака поздравил, селедку-то нашу скудоумную, скелета-то интеллигентного, учи-теля разумного! И тут во мне закипе-ло... и я воздел руку с орарем и крикнул в ожесточении и скорби, себя не помня: «Богоотступнику и хулителю православной веры Христовой, учителю Малову – ана-фе-ма-а-а!..» – Не все слыхали за шумом, но ближе поддержали: «ана-фема!» Иеромонах меня за руку, и дрожит... И все смешалось... Забухали с пристани за крестами человек тридцать! Побили все рекорды! Крик, гам... Подбадривают, визжат, заклинают, умоляют! На лодках рыбаки стерегут, помощь подают, вылавливают: которые утопать стали, с ледяной воды, от слабосилия! А там саженками шпарят, гикают... Брызг летит! Народ «Спаси, Господи, люди Твоя» поет всеми голосами, иеромонах на все стороны Крестом Господним – на горы, и на море, и на подземное, и на демона-то того с Вороном... и я кистию окропляю – угрожаю, в гневе, и кругом плач и визг... А там – е-кстаз! Уж не для приза или молодечество показать, а веру укрепить! Три старика и хромой грек-сапожник ринулись. Бабы визжат: «Отцы родные, братики, покажите веру!» А я и кадилом, и орарем, и кистию... Кричу рыком: «Наша взяла! Во Имя Креста Господня, окажи рвение, ребятки!» И доказали! Прямо, скажу, стихия объявилась! Восемнадцать человек враз приплыли со крестами, семеро без крестов, но со знамением на челе радостным, остальных на лодке подобрали без чувств. Ни единого не утопло! Всех на подмерзлом камне сетями накрыли, вина притащили, – матрос с пункта пришел и сомкнулся с нами, и поздравлял за русскую победу! Праздников Праздник получился. И всем народом – «Спаси, Господи», – ко храму двинулись. А Кребс не выдержал, убежал. А дурака, говорили, жена домой сволокла, без чувств...

Вот... понимаю: язычество допустил в пресветлую нашу веру. Но... всему применение бывает?.. И тревога мутит меня... Хотя, с одной стороны, после позора дурацкого, ни одна душа не пойдет тому дураку вослед, но... не превысил ли? Не имею благодати ведь? Хотя, с другой стороны, или –

гордыня во мне это? Ведь поняли без слов! И в сем оказательстве... не мой, не мой!.. – всхлипнул от волнения и восторга дьякон и смазал ладонью по носу, снизу вверх. – А всего народа – Свет Разума?! По силе возможности душа сказала?..

– Конечно... и здесь – Свет Разума, – сказал я и почувствовал, что дубовая клепка с моей головы спадает.

– Согласны?!. – воскликнул радостный, как дитя, дьякон. – Ну, превышение... и тонкого духа нет... высоты-то! Но... что прикажете делать... на грошиках живем... последнюю нашу Св. Чашу отобрали... уж оловянную иеромонах привез, походную... Можно и горшок, думаю? Начерно все... но...

Он поднялся и поглядел на горы.

– Спою тропарек... петь хочется! Ах, чего-то душа хочет, интимного... С тем и шел. Пройдусь, думаю, на горы, воспою... И тревога во мне, и радость, покою нет...

Он пел на все четыре стороны – и на далекую белую зиму, и на мутные волны моря, и на грязный камень, и на дали. Дребезгом пел, восторженным.

– И вот, уж и победа! – воскликнул он, садясь и подхватывая колени. – Дурачок-то наш звал меня! В тот же вечер без памяти свалился. Сорок градусов! Три дня без памяти. Прибежала жена: «Идите, помирает!» Прихожу, а там уж Ворон сидит, как бес, за душой пришел. Лежит наш дурачок Иваныч, и свечка восковая при нем горит, у иконы Спасителя. Плачет: «Не даю ему, а велит тушить... Вот, помираю, отец дьякон. Хочу войти, а его отвергаюсь... Уйдите, господин Воронов, посланник сатаны! Я был православный – и останусь!» А тот погладил брюхо, и говорит: «Нет, вы уж отвергли капище, и жрец вас проклял! И приняли истинное крещение! Тайна сия нерасторжима!» – «Нет, – говорит, – я только искупался, как дурак, и все недействительно». Жена схватила ухват, да на того!.. «Уйди, окаянный демон, пропорю тебе чрево твое!» Ну, тот ослаб. «Духовная гниль и мразь вы все!» – прошипел и подался вперед ухватом. А я учителя успокоил. Говорю: «Собственно говоря, в совокупности обстоятельств моя анафема недействительна, а только сыграла роль для укрепления колеблющихся. И иеромонах так думает». – «В таком случае, дайте мне вашу руку!» И поцеловал мне, хотя и против правил. Дал слово всенародно исповедать веру. В регенты опять хочет. И через неделю оправился. Сводя итог, разумею, что... Но лучше уж вы скажите верное резюме!..»

И мы хорошо поговорили, на высоте.

Декабрь, 1926 г
Севр

ПРОГУЛКА

Ивану Александровичу Ильину

I

Жизнерадостный, полнокровный Поппер говорил, живописно откидывая падавшие па лоб пряди:

– Да, как будто бессмысленно. Но мы в ограниченных рамках, друзья мои! В рамках... я бы сказал, зде-чувствия, и Смысла мы осознать не можем. Жизнь, как некая онтологическая Сущность, начертывает свои проекции в невнятном для нас аспекте. Но можно как бы... под-чувствовать, уловить в какофонии Хаоса... таинственный шепот Бытия! Этот вéдомый всем Абсурд, этот срыв всех первичных смыслов... нс отблеск ли это Вечности, таящей Великий Смысл?!.

Он умел тонко мыслить, любил смаковать слова, вслушиваясь в их музыку, и это умиряюще действовало на заходивших к нему но пятницам. Его стеснили, оставив всего две комнаты; но эти комнаты, в книгах до потолка, покойные кожаные кресла, тяжелый стол красного дерева, от наследников Огарева, просторные окна особняка, выходившие в старый сад, с видом на главки Успения на Могильцах, манили в прошлое. К нему любили заглядывать, вздохнуть от постылой жизни.

Это были хорошие русские интеллигенты. Они возмущались зверствами и клеймили насильников в газетах за поругание революции, за угнетение самоценной личности. Но когда задушили и газеты, даже высоким идеалистам, верившим безотчетно в человека, сделалось совершенно ясно, что здесь человеческие слова бессильны. Отвергая принципиально борьбу насилием, непоколебимо веря, что истина победит сама, они стали терпеть и ждать.

Заходил к Попперу Укропов, благородный его противник, человек пожилой и, несмотря па мытарства, все еще очень грузный. Под влиянием пережитого он пересмотрел

свою философию и отверг, и теперь работал над капитальным трудом – «Категории Бесконечного: Добро и Зло». Когда-то спорщик, теперь он молчал и думал, жуя черные сухари, насыпанные по всем карманам.

Бывал математик Хмыров, высокий, замкнутый человек, произносивший за вечер десяток слов, но веских. Его матовое лицо и черная борода в проседи приносили спокойствие.

Захаживал еще Лишин, знаток кватроченто и чинквеченто, мечтавший уехать за границу. Он бродил теперь по церквам, открывая старинные иконы, и ставил свечки. Часто крестился и говорил: «Как Господь!..»

Забегал подкормиться Вадя, утиравший лицо кудрями, увлекавшийся Пушкиным и Маяковским, – поздняя поросль века. Он легко опрощался, ходил без шляпы и босиком, подсучив штаны, и недавно прославился, выпустив книжку «Вызов» – в одну страничку:

Небо – в окошко!
Луну – в сапог,
Как кошку!
Бог!

Его стыдили, а он хохотал восторженно:

– Поддел! «Бог»-то ведь с большой буквы!.. Начало стиха, не придерешься!..

Бывал хрупенький старичок, милейший Семен Семеныч, писатель из народа, с подмигивающим глазком, но скромный. Он притаскивал иногда кулечек, – «для поддержания философии», – и тогда услаждались салом и даже запеканкой.

Уже миновало время, когда не раздевались по месяцам, таскали ослизлую картошку, коптили вонючие селедки, меняли, хоронили... Стало легче, и обострялась потребность духа: осмыслить и подвести итоги.

– Миллионы трупов, людоедство, донельзя оскотинели... – говорил Хмыров в бороду.

– Четыре года – момент. Момент – не мерка! – чеканил Поппер. – Берите перспективы, углубите. Чекисты... – понижал Поппер голос, – гекатомбы. Верно. Но это воплощение смерти в жизни, это призрачность самой жизни, когда грани реального как бы стерты... этот пьяный разгул меча... не обращает ли это... к вечности??!...

– Естественно, обращает.

– Не каламбурьте. Разве мы не шагнули за грани всего обычного, разве не выветрили из душ многую пыль и гниль перед всечасной проблемой смерти? Разве не засияли в нас лучезарными блесками благороднейшие алмазы духа?!. Разве не раскрылась в страданиях бесконечность духовных глыбей?..

– Зло... – говорил из угла Укропов, жуя сухарик, – в вашей концепции принимает функции блага. Разберемся. В аспекте безвременности. Зло как философская категория не есть то зло, которое, по чудесному и потрясающе точному слову Блаженного Августина...

– А если не из философии, а попросту?.. – подмигивая, вмешивался сбочку Семен Семеныч. – Сколько было философов и крови, а благородного блеска нет?.. Подешевле бы как-нибудь нельзя ли?..

– Вчитываясь, господа, в Пушкина... – вмешивался, волнуясь, Вадя, и кудри его плясали, – нахожу теперь величайшее в «Пире во время чумы»!.. Что-то... прозрение!.. Вот, позвольте... –

Что делать нам? и чем помочь?
. . . .
Зажжем огни, нальем бокалы,
Утопим весело умы –
И, заварив пиры да балы,
Восславим царствие Чумы!

– Аркадий Николаич... только в иной плоскости... – путался он словами, – что «мы обращаемся в Вечности»! Вот, Пушкин опять...

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья –
Бессмертья, может быть, залог!

– Кто это говорит?! – вздыхал из угла Укропов. – Не Пушкин, а потрясенный, потерявший любимых! Пушкин предвосхищает Достоевского, дает «надрыв». А Аркадий Николаевич, здравый, через «чуму» – приближает к... Вечности! И, конечно, никакого «шепота Бытия» не слышит!

– Слышу! Представьте на один миг...

– Один мне писал, в начале «шепота»... – говорил веско Хмыров: – Почему возмущаетесь? Почему самому Пушкину не верите?! – «Есть упоение в бою, и бездны мрачной на краю»! – Подошло мальчику под ребро. Неделю в погребе прятался. Полагаю: не до «упоения» было.

Так они шевелили душу.

II

«Ходили по краю смысла», как выражался Поппер, и в этом была даже красота. В кусочке хлеба, в его аромате и

ноздреватости теперь открывался особый смысл. В розоватых прослойках сала, в просыпанной пшенице, которую подбирали, как святое, вскрывалась некая острота познания. Кристаллик сахара, выращенная в горшке редиска наливались особым смыслом. Даже ходить неряхой – и в этом было что-то несущее.

Открывались новые радости. Аксаков являл чудесное простотой: «Вода – красота природы»! Тургенев ласкал уютом. История России блистала грозами, светилась Откровением. Собрания «вечного искусства» томили сладчайшей грустью, сияли отблеском Божества. Мечталось уехать за границу.

– Да, хорошо бы за границу... – признался Поппер.

Как-то Вадя принес «открытие»:

– Это что-то непостижимое!.. «К вельможе»!.. Вчера... всю ночь... десятки раз... весь мир!..

. . . .
Лишь только первая позеленеет липа,
К тебе, приветливый потомок Аристиппа,
К тебе явлюся я; увижу сей дворец,
Где циркуль зодчего, ...

Он читал вдохновенно, прячась в своих кудрях. Да, удивительно. Поппер взял с полки книгу...

. . . . Ступив за твой порог,
Я вдруг переношусь во дни Екатерины,
Книгохранилище, кумиры, и картины,
И стройные сады . . . .
. . . .
Я слушаю тебя. твой разговор свободный
Исполнен юности . . . .
. . . .
Беспечно окружась Корреджием, Кановой,
Ты, не участвуя в волнениях мирских,
Порой насмешливо в окно глядишь на них
И видишь оборот во всем кругообразный.

Открыли тетради «Столица и Усадьба», томики – «Подмосковные». Сколько перлов! И не замечали как будто раньше? Поппер сознался, что не бывал ни в одной усадьбе. Лишин знал хорошо Европу, а «усадьбы откладывал». Укропов «все собирался, да так и не собрался».

– Остатки «варварства и крепостников»-с, – постучал пальцем Хмыров. – А вот при «шепоте Бытия»... на Театральной, пирамидку из досок видал, для собак удобно. И на ней Карла Маркса сидит.

Решили делать экскурсии.

III

Как-то сошлись на вокзале, с мешочками: хорошо закусить в парке, подле Дианы или Флоры. К ним подошел, в галифе, с кобурой, справился: кто, куда?

– А, всерабисы... Мо-жете.

В вагоне говорили об искусстве, об Архангельском-Юсупове. Какой-то пьяненький пробовал задирать и обозвал «голопятыми».

– Все им гуля-нки!.. Зна-ю... Не переводются... есупы!.. Какии у вас... архангелы?.. Мало вам, что Господни... храмы... Я зна-ю!..

На остановке сошли. Потянулись поля картофеля, изрытые, в ворохах ботвы. Кое-где добирали бабы. Было начало сентября, сухая и ясная погода, припекало, сверкали паутинки. Приятно было идти по пыли, мягко. Вдали темнел плотной стеною бор, белела колокольня.

Поппер прочел накануне «Подмосковные» и объяснял подробно:

– Въездными воротами, – с барельефом Трубящей Славы, – вступаем в парк, где когда-то прогуливался Пушкин. Бор раздвигается, и в перспективе аллеи – величественная арка, сквозные колоннады, – подлинный «гимн колонне», «одна из лучших мелодий в тоне, которым звучала русская архитектура конца восемнадцатого века»! Дом с круглым бельведером. Дух Кваренги, Старова и дерзновенного, хотя отчасти и подражательного Казакова. Паоло Веронезе и Тьеполо, декоративная живопись барокко... Мы почувствуем Гюбера, Греза и Ротора в неувядающих полотнах, увидим былую прихоть – интимную комнату портретов прекрасных женщин – «привязанностей»... голубую, под серебро, «спальню герцогини Курляндской»...

К тебе, приветливый потомок Аристиппа,
К тебе явлюся я . . . .

Надвигавшийся бор синел; чувствовалось его дыхание. Томили поля изрытостью.

– Мы в грязном, разрытом поле... – рассуждал, проникаясь, Поппер, – но мы продвигаемся туда! Нет, в самом деле: серость, и – темно-зеленый бархат, укрывающий «светлый мир»! Дикое поле и тут же невидимое... близко-близко, – нетленное!.. Чудеснейшие возможности...

Смотри: вокруг тебя
Все новое кипит, былое истребя.
Свидетелями быть вчерашнего паденья...

– Позволю себе перефразировать:

Опомнятся младые поколенья!..

А Семен Семеныч пропел, мигнув на копавшую у дороги бабу:

Жестоких опытов сбирая поздний плод,
Они торопятся с расходом свесть приход.

– А почем, матушка, картошка-то? – спросил он говорком бабу.

– Ну тебя, старый черт!.. – огрызнулась баба. – Скидай штаны – дам пригоршню!

– Скидать-то стыдно, красавица... – сказал старичок под хохот.

– Слопали нонче стыд-то!.. – швырнула баба.

Купили за полтораста тысяч с полподола картошки: хорошо будет спечь в золе! Попался солдатишка в разухом «шлеме», на кляче вскачь, гикнул на них – «това-рыщи-и!»... – Вадя пустил вдогонку:

Дурак на лошади,
Колпак на дураке,
Звезда на глупом колпаке!

– До этого надо довести, само не станется... – сказал Хмыров...

Вот он и бор. Ворота с Трубящей Славой. Оглядели, пошли аллеей, в высокой сухой траве. Было тоскливо, тихо. Пахло сухим застоем. Вкрапленные, кой-где золотились в бору березы.

– Едут...

Бежала буланая лошадка, с черной, под щетку, гривкой; звонили мелкие бубенцы на сбруе. В желтом кабриолетике сидела пара. Кругленький старичок, с острой седой бородкой, в бархатном картузе, в перчатках, почмокивал вожжами. Он внимательно поглядел и что-то сказал соседке. Она кивнула. В широкой шляпе, широкая, с букольками у щек, она была старичку под пару. Прокатили.

– Афанасий Иваныч и Пульхерия Ивановна, стиль-модерн! – подморгнул к ним Семен Семеныч.

– Должно быть, осматривали... тоже.

– Отражение прошлого! Мирно катят на станцию, из усадьбы...

– И на своей лошадке! Уцелели еще такие...

– Господи, какая удивительная встреча!.. – промолвил грустно всю дорогу молчавший Лишин. – Господи-Господи... где все?!.

– Смотрите... колонны в соснах! А вон бельведер!..

Они приостановились и смотрели.

– Прошлое...

– И говорит это прошлое: «Что!.. панихидку пришли служить?..»

Величественная арка ворот. За нею сквозные колоннады, за ними дом – белая тишина у леса – проблескивает пустыми окнами. Холодный, слезливый блеск.

– Стай-ай!!.. – всполохнуло их сиплым ревом. – Вам говорят... назад! Ступай сюда...

И явственно звякнуло прикладом.

IV

Сбоку арки сидел на пеньке солдат, звезда на шапке. Они подошли покорно.

– В чем дело, товарищ?.. – небрежно спросил Поппер.

– А вот... уходите.

Это был белобровый парнишка, с слюнявыми губами. Он поставил винтовку к арке и стал колупать ладонь.

– Почему?! У нас ордер...

– Мало что, а... уходите, больше ничего.

– Да позвольте... почему мы должны уходить?!. – возмутился Поппер, обзывая мысленно сопляком.

Солдатишка отколупнул мозоль и стал раскусывать.

– Я энтих делов не знаю. Вам говорят, ступайте... а то начкара свистну сейчас. Он вам тогда скажет, почему...

– Товарищ, не будьте цербером! – сказал Вадя, протягивая солдату папироску. – Хоть покурить, что ли...

Парнишка взял папироску и положил за обшлаг, как должное.

– Видите, товарищ... Этот старинный дворец сохранен рабоче-крестьянской властью для всех граждан... и мы, как граждане...

– Энто я без вас знаю, что рабочая власть...

Они закурили, ждали.

– Нечего мне вам объяснять. Не враз попали. Сама уехала, а без ее нельзя. То-лько вот со стариком отъехала... Небось она вам попалась?

– То есть как?.. При чем тут... Кто это о н а? – заговорили они все вместе.

– Живет тут со стариком, охраняет. От ее зависит. И ключи у ней... Поедет и запрет.

Они смотрели, не понимая, вглядываясь друг в друга.

– Может, к зятю поехали... тогда не скоро. А может, на Смоленской, купить чего. Она часто ездит, катается... – расколупывая ладонь, болтал парнишка. – Хотите – погодите... по лесу погуляйте. Этого она не воспрещает. А коль к с а -

мому поехали, до ночи не воротются. Он в Ильинском теперь живет.

– Кто он?.. – спросили они все вместе.

– Товарищ Тро-цкай... кто! – подтряхнул головой парнишка. – Евоная теща, полныи полномочии! Троцкая теща... поняли теперь? При себе допускает, а так велит гнать. Боится, покрадут. Теща евоная, самого Троцкова! А то как ничего. С которыми и сама ходит, рассказывает, как у их там... о-ченно сильвировано!..

– Мммдаааа... – промычал Хмыров в бороду. – Были князья, теперь те-ща!..

– Понятно, все ее боятся... Троцкая теща! А об князей я не знаю, рязанской я. Каки-то, словно, жили, сказывали тут некоторые люди... что хорошего роду. Конешно, теперь все – народное. А старик ее вроде казначей, с сумкой ездит. Отвезет чего, а то привезет... дело-вой! Ну, она шибчей старика.

– Так-с. Строгая, выходит?

– Не шибко строгая, а... Надысь Артемова нашего на трои сутки запекла! А так. Сказал, про себя... несознательный он, конешно. Ну, она дослышала, враз в телехвон, самому! Нажалилась. На трои сутки, для дисциплины! Вы как... не партейные? Под копытом видит! Живот надысь у ей схватило, ночью... сметаны облопалась... Тут у их во-семь коров, молоком торгуют... Солдата в аптеку ночью погнала, за семь верст! Сво-лочь какая, погнала!.. – оглянулся с опаской солдатишка. – Разве энто порядки? Царица, вон говорят, у нас и то так не гоняла...

Он глубоко запустил руку под шинель, под мышку.

– Заели... все тело зудится, а мыльца нету.

Они пожалели и дали ему на мыльце.

– Значит, никак нельзя без нее?

– Не, ни под каким видом.

– Мы бы недолго... Может быть, как-нибудь?..

– Да что вы, махонький, что ли... не понимаете! Говорят вам, ключи с собой увозит... никому не доверится! Наши-то бы пустили поглядеть... Жалко нам, что ли! Гляди, пожалуйста. Вот, глядите отседа... на воздухе-то и лучше даже. А то, может, дождетесь. Пообходчивей как с ней... шляпу ей сымете... она вас, может еще, и сама проводит, все вам расскажет. И со стариком, где спят, покажет. Надысь я видал... о-ченно сильвировано! Постеля у их голубая, и весь покой голубой, и серебряный... И спять под пологом, с бахромой... сказать, балдахон!..

– «Спальня герцогини Курляндской»! – сказал Хмыров. – Наследнички.

– Но это же... ужасно!.. – воскликнул Поппер.

– Спят-то что? – спросил, ухмыляясь, солдатишка. – Они супруги... уж это как полагается.

– Не то, а... Ждать-то долго.

– Видно, надо играть назад! – перебирая бороду, сказал Хмыров.

– А то погодьте. Враз попадете, она ничего, обходчива. Песни мы им надысь пели, сорок человек... гости были. Наши им песни ндравются, чтобы свист!.. Велела по стакану молока...... выдать!.. – выругался с оглядкой солдатишка. – Заместо водки!..

– Да к вам-то какое они отношение имеют?! – дернулся-крикнул Вадя.

– Мало что. Всякии отношении. Значит, такой закон, допущены до дела...

– Не-ет, он не дурак... – сказал Хмыров, когда, прощально взглянув на дом, потянулись они аллеей. – «Всякие отношения имеют»!..

Дошли до Трубящей Славы.

– Дотрубилась, голубушка! – сказал разговорившийся что-то математик.

Пошли картофельные поля. По взъерошенной дали их еще копались пригнувшиеся люди, добирали.

– До чего же все гну-сно!.. – воскликнул с тоскою Поппер.

Укропов жевал сухарь. Он всю дорогу молчал. Молчал и Лишин. Когда говорили с солдатишкой, он отошел под сосны, смотрел на дом и что-то шептал – крестился. Плохи были его дела. Хмыров шагал раздумчиво. Дошагал до Поппера и положил руку на плечо.

– Ну, как насчет... «шепота Бытия»?!.

– Отстаньте, Аркадий Николаич... – устало сказал Поппер. – Этот факт...

– ...что нет никакого «шепота», а самая-то обыкновеннейшая теща......! – выругался нежданно математик, что не шло уж к нему совсем.

– Куда вы... Вадя?!. – закричал Поппер, видя, как поэт побежал от дороги полем.

– Оставьте его... – шепнул в какой-то тревоге Лишин. – Опять это с ним. Недавно зашел ко мне... забился на диванчике... Ужасно, ужасно, ужасно!.. – Лишин потер у сердца. – Потише, господа... скоро очень идем...

Подковылял ослабевший Семен Семеныч: плохо он закусил в дорогу. Поморщился, подморгнул.

– «И пошли они, солнцем палимы»... – хрипленько рассмеялся он. – А то в деревне, бывало, плясовую пели. «Ах, теща моя... доморощенная! Ты такая, я такой... ты кривая, я косой!..»

– Нет, эта не кривая... и очень даже не кривая! – сказал через зубы Хмыров. – А вот насчет косины-то...

– Да что же мы, господа... – всплеснул неожиданно Укропов, – в лесу-то не закусили?!.

Возвращаться не стоило. Вон уж и полустанок, и Вадя выходит на дорогу. И минут через двадцать поезд.

Июль, 1927 г.
Ланды

БЛАЖЕННЫЕ

Я прощался с Россией, прежней. Многое в ней потоптали-разметали, но прежнего еще осталось – в России деревенской.

Уже за станцией – и недалеко от Москвы – я увидал мужиков и баб, совсем-то прежних, тех же лошадок-карликов, в тележках и кузовках, те же деревушки с пятнами новых срубов, укатанные вертлявые проселки в снятых уже хлебах, возки с сеном, и телят, и горшки, и рухлядь на базаре уездного городка. Даже «милицейский» с замотанными ногами чем-то напоминал былого уездного бутошника, – оборвался да развинтился только. А когда попался мне на проселке торгового вида человек, в клеенчатом картузе и мучнистого вида пиджаке, крепкой посадкой похожий на овсяной куль, довольный и краснорожий, поцикивавший привольно на раскормленного «до масла» вороного, я поразился, – до чего же похоже на прежние!..

– Это не Обстарков ли, лавочник? – спросил я везшего меня мужика.

– Самый и есть Обстарков, Василий Алексеич! – радостно сообщил мужик, оглядываясь любовно. – Ото всего ушел, не сгорел. Как уж окорочали, а он – на-вон! До времени берегся, а теперь опять четырех лошадей держит, с теми водится... Очень все уважают. За что уважают-то?.. А... духу придает! Как разрешили опять торговать, сразу и выбег. – «Теперь, – говорит, – я и х, сукиных сынов, замотаю!» – Прямо веселей глядеть стало. Значит, опять возможность. Ну, и сами друг к дружке потесней стали, а он вроде как верховод. Сына по партии пустил в Москву... – с левольвером ходит! – а он через его товары у них забирает, кирпичный завод зарендовал, коцанерного общества. Чуть рабочие зашумят, он кричит: – «Я сам теперь камунист, сейчас прикрою!» – И молчат. Да что... одна только перетряска вышла. Смирному человеку плохо, а кто поворователей – отрыгаются.

– Значит, хорошего ничего не вышло?

– Кто чего ищет! Может, чего и увидите, хорошего. Да вот... – улыбнулся он и помотал головой, – куда едете-то... пророк там завелся! Самый пророк. Слесаря Колючего помните, в имении за водокачкой смотрел? Перевращение с ним вышло. Самый тот, пьяница. Зимой босиком стал ходить и слова произносит. Какой раньше домокрад был, жадный да завистливый, а теперь к нему сколько народу ходит, – много утешает. Строгие слова знает, очень содействует. Четыре месяца в ихней чеке сидел, убить стращали, а не прекратился. Бабы к нему посещают, чудесов требуют! А то еще есть, совсем святой, Миша Блаженный, генеральский сын! Этого не могут теперь трогать, с полным мандатом ходит, очень себя доказывает. С этим вышло чудо...

К нам в тарантас вскочил какой-то в форме, с портфелем, – назвал его мужик – «товарищ-штрахаген», – и разговор прекратился.

В знакомом имении я нашел большие перемены. Стариков-хозяев выселили во флигелек, и они как-то ухитрялись существовать. Старый педагог и земский деятель стал шить сапоги на мужиков, а барыня, былая социал-демократка, занялась юбками и рубахами. Хозяйство падало, но присланные на кормление в совхоз пока блаженствовали, проедая остатки.

Я приехал с приятной вестью, – сказать старикам, что их племянник, которого они считали погибшим, находится в безопасности, и что я скоро его увижу. Старики заплакали тихими, радостными слезами, и я тут понял, какая произошла с ними перемена.

– Слава Богу! – благоговейно сказал педагог и перекрестился. – А это... – махнул он за окошко, на именье, – теперь, после всего, – тлен! Да, тлен.

Раньше я никогда не видел, чтобы педагог крестился. Он слыл за «анархиста-индивидуалиста», переписывался с Кропоткиным и славился яростною борьбой с церковными школами, называя их мракобесием и сугубоквасною чушью. Теперь же над его койкой висела даже иконка, в веночке из незабудок, и лампадка.

Старушка, когда-то стриженая, когда-то ярая неверка, стала благообразной, под черным платочком, заколотым побабьи. Слушая мое сообщение, она часто крестилась и перебирала молитвенно губами.

– Господи Боже, сколько пережито и понято! – сказала она кротко. – Ну, да... мы опростились. Сколько было суеты, гордыни. Мы выросли духовно, и нам открылось с Сергеем Степанычем столько глубокого, столько действительно ценного, абсолютного!..

– Бог открылся?

– Да, Бог. Все сгорает, а Он – родился. Для нас, по крайней мере.

Я не стал спрашивать. Но и в этом н о в о м я улавливал то неистовое, безотчетное, что когда-то кричало в речах старушки, когда она приводила меня к социализму.

– Перемены радикальные, и во всем... – говорил педагог, – но их надо искать, видеть духовным оком! Одни оподлились, зато другие показывают удивительную красоту, душевную. Та «правда» в народе, которую мы искали, которой поклонялись слепо, теперь открылась нам обновленной, просветленной, получила для нас уже иной смысл: не правды равенства в материальном, как предпосылки будущего социального устройства жизни, а Правды, как субстанции Божества... как воплощения Его в нас!..

Я ловил знакомые интонации диалектика, и перерождения, глубины – не чувствовал: старые дрожжи слышались. И странным казалось сочетание темного образа, лампадки и... ровно текучих слов. Вспомнился Степан Трофимыч у мужиков, из «Бесов».

– Искания этой новой Правды усилились! Наш «социал-демократ», которого мы же с женой и создали, – помните, Семен Колючий? – из бунтаря превратился в... пророка! Много, конечно, смешного и дикого, но вы увидите сами, что в нем образовался некий духовный стержень! Наши просветительные книжки он сжег, и теперь сам «стоит на камне»!

– А Миша Блаженный! – воскликнула старушка. – Это же прямое «оказательство»!

– Да... но этот мне не совсем понятен. С ним произошло потрясение на физиологической почве... и этот случай надо рассматривать не исключительно с духовной стороны... Хотя очень показательно это проявление юродства. Но Колючий... это типичный случай перерождения, увидите!

И я увидел.

Водокачка, когда-то подававшая из прудов воду на все службы, бездействовала: плотину прорвало, пруды ушли, и только в самом нижнем, забитом корягами, еще держалась вода, и даже водились караси. Семен Колючий, ярый политик и бунтарь, первый поднявшийся в революцию против просветивших его господ и потребовавший изгнания их во флигель, все еще проживал на водокачке-башне. Я его встретил на берегу нижнего пруда, за карасиной ловлей. Строго, глубокомысленно сидел он над поплавками, как обычно. Высокой, жилистый, в венце из седых кудрей над высоким открытым лбом, он напоминал мыслителя, и только черные руки в ссадинах и замазанная блуза кочегара говорили о его рабочем положении. Бывало, мы о многом с ним

толковали, – он был довольно начитан и от природы умен, – и добрые отношения наши сохранились. Мне он очень обрадовался.

– Господи - Вседержитель! – воскликнул он, всплескивая руками, словно благословляя, и восклицание это очень удивило меня. – Живы! Ну вот... вот вам и удочка, отдыхайте. Много воды утекло, и пруды наши утекли, и водокачка самоликвидировалась... а крови пролито еще больше. Прости, Господи! – сказал он с чувством и перекрестился. – Итоги применения теории скудоумных щенков! Отрекся... – просто, искренно сказал он и грустно улыбнулся.

– Проклял скудость гордыни ума и молю Создателя дать мне силу просвещать дикое племя и искать Его. Пролитая кровь и на мне горит, и на всем «просвещении». Идите и проповедите Евангелие Правды! Не убий, не укради, не лги, люби ближнего твоего! Не признаёшь сего – все бессильно, все суета. Господь окрылил меня. От гнева Его камо убегу? В смуте политической гнус наверху, как пена, а праведники побиваются камнями. Я три месяца за Правду страдал у н и х, и всего узнал. И крепок пребываю и пребуду. «На камени сем созижду»! И я встал на камень.

– Прозрел и восклицаю: – «Господь мой и Бог мой!» – Про нашу Россию в Евангелии писать надо и читать в церкви. Получили крещение огнем и должны взять посох и проповедити всему миру! Аз есмь Лоза Истины! Готовлюсь. Пишу послание ко всем народам!

Я посмотрел на него внимательней.

– Не гордыня это, – сказал он, словно поняв мой взгляд, – и не от потемнения ума. Сказал Господь: «Шедче научити вси языки»! Умер тлен – ожил Дух. Боролся за прибавочную ценность – отказался от всех тленных ценностей, ибо познал!

– Что вы познали, Семен Устиныч?

– Океан горя, слез и крови! Хлеба жива жаждал, а дали камень. Отравили источники. Не может человек ветхий установить Правду! Не оживет, аще не умрет. Умер – и воскрес, и Правда грядет со мною!..

Он страстно учил меня, путая и сплетая слова Писания, и я видел, что он горячо ищет, что весь он н о в ы й.

– Вы, я слышал, зимой босиком ходили... Зачем это?

– Больше веры учению моему, во имя Христово. Практический путь на проповедь: разуйся и шествуй! Душа горит и горением согревает. И стали внимать и содрогаться. Готовлюсь. Пройду по России от Востока до Запада, пройду в Европу. Там – геенна. И пойдут последователи, и низвергнем кумиров. И явятся чудеса. И уже есть!

– Есть? ! Интересно... И через вас?

– Господня воля. Пожег книжки тлена и проповедовал учителям моим, бывшим господам Сухомоловым, их же изгнах из тлена! И прониклись. И пожгли книги и брошюры учения тленного, ими же и меня развратили! И плакали все трое на пепелище гнойном, как Иов. Да возьмут крест свой и по Мне грядут! Ибо пришел час, в он же вси сущие во гробех услышат глас Сына Божия! Услышали. Любовь и нестяжание. Сим победишь!

Он наслаждался новыми словами, как сладкой песней.

– Открылось невидимо и прикровенно. Два года я горел злобой бесовской и выгнал из хором их, своих наставников и просветителей, ибо увидел, что, вопреки учению своему, держатся за имение и дрожат. Унижу и обращу во прах! И согнал, став во главе комитета бедноты. И кругом гнал и выжигал плесень, как Савл. И вот – «Савл, по что гониши Меня!..» – И вот, после моей окаянной речи в Лупкове, где имение Пусторослева, старого генерала, толпа, мною наэлектризованная... и не толпа, а пятеро последних воров и негодяев, в ту же ночь убили старика-генерала и ограбили последнее. Выволокли на снег из кухоньки, где он проживал, и повели босого, в одной рубашечке, на пруд. И утопили в пролуби. И его младого внука, параличного, четыре года лежавшего без движения, тоже утопили... И донесли мне. И в ту же ночь я напился крепкой вишнёвой наливкой, которую принесли мне воры, – и что случилось?!.. Не помню, как я на заре оказался в «Пусторослеве», у пруда. И видел, как кучер и повар генеральский вынимали синего генерала изподо льда. Я ушел и сел в кухне. И вот – сидит у горящей печки Миша, генералов внук, в тулупе, и улыбается мне, и даже протягивает руку! И тогда я упал без чувств. И когда кучер с поваром привел меня к жизни, я спросил – что случилось? И они сказали: чудо! Утопили генерала и Мишу расслабленного, а он выплыл из пролуби и пришел в кухню, исцелившись! И сказали мне: «на тебе кровь греха, будь ты проклят и уходи от нас!» И я ушел в смятеньи. А через три дня пришел ко мне на водокачку Миша и принес Святое Евангелие и стал читать про чудо в купели Силоамской. И, прочитав, сказал: «отпущаются тебе грехи твои!» С того часу мы с ним неразлучны и проповедуем. И сколь же мне это сладко!..

Я слушал восторженную, певучую речь Семена Устиныча. Блеском дрожало в его глазах под сумрачными бровями. И блеском, голубым и золотым блеском первых осенних дней, дрожало и на земле, и в небе. Березовая роща за нами золотилась. За ней, в белых стволах, сияло, голубело. Липы и клены за прудами краснелись-горели золотом, и густым, и жидким, и белые голуби, еще уцелевшие от ружья, взлетали сверканьями над ними.

Благостно было на душе. Я сказал:

– Если бы все так чувствовали... какая бы жизнь была!..

– Родной! – закричал старик, охватывая меня за плечи, – к этому-то и надо двигать! Шедче, проповедите языкам! Готовлюсь! Будет! Откры-лось!.. Не устами, а делами!.. А вон и Миша, Господь посылает во свидетельство!..

Между березками, у пруда, показался тонкий, высокий юноша, весь в белом. Он шел, скрестив на груди руки, смотрел на небо. Когда приблизился, я поразился, до чего прозрачно и светло восковое лицо его, совсем сквозное, словно с картины Нестерова, – до чего далек от земли его устремленный в пространство взгляд. Светлые волосы – бледный лен – вились по его щекам, и был он похож на Ангела, что пишется на иконах «Благовещения». Был он босой, в парусиновых брюках и в белой холстинной рубахе, без пояска.

– Миша-голубок, иди-ка к нам! – нежно позвал старик.

Миша приблизился, поклонился застенчиво и сел, вытянув ноги. Тонкие они были, как палочки, и мокрые от росы.

– Тоже много страдания принял! – восторженно говорил Семен Устиныч, любовно оглядывая Мишу. – Держали в узах и хотели убить, но он и палачей тронул, отвечал из Евангелия. Все Евангелие наизусть знает!

– Я все четыре года, когда лежал в параличе, читал Евангелие... – застенчиво улыбаясь, сказал Миша тоненьким голоском. – Я упал на охоте с лошади, когда оканчивал кадетский корпус... Господь привел меня в Силоамскую Купель... – продолжал он удивительно просто, по-детски всматриваясь в меня и доверяясь. – В ту ночь, когда пришли убивать нас с дедушкой, до их прихода, я видел Христа, и Христос сказал: «Пойди в Силоамскую Купель – и исцелишься!» И я исцелел. Вот, смотрите...

Он вскочил радостно и прошелся по бережку.

– Он подвиг принял! – крикнул Семен Устиныч. – Скажи, Миша, про подвиг.

Миша сел и посмотрел на меня детскими ясными глазами.

– Подвига нет тут, а... я хожу и ничего не имею. У нас все взяли. Когда я исцелел, я понял, что это нужно, чтобы у меня ничего не было. Хожу и читаю Евангелие. У меня даже и Евангелия нет, я наизусть. Приду и стою. Меня зовут: иди, почитай. Я читаю, и мне дают хлебца.

– Бла-женный! – восхищенно крикнул Семен Устиныч, любуясь Мишей. – Воистину, блаженный! Блаженни кроткие сердцем... блаженни, егда поносят вас! А что, поносят тебя, Миша?

– Нет – сказал Миша грустно. – Только всего один раз было, в Королёве, когда я пришел на свадьбу. У председате-

ля волостного исполкома сын женился, коммунист. Было в январе, очень мороз. Я шел по деревне...

– Босой! – восторженно закричал старик, нежно поглаживая мокрые ноги Миши. – А двадцать два градуса мороза было!

– И мне стало больно пальцы. Бабы звали в избу и давали валенки, но я не мог...

– Обет даден! – строго сказал Семен Устиныч. – Пока не расточатся врази Его!..

– Да. Когда Россия станет опять святой и чистой. И вот, мне захотелось войти на свадьбу....

– Был голос ему! «Войди в Содом, где собрались все нечестивые и гады!»

– Да, будто голос: «Иди и скажи Святое Слово!» И я вошел. Все были нетрезвые и закричали: «Дурак пришел!» И стали смеяться.

– Над блаженным-то! – с укоризной сказал Семен Устиныч, гладя Мишу по голове, любуясь.

– И вылили мне на голову миску лапши... но не очень горячей...

– А он..! – закричал, вскакивая, Семен Устиныч, – что же он сделал! Миша, скажи, что ты сделал?!...

– Я стал читать им: «Отче, отпусти им, не ведают бо, что творят»...

– И потом он заплакал! – с рыданьем в голосе воскликнул Семен Устиныч, тряся от волнения головой.

– Да, я заплакал... от жалости к их темноте...

– И тогда... Что тогда?!..

– Тогда они затихли. И вот...

– Чудо! сейчас будет чудо!.. Ну, Миша, ну?...

– И тут, один из города, матрос Забыкин...

– Зверь! Убивал, как в воду плевал!..

– Да он меня тогда, в тюрьме, хотел застрелить, что я был кадетом...

– Вы слушайте... Ну, ну?..

– Он был пьяный. Он встал и... вытер мне лицо и голову от лапши чистым полотенцем. И сказал: – «Это так, мы выпимши»...

– И еще сказал!.. Это важно!..

– И еще прибавил, тихо: – «Молись за окаянных, если Бога знаешь... А мы забыли!»

– Мы – забыли!!. А Миша что сказал?!. Что ты ему сказал?..

– Я сказал: «Он уже с вами, здесь... и Он даже во ад сходил!»

– Мудрец блаженный! Ну, и что тут вышло?..

– И все затихли. И стали меня поить чаем.

– Но он не пил!!..

– Я не принимаю чая. Я попросил кипяточку, с солью... – сказал, застенчиво улыбаясь, Миша. – И я...

– .... пошел от них на мороз, славя Бога!..

– И радостно было мне видеть их лица добрые...

– Ах, блаженный! И теперь никто пальцем не смеет тронуть. Ибо дана ему от Забыкина бумага! Покажь бумагу. . .

Миша достал пакетик из синей сахарной бумаги и показал листок с заголовком страшного места и печатью. Стояло там:

«Дано сие удостоверение безопасной личности проходящего странника и блаженного человека Миши без фамилии и звания, что имеет полное право неприкосновенной личности и проход по всему месту и читать правильные слова учения своего Христа после експертизы его в здравом уме и легкой памяти. Подписал – тов. Забыкин».

– Хожу и проповедую... – сказал Миша.

– Ходит и проповедует! Скоро тронемся по губернии. Совсюду нас приглашают. А будут посланы муки и гонения, принимаем!

– Принимаем с радостью, – сказал Миша и поднялся. – В Чайниково пойду. Бочаров-плотник помирает, звали...

– Иди, голубок. Знаю его, много навредил. А вот – к разделке. Утешь, утешь.

Миша простился вежливо, взяв, по привычке «под козырек», к виску, и пошел.

– Смотрите! – сказал Семен Устиныч, – разве не на верную дорогу вышел? И все любят. И все отдает, что дадут. Господи, научи мя следовать путям Твоим!

Когда я уезжал из имения, был удивительно лучезарный день, блеск осенний. И в душе у меня был блеск. Провожали старенькие интеллигенты, крестили на дорогу, и это ласкало душу. Но не они трогали меня. Лаской прощанья светило русское солнце, и – не прощалось. И золотившиеся поля ласково говорили – до свиданья. И мягким, хлебным – тянуло от золотистых скирд. И провожавший меня до крестьянской межи старик братски-ласково говорил:

– Снежку дождемся... а там, по снежку, и в путь, на проповедь. Господи, благодать какая! Святые поля... И будем ходить по ним....

Я слез с тарантаса и пошел прямиком, полями, по размахнувшемуся далёко взгорью. По его золотому краю, на высоте, на голубиного цвета небе, белели человеческие фигуры, светились в блеске. Баба ли добирала там, мужик ли копал картошку, – но в каждом сиявшем пятнышке на полях виделся мне подвигающийся куда-то тонкий и светлый Миша.

Апрель, 1926 г.
Ланды

ВЕСЕННИЙ ПЛЕСК

Я стою у чужой реки. Она идет полноводно, ровно, как месяц тому, как год. В оправе течет она, зеленоватая на заре, дымно-молочная в мутный вечер. Не засмеется, не зашумит.

А где же... весенний плеск?

Черные сучья чужих деревьев... Золото голубое – где?..

Надо закрыть глаза – и через узенько-узенькую щелку, через деревья, глядеть на небо. Лучше пройти за решетку сада, сесть где-нибудь потише, на солнышке, и так вот смотреть и слушать...

Воробьи?.. Это они чирикают, бойко, трескуче-бойко, радостно по весне. И вот... –

.... Великая лужа, на черном дворе, вся в блеске. Великая, во весь двор, лужа. Бурая в ней вода, – густое сусло. Плавают – золотятся на ней овсинки, ходит ветром утиный пух. Чуется белый ледок под нею. Кругом, – у заборов, у садовой решетки, у сараев, под бревнами, – голубовато снежком белеет. Он уже сдал, исколот лучами солнца, сочится стеклянным блеском, день ото дня бледнеет, уходит в землю. Гонит его перезвон пасхальный, звяканье рухающих сосулек, бугроватых. Налитые молочной мутью, ржавчиною янтарной, повисли они с сараев, звонко постукивают о бревна и разлетаются в соль и блеск. Холодком покусывает с воды, но белые утки полощутся, – к садовому забору, где поглубже; жесткие их носы вылущивают что-то сочно, вспыхивают на солнце крылья...

Какая радость – этот немножко страшный переход по доскам, до сада! В саду еще спит зима, тяжелая, большая; но снег надувается горбами, и почернел, усыпан веточками, вороньими и куриными следками, лапками. Под яблоньками сероватые проталы-стекла, лужицы голубые, – в них солнце и небо плещется. Яблоньки черны-черны, корявы весенней голостью. Зато тополя светлеют тугим и здоровым глянцем, и почки на них полнеют, золотятся.

Слепит совсюду. Небо упало в лужу и уронило солнце. Оно купается с облачками, с утками, брызжет в меня, на мое весеннее пальтецо, синее, с золотыми якорьками, только-только надетое, в новенькие калошки, – белые огоньки на них. Я жмурюсь и робко двигаюсь по доскам. Длинные они, во всю лужу, с кирпичика на кирпичик, потряхиваются, плещутся. Хорошо бы остановиться и попрыгать на середке, где доски плюхают по воде. Но нянька поталкивает в спину, несет за мною лопаточку, – ковырять снег в саду, гнать зиму.

– Чего надумал... иди, иди! О н те вот шуганет, из сарайчика выскочит... потопнешь!..

О н... Я знаю: живет в сарае, на погребе, в темноте...

Сараи и конюшни... Они приоткрыли двери и густо дышат. Из черной дыры, в сверкающей сетке капель, темно поблескивает большой лошадиный глаз, мягкие губы фыркают за решеткой стойла, и тянет оттуда как будто печеным хлебом, – навозом, лошадью. Сыплется с крыши блеском, булькает звонко по канавке, золотая вода течет. А серые стенки сухи, теплом от них. Синие мухи вспыхивают и спят на солнце. А солнце... Оно – везде. Это оно играет в колокола, гудит, и звенит, и плещет, и хочется заплясать, запрыгать. Но нянька ворчит – иди!

Вот и самая середина лужи. Я иду еле-еле, чтобы идти подольше, засматриваюсь на новенькие калошки, уже запачканные навозцем, на плавающие овсинки, на щепочки. Чурбак плавает, как корабль, синяя муха на нем катается. А вон, на бревнах, кот наш чего-то на солнце зябнет, – весны желает! Нынче и у него праздник. И сизые голубки ловят за хвостики друг дружку, кругами кружатся под сараем. Солнце под моими ногами плющится, и вдруг... что это?!. почему закачались доски?..

Я поднимаю голову. Красное на меня идет, покачивается, горит, как пунцовый шар... И я радостно узнаю Михайлу, который тесал лопаточку. Он двигается навстречу и весь сияет. Намасленная голова сияет на обе стороны, красное лицо сияет, и красная борода, как веник, и новая красная рубаха – пузырями. А на сапоги даже смотреть больно. Он радостно надвигается на меня, раскидывает руки... Рот его широко разинут, борода прыгает, хохочет. Я замираю, не знаю, – как же теперь мне быть? А он все ближе, он меня свалит в лужу... Но вот он делается ниже, ниже. Я вижу, что он садится, будто играет в коршуна... схватывает меня и вдруг поднимает на страшную высоту, над страшной лужей! Как хорошо отсюда, – и хорошо, и страшно. Все, все – другое совсем: и сосульки, и последний снежок на крыше, и пестрые бабы за забором, в зеленых и красных юбках, сигают через лужи, и красные шары где-то, и синие...

– Держись!.. – рычит Михайла, раскачивая меня над лужей.

Я слышу, как кричит нянька, – черный ее платочек с красными и зелеными цветами, – но Михайла тискает меня ласково и урчит, урчит. От него пахнет деревянным маслом, красной рубахой, винными будто ягодами, мятными пряниками, хлебом, овсом и чем-то еще, таким приятным, теплым... – стружками даже пахнет, чурбачками. Он жмет меня под коленки одной рукой, другою вытирает наотмашь рот, зевает и рычит мне в ухо:

– Ну!.. Хрястос Воскреси..!

И мочит сладким теплом мне губы, колется бородой. И только голубоватые, сонные глаза я вижу.

Он тихо ставит меня на доску, придерживая за калошки, чтобы все было аккуратно. Я, как во сне, в испуге, в радости непонятной. Я его очень люблю, и – лошадь за решеткой. И так хорошо и страшно висеть над лужей. А он, через мою голову, тянется и рычит:

– Домна Семеновна! А Хрястос Воскреси!..

Я слышу, как чмокаются они через мою голову, – раз и раз, и еще раз, – боюсь, что упаду в лужу, и схватываюсь за плисовые штаны Михайлы.

– Ну-ну, воистину... насосался уж, батюшка!.. – ворчит нянька, хватая меня за плечи, – рабенка-то уронишь...

– Домна Семеновна!.. – вскидывает Михайла руки, будто лететь хочет.

– Да уж проходи скорее...

Но проходить нельзя. Узенькая доска, а кругом лужа.

– Пра-здник, Домна Семеновна... никак нельзя... Пожалуйте вам дорожку!.. – рычит Михайла, и бухается в лужу.

Брызгами, блеском и холодком обдает меня, утками, сапогами, солнцем. Черные ноги Михайлы продавливают ледок с хрупом, – он теперь виден, под желтыми волнами. Я закрываю глаза от ужаса, от счастья. Кричит нянька, кричат утки, куриные голоса... А Михайла идет по воде, размахивает красными руками, пробивает сапогами дырья, откуда высоко фыркает – бьет вода.

– Не потопну...! – кричит Михайла.

И столько плеска кругом, и блеска, и гомона! Играют – смеются колокола, и утки белыми крыльями, и куры, орущие на бревнах, и кот, махнувший на крышу в снег, и голуби, вдруг взметнувшиеся на хлопающих крыльях, и плещущая лужа, и тысячи солнц на ней. Все смеется, звенит, играет...

Этот весенний плеск остался в моих глазах – с праздничными рубахами, сапогами, лошадиным ржаньем, с запахами весеннего холодка, теплом и солнцем. Остался живым

в душе, с тысячами Михайлов и Иванов, со всем мудреным, до простоты-красоты душевной, миром русского мужика, с его лукаво-веселыми глазами, то ясными, как вода, то омрачающимися до черной мути, со смехом и бойким словом, с лаской и дикой грубостью. Знаю, связан я с ним довека. Ничто не в силах выплеснуть из меня этот весенний плеск, светлую весну жизни... Вошло – и вместе со мной уйдет.

5 апреля 1925 г.
Париж

ЧЕРТОВ БАЛАГАН

Провожали капитана М. Сошлось человек пять, верных. Сам капитан имел вид странный, совсем не напоминавший капитана: мешок-мешком. Широченные панталоны, балахон, шапочка, туфли, – всё было из мешковины, с кострикою. Хороши были и провожавшие. Профессор был, например, в фуфайке футболиста и трусиках, а хозяйка квартиры, двоюродная сестра капитана, – в высоких сапогах и кожаной куртке. Капитан сидел в середине круглого стола и медленно попивал коньяк. К нему присматривались с уважением, и не без страха: проводы были с риском. Капитан был отчаянный, начальник бело-зеленого отряда, два года державшего в страхе Крым. Это он совершил налет на провиантские склады и вывез в горы четыре грузовика муки, сала и амуниции. Это его ловили на Пушкинской двумя ротами, и он провалился как сквозь землю. Это он самый бежал с семерыми из чрезвычайки, а через два дня в центре «снял» ударом кинжала в горло охранявшего вход чекиста. И вот этот опасный человек сидел теперь совсем близко от страшного дома в проволоке и пил коньяк. Он пил, а на него поглядывали. Правда, был уже не капитан это, а «уполномоченный профсоюза шахтеров Криворожья», прибывший в С. хлопотать о санатории в Алупке. Знали, что сейчас он едет на Южный берег, где его ждут с баркасом. Знали, что турецкая шхуна, привезшая рис и кофе, уже три дня болтается за горизонтом.

Профессор сидел очень неспокойно – вертелся и все облизывал пальцы, словно сейчас обжег их. Было ему неловко: сам затеял, и разговор получился неприятный. И всем было неприятно.

– Простите... – шептал профессор, всё время озираясь, – это не значит – примириться. Есть глубоко психологическое... Одних удержала любовь к науке, труды всей жизни...

других – любовь к народу, к стране, которая должна, пусть даже контрабандно, продолжать жить духовно-культурной жизнью! Всем уйти, способствовать духовному оголению?! Нет, иные готовы вынести миллион терзаний и унижений... но... – задохнулся профессор в шепоте и быстро облизал пальцы.

– Есть и белые вороны... – сказал капитан хмуро. – Вот пришли проводить меня, и я признателен. Не буду спорить. На прощанье хочу немножко повеселить друзей. Расскажу вам препикантную историйку.

– Он не совсем владеет собой... понимаете, сколько пережито!.. – шепнула профессору хозяйка, все время сновавшая по окнам. – На левой руке у него капсюль с циан-кали, а в кармане граната и браунинг....

– Понимаю, понимаю... – прошептал профессор, покосившись.

– Только подумайте.... – продолжала шептать хозяйка, – его фотографии расклеены на углах, а он вчера заявился в исполком, потребовал секретаря, предъявил свои «полномочия» и чуть ли не со скандалом требовал немедленного содействия, грозя телеграфировать в Москву! Потом явился в чека и представил такую ужасную бумагу, что все телефоны заиграли!.. Час тому заезжал сам Горлис и успокоил, что машина будет подана в 9 вечера!...Вы же видите, что он играет со смертью!...

– Сам... Горлис?! – прошептал в ужасе профессор.

А игравший со смертью с наслаждением выпил коньяку и сказал:

– Хо-рош. Потому что – *старый*. А что, если нас накроют?! Тут уж и любовью к науке не защитишься. Хотя был случай, что и тут сумели. Как? Просто: выдали еще дополнительных троих! Но после сего... погуляли не больше месяца: хозяева недоверчивы! Вам, господа, я благодарен за мужество, за посильную помощь и сочувствие. И уходя, чувствую потребность высказаться. Передайте маленькое завещание. Придет время – и мы, делавшие будем судить! Знаю, для многих искусников в психологии более приятен суд истории. Эта особа чиста, как белая бумага. Принимает любое освещение. Особенно эффектны розовые тона. Кровь, например, придает ей удивительно нежный отблеск!... За резкости пусть извинят меня. Давно привыкли проглатывать и не такие, и не от таких. И потом – все так или иначе прошли или перепрыгнули через смерть, иные пролезли под нее на брюхе, иные на карачках, на языке... Совесть не в счет. И потому можно себе позволить на прощанье быть свободным – в свободнейшей из республик. Да имейте в виду... мы здесь висим на волоске. Вы почтили меня, посылаете со

мной привет на ту сторону... бежавшим и отступившим с честью... и я должен предупредить: когда я сюда входил, подозрительная фигура провожала меня до переулка. У окна не садитесь, оно должно быть свободно. У дверей тоже: необходимо поле для обстрела. Профессор, вы сели не совсем удобно... Уходите... Это особенно опасно, прямо – в лапы!..

– Позвольте... – сказал профессор, облизывая пальцы, – я только поправил стул...

– Виноват. Коньяк прекрасный. Спасибо, доктор. Выписано для умирающего коммуниста? Знаю, нельзя иначе. Как и сливочное масло, которое идет «бедным деткам», упражняющимся в ритмической гимнастике в зале, что на углу улицы Жуковского. Видал. При встрече расскажу. И чудесное варенье, по протекции секретаря исполкома, из розовой черешни! Прекрасное варенье. Горлис кушает его банками. Чья-нибудь бабушка варила! Так всё удивительно волшебно, кончая нынешним заседанием спецов по вопросам климатически-санаторного лечения. Представитель Донбасса, – ткнул себя капитан в мешок, – доктор, профессор гигиены, метеоролог, делегат от железных дорог, от наркздрава... представители Правды-Истины и Правды-Справедливости. И на стене Михайловский! Помните, про Пушкина или Венеру и – топор-то! Он бы непременно схватил топор и стал бы защищать «ценности»! За его здоровье!.. К сожалению, на том свете... Редкостная фантасмагория!.. А до прибытия машины от наркздрава, которая понесет меня в Алупку, расскажу-ка я вам, друзья мои, презабавнейшую историю о... чертовом балагане!

– Это случилось в марте 21 года. Мой отряд в восемнадцать человек держал Чатырдагский Перевал. По деревням сидели свои люди, были друзья-чабаны. Облавы на нас кончались для красных неудачно. Дороги стали не проезжи. У комиссаров пропала охота путешествовать. За три недели семнадцать махровых поехали в дальнюю дорогу. Только двое из них встретили смерть прилично. Прочие оправдывались нуждой, темнотой, обманом. Служащим наши конвойцы – чеченец Мустаф-Оглы и кубанский казак Хоменко давали по десятку плетей за расторопность, после проверки их семейного положения. Выдрал я тройку учителей, двух артистов, одного лектора и одного врача-прохвоста, который служил у всех, обзавелся домком и принял с хлебом-солью первый карательный отряд красных. Следовало бы расстрелять, конечно, но врачу – льгота. Советское отбирали. Бедноте давали хлеба и сала. Предателей вешали. Красноармейцев-болванов разоружали, разували, иногда кормили: чего со скотины спрашивать! Но казак наш всегда огревал на прощанье плетью. Если бы не наша мяг-

кость, ни один бы интеллигент военного возраста и здоровый не ушел бы от нас живым: на борьбу не пошли, а теперь воют и ползают на брюхе! Не послушались Михайловского! А он бы им показал, как защищать ценности культуры!.. Не правда ли? Отпускали: пусть на здоровье в помойке тонут!

– И вот однажды дают с поста, что поднимаются две подводы, от берега, и на одной, на каких-то ящиках, едет барин, покуривает, в мягкой шляпе. Я выслал чеченца – заворотить в долину. Было пониже Перевала. Барина сняли с воза. Это была фи-гу-ра! В крылатке, поверх шубы, – шуба хорьковая, – в шляпе колоколом, в очках, толстый, огурчиком, в изящно подстриженной бородке, розовенький, с типичным лицом интеллигента. Возчик-хохол сказал, что подводы казенные, по комиссарскому приказу, а барин – что он человек ученый, профессор Самолетов. На поляне я осмотрел поклажу. Воза – доверху, имущество, обстановочка: мебель, кровати, шкафы, ящики с книгами. Допрос: кто, куда, зачем. В руках у профессора что-то тяжелое, обернутое в чехол. И я, лесной человек, по грудь черная борода, и космы, вдруг – узнаю профессора! Это был... мой профессор! Ну да, тот самый... – помните, на недавнейшем торжестве со слезами в голосе приносил благодарность премудрой и попечительной власти, разрешившей ему читать об истории итальянского Возрождения, о трубадурах во Франции, о Данте, о кватроченто и квинченто, хотя и с точки зрения марксистского подхода... То есть, *тогда-то* он был приват-доцентом, и, надо это сказать, бездарным но за революцию стал профессором. Знаете, завоевания революции. Многие завоевали... Он меня не узнал, понятно, а я не нашел нужным ему представиться. Но называл я его почтительно: «господин профессор»! – «Что везете, г. профессор?» – «Имущество и свою библиотеку». – «Счастливый вы человек, г. профессор! Сколько профессоров уже израсходовано, сколько не имеют даже штанов, сколько библиотек сожжено и растаскано! Вам повезло, г. профессор. Даже пружинный матрац при вас. Получили даже казенные подводы. Что читаете, г. профессор?»

– Если бы вы видали гордое выражение розового лица и посиневшего от страха носа! Он бормотал что-то очень невнятное; про... Данте, про «Божественную Комедию», эпоху Возрождения, про стишки менестрелей, про кватроченто... Я кусал губы, чтобы не расхохотаться. Редкий идеалист! Святой идеалист! Да ведь как же?! *Ничего* нет, всё вытоптано, выточено, опоганено, выпотрошено, забито, вбито, дохнут с голоду, жрут человечье мясо, нельзя охватить сознанием, что творится... а этот идеалист, в хорьковой шубе, с мраморным умывальником и пружинным матрацем, бредит еще о... Данте, о «Божественной Комедии», о кватроченто!.. Рядом стоит

поручик Сушкин, в чахотке, бьет его лихорадка, израненный, медик, бросивший лазарет, влившийся в наш полк, оставшийся с нами до конца! Отца его, профессора медицины, комиссары расстреляли, как черносотенца. Рядом – Вася, мальчик совсем, примкнул с Ростова. Его сестер умучили постыдно, расстреляли родителей... Мой чеченец, Мустаф-Оглы, благородный, аул его стерли, и всё в нем стерли. Рядом – семинарист Неаполитанский, мужлан со слезами, бывало, певший «Волною Морскою» и восторженно говоривший о древней русской церковной живописи, мечтавший уйти в монахи, «когда очистим». И сын другого профессора, математика, растерзанного в Одессе, сам гениальный математик, штабс-капитан с Георгием, в пещерах крымских в свободную минуту решавший проблемы Лобачевского....И милый, девица нежная, Сеничка, наш поэт, недавно забитый шомполами....И – этот идеалист-чудак, *мой* профессор!.. Он, бывало, старался подымать души, призывая забыть действительность. Я его сразу понял: не от мира сего?... Говорил, бывало: «что может быть выше, господа, такого-то стиха, такой-то песни «Божественной Комедии»!? Или: «представляете ли вы себе, как благородная душа избранного француза находила выход в творчестве вольных трубадуров?! Рыцарь и трубадур.... – чудеснейшая гармония духовной избранности!..» Правда, больше цитировал по книжке.

– Но идеалист чувствовал себя что-то не очень важно. Что понимают в искусстве лесные люди! Мы осмотрели чемоданы и ящики. Было всего достаточно. Был даже серебряный кофейный сервиз! Профессор любил фамильное. У профессора оказались даже добровольческие английские фуфайки и даже добровольческие штаны. Он получал натурой! У профессора оказался непромокаемый офицерский плащ, с английским клеймом. Профессор боялся сырости. У профессора оказалась пара пятикилограммовых жестянок с американским мясом. И сгущенное молоко, и повидло, и бисквиты... – «Откуда это у вас, г. профессор?» – «Это мне выдавал...» – шепотом сообщил профессор, – и даже оглянулся! – «Осваг»! Осведомительное Агентство у добровольцев». – «Ага, вы работали и на армию, г. профессор! Читали о... Данте?» Он забормотал: – «я читал вообще... К счастью, об этом неизвестно большевикам. Два раза я выступал с лекциями о...» – «А теперь, г. профессор, читаете о трубадурах?» – «Я профессор европейских литератур.... Моя специальность «Эпоха Возрождения». – «И это *им* очень нужно? И за *это* вам дали две подводы, и всё ваше барахло неприкосновенно, и вы перетаскиваете его через горы, с опасностью для жизни? Вы предусмотрительны и практичны, г. профессор. Вы не забыли даже и повидла!»

– Профессор похлопывал глазами. – «Что вы держите, г. профессор?» – мотнул я на завернутое в чехле. Размотали и вытащили... небольшой, зеленоватой бронзы, бюст Данте, известный, в лаврах. – «Осмотреть карманы г. профессора!» Нашли билет члена ученой коллегии Наркомпроса, записную книжку. В ней – «программы текущих лекций». Помню: «Марксистский подход к Эпохе Возрождения», «Эпоха Возрождения как яркий протест против гнета и мрака Церкви», «Искусство как средство борьбы с религиозным суеверием», «Маркс как выразитель духовных сил Европы», «Элементы сатиры на религию в русском народном творчестве»...

– «Вы удивительно восприимчивы, г. профессор!» – сказал я, прочитав тезисы. – «И Маркс, и – Данте?!» Полагая, очевидно, что перед ним лесной человек, профессор пробовал изворачиваться и нес невыразимую чепуху. – «Вам дали хорошую квартиру за... Данте? за ваш «подход»? – «Но я подхожу критически... – лепетал он, – мы поддерживаем культуру, храним неумирающий огонь искусства...» – «Изворачиваться, г. профессор? Наука и искусство аполитичны, и потому вы *им* служите? то есть, несчастному, темному народу?! Нельзя же его оставить без «Божественной Комедии» и прочего? Как нельзя лишить его и театра, этого *святого* искусства, которое всегда аполитично! И потому вы возите повидло, английские штаны, бычье мясо, пружинный матрац, Данте.... Вдохновенно же вы, должно быть, читаете о Данте, г. профессор! Желал бы я вас послушать! Кушаете повидло и цитируете из Данте? Ну, а вдруг покровители вам прикажут... наплевать на Данте?!» Профессор передвинул очки и заморгал, как обезьяна. Наплевать на... Данте?! – «Запротестовали бы?» – «Но я не могу и вообразить подобное!» – прошептал он. – «А если бы?! Ведь вот же наплевали они в человеческие души, оскверняют храмы, издеваются над святым народа... убивают святителей... Почему бы *им* с Данте-то церемониться? Как вы полагаете... обожаемый Данте стал бы скверниться с *ними*? перекроил бы для них свою «Божественную Комедию» в... «Чертов Балаган»?! Отвечайте-ка, г. профессор!» – «Но это.... трудно вообразить...» – хотел увильнуть профессор. – «А вы понатужьтесь и вообразите»! Он молчал.

– «Вскрыть сундуки»! Оказались книги. Много *ихних*: профессор переучивался плясать по-новому. Портреты «вождей», в рамках. – «Произведения искусства, г. профессор? из... «кватрочентов»?» Профессор глядел в землю. – «Г. профессор!..» – и тут я почувствовал в себе «железо». Я мысленно охватил светлое когда-то море наше, – культуру нашу, – превращаемое в помойку, цвет народа, заплясавший под свист и кнут, применившийся и оподляющийся, пожа-

левший расстаться с повидлом и штанами... и сказал: – «стрелять умеете?» – «Никогда не стрелял...» – «Ну, плевать-то умеете, конечно?» Профессор смотрел, недоумевая. – «Хоменко! – сказал я нашему казаку, – дай-ка мне... нет, возьми-ка эту штучку зеленую, – показал я на бюстик Данте – поставь на камень!» Хоменко, ухмыляясь, поставил Данте. – «Г. профессор! Способны вы умереть за Данте или продадите его за глоток повидла?» Профессор стоял столбом. – «Плюньте *ему* в лицо!.. Не мо-жете?! Плюнули же в лицо... России!?! на *всё* святое!? Почему не плюнуть на... *этого*?!» – «Зачем вы... издеваетесь надо мной!» – вырвалось с мукой у профессора. – «А *им*... говорите – «зачем издеваетесь надо мной»!? Громко говорите, г. профессор? Ну, плюйте! Думаете, лесной человек не знает Данте? Я *знаю* и потому предлагаю вам: плюньте! Когда этому казаку Хоменке приказали плюнуть на его Данте, он не плюнул. А когда увидал, что плюнули, он взял винтовку и бросил свое повидло со штанами. Вы не пошли от своего... Данте. Значит, вы его свято чтите, без него вам *нельзя*. Без него – смерть. Ну... так – плюньте!» Профессор смотрел дико. – «Я даю вам сроку... пять секунд! Вдумайтесь. Если по пятой не плюнете... Хоменко! – и сказал я тем голосом, который у меня знал Хоменко, – возьмешь на прицел г. профессора! По пятому счету, если он не плюнет в эту штуку, – в этот ученый лоб!» – «Так точно!» – сказал Хоменко, вскидывая винтовку. – «Подымите повыше вашу шляпу, г. профессор!» С профессора пот покатился градом. – «Вы.... шутите?..» – умоляюще хрипнул он. – «А вот, поглядите на Хоменко! Он поглядел – до ужаса Хоменко целил в пяти шагах, каменный, как всегда. – «Профессор, помните.. мы *вне жизни*. «Божественная Комедия» кончилась, и теперь – «Чертов Балаган». Вы в нем играете образцово, и за эту игру платят вам вашей шкурой. Ну-с... полагаю, что плюнете! Хоменко, по пятому счету – в лоб! Повторять не буду. Начинаю.... Раз, два, три...»

– Профессор на третьем плюнул. – «На *всё* ведь плюнули, г. профессор! С Данте чего же церемониться!? А теперь возьмите его в ручки и ступайте за мной, сюда». Он взял Данте и пошел, шатаясь. Мы подошли к обрыву. Долина синела мутно. – «Швырните его, г. профессор! Там ему поспокойнее будет. А то всюду таскаете с повидлом. Пора старичку и успокоиться. Ну, давайте!» Профессор кинул. Чокнуло по камням. – «А теперь – можете продолжать. Стойте, снимите сапоги. Сапоги краденые. Довольно с вас умывальника и матраца. Расскажите коллегам о представлении!»

Босой, он ловко вскарабкался на свои ящики. Пошли подводы на дорогу. Наши хохотали до упаду. Хоменко сказал: «А лихо вы его в Маркса плюнуть заставили!»

– А вы застрелили бы его? – спросил профессор.

– Не пришлось бы! – сказал капитан резко. – Потому что *они*, оставшиеся своею волею, плюнули бы во *всё*. Да уж и плюнули. Не пришлось бы. *Они* по третьему счету плюнут... дело обычное. Хоть и объясняются в любви, но плюют исполнительно. Ну, а теперь пора... Вон и машина, слышите?

Слышался шум машины. Капитан выпил остальное. Забрал мешок и, кивнув, вышел в парадное. Было слышно, как он выговаривал шоферу, почему так долго.

Оставшиеся сумрачно пошептались, посидели – и разошлись по своим углам.

Декабрь 1926 г.
Севр

ИЗ «КРЫМСКИХ РАССКАЗОВ»

КРЕСТ

В то лето, первый год революции, я жил у приятеля в Крыму. По дорогам еще не грабили, в садах и на виноградниках шли работы, приезжие купались, катались под балдахинами, езжали даже на пикники. В городке, внизу, наезжие неизвестные уже начали, правда, разогревать рыбаков и садовников – отбирать дачи у буржуев, но народ был мирный, трудовой, знавший копейке цену: дачку-то получить не плохо, да, пожалуй, про всех не хватит, и без драки не обойтись. Присланные «газовики», из лазарета, начинали уже трясти сады и выламывать розовые кусты, «для барышнев», но покуда было еще спокойно. А наверху, где я жил, было совсем мирное житие. Бродили по балочкам коровы, побрякивая боталами; зрели в стеклянном блеске облитые солнцем виноградники; постукивали ленивые можары на белой дороге за холмами; по утрам синеватые дымки дымились над тихими мазанками; белыми лебедями трепетало вымытое белье по ветру, где-то автомобиль поторкивал, дале-ко... – смотрели горы да сонно синело море.

Но приятель-художник уже не расставлял мольберта, не *брал* ни «стеклянного блеска виноградников», ни «балочки на солнце». Я был несказанно удивлен, когда заявил он мне, что теперь... «занялся коровами». Он был человек практичный, но не только это толкнуло его на фермерство. Он говорил, что идут новые времена и «будет предъявлен счет». Ну да, жизнью. – «А зависеть от хама не желаю!» В дальней балке он поставил зимой коровники, домик доильщицам, купил стадо голов пятнадцать, – «краса-вицы, а не коровы!» – и поставлял молоко для лазарета: дело полезное и верное.

– Сам работаю дьяволом, и ни одна скотина не посмеет орать на меня и называть буржуем. Работаю на государство.

Ну, и сам буду независим. Может и мужицкая кровь сказалась. Никакой не толстовец, а... любо мне. Буду писать коров, есть такие краса-вицы!.. Теперь критики скажут, что Пиньков от пейзажного импрессионизма ушел в «коровы», – плевать. В коровьих глазах я теперь вижу больше, чем в иной человеческой харе. А «харю» вы у меня увидите.

Пиньков и всегда был странный, что-то в себе носивший; но в тот приезд он показался мне чрезвычайно странным, резко переменившимся. Он ходил чуть ли не оборванцем, в обвислых штанах горохового цвета, в чувяках на босу ногу, в синей рубахе, пропотевшей и вонявшей коровником, в поярковой выгоревшей шляпе широким колоколом. Брился редко, ногти были поломаны и грязны, мужицкие руки в ссадинах, взгляд мрачный. Огромная его «студия» – вся его дачка состояла из одной этой комнаты, а я устроился в маленькой закутке, – представляла теперь какой-то разрытый склад: стояли мешки с мукой и отрубями, висела сбруя, грудились молочные бидоны, на стуле «прогуливалась» пропотевшая рубаха, отстаивались в блюдцах сливки, – а со стены глядели на всё это «кусочки солнца» в талантливых этюдах, репинский Толстой в поле, две-три коровьих морды и – круглолицая молодая баба с «коровьими» глазами. Лицо молодки выписано было сочно, играло жизнью.

– Вот это – же-нщина! – говорил Пиньков. – Но это что, тень только. Поглядите ее в натуре, на работе. Это – *жизнь*! Только она всё это... – показал он кругом, – освещает... и освя-щает. В этом – вся философия и весь смысл. Это – ро-бо-та! – выговорил он округло, веско. – Сила хозяйственности, порядка, *верности*. Я ее очень уважаю. И звать ее... ну, как вы думаете?.. Ма-ша. Лучше не подберешь. Я знаю народ, и *знаю*, во что может обернуться *это*... которое именуют революцией. Махрового представителя *этого* вы увидите... работает на ферме. А Маша... Ну, вы увидите – и поймете, почему я отдался ферме. Жизнь, говорят, борьба... – я борюсь.

Перед вечером мы пошли на ферму, в версте от дачи. Кругом были выжженные холмы и балки. Мы поднялись на самую высоту, откуда видно шоссе на Ялту. Глубоко внизу лежал бело-золотистый городок в синей кайме залива. Горы – Чатыр-Даг, Демерджи, Судакские, – всё те же. А в балочке под нами – новый совсем «пейзаж»: выбеленная мазанка, «в крестовину», низенькие сараи, крытые побеленным толем, пригнанные доить коровы, огненные в вечернем солнце, розовые, червонные... белоголовые ребятишки с кусищами ситника под носом, золотая гора навоза, блистающие водой колоды... В пустынной когда-то балке – играло жизнью. Коров уже доили. Было видно, как проворно играли голые бабьи руки под вздутым брюхом; в тихом

вечере было слышно, как зыкзыкали струйки об доенку. Из домика вышла босая, подоткнутая баба, с кофейными руками и ногами, светловолосая, поглядела на нас из-под ладони и легкою перевалочкой пошла к коровам.

Мы спустились. На корявых бревнах курил-поплевывал какой-то жигулястый, в матросском тельнике, очень грязном, в сплюснутом картузишке на макушке, рыжевато-веснушчатый, худолицый и скуластый. Он остро метнул в нас глазками и подкрутил верткую ногу под бревно, как хвостик. Пиньков хмуро спросил его, кончил ли штукатурную работу.

– Как это ко-нчил, скоры вы больно на концы! – дерзко сказал веснушчатый, и я заметил, что и руки его в горчичных пятнах, крапчато-пегие, и к тому же еще рябой; зеленоватые, злые глазки, «змеиные», хитро и зло шныряли; верткие его ноги завивались, словно искали спрятаться. – Гулять приехали? – спросил он нагло, сплевывая старательно и видимо интересуясь этим. – Эх, житье господам! А нам, черному народу, одни поглядки.

– Поговорите-ка с ним, первый оратор здесь, самый балабол, – хмуро сказал Пиньков, – а я по хозяйству пройдусь пока. Ну-ка, разговорись, Марчук, просвети барина.

– Я знаю, вы писатели... – лениво сказал Марчук, которого Пиньков называл за глаза Гришкой. – А про чево вы писаете? небось про девок, про всякие пустяки... денежки огребаете. Я писателев зна-ю, у нас на «Потемкине» то-же были писа-тели... одного мы в топке чуть не сожгли, с альхеереем... забрали тогда с Афона, в газеты про нас писал. Не альхерей... энтого мы за толстое брюхо взяли и сожгли... я его первый жег! Он кричит – ай-яй-яй!.. а ево, прямо, за волосья – и в топку: пой, сукин сын, молебен, и никаких. А что, господин писатель, чать вам не ндравится наша леворюция? Семен Миколаичу дюже не ндравится. Я ему предупрежал, не встревайтесь не в ваше дело, мажьте свои бумажки... дак он вон коровками занялся, на бабах ездит. Хлопцев наших никаких не узял, а где это видано... нежное сучество пущать на лошади по горам молоко возить! Разве бабе можно управиться, по горам?! Намедни Ма-ша... везла оттеда, с лазаретов, помои... теперь товаришшей-солдатиков мы сытно кормим, сами хозяева стали... дак они уж и макаронов не желают. Вот Семен Миколаич и пристроил, задарма макароны, а?! коровам своим макаро-ны травит, всенародное достояние, а?! И что же, бабенка молоденькая, животом бочку подпирала, сам видал! Вить она так всею себя попортить может, это недопустимо так, исплотация трудовой женской слабости... Я, говорит, сам теперь трудовой, а не буржуй, а?! А на бабах ездит? Ему коровами забавляться... по гривеннику за бутылку давай! Мало ему

краски травить, от трудяшшного народа хорошую пользу отбивает, кажный ему день со-рок целкачей находит, да пойло с солдатиков, да сено даем казенное... а он денежки загребает. Нет, мало им леворюции...

Я покуривал и слушал «первого оратора». Он нес околесицу, и в этой околесице было одно и одно – необъяснимая на всё злость. Спорить с ним, что-то ему доказывать, – было, конечно, бесполезно. Он и сам это чувствовал.

– А чего вы, господин писатель, слушаете да помалкиваете, не можете ничего напротив сказать? не можете? А-а... у нас правда, вот и не можете. А вы скажите одно словечко, а я в опо-ницию всё скажу, докажу! А-а, не мо-жете... Писатели вы, конешно... встихи сочиняете! У нас, в Одесте, энти встихи товаришши сами сочиняли. Я сейчас вам скажу, пропою, глядите...

И он мне пропел «встихи», – я их тут же и записал:

Катя с Маничкой купались
И заплили далеко,
А тово не замечали,
Что парАход уж близкО.
Вдруг парАход разбежался,
Волны с шумом раздалИсь,
И две миленьки девчонки
Бистро с жизнью расcталИсь.

– Сами писатели... – сказал он важно, – усе умеем.

– Так вы и на «Потемкине» были? – спросил я. – Вы, значит, ста-рый революционер.

– А как же! мы кашу заварили. А вот, постойте, скоро и расхлебка будет. Нет, вы мине хучь одно слово в опоницию скажите... не мо-жете. А чево мине Семен Миколаич за старшого на свою хверму не желает? Сам коров пасет, а! На бабах ездит... Его ли дело коров доить, мало ему дачи? У него дилижан хороший, линейка, дро-ги, две лошадки... курей полсотни, коров два-дцать голов... молока четы-реста бутылок за день, а?! А жа-дность, от бедного человека отымают. Скажите сму, я ему предупрежал, он мине не желает слушать, с ливонвером ходит... это как же, напротив нашей леворюции?! Рази я не знаю, кто они... контрацанеры! Я им прямо говорю, шквалу не выдержат...

– Ну, а что же ему делать, по-вашему?

– А чего я делаю? я тружусь, у поте лица... и усе должны у поте, по правде, а не... на бабах ездить. Бедного человека обижают, же-нчину, двое ребяток, муж без вести пропал, в окопах, из-за дерьма... Я?.. Ослобожен, как первый левоцанер, «потемкинец», слава мне! А они за бабой-сиротой, от утрудяшшаго народа отбивают... Я им предупрежал, возьми-

те мине, я соблюду ваш антерес, порядок уж наведу на вашей хверме...

Я пошел к домику. Коров уже подоили, цедили молоко, торопились управиться до ночи. Пахло коровами, теплом молочным. Скуластая девка Настя, – чернявая, работала лихорадочно и срыву, сухо горела вся. Пиньков поднимал ведра и выливал в цедилку. Маша работала ровно, скоро и весело. Она была статная, мягкая, открытая. Весело на меня взглянула, серыми круглыми глазами, в розовом отблеске от зари, сказала – «драствуйте», выплеснула широким махом выполоски с ведра, шлепнула, лаской, мешавшего белобрысого Степанку, сунула пухлый ситный в просившие ручки Ляльке, белоголовой и бронзовой, утерла запястьем вспотевший лоб, сказала Пинькову усмешливо – «да не мешайте, Семен Николаич, обмолочитесь только... лучше ступайте курите с барином...» – сказала ласково – *близким* говором, нараспев, и я подумал, что у них отношения – *такие*. Было видно, как весело ей работать, как легко у ней на душе, что лучшего ей не надо, что она здорова и счастлива. Она была вся какая-то светлая, легкая, пышная, игривая. Голос у ней был сочный, грудной, певучий, – русский. Чем-то она напоминала толстовскую Катюшу Маслову, но не теми «коровьими» глазами, что придал ей Пиньков в этюде: в голубовато-серых глазах ее была тихая благостность и живость, не стеклянная благостность, «коровья», а живая, ласкающая нежность молодой и *живущей* матери. Разве вот легкая косинка в ее глазах, тонкая поволока неги, что-то ей придавали от доброго, сильного животного. Пиньков мешал ей, отнял бидон зачем-то, она что-то хотела ему сделать, но, заметив, как я смотрю, отмахнула запястьем с бровки, схватила ткнувшегося в колени Степушку, подкинула, играя, и чмокнула крепко в губы. Сухощавая чернушка Настя кинула ревниво – «начмо-каешься, поспеешь», – и швырнула ведро в кадушку. «Семен Николаич, идите-помогайте таскáть сено, коровам задать надо!» – сказала Маша и вымахнула ветром из молочной.

Поздно вечером мы сидели на открытой террасе, любовались луной и морем. Золотая его дорога, казалось, выбегала за кустами лавровишни, совсем под нами. С гор потянуло бризом; кусты играли, хлестали по золотому морю.

– ...Никакое не «толстовство», – продолжал начатый разговор Пиньков, – а чувство грозящего обвала толкнуло меня к коровам. Мне показалось, что тут-то я буду независим, осмыслю себя трудом на своей земле. Да и надо было больным солдатам, «газовикам», доставить нужное молоко. Здесь его не хватало. И меня захватило дело. Видели Гришку-Ящера? Таких много. Это гной революции, и этот гной будет

скоро «установлять всю правду». И уже пробует Пестрый какой, заметили? Все гады пестрые, Бог их метит. Гад ненавидит закон, порядок, труд, самый продукт труда... ненавидит всех, кто чист, работящ, умен, бережлив, самостоятелен. Это хитрый и злой дурак, убийца жизни. Он ненавидит жизнь, всё ненавидит, всё хочет опоганить, оплевать, стереть. Воплощение дьявола. Он меня люто ненавидит, он, конечно, и вас возненавидел и пометил змеиным глазом. Он мне страшен, и ничего удивительного, если завтра убьет и меня, и вас. Рассказывал вам про архиерея? Он всем рассказывает. Это главный из его подвигов, пока. Но он и кур ворует. Почему я даю ему работу? Во-первых, нет штукатуров, и еще – гнусненькое это... не имею я духа отказать. Не то чтобы я задабривал... но змеиные его глазки меня смущают, и я боюсь, как бы не сделал гадости на ферме. Он уже пробовал поджигать, но мои собаки и близко не подпускают ночью. А Маша не даст себя в обиду. Я обучу ее бить из револьвера. Ма-ша?.. Понравилась вам. Она не может не нравиться, она – сама жизнь, вечная правда жизни. Любит работу, радуется работе. Не знает ни скуки, ни ненависти, ни злости... и живет, как поет в ней жизнь. Да, я люблю ее. Она заслоняет как-то всю эту одержимость, всю эту подлую муть, что теперь поднимается со дна. Она меня покоит одним видом плавных своих движений, силой, молодостью и верностью чему-то неодолимому, какой-то довечной правде. Я тружусь рядом с ней, и я забываюсь в ней. Она несложна, ясна, и от этого мне покойно. Может быть тут – извечное, без чего никому – *нельзя*... что нюхом схвачено и Толстым, но испорчено его домыслом, по чем томятся все чуткие, ищущие смысла и правды жизни. Это не высказать... Мне это очень нужно, теперь особенно. Я два года был на войне, измотан, видел и смерть, и многое, и затосковал по *жизни*, по чистоте-простоте ее, по земле. Когда не по себе мне – я иду на ферму, смотрю на Машу. Не думайте, у меня с ней лишь «флирт». Она не легко дается, но она дается... и я женюсь на ней... если Федор ее, которого она всё любит, не вернется.

Через год я вернулся в Крым. Я прошел многие заставы, ушел из ада. Крым занимали немцы. Знакомой дорогой, по холмам и балкам, поднялся я к даче художника Пинькова. Всё было как будто то же. Я его не застал: должно быть, он был на ферме. Я прошел на бетонную террасу, откуда, за кустами лавровишни, синело море. Было чудесно тихо. Кусты разрослись, на террасе стало совсем тенисто. «Студия» была заперта на ключ. Я прошел к боковому входу,

посмотреть, не спит ли Пиньков в прохладной боковуше, — и в ужасе запнулся... перед крестом! Крест был высокий, белый, снизу обугленный, с присохшей к нему землей. Я подошел ближе и прочитал на прибитой внизу дощечке, славянской вязью:

«Мария Хлебникова, крестьянка, 23 лет, злодейски убита штыком в сердце, в ночь на 20 февраля 1918 года».

Я перекрестился и отошел, с болью и ужасом.

Пиньков рассказал, как было:

— Да, он убил ее, Гришка-Ящер. Убил подло. Он был не просто Гришка, а власть, *ихняя* власть, комиссаром лесов, дорог и еще чего-то, нашего округа. Он явился ко мне на ферму, хвастался всемогуществом, хлопал меня запанибрата и обещал даже покровительство. Он упивался властью, мог теперь безнаказанно красть, насиловать, убивать. Меня он пока не трогал, от пресыщения. Но тронул Машу — и получил отпор. Она взяла у меня револьвер, и я показал ей, как надо делать. Я просил ее ночевать на даче. Она не захотела. Как случилось — не установлено. Можно предполагать, что ему как-то удалось, когда Маша была в коровнике, под вечер, дети спали, а Настя ушла в город, пробраться в домик и спрятаться. Ночью не подпустили бы собаки, разбудили. Он выждал ночи. Ночь была бурная, страшный ливень. Маша вошла, убралась, — всё было прибрано в комнате, — и стала читать письмо, которое я принес ей утром. Вы представьте, какой же ужас... письмо ей было от ее Федора, из плена! Надо же так случиться. Он писал ей, что жив-здоров. В самый тот день пришло. Так и нашли, зажато в ее руке. Он хотел ее силой, но она, очевидно, не давалась... и он ее заколол штыком, ржавым штыком. Этот штык все признали, был у него такой. Следствия не было. Машу не осмотрели даже. А Гришка скрылся. После его видали, под Мелитополем. Он жив и кем-то опять *у них*. Когда хоронили Машу, наши бабы, рыбачихи, садовничихи, все бабы... оскорбленные за сестру свою, за вечную *правду*... грозой подошли к ревкому, требовали суда... Им пригрозили... пулеме-том! Можете спросить — все скажут. Это не забудется никогда. Меня арестовали — «за бунт»! Мне удалось выскочить в окно. Меня спасли татары, под Аю-Дагом. Пришли немцы, и я вернулся. И вот, поставил крест. *Там* теперь, на могиле, памятник, а крест — сюда... Детишки пока, до отца, на ферме. Коров забрали. Осталась одна, пасу. Да вот, крест... Да, Ма-ша... да, крест, на *всем*...

Март, 1936 г.
Париж

ВИНОГРАД

В городке у моря, с приходом добровольцев, жизнь как будто опять наладилась. Пошли толки, что теперь и в Европе поняли, наконец, опасность, «теперь уж возьмутся и нам помогут», и в подкрепление толков сообщали, что в Ялту пришли ихние корабли с пушками.

Пиньков никаких надежд на «Европу» не возлагал, бродил мрачный, неряшливый, обросший, перестал даже умываться, бросил читать газеты, целые дни проводил в пустынных балках и пас сиротливую свою «Хорошку» – последнюю корову из разграбленной большевиками фермы. Встречались мы с ним редко, только к ночи, садились обычно на веранде и молчали, следя за звездами: все у нас разговоры притупились. Как-то по осени, – было, помнится, в 19-м году, – вернулся он со своей «Хорошкой» особенно угрюмый, кокнул два-три яйца и проглотил сырыми, – весь и ужин. Стали смотреть на звезды, – вот и еще день перевалили. Нашему настроению отзывалась уныло сплюшка: сплю-у... сплю-у...

– Идиоты... – обругал кого-то Пиньков в мыслях, – не понимают, что жизнь... повсюду, не только у нас дураков... слетела со всех винтов и теперь будет дрыгаться и крутиться, как свалившийся паровоз, пока еще есть пары. Бредят, ослы, что им по-могут. Европа им поможет! Да этой «Европе» требуется самой помощь... ведь она *выкинула*, и этот поганый «*выкидыш*» воспринят от ее утробы – российской слепой дурой-повитухой, принявшей его за долгожданного чадушку, а он давно уже разложился и заразил всё кругом. А родимая матушка его горит в гангрене...

Я привык к заостренности дум Пинькова, испытавшего много за эти годы. Свои картины он давно забросил. Теперь, по его словам, *это* совсем не нужно: «теперь всё надо в ином масштабе, если еще масштабы не пропали... в апокалипсическом, «потустороннем» даже. Он и убийство Маши, работницы на ферме, рассматривал не как уголовный акт, а как проявление воплотившейся «похоти Зла», царящей отныне в мире. Страшно не то, что молодую женщину, его

Машу, хотел взять силой гнусный Гришка Марчук, матросишка-большевик и убил за сопротивление его хотению: страшно, что злая похоть повсюду воцарилась, задавила всю жизнь, и убийство на ферме – символ всеобщего убийства, как этот крест на веранде, стоявший на Машиной могиле и ныне замененный памятником, – не просто дубовый крест, который можно пустить на топливо, а Крест над погибшей Правдой. Потому-то и не хотел Пиньков расставаться с этим крестом и говорил всем, приходившим купить его – в то время трудно было с гробами и крестами, кончились мастера и матерьял: «этот крест не-продажный... это – па-мять!» Крест и теперь стоял в дальнем углу веранды, чего-то ожидая.

– Вот, говорите, почему я бросил писать свои полотна... А вы почему забыли свое перо? Понимаете отлично сами. Мы с вами не в «заботы суетного мира малодушно погружены», а... задохнулись и окаменели. Мы отвечаем... онемением. Ну, понятно. *Как* я могу писать солнце, когда и оно другое теперь, когда вижу в нем мертвый свет?! *Бывшие* глаза у меня вырваны... и душа выдрана. Да вот, сегодня, не угодно ли... Пас я свою «Хорошку» в дальней балке. Оттуда хорошо видно усадебку Любачей, тех стариков... Федичка вчера у них помер, единственный сынишка. Разве не говорил вам, что он помер? Помер. Но надо знать их историю, чтобы постигнуть *всё*. Необычайного в этом нет, но... всё же. Старик Любач, Мартын Прокофьич, – просто русский человек, служил в береговой таможне, великими трудами скопил на усадебку и насадил чудеснейший виноградник, – единственная, кажется, мечта всей жизни. Была еще мечта... оставить наследника по себе. Жили они в супружестве двадцать лет, и мечта не осуществлялась. И вдруг, повторяется как бы история с Захарией и Елисаветой... кстати, и супруга его тоже Елисавета, вы ее видали, тихое существо. И вот, на двадцать первом году их супружества, когда их заветный виноградник вошел в силу, и даже в славу, – Любичу лет двенадцать тому назад дали на выставке золотую медаль за чудесный сорт чауша, у них исключительно сладкие сорта, десертные, мускаты, шасла, золотистый чауш... – Елисавета Михайловна подарила своему супругу мальчика. Ей было уже под сорок, старику к пятидесяти. Представляете, какое же у них воссияние-то было! И как они оба трепетали над этим «даром от Господа». Они как-то объединили его с виноградом, с золотым чаушем, за который как раз в ту осень и получили первую свою награду. И назвали младенца Федичкой, что значит – «Божий дар». Этот Федичка и на самом деле как будто сросся с чудесным тем виноградником. Как ни проходишь, всегда видишь

Федичку в винограднике: подвязывает, – ему уж двенадцатый год недавно пошел, – обрезает, опрыскивает, собирает золотистые грозди чауша... в солнце и винограде утопает. Вы видели, это он у меня написан в винограде, спит под лозой в корзинке, и над ним грозди свесились, и через эти грозди поет на смуглом личике, в его белобрысых волосах – солнце! Удачно, кажется вышло. У меня очень торговали на выставке картину эту, – я не продал, только старикам копию подарил, но там солнца такого не получилось что-то. Но слушайте... Они до того над ним дрожали, что мать, слабая такая она, всегда выходила его встречать из школы, спускалась к городишку, всё боялась, как бы не побили его дорогой рыбачата, народ отъявленный. Так это у ней и вошло в привычку. Перенес все детские болезни, окреп, стал отцу помогать в работах на винограднике. И вот, пришла революция. Старики так переполошились за своего Федичку, что перестали пускать в городишко, в школу. Созрел виноград – новая тревога: устеречь. И раньше шалили по садам, наша солдатня из лазарета. А тут пошел уже настоящий грабеж, организованный. Осенью 17-го года большевиков еще не было, только-только росточки объявлялись. Но уже безобразничали вовсю, а милиция наша, как известно, была «в обмотках», или, в народе называли, – «петушьи ноги», любители семечек и сло-боды. Значит, самоохраняйся. И вот, Федичка перестал спать ночами, и ничего с ним нельзя было поделать: хочу стеречь виноград! Ну, стерегли со стариком, как поспевать стал. Виноградник и раньше их выручал, из городка к ним поднимались дачники, нарочно за виноградом, «прямо с лозы». А в тот год виноград для них уж великим подспорьем стал. Прознала солдатня, тот Гришка Марчук и навел, будущий убийца Маши, это установлено. Насели на виноградник ночью, перед зарей, и с промысловой целью, пришли с корзинами, – за такой чауш можно было недурно выручить. И вот, когда они начали сбор ими не рощенного, Федичка поднял крик, – дремал на винограднике в шалаше. И не только крик поднял, а вцепился еще в какого-то. Говорили, что «зубками в руку впился», – видали приятеля Гришкина, с завязанной всё рукой ходил. И дорого обошлась эта «виноградная история» Федичке. Кто-то, может быть, и сам Гришка, ударил мальчика в грудь кулачищем так, что его, полуживого, харкающего кровью, принесли старики в домишко, и лежал он, харкая кровью, до лета. И стал хиреть, острый туберкулез. Эти два года Елисавета Михайловна весь свой виноградник слезами орошала. Придет, станет над лозой, где нашли Федичку, и зальется. Как ни пройдешь, – всё она на винограднике. Ну, вчера помер, как раз два года исполнилось, с удара, до сбора всё-

таки дотянул, ему старики золотой чауш в мисочке поставили у постельки, а уж он не мог и сосать. И вот, сегодня, видел с откоса я... как она собирала этот оплаканный золотистый чауш! Самая пора, и надо выменить на гробок, и за могилку надо, и батюшке... вот и собирала. Порежет, схватится за голову, закачается... и слышно, как она там... ну... всё слышно. К небу всё, незрячими глазами, кричащими... – да за что... за *что* же?! А вот, послушайте. Когда я так смотрел, и тоже вопрошал в своей глубине... только я пустоту спрашивал, у меня пустота... тут и пришло. Только не разрешение, а то же, вопрошание... Вы знаете дьякона нашего, ноздрями смотрит, простеца, рыбаки его очень любят... многосемейный, а превеликий дерзатель, борец за веру, все эти годы с большевиками бьется... и народ не дает его... так вот он из Ялты пешком возвращался, его следователь допрашивал, там одного комиссара поймали добровольцы, так его обознавать вызывали, что-то с арестом здешнего попа связано, а тогда дьякон за попа бился, с комиссарами воевал, отбивал. И вот, дьякон и говорит, – а он всё знал про историю Любачей: «вот какой у нас *виноград*... соле-ный! и кругом столько этого *винограду* наростили... и вот дюже соленый. По всей нашей России-матушке такого *винограду* насадили, теперь вот и собираем... а те с удовольствием его вкушают». И понял я, и не понял. А это он, оказывается, и про *тех*, которые на кораблях к нам приплывают, подплывают. Говорит, что только в Ялте творится, такой-то базар... всё забирают за грош, весь наш «соленый виноград» за пустяк выменивают и к себе волокут. Полные корабли отходят. И спрашивает в пространство: «Господи, да как же это так? ни горя не чувствуют, ни слез не видят, сосут «виноград»... и *соли-то* нашей им нечувствительно нисколько! Да, говорит, хороши... *всё* свое полноценное разменяли, *всё* в пыль и прах обратили, и теперь кровь нашу покупают... да как же это? И, знаете, мне от этих вопрошаний его, перед этой Елисаветой обманутой, невыносимо стало. Весь ужас, и вся опустошенность *их*, выменивающих свою пустоту на «виноград» наш, стали так остро ощутимы... весь провал «великого человечества» так наглядно-страшно предстал перед этой Елисаветой вопиющей... ведь *тут-то*, в этой случайной Елисавете на винограднике, *всё* опустошение так предстало, подчеркнутое простыми словами дьякона, что я онемел от холода, на солнце закаменел... Убитая моя Маша, и забитый Федичка, и убитые старики, и всё побитое, втоптанное бескрестно в землю, с издевкой и злобой втоптанное, и *теми*, принятое, как дешевый товар обменный, – для них то, для них-то, говорю, дешевый, репа пареная! всё для меня предстало как страшный образ незаполняемой пустоты,

ничем неоплаченной издевки. Во – *имя чего*?! Это надо решить особо, иначе не стоит быть. И говорит еще дьякон, будто возглашает церковное: «ох, да отольются же *им* эти слезы виноградные... да отзовется *соль*!..»

Рассказ Пинькова оборвался. Сверху, за верандой, кто-то тяжело спускался, скребли шаги, сыпались камушки. В черной ночи не было видно, кто подходил к веранде. На звездном небе я различил человеческую тень, пригнувшуюся, будто что-то тяжелое тащившую. Словно знакомый, разбитый, усталый голос окликнул нас: «Семен Николаевич здесь?» – «А кто это?» – недовольно спросил Пиньков. – «Я, Семен Николаич, с верху, Мартын»... Это был старый Любач, виноградарь, о ком мы говорили. Лица его в темноте не видно было, так – тень, да голосок скрипучий, придавленный. И ничего тяжелого не тащил, это лишь показалось мне: так, тащился. И начался памятный разговор. Тень Мартына Прокофьича на стул не села, а пристроилась на перекладинке веранды, на звездном небе... Я видел кулачок, дергавший тощую бородку, – склонившуюся уныло голову.

Мартын Прокофьич осторожно-робко спросил, не уступит ли Семен Николаевич кре-стик, кре-стик... такого больше не найти крестика, весь город обегал, нет ничего, народ в разброде... в Ялту, говорят, надо ехать, да и там не найти теперь, сколько народу помирало, все запасы давно дошли, а новых некому запасать; делают, говорят, на ветер, как из лучинок, году не выстоит... Пиньков не дал договорить. Всем отказывавший в кресте, он сказал, с удивлением: «а о чем же тут говорить... пожалуйста берите...». – «Да что вы!..» – вскрикнул невидимый Мартын Прокофьич, и унылая тень его спрыгнула с перекладины веранды. – «Можно? вы дозволяете?.. Вот, спасибо.., а я всё беспокоился, потревожить вас крестиком... и другие наговорили... сколько народу хлопотало... заветный крестик... для памяти... понимаю я, что для памяти... значит можно?»... По голосу было слышно, что он еще боится и не верит. – «Да берите же! – крикнул Пиньков, – это *нужно*... для памяти». Он пошел в комнаты и принес фонарь. И мы пошли в закоулок, где стоял крест, высокий, белый, снизу обугленный, с присохшей к нему землей. Этот крест говорил нам славянской надписью: «Маша Хлебникова, крестьянка, 23 лет, злодейски убита штыком в сердце, в ночь на 20 фев-раля 1918 года».

– «Значит, дозволите?.. – переспрашивал Мартын Прокофьич, растерянно моргая, – дозволите *это* соскоблить, красочка найдется, черная, надпись... Федичку...» – «Не надо соскабливать, пусть останется *навсегда*», – странно как-то проговорил Пиньков. – «А как же-с?.. – в испуге переспросил Мартын Прокофьич, – ведь *теперь* Федичка?..» –

«Нет, *это* должно остаться... под краской, пусть. Я дам вам белой, и вы запишете, закроете *это*... так оно и останется. Я сейчас...» Он пошел в комнаты, а мы остались перед крестом. Стояли молча, слыша, как шваркало в гулкой студии, упал стул. – «Вот, сейчас закроем...» – сказал резким, будто железным голосом подходивший из темноты Пиньков. И большой кистью, сгустившейся белой краской, закрыл крестное начертание. – «Возьмите краску и кисть, после всё заново покроете, а то заметно... Я сам вам напишу, *там*...» – «Завтра бы хоронить хотели, и лошадь нанята, отвезти...» – сказал Мартын Прокофьич просительно. – «Завтра и возьмете...» – «А вы уж разрешите, я донесу, осилю... сразу завтра и отвезем, и поставим... *там* и покрашу, на месте...» – просил нерешительно Мартын Прокофьич. – «Берите... только вам не под силу будет, тяжелый крест...» – говорил Пиньков. – «Осилю-с... всё осилю-с...» – повторял почти радостно Мартын Прокофьич. Он подсунулся, избочась, под крест, подставил плечо под крестовину, привалил ее к голове, для стойкости, и поволок, скребя обугленным комлем по треснувшему, неровному бетону. Белый картузик его смялся, сдвинулся с головы, защемился между крестом и ухом, но он не чувствовал. – «Дайте, я помогу...» – предлагал, провожая его, Пиньков. – «Ничего-с, это в горку только... передохну... – слышался под крестом сдавленный голос Мартына Прокофьича, – посветите только... а то я духом... за калиткой все тропки знаю... доволоку...»

Мы проводили его доверху, с версту, старались ему помочь, но он говорил, что одному способней, а то, если поднять за комель, плечо нарежет. Мы всё же помогали. С холма ему будет легче.

Когда вернулись, Пиньков споткнулся на что-то у веранды. Это была корзина с виноградом. – «Это он... в обмен мне! – удивленно сказал Пиньков, – крест, на... «соленый виноград»! а?! чу-дак... и не сказал ничего... заторопился».

На веранде еще горел оставленный фонарь в железной сетке. Пиньков поставил тяжелую корзину на перекладину. Матово золотился крупно-янтарный чауш, как сахар сладкий. Но мы не тронули. Стояли и глядели на сочный чауш, на который легли тенями клетки от фонаря. – «*Соленый...*» – сказал Пиньков. Сидели в тот вечер долго, почти не говорили. Фонарь потух. На менявшемся звездном небе темнела дуга корзины. Так и не трогали.

Дни стояла корзина на веранде, долго. Так и не тронули.

Ноябрь, 1936 г.
Париж

5*

КУЛИКОВО ПОЛЕ

(Рассказ следователя)

I

Скоро семь лет, как выбрался я оттуда, и верю крепко, что страшное наше испытание кончится благодатно и – невдолге. «Невдолге», конечно, относительно: случившееся с нами – исторического порядка, а историческое меряется особой мерой. В надеждах на благодатную развязку укрепляет меня личный духовный опыт, хотя это опыт маловера: дай ощупать. И Христос снизошел к Фоме. Да, я – «Фома», и не прикрываюсь. «Могий вместити...» – но большинство не может, и ему подается помощь. Я получил ее.

Живя там, я искал знамений и откровений, и когда жизнь наталкивала на них, ощупывал, производил как бы следствие. Я – судебный следователь по особо важным делам... был когда-то. В таинственной области знамений и откровений предмет расследования, как и в привычно-земном, – человеческая душа, и следственные приемы те же, с поправкой на некое «неизвестное». А в уголовных делах – все известно?.. Не раз, в практике следователя, чувствовал я таинственное влияние темной силы, видел порабощенных ею и, что редко, духовное торжество преодоления.

Знамения там были, несомненно. Одно из них, изумительное по красоте духовной и историчности, произошло на моих глазах, и я сцеплением событий был вовлечен в него; на-вот, «вложи персты». Страдания народа невольно дополняли знаменные явления... – это психологически понятно, но зерно истины неоспоримо. Как же не дополнять, не хвататься за попираемую Правду?! Расстаться с верой в нее православный народ не может почти фи-зи-чески, чувствуя в ней незаменимую основу жизни, как свет и воздух. Он призывал ее, он взывал... – и ему подавались знаки.

На-род, говорю... православный, русский народ. Почему выделяю его из всех народов? Не я, – Исто-рия. От нее не

только не отрекся Пушкин, напротив: заявил, что предпочитает ее всякой другой истории. «Умнейший в России человек», – сказал о нем Николай I. А на днях читал я письмо другого умнейшего, глубокого русского мыслителя, национального зиждителя душ, – своего рода мой коллега, «исследователь по особо важным делам». Вы читали его книги, помните его «о борьбе со злом», удар по «непротивлению» Толстого. В этом письме он пишет:

«...Нет народа с таким тяжким историческим бременем и с такою мощью духовною, как наш; не смеет никто судить временно павшего под крестом мученика; зато выстрадали себе дар – незримо возрождаться в зримом умирании, – да славится в нас Воскресение Христово!..»

Эти слова я связал бы с известными словами о народе – Достоевского, с выводом из истории – Ключевского. Помните, про исключительное свойство нашего народа быстро оправляться от государственных потрясений и крепнуть после военных поражений? Связал бы в «триптих русской духовной мощи».

Я расскажу вам не из истории, а из моих «документов следствия». Ими сам же себя и опрокинул, – мои сомнения.

Народу подавались знаки: обновление куполов, икон... Это и здесь случалось, на родине Декарта, и «разумного» объяснения сему ни безбожники, ни научного толка люди никак не могли придумать: это – вне опыта. В России живут сказания, и ценнейшее в них – неутолимая жажда Правды и нетленная красота души. Вот эта «неутолимая жажда Правды» и есть свидетельство исключительной духовной мощи. Где в целом мире найдете вы такую «жажду Правды»? В этом портфеле имеются «вещественные доказательства», могу предъявить.

Как маловер, я применил к «явлению», о чем расскажу сейчас, прием судебного следствия. Много лет был я следователем в провинции, ждал назначения в Москву... – так сказать, качественность моя была оценена... – знаю людские свойства, и психозы толпы мне хорошо известны. В моем случае толпы нет, круг показаний тесный, главные лица – нашего с вами толка, а из народа – только один участник, и его показания ничего сверхъестественного не заключают. Что особенно значительно в «явлении»... это – духовно-историческое звено из великой цепи родных событий, из далей – к ныне, свет из священных недр, коснувшийся нашей тьмы.

Первое действие – на Куликовом Поле.

II

Куликово Поле... – кто же о нем не слышал! Великий Князь Московский Димитрий Иванович разбил Мамая, смертельно шатнул Орду, потряс давившее иго тьмы. А многие ли знают, где это Куликово Поле? Где-то в верховьях Дона?.. Немногие уточнят: в Тульской губернии, кажется?.. Да: на стыке ее с Рязанской, от Москвы триста с небольшим верст, неподалеку от станции Астапово, где трагически умирал Толстой, в тургеневских местах, знаемых по «Запискам охотника». А кто удосужился побывать, ощупать, где, по урочищам, между верховьями Дона и Непрядвой, совершилось великое событие? Из тысячи не наберется и десятка, не исключая и местных интеллигентов. Мужики еще кой-что скажут. Воистину, – «ленивы мы и нелюбопытны».

Я сам, прожив пять лет в Богоявленске, по той же Рязанско-Уральской линии, в ста семнадцати верстах от станции Куликово Поле, мотаясь по уездам, так и не удосужился побывать, воздухом давним подышать, к священной земле припасть, напитанной русской кровью, душу собрать в тиши, под кустиком полежать-подумать... Как я корю себя из этого прекрасного далека, что мало знал свою родину, не изъездил, не исходил!.. Не знаю ни Сибири, ни Урала, ни заволжских лесов, ни Светло-Яра... ни Ростова Великого не видал, «красного звона» не слыхал, единственного на всю Россию!.. Именитый ростовец, купец Титов, рассказывали мне, сберег непомнящим этот «аккорд небесный», подобрал с колокольными мастерами-звонарями для местного музея... – жив ли еще «аккорд»?.. Не побывал и на Бородинском Поле, в Печерах, Изборске, на Белоозере. Не знаю Киева, Пскова, Новгорода Великого... ни села Боголюбова, ни Дмитровского собора, облепленного зверя-ми, райскими птицами-цветами, собора XI века во Влади-мире-на-Клязьме... Ни древнейших наших обителей не знаем, ни летописей не видали в глаза, даже родной истории не знаем путно, Иваны Непомнящие какие-то. Сами ведь иссушали свои корни, пока нас не качнули – и как качнули!.. Знали избитую дорожку – «по Волге», «на Минерашки», «в Крым». И, разумеется, «за границу». В чу-жие соборы шли, все галереи истоптали, а Икону свою открыли перед самым провалом в ад.

Проснешься ночью, станешь перебирать, всякие запахи вспомянешь... – и защемит-защемит. Да как же ты Се-вер-то проглядел, погосты, деревянную красоту поющую – церквушки наши?!. А видел ли российские каналы – великие водные системы? Молился ли в часовенке болотной, откуда родится Волга?.. А что же в подвал-то не спустился, не

поклонился священной тени умученного Патриарха Гермогена? А как же?.. Не спорьте и не оправдывайтесь... это кричит во мне! А если кричит, – правда. Такой же правдой лежит во мне и Куликово Поле.

Попал я туда случайно. Нет, не видел, а чуть коснулся: «явлением» мне предстало. Было это в 1926 году. Я тогда ютился с дочерью в Туле, под чужим именем: меня искали, как «кровопийцу народного». И вот, один мукомол-мужик, – «кулак», понятно, – из Старо-Юрьева, под Богоявленском, как-то нашел меня. Когда-то был мой подследственный, попавший в трагическую петлю. Долго рассказывать... – словом, я его спас от возможной каторги, обвинялся он в отравлении жены. Он убрался со старого гнезда, – тоже, понятно, «кровопийца», – и проживал при станции Волово, по дороге на Тулу. Как-то прознал, где я. Написал приятелю-туляку: «Доставь спасителю моему». И я получил записочку: «По случаю голодаете, пребудьте екстрено, оборудуем». Эта записочка была для меня блеснувшим во мраке светом и, как увидите, привела к первоисточнику «явления».

Приехал я в Волово. Крайней нужды не испытывал, и поехал, чтобы – думалось, так, – сбросить владевшее мною оцепенение безысходности... пожалуй, и из признательности к моему «должнику», тронувшего меня во всеобщей ожесточенности. Приехал в замызганной поддевке, мещанином. Было в конце апреля, только березки опушились. Там-то и повстречал участника «действия первого». Он ютился с внучатами у того «кровопийцы»-мукомола, кума или свояка. Пришлось бросить службу в имении, отобранном под совхоз, где прожил всю жизнь, был очень слаб, все кашлял, после и помер вскоре. От него-то и слышал я о начале «явления». Не побывай я тогда в Волове, так бы и кануло «явление», для меня. Думаю теперь: как бы у к а з а н о было мне поехать, и не только, чтобы сделать меня участником «явления», исследователем его и оповестителем, но и самому перемениться. Как не задуматься?..

III

Случилось э т о в 25 году, по осени.

Василий Сухов, – все его называли Васей, хотя был он уже седой, благообразный и положительный, только в светлых его глазах светилось открыто-детское, – служил лесным объездчиком у купцов, купивших имение у родовитых дворян Ахлябышевых. По соседству с этим имением лежало Княжье, осколок обширной когда-то вотчины, принадлежавший барину Средневу, родственнику Ахлябышевых и, как потом я узнал, потомку одного из дружинников Дмит-

рия Донского: дружинник этот бился на Куликовом Поле и сложил голову. Барин Среднев променял свое Княжье тем же купцам на усадьбу в Туле, с большим яблонным садом. Отметьте это, о Средневе: речь о нем впереди.

Лесное имение купцов расположено в Данковском уезде и прихватывало кусок Тульской губернии, вблизи Куликова Поля. А Княжье, по каким-то приметам стариков, – отголосок предания? – лежало «на самом Поле». Купцов выгнали, имение взяли под совхоз, а Василий Сухов остался тем же лесным объездчиком. При нем было двое внучат, после сыновей: одного сына на войне убили, другого комитет бедноты замотал за горячее слово. Надо было кормиться.

Поехал как-то Сухов в объезд лесов, а по нужде дал порядочный крюк, на станцию Птань, к дочери, которая была там за телеграфистом: крупы обещала припасти сиротам. Смотался, прозяб, – был исход октября, промозглая погода, дождь ледяной с крупой, захвативший еще в лесах. Сухов помнил, что было это в родительскую субботу, в Димитриевскую, в канун Димитрия Солунского. Потому помнил, что в тех местах эту Димитриевскую субботу особо почитают, как поминки, и дочь звала Сухова пирожка отведать, с кашей, – давно забыли. И внучкам пирожка вез. Как известно, Димитриевская суббота установлена в поминовение убиенных на Куликовом Поле, и вообще усопших, и потому называется еще родительская.

Продрог Сухов в полушубке своем истертом, гонит коня, – до ночи бы домой добраться. Конь у него был добрый: Сухов берег его, хотя по тем временам трудно было овсом разжиться. Гонит горячей рысью, и вот – Куликово Поле.

В точности не известно, где граница давнего Куликова Поля; но в народе хранятся какие-то приметы: старики указывают даже, где князь Владимир Серпуховский свежий отряд берег, дожидался нетерпеливо часа – ударить Мамая в тыл, когда тот погнал русскую рать к реке. Помните, у Карамзина, – «мужественный князь Владимир, герой сего незабвенного для России дня...»? Помните, как Преподобный Сергий, тогда игумен Обители Живоначальныя Троицы, благословил Великого Князя на ратный подвиг и втайне предрек ему: «ты одолеешь»? Дух его был на Куликовом Поле, и отражение битвы видимо ему было за четыреста слишком верст, в Обители, – духовная телевизия.

По каким-то своим приметам Сухов определял, что было это «на самом Куликовом Поле». Голые поля, размытые дороги полны воды, какие-то буераки, рытвины. Гонит, ни о чем, понятно, не думает, какие же тут «мамаи», крупу бы не раструсить, за пазуху засунул... – трах!.. – чуть из седла не

вылетел: конь вдруг остановился, уперся и захрапел. Что такое?.. К вечеру было, небо совсем захмурилось, ледяной дождь сечет. Огладил Сухов коня, отпрукал... – нет: пятится и храпит. Глянул через коня, видит: полная воды колдобина, прыгают пузыри по ней. «Чего бояться?..» – подумал Сухов: вся дорога в таких колдобинах, эта поболе только. Пригляделся... – что-то будто в воде мерцает... подкова, что ли?.. – бывает, «к счастью». Не хотелось с коня слезать: какое теперь счастье! Пробует завернуть коня, волю ему дает, – ни с места: уши насторожил, храпит. Прикрыл ему рукавом глаза, чтобы маленько обошелся, – ни-как. Не по себе стало Сухову, подумалось: может, змею чует... да откуда гадюке быть, с мученика Автонома ушли под хворост?..

Слез Сухов с коня, поводья не выпускает, нагнулся к воде, пошарил, где мерцало, и вытащил... медный крест! И стало повеселей на душе: святой крест – добрый знак. Перекрестился на крест, поводья выпустил, а конь и не шелохнется, «как ласковый». Смотрит Сухов на крест, видать, старинный, зеленью-чернотой скипелось, светлой царапиной мерцает, – кто-то, должно, подковой оцарапал.

В этом месте постоянной дороги не было: пробивали в распутицу, кто где вздумал, – грунтовая под лесом шла.

Помолился Сухов на крест, обтер бережно рукавом, видит – литой, давнишний. А в этом он понимал немножко. Из прежних купцов-хозяев один подбирал разную старину-историю, а тут самая-то история, Куликово Поле, ходил с рабочими покопать на счастье, – какую-нибудь диковинку и найдет: бусину, кусок кольчуги серебряной... золотой раз перстень с камушком откопали, а раз круглую бляху нашли, татарскую, – месяц на ней смеется. С той поры, как битва была с татарами, больше пятисот лет сошло. Сухов подумал: и крест этот, может, от той поры: земля – целина, выбили вот проезжие в распутицу.

Стал крест разглядывать. Помене четверти, с ушком, – наперсный; накось – ясный рубец, и погнуто в этом месте: секануло, может, татарской саблей. Вспомнил купца-хозяина: порадовался бы такой находке... да нет его. И тут в мысли ему пришло: барину переслать бы, редкости тоже собирал, с барышней копал... она и образа пишет, – какая бы им радость. А это он про барина из Княжьего, который усадьбу в Туле у купцов выменял и звал к себе Сухова смотреть за садом. Барин Сухову нравился, и в самую революцию собрался было Сухов уйти к нему, стало в деревне неспокойно, пошли порубки, а барин из Тулы выехал, бросил свою усадьбу и отъехал в Сергиев Посад: там потише. А теперь везде одинаково: Лавру прикончили, монахов разогнали, а мощи Преподобного... Го-споди!.. – в музей поставили, под стекло, глумиться.

Смотрел Сухов на темный крест, и стало ему горько, комом подступило к горлу. И тут, на пустынном поле, в холодном дожде и неуюте, в острой боли ему представилось, что все погибло, и ни за что.

«Обидой обожгло всего... – рассказывал он, – будто мне сердце прокололо, и стала во мне отчаянность: внуки малые, а то, кажется, взял бы да и...»

Опомнился – надо домой спешить. Дождь перестал. Смотрит – с заката прочищает, багрово там. Про крест подумал: суну в крупу, не потеряется. Полез за пазуху... «И что-то мне в сердце толкнуло... – рассказывал он, с радостным лицом, – что-то как затомилось сердце, затрепыхалось... дышать трудно...»

IV

«Гляжу – человек подходит, посошком меряет. Обрадовался душе живой, стою у коня и жду, будто тот человек мне надобен».

По виду, из духовных: в сермяжной ряске, лыковый кузовок у локтя, прикрыт дерюжкой, шлычок суконный, седая бородка, окладиком, ликом суховат, росту хорошего, не согбен, походка легкая, посошком меряет привычно, смотрит с приятностью. Возликовало сердце, «будто самого родного встретил». Снял шапку, поклонился и радостно поприветствовал: «Здравствуйте, батюшка!» Подойти под благословение воздержался: благодатного ли чину? До слова помнил тот разговор со старцем, – так называл его.

Старец ласково «возгласил, голосом приятным»:

– Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Мир ти, чадо.

От слов церковных, давно неслышимых, от приятного голоса, от светлого взора старца... – повеяло на Сухова покоем. Сухов плакал, когда рассказывал про встречу. В рассуждения не вдавался. Сказал только, что стало ему приятно-радостно, и – «так хорошо поговорили». Только смутился словно, когда сказал: «Такой лик, священный... как на иконе пишется, *в себе сокрытый*». Может быть, что и таил в себе, чувствовалось мне так: удивительно сдержанный, редкой скромности, тонкой задушевной обходительности, – такие встречаются в народе.

Беседа была недолгая, но примечательная. Старец сказал:

– Крест Христов обрел, радуйся. Чесо же смущаешися, чадо?

Сухов определял, что старец говорил «священными словами, церковными, как Писание писано», но ему было все

понятно. И не показалось странным, почему старец знает, что он нашел крест: было это в дождливой мути, один на один с конем, старца и виду не было. И нисколько не удивило, что старец и мысли его провидит, – как бы переслать крест барину. Так и объяснял Сухов:

– Пожалел меня словно, что у меня мысли растерянны, не знаю, как бы сберечь мне крест... – сказал-то: «чесо же смущаешися, чадо?»

Сказал Сухов старцу:

– Да, батюшка... мысли во мне... как быть, не знаю.

И рассказал, будто на духу, как все было: что это, пожалуй, старинный крест, выбили с-под земли проезжие, а это место – самое Куликово Поле, тут в старинные времена битва была с татарами... может, и крест этот с убиенного православного воина; есть словно и отметина – саблей будто посечено по кресту... и вот, взяло раздумье: верному бы человеку переслать, сберег чтобы... а ему негде беречь, время лихое, неверное... и надругаться могут, и самого-то замотают, пристани верной нет: допрежде у господ жил, потом у купцов... – «а нонче, – у кого и живу – не знаю».

И когда говорил так старцу, тесно стало ему в груди, от жалости к себе, и ко всему доброму, что было... – «вся погибель наша открылась...» – и он заплакал.

Старец сказал – «ласково-вразумительно, будто хотел утешить»:

– Не смущайся, чадо, и не скорби. Милость дает Господь, Светлое Благовестие. Крест Господень – знамение Спасения.

От этих священных слов стало в груди Сухова просторно – «всякую тягость сняло». И он увидел: светло кругом, сделалось поле красным, и лужи красные, будто кровь. Понял, что от заката это – багровый свет. Спросил старца: «Далече идете, батюшка?»

– Вотчину свою проведать.

Не посмел Сухов спросить – куда. Подумал: «Что я, доследчик, что ли... непристойно доспрашивать, скрытно теперь живут». Сказал только:

– Есть у меня один барин, хороший человек... ему бы вот переслать, он сберег бы, да далеко отъехал. И здешние они, у самого Куликова Поля старое их имение было. В Сергиев Посад отъехал, у Троицы, там, думалось, потише... да навряд.

Старец сказал:

– Мой путь. Отнесу благовестие господину твоему.

Обрадовался Сухов, и опять не удивило его, что старец идет туда, – «будто бы так и надо». Сказал старцу:

– Сам Господь вас, батюшка, послал... только как вы разыщете, где они на Посаде проживают?.. Скрытое ноне время, смутное. Звание их – Егорий Андреич Среднев, а

дочку их Олей... Ольгой Егорьевной звать, и образа она пишет... только и знаю.

– Знают на Посаде. Есть там нашего рода.

Радостью осияло Сухова – «как светом-теплом согрело» – и он сказал:

– Уж и поклончик от меня, батюшка, им снесите... скажите: кланяется, мол, им Вася Сухов, который лесной объездчик... они меня давно знают. А ночевать-то, батюшка, где пристанете... ночь подходит? Позвал бы я вас к себе, да не у себя я теперь живу... время лихое ноне, обидеть могут... и церковь у нас заколотили.

Старец ласково посмотрел на Сухова, «весело так, с приятностью», и сказал ласково, как родной:

– Спаси тя Христос, чадо. Есть у меня пристанище.

Принял старец от Сухова крест, приложился с благоговением и положил в кузовок, на мягкое.

– Как хорошо-то, батюшка... Господь дал!.. – радостно сказал Сухов: не хотелось со старцем расставаться, поговорить хотелось: – Черные у меня думы были, а теперь веселый я поеду. А еще думалось... почтой послать – улицы не знаю... и доспрашивать еще станут, насмеются... – да где, скажут, взял... да не церковное ли утаил от них... – заканителят, нехристи.

Сказал старец:

– Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

И помолился на небо.

– Господь с тобой. Поезжай. Скоро увидимся.

И благословил Сухова. Приложился Сухов со слезами к благословившей его деснице. И долго смотрел с коня, пока не укрыли сумерки.

Когда Сухов рассказывал, как старец благословил его, – плакал. Тайный, видимо, смысл придавал он последнему слову старца – «увидимся», – знал, что недолго ему осталось жить? И правда: рассказывал мне в конце апреля, а в сентябре помер, писали мне. Со «встречи» не протекло и года. По тону его рассказа... – словами он этого не обнаружил – для меня было несомненно, что он верил в посланное ему явление. Скромность и сознание недостоинства своего не позволяли ему свидетельствовать об этом явно.

В этом «первом действии» нет ничего чудесного: намеки только и совпадения, что можно принять по-разному. Сухов не истолковывал, не пытался ощупывать, а принимал как сущее, «в себе скрытое», – так прикровенно определил он «священный лик». Вот – простота приятия верующей душой. Во «втором действии», в Сергиевом Посаде, «приятие» происходит по-другому: происходит мучительно, с протестом, как бы с насилием над собой, с ощупыванием, и,

в итоге, как у Фомы, с надрывом и восторгом. Это психологически понятно: празднуется победа над злейшим врагом – неверием.

V

Рассказ Сухова о встрече на Куликовом Поле не оставил во мне чувства, что было ему явление, а просто – «случай», странный по совпадениям, с мистической окраской. Окраску эту приписывал я душевному состоянию рассказчика. Василий Сухов, простой православный человек, душевно чистый, неколебимо верил, что поруганная правда должна восторжествовать над злом... иначе для него не было никакого смысла и строя в жизни: все рушится?!. Нет, все в нем протестовало, инстинктивно. Он не мог не верить, что правда скажется. Он – подлинная суть народа: «Правда не может рушиться». И так естественно, что «случай» на Куликовом Поле мог ему показаться знамением свыше, знамением спасения, искрой святого света во тьме кромешной. В таком состоянии душевном мог он и приукрасить «явление», и вполне добросовестно. Мне он не говорил, что было ему явление, и сокровенного смысла не раскрывал, а принял благоговейно, детски-доверчиво.

Вернувшись в Тулу, я никому не рассказывал, что слышал от Сухова в Волове. Впрочем, дочери говорил, и она не отозвалась никак. Но месяца через три, попав в Сергиев Посад, я неожиданно столкнулся с другими участниками «случая», и мне открылось, что тут не «случай», а знамение свыше. И рассказ Сухова наполнился для меня глубоким смыслом. Знамение свыше... – это воспринимается нелегко, так это необычно, особенно здесь, в Европе. Но там, в Сергиевом Посаде, в августовский вечер, в той самой комнате, где произошло явление, вдруг озарило мою душу впервые испытанное чувство священного, и я принял знамение с благоговением. Я видел святой восторг и святые слезы чистой и чуткой девушки... – какая может быть в человеке красота!.. – я как бы читал в открытой душе ее. И вот, захваченный необычайным, стараясь быть только беспристрастным, почти молясь, чтобы дано было мне найти правду, я повел свое следствие, и, неожиданно для себя, разрушил последнее сомненье цеплявшегося за «логику» «Фомы»-интеллигента. Не передать, что испытывал я тогда: это вне наших чувств. Что могу ясно выразить, так это одно, совершенно точное: я привлечен к раскрытию необычайного... привлечен Высшей Волей. А что пережил тогда в миг неизмеримый... – выразить я бессилен. Как передать

душевное состояние, когда коснулось сознания моего, что времени не стало... века сомкнулись... будущего не будет, а все – ныне, – и это меня не удивляет, это в меня вместилось?!. Я принял это как самую живую сущность. Жалок земной язык. Можно приблизительно находить слова для выражения этого, но опалившего душу озарения... – передать это невозможно.

VI

Жизнь в Туле, призрачная, под чужим именем «мещанина Подбойкина», под непрестанным страхом, что сейчас и разоблачат, и... – стала невмоготу. Что за мной числилось? Вопрос праздный. Ровно ничего не числилось, кроме выполнения долга – раскрывать преступления. Но для агентов власти я был лишь «кровопийца». Могли мне вменить многое: приезд Плеве, по делу убийства губернатора... раскрытие виновников злостной железнодорожной катастрофы, когда погибло много народу, а намеченная добыча, важный правительственный чин, счастливо избег кары... Я делал свое дело. Но вот какая странная вещь... Не могу понять, почему я, следователь-психолог, раскрывавший сложнейшее, в течение восьми лет укрывался в Туле, где меня легко могли опознать приезжие из Богоявленска! Возможно, тут работала моя «психология»: здесь-то меня искать не станут, в районе моих «злодейств», и не откроют, если не укажут обыватели. Непонятное оцепенение, сознание безысходности, будто пробка в мозгу застряла. Боялся смерти? Нет, худшего: страх за дочь, издевательства... и, что иным покажется непонятным, – полного беззакония страшился, вопиющего искажения судебной правды, чего не переносил почти физически. Это своего рода «порок профессиональный», мистическое нечто. Словом, оцепенение и «пробка». Самое, кажется, простое – ехать в Москву, острая полоса прошла, в юристах была нужда. Устроили бы куда-нибудь друзья-коллеги, уцелевшие от иродова меча, мог бы найти нейтральное что-нибудь, предложил бы полезный курс – «психология и приемы следствия», надо же молодежь учить. Почему-то все эти планы отбрасывал, сидела «пробка». И вот, оказалось, что мое сиденье в Туле было «логично», только не нашей логикой.

Учил грамоте оружейников, помогал чертежникам завода, торговал на базаре картузами, клеил гармоньи. Дочь давала уроки музыки новой знати. Тула издавна музыкальный город: славен гармоньями на всю Россию, как и самоварами. Не этим ли объяснить, что началась прямо эпидемия – «на

верти-пьяных»! Все желают «выигрывать на верти-пьяных разные польки и романцы». И выпало нам «счастье»: навязалась моей Надюше... «Клеопатра». И по паспорту – Клеопатра, а разумею в кавычках, потому-что сожительствовала она с «Антошкой». Так и говорили – «Антошка и Клеопатра». А «Антошка» этот был не кто иной, как важная птица Особ-Отдела, своего рода мой коллега... Бывший фельдшер. И вот, эта «Клеопатра», красавица-тулячка, мещаночка, очень похожая на кустодиевскую «Купчиху», такая же белотелая и волоокая... глупое и предобрейшее существо – походя пряники жевала и щелкала орешки – и навязалась: «ах, выучите меня на верти-пьяных!..» Мучилась с ней Надюша больше года. Инструмент у девицы был – чудесный беккеровский рояль, концертный. А Надюша окончила консерваторию на виртуозку, готовилась к карьере пианистки. И вот – «на верти-пьяных». Забылась как-то, с Шопеном замечталась... и вдруг, ревом по голове: «Лихо наяриваете, ба-рышня!» «Антошка», во всей красе, с наганом. А «Клеопатра», в слезах восторга: «Выучите, ради Господа, и меня такому!» Все-таки польку одолела, могла стучать; и была в бешеном восторге. Посылала кульки с провизией, «папашке вашему табачку», то-се... С отвращением, со стыдом, но принимали, чтобы отдать другим... – не проходило в глотку. А нужды кругом!.. Урочные деньги Надюша не могла брать в руки, надевала перчатки. Лучше уж картузами, гармошками... Тошно, гнусно, безвыходно... – и при моем-то «ясновидении». В глазах народа я был «гадателем», так и говорили: «Нашего следователя не обведешь, скрозь землю на три аршина видит!» И такое бессилие: засела «пробка». И в Волово-то смотался не от нужды, а как-нибудь сбросить это оцепенение, вышибить эту «пробку», а мукомол советовал: «Ныряйте, Сергей Николаич, в Москву – большая вода укроет». Но «пробка» сидела и сидела. Или – так нужно было? чего-то похватало?.. И вот это что-то и стукнуло. Теперь вижу, что так именно и нужно было.

Вскоре после поездки моей в Волово в начале мая, приходит моя Надюша, остановилась у косяка... и такими страшными, неподвижными глазами, глазами ужаса и конца, смотрит на меня и шепчет: «папа... конец...» Это – к о н е ц – прошло мне холодом по ногам. Да, к о н е ц: пришло то, о чем мы с ней з н а л и молчаливо, «если о н о случится». И оно случилось: «в с е известно». Но самое страшное не это, не мытарства, если бы не удалось нам у й т и: самое страшное – позор.

В то утро мая «Клеопатра» разнежилась с чего-то и захотела обрадовать Надюшу: «А что вы думаете, мой-то все-о про вашего папаньку знает, как утрудящих засуживал... но вы не бойтесь, и папанька чтобы не боялся... мой для меня

все сделает, так и сказал: «Я его на высокую должность возьму, как раз по нем, засуживать... в помощники при себе возьму, в заседатели, а то все негодящие, дела спят...» и жалованье положит, и еще будет натекать, будете жить как люди». Это уж после Надюша мне передала, а тогда только – «все известно». И тут – вышибло мою «пробку»... в Москву!.. Сейчас же в Москву!.. Это при «все известно»-то!.. При зверском контроле на вокзале!.. Как новичок-воришка... вся «логика», весь мой следовательский опыт испарились.

Сказал Надюше самое необходимое собрать, шепчу: «Есть выход... Москва – выход!..» Помню, смотрела с ужасом. А я кинулся на вокзал – поезд когда отходит. Бегу, не соображая, что обращу внимание... – одно в уме, взываю: «Господи, помоги...» И уже вижу какую-то возможность: в Москве Творожников, кто-то говорил, в гору у них пошел. А он был когда-то ко мне прикомандирован, кандидат на судебные должности, очень талантливый, ловкий, «без предрассудков», после товарищем прокурора был. Расстались мы друзьями. Только бы разыскать его.

Вбегаю на вокзал, задохся, спрашиваю про поезд, а мне кто-то шипит грозяще: «Ка-ак вы здесь?.. Вон!.. Комиссия отъезжает, Рабкрин!» Рабоче-крестьянская инспекция! Гром и огонь!.. Все может!.. Страх и трепет. Метнулся в боковой зал, а там... «губернатор» наш, тянется, и вышние из ОсобОтдела, с наганами... кошмар!.. И вдруг: «Сергей Николаич... вы как здесь?» Он!.. Творожников, о ком только что в голову вскочило. Там такое бывало, многие подтвердят. Теперь что-то мне в этом видится. Но уточнять не буду, примите за «случайность».

Произошло все головокружительно. Творожников подошел ко мне, сухо спросил: «Устроены?» Я ему – только: «В Москву... необходимо». Молниеносно понял, вынул бланчок и тут же, на портфеле: «Явиться немедленно, в распоряжение...» – отмычка ко всем замкам. Шел я домой, как пьяный, дышал после стольких годов удушья. Словом – счастливый случай».

VII

В Москве я устроился нейтрально – по архивам: разыскивал и приводил в порядок судебно-исторические дела, в уездной секции. Побывал в Клину, Серпухове, Звенигороде... и в середине августа выехал в Загорск, переименовали так Сергиев Посад. О барине Средневе не думал, случай на Куликовом Поле выпал из памяти, а хотелось увидеть Лавру, толкнуло к «Троице». Что, собственно,

толкнуло?.. Работавшие по архивам часто говорили о «Троице»: там ютилось много известных бывших людей; В. Розанов, А. Александров. Л. Тихомиров, работали в относительной тиши художники, наведывался Нестеров, решал перелом жизненного пути С. Булгаков, в беседах с Павлом Флоренским... Нестеров написал с них любопытную картину: дал их «в низине», а по гребешку «троицкой» мягкой горки в елках изобразил символически «поднявшихся горе»... – русских богомольцев, молитвенно взирающих на куполки «Святого Града» – Троицы-Сергия... Когда все было – не собрался, а тут – погляди остатки. И я поглядел эти остатки. И увидал – нетленное. Но в каком обрамлении! В каком надрывающем разломе!.. Не повидал при свете – теперь посмотри во тьме.

Приехал я в Загорск утром. Уже не Сергиево, а Загорск. И первое, что увидел, тут же, на станционной платформе: ломается дурак-парнишка, в кумачовой ризе, с мочальной бородищей, в митре из золотой бумаги... коренником: с монашком и монашкой, разнузданными подростками. У монашка горшок в бечевках – «кадило»; у монашки ряска располосована, все видать, затылок бритый, а в руке бутылка с водкой – «святой водой». И эта троица вопит-визжит: «Товарищи!.. Все в клуб безбожников, к обедне!.. В семнадцать вечера доклад товарища Зме-я из Москвы!.. «Обманлеторгия у попов-монахов»!.. Показание бывшего монаха-послушника!..» И не смотрят на дураков, привыкли.

Иду к Посаду. Дорога вдоль овражка – и вот, лезет из лопухов-крапивы кудлатая голова и рычит: «Обратите антелегентовое внимание, товарищ!.. Без призвания прозябаю... бывшему монаху-канонарху!..» Отмахнул портфелем, а он горечью на меня, рычит: «Антелегентовы пле-велы!.. Из-за вас вот и прем в безбожники!..»

И тут увидал я солнечно-розовую Лавру.

Она светилась, веяло от нее покоем. Остановился, присел на столбушке у дороги, смотрел и думал... Сколько пережила она за свои пять веков! Сколько светила русским людям!.. Она светилась... – и, знаете, что почувствовал я тогда, в тихом, что-то мне говорившем, ее сиянии?.. «Сколько еще увидит жизни!..» Поруганная, плененная, светилась она – нетленная. Было во мне такое... чувство ли, дума ли: «Все, что творится, – дурманный сон, призрак, ненастоящее... а вот это – живая сущность, творческая народная идея, завет веков... это – вне времени, нетленное... можно разрушить эти сияющие стены, испепелить, взорвать, и ее это не коснется...» Высокая розовая колокольня, «свеча пасхальная», с золотой чашей, крестом увенчанной... синие и золотые купола... – не грустью отозвалось во мне, а светило.

Впервые тогда за все мутные и давящие восемь лет почувствовал я веру, что – есть защита, необоримая. Инстинктом, что ли, почувствовал, в чем – опора. Помню, подумал тут же: «Вот почему и ютились здесь, искали душе покоя, защиты и опоры».

VIII

У меня был ордер на комнату в бывшей монастырской гостинице у Лавры. И вот, выйдя на лаврскую площадь, вижу: ворота Лавры затворены, сидит красноармеец в своем шлыке, проходят в дверцу в железных вратах военные, и так, с портфелями. Там теперь, говорят, казармы и «антирелигиозный музей». Неподалеку от святых ворот толпится кучка, мужики с кнутьями, проходят горожане-посадские. И вдруг слышу, за кучкой, мучительно-надрывный выкрик:

– Абсурд!.. Аб-сурд!!. – Потом – невнятное бормотанье, в котором различаю что-то латинское, напомнившее мне из грамматики Шульца и Ходобая уложенные в стишок предлоги: «антэ-апуд-ад-адверзус...»; и снова, с болью, с недоумением:

– Абсурд!.. Аб-сурд!!.

Проталкиваюсь в кучке, спрашиваю какого-то в картузе, что это. Он косится на мой портфель и говорит уклончиво:

– Так-с... выпустили недавно, а он опять на свое место, к Лавре. Да он невредный.

Вскочил в кучку растерзанный парнишка, мерзкий, в одной штанине, скачет передо мной, за сопливую ноздрю рак зацеплен, и на ушах по раку, болтаются вприпрыжку, и он неточно гнусит:

– Товарищ-комиссар, купите... – раков!.. – гадости говорит и передразнивает кого-то. – Абсурд!.. Аб-сурд!!. – прямо бедлам какой-то.

И тут, монастырские башенные часы – четыре покойных перезвона, ровными переливами, – будто у них свое, – и гулко-вдумчиво стали отбивать – отбили – 10. И снова: «Абсурд!.. Аб-сурд!?.»

Я подошел взглянуть.

На сухом навозе сидит человек... в хорьковой шубе, босой, гороховые штанишки, лысый, черно-коричневый с загара, запекшийся; отличный череп – отполированный до блеска, старой слоновой кости, лицо аскета, мучительно-напряженное, с приятными, тонкими чертами русского интеллигента-ученого; остренькая, торчком, бородка, и... золотое пенсне, без стекол; шуба на нем без воротника, вся в клочьях, и мех, и верх. Сидит лицом к Лавре, разводит

перед собой руками, вскидывает плечами, и с болью, с мучительнейшим надрывом, из последней, кажется, глубины, выбрасывает вскриком: «Абсурд!.. Аб-сурд!!.» Я различаю в бормотанье, будто он с кем-то спорит, внутри себя:

– Это же абсолют-но... импоссибиле!.. Аб-солю-тно!.. Аб-солют-но!!. Это же... контрадикцию!.. «Антэ-апуд-ад-ад-верзус...» абсолю-тно!.. Абсурд!.. Аб-сурд!..

Бородатые мужики с кнутьями, – видимо, приехавшие на базар крестьяне, – глядят на него угрюмо, вдумчиво, ждут чего-то. Слышу сторожкий шепот:

– Вон чего говорит, «ад отверзу»!.. «Об-со-лю»! Чего говорит-то.

– Стало-ть уж ему известно... Какого-то Абсурду призывает... святого может.

– Давно сидит и сидит – не сходит с своего места... ждет... Ему и открывается, такому...

Спрашивают посадского по виду, кто этот человек. Говорит осмотрительно:

– Так, в неопрятном положении, гражданин. С Вифанской вакадемии, ученый примандацент, в мыслях запутался, юродный вроде... Да он невредный, красноамрейцы и отгонять перестали, и народ жалеет, ничего... хлебца подают. А, конешно, которые и антересуются, по темноте своей, деревенские... не скажет ли подходящего чего, вот и стоят над ним, дожидают... которые, конешно, без пропаганды-образования.

Вот как встретил меня Сергиев Посад.

IX

Побывал в горсовете, осмотрелся. Лавру осматривать не пошел, не мог. Успею побывать в подкомиссии архивной. Потянуло в «заводь», в тихие улочки Посада. Тут было все по-прежнему. Бродил по безлюдным улочкам, в травке-шелковке, с домиками на пустырях, с пустынными садами без заборов. Я – человек уездный, люблю затишье. Выглянет в оконце чья-нибудь голова, поглядит испытующе-тревожно, проводит унылым взглядом. Покажется колокольня Лавры за садами. Увидал в садике цветы: приятные георгины, астры, петунии... кто-то, под бузиной, в лонгшезе, в чесучовом пиджаке, читает толстую книгу, горячим вареньем пахнет, малиновым... Подумалось: «А хорошо здесь, тихо... читают книги... живут...» Вспомнилось, что многие известные люди искали здесь уюта... художники стреляли галок, для пропитания, писали свои картины Виноградов, Нестеров... приехал из нашей Тулы барин Среднев... – «там поти-

ше», вспомнилось словечко Сухова... – рассказ его тут-то и выплыл из забвенья.

В грусти бесцельного блужданья нашел отраду – не поискать ли Среднева. Я его знал, встречались в земстве. Про Сухова расскажу, узнаю – донес ли ему старец крест с Куликова Поля. У кого бы спросить?.. И вижу: сидит у ворот на лавочке почтенный человек в золотых очках, в чесуче, борода, как у патриарха, читает, в тетрадке помечает, и на лавочке стопа книг. Извиняюсь, спрашиваю: не знает ли, где тут господин Среднев, Георгий Андреевич, из Тулы, приехал в 17 году. Любезно отвечает, без недоверия:

– Как же, отлично знаю Георгия Андреевича... благополучно переживает... книгами одолжаемся взаимно.

Знакомимся: «бывший следователь...» «бывший профессор Академии...» Среднев проживает через два квартала, голубой домик, покойного профессора... друга Василия Осиповича Ключевского.

– Рыбку вместе ловили в Вифанских прудах, и я иногда с ними. С какой же радостью детской линька, бывало, вываживал на сачок Василий Осипович, словно исторический фрагмент откапывал!.. Какие беседы были, споры... – все кануло. В Лавре были?.. Понимаю, понимаю... трудно. «Абсурд»?.. Наш бедняга Сергей Иваныч, приват-доцент... любимый ученик Василия Осиповича... не выдержал напора... «абсурд» помрачил его. Это теперь наш Иов на гноище. Библейский вел тяжбу с Богом, о себе, а наш Иов мучается за всех и за вся. Не может принять, как абсурд, что «ворота Лавры затворились и лампады... погасли».

Старый профессор говорил много и горячо. В окно выглянуло встревоженное ласковое лицо серброволосой старушки в наколочке. Я почтительно поклонился.

– Василий Степаныч, не волнуйся так... тебе же вредно, дружок... – сказала она ласково-тревожно и спряталась.

– Да-да, голубка... – ласково отозвался профессор и продолжал, потише: – О нашем страшном теперь говорят, как об «апокалипсическом». Вчитываются в «Откровение». Не так это. Как раз я продолжаю работу, сличаю тексты с подлинником, с греческим. Сегодня как раз читаю... – указал он, карандашом, – 10 гл. ст. 6: «И клялся Живущим... что времени уже не будет...» – и дальше, про «горькую книгу». Не то, далеко еще до сего, если принимать богодухновенность «Откровения». Времена, конечно, «апокалипсические», условно говоря...

Мы говорим, говорим... – вернее, говорит он, я слушаю. Говорит о «нравственном запасе, завещанном нам великими строителями нашего нравственного порядка...» – ссылается на Ключевского.

– Обновляем ли запас этот? Кто скажет – «нет!»? Страданиями накоплялся, страданиями обновляется. Ключевский отметил смысл испытаний. Каков же духовный потенциал наш?.. История вскрыла его и утвердила. И Ключевский блестяще сказал об исключительном свойстве русского народа – выпрямляться чудесно-быстро. Иссяк ли «запас»? Нисколько. Потенциал огромный. Здесь, лишь за день до нашего «абсурда», в народной толпе у раки Угодника было сему свидетельство наглядное. Бедняга Сергей Иваныч спутал «залоги», выражаясь этимологически-глагольной формой. Сейчас объясняюсь...

Снова милая старушка тревожно его остановила:

– Василий Степаныч, дружок... тебе же волноваться вредно, опять затеснит в груди..!

– Да-да, голубка... не буду... – покорно отозвался профессор. – Видите, какая забота, ласковость, теплота... и это сорок пять лет, с первого дня нашей жизни, неизменно. Этого много и в народе: душевно-духовного богатства, вошедшего в плоть и кровь. «Окаянство», – разве может оно – пусть век продлится! – вскрикнул Василий Степаныч, в пафосе, – истлить все клетки души и тела нашего!.. Клеточки, веками впитавшие в себя Бо-жие?!. Вот это – аб-сурд!.. Призрачности, видимости-однодневке... не верьте! Не ставьте над духом, над православным духом – крест!.. «Аб-сурд!» – повторяю я!..

– Да Васи-лий Степаныч!.. – уже строго и не показываясь, подала тревогу старушка.

– Да-да, голубка... я не буду, – жалея, отозвался профессор. – Сергей Иваныч... – продолжал он, понизив голос, – увидел себя ограбленным, обманутым, во всем: в вере, в науке, в народе, в... правде. Он боготворил учителя, верил его прогнозу. И прав. Но..! Он сме-шал «залоги». Помните, у Ключевского?.. В его слове о Преподобном? Ну, я напомню. Но предварительно заявлю: православный народ сердцем знает: Преподобный – здесь, с ним... со всем народом, ходит по народу, сокрытый, – говорят здесь и крепко верят. Раз такая вера, «запас» не изжит. Все лишь испытание крепости «запаса», сейчас творится выработка «антитоксина». И не усматривайте в слове Ключевского горестного пророчества ныне якобы исполнившегося, как потрясенно принял Сергей Иваныч. «Залоги»?.. Да, спутал Сергей Иваныч, как многие. Все видимости «окаянства», всюду в России... – а Лавра – центр и символ! – «залог страдательный», и у Ключевского сказано в ином залоге.

Я не понял.

– Да это же так просто!.. – воскликнул Василий Степаныч, косясь к окошку. Ключевский – и весь народ, если поймет его речь, признает, – заключает свое «слово»: «Ворота Лавры Преподобного Сергия затворятся и лампады погаснут над его гробницей только тогда, когда мы растратим этот запас без остатка, не пополняя его». Дерзнете ли сказать, что «растратили без остатка»? Нет? Бесспорно, ясно!.. Мы все в страдании! Ныне же видим: ворота затворены, и лампады погашены!.. Выражено в страдательном залоге! Страдание тут, насилие!.. И народ в этом неповинен. Свой «запас нравственный» он несет, и, в страдании, пронесет его и – сполна донесет до той поры, когда ворота Лавры растворятся, и лампады затеплятся... – залог дей-стви-тельный!.. Не так ли?..

Я не успел ответить, как милый голос из комнаты взволнованно подтвердил: «Святая правда!.. Но не волнуйся же так, дружок».

Василий Степаныч обмахивался платком, лицо его пылало. Сказал устало:

– Душно в комнатах... в саду тоже, и я выхожу сюда, тут вольней.

Часы-кукушка прокуковали 6. Я поблагодарил профессора за любопытную беседу, за удовольствие знакомства и думал: «Да, здесь еще живут». Профессор сказал, что сейчас я застану Среднева, он с дочкой, конечно, уже пришли из ихнего «кустыгра».

– Все еще не привыкли к словолитию? Георгий Андреич работает в отделе кустарей-игрушечников, бухгалтером, а Оля рисует для резчиков. Усиленно сколачивают... это, конечно, между нами... на дальний путь. Поэт сказал верно:

Как ни тепло чужое море,
Как ни красна чужая даль, –
Не им размыкать наше горе,
Развеять русскую печаль.

– Теперь не сказал бы... – заметил я, – тогда все же была свобода...

– Не все же, а была!.. – поправил меня профессор. – Гоголь мог ставить «Ревизора» на императорской сцене, и царь рукоплескал ему. Что уж говорить... Другой поэт, повыше, сказал лучше: «Камо пойду от Духа Твоего? И от Лица Твоего камо бежу?..» Так вот, через два квартала, направо, увидите приятный голубой домик, на воротах еще осталось – «Свободен от постоя», и – «Дом Действительного Статского Советника Профессора Арсения Вонифатиевича...» Смеялся, бывало, Василий Осипович, называл провидчески – «живописная эпитафия»... и добавлял: «Жития его было...»

Шел я, приятно возбужденный, освеженный, – давно не испытывал такого. И колокольня Лавры светила мне.

X

Домик «Действительного Статского Советника» оказался обыкновенным посадским домиком, в четыре окна со ставнями, с прорезанными в них «сердечками»; но развесистая береза и высокая ель придавали ему приятность. Затишье тут было полное, вряд ли тут кто и ездил: на немощеной дороге, в буйной нетронутости росли лопухи с крапивой. Я постучал в калитку. Отозвалась блеяньем коза. Прошелся, поглядел на запущенный малинник, рядом, за развороченным забором, паслась коза на приколе. Подумал: ждать ли, и услыхал приближавшиеся шаги и разговор. Как раз хозяева: сегодня запоздали, получали в кооперативе давно жданного сушеного судачка.

Узнали мы друг друга сразу, хоть я и поседел, а Среднев подсох и пооблысел, и, в парусинной толстовке, размашистый, смахивал на матерого партийца, Олечка его мало изменилась, – такая же нежная, вспыхивающая румянцем, чистенькая, светловолосая, с тем же здоровым цветом лица и милым ртом, особенно чем-то привлекательным... – наивно-детским. Только серые, такие всегда живые, радостные глаза ее теперь поуглубились и призадумались.

Разговор наш легко наладился. Средневу посчастливилось: приехав в Посад, он поместился у родственника-профессора; профессор года два тому помер, и его внук, партиец, получивший службу в Ташкенте, передал им дом на попечение. Потому все и уцелело, и ржавая вывеска – «Свободен от постоя» – оказалась как раз по времени. Все в доме осталось попрежнему: иконы, портреты духовных лиц, троицкие лубки, библиотека, кабинет с рукописями и свитками, пыльные пачки «Нового Времени» и «Московских Ведомостей», удочки в углу и портрет Ключевского на столе, с дружеской надписью: «Рыбак рыбака видит издалека». На меня повеяло спокойствием уклада исчезнувшего мира, и я сказал со вздохом:

– «Все – в прошлом»! Картина, в Третьяковке: запущенная усадьба, дом в колоннах, старая барыня в креслах, и ключница, на порожке... Так и мы, «на порожке»...

Олечка отозвалась из другой комнаты:

– Нет: все с нами, есть.

Сказала спокойно-утверждающе. Среднев подмигнул и стал говорить, понизив голос:

– Прошлого для нее не существует, а все вечно, и все – живое. Теперь это ее вера. Впрочем, можно найти и в философии...

В философии я профан, помню из Гераклита, что – «все течет...», да Сократ, что ли, изрек – «я знаю, что ничего не знаю». Но Среднев любил пофилософствовать.

– У ней это через призму религиозного восприятия. Весь наш «абсурд», вызывавший в ней бурную реакцию, теперь нисколько ее не подавляет, он вне ее. Вот, видели нашего «Иова на гноище»... его смололо, все точки опоры растерял и из своей тьмы вопиет «о всех и за вся», как говорится...

– Не кощунствуй, папа! – крикнула Олечка с укором. – Ты же отлично знаешь, что это – не «как говорится»... Бедный Сергей Иваныч как бы Христа ради юродивый теперь, через него правда вопиет к Богу, и народ понимает это и принимает по-своему.

Среднев опять усмешливо подмигнул. Мне эти его жесты не нравились. Но он, видимо, намолчался и рад был разрядиться:

– Да, мужички по-своему понимают... и, знаете, очень остроумно выуживают из его темных словес – свое. Сергей Иваныч путается в своих потемках, шепчет или выкрикивает: «На-ша традиция... на-ши традиции...» – а мужики свое слышат: «Наше отродится»! Недурно?..

– И они се-рдцем правы!.. – отозвалась Олечка. – Они правдой своей живут, слушают внутреннее в себе, и им открывается.

Я дополнил, рассказав, как из «ад-адверзус» они вывели «ад отверзу», а из «абсолютно» – «обсолю». Среднев расхохотался.

– Чего тут смешного, папа!.. Верят, что «ад отворится», и все освободятся... и будет не гниение и грязь, а чистая и крепкая жизнь, – «обсолится»!.. Только нужно истинную «соль», а не ту, которая величала себя – «солью земли».

Среднев поднял руки и помахал с ужимками.

Осматривая кабинет покойного профессора, я заметил медный восьмиконечный крест, старинный, вспомнил Сухова и спросил, не этот ли крест прислал им Вася с Куликова Поля.

– А вы откуда знаете?.. – удивился Среднев.

Я объяснил. Он позвал Олечку.

– Для нее это чрезвычайно важно... она все собиралась сама поехать. Знаете, она верит, что нам явился... Нет, лучше уж пусть сама вам скажет. Нет, это профессорский, а тот она укрыла в надежном месте, далеко отсюда. Тот был меньше и не рельефный, а изображение Распятия вытравлено, довольно тонко... несомненная старина. Возможно, что «боевой», от Куликовской битвы. В лупу видно, как посечено острым чем-то... саблей?.. Где посечено – зелень, а все остальное ясное.

– Ка-ак?!. Ни черноты, ни окиси?.. – удивился я...

– Только где посечено... а то совершенно ясное.

Вошла Олечка, взволнованная: видимо, слышала разговор.

– Скажите... – сказал она прерывисто, с одышки, – все, что знаете... Я три раза писала Васе, ответа нет. Хочу поехать – узнать все, как было. Для папы в этом ничего нет, он только анализирует, старается уйти от очевидности... и не видит, как все его умствования ползут... А сами вы... верующий?

Я ответил, что – маловер, как все, тронутые «познанием».

– Маленьким земным знанием, а не «познанием...», – поправила она с жалеющей улыбкой.

– Да-а, «чердачок» превалирует!.. – усмехнулся Среднев, тыча себя в лоб, не без удовольствия.

– Скажите, что же говорил наш Вася... Сухов... как он говорил? Он не может лгать, он сердцем...

Я постарался передать рассказ Сухова точно, насколько мог. Олечка слушала взволнованно, перетягивая на себе вязаный платок. Глаза ее были полузакрыты, в ресницах чувствовались слезы. Когда я кончил, она переспросила, в сильном волнении:

– Так и сказал – «священный лик»?.. «Как на иконах пишется... в себе сокрытый...»?!. Слышишь, папа?.. А я... что и сказала тогда?!.

Среднев пожал плечами.

– Что тут доказывать!.. – сказал он снисходительно усмешливо. – Почему не объяснять не-чудесным... тожеством восприятий?.. Бывают лица, особенно у старцев... скажу даже – лики... о-чень иконописные!.. Не «небесной же моделью» пользуются иконописцы, когда изображают лики?.. Тот же гениальный Рублев – свою Троицу?!.

Слышалось ясно, что Среднев говорит наигранно и не так уже равнодушен к «случаю», как старается показать: в его голосе было раздражение. Да и рассказ мой о «встрече» на Куликовом Поле слушал он очень вдумчиво.

Заинтересованный происшедшим здесь, – тут, может быть, сказалась и привычка к точности и проверке, – я попросил обоих рассказать мне, как они получили крест. Почему так меня это захватило – не могу и себе точно объяснить. Помню, я просил их: «По возможности точней, все, что припомните... иногда и мелкая подробность вскрывает многое». Будто я веду следствие... ну, может быть, машинально вышло, по привычке.

И вот, что рассказала Оля, причем Среднев вносил поправки и пояснения в своем стиле.

XI

Случилось э т о в конце прошлого октября, или – по новому стилю – в первых числах ноября.

Оба помнили, что весь день лил холодный дождь, «с крупой», – как и на Куликовом Поле! – но к вечеру прояснело и захолодало. Тот день оба хорошо помнили: как раз праздновалась 8-ая годовщина «Октября», день был «насыщенный». Загодя объявлялось плакатами и громкоговорителем наступление великой даты: «Всем, всем, всем!!!» Совсюду било в глаза настоятельное предложение «показать высший уровень революционного сознания, достойный Великого Октября», всем решительно принять активное участие в массовой манифестации, с плакатами и знаменами, с оркестром и хором, по всему городу, и присутствовать массово на юбилейном собрании в «Доме Октября», где произнесут речи товарищи-ораторы из Москвы. Ради торжества и для подогрева была объявлена выдача – в самый день празднования – всем совработникам, особого, сверх нормы, «гостинца» пшенной крупы и подсолнечного масла. Горсовет оповещал, что выдача будет производиться из горкооперата, с 7 до 8: «Просят не опаздывать, празднование откроется массовой манифестацией, в 9-30».

Они получили юбилейную выдачу. Оля на манифестации не была, – «была в церкви», – но Среднев ходил с толпой по Посаду, – «часа два грязь месили под ледяным дождем». Уклониться никак нельзя, – бухгалтер! – заметили бы: «здесь всех знают». В 4 часа оба присутствовали на собрании и слушали ораторов из Москвы.

Вернулись домой, усталые, часов около семи. Закрыли ставни и подперли колом калитку, как обычно, хотя проникнуть во двор было нетрудно, с соседнего пустыря. «Как и выйти со двора, – поправил Среднев, – забор на пустырь полуразвален». Оля поставила варить пшенную похлебку. Слышали оба, как в Лавре пробило – 7.

Среднев читал газету. Оля прилегла на диване, жевала корочку. Вдруг – кто-то постучал в ставню, палочкой, – «три раза, раздельно, точно с в о й». Они тревожно переглянулись, как бы спрашивая себя: «Кто это?» К ним заходили редко, больше по праздникам, и всегда днем; т е стучат властно и в ворота. Оля приоткрыла форточку... – постучали как раз в то самое окошко, где форточка! – и негромко спросила: «Кто там?..» Среднев через «сердечко» в ставнях ничего не мог разобрать в черной, как уголь, ночи. На оклик Оли кто-то ответил «приятным голосо́м» – так говорил и Сухов:

– С Куликова Поля.

Обоим им показалось странным, что постучавшийся не спросил, здесь ли такие-то... – знает их! Сердце у Олечки захолонуло, «будто от радости». Она зашептала в комнату: «Папа... с Куликова Поля!.. – и тут же крикнула в форточку – Среднев отметил – «радостно-радушно»: – Пожалуйста... сейчас отворю калитку!..» «И стремительно кинулась к воротам, не накрылась даже», – добавил Среднев.

Небо пылало звездами, такой блеск... – «не видала, кажется, никогда такого». Оля отняла кол, открыла, различила высокую фигуру в монашеской наметке, и – «очевидно, от блеска звезд», – вносил свое объяснение Среднев – лик пришельца показался ей «как бы в сиянии».

– Войдите-войдите, батюшка... – прошептала она, с поклоном, чувствуя, как ликует сердце, и увидала, что отец вышел на крыльцо с лампочкой – посветить.

Хрустело под ногами, от морозца.

Старец одет был бедно, в сермяжной ряске, и на руке лукошко. Помолился на образа Рождества Богородицы и Спаса Нерукотворенного – по преданию из опочивальни Ивана Грозного, – и, «благословив все», сказал:

– Милость Господня вам, чада.

Они склонились. То, что и он склонился, Среднев объяснял тем, что... – «как-то невольно вышло... от торжественных слов, возможно». Он подвинул кресло, молча, как бы предлагая пришельцу сесть, но старец не садился, а вынул из лукошка небольшой медный крест, «блеснувший», благословил им в с е и сказал, «внятно и наставительно»:

– Радуйтеся Б л а г о в е с т и ю. Раб Божий Василий, лесной дозорщик, знакомец и доброхот, обрел сей Крест Господень на Куликовом Поле и волею Господа посылает во знамение Спасения.

– О н, – рассказывала Олечка, – сказал лучше, но я не могла запомнить.

– Проще и... глубже... – поправил Среднев, – и я невольно почувствовал какую-то особенную силу в его словах... затрудняюсь определить... проникновенную, духовную?..

Они стояли «как бы в оцепенении». Старец положил Крест на чистом листе бумаги – Среднев накануне собирался писать письмо и так оставил на письменном столе, – и, показалось, хотел уйти, но Оля стала его просить, сердце в ней все играло:

– Не уходите... побудьте с нами... поужинайте с нами... у нас пшенная похлебка... ночь на дворе... останьтесь, батюшка!..

– Вот именно, про пшенную похлебку... отлично помню!.. – подтвердил Среднев.

С Олей творилось странное. Она залилась слезами и, простирая руки, умоляла, «настойчиво даже», по замечанию Среднева:

– Нет, вы останетесь!.. Мы не можем вас отпустить так... у нас чистая комната, покойного профессора... он был очень верующий, писал о нашей Лавре... с вами нам так легко, светло... столько скорби... мы так несчастны!

– Она была прямо в исступлении, – заметил Среднев.

– Не в исступлении... а я была... так у меня горело сердце, играло в сердце!.. Я была... вот, именно, блаженна!..

Она даже упала на колени. Старец простер руку над ее склоненной головой, она сразу почувствовала успокоение и встала. Старец сказал, помедля, «как бы вслушиваясь в себя»:

– Волею Господа, пребуду до утра зде.

Дальше... – «все было, как в тумане». Среднев ничего не помнил: говорил ли со старцем, сидел ли старец или стоял... – «было это, как миг... будто пропало время».

В этот «миг» Оля стелила постель в кабинете профессора, на клеенчатом диване: взяла все чистое, новое, что нашлось. Лампадок они не теплили, гарного масла не было; но она вспомнила, что получили сегодня подсолнечное масло, и она налила лампадку. И когда затеплила ее – «вот эту самую, голубенькую, в молочных глазках... теперь негасимая она...», – озарило ее сияние и она увидала – Лик. Это был образ Преподобного Сергия. Ее потрясло священным ужасом. До сего дня помнила она сладостное горение сердца и трепетное, от слез, сияние.

В благоговейном и светлом ужасе, тихо вошла она в комнату и, трепетная, склонилась, не смея поднять глаза.

– Что было в моем сердце, этого нельзя высказать... – рассказывала в слезах Оля. – Я уже не сознавала себя, какой была... будто я стала другой, вне обычного-земного... будто – уже не я, а... душа моя... нет, это нельзя словами...

– Она показалась мне радостно-просветленной, будто сияние от нее!.. – определял свое впечатление Среднев.

А с ним ничего особенного не произошло: «только на душе было как-то необычайно легко, уютно». Он предложил старцу поужинать с ними, напиться чаю, но старец «как-то особенно тонко уклонился, не приняв и не отказав»:

– Завтра день недельный, повечеру не вкушают.

Среднев тогда не понял, что значит – «день недельный». Оля после ему сказала, что это значит – «день воскресный».

По его пояснениям, Оля тогда «была где-то, не сознавала себя». Она не шевельнулась, когда Среднев сказал ей поставить в комнату гостя стакан воды и свечу: ему хотелось, «чтобы гостю было удобно и уютно». Он отворил оклеенную

обоями дверь в кабинет профессора – «вот эту самую» – и удивился, «как уютно стало при лампадке». Приглашая старца движением руки перейти в комнату, где приготовлена постель, Среднев – это он помнил – ничего не сказал, «будто так и надо», а лишь почтительно поклонился. Старец – видела Оля через слезы – остановился в дверях, и она услыхала «слово благословения»:

– Завтра отыду рано. Пребудьте с Господом.

И благословил пространно, «будто благословлял все». И затворился.

Оля неслышно плакала. Среднев недоумевал, что с нею. Она прильнула к нему и, в слезах, шептала: «Ах, папа... мне так хорошо, тепло...». И он ответил ей, шепотом, чтобы не нарушить эту «приятную тишину»: «И мне хорошо».

– Было такое чувство... безмятежного покоя... – подтверждал Среднев, – что жалко было его утратить, и я говорил шепотом. Это удивительное чувство психологически понятно, оно называется «воздействием родственной души...» в психологии: волнение Оли сообщилось мне... то есть, ее душевное состояние.

Стараясь не зашуметь, Оля на цыпочках подошла к столу, перекрестилась на светлый Крест и приложилась. Ей казалось, что Крест сияет. Среднев хотел посмотреть, но Оля, страшась, что он возьмет в руки, умоляюще зашептала: «Не тронь, не тронь...» Так Крест и остался до утра, на белом листе бумаги, нетронуто.

Среднев не спал в ту ночь: всякие думы думались, «о жизни». Чувствовал, что не спит и Оля.

Она лежала и плакала неслышно. Эти слезы были для нее «радостными и светлыми». Ей «все вдруг осветилось, как в откровении». Ей открылось, что – все – живое, все – есть: «будто пропало время, не стало прошлого, а все – есть!» Для нее стало явным, что покойная мама – с нею, и Шура, мичман, утопленный в море, в Гельсингфорсе, единственный брат у ней, – жив, и – с нею; и все, что было в ее жизни, и все, что она помнила из книг, из прошлого, далекого – «все родное наше», – есть, и – с нею; и Куликово Поле, откуда явился Крест, – здесь, и – в ней! Не отсвет его в истории, а самая его живая сущность, живая явь. Она страшилась, что сейчас забудет это чудесное чувство, что это «дано на миг»... боялась шевельнуться, испугать мыслями... – но «все становилось ярче... светилось, жило...»

Ночи она не видела. В ставнях рассвет...

Она хотела мне объяснить, как она чувствовала тогда, но не могла объяснить словами. И прочла на память из ап. Павла к Римлянам:

– ...и потому, живем ли, или умираем, всегда Господни.

– Понимаете, все живет! У Господа ничто не умирает, а все – есть! Нет утрат... всегда, все живет.

Я не понимал.

XII

И вот утро. Заскрежетал будильник – 6. Среднев вспомнил – «завтра отыду рано», и осторожно постучал в кабинет профессора... – ? Молчание. Оля сказала громко: «Войди – увидишь: он ушел». Но он не мог уйти! Оля сказала, уверенно:

– Как ты не понимаешь, папа... это же было явление Святого!..

Среднев не понимал. Он вошел в комнату – постель нетронута, лампадка догорала под нагаром. Оля взяла отца за руку и показала на образ Преподобного:

– Ты ви-дишь?!. И – не веришь?!.

Среднев ничего не видел, не мог поверить: для него это был – абсурд.

Меня этот странный случай затронул двойственно: как следователя – загадочностью, которую надо разъяснить расследованием, и как человека – явлением, близким к чуду, против чего восставало здравое чувство привычной реальности. Оля, видимо, это понимала: она пытливо-тревожно вглядывалась в меня, спрашивая как будто: «И вы, как папа?..» Не вера моя в чудо была нужна ей, не укрепление этим ее веры: сама она крепко верила. Ей была нужна нравственная моя поддержка: рассеять сомнения отца. Мне стало жаль ее, и эта жалость заставила меня отнестись к странному случаю особенно чутко и осмотрительно.

И я приступил к расследованию.

Только один был выход из кабинета профессора – через их комнату. Они не спали и – не видели ухода. Так и подтверждали оба. Дверь из передней в сени Оля не запирала, это облегчало уход бесшумный; но парадная дверь была на щеколде, падавшей в пробой, – это могло, на первый взгляд, поразить: ушел, а дверь оказалась на щеколде! Среднев объяснял: они оба могли на миг забыться, и он тихо прошел в парадное; а то, что за ним дверь оказалась снова запертой, легко объяснить. Случай со щеколдой – не их изобретение, это делают все, когда надо уйти и замкнуть дверь, если дома кто-нибудь остается, а его не хотят будить.

– Мы всегда это делаем. Когда Оля уходит, а я еще сплю, она ставит щеколду стойком, и...

Он повел меня в сени и показал:

– Смотрите... поднятая щеколда держится довольно туго... ставлю ее чуть наклонно, выхожу, захлопываю сильно

дверь... – и щеколда падает в пробой! – сказал он уже за дверью. – Какое же объяснение иначе?!.

Я на это ничего не сказал, но подумал, что тут явная натяжка: «гость», выходит, уж слишком предупредителен: – не хочет беспокоить спящих, оберегает их от воров и... догадывается повторить как раз их уловку со щеколдой, которая туговато держится!..

Оля упорно повторяла:

– Это было явление!.. Он ушел, для него нет преград.

Из дальнейшего рассказа о том утре...

Среднев открыл парадное. В ночь навалило снегу, но никаких следов не было. И это было объяснимо: следы завалило снегом. Оля показала на крыльцо:

– Завалило снегом?.. Но раз отворялась дверь, она бы загребла снег, а снег лежит совершенно ровно, нетронуто!..

Среднев и тут объяснял логично: значит, ушел до снега. Полной вероятности, конечно, не было, но, конечно, мог уйти и до снега... мог пройти мимо них неслышно... можно было и заставить упасть щеколду. Кол подпирал калитку, как было с вечера, но и тут... можно было пролезть в малинник – забор развален.

Доводы Среднева были скользки, но нельзя было возразить неопровержимо, что это невозможно: тут не страдала логика. Для Среднева – чудо было гораздо невозможней. Оля смотрела на отца с грустной, жалеющей улыбкой, почти болезненной, но могла защищать свое, единственно, только верой. Среднев веры ее не разбивал, признавал, что сообщенное мной о встрече на Куликовом Поле, «еще больше усиливает впечатление от старца: это, несомненно, достойнейший человек... может быть, болеющий страданиями народа, инок высокой жизни...» Пробовал объяснить и мотив «явления»:

– Несомненно, это человек тончайшей душевной организации, большой психолог. Эта находка Васи!.. Только вообразите: крест, с Куликова Поля!.. Какой же си-мвол!.. Этим крестом можно укрепить падающих духом, влить надежду, что... «ад отверзется»!.. Эффект, психологически, совершенно исключительный. Заметьте тожественность его слов Васе и нам: «Господь посылает благовестие»! Пять веков назад, с благословения Преподобного Сергия, русский великий князь разгромил Мамая, потряс татарщину, тьму... и вот, голос от Куликова Поля: уповайте! – И чудо повторится, падет иго наистрашнейшее, Крест победит его!.. И он принимает на себя миссию, идет к нам, в вотчину Преподобного, откуда вторично и воссияет свет!..

– Не вы-думал же он Куликово Поле!.. – воскликнула Олечка – Это же бы-ло... и Вася думал о нас, о Троице!.. Как все надумано у тебя!..

Среднев чуть смутился, но продолжал свою мысль:

– Согласен, неясности есть... но!.. – он развел ручками, ища решения. – Я искренно растроган, я преклоняюсь... за идею!.. готов руку поцеловать у этого светлого пришельца... И этот уход таинственный!.. Какое тончайшее воздействие!.. Обвеять тайной... это же почти граничит с чудом! Если такое... «явление...» бросить в массы!.. Но кто поверит нам, интеллигентам?.. Вы знаете, как народ к нам... Оля поведала лишь очень немногим, самым верным... нашего же поля, но этого недостаточно. Надо на площадях кричать, надо объявить Крест!.. И она хотела принять этот Крест, бесстрашно!.. Я умолил ее не делать этого: это повело бы лишь к великим бедствиям...»

Эти последние слова, о «принятии Креста», Среднев мне высказал наедине: «следствие» мое продолжалось не один день.

На доводы отца об «идее пришельца» Оля воскликнула:

– Но это ты сам выдумал «идею» и приписываешь ее... кому?!. И принимаешь это за доказательство! Где же твоя излюбленная «логика»?!. Эта «идея» – обычный революционный прием!.. Как это ме-лко... в связи со всем!.. Ты путаешься в противоречиях, бедный папа!..

Нет, чуда Среднев принять не мог. Я... почти верил. Я помню смуту во мне... и необъяснимую мне самому уверенность, что я – близ чуда. Но я хотел – ощупать. Опытом следователя я чувствовал – по тону голоса, по глазам чистой девушки, по растерянности и шатким доводам Среднева, по всему материалу «дела», – что тут необъяснимое.

– И вы не верите... – с жалеющей улыбкой, болезненной, говорила Оля.

Я сказал, что искренно хочу верить, что «не могу не верить, смотря на вас», что никогда за всю мою службу следователем я не испытывал такого явного участия в жизни «благой силы», что все слова и действия «старца» так поражают неземной красотой и... простотой, таким благоговением, что я испытываю чувство священного – испытываю впервые в моей жизни. Говоря так, не утешить хотел я эту чистую девушку, а искренно слышал в себе голос: «Да, тут – чудо». Но не высказывал этого категорично: мне – это я тоже чувствовал – чего-то не хватало. Теперь я вспоминаю ясно, что моей почти-вере помогла эта девушка: своим порывом веры, светом в ее глазах, святой чистотою в них она заставляла верить. Помню, думал тогда, любуясь ею: «Какая она несовременная: извечное что-то в ней, за-земное... такие были христианские мученицы-девы».

Наши обмены мнений продолжались дня три-четыре, нами овладевало, помню, и раздражение, и томление неразрешимости. Среднев заметно волновался. Я был во власти как бы навязчивой идеи, в таком нервном подъеме-возбуждении, что потерял сон. С утра тянуло меня в голубой домик, казавшийся мне теперь таинственным. Не раз я молитвенно взывал о... чуде. Да, я страстно хотел чуда, я ждал его. В моем подсознании уже само творилось оно, чудо! Тогда я не сознавал этого: творилось оно неощутимо.

– Ну, хорошо... допустим: было явление, оттуда. Допустим, гипотетически... – будто сдавался Среднев. – Но!.. Не могу я понять, почему – у нас?!. Я, конечно, не голый атеист, не нигилист... этот путь ныне уже пройден интеллигенцией, особенно после книги Джемса «Многообразие религиозного опыта», меня чуть ли не оглушившей. Я уважаю людей веры... я лишь скептик, я... ну, я не знаю, кто я!.. Но, почему я – я! – удосто-ен такого... «высокого внимания»?!.

– Но почему непременно вы упираете, что это вы, вы удостоены... «высокого внимания»?!. – невольно вырвалось у меня, и я посмотрел на Олю. – Почему не допустить, что вы тут... только посредник?.. для чего-то... более важного?..

Среднев заметил мой взгляд и совсем смутился.

– Вы правы... – сказал он упавшим голосом, – я неудачно выразился. Я не обольщаюсь, что я... нет, говорю совершенно откровенно, смиренно: я недостоин, я... – он не мог найти слова и развел руками.

– Па-па, не укрывайся же за слова!.. – болью и нежностью вырвалось у Оли. – Ищет твоя душа, Бо-га ищет!.. Но ты боишься, что вдруг все твое и рухнет, чем ты жил!.. Ну, а все, чем ты жил... разве уже не рухнуло?!. Что у тебя осталось?.. Все твои «идеалы» рухнули!.. Чем же жить-то теперь тебе?!. Не может рушиться только вечное! А ты не бойся, ты не... – она не могла больше, заплакала.

Этот беспомощный ее плач переплеснул мне сердце. Оно уже не могло таить, не могло удержать того, что в нем копилось, – и это выплеснулось: что-то блеснуло мне, как вдохновенье, откровенье. По мне пробежало дрожью... и страх, и радость. Я уже знал. Знал, что таившееся во мне, неясное... сейчас вот станет ясным, раскроется. В мыслях... – или в душе?.. – светилось и просилось определиться и стать реальностью, было в каком-то взвешивании, в некоей неустойчивости – «Да?.. Нет?..» Светилось одно слово, как живое, – точнее не могу выразить. Это слово было – суббота. Взвешивалось оно, качалось во мне: «Да?.. Нет?..» И я уже знал, что – «да». Как бы по вдохновению, слушаясь голоса инстинкта, не рассуждая... а также и по привычке к протоколу, я поставил вопрос о «сроке»: «когда это

произошло?» Стараясь подавить волненье, я тут же восстановил, для них: встреча Васи Сухова со старцем на Куликовом Поле произошла около 3 ч. пополудни, в канун памяти великомученика Димитрия Солунского, в субботу, 25 октября, – в родительскую субботу, Димитриевскую. Это бесспорно-точно: Сухов возвращался от дочери, со ст. Птань, где его угостили пирогом с кашей, и он вез кусок пирога внукам, потому что в тех местах этот день доселе очень чтут и пекут поминовенные пироги... пекли и в это время всеобщего оскудения. Я восстановил для них с точностью, когда произошло явление – там. И знал, с неменьшей же точностью, когда произошло явление – здесь.

Оля, смертельно бледная, вскрикнула:

– Да?!. Вы точно помните?.. В родительскую?!. Я... я в церкви поминала... Папа... слушай... па-па!.. – задыхаясь, едва выговорила она, держась за сердце, и показала к письменному столу, – там... в продуктовой... записано... и в дневнике у меня... и в твоей!..

И выбежала из комнаты.

Среднев глядел на меня растерянно, почти в испуге, и, вдруг, что-то поняв, судорожно рванул ящик стола... но это был стол профессора. Бросился к своему столу, выхватил сальную тетрадку, быстро перелистал, ткнул пальцем... Тут вбежала Оля с клеенчатой тетрадью. Среднев – руки его тряслись – прочел прерывисто, задыхаясь: «...200 граммов подсолнечного масла... 300 граммов пшена...», штемпель... 7 ноября...»

– Но это... 7 ноября!.. – крикнул он в раздражении не то в досаде и растерянно посмотрел вокруг.

– Да!.. 25 октября, по-церковному!.. В родительскую субботу!.. В церкви были тогда, 7 ноября... поминала... ты ходил по Посаду!.. – выкрикивала, задыхаясь, Оля. – В ту же субботу, как там, на Куликовом Поле!.. В тот же вечер... больше четырехсот верст отсюда!.. В тот же вечер!.. Па-па!..

Она упала бы, если бы я не поддержал ее, почти потерявшую сознание. Среднев смотрел, бледный, оглушенный, губы его сводило, лицо перекосилось, будто он вот заплачет. Он едва выговорил:

– В тот же... вечер...

Он опустился на подставленный мною стул и закрыл руками лицо.

Оля стояла над ним, схватившись за грудь, и смотрела молча, понимая, что с ним сейчас совершается важнейшее в его жизни. Среднева сотрясало спазмами. Подобное «разряжение» я не раз видал в моей практике следователя, когда душа преступника не в силах уже держать давившее ее бремя и – разряжалась, ломая страх. Но тут было сложней неизмеримо: тут рушилось все привычное, рвалась

основа и замещалась – чем?.. На это ответить невозможно: это вне наших измерений.

Оля смотрела напряженно и выжидательно, и это было такое нежное, почти материнское душевное движение – взгляд сердца. Я... не был потрясен: я был светло-спокоен, светло-доволен... – дивное чувство полноты. Видимо, был уже подготовлен, нес в «подсознательном» бесспорность чуда. Мелькавшие в мыслях две субботы – слились теперь в одну, так поразительно совпали, такие разные! Два празднования: там – и здесь, Неба – и земли. Света – и тьмы. И как наглядно показано. В ту минуту я не высказывался: я светло держал в сердце. Уверовал ли я?.. Кто скажет о сокровеннейшем? Кто дерзнет сказать о себе, как и когда уверовал?! Это держит потайно сердце.

Я тогда испытал впервые, что такое, когда ликует сердце. Несказанное чувство переполнения, небывалой и вдохновенной радостности, до сладостной боли в сердце, почти физической. Знаю определенно одно только: чувство освобождения. Все томившее вдруг пропало, во мне засияла радостность, я чувствовал радостную силу и светлую-светлую свободу – именно, ликованье, упованье: ну, ничего не страшно, все ясно, все чудесно, все предусмотрено, все – ведется... и все – так надо. И со всем этим – страстная, радостная воля к жизни – полное обновление.

Было и еще чувство, но не столь высокого порядка: чувство профессионального торжества: раскрыл! Будто и неожиданно? Нет, я внутренне уже ждал «самого важного». И оно раскрылось: из Сергиева Посада я уехал совсем другим, с возникшей во мне основой, на которой я должен строить «самое важное». Это – бесспорный факт.

Чувство профессионального торжества... Но я знал, что это не я одержал победу, а Бог помог мне в моей победе: я одержал ее над собой, над пустотой в себе. Эту победу определить нельзя: это необъяснимо в человеке, как недоступны сознанию величайшие миги жизни – рождение и смерть. Тут было – возрождение. Это – невидимая победа-тайна.

А видимая победа была до того наглядна, что оспорить ее теперь было невозможно: никакими увертками «логики», никакими доводами рассудка нельзя было опорочить «юридического акта». Мое предварительное заявление о дне и часе явления на Куликовом Поле и почти одночасно здесь, в Посаде, было подтверждено документально: записями в дневнике Оли и в грязной тетрадке Среднева о... подсолнечном масле и пшене! Ка-кими же серенькими мелочами – вот, что разительно! Сколько же мне открылось в этом!.. Господи, Красота какая во – всем Твоем!..

Со Средневым свершалось сложнейшее и, конечно, непостижимое для него пока. Он отнял от лица руки,

окинул все стыдливо, смущенно, радостно, новым каким-то взглядом... смазал, совсем по-детски, слезы, наполнившие глаза его, и прошептал облегченным вздохом, как истомленный путник, желанный покой обретший:

– Го-споди!..

Оля, в слезах, смотрела на него моляще-нежно.

В Посаде я пробыл тогда недели две, не мог, не хотел уехать. Много нами тогда переговорилось и передумалось...

Особенно поражало нас в нами воссозданном: «суббота 7 ноября», сомкнувшаяся со «святой субботой», ею закрытая. Оля видела в этом «великое знамение обетования», и мы принимали это, как и она. Как же не откровение?!. не благовестие?!. То, давнее, благовестие – Преподобного Сергия Великому Князю Московскому Димитрию Ивановичу – и через него всей Руси Православной – «ты одо-леешь!» – вернулось и – подтверждается. И теперь – ничего не страшно.

Мы переменялись явно, мы этого теперь хотели. Мы ясно сознавали, что это для нас начало только, но какое прекрасное начало! Мы понимали, что впереди – огромное богатство, которого едва коснулись. Но это личное, маленькое наше: тогда, в беседах, нам открывалось все наше, родное, – общее – вневременное и временное, небесное и земное... – какие упованья!.. Не для нас же, маловеров, явлено было чудо... И раньше, до сего, идеалисты, дети родной культуры, мы теперь обрели верную основу, таинственно нам дарованную веру. И поняли, оба поняли, что идеалы наши питались ее светом. Во имя чего? Ради чего? Для кого?

Какие были дивные вечера тогда, какие звездные были ночи!.. Какую связанность нашу чувствовали мы со всем!.. Это был воистину творческий подъем.

И стало так понятно, почему в темную годину, когда разверзлась бездна, пытливые испуганные души притекали в эту тихую вотчину, под эти розовые стены Лавры... чего искали.

В светлой грезе я покидал Посад. Лавра светила мне тихим светом, звала вернуться. И я вернулся. И до зимы приезжал не раз.

Приехал, как обещал, перед Рождеством. Все кругом было чисто, бело – и розовая над снегом Лавра, «свеча пасхальная». Шагая по сугробам, добрел я до глухой уздечки, постучался в занесенный снегом милый голубой домик... – никто не вышел. Соседи таинственно пошептали мне, что господа спешно уехали куда-то...

Очевидно, так надо было.

Январь-февраль, 1939. – Февраль-март, 1947
Париж

РАССКАЗЫ
О
РОССИИ
ЗАРУБЕЖНОЙ

ВЪЕЗД В ПАРИЖ

После долгих хлопот и переписки, – сколько ушло на марки, а каждая копейка выбивалась сердцем, – после адской, до дурноты, работы, когда каждая обруха угля подгоняла: «ну же, еще немного!» – Бич-Бураев, – впрочем, «Бич» он давно откинул, как усмешку, – славного когда-то рода, бывший студент, бывший офицер, забойщик, теперь бродяга, добрался до Парижа.

Он вступил в Париж без узелка, походно, во всем, что на себе осталось: в черкеске, порванной боями, в рыжей кубанке с золотистым верхом, в побитых крагах. Что было под черкеской – никто не видел. А было там: германская тужурка, из бумажной ткани, грубая английская фуфайка на голом теле, – истлевшую рубаху он бросил в шахте, – пробитая ключица, замученное сердце. Дорогое, что вывез из боев, – американский чемоданчик с несессером, память убитого на Перекопе друга, – пришлось оставить инженеру в шахтах, болгарину, как выкуп: а то не выпускали до конца контракта.

И вот, с сорока франками в кармане, он вышел с Gare de l'Est на Boulevard de Strasbourg.

Час был ранний. Париж сиял роскошным утром, апрельским, теплым; рокотал невнятно, плескался, умывался. Серный запах угля от вокзала заливала ласковая свежесть весны зеленой, нежной: тонкими духами пахло; от распускавшихся деревьев.

Ошеломленный светом и движеньем, великолепием проспекта, широкого, далекого, на версты, Бураев задержался на подъезде. В глазах струилось.

– Вот какой, Париж!..

Две стены домов громадных дымной великой шахтой уходили к дали. Светлая, направо, в солнце; налево – темная, прохладная, в тенях лиловых. А между ними, – двумя

волнами, легкими, сквозными, зеленоватым дымом, – акации великого проспекта начинали распускаться, желтели-зеленели пухом. В самой дали дымило и блистало, громоздилось: дворец ли, Ангел ли Победы на колонне, башня?..

Бураев помнил: «с вокзала прямо в métro под землю». Он прочитал – «Метро». Но на земле так было светло, солнечно-весенне, бойко, так манил простор проспекта, – а слева церковь, черная, старинная, разная, как игрушка, в колокольнях, в стрелках, из-за угла глядела, – St-Laurent, – так захватило новым, что он не захотел под землю: натомился в шахтах. Он осмотрелся и пошел, довольный, возбужденный, по смытому асфальту, еще дымившемуся теплым паром, солнцем. В акациях кричали воробьи, весенние, возились под деревьями в решетках, путались в ногах бесстрашно.

– Чудесно! Какой... Париж!

Столько было в этом гордом слове, весенне-звучном!

Встречными струями текли такси, трамваи, автобусы; мальчишки в них юлили – мчали ящики на трехколесках, фартуки мотались белым, синим; громыхали грузно грузовики; громадные подводы шли за богатырскими конями-чудом, в сияньи меди, в бляхах, в звоне, в грохоте и дрожи мостовой, под дребезжанье стекол. Крылатые ажаны-франты, черноусые румяные красавцы, властно грозили белой скалкой, давали знаки, как дирижеры этого оркестра-гона. Блеклыми огнями хрустально золотились, зеленели, розово светились на углах карнизы синема, – забыли потушить их, что ли, или на огонь так щедры? Влажные цветы, в корзинах, на столиках, с тележек, – сияли утром, розовой гвоздикой, золотым нарциссом, снежным, бархатной фиалкой сладкой, ветками сирени, давно забытой, говорившей сердцу. Так все было светло, так упоительно ласкало, после черной шахты, после годов метанья. В глазах мелькало, звало.

Бураев натыкался на прохожих.

– A... pardon!..

То и дело слышал:

– Tiens, un cosaque!..

– Ça doit être numéro celui-là!

– Ah, quel beau gaillard!..

Бураев знал язык не хуже этих, понимал все шутки, все усмешки:

– Ce garçon-ci en a vu de toutes les couleurs!

– Ces cosaques-vagabonds qui battent nos pavés!..

Шли навстречу, засматривали сбоку, снизу, – он был высокой, – текли, мелькали. Он проявлялся на витринах, на зеркальцах – полосках. Прыгала его кубанка по шелкам, по тортам; потертая его черкеска проплывала по эталяжам

кружев, цветов, сверканий, мазала полами. Струились мимо подкрашенные губы, подведенные глаза, улыбки, зубки, – он их давно не видел! – розовые лица в пудре, открытые апрелю шеи, ямочки на подбородках, щечках, в смехе; бойкие глаза модисток, каблучки, общелкнутые бедра, подолы, подвязки, раздетые чулочным шелком ноги, картонки в пляске, котелки, усы, солдаты голубые, молодчики у лавок; нежного салата груды, поленья-хлебы, подмостки с пустоглазыми сырами, с россыпью яиц, ракушек, розовых креветок; пахнущие морем рыбы в травке, румяные лангусты, апельсины, финики, ряды куриных лапок, лимонно-желтых, мяса́ на кружевной бумаге, в бантах; сырки, сардинки, мандарины, фиги, бутылки всякие... – в глазах рябило. За зеркалами стен – гостиные с коврами, камины, канделябры, лампы. Девственные дамы полулежали на кушетках, держали чашечки, отставив пальчик, устремивши взгляд на кончик туфли, на потолок, на плечико соседки; стояли томно у камина, откинув шейку, разглядывая на плече повязку, закинув руки, вытянув в шикарном жесте, – все – в прозрачных платьях, в сквозных рубашечках, все – с голыми плечами, голыми ногами, голыми – чем можно, показывали бедра, груди, комбинезоны, икры, мягкие корсеты, ляжки, – ласкали, привлекали. Спальни манили тишиной уюта, сладкой силой, мощностью кровати, ее раздольем, приглашали возлечь на шелке, на кружевах, на плюше розовато-серебристом; светились полусветом, голубоватой, розоватой тайной...

Он прошел и спальни, и салоны; прошагал коврами, кружевами, через фарфор, хрусталь и бронзу, не зацепив, не смяв, бесшумно. Рядами возносились на хрустальных полках бисквиты, торты, пирожки, пти-фуры, Pain d'épice'ы – бурые ковриги, громоздились штабелями балок, дразнили миндалями, свежим срезом. Уголь, дурманный уголь, покоился в хрустальных вазах, поленья отражались зеркалами, золото сияло по стенам, давило в стекла. Там и там, куда ни глянешь, все искушало сладостью соблазна. Сто́лики кафе сияли мрамором и медью, флаконами с цветным и сладким. Лакеи, с салфетками у локтя, у бедра, дремали на углах, на солнце, отставив ногу, – набирались силы. Ряды и веера газет, журналов, – кричали со всего земного шара. По стенам, на крышах, орали вывески-плакаты. Бураев хорошо запомнил: стену из кирпича, в потеках копоти, плакат под крышу, – по голубому полю блудная рука совала пальцем, книзу, – Hôtel Brady. Прочел и усмехнулся: «верно, броди... как раз!»

Шел, как на параде: все на него смотрели. Мальчишка, разукрашенный шнурками, с пачкой писем, шел перед ним на пятках, глазел, как на слона, шептал протяжно:

– Oho... Quel type!..

Забегал сбоку, любовался сзаду.

Бураев был конфузлив. Общее вниманье его смущало, возбуждало, злило. Сжав губы, он шагал и думал: «да, мы теперь другие, смешные, досадные... бродяги, граним панели! а когда-то были нужны, желанны...»

В узких зеркальцах-простенках он видел мельком стройную свою фигуру, с газырями, с тонкой талией, странную такую здесь кубанку над бледным лбом, размашистые полы черкески вольной, серое лицо с поджатыми губами, в резких складках, круглые глаза, степные, усталые, с накальцем от ночей бессонных, – удивился, какие они стали, запавшие, совсем другие! – острый нос, с горбинкой, ставший еще длиннее, проваленные щеки, с резкими чертами от ноздрей к губам, горькими чертами бездорожья, серые от угля, небритые, – вид не по месту дикий. Бросилось в глаза, как смотрит полицейский, поднявши под крылаткой плечи, руки в бедра, румяный, сытый.

– На, гляди... со-юзник! – бросил он сквозь зубы, смотря в упор. – Документик спросишь... со-юзник?..

Полицейский отвел глаза, зевнул. Бураев усмехнулся. В нем забилась гордость, сознание несдавшей силы. Остановился на проезде, оглянулся...

Над нежной зеленью деревьев, далеко, на дымно-голубом просторе, на гребешке фронтона «Gare de l'Est», над полукружием розетки, грузно восседала темная фигура, в короне, с жезлом в одной руке, с ключом в другой, прямая, крепкая. Он что-то помнил?.. что-то означало это... что-то – Страсбург?.. Он долго на нее смотрел, старался вспомнить. Она глядела в шахту домов-громад, в пролет Парижа, в дымное мерцанье дали. Gare de l'Est! Он вспомнил.

«Страсбург на востоке... о Востоке помни!» Вон что!.. И я – с Востока, с «Восточного Вокзала», с Gare de l'Est!.. «Помни – о Востоке!..»

«Помнили *они*... – подумал он. – Свое вернули, живут. Теперь не надо помнить... о Востоке. Победоносно смотрит, спокойная».

Нестерпимо слепили стекла. Над пламенем она сидела.

Бураев отвернулся, пошел.

Медленно ступая, шаг за шагом, как на прогулке, шел перед ним почтенный господин, покойный, элегантный, в котелке весеннем, новом, в свежем пальто, в обтяжку, в палевых перчатках, с тростью в серебряных потеках. Приостановился, поглядел в деревья, на воробьев, вертевшихся в решетке, вынул из бумажки крошки, стал бросать, залюбовался. Бураев тоже приостановился, вспомнив, как дед когда-то, такой же элегантный, надушенный, в серебряной бородке, в шарфике, в пенсне, такъ же вот гулял неспешно

по Невскому Проспекту, в Летнем Саду сидел и так же наблюдал воробушков, кидал им крошки. Так же зеленели первые листочки, там. И захотелось говорить, спросить, услышать голос. Он подошел учтиво, взял под кубанку:

– Простите, сударь...

Он заметил, как выпрямился парижанин, окинул взглядом, насторожился... но сказал вежливо и даже мягко:

– Пожалуйста, что вам угодно?..

Бураев вежливо склонился:

– Скажите... эта статуя на фронтоне вокзала, над полурозеткой... статуя Страсбурга?..

Румяно-серебристое лицо француза осветилось горделивой лаской:

– Да, сударь, это статуя Страсбурга! Ключ, жезл... символ хозяйской власти. Страсбург снова наш, и навсегда! – сказал он, ткнув в решетку тростью. – Простите, вы... поляк? или, судя по платью... казак?.. – он чуть пожал плечами. – Но говорите, как настоящий парижанин?..

Бураева хлестнуло; полыхнуло в щеки. Он выпрямился, усмехнулся.

– Простите... племени «cosaque» нет, сударь. Есть – русский. Правда, теперь..! Но я имею честь быть русским! – сказал он гордо. – А это – казачья форма императорской российской армии, которая дралась в Восточной Пруссии, в сентябрьские дни четырнадцатого года... в *те* дни... Мира с врагом не заключала... осталась верной чести!.. – прибавил он с нажимом.

Почтенный господин замялся.

– Простите... я хотел сказать... вы так прекрасно..?

Бураев поклонился, извинился. Пошел смущенный.

«Чертовы какие нервы... все цепляет! Любезный человек, своим гордится... и имеет право. «По-ляк!..» Не ожидал, чудак...»

Бураев шел, оглядывая силу, красоту, богатство.

«Нравственность народов... У стихии – какая нравственность! А мы-то верили!.. За науку платят. Будем знать».

Крылатый полицейский смотрел от фонаря, переминался. Но смотрел лениво, равнодушно.

«Все забыто, – раздумывал Бураев, чувствуя, как поныват под ключицей, трет фуфайкой. – Да... если бы не ринулись *тогда*... было бы совсем другое. И я бы не приехал так... – скользнул он по обшарпанной черкеске, – не пришлось бы молить о визе, представлять фиктивные бумажки, что обеспечена работа... бегать волком, с гумбиненским шрамом!..»

– Мсье, цветы! последние мимозы, мсье?.. Два франка!

Вертлявая, худая, чернявая девица совала в лицо Бураеву пучок мимозы нежной, в пушинках золотистых. Неуловимо-тонкий запах, далекий, с детства, вспомнился ему: так, бывало, сладковато пахло свежей булкой, теплым молоком... мылом каким-то детским? Так и вспорхнуло сердце, до слез смутило. Живые карие глаза девицы играли лаской, милое лицо – улыбкой. Смотрела – будто подарить хотела. Он остановился, но... отказался, не найдя слова, ссутулился, пожал плечами, весь смутился.

– Для вас за франк, мсье!.. – услышал он поспешный оклик и уловил в нем что-то, нужное ему такое, – ласку?

Стало стыдно, будто и ее обидел, убегает. Не оглянулся. И стало жутко-стыдно, когда подумал, что рубахи нет на теле. Цветы... Если бы заглянула под черкеску. А если бы все знала..!

Теперь он слышал, как оглушительно гремели по асфальту «броненосцы», подбитые шипами английские его штиблеты. Мерили грязи Приднепровья, солончаки Сиваша, Перекоп, стучали по плитам Константинополя, по галлиполийским камням, по горам болгарским. Отдохнули в шахтах, сменились постолами, под нарами дремали, в земляной казарме. Теперь гуляют – chic parisien! Видел их порыжевшие носы, загнувшиеся кверху. Чувствовал, как жмет рубец заплатки, жжет тряпками мозоли, зашибы в шахте. Представил свою «изнанку»: кальсоны в дырьях, ползут, левая оторвалась дорогой, крутится в коленке, идти неловко. Что за подлость! Куда-нибудь зайти, поправить?

Но шел он твердо. Черно-оранжевая ленточка затерлась, угасала, но укрепляла оправданием: было! Сорок франков – на «весь Париж»! Идет к такому же, как он, полковнику... сторожем гаража где-то, на Montrouge, у черта на куличках, через весь Париж.

«Молодец полковник! Шутит: Mont-Blanc-то подменил я, брат, Mont-Rouge'ем!» Остряк.

Сторожем гаража... И сразу – померк Париж, и завертелось мутью. Не думая – зачем, остановился у витрины. Высились варенья банки, стеклянная гора варенья. Он посмотрел на стекла, и через все глядело на него лицо, другое, поднятое на дорогах, в чернеющих еще морщинках, с шахты, в едкой пыли, – жесткое лицо шахтера. Он посмотрел на пальцы. С чернеющими нитями на сгибах, в копоти, прорвавшей кожу, в каемках под ногтями, по овалам, в сизо-багровых сшибах... И все же – родовые были руки, красивой формы, как новые перчатки.

«Дикое лицо какое! – подумал он, встряхнулся и пошел быстрее. – А, плевать. Все видел, ничего теперь не страшно».

«Взято хорошо!» – подумал он, смотря туда, сюда, в прорез великого проспекта. – Страсбург, Победа, даль»...

Поглядел назад.

Темная фигура едва виднелась на фронтоне; сидела, как на костре: под ней пылало.

Декабрь, 1925 г.
Париж

ПЕСНЯ

Поезд métro выкатился из-под земли на волю, и секущая гремь железа сменилась глубоким гулом. Пошла эстакада над Парижем.

Дождливо, мутно смотрел Париж: тонкие его дали скрылись, мыльно мутнелась Сена; черные голые деревья тонули рядами в мути, смутно выпучивался купол, тяжелый, темный, похожий на Исакий; дымным гвоздем под небо высилась башня Эйфель, тянулась в тучи. В косых полосах дождя грязно чернели крыши, бежали глухие стены, висли на них плакаты, – пухлый, голый, смеющийся во весь рот мальчишка, зеленая, с дом, бутылка, рожа в заломленном цилиндре, сующая в рот бисквиты, танцовщица на ребре бокала, – кричали, пропадали. Черной водой струились внизу асфальты, стегало по ним ливнем; бежали зонты и шляпы; подпрыгивали, как заводные, автомобили в брызгах, наскакивали, заминались. Тучи несло по крышам, хлестало, поливало. И вдруг – прорывалось солнце, струилось в лужах, дрожало на дали искрой, сияло рельсом, стеклом, автомобилем, озябшими цветами на тележке, – и пропадало в ливне. Шла обычная мартовская игра, – ветра, дождя и солнца, – капризная «giboulée de mars».

Но и в этот ненастный день Париж был тот же Париж – живой, торопливый в меру, навеки заведенный. В эту мартовскую игру он казался даже еще живее. Гуще клубились трубы. В черных затекших окнах несрочно вспыхивали огни и гасли. Брызгая бешено на лужах, гнали вовсю шоферы, крепче защелкивались дверцы, страшно ревели автобусы. Все спешило, сталкивалось зонтами, прихватывало шляпы, прыгало-шлепало по лужам, махало равнодушному шоферу, совалось в подворотни, отряхивалось, пережидало. Ветер гудел столбами, гремел железом, срывал и гонял шляпы;

ливень порол по лужам, обрывался, – сверкало солнцем. Опять бежали, толкались, извинялись:

– Эта ужасная погода!..

Было уже за полдень – урочный, священный час, когда целый Париж спешит по домам обедать.

– Поезд вкатил под своды «La-Môtte-Picquet», выбросил кучи люда, забрал другие и покатился дальше. Толпа запрудила коридоры, топталась, порывалась, сыпалась чернотою с лестниц, крутилась на площадках. «La-Motte-Picquet» – большая остановка; встречаются эстакада и подземка, всегда здесь людно. Но в эту ненастную погоду, когда подгоняет ливнем, здесь была подлинная давка, встреча людских потоков: один катился от «Étoile», другой, широкий, – от «Opéra», с подземки и третий – с воли. Сливались они к площадке вровень с асфальтом улиц. Сверху гремела эстакада, с улиц несло гудками, хлестало из-за решетки ливнем. Мутные сваи эстакады темнели коридóром, тянулись пустой аллеей, пропадали. Было видно, как прятались под столбами люди, вытягивали шеи, выжидали.

И вот, прорывая гулы, гудки и ливень, где-то запели песню. Так это странно было, так нежданно.

Толпа теснилась, давила, заминалась. Песня?..

Глухо гремела эстакада, катила чугунными шарами, – будто играли в кегли, – ревели гудки моторов, стегало ливнем. Но слабая песня пробивалась. Тонко наигрывала флейта, звенела мандолина, тянула виолончель надрывно, ворчали басы гармоньи, и всех сливала, нежно ласкалась песня, – где-то близко.

Это бродячие артисты пели. Пели они под эстакадой за решеткой: сбило их сюда ливнем.

Толпа валила, спускалась, поднималась, но в ней пробегали струйки, текли поперек теченья, лились к решетке, глядели через прутья. Толпа ворчала, слышались выкрики спешивших:

– Да проходите, чего вы стали?..

– Позвольте... куда вы прете?!.

Валились на решетку, напирали. Глядели через спины.

Конечно, – бродячие артисты, обычный квартет предместий, бистро, трактиров, скромных кафе и нешумных улиц.

Но что же они пели?

Свое, понятно, которое всем известно. Они раздавали ноты, приглашали прохожих – пойте. Кто желает – берет, дает сантимы; ноты можете себе оставить. Музыканты ничего не просят, а только предлагают: пойте! Красиво, гордо.

Музыканты, песни... – всякий слыхал и знает.

– Да проходите!..

Пробирались через толпу к решетке. Новая как будто песня? Каждый день музыканты сочиняют, кладут на ноты.

Не новая была песня: ходили измятые листочки, отданные назад артистам: продадите. Но то, как пели, – должно быть, казалось новым: листочки охотно брали. Или эта ужасная погода, пустая аллея эстакады, под гул и грохот, под жесткий припев железа, – делали эту песню новой? Многие напевали под сурдинку, прильнув к решетке, всматриваясь в железную аллею, в деревья-сваи, бежавшие в даль столбами. Пели – глядели в своды, где черные балки-скрепы глазели на них болтами.

Грустью томилась песня. Невеселы были и артисты: ходить по такой погоде – веселого немного. Что их толкнуло в жизни, сказало – пойте – ? Бродяжный ли дух артиста, которому повсюду тесно, который живет на воле; или судьба скупая: ходите, пойте – ?

Пятеро было музыкантов. Стояли они лицом в «аллею», к редким прохожим, укрывшимся от дождя под своды. Так было и удобней – петь и играть по ветру.

Впереди стоял, по виду, глава оркестра, брюнет, худощавый, стройный, в темном пальто, с воротником из меха, смокшего на дожде, со звездочками проплешин, из того меха, что зовется у скорняков – «собачий бобрик». На левом борту, в петлице, светлелась какая-то полоска, – военный орден? Лицо брюнета было благородно, тонко, в пенсне в роговой оправе, в остренькой, с проседью, бородке. Мягкая шляпа, лодкой, крахмальный воротничок, серебристое шелковое кашне враскрышку, пальто, – все было свеже, чисто, красиво даже. Его можно было принять за адвоката, за артиста. По тому, как обращалась к нему певица, как следили за его флейтой музыканты, можно было судить, что его очень уважают. Он стоял прямо, неподвижно-прямо, и лицо его было неподвижно, сторожко, напряженно. Оно было чуть поднято, смотрело поверх движенья, как смотрят прислушивающиеся или слепые люди. В перерыве песни он уронил платок и опустился прямо, стараясь его нащупать. Ему подняли, и он по-военному, четко, коснулся шляпы. Дымные стекла его пенсне скрывали какие-нибудь жуткие изъяны.

Игравший на виолончели сидел на походном стуле. Этот был жалкого вида, в виксатиновой куртке горохового тона, очень худой и, должно быть, очень большого роста; он согнулся в дугу над инструментом и так ковырял смычком, «рыл землю», что ходили бугры его лопаток и извивалась шея. Лицо его было совсем под шляпой. И у него была чем-то украшена петлица

Гармонист был круглый, с одутлым сизым лицом, с черными усиками «в мушку», с большим животом, мешавшим

ему в работе. Он сидел на футляре от гармоньи, очень низко, вытянув ноги в крагах. По щегольской когда-то его куртке с нашитыми жгутами болталась блестящая цепочка с жетонами-брелками, как и у наших, бывало, гармонистов. Многорядная гармонья, в звонках и блестках, стояла на раздвинутых коленях, следуя их движенью, и подавала басом – ррам... ррам... – вступая, когда нужно. Что-то серело и у него в петлице.

Четвертый, мандолинист, был крепкий и краснощекий, залихватский малый, веселый, – даже в эту ужасную погоду. Кровь его хорошо играла, чуть ли не жарко ему было: он был в одном пиджаке, особенно как-то лихо на нем сидевшем, притершемся к его телу, с отвисшими, – а, плевать! – будто носил в них камни, карманами, из которых совсем по-домашнему торчали скаковые афишки, круасан, трубка, и мотался ухом черный чехол от мандолины. Он играл – раскачивался в разливе песни, закинув голову, словно вызванивал где-нибудь под прекрасным небом, и чудесные звезды сияли ему под серенаду. Он стоял, выставив одну ногу, подавшись на другую, раскачивался на ней, весь как будто уходил в песню, бойко окидывал черными глазами, подмигивал гармонье, виолончели, ветру, – лихо?.. – и весело колупал по струнам, совсем небрежно. И только после, когда кончилась песня мандолины, можно было понять, что этот веселый малый – совсем калека: выставленная нога так и осталась неподвижной.

Пятой – была высокая, сухопарая певица, с вытянутым лицом, в котором пробегало испуганное что-то, птичье, – с крупными, выпиравшими зубами, которых не покрывали губы. Короткое пальтецо на ней моталось, моталась и тощая горжетка, с колючей мордой какого-то зверушки. Певица раздавала ноты, получала франки и сантимы и, получая, пела.

Но что же они пели?

Флейта томилась грустью, выпевала нежно. Мандолина вызванивала томно, словно напоминала что-то. Виолончель дрожала, ласкалась страстно, замирала в упоеньи. Гармонья утверждала: правда... правда... c'est vrai... c'est vrai...

И чистый, высокий голос вырывался укоризной, болью:

Tu m'avais promis... m'avais promis...
Ma vie... ma vi-i-ie!..

Виолончель стонала, жалела флейта, истекала болью. Сопрано опять врывалось.

...illusions perdues
.. promesses... pas accomplies!..

Стоявший прямо слепой смотрел в «аллею». Там столбы бежали, сливались в мути. Но флейта напевала нежно, манила в дали, где – небо голубое, где – «море, как глаза твои, синеет... и острова, волшебными цветами, как поцелуи губ твоих прелестных»... где – «музыка звучит и дни, и ночи...»

Сопрано, мандолина – подпевали:

Глаза мои – мерцающие звезды..
Пойдем со мною,
Пойдем со мно-о-ю...

Виолончель вступала, глухим укором:

Ты обещала... Ты обеща-а-ла, жи-и-изнь...

Игравшего не видно было: голова его склонилась, моталась шляпа. Он ковырял смычком, тянул из инструмента жилы. Ерзали его лопатки, крутилась шея.

Сопрано, лицом под эстакаду, укоряло:

Tu m'avais promis... m'avais promis...
Ma vie. ma vi-i-ie! .

Стояли плотно, давили на решетку, колыхались. Подпевали глухо. Обычная толпа метро – рабочие в каскетках, мидинетки, мелкие торговцы, машинистки, посыльные, солдаты, клерки, чиновники, многие с полосками в петлицах – бывшие солдаты, – плотный слой Парижа. Выше других стоял гвардеец в каске, в черно-красной гриве, гудел в листочек. На темном фоне притиснутые к прутьям, так что выпирали вздутки, желтели двое. Сразу их признаешь – пятна молочной грязи, «союзные шинели», затрепанную тряпку – демикотон, что ли, – пальто биваков, платье черной доли, – дары бездомным. Все еще они мелькают, демикотон еще желтеет по Парижу, – халаты арестантов, затрапезные подряски служек, – размах Европы.

Эти двое тоже внимали песне. Лица их были юны, светлоглазы, тревожно-смутны.

Поезда катили; гудела эстакада издалека, глухо, переливала в грохот.

Песня укоряла, билась:

Ты обещала... ты обеща-а-ла, жизнь...

Это был романс для улиц, певучий, легкий, – работа музыканта из мансарды, – легко запоминался. Но странно:

музыканты исполняли необычайно ярко. Их подтянуло, захватило что-то. Необычность места, куда загнало ливнем, грохот ли железа сверху, мертвая «аллея» эстакады, давка? Толпа «несет» артистов. Или – погода затомила душу?..

Песня захватила.

Слушали с волненьем; было по лицам видно, как забирали звуки. Уже не романс был это, печально-сладкий: рождалась песня, являлась откровеньем, прозреваньем, кричала болью, пела о том, что близко, страшно близко, что движет жизнью. Вдруг остановила и открыла. Стояли и внимали: счастье невозможно, надежды тщетны... обещанья, дали, цветы волшебные, мерцающие звезды, поцелуи губ манящих... –

...illusions perdues
..promesses... pas accomplies!..

Жизнь обманула, сойдет впустую...

Смотрели в эстакаду, давили на решетку. Глаза вбирали: правда, правда.

Басы хрипели:

C'est vrai.. c'est vrai...

Быть может, преображенной песнью приоткрылось – что росточком дремлет, мерцает в каждом? что стоит загадкой, томит поэтов, опаляет душу, томит разгадкой? что было изначала слова-чувства – сознанье обреченности бессрочной?..

Это было в песне.

Слепой стоял недвижно, глядел над всеми. Рука его дрожала, с флейтой. Веселый дернул мандолиной, опустил к ноге и слушал.

Кончалась песня. Голоса стихали. Осталось трое. Голос сорвался воплем:

...pas accomplies..!

Виолончель тянула, умирала... – plonn!.. – лопнула струна. Гармонья приглушенными басами еще хрипела...

Песня кончилась. Молчали, словно ожидали – дальше. Кто-то крикнул – bravo! Захлопали, зашевелились, вынимали деньги. В желтых пальто, стояли у решетки, ждали. Один сказал певице, путая словами:

– Мадам, донэ... сэ нот... пур ну... на память!

Певица сунула листочек, усмехнулась. Сказавший четко приложился к шляпе.

Эстакада громыхала реже. Стало посвободней, но публика еще валила с лестниц. Дождь редел. Солнце хотело выглянуть. Передний что-то сказал. Певица взяла «тарелки». Малый встряхнулся, звякнул мандолиной, мотнул гармоньей. Виолончель наставила смычок, – и грянули.

«Марсельезу» заиграли.

Толпа сомкнулась, подхватила дружно. Нот не надо: слова и звуки знали с детства, – о родине. Наваждение слетело. Под ногами была земля, своя, родная. Пропала эстакада со столбами, гул и громыханье. Бешено играли артисты улиц! «Тарелки» оглушали, бились вдребезг; виолончель взрывалась; свистела флейта; гармонья извивалась брюхом; мандолина... Малый вертелся на ноге волчком, другая двинулась в поход, стучала пяткой. Топотали, свистали, прыгали, сбегая с лестниц; бухал ящик, стучали кастаньеты, – ключами выбивали по решетке.

И стало ярко.

Солнце смеялось окнами напротив, сверкало в лужах, на бешеных «тарелках», на гармонисте, на его гармонье, в звонках и блестках, на решетках. На губах трубили, – легко бежалось.

Музыканты двинулись в бистро, через дорогу. Можно теперь и выпить: погода, и заработали недурно.

Двое, в желтых пальто, пошли плечо к плечу. Остановились: автомобили запрудили ход.

– А лихо это у них вышло! – сказал один.

– Еще бы, свое!..

Брызнуло опять, и завертело.

Постояли, поглядели туда, сюда...

– Ну, allons...

Пошли куда-то.

Октябрь 1925 г.
Ланды

ПТИЦЫ

На песчаных холмах, у океана, я с удивлением встречал рыжие шалаши, из сосновых ветвей, очень похожие на наши, откуда-нибудь с Оки, – временное жилище плотогонов, маячников и луговых сторожей.

Идешь по сыпучему песку, поросшему кое-где колючкой и жесткой травкой, завидишь такой шалаш, – и грустью захватит сердце. Пусто на океане, глухо по побережью, и пуст шалаш; посвистывает в щелях тугим океанским ветром, звенит по сухой хвое. Иногда торчит над шалашом вешка, – и кажется, что высунется вот-вот лысая голова никому ненужного старика, состоящего при лугах, с Господней помощью охранителя многоверстной поймы, или выглянут лохмы калужского плотогона, прихваченные мочалочкой. И вспомнится ярко-ярко, как пахнет еловой гарью, махоркой и черным хлебом. Позванивает ветром, океан тяжело шлепает волною, взмыливает пустой песок, – а в памяти проступают – спокойные светлые глаза, мягкая русая бородка, тяжелая рубаха, скатавшаяся на вороте, загоревшая дочерна грудь, крестик на бечевке... Вспомнишь даже, как вякает назойливая собачонка, безродной русской породы, Жучка или Волчок, всегда голодная, но крепко преданная хозяину в его бездомовной жизни.

Нет, эти шалаши – не наши, не для жилья: это тайник-засада, для птицеловов. Здесь, побережьем океана, проходит невидимая дорога, извечный путь осеннего перелета птиц.

С севера и востока, с родимых мест, гонимые холодами и непогодой, тянут они за солнцем, обходят Пиренеи, к югу... И вот, тихие шалаши, знакомые бедным птицам, – быть может, нежданная, радостная встреча, уже забытое и вдруг восставшее на пути?.. Кто знает!.. Чужой и грозный, океан шумит глухо, пугает темнеющею далью. И вдруг, усталый птичий глазок приметит вдали знакомое: поле, кустики, шалаши...

Я никогда не думал, что их так много, далеких – близких, родимых птиц; что милые наши коноплянки, овсянки, славки, малиновки, соловьи, жаворонки... – эта веселая, звонкая птичья мелочь, которую наш народ пометил ласковыми словами, кому-то несет доход!..

– Подходит веселенькая пора, мосье... – говорит Ружэ, плотный немолодой француз, с горячими темными глазами, вправляя в штаны вылезшую рубашку.

На его крепком, словно налитом медью, лице крупные капли пота: он весь вспотел, яро выпалывая цапкой широкую площадку на луговине, но глаза его светятся азартом.

– Да, мосье Ружэ. Если осень погожая, чудесно. Собираетесь что-то сеять?..

– Не сеять, а собирать, мосье. Это получше будет, не правда ли?!.

Он плутовато подмигивает и крепче подтягивает ремешком штаны.

– Начинается пролет птичек. Летят миллионы их... кюблян, ортолян, линот, сипо... Но это все мелочишка. Вот когда полетит доход... десять су за штучку...!

– А это..?

– Алюэт, мосье! А по-вашему..? А, жа... вёрёнки... За них пла-тят! Бордо, Париж... Это очень тонкое кушанье... тррэ бон! Особенно головки. И грудки, и горлышки, но... головки..!

Когда полетят жаворонки..!

Я узнаю, что жаворонки, овсянки, коноплянки, трясогузки... – вся пернатая мелюзга миллионами тает по побережью, что птичками можно заработать на всю зиму.

– И это будет тянуться... два месяца! На это время я всегда бросаю свою штукатурную работу... – с радостным возбуждением говорит Ружэ. – Одною сеткой можно нахлопать их... тысячи на две франков! У меня две площадки... вы понимаете? О, это, я вам скажу, золотые птички! А когда вы попробуете головки... – он сочно щелкает языком, – тррэ бон!!.

Каждое утро теперь я слышу, как Ружэ хлопает.

На луговине, еще не застроенной дачами, стоит такой же шалаш, какие встречал я на побережье. Из окна я вижу гороховую блузу и серую каскетку мосье Ружэ. Он стоит перед шалашом, за рыжим щитом-забором, и вдумчиво смотрит в небо. Его руки сложены на груди крестом. Во рту у него поблескивает пищик. Он смотрит в синее небо с верой и упованием, – на север, откуда летят птицы. Порой начинает насвистывать, журчать и пикать. Можно подумать, что Ружэ молится на небо. Может быть, он и молится, – кто знает!

Я выхожу и тоже смотрю на небо, но ничего не вижу. А Ружэ видит: он вертит шеей, подымает лицо к небу, тре-

лит-журчит нежнее... Я жмурюсь, забываю мосье Ружэ... – жаворонок звенит в небе! Я вижу голые черные поля, еще не обсохшие дороги... светло зеленеющие овсы, росистые луга к ночи... жаворонки играют...

Открываю глаза. Ружэ – перестал молиться, его не видно; но над растянутыми сетями, на площадке, попрыгивают птички, привязанные за хвостики. Это мосье Ружэ начинает «играть птичками». Они выплясывают над сетью, вспархивают и вертятся. Можно подумать, что они счастливы: измученные дорогой, они что-то нашли на вылощенном току и радостно призывают новых! Глаз Ружэ остро видит: летит стайка. И стайка видит: порхают птички. Выводит трельки мосье Ружэ; но это, конечно, щебечут птички... Теперь уж и я вижу, как налетает стайка. Она летит низко, ныряет, мелко трепещет крыльями, с знакомым шорохом воробьев – пырр... пырр...

Кто они, в этой стайке? Они так трепетны, так мелки. Они пролетают мимо, завинчивают в полете и опускаются на площадку... Взлетают сетки и накрывают: хлоп-хлоп!

Удачно хлопнул мосье Ружэ.

Он выбегает из шалаша и принимается выдирать трепыхающиеся в сетях комочки. Он это делает мастерски: чуть прищипывает за горлышко и быстро сует в карман. Снова раскидывает сети и – на молитву.

А они все летят.

К вечеру Ружэ устает. Все реже налетают стайки. Я вижу бурые вороха перья, перепутанного проволочками ножек, коготками... Я едва различаю коноплянок, овсянок; но жаворонков я вижу ясно.

Каждый день, с раннего утра, я слышу, как хлопает на луговине. А они все летят... Гонит их с родины ненастье, ведет солнце.

Я встречаю всюду разбитые их стайки. Они пугливо таятся в жесткой траве холмов, по лесным опушкам, по виноградникам, по садам, на задворках, на бульварчике городка. Они замучены, запуганы и разбиты. И голодны. Но они все летят... Я нахожу их на лесных тропинках, на камне большой дороги. Они присаживаются на проволоках, на щебне, по кустам, в канавах... Я слышу, как пахнет ими, уже приготовленными для рынка.

На моей руке, свесив головку, лежит увядшая коноплянка, буренькая, с желтыми, словно только что из-под лака, ножками, тонкими, как иголки. За ней я вижу... темные конопли, задворки бедной русской деревни, кривые риги, лохматые ометы, желтеющие березы, ухабистые дороги, дождь... Все это было за беловатой пленкой, в бусинках живых глаз, недавно все это видевших и все донесших сюда, – до смерти.

Я стою на голых холмах песку, на океанском ветре и с щемящей тоской смотрю на знакомые шалаши. Чужая земля, чужие люди. Я хочу заглянуть вперед, но... зачем? Я почти знаю, что не увижу больше в родной земле по-детски ласкового, кроткого сердцем Касьяна с Красивой Мечи... не встречу мужиков перед шалашами, босых, сильных, в белых рубахах, широким крестом крестящихся на подымающееся солнце и с простодушной улыбкой, с наивно-радостными глазами прислушивающихся, подняв лицо, как высоко в светлом небе звонко играет жаворонок, чуемый только блеском...

Солнце опускается в океан. Оно перестало слепить – вот-вот коснется синеватой дали. Оно плавает матово-красным шаром, покачивается красным яйцом, тонет, вытягиваясь архиерейской шапкой, караваем лежит на зеленом поле, мигает далеким костром в степи, вспыхивает и гаснет искрой. Бежит по дали зеленой рябью, холодеет сталью, сереет, зыбится...

Шалаши уже опустели: охотники сняли сети, ушли. Я нахожу замятых в песке, чуть видных, застывших птиц. Но стайки еще перелетают робко. Тянут на дымные Пиренеи, в далекое... Так они близки мне, гонимые непогодой птицы!

Люди в каскетках запоздало бродят у шалаша, пьют из бутылки, передают друг другу.

– Добрый вечер. Ну, как... удачно?

– Не очень-то. Всюду бури, птицы теряют голову, все разбились. А жаворонков и совсем мало. Да вон, глядите...

Я вижу ворох перья, узнаю их и думаю: где вы, песни?..

Ланды, октябрь 1924 г.

ТЕНИ ДНЕЙ

И в тихую область видений и снов
Врывалася пена ревущих валов.
Ф. Тютчев

Будто я на Place de l'Étoile, в толпе. Вечер или ночь – не знаю. Черное, как копоть, небо – нависло, давит. Ни одной звезды не видно. Под смутной Аркой, на могиле Неизвестного Солдата, – ветер: неугасающее пламя рвется. Бледные огни такси тревожно убегают, оглядываясь красным глазом. Торопятся уйти трамваи. Все чего-то ждут, в тревоге. Лиц не видно, все головы да шляпы; и все – туда. А пламя уже полыхает, кидается под своды Арки. Валит дым, тяжелый, черный, как от нефти. Огни реклам мутнеют, светятся в дыму багрово, грязно. Кто-то говорит, что нефтяные склады загорелись.

Я кого-то жду. Смотрю на пламя, – траурный огонь. Я знаю – склады где-то здесь, на Пресне. Там кладбище, и нефть – оттуда, из-под земли, густая. Пламя – от нее. Мне жутко, я хочу уйти, но – трудно. Гляжу в тоске: направо, книзу, – Champs-Élysées, раздольные, пустые, в огоньках; свет бледный и печальный, молочно-мутными шарами, как в Москве, в морозы. Туда мне нужно, но зачем – не знаю. Там – покой.

Кто-то кричит:

– Пусти-те..!

Голос истошный, трудный.

Я знаю: пробирается ко мне. И жду в тревоге.

Это старичок. Лицо знакомое, но кто он – не могу припомнить. Он низенький, в поповской шапке, щуплый, глаза слезятся, жидкая бородка, – как будто богадельщик. Красный узелок под мышкой, словно – в баню; только не белье, а яблоки или просвирки, выпирает. Так ему я рад, родному, с нашей стороны. Хочу спросить о важном. Но он моргает:

– Идем, идем!..

Он что-то знает. Нам дают дорогу. Шепчет:

– С Place de la Concorde...Через Берлин, а там направо. Последний поезд...

Сердце у меня взмывает. Билеты, визы..? Не поспеем.

Он бежит, подхватывает полы. Я вижу, что это наш извозчик, «из хороших», только очень старый. За мной прислали... Но какой-то странный: армяк распущен сарафаном, без кушака, метет полою; серебряные «бубыри» под мышкой, в строчку; шапка под бобра, с подушечкой и уголками, выпушка на шее, лисья, – как у кучеров.

Иду в тревоге: не поспеем, последний поезд. Лучше бы в пролетке – через Берлин, а там направо, близко. И без визы можно.

Бежим по налощенному асфальту. Скользко. Ни души навстречу. Позади раскаты, взрывы. Оглядываюсь – пламя выше, мигает Арка, огненным и черным, дым клубáми. Пожар?.. Ощупываю на бегу карманы, carte d'identité. А деньги..? как же мы уедем?..

Старичок бежит, поматывает узелочком. Мне кажется, что все он знает. Визы продают на Place de la Concorde, в какой-то будке. Кто же он? Такой знакомый... Алексей, наш кучер? Но тот был выше, с черной бородой... и помер, когда я был студентом. Помер, а живет, – не странно.

Champs-Élysées уходят бесконечно, книзу, в холодном свете матовых шаров, молочно-мутных. Странные огни, другие. Прежние ведеркой были, зеленоватые. А эти, беловатыми шарами, где я видел? В детстве, в сенях театра, у подъездов? Давние огни.

Вдали – как черная река, замерзло. Грязный лед переливается и светит сонно, накатанным асфальтом. Бледные огни навстречу: такси, тревожно убегают к Этуали, все – пустые. В соседних улицах огни погасли, там чернота. Я вспоминаю авеню огней, витрин, автомобилей и отелей, – где все это? Темные дома, слепые. Все прошло. Теперь одна дорога – прямо, в мертвенных огнях, холодных. Скоро и они погаснут.

Бегу в тоске. Champs-Élysées, последняя моя дорога.

Я слышу, как за мной пустеет, лопаются тонко стекла. Шары погасли? Оглядываюсь на бегу. За матовым стеклом краснеет, гаснет. Слышу, как шары пустеют. Вот фонарь. Я добегаю – меркнет, красный уголек, погас. Но впереди еще мерцают. Я кричу, показываю на фонарь, – он меркнет.

– Гаснут!.. Почему гаснут?!

От дыма, с Этуали..?

Старичок – мне кажется, что он священник, – кричит невнятно:

– Елисейские Поля..! ... конец!..

Стучит за нами по асфальту, попрыгивает, как кузнечик. Вижу – на костылях какой-то, темный, догоняет. Я слышу,

как он тяжко дышит, хочу вглядеться, но лица не видно. Фуражка – к носу, голова пригнута, шинелька надувается от бега, хлещет палки. Я знаю, что это наш, бедняга. Так его мне жаль, хочу окликнуть...

Из темноты – воз с сеном, огромный, смутный. Прет на нас, колышется, шипит... закрыл дорогу, – сразу потемнело. Голос мужика, из-под земли:

– Держи-ись..!

Валится на нас горою, завалило. Я продираюсь, разбрасываю вороха... – дорога, тихая, пустая, в огоньках. На костылях – за нами.

– Гляньте, гляньте..!

Мужик под сеном?!.

Авеню забита ворохами, – сеновал. Вороха трясутся, ходят: копышится мужик под сеном. За сеновалом полыхает небо, там – пожар. На небе вздрагивает Арка. Черный столб, клубами; над ним оранжевая снизу туча, сползает вправо. Это нефть горит. Я вижу, как валятся на сено искры. Вспыхнет!.. Вот, дурак, привез... погибнет!

Прыгает мужик на сене, машет.

Мы бежим. От черных улиц – голоса, раскаты. Началось?.. Огни погасли, зарево нам светит.

Смутная, пустая площадь. Дома без окон. Во тьме свистят и гикают мальчишки, бегут – топочут. Черные деревья. Кривые, путаные сучья, на красном небе, как сбитые вороньи гнезда. За мутною горою Grand-Palais пылает небо, – Инвалиды?..

Пролет, направо полыхает. За мостом, за крылатыми конями, на пламени, – чугунный купол. Над ним – блистанье. На раскаленном небе – вихри, дым. Я вижу – Инвалиды загорелись.

На костылях – за мною. Показывает костылем на купол:

– Чугун-то... подкоптился!..

Я слышу – окликает:

– Поспеша-ай!..

Знакомый голос. Чуть видно, от пожара, – машет.

Я знаю: он меня уводит. И радостно, и жутко. Там я встречу... Прошлое туда уходит. Там – покой.

Но надо выйти.

Place de la Concorde, последний поезд. Там что-то...? Я вижу – как багровое пятно, пылает. Костры? Доносит шумом.

Я тороплюсь, боюсь остаться. Он знает это. Ласково так смотрит:

– Ничего... не бойся, милый.

Моргает. Я хочу припомнить, кто же он?

– На, возьми-ка...

И вынимает из платка просвирку.

Я узнаю ее, копеечную, детскую просвирку, – просвирку бедных. Столбиком она, как храмик. На куполочке отрумянен крестик. Радостно беру, и в ней – далекое, что было, светлое, святое, детство. Заглядываю в узелок. Там яблоки-грушевка, мелочь! Смотрю в глаза. Знакомые, мигают лаской. Морщинки, изможденное лицо, бородка клином... Боже мой! Я вспомнил... Это же псаломщик старый, нашей богадельной церкви! Николай Арсентич, с нашей стороны, псаломщик. За мной приехал.

Он шепчет:

– Скорей, последний... с Place de la Concorde...

И радость, и тоска утраты, – проходят в озарении, как миг.

Я чувствую, как он мне нужен. Я его люблю, как в детстве, – за морщинки, за ласковую руку, за тоненькие свечки, которые он ставит образам, за странные слова, – я их не знаю, но они ласкают, – за то, что он похож на образ.

За мной приехал!

Проходит в озарении, как миг.

Бывало, гладит по головке, даст просвирку, храмиком, как эту, ведет в алтарь, показывает книгу в воске, пахнущую Богом, моргает, ласково. На Спаса – яблочков наложит, в красных жилках, святою кистью пощекочет...

Во мне взмывает сладко, как во сне.

Я вспоминаю милые иконы, м о и. Они бывают только в детстве, у каждого – с в о и, живые. Покачивает головой, читает... Дремлет свечка, проснется-вздрогнет, закапает на пальцы воском, на старенькую книжку. С иконы смотрит старичок, такой же, ласково моргает. Я вспоминаю дребезжащий голос, я слышу непонятные слова, святые, – «... и уны во мне дух... весь день сетуя хождах...» – загадочною грустью льется. А на душе так ясно, так покойно.

За окнами – сугробы, звезды. Вот уже он читает – «Иже на всякое время и на всякий час...» – сонные слова, ночные. Гаснут свечи. Ночная улица синеет. Сугробы завиваются горбами, – тонешь. Весь день валило. Снежными рядами копны. Так тихо в нашей уличке, так глухо: все забито снегом. Как хрупают лопаты, слышно; как сгребают, как тукаются комья... Воз проползает пухом, снеговой, стойком лопата. Извозчик проплывет бесшумно, фыркает лошадка за углом, – довольна, – снежком прахóвым из-под ног взрывает. На тумбах, на заборах – стопки. Мягко, рыхло. Фонарики под снегом, светят сонно, собаки зарываются носами. За гвоздяным забором, на березах, ворона каркнет густо, к сне-

гу, – не проснется. От окон на снегу сиянье, на окнах розовое от лампадок. Придешь – тепло, уютно, топится лежанка к ночи. На ней, под лампочкой с зеленым колпаком, – заветный, новый «Вокруг Света», черный хлеб горбушкой. Читаешь долго, петухи взывают. В намерзших окнах – звездное мерцанье, серебреный Угодник в уголку, лампадка усиками водит...

Все воскрешает милое лицо, в морщинках. Радости, утраты, – проходят в озарении, как миг.

За мной прислали...

Но он же умер?.. Как же он... в Париже? вместе мы?..

И умер, а живет. Не странно.

Идет, помахивает узелочком. Я – за ним.

Зарево закрылось тенью: дворец какой-то, темный. Чуть розовеет небо, где пожар. Чернеют крыши.

Лес, черные деревья. За чащей, в глубине, – пунцоводымно, светится полоской. Загородный дом? Зеленоватый свет в деревьях. Странно. Кругом погасло, а..?

Деревья отступают, я вижу огненные буквы – Restaurant.

Зеркальная стена. Сияют люстры, кристальные гирлянды, звезды. Сияет серебром, сверкает хрусталями звонко, мерцает матом. Жаркие цветы в вазонах...

Ресторан?.. Не знают, что огни погасли..?

Я вижу в блеске розовое тело – плечи, груди, крахмально-белоснежные плястроны, блики лысин, извивы голых рук, мерцанье фраков. Я слышу теплый, пьяный аромат вина и пудры, тела и цветов. Смотрю, как плавают в огнях в истоме, льнут, откинув лица. Лежат с бокалами на спинках кресел, нюхают сигары. Движутся гарсоны, пристойно замирают по стенам. Но музыки не слышно. Странно. Мне кажется – они – другие, с другого света, – не живые будто. Какие-то... американцы?..

Странный ресторан.

В деревьях – красноватое сиянье. Я вижу обгорелые колонки, кровавый отблеск стекол в фонарях. Высокий Обелиск мерцает.

Place de la Concorde, последний поезд...

Накатывает гулом. Воза, колеса, кони, сундуки горами, – сбродный стан?..

Пылает небо, купол Инвалидов. Две башенки, как две монашки, в остреньких шлычках, стоят на небе, одна к другой, тревожно. Деревья за Concorde, палаты, Обелиск – в кровавом свете.

Как же мы пройдем?..

На постаментах – бешеные кони. Их гривы развеваются, как пламя, оскаленные зубы красны. Ров за ними... Перебегаю, вижу: ноги в пряжках, чулки, камзолы, вздувшиеся лица, парики... Кричат:

– Народу подавили..!

Ходынка, Пресня?.. Задавленные люди в ямах... з д е с ь?!

Я один, мне страшно.

Дымят костры. Бьют по тазам цыганы, играют в карты. Клубят котлы, мотают головами кони. Бухает как будто в бубен... – балаганы? Какие-то, в фуфайках, с закатанными воротами, – воры? – волочат шубы. Вихлявый, плисовые шаровары внапуск, с обсосанным лицом, как заяц в кепке, – жулик,– идет за мною. Мне гадливо-жутко. С фулярами на шеях, рвань, – ведут молоденькую даму, непристойно. Она в ротонде голубого плюша, выламывает руки, бьется; ротонда распахнулась, вздувшийся живот бессилен, часики на золотой цепочке вьются. Затаскивают в угол, лезут...

Кричат – дорогу! Везут кого-то, стоя. Люди на конях, грозятся. Я где-то видел..? В кровавом свете, ч т о - т о – стояками... Казни?.. На новых балаганах, в глубине, – черно народом. Мальчишки зацепились на деревьях, ждут.

Высокий Обелиск – над всеми. Красный камень. Его тысячелетия проснулись, моргают на огонь, струятся. Угрюмые палаты, окна, колонны, фонари на арках, – все мигает. С балконов балаганщики вопят над станом.

Я вглядываюсь: где же поезд? К садам, должно быть. Прямо – не пройти. Я вижу сундуки, над ними свалка. С волчьими глазами, в рваных шарфах; апаши, в крагах, с тайными ножами; усатые толстухи, девки, сброд... – выхватывают, тащат шубы...

Я пробираюсь. Снежные плястроны, фраки... ресторан..? При фраках – дамы, с голыми плечами, жмутся. Их окружили, грабят. Сдирают фраки, жемчуга, браслеты. Затрепанные девки лезут, дамы бьются. Развесив губы, косоглазый гладит... Вихлявый, с мордой зайца, играет с толстяком, щекочет мышки. Толстяк, с сигарой, преет, смотрит мутно. Рыластый рвет его за фалды как мешок, вытряхивает вон из фрака. Бьют длинного американца: йок!

Я – в н е. Мне нужно на последний поезд.

С балконов машут. Лица этажами, как галерка. Вопят:

– Побе-да!..

Передний – маленького роста, гном. Головка черненькая, клином. Он в шубе, похоже на салоп просвирни, с блеском. Лисий воротник по локти. Глазки сверлят. Пасть у него щурячья, он пищит; но писк – как шило, продирает кожу.

Другой – тяжелый. Шапка башней, енотовая шуба, как гора, – слоновьи уши. Протодиаконова шуба, а усы... – румынский цимбалист: усы винтами.

Еще – жукастый. Усики обвисли, нос гвоздем, кислый: нюхает как будто. И – краденая шуба, на хорю. За ним – безлобый, с пастью; ус, «для пикана», в стрелку; шинель с бобрами – на одном плече, подбита красным; блуза в масле.

За ними, стаей, – картузы из выдры, собачьи шапки, волчьи балахоны, хорьки, верблюжина, крылатки, полушубки, пледы, башлыки... Пыряют кулаками к Обелиску, взывают – волочить куда-то дальше. Мне чудится, что этот камень – *ихний*, тысячелетнее кропило сброда, бог кочевни. Его таскают по земле извечно.

Внизу переминаются смущенно: с книжками, одеты бедно, лица нервны. Доказывают, шепчут, спорят. Движения нерешительны, бессильны. Одни – согласны; другие протестуют, молча. Шуршание бумаги, блеск очков...

Я знаю: их сейчас потащут. За ними, за решеткой, – лязги рыластые, в звериных шкурах ждут: вот, спустят...

Кровь на всем: на Обелиске, в небе. Она пылает в стеклах фонарей, струит по камню, льется на деревья.

Не пройти. Я пробираюсь к Обелиску. Мужик с мешком, глазеет. Брюхатая лошадка, санки; под ордой сено: кормит. Я спрашиваю, где же поезд. Он не слышит, высматривает впереди, к балконам: швыряют на толпу одежу, шубы... Я понимаю: за добром приехал.

У камня, за решеткой, – старички: в халатах и тюрбанах, пестрые, – волхвы, как будто. Лиц не видно; все на коленях, головами вместе: разглядывают что-то на земле. Я вижу, с жутью: огонечек желтый, язычком. Неугасающее пламя?.. Нефть и здесь?!... Колдуют, раздувают... Маги? Пожары раздувают... или – *свет*? В молчанье, головами вместе.

Бьют по тазам цыганы. Ржут кони. Бухает как будто бубен. Котлы дымятся чадно, тянет мясом. Пар прелый, тошный.

Лестница под землю. Метро, там поезд. Дверочка, чуть светит. Визы?.. Женщина за стойкой, пачки. Бистро, а будто визы. Женщина бросает «maryland», три франка сдачи, наши золотые. Бегу, рожок мерцает: угол, сдвинуты столы, до потолка, как загородка. В углу – замученные лица, молодые, смертная тоска во взгляде. Мученики, наши! Кричу – «последний поезд, уходите!..» Молчат, как дремлют. Не добраться к ним. Бросаю золотые, слышу звон. Бегу – пройти к ним, сзади. Стены. Стучу, как в пустоту. Где двери? Все доски, новое, и пахнет елкой. Лестницы, пролеты, дырья. Ползу по скрепам, в крестовинах, в брусьях. Вижу в дырья – глубоко внизу – все огоньки, костры,

дымится. Мне страшно: полечу в провалы. Ступеньки провалились, нет перил. И слышу: костыли, за мною. Оглядываюсь – тот, на костылях. Шагает в брусьях.

Я вылезаю на площадку. Ходу нет: последняя площадка, с доску. Не за что схватиться, упаду... Синеет небо, звезды. На страшной глубине – краснеют точки, – огоньки, костры. На дали – зарево, и купол, с пятачок. Две башенки, как две монашки, в остреньких шлычках, – две палочки, на страшной дали.

Знакомый голос слышу:

– Поспеша-ай..!

Сбегаю по дощечкам, в ветре. Свежо, морозно. Белыми клубами паровозы. Платформа, ящики. Снежок как будто. Поезд, странный: скамейки на вагонах, по стенам. Я вижу: старичок мне машет. Так я рад, бегу к вагонам, схватываюсь... – шляпа?!. Потерял. Багаж..? Не помню. Все мое там было... Сейчас отходит, поздно. В вагоне, подо мной, оркестр играет. С нами Бисмарк едет, на конгресс.

Свисток. Я вижу: далеко, как птица, машет, на костылях, шинелька надувается от ветра. Догоняет, прыгнул! Я рад, кричу от счастья. Кто он мне, родной? Лица не вижу.

Едем. Звезды, хрустальные, так ярки! Охлестывает ноги ёлкой. Снег, леса. А музыка играет, нежно.

– Берлин проехали-и..!

Мужичий голос: будто бы – Бя-рлин!

Березы, в звездах. Будто бы – Кусково. Длинная казарма под бугром. Окошки в клетках, запотели; свет банный, мутноватый. Старичок бежит по снегу в баню. Я-то как же?..

Валит снег, платформа. Я – один. Теперь, куда же? Без шляпы стыдно. Приглядываюсь за окно – желтеет лампа. Вижу... я – здесь?!. тот ужас..? Стою. Из темноты плывет фонарик. В окно мне виден станционный зал, пустая стойка. Кто-то, у дверей...

Голос из темноты, осипший:

– Входите, запираем!

Снегу намело к дверям. Я вижу колокол, корявую веревку. На колоколе снег полоской. Стою и стыну. Все хочу вглядеться. Стойка, человек какой-то, спит. За дверью кто-то ждет...

Сейчас войду...

II

Я из Парижа, – где-то под Москвой, в дороге.

Ночь, валит снег. Глухая станция, пустая, ни одного вагона. Даже путей не видно, все под снегом. Платформа – ни

следка, все гладко, чисто, полное безлюдье. Снег не живой какой-то, не хрустит, – как вата. А все обычно: сараи, палисадники, березки. На станции в окошках огоньки.

Осматриваюсь. Как я одинок!.. Куда мне и зачем, – не знаю. Я без шляпы, без багажа. Снег лепит, будто в марте. От фонарей, за снегом, – мутный свет. За станцией собака лает, неспокойно: послушает – полает, в пустоту. Опять послушает. Там – темень.

Как мне выйти? Через вокзал, без шляпы, – неудобно. Садиком, извозчик где-то... – все решетки. Острая тоска. Зачем я здесь? Припоминаю: что-то... баня?... Сколько лет без бани! Все – в бане, никого не видно. Праздник завтра.

Вокзальчик невысокой, длинный, дощаной, заляпан снегом. Стараюсь разобрать над входом – «Москва» как будто? Окошки клеточками, запотели, светят постно. Приглядываюсь... – Боже мой, я з д е с ь..? да как же я... приехал?!. Мне тошно, я хочу назад, а ноги мнутся. Лепит снегом, собака лает, – безысходность.

Смотрю гадливо: темноватый зал, чернеет печка, сушатся портянки... в мохнатой шапке, спит... зеленоватый чад махорки, лампочка косая в фонаре, струится ниточкою копоть. За дверью к т о - т о... Не могу войти, так гадко.

Слышу – человек..? Отхаркивает вязко, как больной. Мотается фонарик, решеткой мызгает по снегу.

Раб, опять... Вертеться, путать, гнусные анкеты... Так мне гадко!

Голос из сумрака, осипший, скучный:

– Входите, запираем.

Соображаю: надо закурить... сказать, что здешний, так, гуляю..? Нащупываю папиросы – Maryland, увидят... Спичек нет.

Иду, как здешний. Пробую свистать, а губы смякли. Carte d'identité в кармане!.. Снег вязкий, намело к дверям, давно не ходят. Дергаю за ручку, не могу... Фонарик наплывает. Я вижу колокол, замерзшую веревку с узелком, на колоколе снег полоской. Стою и стыну, все хочу вглядеться. Стойка, человек какой-то... спит? За дверью – к т о - т о. В ногах зудливая истома – убежать?..

Сейчас войду.

Высокая казарма, на столбах, – лабаз как будто. Темная стена, в потеках, свод на балках. Лампочка желтеет в пустоте. Ступить противно, – пол осклизлый, липкий. Бьет острой вонью бычьего загона, тошнит от сладковатой прели. Не могу...

Осматриваюсь, где же выход? Т а м...

Я вижу загородку в глубине, рогатку. Ходят тени. И мерзь, и жуткое хотенье – увидать. Они таятся.

Я знаю: здесь не могут, здесь «европа», особенное место – вне.

Пустые столики в перегородках, будто – ложи. Мужик какой-то. Он лежит на лавке, под окном. Окно глухое. Поддевка на барашке, малиновый кушак, подковки, шапка колпаком, кулак в кармане... нос ястребиный, смуглое лицо. Цыган-барышник? Мне тревожно: проснется – пропадет «европа».

Оглядываю стойку. Корытце, студень в нем, какой-то страшный, – желтенькое сальце. За стойкой – смотрит на меня, берет мутовку, лезет в студень. Я узнаю гарсона с Motte-Picquet, отмахиваюсь с ужасом – не надо! Он черпает, несет на столик. Показывает пальцем: ешь!

За мной перегородка, там другие. Гремит посуда, шумно, – будто ресторан. Лакей с салфеткой, смотрит. Есть, такое?!. Мне тошно, я хочу задобрить... Похоже – итальянец, в эспаньолке, выглядывает из-за стенки: здесь ли я. Я притворяюсь иностранцем, – здесь «европа» – и говорю гарсону с Motte-Picquet, хочу задобрить:

– Voila, monsieur...

Даю пятифранковую бумажку.

– Вот, валюта... Я из Парижа, и сейчас в Париж...

Он смотрит нагло, говорит по-русски:

– Все равно, а надо подписаться. Все анкеты, четырнадцать анкетов-с! Я сейчас...

Идет куда-то. Я в тревоге. Выглядывает голова над стенкой, здесь ли я. Я понимаю, отхожу подальше, где «европа». Прохаживаюсь иностранцем. Там – лакей, показывает на меня бумажкой. Вижу дверь, чуть приоткрыта щелью...

Я узнаю вокзал – Виндавский. Красное сукно, стаканы, люстры, чемоданы. Зал I – II класса. Там – они.

Все ряженые, в шубах. Отходит поезд в Ригу, на Париж. Я вижу низенького, голова торчком, в салопе, лисий воротник по локти. С ним другие, поддерживают, водят, все – с почтеньем. Он тычет пальцем к двери, на меня. Мне жутко, но держусь за ручку: здесь – «европа». Все – иностранцами, и все – в Европу. Я вижу, что на них – до чемоданов – все чужое. И все они – чужие, в русских шубах. У выхода – в суконных колпаках, при красных звездах, – наши дураками. Подобострастно тычутся глазами, сторожат.

Смотрю я – лисий воротник, ко мне!.. Захлопываю дверь, бегу куда-то...

Платформа, пустота. Огромный поезд. Вижу человека:

– На Париж?

Копается в какой-то сумке.

– Не пойдет.

Мне кто-то машет. Смазчик, – пахнет маслом. Ведет куда-то. Поезда уже нет, а поле. Шепчет:

– Прямо, прямо...

Знакомый голос, а лица не видно, темнота. Идем глубоким коридором, доски гнутся. Мигают – золотятся щели, под ногой: под нами освещенный зал, и гомон. Ступаю осторожно, вижу в щели: толкутся, хлопают дверями, ищут... Я знаю: самый т о т, где в шубах.

– Вот выход...

Это друг, родной мне, – может быть, отец покойный. Хочу обнять...

Один я. Дверь на блоке, кирпич рокочет. Вижу чистый снег, глотаю воздух.

Длинная казарма, баня. Мокрые окошки, тени там. Вода в канаве, пахнет банным. Бревенчатые стены, как труха: пропрела баня. Склизкое окошко. Приглядываюсь – все набито: тела, стойком, друг к дружке, плотно. Лопатки, ребра, шеи, – все костляво. Пар стоит, шипучий банный шум, гул шаек. Набито – не войти. Отыскиваю двери, – нет дверей. Мне жутко: как сдавились, трутся!.. Мне кажется, что пар идет от них, там холод. Я кричу:

– Пусти-те!..

Колышутся и жмутся, головы – как зыбь. Мне страшно: баня расползется, лопнут стены...

Ночь, снег. Я – в переулках. Снег белесый, – луна, должно быть. Мертвые дома, закрытые ворота. Я путаю, не знаю, где м о е... Вот перекресток, некого спросить. Какой же это город? Тупики, фонарики-маслянки. Клин... Рязань?..

Извозчик поперек, из переулка в переулок, тенью. Я слышу санки на зарубах, глухо. Навоз чернеет, огороды. Где я?..

Как будто, Сухарева башня, глаз часов. Мещанская, конечно. Без четверти... 7! А почему же никого не видно?

О, Господи... да где же..?

Садовая? Пустая, без садов. Заборы. Все перепуталось. Да как же так... забыть?!.

Еще извозчик, простучал в проулок. Здесь, кажется. На Житной? Тупичок, ограда...

Вижу – церковь, Кажется, она..? Нет, ниже. Где крестили – была высокая, с зеленым верхом. Паперть та же. Конечно, постарела. Я узнаю Угодника – в снегу, ограду. Здесь притвор. Да, самая та церковь. Заперта.

Я прижимаюсь ноющею грудью, целую прутья. Снегу намело в притвор. Купель стояла... белая купель, всегда стояла. Как часто поднимался по ступенькам, глядел за прутья! Она стояла, белая купель, на пятке. Старая купель,

моя. Я помню, как в нее... Я прижимаюсь, плачу. Нет купели. Проходит острое, одно, – в меня и в церковь. Белая купель... Мы связаны. Кричу от боли в прутья, в темноту. О, Господи!..

Ночь, весна. Я в кабинете моего патрона. Я во фраке, мне надо на защиту, в Окружной.

Мне так приятен строгий кабинет, покойный, чинный. Темные портьеры. Кожаный диван, глубокий, кресла, в зеленых шторках шкафы, бронзовые лица мудрецов. Я вижу Цицерона гладкий череп, Царя-Освободителя, с хохлом, Законы. Мудрые Уставы на столе. Стол длинный, у окна. Горит свеча. Окно раскрыто. Портьеру чуть колышет. Из сада тянет зеленью и ночью. Цветет сирень. Я вижу кисти. Свет от свечи на них, на матовых листочках, темных. Тишина. От уличного фонаря льет в тополь, струятся беловатые листочки.

– Обсудим... – говорит патрон, закуривая от свечи сигару.

Он благодушен и спокойно весок. Мне приятно. Я знаю, – он скончался. Но это ничего не значит: он – в другом.

Я говорю:

– Но как же вы теперь? У вас все тот же кабинет, порядок. И Уставы?.. Вас не коснулось..?

– Не мо-гут... – говорит он веско. – Они не знают. Все это... – он обводит кабинет и к саду, – вне! Закон... – захватывает он Уставы, пускает веером листочки, – вы знаете, еще Юстиниан... «висячее наследство»?..

Я вспоминаю что-то: да, Юстиниан..? «висячее наследство»? Он продолжает, веско:

– Ну, обсудим. «Висячее наследство»... Не нужно смешивать: не выморочное!.. – грозит он пальцем,– нет! Я знаю. Когда, правопреемник, неизвестен, в неведомой отлучке... – показывает он за сад, куда-то,– но он... есть! Презумпция... Ну, где-то... так сказать, по-тенци-ально. Обсудим казус... – размахивает он за сад. – Данный казус, огромное наследство, как бы висит и ждет возникновения по праву, – id est, momentum juris. Ясно? А здесь... – показывает он на шкафы, на кабинет в покое, – здесь-с – о-пе-ка! Неуловимая, моральная... скажу я лучше – ду-ховная опека, tutela spirita. Вот почему... не могут! Не будем говорить о праве: фактически не могут! Impotentes. Оно недосягаемо для тлена. Ergo: victores sumus! Ясно. Вам понятно?

Мне все понятно, нам – понятно. Я верю, и спокоен, что – опека, там, патрон все знает. Не могут. Вот почему и кабинет, и стол, и Своды, и за окном сирень, и дворник за забором, и куполок Успенья где-то там, – все прочно: «висячее наследство» и опека. Да.

Я схватываюсь:

– Carte d'identité... Мне надо... личность..?

Он понимает с полуслова. Смотрит на часы, – часы его на редкость, хронометр, – разглаживает русую бородку, чешет лоб.

– Устроим. Едем в Камергерский, сегодня Чехов. Там поручители... на стенках, в зале? – он моргает, – оттуда вы, как полноправный. Есть закон!.. – показывает он на томы.

Я понимаю: есть такой закон. Патрон все знает. Так мне хорошо, что я хочу увидеть куполок Успенья. Смотрю в окно: не видно, тополя мешают, разрослись. Как будто, месяц: свет по саду, тонкий. А за забором мирные шаги. Там дворник, горничная адвоката. Тихий смех.

Я слышу за кустами шорох.

– Это мой «Милорд»...

Я знаю: горничная вывела «Милорда». Мне покойно.

– Пока у вас ночую..? – говорю.

– Естественно. Ну, едем. Бисмарк там... А если Бисмарк...

Я понимаю: если Бисмарк...!

Патрон уходит одеваться. Я дремлю.

«Милорд» залаял?.. Грузовик рокочет, стук в ворота?.. Я слышу – голоса, по саду..? Они, за мною... знаю. Я тушу свечу, сную по кабинету, в темноте. На месяце окно яснеет. Шепчутся деревья, ветер. Шаги под окнами. Я слышу – цапают за подоконник, лезут... вижу, как картузы яснеют, головы стоят в окошке... Хватаю что-то и кричу, кричу...

Молочные полоски, смутно. Не понимаю – чтó, но слышу – радостное, в уши:

– Marchand d'habit et peaux-o-o..!

Париж?!. В Париже я... На уличке – marchand d'habit, старьевщик, шкурки. Я признаю молочные полоски-ставни. Гремят бадьи, грузовики увозят мусор... – утро. Тени скрылись.

Лежу я долго, прихожу в себя. Мне больно. В Париже, далеко...

Весь день – не свой. Ощупываю голову: в таком – и сколько! Все. От первого луча до – смерти. Вся жизнь, великое богатство жизней. И вот, marchand d'habit – последнее мое богатство? радость? Грязное тряпье и шкурки... Крик его срывает, кроет – все. Как на заре рожок, бывало.

Странно.

Февраль 1926 г
Париж

СИДЯ НА БЕРЕГУ

ОКЕАН

Иду на пустынный берег, к океану.

Тропинка ведет лесами. Поднявшиеся с песков, здешние леса глухи, строги: ни птиц, ни свежей веселой поросли, ни травки мягкой. Папоротник да вереск. Сосны не наши, медные, в розовой шелухе по верху, а черные до макушек, жесткие, – хмурь и мрак. Древнее, когда не смели смеяться краски. Гулы вершинных игл и рокот великих вод извечно ведут орган – печальный, строгий. Великая тайна слышится, – тоска бездумного бытия.

За лесами – холмы песка, блудные, в жидкой и колкой травке, всегда поблеклой. За ними – он, бездумный, первозданный, великое, мертвое лицо, – свинцом на дали. Тихий, отплескивает он время тяжелым плеском, швыряет бессчетным счетом. Ненужно оно ему: в нем оно. Бурный, мертво гремит валами. Тяжелое его качанье – неподвижно, вечно. Воистину, – пустота, бескрайность мертвого бытия.

Если сидеть на песках и слушать, как мерно отплескивается время, глядеть в пустоту на дали, – оцепеневшие мысли тонут, и вливаешься сам в бездумность, в качанье вод. Это – небытие?..

Недавно я так сидел, без мысли. Но было во мне, стояло за мною что-то. Оно толкнуло, – и я очнулся от этого качанья, от этого провала в вечность.

Снова я шел лесами. Оцепеневшая мысль проснулась и вскрыла бившееся во мне, живое. Оно забилось немыми голосами, таившееся во мне, мой мир. Живая сила, чужая мертвым, – лесам и океану, – враждебная им, я знаю. Невидимое, безмерное, – в него океан вольется: дух бытия живого. Всегда он со мной, я знаю. Хочет он быть свободным. Хочет он быть бессмертным.

Я шел – и он шел со мной, ограждая меня от тлена. Я чувствовал бытие живое, борьбу великого сна и яви.

В органном гуле рождались мысли.

... Колокола когда-то снились,
Колокола – весенний звон,
А в небе ласточки носились...
И сон, и явь, – и явь, и сон.

Колокола давно не снятся,
И снов не помню, сны ушли...
Лишь смутно тени их таятся,
Тоскою душу облегли.

Мне с океана ветры пели –
Усни, усни... один, один... –
Но помню – свист и вой метели,
И рокот вод, и грохот льдин.

Весна?.. Она. Я сердцем слышу..
Проснутся сны мои в весне, –
И новых ласточек услышу,
И новый звон – в последнем сне...

И океан бездумной далью
Вольет меня в качанье вод,
И явь за синею вуалью
Уснет бездумно в свой черед.

Тяжелый шепот бездумного качанья идет за мной. Надо уйти от него, я знаю. В тихие места, привычные и ручные, где воды не плещут мерно, где голос жизни связывает меня со мною, с прошлым.

Я иду в тихую лесную заводь. Океан и сюда приходит, неслышно, как половодье наше, тихо захватывает пески, снимает уснувшие на песках лодки. Но все в молчанье. Не видно его, не слышно. И я покоен.

Здесь розовато-бледно цветет тамариск, сонный, цветами, похожими на наши, – совсем такие растут в оврагах, запах их горьковатый, легкий, чуть-чуть дурманит. Здесь много кустов веселых, – цветут они золотисто, как наш акатник. По мягкой травке рассыпано много курослепа, и скромненькая манжетка, со светлой слезой в сердечке. И сосны здесь посветлее, и много солнца. Дороги по сосняку сыпучи, совсем как наши. И мох такой же. Дали здесь нет свинцовой, не гаснут мысли. Кричат петухи за лесом, как там, в далеком... Кукушки считают годы, и перебои их радостны в испуге, будто заколотилось сердце, – вот-вот случится!.. Звонкой дрожью звенят по лесам пилы, приносит ветром знакомый смолистый запах досок, опилок, – и ломкие пленки гонок вытянутся вот-вот на глади, сверкающие рубахами, шестами... Даже благовест бедной церкви катится по лесам жидко,

сбивчиво,– милые наши «сковородки»! Я знаю, что это с острой, хмурого камня, церкви чужого Доминика, но можно принять за наше.

Здесь, в тишине залива, покойно думать. Думы не гордые, не навеянные величием дел смертных: думы – о светлом прошлом.

Здесь я – на берегу, вне жизни. Человеческий океан где-то шумит и плещет, качается неподвижно в бессчетном счете, а ты стоишь на неведомом пороге, безудельный... Порваны нити с бездумною каруселью жизни, опыт как будто кончен, можно сводить итоги. Или – еще не кончен?

Сидя на берегу, внимаешь... Верная – где дорога? Цели великого кружения, шума? Качается океан безмерный, бездумно втягивает в себя, вливает. Живая душа, где ты?

Я вслушиваюсь в себя, внимаю.

Крик петухов за лесом, кукушкин позыв, омытый лесною глушью, и благовест дальней церкви – приводят ко мне родное. Смотрит оно в меня и плачет. Я нежно касаюсь его пугливой думой, и это чудесное посещенье рождает во мне надежды. Я понимаю родные слезы, я слышу шепот побитой правды, живую душу. Покорный зову, я расскажу этот шепот сердцем. И он не уйдет со мною.

КРЕСТНЫЙ ХОД

В лесной тишине залива, куда океан приходит в положенные сроки, думаю я о прошлом. И вот – бытие, живое, душа над тленьем. Не безумное мертвое качанье, плесканье бессчетным счетом, свинцовая даль, пустая, – а Дух ведущий – святое в человеке.

«...Иже везде сый и вся исполняяй...»

В звоне ли сосен чудится мне эта святая Песня, или это душа моя?.. Под благовест чужой церкви слышу я наши звоны, наши святые Песни.

«Царю Небесный... Утешителю, Душе Истины...»!

Тысячи голосов поют, но единое сердце бьется. Тысячи голосов, под небом.

Небо родное, блудною синевой разлито, пухлые облачка на нем. Свежесть первых осенних дней, тени прохладны, густы, но мягкое солнце греет. Астры в садах подолгу стоят в росе. Подсолнухи переросли заборы, головы их поникли. Рябины обвисли грузно, березы засквозили, и тихими вечерами слышно, как курлыкают журавли – на полдень.

Закрою глаза – и вижу.

Сталкиваясь, цепляясь, позванивая мягко, плывут и блещут тяжелые хоругви, святые знамена Церкви. Золото, се-

ребро литое, темный, как вишни, бархат грузным шитьем окован. Идет не идет, – зыбится океан народа. Под золотыми крестами святого леса знамен церковных – грозды цветов осенних: георгины, астры, – заботливо собранное росистым утром девичьими руками московки светлоглазой.

«Святый Боже, Святый Крепкий... Святый Бессмертный...»

Святое идет в цветах. Святое – в Песне.

Строго текут кремлевские. Подняли их соборы: Спас на Бору, Успенье, Благовещение, Архангелы... Темное золото литое, древнее серебро чернью покрыла копоть, сиянье скупо. Идут – мерцают. И вдруг – проснется и ослепит, из страшно далекой дали, – Темное Око взглянет. Благоволение или – гнев?

Трудные, строгие хоругви. Бородатые мужики-медведи, раскинув косые плечи, головы запрокинув в небо, ступают тяжелой ступью, бредут враскачку, будто увязли ноги. Тяжелы древние хоругви: века на них.

Старые храмы, новые, – все послали. Цветное, легкое-кружевное, в новом, задорном блеске, колет глаза сверканьем. Молодостью смеется, заскакивает бойко, бьется стеклянно-звонко. И вот, – запнулось. Колышась, грузно текут кремлевские. Дошли, тяжело мерцая.

На золотых крестах – вышках, на окованных медью древках, по золоту стрел сиянья – пышная поросль спаржи, легкая, как страусовы перья, зеленым дымком дымится. Принес ее на святое дело хозяин-огородник, что-то еще хранящий за грудой своей капусты. И золотые шапки подсолнухов, поздние солнца лета, кивают в неспешном ходе. Зеленое, золотое, – течет и течет, в топоте тысяч, тысяч, над непокрытыми головами в блеске, над черными жаркими волнами.

Подняты над землей Великие Иконы – древность. Спасов Великий Лик, темный-темный, черным закован золотом. Ярое Око – строго. Пречистая, Богоматерь Дева, в снежно-жемчужном плате, благостная, ясно взирает лаской.

«...Упование рода христианского...»

И древний Корсунский Крест сияет хрустальным солнцем.

«... и благослови достояние Твое... Побе-э-ды-ы... на супротивные да-а-руя...»

Взрывно гремит, победно несется к небу. Шумит океан народный, несметную силу чует: тысячелетие нес знамена!

«... прииди и вселися в ны...»

Льется святая Песня – душа над тленьем.

И где все это?!.

Я вслушиваюсь в себя. Поют...? Сосны поют. В гуле вершинных игл слышится мне живое: поток и рокот.

Этот великий рокот, святой поток – меня захватили с детства. И до сегодня я с ними, в них. С радостными цветами к крестами, с соборным пением и колокольным гулом, с живою душой народа. Слышу его от детства – надземный рокот Крестного Хода русского, шорох знамен священных.

За тысячи верст – все слышу: течет потоком.

Придет ли Великий День? В солнце и холодке осеннем, услышу ли запах травы замятой, горечь сырых подсолнухов, упавших в ходу с хоругвей, и этот церковно-народный воздух, который нигде не схватишь, – запах дегтя и можжевельника, теплого воска и кипариса, ситца и ладана, свежих цветов осенних, жаркой одежи русской, души и тлена, – исконный воздух Крестного Хода русского, веками навеки слитый? Услышу ли гул надземный – русского моря-океана?..

Обрывки святого сна. Сияют они кусками, – разбитая Икона.

С далекой, чужой земли слышу я Крестный Ход, – страстной, незримый. Изнемогая, течет и течет он морем к невидным еще стенам далекого Собора, где будет Праздник. Без звона идет и без хоругвей, и Песен святых не слышно, но невидимо Крест на нем. Подземный стенящий гул, топот уставших ног, бремя невыносимое. Но Спасово Око – яро. Оно ведет.

«Утешителю, Душе Истины...»

Вслушиваюсь в себя, спрашиваю немою мукой: будет ли, Господи?!...

Сердце мое спокойно.

ЗОЛОТАЯ КНИГА

Сон ли это, или осталось во мне от жизни?...

Видится мне великая Золотая Книга.

Жаркие пятна стоят в глазах: пылающие свечи – золотые кусты горящие, в полном народа храме, сверкание окладов, блески парчи на ризах, – и блистающая в дыму кадильном, вознесенная Золотая Книга.

Почему я вспомнил о Ней сегодня?

Здесь, по лесам, – заросли золотого дрока и золотого терна. Всюду они, – волнами, холмами золотыми, – куда ни взглянешь. В солнце, они пылают, и долго стоят в глазах их яркие, праздничные пятна. Они остались во мне, со мною пришли из леса, от залива, колыхнули в душе минувшее.

Вижу я, как живую, великую, окованную блеском, в сиянии огней, Книгу. Тугие руки диакона-силача держат Ее над храмом, – и бархатный, и густой рев-возглас, как колыхание колокольной меди, гудит надземно:

«Премудрость... воннн-мэ-ммм...!»

Дрожит голубой воздух, дрожат огоньки свечей. Над преклоненными головами плывет, колышась, закованная блеском, великая Золотая Книга, – Евангелие великопраздничное, парадное. Поднято Оно с Престола и вознесено над храмом. Звякают серебром тяжелые застежки, грузно разламывается Оно на аналое, две высоких свечи, качаясь, смыкаются копьями огоньков над негнущимися листами в золотом обрезе, над переливчатыми шелками парадной ленты... – и густая волна небесно-земного звука растет и заливает...

«Во вре-мя о-но...»

Евангелие, Весть Благая.

Когда же Оно откроется, Св. Евангелие России, – и *все* прочтется?..

Не сон мой это, а осталось во мне от жизни. Это – живое слово, простого человека, деревенского слесаря-пьянчужки. Запало оно мне в душу – и вот, на чужой стороне, открылось:

– «Про нашу Россию теперь... в Евангелие писать надо, как Страсти Христовы! Все записать, чтобы навеки помнили... и читать в церкви, благословясь!..»

Это было не так давно, в побитой дотла России.

ГОРОД-ПРИЗРАК

Город чудный, город древний...
Ф. Глинка

Город-призрак. Он явился моей душе; нетленный, предстал на небе. Ибо земля – чужая.

Я лежал на песке, в лесной тишине залива. Смотрел на небо. Смотрел, защурясь, как сияют на солнце кусты золотого терна и золотого дрока. Белое, синь да золото. Хмурые сосны в небе. Прилив был в силе. Плавная его зыбь плескала. Под шепчущий плеск дремалось..

Облака наплывали с океана, невидного за лесом; их рыхлые снеговые груды громоздились за соснами, валились на их вершины, пучились и клубились пышно. Быстро менялось в небе. Вот – выдвинулась гора, склонилась. За нею – город: холмы и башни. А вот, купола за куполами, один над другим, рядами, как на гравюрах старых «Святого Града»: храмы над храмами, в серых стенах из камня. Стаяло – и опять всклубилось. И вот, выпучился над всеми купол, поширился, – и я уловил в мгновенье: великая шапка витязя, шлем, – и шишак на нем. Блеснуло в глазах, по памяти: вот он, наш Храм московский! Христа Спасителя. Держался одно мгновенье, – и вытянулся язык по небу.

Я вспомнил широкие дорожки сквера, кусты сирени и барбариса, изгороди подстриженной калины, редеющие клумбы цветов осенних, церковных, «крестных», — бархатцы, георгины, астры, — все широко, разгонисто, и все — до старых, широких яблонь, до каменной ограды, завитками, — приземисто и плоско: все придавило Храмом. В золотом шлеме исполина, видный на всю Москву, совсюду блистающий сияньем, за многие версты видный, со всех концов, он давит своею массой. Бродишь, бродишь вокруг него, с трудом поднимая ноги: такая тяга! Глядишь на стены, на купол, закрывший небо, и в голове мутится, — такая сила!

Вечер, сухой и ясный. Нелюдимые сторожа, в серосуконных блузах, с модными бляхами, поливают неторопливо клумбы. Так тихо, что шорох дальней поливки слышен. Свеже пахнет водою, пылью, осенней сушью. За кустами щебечут гимназистки, но их голоски чуть слышны: все глушит Храмом. В воздухе до того прозрачно, что все Замоскворечье видно: над золотисто-зелеными садами сияют колокольни, кресты, купола, окошки. Видны даже у крестиков цепочки, веревки на каланче, черные шарики сигналов. Там еще шумы жизни, а здесь — благодатно-тихо. Чуткотихо. У великого Храма всегда тихо.

Мосты хорошо отсюда видны: Каменный, Чугунный. Направо — даль, осенние Воробьевы Горы, в позолоте, к реке — позеленее. Палочками бегут фонарики, и в них по солнцу. От моста накатывает гулом, слышно даже отдельное копыто.

Внизу — река, малая, простая, Москва-река. Спят на ней плоскодонки рыболовов, блестит зеркально золотой шлем Храма. Утки плывут к Замоскворечью, к древним хоромам Скуратова-Малюты. Вьются за ними серебристые дорожки.

В Храме всенощная идет. Колокола переговариваются печальным звоном, один за другим, редко... — и вдруг, все вместе, ударят разбито, скорбно. И опять, мерные удары.

Это Животворящий Крест выносят.

Звон великого Храма чудный: много в нем серебра, и медь его по-особому певуча: глухая, мягкая, будто земля взывает. Из мягкого камня Храм, песчаный, светлый. Стены его — все наше: память о собиравшейся ратными силами России. Александр Невский, Дмитрий Донской, Владимир, Ольга... Какая даль! Высечено веками в камне. Бродят перед стенами кучки людей заезжих, смотрят, читают вязь. Долго, устало ходят. Трудно ходить у Храма: тяжелая его масса давит.

А вон и хранитель славы, святынь российских, хранитель былых страданий, зерцало наше, — башенно-стенный Кремль, над тихой Москвой-рекой! И сам тихий. Вызолоченные орлы его на башнях блистают в вечернем солнце,

раскинув крылья. Орлы не хищные, широкие и пушистые, – орлы России. Соборы, башни, Иван Великий, золотисто-серебреные верха, кокошнички, пузыри, оконца, башенки, теремочки, стрелки, городочки, кресты, кресты... шпиль золотой, дворцовый, кардинальская шапка на Сенате, зубцы, зубцы... Сколько там света, блеска, зайчиков, искр, игры! Сколько там спит святого, крепкого и бессмертного, кровного нашего, родного, под сводами соборов полутемных, тесных, хоть и неладно, да крепко сбитых из тесаного камня! Там Святители почивают, водители народа смутного, степного, лесового. Сколько там целости духовной, любви и жертвы! Петр, и Алексий, Русь от татар хранившие, Филипп, Царя за неправду обличавший, Гермоген, из уз призывавший к доблести и чести, умученный... Даль святая и светлая, – из тьмы времен, из лыка, из поскони, из скудости, – скромно глядит доселе. Святая крепость сложила какое Царство! Степными силами собрала, вязала лыком, жилами сплетала, слезами спаяла, кровью. Там лампады мерцают кротко, после пламени бурных лет. В свете вечернем, тихом, стелется голубой ладан – после дымов-пожаров. И Спас Темный, неусыпным взирает Оком. Что провидит России в далях?..

Крест выносят, в цветах. Пение через стены слышно. Перезвоны текут печально, мерно, – и вот, бьются колокола надрывом.

«Кресту Твоему поклоняемся, Владыко...»

Сумерки гуще. Замоскворечье гаснет, сады темнеют. Но крестики колоколен четко видны на небе.

И Кремль гаснет. Великий Иван-Звонарь еще блистает смутно.

И здесь темнеет; но светлые стены Храма будут белеть и ночью. И золотая шапка будет светить мерцаньем.

И Царь темнеет. Он грузно сидит на троне, глядит за Москву-реку. У ног его спят орлы. Не спят: сторожко глядят, поднявши для взлета крылья.

Тяжелый, широкий памятник. И Царь тяжелый. Последний из Собирателей, Царь Мира и Державы. Царь мужицкий. С крепкими кулаками, в сапогах мужицких, мужик лицом. Порфира Его громадна; трудна, тяжела Держава. Но руки крепки: держал – не гнулся. Место Ему – по Нем: у Храма побед и мира, у русской силы. Сидит и глядит за реку, за Москву-реку, на прошлую даль степную, откуда валили орды. Россия собрана, крепко сбита. Можно сидеть, глядеть. Мудрые дали учат: тише едешь – дальше будешь. И Он – сидит. Орлы сторожат концы: крылья для взлета подняты.

Облаков с океана меньше, – ни куполов, ни башен. Голубое над лесом небо. Пора домой.

И я уношу с собою призрак чудного города. Я повторяю имя, негромкое и простое, мягкое –

Москва.

Покойная простота и сила. Белый камень и золото.

Кто, силач, возьмет в охапку
Холм Кремля-Богатыря?
Кто сорвет златую шапку
У Ивана-Звонаря?..

Нетленное взять нельзя. Держит Господь в Деснице времена и сроки, – и Ярое Око Его сожжет закрывшую Его тьму.

Верю.

МОСКВА В ПОЗОРЕ

Когда солнце потонет в океане, когда последняя его искра гаснет, – вдруг, в помутневшей дали, дымное пробежит блистанье, мигнет в облаках заката. Живое за ними бьется. Кресты ли небесных колоколен, сверканье звонов?.. Смотришь – померкли дали, колышется океан бездумный, синеет ночью.

Все, кто живал у океана, знают это прощанье солнца – чудесную игру света. Мне ее грустно видеть. Вспоминаются дымные закаты, блески, – дымное золото и звоны. Блеском играли звоны, в душу запали с детства и стали светом.

Были когда-то звоны, слышала их душа живая.. Святой Китеж... Не захотел позора, укрылся бездной. Соборы его и звоны нетленно живут доныне, в глубоком Светлояре. Сокрылся Китеж до радостного Утра, чистый.

Никуда не ушла Москва, покорно лежит и тлеет.

Не было Светлояра-чуда, – почему же в пожарах не сгорела, отдалась, как раба, издевке?!.

Помню Москву в расплохе, – дым и огни разрывов над куполами Храма, блески орлов кремлевских из черной ночи, вспышки крестов и вышек. Звали кресты огнями. Тихие соборы полошились.

Помню свое Замоскворечье – темень осенней ночи, безлюдье улиц, глушь тупиков и переулков. Прятались за углами тени. Человеческого лица не видно – только тени. Так и по всей России.

Помню осеннюю тьму расплоха, смутные говорки, шептанье, – лузга и ветер.

– Матрос проходил. Через нас уж перекатило, теперь под ними!..

– К одному бы уж концу, что ли. А чего говорил-то?

– Не велел бояться. Ваша сторона обеспечена... занимайтесь, говорит, своим делом, а мы наведем порядок.
– По-рядок... по Кремлю стреляют!
– А по-вашему – камни дороже или люди?
– А вот чуда не происходит!..
– Еще будет...
– Безобразие будет. Раз церкви разбивают...
– Бацнуло-то как гулко... в кумпол?..
– Ка-кое допустили!..
– Кому не допустить-то? Самого главного свалили...
– Никак через нас кидают?
– С «Воробьевки» это. Всю Москву под один прицел взяли!..
– Вот это доверте-ли! Все теперь колокольни посшибают...
– И народ не вступается! В старину, бывало, в набат били.
– Крепче в старину люди были. Минин – Пожарский, поглядите.
– Известного человека нет. Будь известный человек...
– Скорее бы уж установляли...
– Установляют. У Серпуховских в «Теремке» штаб сидит, телефоны прокладает...
– В трактире! А по Кремлю зачем же?
– А чего святыми загородились? У Пушкина вон, от правительства был, с бородкой... обязательно, говорит, церковь отделять надо!
– Это который в шляпе?..
– Вы его, погодите, не пугайте...
– А по-настоящему, так бы надо: вышли бы на Ходынку, и сражайся? А то в городе, по народу...
– Известного человека нет. Будь известный человек...
– Про историю никто не знает! Покуда не объявится знаменитая личность...
– У нас объявилась.
– Опять энтот, шляпа обвислая! Дайте ему разговориться...
– А чего этот, как его... все ездил? Только уедет – сейчас и объявляется! Власть на одном месте должна править. А как начнут ездить...
– Погодите, ближе подойдет... Нет, к воротам подался!..
– Почему у всякой настоящей власти о-рел? чего, по-вашему, знак этот означает?..
– Раз держава, надо держать! У Костомарова, например... Минин и Пожарский... И помазание было!
– Теперь во как ма-жут!
– Гляди-гляди, от Бутиковой фабрики взялись! С чердака глядеть хорошо...

– Безобразие!..

– Вон-вон, за уголок-то хоронится... в ворота побег!..

– Ну, теперь... поголовно ответют за порядок!

– Обязательно. А то один разговор, а дела не видно.

Давно было. Свеяло лузгу ветром.

Помню Москву в расплохе, отданную захвату нераденьем, бессильем власти; героев одиночных, бившихся голыми руками; и «мир почетный» – последнюю насмешку.

Помню Москву в позоре – беспутный гомон, под красными лоскутами в блестках, в сусали трактирной, балаганной. «Впи-ред... вперед...!» – похотливый, разгульный выкрик, мокрые юбки в ветре, над голыми ногами, шлепающие в лужах полсапожки, раздерганные кофты, сбившиеся платки на шеях, простоволосые головы под ветром, сиплые с визга глотки. Разгульно, пьяно брели под дождем, по грязи. Стада по Москве бродили, ревели – ко-рму!

И строгие лица помню, – в тоске, в тревоге.

Пьяную Москву-реку, в разгульных лодках, в матросах гологрудых, в гармоньях, в девках... И Храм, золотой, зеркальный, в пьяной реке метался.

Выбитые до лоска парки, смятые цветники бульваров и своры девок, щекастых, голоногих, на круглых ногах-обрубках, с бедрами обгулявшейся коровы, с расхлястанной солдатней в обнимку, с красными лентами на челках, в награбленных обновках. Ходили за ними кавалеры, в бантах, в хохлах, в навертках, обнюхивались, терлись.

Стада игрались – и крепко несло навозом.

Помню и их владельцев. Они проносились в реве, глядели хозяйским глазом, подманивали кормом.

Вижу побитый Кремль, пробитые купола соборов, взывавшие из-за стен мерцаньем. Сбитую башню вижу, умолкнувшие часы на Спасской. Никольские Ворота, образ Угодника Николы, чудо: красная тряпка тлела, падала на народ клоками – выглянул на народ Никола.

Святителя, замазанного краской, забитого досками.

Стада отдыхали под стенами, глазели на Минина, в издевке, под красным флагом.

Помню Великий Ход, последний, Крестный.

Москва взывала, стояла у стен кремлевских, просила чуда. Помню Святое Половодье: тысячи – тьмы народа. Черно кругом Кремля. Черным все улицы забиты...

«Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его...»

Москва молилась. Стояла у стен стенами.

Не совершилось чуда.

Я и теперь все слышу, из дальних далей, вопль православного народа.

Смотрели застенные соборы, колокола молчали.

Не совершилось чуда.

Дымное золото закатов, тревожные блески колоколен, душные ночи лета, светлые и глухие, в жути... Залпы ночных расстрелов...

RUSSIE

Ивану Алексеевичу Бунину

Сегодня я слышал о России. И где слышал!

Место совсем глухое – лесной, первобытный угол. Узким заливом входит океан в чащу, плещется у корней сосен. Крабы играют на песочке, заходят в вереск, путаются и остаются, когда океан уходит. Медузы истаивают в блеске, усыхают морские звезды. Сосны роняют шишки, и они уплывают в море. Встречается океан с лесом, идет обменка. Люди с большой дороги заглядывают сюда редко: нечего здесь смотреть, – песок да сосны. Дорога идет неподалеку, бегают по ней автомобили, аукаются с чащей. И долго стоит за ними облачко беловатой пыли.

Свои здесь дела, свои и люди.

Бродят в соснах немые смологоны, стучат долгими скобелями, будто дятлы, сдирают кору до мяса, вскрывают жилы, – выдаивают в горшочки «сахар».

– Лесные коровы наши! – говорят здесь о соснах.

Всюду плывет смолою, янтарной, вязкой, – сахарится, густеет. Трещит на жаре щепой, золотится глазурью стружка, в сахарной крупке текут желобки на соснах, обсахарило горшочки, – сладкой смолою душит. Странно и больно видеть такие сосны, живые на них раны. Куда ни глядишь – все плачут, истекают, милостыньку просят у прохожих, – каждая со своим горшочком.

Такая уж тут культура.

Хорошо здесь в июльский полдень; потрескивает кругом от зноя, томит истомой, засмаливает мысли.

По отливу бродят ребятишки, собирают «петушков» и мулей на продажу. Совсем как наши: штаны на шее или подсучены до пуза; и голоса похожи, – только задору меньше, не дерутся. Но лица совсем другие, чернявы, жучковаты; и глаза, и носы другие, и повадка: чего-то не хватает. Шустрого любопытства, усмешки плутоватой, бойкой? Недостает чего-то. Вспомнишь – бывало, говорили: «народ забитый!» Нет, наши на забитых непохожи. Бойчее, моложе наши, – это верно. И пошумливей будут.

Ослик стоит в двуколке, развесив уши, пощипывает вереск, дремлет. От ящика на колесах остро несет ракушкой,

морем. Рыбачка, в мокрых штанах, подкрученных до бедер, в красной баске, в шляпке с широкими полями, жадно нашаривает в песке ракушек, резко кричит на ребятишек:

– Живей, лентяи!..

Ноги у ней столбами, руки пылают кровью, но выговор приятный, и «г» хорошо играет. Закроешь глаза – классная дама в институте. Слышно, будто белье полощет. Смотришь – шлепает по щекам мальчишку. Мальчишка стоит покорно, только головой вертит.

Свои здесь дела, свои и люди.

В этом чужом углу я нежданно услышал о России:

– Russie!..

Странное было чувство, будто позвали тебя в пустыне, – испуг и радость.

Но расскажу, как было.

Я лежал под сосной, набирался смолы и солнца и ни о чем не думал. Может быть, вспоминал мечтаньем?.. Прилив отходил, лужи его сверкали зеркалами, глаза слипались. Ослик вдруг начинал трубить, истомно, скорбно, и замирал в рыданьях. Рыбачка грохнула в ящик мули, глотнула из бутылки, уперлась в бедра, вздохнула бурно, сказала чему-то – bon! – и пошла подбирать ракушки. Пахло красным вином, согретым, и я тоже подумал – bon! Было дремотно, знойно. В вереске копошились, гудели пчелы, в соснах трещали шишки, стучали смологоны. Я лежал, прищурясь, прислушивался к стукам и вспоминал наше лето, тихое наше небо. И они приходили, как живые, – и запахи, и звуки.

...Я сижу на березовой опушке, слышу прохладный шелест, вижу зеленые сердечки, трепетанье. Пахнет березой, горечью ее сладкой, сухими пнями, свежим луговым сеном, теплым. В высокой траве, в редких, уже отцветающих метелках, сквозит колея дороги, еще от весеннего распутья, когда объезжали к леску, повыше. Гнездышко даже на ней видно, льняное, травяное, – какой-то доверчивой пичужки. С весны не проезжали. За дорогой, за редкими кустами, – луга, широким и ровным скатом, до темных ракит речки, сверкающей где-то омутами, в глинистых берегах, в дырках стрижиных норок, с журчливою галькой брода. В лугах хлопотливая уборка: всюду пестро, белеет, – платки, рубахи, рыжие шалаши, телеги, с вздернутой на оглобле юбкой, с повянувшей березкой. По светлому лугу, в желти, – темные гребешки прокосов, новые грабли блещут, скачет легкими ворохами сено. На темном возу мужик, на солнце совсем пунцовый, поплясывает, уминает. Кидают ему на вилах. Под возом маленькая совсем лошадка, но ее до дуги всю видно, как вскидывает мордой, лягает слепней под брюхом. За речкой – хлеба по взгорью, повыше – пожелтее, за ними риги;

длинная улица деревни, в ветлах, чье-то богатое именье – высокий зеленый остров, стрельчатый круг ветрянки, колокольня с зеленым верхом, и в поднебесной дали, под темной каймою бора, вспыхивает белыми шарами, – будто колеса катят: это ползет товарный, долго-долго. Неохватная ширь какая! Я слышу даже, как аукаются в лесу ребята, раскатывается гулко, в глухой глубине за мною. И совсем близко где-то, чистый и нежный девичий голос раздумчиво поет песню...

Так для меня все живо, незабвенно живо.

Зашумела машина на дороге, стала. Голоса яснели, и появились трое. Один обводил рукою, восхищался. Другие стали глядеть в бинокли. По виду, приезжие, туристы, как будто англичане: высокие, в путевых каскетках, с кодаками. Первый, невысокий, жирный, был, очевидно, здешний, в обмятом домашнем платье, в соломенной жесткой шляпе, как деловые люди. Он что-то говорил, быстро, с жаром, – сверкали золотые зубы. Туристы озирались, справлялись в книжке, отчеркивали ногтем. Быстро раскрыли аппараты и сняли холмик, на той стороне залива, куда особенно тыкал здешний, живописную рыбачку в штанах, нагнувшуюся над грязью, дремавшего ослика и меня, конечно. Иные слова я слышал. Толстяк повторял в восторге:

– Très joli! très joli!..

Англичане мычали, соглашались.

– Не правда ли, господа... совсем как маленькая Швейцария? Как красиво!..

– Très joli! – сыпалось, как горохом.

– Это – редкость! Гигантская высота для дюн, шестьдесят три метра! Это – горы! Весь океан отсюда... très joli. Для отеля если или для шикарной виллы... Имейте в виду... пожалуйста, только между нами, дело коммерческое... конструируется Общество, с громаднейшим капиталом... пятьдесят миллионов!! Тогда...! Под гольф отведем...

– Гольф будет?

– Как же без гольфа?! Приезжают и спрашивают – гольф есть? Отведем сотню акров.

– Гм...!

– Будущее – громадно. Роскошное казино, прямо на «mer sauvage»! Блеск культуры!..

Они подошли ближе и присели. Толстяк раскатал бумагу, и опять защелкало горошком:

– Très joli! très joli!..

Постукивание в лесу смолкло, и из-за сосен выбрался смологон, со своей неизменной сумкой, с длинным скобелем на плече, в затертой куртке, в залитой смолой каскетке. Он угрюмо сказал – «bonjour», расстелил газетку, достал бутылку вина, хлеб, ножик – и принялся за завтрак. Он забот-

ливо отрезал толстые куски хлеба, жевал неспешно, поглядывая на сосны, на проезжих, и отпивал мерно из бутылки. По насторожившемуся лицу я видел, что он прислушивался, о чем говорили трое. По тому, как он взглядывал к приезжим и как отхватывал ножом от хлеба, я понял, что эти люди его интересуют и волнуют. Он даже завозился, крякнул. Лицо его остро натянулось, тонкие губы повело усмешкой. Он тряхнул головой к приезжим и сказал про себя, сердито:

– Иностранцы, отели, виллы... ловко работают агенты. А где *мы* будем?.. Non, portes ailleurs vos coquilles, là-bas!

Он дождался, когда толстяк поднял голову от плана, и крикнул добродушно:

– Здравствуйте, господин Ляфон! Дела идут на лад?

– Здравствуйте, Франсуа, – сказал толстяк. – Ничего. А как ваши?

– На-ши!.. Donnons boeuf – avons oeuf.

– Ну-у... – протянул толстяк. – Канифоль лезет в гору, как каучук!

– Нам не до каучука. Не думаете ли вы спустить все наши леса, до самого Аркашона, со всеми нами?

– *Ваши*... леса?! Какие – *ваши*? Что вы хотите сказать?..

– Да что сказать... Думаю, что плохи в лесах дороги... для каучука!

– Как? – передернул агент плечами.

– Да так. Тесно. Можно и не разъехаться. Да и липко...

Туристы вслушивались, но, кажется, неясно понимали: смологон говорил нечисто, по-лесному.

– Что-то я вас не понимаю... – изумленно сказал толстяк и посмотрел на сосны.

Смологон отмерил на бутылке, приставив ноготь, и вытянул, сколько надо.

– Вы все понимаете. Когда мы в окопах мокли, вы сухими мешками торговали, для земляных укрытий. Теперь сырою землей торгуете..?

– Торгую. Ну так что же?

– Ну и... покупателям лучше вперед подсчитывать убытки.

– Ne faites pas la bête! – крикнул агент сердито, срывая шляпу, и щелкнул о коленку, как коробкой. – Что вы хотите сказать?..

– Что я хочу сказать?.. Не стоит тратиться на гербовую бумагу. Ветер меняется! Наши леса, ваши леса... Забыли, что ли, как лет пять тому было, какие разговоры?..

– Какие разговоры?..

Смологон уже кончил завтрак, забрал сумку и скобель и, не ответив, ушел за сосны. Скоро опять послышалось выстукиванье дятла.

Туристы спрашивали агента, тот объяснял им долго, стучал шляпой о костяшки пальцев, тыкал к лесу, и я услыхал

ясно, как вместо сладкого «très joli» – выскочило совсем другое, заставившее меня дрогнуть:

– Russie!

И стало повторяться.

Говорили теперь все трое. Агент что-то выкладывал на пальцах, куда-то тыкал, высоко над лесом, и в его пылкой, несвязной речи прыгало трепетное слово:

– Russie!.. Russie!..

И те двое – это были, конечно, англичане, – повторяли на своем языке, такое шипящее, сквозь зубы:

– Рёшш... Рёшш...

Они говорили о России.

Путаное я слышал, только. Говорилось злобно, насмешливо, высокомерно:

– Чума, зараза. Азиаты. Никогда не было закона, никакой культуры. Рабы, язычники, людоеды. Царь и кнут. Пьяницы, дикие мужики, казаки. Царь всех казнил, любили всегда нагайку. Грязные животные! Понятия чести нет, нам изменили. Теперь дикари хотят разрушать культуру! несут заразу! Надо их научить культуре, надеть узду. Прекрасное поле будущего. Надо колонизовать, надо раздавить в зачатке...

Всех громче кричал агент. Он даже плюнул и крепко растер ногой. И все вертелось:

Russie... Russie... Рёшш...

Наконец, успокоились, опять стали разбираться в плане, и опять слышалось – tres joli.

Я не сказал ни слова. Что им может сказать дикарь, раб, которого били кнутьями, который сам убежал *оттуда?* Они все знают; давно и хорошо знают. Им сказали. Им десятки лет говорили, «самые лучшие, самые культурные», изгнанные за правду царями-палачами. Они знают: Russie! Это – царь и кнут. Страна бесправных рабов и виселиц. Нагайки свищут по всей стране. Царь спаивает народ, вымаривает голодом, снимает последнюю рубаху. Урядники, казаки, фабриканты, помещики... выжимают последнюю копейку, выколачивают нагайкой. Они все читали, десятки книг, – и знают эту Russie – страну вечной зимы и мрака, где ходят в звериных шкурах, где едят человечье мясо. Великая пустыня, где нет никакой культуры.

Они – европейцы, и все знают. Что им может сказать дикарь, который не знает права, ни морали? Мои слова они разотрут крепкими гвоздяными башмаками – этот невнятный лепет никому непонятной «l'ame slave» прикидывающейся глубокой, кроткой.

Я сказал бы... Но что мне сказать – *теперь*?..

Машина покатила. Осталось в ушах:

– Russie... Russie... Russie...

Кто ее так прославил, пустил по свету? «Цари-палачи» да «кнут» – всего и было! Кто ее так ославил, так ограбил?!

Усыпленная мысль проснулась и увела меня вдаль и вглубь.

...«Россия в цепях. Царские палачи, опричники. Виселицы, урядники, жандармы. Сапог жандарма. Забитый, темный народ, в тисках кулаков, помещиков, попов, кабатчиков и жандармов. Царь-кабатчик. Страна истекает кровью. Престол-отечество! Православие, самодержавие, народность... пресловутые три кита. Царские хищные орлы. Христолюбивое воинство! Серая скотинка!..» – яростный свист и гик.

Мне вспоминались книжки, полные клеветы и злобы, где все подбрито: вырвано сердце жизни, вытравлены все краски, выдраны гордые страницы. Груды листков бездарных, полных трескучей травли; статьи в газетках – на всех языках, и всюду – одно кривое. Ни слова ласки, ни одной светлой точки. Ни единого слова гордости Россией, ее движеньем!

И вот – гиблая, мертвая, лихая. Подменный паспорт стал уже настоящим. Налганный лик оправдан. Пугалом стала, притчей. Какие слова скажешь?!

Russie... Russie...

Прилив отошел. Синие его воды были теперь чуть видны. Остался грязный песок да тина. Ребятишки копались в них. Чем-то рассерженная рыбачка опять шлепала по щекам мальчишку, дала наотмашь и крикнула крепко:

– Merde!

Ослик трубил истошно, домой просился. Рыбачка грохнула мули, треснула ослика корзинкой, взглянула на меня строго и стала собираться. Живописная издали, она оказалась грубой, усатой, желтолицей, с тяжелыми, жесткими глазами. И штаны на ней оказались не штанами, а ловко замотанной у бедер юбкой. Она сердито вскочила в ящик и погнала песками. Ребятишки бежали рядом.

Было уже за полдень. Прямое солнце душило смолой и зноем. Пощелкивали лопавшиеся шишки, потрескивало щепой и стружкой, жестко стучало в соснах, царапало по коре, трещало, драло. И во всех этих шорохах и тресках стояло остро в моих ушах, пылало в моих глазах трепетное для меня слово – хрустевшая на чужом языке – Russie.

Когда я выбрался из смолы, перестал уже слышать трески, вздохнул свободней, – огромный голубой автокар, с полсотней мигнувших пятен, окатил меня грохотом и жаром и залил волнами пыли.

ВЕРЕСК

Утихла буря, и даль до того прозрачна, что дымные Пиренеи видно.

Сегодня как будто праздник, – такое солнце! Весь океан – как новый, синий до черноты и блеска, свежий. Вспыхивают на нем барашки. И ветер свежий, густой, соленый, дышит морской пучиной. С целого мира ветер, из дальних далей, куда западают звезды.

Отлив сияет, колет стеклянным блеском. Берег – веселый табор. Полощутся полосатые палатки дуются пузырями, вьются. Всюду живое тело, блещет и розовым, и медью, струится, льется. Руки на бедра, грудь широко, вперед, – тянет к себе раздолье.

Бухает океан, тяжелой волною плещет.

Возятся на песках, бухаются в валы с разбега, выкинув руки стрелкой, бьют по волне сверканьем. Пенится океан и хлещет, тело кипит, играет. Играет солнце.

Счастье – дышать всей грудью! Когда-то было. Все еще будто помнишь радость глубокого дыханья, утра и ночи в море, качку бортов на звездах, крепкий, соленый ветер.

Пузырятся пестрые палатки, плещут. В тени под ними – народ постарше: читают свои газеты, курят. В синие волны смотрят.

– Comment ça va?

– Ça va bien!

Кафе – повыше. Щелкает полотно навеса, красные язычки играют, хлопает флаг на вышке. За столиками густо, звучно. Бьется в стаканах солнце, с вином играет. Здесь, в холодке, покойно, и дальше видно. Читают свои газеты, болтают, курят. Сидят и смотрят, глотают вино и ветер, тугой, соленый.

– Comment ça va?

– Ça va très bien!..

Хорошо перекинуться словечком, зевнуть спокойно. Под ногами своя земля. Плещется на глазах родное – милые головы и руки, голос и смех знакомый, который уловишь сразу. Хорошо так сидеть – не думать...

Стрелка ползет к полудню. Фырчат машины.

Слушаю, вижу, вспоминаю... А где же наше? Глаза родные, искавшие светлых далей? где безоглядность наша?..

Грустно на чужом празднике; шумно, и много солнца.

В лесах покойней.

Темные, строгие колонны сосен. Сумеречно и тихо. Плавно гудит в вершинах, будто орган церковный. Как будто – ладан? Тихий, церковный воздух. Не слышно смеха, не видно человека, глазам покойно. Стелется под ногами ве-

реск, пышный ковер лиловый, покойный, тихий. Роятся благодатно пчелы, звучат гудливо. Что они взять здесь могут? Куда ни гляди – все вереск, тихий, сиротский, вдовий. Я беру скромные цветочки – крохотные кувшинчики, похожие на брусничку нашу. Конечно, они – родные, дальние только очень. Цветы неплодной земли, пустынной, грустной. Пахнут они так робко, нет на них блеска красок, но мне приятны. Я долго гляжу на них... что-то меня к ним тянет, смиренной грустью. Как-то они мне близки, словно в них что-то наше, невидное никому, ненужное, – скорбная доля наша. Я возьму их с собой, поставлю, и будем вместе. Долго они не вянут.

Иду, считаю. Думы можно унять бездумьем, идти и считать без счету.

Папоротник желтеет, сохнет... скоро осень.

«Унылая пора, очей очарованье...»

Вон и вереск бурыми пятнами покрылся! Вот и еще лето откатилось.

Май – сентябрь, 1925 г.
Ланды

НА ПЕНЬКАХ

(Рассказ бывшего человека)

I

Вы находите, что я немножко переменился. Немножко! Уверяю вас, что я, в самом подлинном смысле, бывший, и могу повторить это на семи языках, живых и мертвых, какие я знал когда-то. Ни рисовки, ни горечи, ни сожаления даже. Да, я – бывший. Это вовсе не означает, что я уже никакой теперь. Напротив, я теперь очень какой и мог бы прогуливаться под ручку с Ницше, если бы были мы в общем плане. Но я, как бы это сказать... даже и в никаком плане! Я, простите, немного непонятен, но это потому только, что я еще не привык к новому состоянию своему, во мне еще сталкиваются обломки прежнего, и вам неизвестна метаморфоза. Но вы скоро ее узнаете.

Я, прежний, вытряхнулся из природной своей квартирки, в которой пребывал почти что шестьдесят лет, с самого дня рождения, и теперь я совсем иной, хоть и ношу знакомую оболочку. Для вас я как будто тот же, с тем же довольно редким именем Феогност, – Феогност Александрович Мельшаев... ну да, тот самый, знакомый по Обществу изучения памятников культуры и тому подобное, по лекциям в Институте археологии и Университете и, как вы сказали, по моей, доныне классической... – как бы я желал плюнуть! – книге «Пролет веков», – я напишу, погодите, про... «Лед веков»! Но это все потому, что я продолжаю таскаться в прежней своей ливрее.

Бог мой! С какой, если бы знали вы, ненавистью и тоской, с какой усмешкой и жалостью я вдруг улавливаю себя в зеркалах, – случайно, ибо теперь зеркала не нужны, – с каким отвращением смотрю на эту слепую дылду, на этого громадно-слепого щенка, самоуверенного болвана, сожравшего столько сахару и кормившего им других! Правда, теперь я вижу других щенят, сладко похрустывающих все тот же сахар, и посмеиваюсь в кулак. Нельзя же смеяться

громко. Эти щенята умеют и кусаться! И даже очень, хотя и объедаются сахаром. Я и теперь еще иногда прохожу с поднятой головой, с этим постылым видом старого Аполлона в пальто от О-бон-марше, и, должно быть, еще внушаю почтение ростом, и крепкой еще фигурой, и этими вот кудрями, в которых «мерцает старинное серебро», как выпалила недавно одна особа, когда-то в меня влюбленная. Но это – совсем не я. Во мне – я часто с ненавистью ловлю знакомые интонации! – сохранилась наигранная манера речи, любующаяся собою плавность, качанье словесных волн, в которых любят дремать щенята, в которых приятно тонуть. К счастью, я постепенно освобождаюсь от этой липкости.

Я хотел бы расстаться с логикой, с этой змеей вертлявой, похожей на скорпиона, который разит хвостом. Скоро будет и это, и я стану совсем свободным. Но позвольте... с чего же я начал?..

Мы сидим на берегу океана. Я зацепил палкой эту жестянку американского молока, кинутую волнами, и начал вспоминать, как было со мной на вырубке... А потом пролетели птицы, и унылый их крик напомнил... Ну да, конечно. Мне спешить некуда, пароходы меня не ждут, в экспедиции я не езжу, – я уже никуда не езжу! – и могу продолжать «вытряхиваться». Это необходимо, ибо во мне еще есть остатки. Если вам наскучит моя беседа, можете не стесняться и уходить. С одинаковым результатом буду я говорить этим выкидышам морским, коробке, доске, пескам и небу, и этим милым унылым птицам. Особенно – милым птицам. Так вот, извольте...

II

Вы когда-нибудь пигалицу видали? Ну, чибис... с косичкой на затылке?! Унылая птица. И никогда я внимания на нее не обращал, а вот она-то и поспособствовала. Через нее-то мне и явилось, как откровение. Я вдруг превратился... Помните, у Овидия:

«obstupuere omnes nes talia dicta probarunt»?..

Вот. «Все оцепенели и осудили такие речи». Если сказать вам сразу о превращении, и вы, пожалуй, окаменеете и – не одобрите, как кощунство. О, я отлично понимаю, что дебоширю в святом святых, что я на поток пускаю великие идеалы и своими «силенками человечьего слизняка» – лексиконы богатые у жрецов! – пытаюсь свалить пирамиды бессмертного фараона – Духа! А мне... что же прикажете делать мне, когда я весь изменился, вытряхнулся и именно так и вижу? Но надо иметь терпение и дерзать. Впрочем, вы от почвы родных равнин, тоже познали нечто, – и окаме-

неть не можете. Я теперь научился читать по лицам и вижу в ваших глазах, что и вы «в другом плане», пережили и страхи, и страхи страхов, распятие души познали и выплюнуты как бы за пределы посюстороннего.

Но я немного сбиваюсь: некое как бы расщепление во мне.

Случилось это, о чем я хочу рассказать – и должен! – как бы в заумном месте, как бы в полях посмертных. Есть такие местечки в суровой римской Кампанье, в унылые дни, зимой, когда глаз не схватит ни одной теплой точки и в ветре сеется пустота. Тогда козы лежат как камни, и в глазах их тоска пустыни. Таким же заумным местом – сколько таких видал! – бывают раскопки умерших царств, когда зайдешь далеко-далеко от лагеря. Видали ли вы лунные песни пустыни? А голоса безмолвия под луной! Яблочком, в страшной глыби, висит луна – круглая дырка в синеющую бездонность, в пустую бесконечность. А тут, на фиолетовой мертвенности песков, воздушными, дымными костяками вытягиваются побитые колонны, мертвыми зубьями колют небо, а ты сидишь на обломке камня, и тени, вызванные луной, прахом тысячелетий тебя накроют и веют тленьем. Но я отвлекся...

Случилось это все же в реальном месте, а не в полях посмертных, ибо это не выдумка, и Овидий тут ни при чем, – в трех верстах от железнодорожного полустанка Пупырники, – имя самое разреальное, – у гнусненького болотца, на взъерошенной вырубке, – на пеньках. Хоть и начало лета, но день с прохладцей; солнце будто всего пугается, прячется в облачках, кутается от лихорадки в вату, а эта грязная вата ползет по болотцу хмурью – и вот заплачет. Что может быть тоскливей такого худосочного пейзажа: ржавая вымочина, ольховые и осиновые пеньки бородачки-кочки, белоус сухой и шершавый, какая-то больничная горечь, болотная, с сладеньким привкусом хлороформа и йодоформа, и ладана... и еще эти пигалицы сто-нут?! Какие могут родиться мысли? Вы угадали: покойники. И не совсем. Они проходили вереницей, милые тени прошлого, приходили с краев земли на чахлое русское болотце и рвали сердце. Тени, ибо из иного мира. Или я сам был тенью? Но почему же даже и там, на как бы заумном месте, в небытии, но рядом с дерюжным мешком с бараниной, вдруг – такая высокая материя – о... человеке? Уж и не человек я был, а как бы невесомое, как бы «вещь в себе», а мысль и пошла вертеть: где человек? что – человек? И про «диогеновский фонарь» вспомнил... И вдруг полезло в глаза – Европа, Лувры, конгрессы ученых мира, великие достижения, снеговые вершины разума... А рядом – бараниной от мешка несет!

Погодите, – поймете. Тогда, с пеньков-то, и про «истину, добро и красоту» вспомнил. А я, как вы знаете, тоже как бы служитель красоты и гармонии, а потому – и добра... и, как историк философии, будто бы и служитель истины?! И вот, с пеньков-то, вдруг и осенило меня, словно через духовный микроскоп посмотрел... и познал. И решил дерзкий вызов бросить судьбе и взять диогеновский фонарь. Он, конечно, за тысячелетия поржавел, помят, но... другого пока не найдено.

Теперь-то я понимаю, как смешно было со стороны на меня глядеть, там-то! Но глядеть-то ведь было некому. Пигалицы одни... И вот, за отсутствием иного живого существа, – и в благодарность за «откровение», – я клятву-то аннибалову той самой пигалице и дал! Со слезами дал, в зеленых штанах-диагональ и в пиджаке, как будто чесучовом. Торжественно, помню, произнес:

«Слушай же хоть ты, пигалица несчастная, мою аннибалову клятву! Хоть и «тростник» я, но мыслящий! Наемся вот этой самой баранины душистой, заряжусь от фасоли фосфором, зажгу вот этот фонарь, – по лбу себя, помню, щелкнул, – и отыщу в себе человека! Хоть ископаемого, а сыщу! дерзну!!»

Я тогда даже и засмеялся предерзновенно, в полный голос – и испугался. Ведь сколько же лет я смеха своего не слыхал и голоса! Место, правда, было глухое, как бы посмертное, и совсем никакого резонанса, – на вырубке! Как бы – в вату! Но дерзновение показал. Пигалицы переполошились, такой-то стон подняли... – так неприятно стало. Впрочем, если бы даже и предстал вдруг некто, в блестящей коже, со скульями, и, пронизав мясным взглядом, спросил, поджимая губы: «А что, собственно, обозначает ваш смех, товарищ... и в таком пустынном месте?!.» – у меня имелся чудесный повод не только укрыться от зрячей кожи, но даже и укрепить реноме! Я показал бы на свой мешок и с радостной дрожью в голосе разъяснил бы недоумение:

«От безмерного счастья, дорогой товарищ!.. Ме-шо-чек-то вот этот, жалованный... ака-де-мический!! В пустыне с вами – и... манна небесная дарована! До глубины души чувствую попечение и... честь!»

Сколько бы наговорил слов прекрасных о кожаном благородстве, о великих жертвах во славу труда и знания! А мимика?! За шесть-то лет молчания такая мимика и мимикрия получились... – прямо психофизиологическая метаморфоза! И теория Дарвина закреплена окончательно.

И клятву я таки выполнил: я – здесь! Другое дело, что я здесь нашел... Но я – здесь.

III

Я нервничаю немного, и вообще... – но ведь я же не сухостой и не летописец из подземелья. Я все же – искатель истины, как будто знавший ее когда-то, и вдруг... кто-то ее слизнул! Как же – без трепета?! И потом же... – шесть лет! Я и предупредил, что вытряхиваюсь, и потому не удивляйтесь, что перескакиваю. Ведь какие скачки-то были! Из двадцатого века в... какой?! Да такого и века не было никогда, – поверьте уж мне, историку. И потом, из не бывавшего еще века – в Европу победоносную! Но и Европа-то... Но об этом после.

Сейчас во мне взрывы и разряжения, и фонарь мой временами начинает коптить и гаснуть. Самому представляется иногда, что я – как будто и не я даже, а некая эманация... И логика иногда хромает?.. Но она же теперь везде хромает – и ничего. Но надо все-таки по порядку.

Я здесь уже скоро год, но и во мне, и на мне все еще как бы... потустороннее, и я все еще слышу, как воняет от меня воблой и... всякой той эманацией... Даже вот тут, на берегу океана... воняет от меня «супчиком» из воблиных глазков, «шрапнелью», что протирает кишки, и прокислой бараниной. А вчера увидал синещекого шофера, в крагах и галифе, и губы у него поджаты, и кожа в блеске... – голову вобрал в плечи!.. Самому противно.

Вот закрою глаза – и вижу...

По болотистой луговинке вьется ржавая тропка, позади остался полустанок, впереди еще четыре версты такой дороги, – поросль, пеньки, стрекозы, болотца... – а там, между двух оврагов, на гривке, разбитая моя дача, с черными дырьями, с безумьями соловьев в ночи, с бьющимися в ней криками той жизни... Я едва волоку мешок, присаживаюсь через сотню шагов и все оглядываюсь. Мне кажется, будто я что-то украл и прячу; или – будто меня купили со всеми потрохами за этот мешок, или вырвали его у кого-то и дали мне... и вот-вот отымут. Или – меня самого отымут! Сижу на пеньке и оглядываю себя...

«Да кто же я?!» – спрашиваю зеленые брюки-диагональ, трясу головой, чтобы вытряхнуть мусор, и припоминаю с трепетом:

...«Я... про-фессор?.. член-корреспондент двух европейских Академий... автор ученых трудов, кавалер «почетных легионов», знаток античных искусств, имел дипломы... производил раскопки погибших царств, умерших цивилизаций?..»

И опять встряхиваюсь. Не может быть!.. Рваный мешок, болотина, пигалицы кричат?.. И я страшно хочу нашарить в

мешке ослизлую баранью лопатку и грызть, и грызть... Но у меня выпали передние зубы, вставить я не могу... я буду сосать баранину! И снова встряхиваюсь. Не может быть... Разве я был профессором? В какой жизни, в каких веках?.. Сопливый мальчишка дворника – теперь он, правда, завел платки, но губа трубкой та же, и лицевой угол идиота... – вчера опять в коридоре шепелявил:

«Сьто... кому ушши-то оболтали?!»...

Оглядываю себя. На ногах у меня – бедные мои ноги! – футбольные башмаки, выданные мне из «склада просвещения» благосклонным распоряжением одной крашеной дамы в изящных туфельках, сделавшей неожиданное открытие, что я читаю лекции в дырявых шерстяных чулках – покойной моей жены! – и в рваных резиновых калошах. Эту даму я как будто когда-то видел в Париже или в Женеве... Ну да, я видел ее, с папироской в сухих губах, в стоптанных башмаках, в каскетке! Ну да, она являлась ко мне в отель, просила прочесть «о духовном хлебе» для хлеба насущного, когда еще они гуляли по панелям, предвкушая «власть». Я читал – для них!! И она спорила и пускала мне дым в лицо, – кричала о каком-то «трудовом» искусстве, которое она знает и которое принесут они! И вот она приказала выдать «этому старью» – буцы. Но почему я увидал на ней чудеснейшую камею – брошь, с изумрудными глазками, работы великого голландца, из редкой коллекции герцога М., моего старинного друга и спутника, пропавшего «без вести» в Кисловодске?.. Эти буцы вверху прострелены – одна из них, – может быть, их стянули с кого-нибудь в подвале или взяли трофеем в битве? Они набили мне ужасные мозоли, волдырями, потому что носков у меня уже нет, а портянки я еще не наловчился навертывать. Эти портянки я только что выменял в вагоне у солдата за пачку табаку из ихнего пайка. Зеленые штаны-диагональ обменял мне один околоточный на мои. Мои были уже совсем плохи, но зато бывшего черного кастора, а околоточный смертельно боялся своих штанов, – что могут выдать! А он проживал по чужим документам, будто картузник из Ворожбы. Очень способный, – чудесный мне сшил картузик, из старого жилета. И предусмотрительный человек! Раз таки меня за эти штаны потянули на вокзал в комнатку с вывесочкой таинственной, – «транспортное», одним словом.

«Ваши документики?..»

Я предъявил, произвел даже впечатление «охранной грамотой», – и они убедились, что за штаны меня взять нельзя. Но все-таки напугался: а если спросят, откуда у меня эти офицерские штаны?.. Придумал: скажу, что выдали из «склада просвещения». А ну как справятся?! К счастью, им

в голову не пришло спросить. А то бы я мог запутаться, и тогда... Очень я ненаходчив. Сказали только:

«А уж мы к вам давно присматриваемся: не полковник ли уж какой? Можете теперь гулять в ваших штанах спокойно».

И я стал гулять спокойно.

Пиджак на мне чесучовый, но стирали его последний раз в июне семнадцатого года, ко дню рождения, и последние зимы носил я его вместо ночной рубашки, для теплоты. Стирать боялся: а ну – разлезется? А грязь... ну, в нас многое перестроилось. Я, например, грязь стеклышком с рук соскабливал, – мыла не было больше года. А когда жена моя померла от воспаления легких, я и ее не рискнул обмыть, а только вытер, ибо в комнате было 4 градуса... мороза.

Так вот. Я только что получил академический... паек. Какое странное сочетание!.. Академический диплом, академический стиль, словарь, ну... мундир, наконец, академический!.. Но – паек?! Пахнет рабочей казармой, негром... Шампанское – и сивуха! И все же я не без радости, хоть и ущемленной, получил этот академический... знак культуры и, как муравей свое зернышко, волочил его к себе на дачу. Небеса сияли и меркли, радуясь за меня и хмурясь, встречные мужики алчно косились на мой мешок, прикидывали, что бы такое в нем было, принюхивались и приятно крутили носом: потягивало-таки академической баранинкой.

И вот я отдыхал на пеньке и предвкушал. Бог мой! какие новые радости мы познали! Помню, как задрожал я, увидев однажды стакан дымящегося какао и рядом, на снежном хлебе, голландского сыра ломтик! Какие краски! Правда, я тогда три недели был как бы в безвоздушном месте, на грани посюстороннего, и стакан этот мне явился как знак искушения и некоей победы страшного человека в коже, на красном столе, рядом с бумагами, где слепой карандаш мог меня вычеркнуть из жизни. Я задрожал – и от омерзения, и... – было и еще что-то, – от страстных красок? от запахов?!. Что за мерзость!.. Я почувствовал, как проснувшееся во мне животное начинает рычать и чавкать.

Итак, я отдыхал на пеньке и предвкушал. Буду сегодня пить крепкий... брусничный лист, но зато с подлинным сахаром, есть баранину и менять товары! Прибегут из деревни бабы, притащат творогу и картошки... – а мне дали еще и катушку ниток, и полфунта соли! Сколько за соль взять можно?! Соль я буду менять щепотками... Я мечтал и поглядывал с нежностью на розовевшую земляничку. И вот тогда-то вдруг и решилась моя судьба, и я сделал потрясающее открытие!..

Тот день я так ярко помню. Пигалицы надрывающе жалобно кричали – пи-ууу... пи-ууу... И вот они-то и помогли.

Я – профессор истории античного искусства – я читал еще историю античной философии, – и как я радовался, что мне дали катушку ниток! Я тогда, помню, решал вопрос, не отмотать ли мне только половинку, а то пиджак мой скоро совсем разлезется. А и за половинку мне баба Марья даст во всяком случае картошки фунта четыре-пять?.. Тогда померкли во мне древние мудрецы, и только стоики и Диоген еще укрепляли душу. Впрочем, что-то сосредоточивалось во мне.

Еще мне дали две банки американского молока. И вот, раздумывая о банках, я с пеньков-то тогда мысленно и перепрыгнул... прямо в Атлантический океан! Вот в этот самый, где мы сидим. И банки были вот эти самые, с жирной коровьей мордой, и над нею – звезды! Перепрыгнул в полете мысли – и стало страшно. Будто я выпрыгнул из себя и вижу: сидит на неведомом болоте, в тряпье, дикого вида человек, с гнусным лицом очумелой затравленной собаки, похожий на кого-то знакомого... Так омерзительно-страшно стало, что я чуть-чуть не бросил банкой. Я уже замахнулся, но – бросить-то было не в кого! Тогда впервые я почувствовал «расщепление» – и это уже была победа. Победа и – начало моего превращения. Но и стало страшно, будто у меня в голове уже... Ну, сказка. Какой там может быть океан! Сейчас же и закрыл клапан, чтобы мысли пришли в порядок. Скажи мне тогда, как перетягивал я портянки и принюхивался к баранинке, что через год я буду сидеть на берегу самого подлинного океана и вспоминать о «пеньках», а кругом будут европейцы, и буду сам тоже вроде европейца, а не в диагонали околоточного, и буду смело и свободно... покупать в лавочках, и никто меня за штаны не потянет... – я щелкнул бы зубами и отмахнулся от бреда. Ибо тогда никакой Европы для меня уже не существовало. Это было уже – история. Как если бы мне сказали, что вот, позвольте вас познакомить... Царь Навуходоносор... или – прекрасная царица Савская! Это передать очень трудно. Я просто забыл, что есть еще прежняя Европа, что она может быть. А Европа была, и все в ней – почти как и в тринадцатом году летом, когда был я на съезде в Риме, отдыхал потом в Анэси и посетил Лондон и Копенгаген. Почти. Но есть и еще одно... Но об этом после.

И вот на пеньках, когда услыхал я унылых пигалиц... Но тут я должен кое-что пояснить, прежде чем рассказать о поразившем меня ужасном открытии, явившемся так внезапно. Иначе будут неясности.

IV

С мая и до морозов я жил у себя на даче – один как перст. Туда-то вот и тащил мешок.

Раньше дачей я мало пользовался: все, бывало, – в Италию или в Грецию, конгрессы, съезды... А это жена покойная завела, для родственников и на старость. Она очень любила мягкое наше лето, грибы, цветы, соловьев. Молодежь все время там хороводилась. Где теперь они все? Как-то вспоминать стал: приятели, приятельницы, крестники, племянники, Васи, Миши... Славная молодежь была! Насчитал семерых студентов-прапоров... два инженера, музыкант, летчик, приват-доцент, двое стихи писали... Теперь – один в Канаде, один в Брюсселе, шофером, в Боснии где-то, в шахтах... Прочие?.. Не знаю. Погибли. Впрочем, «спецом» один заделался, роль играет, а один, который стихи писал, – в «песнопевцы» определился. А патриотические стихи писал! «Державиным без пяти минут» величали.

Одним словом, не на дачу я шел, а – в п р о ш л о е.

Бывало, за мной пролетку высылали, на чаленьком, и какой-нибудь загорелый студент-крепыш, в вышитой рубахе, линялая фуражка на затылке, – за кучера. И всегда в охотничьих сапогах, и нравится ему курнуть махорки, крикнуть по-кучерски на лошадь, тряхнуть вожжами. Кто он такой?.. Приятель чей-то, гостит. И всегда в дороге у них что-нибудь с запряжкой. Он там с этой... через-седелкой конфузится, уши покраснеют, а я закурю в вечерней тишине, в березках, кукушку слушаю... фиалок найдешь июньских, колокольчиков лиловеньких... – чудесно! И такая теплынь и тишь, такая лесная ласка, такой покой, будто все трудное отошло и впереди ни забот, ни цели, и не на этой земле живешь, а ангелы Божьи неслышно ходят в березках. Зайдешь незаметно на тихую поляну, увидишь и там, и там – курятся благоговейно душистые «восковки» – их издалека видно, – идешь в высокой траве и чувствуешь, что уже росой хватило. Раскатисто фыркнет лошадь, призывает студент – готово! Придешь, а из кулечка выпучиваются зеленые огурчики, и еще свежая икорка там, майская, «уважительная, профессорская», от старика Калганова! И белорыбицей пахнет, и молодой березкой. Таких ароматных комбинаций нигде не встретишь. И такой аппетит бодрящий, и с таким азартом сам примешься в шлеях этих разбираться, – смешно.

А ближе к даче, – солнышко уже за лесом, – соловьи! Все топят... Въедешь в громе аплодисментов.

– Генерал!.. Урааа!..

Они, молодежь, меня «генералом» величали, должно быть, – за осанку. Любили, кажется. Да они все любили, юные мои жадники! Девочки – букетики земляники суют, ландышами засыпают, визгом. И всюду глаза, юные, бойкие, светлые... И все куда-нибудь тащат, и говори, говори им об искусстве, о красоте, о... Славные были девчурки, чуткие. Раскопки иногда предпринимали...

Дачу мою мужички порастрясли, но в двух комнатах жить было еще сносно. Главное – от города подальше. Впрочем, мужики ко мне относились с некоторым почтением и опаской: прознали, что «сохранная грамота» у меня от вышних властей, и будто я начальству клады отыскиваю, – раскопки-то я производил! Раз даже с приговором заявились и велели – клад им указать в имении барона Ведэ – «хорошо известный нам клад от старинных князьев, но не знаем слова!».

Тяжело было и на даче. О пустоте я и не говорю, а вот все – не настоящее, а как бы в преломленном спектре, в каком-то... психозном преломлении, как бы подводное! В манере Эдгара По и самого оголтелого футуриста: и жуть, и дыр-бул-щыл! Не люди... – хотя, конечно, и люди... – а все как бы уже не здешнее, и все – ненужно.

Подымается солнце... – продолжение «дыр-бул-щыл». И оно-то – другое, как будто тоже соучаствующее и растленное, несущее наглость на своем восходе, закатом обещающее назавтра такое из-под земли выкатить, что!.. Или – гарь лесного пожара?.. Бывало, это придавало пейзажу загадочно-тревожное освещение, чувствовалось удушье, но и надежда, что за удушьем – освежающим ветерком потянет... – неусыпное бдение чуткой общественности; что вот-вот наступит пора, когда все эти дикие непорядки уступят место культурной разумности, общечеловеческой солидарности, когда... Помните, эти ободряющие статьи в газетах... – «бессмысленная гибель народного достояния...» и – «снова и снова обращаем мы настойчивое внимание общественной самодеятельности, стоящей на страже народных интересов...» – и так далее? Какая славная интеллигентность и, воистину, чистота святая! Теперь смеемся... Ну, читаешь и понимаешь... – и надеешься. Веришь, что бодрствуют. Знаешь, что скоро осень, пора земских собраний, резолюций... сгущенная атмосфера освежится, впереди – надежды и чудесная, крепкая зима, бодрая работа в аудиториях... А тут – солнце в крови, и гарь сгоревших надежд, и всеобщее пепелище.

На лес уже не любуешься, не вспоминается величаво-милое аксаковское «чернея издали, стоит старый, дремучий...». Другие леса, и в них и за ними – жуть. Стоит где-то страшный, – неведомый и родной, – во всю страну, покойник. А за лесами – Тула, а в Туле – ду-ло! И затрещат-заворочаются в голове, в глазах, все эти... наробразы, бум-бумы, и дыр-бул-щылы... – судорога души! И дороги – не настоящие: по ним уже не ездят, а наезжают, налетают, настигают... на них ловят, грабят, валяются... Телега едет? Не верь глазам своим: это что-то подкрадывающееся, опасное,

или – слепое горе. Голоса?.. Это граждане-мужики идут – что-то установить, усчитать, угрозить, наложить, припомнить, – отвести в дубовой тоске душу.

А в душу к вам забирающиеся!.. Верткий, в крагах и галифе, – воинственность все какая! – и в небывало-технической фуражке, с портфельчиком... Бог мой! откуда портфелей столько?! – значит, какая-нибудь опять «неделя», ударный фронт, – воинственные словечки! – фонд, сороковая анкета, «боевое задание», требование лекции «о пролетаризации искусства», «о театре, как функции агитучастия масс, в проекции на...». Заметьте: не имеющий своего лица всегда укрывается за массой, в массу... кончая мазуриками. Бог ты мой! Что за шустрота, с блудливыми глазами, какие они мне темки задавали!..

А какая страстная жажда амикошонства! какая наглость, с певучими голосками сводни! Блудники слова и шулера мысли, вдруг откуда-то налетевшие саранчой... Я таких не встречал на лекциях. И – «товарищ профессор» – через два слова в третье! Какая наглость! И лестно ему со мной в «товарищеском» общении, с членом европейских Академий... – он это зна-ет, знает! – и остатки как бы подобострастия, и значение свое тычет, и слежкой от него пахнет, и... покровительство оказать готов! Откуда эта ядовитая пыль, с каких базаров?! Наша молодежь была скромная, целомудренно-застенчивая. Кто их высидел, из каких яиц? Какие-то безгнездые выводки, сами вывелись из помета брошенных гнезд... – и кобчик, и червь ползучий! Суетливо-жульнически ручишку свою сует, – и опасается, что не примут! – слюнявую папироску на столе давит, важные позы принимает... – рой завистливой, ущемленной и наглой бездари! Раньше она пальчонки в уголочке кусала и вожделела цапкими глазками, – и... досидела до своего, до... камей с изумрудными глазками! И вот – «товарищ профессор, я предложил бы вам высказаться в дискуссионном порядке... или, лучше сказать... объявить цикл... – непременно, цикл! – об искусстве, как важнейшей функции... пролетарски-массовых восприятий...»! Бездарно, безграмотно, зато – трескуче. И ото всех пахнет кровью, пусть и не ими пролитой, но они на ней гнойно пухнут, как поганочные грибы на убойных свалках.

И – целых шесть лет в таком гнусном чаду! Я отклоняюсь... но я же из отравленного болота вылез, душу освобождаю от захлестнувшей тины.

Бывало, молодежь переполох поднимет:

«К нам! автомобиль!!! «Ленский» едет!! Ура-а-а!!»...

И уже летит с балконов:

...«Что-о день гряду-щий нам гото-о-ви-и-ит?..»

А он, еще из машины, серебрецом:

«...его-о... мой взор напра-сно... ло-о-о-вит!..»

Девочки, чистенькие, беленькие, в кудряшках, в косах, цветами засыпают, благоговейно-трепетные, влюбленные... – сердце радуется смотреть на них! А теперь, если загудит где... – лес бы дремучий укрыл-вырос! Ну, подвал, плесень, мокрицы, – в конце концов отупение, привык. Но вот, что самое-то ужасное, – соловьи!..

Моя дача стоит на гривке, а с обеих сторон тянут к реке овраги. Они сплошь заросли черемухой, березкой, ольхой, малиной... масса ландышей, дудок, сонника, болиголова... – самые соловьиные места. Знатоки считали соловьев наших самыми певкими, «неждановскими» звали. Один овраг исстари прозывался «Соловьин», другой – «Гулкий». Из-за соловьев жена и место для дачи выбрала, на тычке, на гривке, и мужики дивились:

«Это уж они чего-нибудь да знают! кладуны!»

Колдуны?! Редкостное там было эхо: из Соловьина врага крикнешь – Гулкий отзовется полней и громче. Физик один наш лазил исследовать и вывел звуковую формулу, – вырезали ее даже на террасе. Бывало, молодежь поет хором, – и выходит второй, капелла! А когда упросят тенора спуститься в Соловьин и он оттуда пу-стит... – второй, неземной, тенор, так покрывал, что дух захватит:

«Златы... е-э-ээээ... дни-и-ииииии!..»

Вообразите, что же творилось майскими зорями, когда соловьи начнут сыпать и поливать! Гулкий их растравлял. Чвоканье, цорканье, россыпь, щелканье, замиранье, это поцелуйно-истомное – тиу... тиу... ффти-у... – играют сердцем, трепетно и так страстно-нежно!..

И вот когда все изранено, испоганено, и уже ничего живого не осталось, и ты с твоей жизнью уже плевок растертый... – соловьи гремят неумирающим торжеством неумирающей своей жизни и неутолимой болью плещутся в твоем сердце... А оно уже на истеке, и все – ушло! Пытка. Они выворачивали, перетряхивали во мне все, жалели, отпевали, жалили цвоканьем, в кровь раздирали трелями... хлестали сердце, по голове, в глаза. Я слышал милые голоса, узнавал лица, запахи... И не красота уже, не эстетика... – ад!

Как только подходила заря – начинало давить тоскою: сейчас начнут. И первый же тихий высвист... помните, это робкое, нежное – ти-пу... типу... типу?.. – пугал меня, и сердце начинало колотиться. Обманывая себя, я забивался в самую глухую комнату, но окна выбиты, в огромной и пустой даче гулко, и... ни-кого!.. А они сыпали и гремели, и все бешеней и шумнее к ночи. Я совал голову в подушки, задыхался... Бром уже был бессилен, я затыкал уши спиртовой

ватой, – кровь приливала, гудела, я начинал пьянеть. Но и без звуков я слышал. Нет, непередаваемо, – как психоз.

Гроза облегчала, и я умолял молнии. Серенькие дни, с тихими дождиками, успокаивали меня. А горьковатая свежесть ландышей, взрывающая в вас все – до детства!.. А дурманный запах июньских наших восковок-любок, впервые манящий страстью?! В зеленой затини, в тишине в росе... нежные, восковые, тайные, они все те же и вызывают прежнее...

Я бы и теперь хотел... – пусть терзанье! Там – каждая травка пела. А здесь... мелодия незнакомая, глухая.

V

А в городской квартире мне оставили кабинет. Свалены атласы, гравюры, слепки, книги, дрова, коллекции. Многое выменяно на хлеб, на табак... Много разворовали, и оно разлетится по белу свету! И уже разлетается. Недавно на Бульварах я увидал мое... украденное, «изъятое» – не помню. Но это – подлинное мое.

Вы слушаете?.. Да, конечно, – все мы теперь задумчивы, все – другие, другие! Все мы – счастливы... Ну, да... Вы помните:

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковыя
Его призвали Всеблагие,
Как соучастника, на пир..

И все мы пьем бессмертье! То есть не все, понятно... но у могущих вместить это «бессмертье» – душа другая. Они уже причастились «чаше» и получили особый дар – иными смотреть глазами, ходить над бездной. У них и лицо другое: у кого – больше, у кого – меньше изменилось, – от глубины зависит. Вот и по вашим глазам я вижу, что и у вас украли. Вещи, жизни?.. Но страшно непоправимо, когда все украдут у вас, – вас самих! И даже воров не знаешь... Но когда все украдут, уже нечем и не во что принять «чашу», и призыв «всеблагих» – впустую! Но об этом – после. А вот о вещи...

Вы не досадуете, что я все уклоняюсь от главного, от рассказа о превращении?.. Но отступления эти нужны, необходимо нужны! Да и спешить-то нам некуда, как бывало... И «зуда» в ногах уже нет.

Вот вы говорили, что сейчас в Париже весна, каштаны разбили почки, и у вас зуд в ногах. Вы подолгу простаивали на Бульварах, перед витринами, где заманчивые плакаты

Кука и океанских обществ обманывают вас далями?.. Да, влечет. Когда-то и я испытывал этот томящий «зуд» перед оранжевыми плакатами – оранжевыми песками, верблюдами, пирамидами, оазисами, пальмами и белыми шлемами англичан, перед синькой с мылом у берегов, с черно дымящими серыми гигантами, внутренности которых роскошно даны на фотографиях, от королевских салонов до гениально-гигиенических уборных. Скорей билет! И, покорный всевластному зову далей, весне и «зуду», не чувствуя головы, трепетно я входил в солидно обставленные агентства, прокуренные экзотическими сигарами, травами, пропитанные как будто морскою солью и пряностями Востока, – или мне так казалось?.. – и, как с шампанского, пьяно крутил по карте, отыскивая волшебный путь. Там я встречал таких же, с глазами в далях, мужчин и женщин. Женщины были беспокойны, как птицы в перелете, восклицали, роняли деньги, забывали сдачу, рассеянно слушали советы, – как в гашише, с блуждавшими за стеной глазами. Там я встречал раздумывающих над картой, решающих, как в рулетке, – Багдад или Аргентина? или... истоки Нила?... Цейлон, Мадейра, – или еще там что-то?..

И часто, меняя планы, в гипнозе от голубой вуали, от ударившего по сердцу слова – «Батавия» или «Калькутта», от таинственных букв на карте, от хитрого завитка течений, – я покорялся таившемуся во мне бродяге.

Зовы весны я знаю. Миражи знаю – и уже не стою подолгу, разглядывая плакаты.

Дали... Их у меня украли, и «зуд», и весну украли, и не слышится мне сладко зовущий шепот «пойдем со мною!». Я никогда не пойду теперь, и черная синька с мылом – дешевка обманной прачечной. Я уже пережил обманы.

Вы спрашиваете, что у меня украли... Все украли. Меня самого украли. Но об этом – после. И вот о вещи...

Весна, далекое... Я тогда крепко верил во все решительно, во что полагается верить человеку, культурному человеку. Всеобщий прогресс во всем – закон развития человечьих обществ! – «победное шествие науки», великий блаженный день, когда откроют тайник последний, небо сведут на землю. Не за этими ли волшебными ключами, разинувши рот, стремятся в весенней тяге?.. Все – в далях!

И я стремился.

Я недавно женился, и судьба подарила счастьем. Я увидал моего ребенка, продолжение моей жизни. Не думается об этом, но... есть это! И я не думал, а это было: ей я и передам мои стремленья, исканья тайны, с последствиями блаженства. Чудесная девочка... – теперь ее нет на свете. И, полный счастьем, близившейся весной и смутной тягой, я

поехал на экскурсию. Об этой экскурсии мы с женой мечтали, – и вот ребенок... Чудесные тайны и – реальность. Жена пожертвовала собою для нашей девочки, решила кормить сама и уехала к матери в Тарусу. А я купался в этой священной синьке Архипелага, крутился в волшебном мыле, шныряя по островам, разглядывая следы чудесного. И до сего дня помню восходы солнца на Корфу, крошку-гречанку в Аргостоли на Кефалонии, писавшую мне признанья на розовых бумажках, пахнувших розовым маслом и шафраном... и старого грека Димитраки, проводника на Крите. Это был пессимист-философ, все познавший, до – «гноти зе аутон»!

«Дождь падает в море, господин ученый, – говорил, прищурясь, Димитраки, – море уходит в небо, небо стекает в море. Так – все. Люди рождают камни, делают их живыми... потом люди оставляют кости. И кости, и камни делают потом пыль, пыль – грязь. Так – все, господин ученый».

Я весело смеялся, пил с мудрецом хваленое кипрское вино – очень скверное, скажу вам, пахнувшее почему-то серой, – и говорил, что кругом нас – тайны, и не все-то так просто.

Он напивался, хлопал меня по плечу и, приближая черные, как тараканы, глаза к моим, шептал:

«Не верь ни одному трактирщику, ни одной бабе, ни одной кошке!.. У первого нет Бога, у бабы – слова, у кошки – дома».

Чудак забавный! Я записал много его пословиц – и во всех одно было: ничему не верь, пыль и пыль. Сверхэкклезиаст!

«Каждый найдет свою стенку, чтобы лбом стукнуться. Каждый об себя убивается. И ты убьешься!»

И я убился. А обо что – не знаю.

Так я объездил светлые острова Эгейские и Циклады, – Самофракию, Лемнос, Митилены-Лесбос, Хиос и небесную колыбель Прекрасной – Милос пустынный... Пил молодое и старое вино и вынес в душе зерно, юную мою книгу – «Пролет веков». Невзирая на терпкие речи чудака Димитраки. То была книга – Веры. С камней, с обломков, с выжженных солнцем тропок, с пожелтевшего мрамора, с почерневшей бронзы, от вечного – молодого неба, – вынес я бодрую веру в человека-бога. Я был тогда пьян крепкоземным вином, и в каждой девушке на скале, с суровыми, как у юноши, бровями и тонким станом, виделась мне Сафо, вечная прелесть мужества.

Помню, с Лемноса я дал телеграмму в не ведомую никому здесь Тарусу, – страстный привет жене, – и лупоглазый, чесночный грек, принимавший мою депешу, строго взглянул на меня; покачал укоризненно головой и перечеркнув, исправил: «Фарос!» И взял с меня что-то в пять раз меньше.

«Та-ру-са! – весело крикнул я, – это у нас, в России!»

Он недоверчиво посмотрел в меня, порылся в книге, что-то, наконец, понял – и улыбнулся.

«Все это может быть, но это наше слово, греческое, и надо писать – «Фа-рос»!! Наши храбрые греки прошли по всему свету и построили города у всех народов!.. Наш Александр Мегалос!!.»

Через два дня я получил радостный ответ из далекой Тарусы: «Еду к тебе, встречай в Константинополе».

Я ничего не понял. То есть я по-нял, но... девочка-то наша? Письмо разъяснило все. Девочку отдали кормилице. Дали сделали свое дело и мои письма-зовы. Дали закрыли девочку. Мы, мы – жить хотели! Тогда все закрылось одним – любовь. Подходила весна, весна южных морей, когда камни рождают розы, когда молодые глаза сверкают, как осыпанные росой первые листочки, а за каждым кустом, за каждым камнем, чудится, притаилось счастье, – протяни только руки.

Это был для меня подарок Бога.

Мы встретились... Она принесла с собой ароматы родной зимы на собольей своей горжетке и зовы весны – в глазах.

Я помню эту весну Стамбула, бирюзу Золотого Рога, золотые рога Волов Солнечных... Помню сверканье золотого дождя на солнце и триумфальную арку радуги, ворота из перламутра в море, которые Бог построил для нашей встречи...

Мы спали в лодках, покачиваясь, как дети в колыбели, кидались – играли розами, молодые язычники. Я шептал ей Анакреона, самое его жгучее, отравляющее истомой-ленью, и переливал в наше слово – до голости вольным переводом, очень вливавшим. Мы пили вино-любовь, вино и солнце, а гребец-турок, сваливши парус, пел нам, сидя на корточках, свои маленькие, как птички, песенки и играл на какой-то штуке – длинная, помню, шейка, круглая.

Как опьяненные, забывшие все на свете, мы гонялись по старым камням соседних деревушек, городков когда-то, давно разрушенных уже раз по двадцать, когда-то культуру знавших, теперь обратившихся в пустыри. Чего мы только не повидали, где только не побывали!..

У старого рыбака в Эреклии нас ожидало – чудо. Не счастье – чудо. Боги решили остаться щедрыми до конца.

Помню, тихий был, золотистый вечер. Жемчужный вечер, – жемчужные облачка в закате. Мы выходили из таверны, бедной-бедной, где можно было достать только козьего сыру, вяленую кефаль и красного вина в глиняном кувшине, пахнувшего капустой, но все это было ужасно вкусно. Фаэтон поджидал нас, чтобы повезти в Сан-Стефано, где мы остано-

вились. Мы уже собирались садиться в коляску, я ступил, помню, на подножку, как вдруг жена выскочила шаловливо... да, она уже сидела!.. – и неожиданно заявила, что хочет купаться в море. Вода была еще холодна, был уже вечер, косое солнце, – купаться было безумием. Я нежно протестовал, но – женщина ставила на своем. Правда, в России она до сентября купалась.

Она купалась в бирюзовом море, весеннем, золотистом, молочном – в жемчужном море. Я и сейчас, закрывши глаза, вижу ее, играющую перламутром, – и жемчуг в небе. Это тоже был дар богов, дар-усмешка. Да, в этот безумный день, в самый тот вечер «жемчуг», в далекой глухой Тарусе, мучилась наша девочка...

Ах, Димитраки... чудак-философ!..

«Каждый об себя убивается... И ты убьешься!»

Мы – убились. И – «об себя».

Но за этим даром богов последовал дар безмерный...

Пьяный не от вина, я созерцал море, золотисто-жемчужную даль его и близкое, дорогое, что розовато плескалось около. И вот – неслышными шагами, – я испугался, помню, как он подошел неслышно в размятых суконных туфлях, – приблизился ко мне грязный рваный старик, болгарин или турок. Он что-то вертел, завернутое в тряпку.

«Добрый вечер, хозяин», – сказал он умирающим голосом.

Это был грек, конечно, плешивый и курносый, ужасно похожий на Сократа. И сильно пьяный. Он сказал «калиспэра», что ли.

И не говоря ни слова больше, он, почмокивая, развернул тряпку и ткнул мне в лицо... редкостное, чудо-чудное!..

Я смотрел и глазам не верил. И все кругом было – чудо. Море, жемчужное, в котором рождается Венера, – и Венера, хрустальная, тихо светилась в небе, в зеленовато-весенней и розоватой сини. И подлинная Венера, не смущаемая старческими глазами грека, выходила из вод, играя снежною простынею, по которой струилось розовое солнце. Но самое ч у д о – было в моих руках. Я смотрел на костяные дощечки...

«Купи, хозяин... – просил старик, – на что-нибудь годится... ш т у к а священная!»

Я смотрел на него растерянно, не сознавая, – да явь ли это? Но тяжкий запах вина от его лохмотьев, от трясущихся рук, от раздутого желтого лица, вздрагивавшего, как студень, от полумертвых глаз, налитых мутной влагой, – было подлинной грязной явью. И его слово – «штука»!

Страх, что он шутит, что сейчас схватит эти священные дощечки и убежит, охватил меня. Я крикнул, – я не мог со-

владать с собою и быть спокойным, – заворачивая дощечки в тряпку:

«Конечно, я их возьму, эти интересные иконки! Вам они не нужны?..»

«А на черта они нужны! Но господа покупают и не такую дрянь. Хорошо еще, что есть на свете старьевщики... они иногда отваливают литра на три».

Кошмар это был, кошмар. Для меня открывались двери рая. Эти дощечки в тряпке на весах сердца были для меня равны этому зеленовато-жемчужному морю, заре, моей юной совсем Венере, вышедшей для меня из моря.

«Литра на три...» – повторил я кощунственно.

«Другое и пяти стоит... очень священное!» – прохрипел старик, и в его глазах мерзлой рыбы уловил я до зла усмешку.

Словно хотел он сказать: «Много еще дураков на свете!»

Я опять раскатал грязную тряпку, стараясь унять руки. Я прощупывал бархатистую кость «дощечек», тяжелую, слоновью, желтую, как лимон. В тумане висели передо мной, прыгали по резьбе рождавшиеся в мозгу знаки: XI – XII!.. Сверкали мысли: «Византийский триптих, таких два ли, три ли... такого нет...»

«Сколько-нибудь давай!.. – требовал хриплый голос, – рыба не ловится, хозяин...»

«Где вы нашли эти... дощечки?»

«Да... старую канаву прочищали в порту, грязь черпали... Ну, костей там было... кладбище старое или война была здесь. А я понимаю в этих штуках. Старуха любая для молитвы купит».

Я уже знал им цену, цену рынка. По старику я видел, что он любому продаст за грош. Но я их не понесу на рынок, а если попадут на рынок, к антиквару, – знал я, – мои не будут.

Коллекционеры, ценители... Нет преступления, на которое бы они не пошли, как сумасшедше влюбленные. У меня закопошилась совесть, но сейчас же нашла защитника: «Это судьба посылает счастье... мы уже уезжали – божественная Эос нас остановила, Ната моя сама остановила... Звезда залюбовалась нами, прекрасная Венера в жемчуге...! А он пропьет...»

Я бегал глазами по «дочещцам». Светила Звезда на них, на всех! Три дощечки было, чудесный триптих!..

Пьяный, я крикнул греку:

«Хорошо, я могу их купить у вас!..»

«Идет! – протянул он лапу, похожую на крабью. – Четыре литра?..»

Я смотрел на его лицо: желтые щеки дрожали волдырями, синие губы прыгали, глаза... И я вдруг подумал, что тре-

тий кто-то стоит за нами и торопит. Кто-то третий... закидывает петлю!

И петля была закинута. Это узнал я скоро.

Жена еще одевалась, сверкала розовым. Объятый счастьем, блаженством неизъяснимым, почему-то боясь, что жена расстроит, я достал бумажник и сунул в лапу все содержимое. Было лир пятнадцать – гроши, конечно.

«Пфуу... – вырвалось из нутра пьяницы и обдало меня угаром, – сдачи у меня нет, хозяин...»

«Все берите!»

Он захлопнул лапу другой, потряс, севши на корточки, выпучив мертвенные глаза, и, озираясь, пополз к харчевне. Отойдя шагов десять, он побежал вприпрыжку.

«Что такое?» – спросила жена, но я ничего не видел.

Я перебирал дощечки, ласкал, оглаживал, тер носовым платком, вдыхал их, нюхал...

«Видишь – Звезда?.. – показывал я на створки. – И там – тоже Звезда!» – показал я к закату, в небе.

Она не понимала, взяла мою голову, заглянула в глаза тревожно.

«На тебе лица нет, что с тобой...»

А я бормотал что-то. Хлынуло с меня светом, озарило. Посетило меня огромное. Чувства, мысли?.. Не помню, но вдруг – открылось! Я целовал ей руки, говорил о небесном рае, говорил, что Бог с неба глядит на нас, что Он уронил Звезду...

Она не понимала, но была счастлива.

Мы просидели на берегу до ночи, ехали в Сан-Стефано в звездах, и ночь та была – безумная...

А в эту самую ночь, в далекой глухой Тарусе, умерла наша девочка, от менингита. И ее светлую маленькую душу я теперь связываю со всем этим: она посылала нам знак прощальный.

Утро сказало мне, что я обладатель сокровища. Не денег. Я знал, конечно, что за этот шедевр музеи дадут мне тысячи, знакомые американцы – десятки тысяч. Нет, я получил не деньги: я получил озарение, основу, которой мне не хватало. Я получил Веру. И ту, о которой возвещает Евангелие, и другую – в бессмертную душу человека. Ни одно творение искусства не потрясло меня так духовно. Бессмертное – было в дощечках этих!

Но странное, творившееся со мной, не кончилось. Утром меня терзала совесть: «Ты обокрал его!»

Я все рассказал жене, привел и себе, и ей все защиты.

«Надо его вознаградить щедрее!» – решили мы.

Мы отправились на базар, – помню, как Светлый Праздник! – купили для старика полный комплект одежды, белья

и обувь, жареную баранью ногу, бутылку рому, – праздник ему устроить, – и положили в новенький кошелек полсотни золотых лир.

«Он будет счастлив!» – повторяли мы всю дорогу.

Солнце палило, синим пожаром горело море, когда наш фаэтон подкатывал к таверне, на берегу залива.

«Нам нужно найти старого рыбака... Он вчера вечером был у вас... немножко навеселе?..» – спросил я хозяина таверны.

«А... Христюк Магиропулос!.. – с усмешкой сказал хозяин. – Но он уже пошабашил!»

И грек опрокинул стакан на стойке.

«Но где же мы можем найти его?..»

«Последний стаканчик застрял у него в глотке, Царство ему небесное... там ему поднесут лучшего! Вчера он побил все ставки, хватил полных четыре литра самого «праздничного»! Отдыхает на берегу в часовне...»

Мы его видели в часовне. Он был пьян даже мертвый, – пахло вином ужасно. И его крабья лапа что-то еще держала, щепотью сжимались пальцы. Хотел он перекреститься?..

Купленное ему мы отдали каким-то старухам, в черном, с тарелкой белой кутьи, убранной черносливом, мармеладом и обсахаренными орешками, – они ничего не понимали и робко кланялись и крестились, – и передали священнику деньги на богадельню для рыбаков.

«Мне страшно, – сказала жена дорогой, – что-то во всем этом...»

Она заплакала. Я был как камень. А вечером получили телеграмму из Тарусы.

Я знаю: знамение было в этом. Нужно было, чтобы несчастный пьяница стал жертвой, чтобы малютка наша ушла от нас. И сокровище то – Звезда ведущая!

Это было творение глубочайшей мысли. Вы помните – «Эреклийский триптих» – «Звезда»? Я назвал его – «Рождество Воскресения», и его фототипии известны. Не раз обращались ко мне музеи и собиратели, предлагали большие суммы. Но этот священный триптих – великой муки и светлого блаженства – подарил я моей жене. Триптих Веры.

Концепция этого шедевра была глубины необычайной. Не умирающее никогда искание и... бессилие «персти мыслящей».

Неведомый гениальный мастер, чистый сердцем, – такие Бога узрят, – чудесным резцом своим дал всеобъемлющее, свое: чаяния, сомнения, муки и веру-радость. Дал вдохновенно-трогательную поэму исканий духа.

Судите сами.

На левом створе... Идут волхвы-мудрецы, с жезлами магов, в высоких восточных шапках. Лица пытливы, строги. Фигуры – в порыве: найти, увидеть. Звезда над ними стремит лучи. Вдали видны – пещера, Ясли. Бог в небесах держит Звезду в Деснице.

На главном створе... – «Снятие со Креста». Темная скорбь на лицах. В небе клубятся тучи. Св. Тело обвисло, плоско, – земное, «персть». Из туч, острый, как пика, луч падает между Телом и волхвами. Волхвы уронили жезлы свои, сложили руки ладошками, на лицах их скорбь и ужас. В небе не видно Бога. Муки исканий – тщетны. Смерть, отчаяние – на всем.

На правом створе... – «Великое Воскресение». Встают из гробов, из земли, из вод. Волхвы, воскресшие, воздымают руки свои с жезлами, небо залито звездами, над звездами Три Ипостаси Божии, в великих лучах Звезды. Лица волхвов – обретенная радость вечной жизни – в Боге. Иные лица, уже не земные. Искания как бы оправдались, завершены...

Я знаю: великие пути человеческого духа явлены были в триптихе, мне явлены! И это меня поддерживало долго-долго. Теперь... я ищу волхвов. Где они?!. Но об этом после.

В этой такой для нас роковой находке мы с женой обрели огромное. Сколько раз, в темные полосы нашей жизни, всматривались мы в этот тысячелетний триптих! И вот, когда наступила мгла, и жена моя, бедная моя Ната, угасала в холодной комнате, вся уже – там, я принес к смертному ее ложу эти дощечки из побуревшей кости. Я не думал, не помнил – зачем я это?.. Я положил ей на грудь... – и вспомнил первую благостную весну нашей совместной жизни, море жемчужное, хрустальную Венеру в солнце... розовое мое!.. И вот она отомкнула свои глаза, узнала... – и слабая, дальняя улыбка прошла по меркнувшему ее лицу.

Его у меня украли, этот священный триптих. Знали, чего он стоил? Возможно, знали, что́ он на рынке стоил. Но, конечно, не знали, чего он для меня стоил и что́ есть он!

Его у меня украли. Но, вечный, как дух бессмертный, он крикнул через витрину, на Бульварах: «Я здесь!»

Можно ли украсть дух бессмертный?!

Это был подлинный он. Другого никто не знает. Подлинный наш, с отщербленным уголком внизу основного створа, ловко заделанным мастикой. Меня ударило сквозь стекло. Не помня себя, я вбежал к антиквару и попросил показать реликвию.

Это была – подделка! Чудеснейшая подделка... бессмертного духа! из-за грошей!!

Он, Бессмертный, даровал мне силы. Я был спокоен.

«Скажите, кто их работает, эти... штуки?» – спросил я почтенного антиквара, вспомнив далекое слово пьяницы.

«Специалисты имеются! – усмехнулся он и похвалил мою экспертизу взглядом. – Подлинник находился у владельца... – он быстро вспомнил мою фамилию, – в России. Но теперь сказать трудно, такая в этой России каша. А я заплатил бы денежки. Но, быть может, хозяин и сам пустился в коммерцию... хотя человек серьезный. Впрочем, все они там свихнулись. А любителей очень много. Я получил полдюжины из Триеста и за неделю продал пять штук. Возьмете?..»

Я взял штуку за двести франков – капитал для меня теперь, – мне дали триестский адрес, и в тот же день я написал «фабрике». Мне ответили вежливо, что производство идет со слепка, присланного из Будапешта. Я написал в Будапешт. Ответили, что работают «из комиссии», от эстампной фирмы «Универсаль», Дрезден. Я написал, но письмо вернулось: в Дрездене такой фирмы нет!

Обокрали и мастера, и меня. Пошло в подделку. Спрос-то ведь продолжается, и каждому хочется задешево «прикоснуться». Хороший тон, и можно приколотить на стенку. Но жив мой триптих, где-то кого-то ждет... Прошел через руки пьяницы... и через руки убийц пройдет... и попадет на место! Великими жертвами попадет... – и Звезда, Святая, еще загорится над новым жемчужным морем... новой весной когда-то, для кого-то. Или – обман все это?.. все эти триптихи?! Обмана не может быть, я знаю. Наши пути – обман!

Но есть, есть!..

VI

Святая искра в человеке есть! Бывает – гаснет. Но волхвы придут большие... Нам не видеть.

Видите, больше мне нечего уже знать, и никуда не хочу, и дали не скажут нового. Пусть их ищут по целому свету, снуют в автокарах, на кораблях, в пустынях и по горам – мятутся. Маленькие волхвы, шумят... и раскрывают «дали». Когда-то и я шумел, покуда не натолкнулся, не «ушибся об самого себя», покуда не потерял все, все, покуда не пробудился, чтобы понять самое простое, чтобы найти нетленное...

Итак, многое у меня разворовали. И жильцов вселили. В гостиной, где стоял рояль... – когда-то на нем играл Чайковский! – у меня его отняли и в клубе его потом разбили, – в гостиной сидел повар из столовки, к ночи всегда веселый, – душу выматывал своей гармоньей! А его жена-толстуха, жеманясь, говорила: «Кажному тоже с музыкой

помечтать желается... вискусте!» Он ободрал – на похлебки! – лавровый венок, который мне поднесли студенты на юбилей. В нашей спальне, где стоял старинный киот, – жена собирала древние иконы, – жили какие-то куцые девки: в кепках, с портфелями, а к ним ходили восточные люди в башлыках, с ножами, – и постоянно там визг и гогот. А в зале и столовой засела семейка нашего дворника, – тоже называл меня «товарищ професырь» и совал на дворовых собраниях лапу лодкой! – и его сынишка, так называемый теперь «ответственный работник». Вот этот-то экземпляр и грозился «вышвырнуть мои потрохи!».

Противно вспоминать.

Конечно, я ни в какой с ним плоскости, и, здраво рассуждая, все это как бы иррациональное... – но гадливый стыдишка охватывает меня, как вспомнишь. Но и об этом нужно, чтобы понять откровение, явленное мне пигалицами.

Сын дворника... Не в этом дело, конечно, что сын дворника. А в том, что это – трагически-пошлое, но – жизнь.

До войны ему было лет двенадцать. Он был голенаст, ушаст, что-то и поросячье, и обезьянье, под носом всегда мокро, и болячки... Я его не мог видеть. Под его оболочкой чуялся человеческий гнойничок. Мое чувство, должно быть, передалось ему. Почему я его замечал? Мы многое очень замечаем, только не вдумываемся, а просто – срываем с житейского дневничка. Я замечал его! Просматривая атласы, внимая глазами гармонии чистых линий, я вспоминал Макарку, какофонию его линий!

Это же – вот откуда.

Он имел подлую привычку звониться в парадное крыльцо и швырять костяными бабками в дверь, назло.

И поэтому всегда выбирал час, когда я дома и отдыхаю. Эти звонки и стуки меня взрывали, как иных – петушиный крик. Жена выговаривала дворнику, но это не помогало. Раз даже я сам захватил его на звонке, и дворник при мне нарвал ему уши. На другой день, выходя в университет, я заметил на крыльце – гадость. Он поджидал меня за углом, показал вздутую верхнюю губу, – и завизжал от радости. Я ему погрозил, а он высунул мне язык.

Конечно, дикое сочетание: я – и жалкий урод-ребенок, человечески-незадавшееся, дегенерат. Но вдумайтесь – и увидите: очень похожее – во всем нашем.

Жена пробовала его исправлять, давала книжки с картинками, сласти... Конечно, безрезультатно.

И вот этот-то обрывок человека через восемь лет... – делал у меня обыск!..

Револьвер, галифе, те же болячки под носом, та же вытянутая в хоботок губа с рыжеватыми усиками, выдутые бес-

цветные глаза, ужасный лицевой угол идиота, голова сучком, шепелявый.... – и неимоверными духами!.. И английский пробор еще! Ну, что-то... непередаваемое. Он развалился в моем кресле, уперся острой коленкой в стол и... –

«Прошу... сесть!»

Эта обезьяна кого-то изображала.

«Прошу... предъявить!»

Он буквально задирал ноги. Он, Макарка, просматривал мои письма! Просматривал и швырял. Сколько было на его губе торжества – до дрожи, когда он залихватски сунул мне ордер «по результатам арестовать»! Результатов не оказалось, но он украл у меня папку с гравюрами Неаполитанского музея и другую – редкое собрание помпейских фресок.

«Пол-награфия?!» – визгнул он и строго зачеркал в книжечке.

И – как его радостно потрясло! – коллекцию снимков – «фаллы». Он даже гикнул и привскочил:

«Ого-о-о?!. Эт-то мы... рас-смо-трим!..» – и быстро сунул в портфель.

Уходя, он буркнул что-то вроде «паразиты на нашей шее!..».

И я жил с ним в моей квартире, он за дверями высвистывал «Стрелочка» и «Интернационал», а когда сталкивался со мною в коридоре, выставлял поросячьи зубки, как за углом когда-то, и шепелявил злобно:

«Ссьто, кому сеперь ушши-то оболтали?!.»

Вы ждете – об «откровении»... Но вам станет понятным это чудо, освободительный взрыв во мне, – через пигалиц, на пеньках, – когда вы сами дойдете со мной... до... точки. Как тот почтенный географ, который в Америке моет в вагонах окна, – в газетах было! Он тоже дошел до точки. Пигалицы ли ему открыли, что пристойней окошки в вагонах мыть... У него тоже... один безусый на его глазах дневник листик за листиком отдирал и в огонь швырял. И смеялся. Все профессор забыл, но не может забыть, как ему душу рвали. Но... почему же он моет, в Америке?! Разве уж и там?.. А как же?..

И вот, пигалицы и толкнули меня на мысли о... человеке.

Теперь, взъерошив душу и раздражив, я приступаю к главному, к чуду со мною и к тем чудесам, которые и доселе мне открываются. Тут уж я по прямой дорожке, кажется, выберусь.

VII

Здесь, в Европе, я несколько отдышался и получил как бы душевное разряжение... Ну, да... именно разряжение. Бы-

ли во мне заряды – теперь разряжен! Но чем же мне зарядиться снова? И надо ли? Что-то я и своего голоса не слышу, и говорю и кричу как в вату, – как на пеньках?.. Что-то я ничего не вижу, и плывут надо мною тучи, и в ветре сеется пустота...

Люди?.. Люди – все тот же штампик, попроще и попрактичней былой нашей интеллигенции, и – пожестче. «Больные» вопросы у них как бы уже решены и сданы на хранение. Кто-то, понятно, еще решает, еще продолжает вопрошать океан и звезды, как гейневский дурак, но, во всяком случае, шуму нет, и большинство подвело итоги – или и без этого обошлось – и играет в жизни пестро, по маленькой. Не то чтобы все преферансику предались, а... решающие не видны в разливанном море суетливой «культурности».

У нас как было? Равнинность, равнинность, а на ней как бы... Гималаи! Мы же интенсивнейшей, интеллектуальной жизнью жили!.. Даже самый захудалый интеллигентик, которого судьба в какой-нибудь Глухо-Глазов закинула, – и тот «не отстать» стремился. Или спивался с отчаяния, что попал в «равнинность»... кричал мучительно, что среда заела, и совесть его язвила! Ответственность свою чувствовал. Этого отрицать нельзя. И «гималаи» были! Правда, на болотине они стояли, каким-то чудом... и тарарахнули. Равнине, понятно, недоступны, но и не заслонялись, и потому всегда видно: сторожат, есть! костры-то на них горят...«огни»-то! А здесь... прошел плуг общеполезной и общедоступной культурности, и все имеют хотя бы карманное понятие о правах человека и гражданина, об электрическом освещении, о Боге, о сберегательных кассах... – и каждый считает себя если не Гималаями, то хотя бы горкой, и из-за этой-то «Воробьевки» уже не видно гор настоящих, хоть и есть где-нибудь они. Но уже не дают они горного тона всхолмленному пейзажу. А у нас иной галстука не умел как следует завязать и от гречихи пшеницу не отличал, но зато мог из Ницше целыми страницами охватать, а историю революций!.. И чудесного было много, знамённого!..

Нет, не люди... От прошлого получаю освежающее забвение, встречая любимых по хранилищам и музеям. Ну, конечно, здесь пока и не трогают за штаны.

Но все возможно... Когда-то ведь и у нас это преимущество имелось. Вы все поглядываете, будто сказать хотите:

«Да как же вас там отделали! Логику подменили, мутные глаза вставили, даже и душу подсушили! Гимн равнинно-гималайному прошлому поете?! А величайшие ценности хотя и медленно, но все же вздымающегося к «гималаям» человечества?! А блага личности?! Все сознали! В Англии вон шестидесятилетние сколько-то шиллингов пенсии полу-

чают! Все предрассудки брошены, небо раскрыто и протокол составлен, что, кроме звездной туманности, ничего подозрительного не найдено... всякий на велосипеде ездит, а в Америке и на собственном даже автомобиле, – но это уж идеал! – все по-модному галстуки завязать умеют, всякий и в президенты может, если выйдет арифметически, а кинематографы и газеты вливают мощные волны знаний и переживаний в массы!..»

Согласен, что глазной операции подвергся и подменен. Но и я вас спрошу:

«Но почему мне такие заумные сны снятся? А они мне и там начинали сниться – и в первый раз, после чудесного случая на пеньках, – и здесь, воочию?»

Но о снах я потом поведаю, а теперь – другое. Теперь – отвечу:

«Если я весь так подменен и даже вывернут наизнанку, то почему же создатели «величайших ценностей», испытывающие тревогу, когда собачонку несчастную на физический опыт тащат, за мир всего мира и братство народов ратующие, – а такие гиганты есть и носятся в хлопотах по всей Европе, освежая спертую атмосферу, – и все охранители антиков, до вазы царя микенского, оберегающие все, до цапинки, обеспокоенные, когда гобеленчик украдут, и всегда настороже, как бы чего не подменили... – как же все эти «охраняющие» допустили, чтобы не только меня, тоже оберегателя антиков, так подменили, а чтобы... целое великое царство подменили, хотя, правда, и не античное?! И не только допускают, а и... И чтобы даже и... человека подменили?!..»

Но об этом я – в общем плане, а теперь: как и почему я испугался, что подменен, что пропадаю, что человек пропадает, античный, веривший в «истину, добро и красоту», и как я решил пуститься на раскопки этого человека, и где я его обрел. Это-то и случилось на пеньках, как чудо и откровение.

Я знаю, что рассказ мой нестройный, но вы уж извините. Стройное?.. Мы же – в буре!

И вот – о пигалицах.

VIII

Они носились над болотной луговиной и тоскливо кричали: пи-у-у-у... пи-у-у-у... Я уныло следил за их круговым полетом, за переливами черно-зелено-синего на их крыльях, как вытянуты назад голенастые их лапки. Что-то было усмешливое в косичках на их головках, верткое. От их вскриков невеселый пейзаж казался совсем унылым. Ясный

и мягкий день – было начало июня – замутился, задумался, засвежел. За какой-нибудь час – а я чувствовал страшную разбитость и все сидел – все изменилось резко: ветерок шелестел сухим белоусом, пеньки посерели, мхи померкли под гобелен, тощие редкие осинки побелели и стали шептать тревожно, и даже земляничка у моих ног погасла. Пейзаж потерял последнюю кровь свою и стал – подводный. Я представил себе еще четыре версты такой дороги, мою дыру без окон, куда я для чего-то тащу мешок, от которого дурно пахнет... Вспомнил, как баба Марья будет совать в обмен гнилую картошку, выпрашивать детям кусочек сахару и жалобиться на долю:

«Господам всегда уважение... и говядинки, и сахарку надавали вон, а мы что!..»

Вспомнил, что сегодня непременно заявится бывший мой караульщик старик Михайла и будет томить душу: будет, как бы в укор мне, рассказывать, как сладко, бывало, ему у меня жилось, – «пироги, почесть, каждый день!» – а теперь так поделали господишки, чтобы опять крепостные права были... – «понятно, голоштанные, а не как ваша милость...» – и будет сидеть и плакаться, пока я не дам ему мучки и табачку. А на прощанье скажет:

«Гроб и гроб... всему сословию теперь гроб!»

А потом соловьи, бессонные ночи, пустые дни.

Не хотелось сниматься, двигаться. Меня усыпляли уныло-тревожные вскрики птиц. Что их так беспокоило? Они взлетали, вскрикивали пронзительно-жалобно, припадали к земле и уносились. И вот, следя за черными точками их полета, я вдруг захотел – за ними! Если бы обернуться пигалицей, как в метаморфозах Овидия... – лететь, лететь!..

И я принялся мечтать.

Будто я уже пигалица, легкий-легкий... – такую странную легкость почувствовал, ощущение удивительное! В детстве только, во сне бывает. Лечу-лечу, прямо на Чоковское Болото, верст тридцать... Там камыши густые. Ночью снимаюсь, перелетаю дальше... За ночь можно, пожалуй, верст пятьдесят, больше. К утру – в болото, в крепь... – а там, дальше, дальше... И – никаких мыслей! Таким счастьем недостижимым показалось: никаких мыслей! Я завидовал им ужасно. Ведь никакая старшая пигалица не придет и не повелит стать на голову! Ястреба... Но пигалицы очень осторожны.

И вдруг, к моему удивлению, одна присела совсем от меня близко, через пенек. Какая-нибудь наивная или уж очень умная? Приняла меня за пенек, за... пустое место?! Или – за свою сестру-пигалицу? Она уже не боялась меня, не принимала за человека!.. Я затаился, разглядывая ее красивое оперение, сероватую подпушку ее бочков... – и тут-то, в чутком

молчании, я вдруг постиг, глубинным каким-то чувством, что я – пустышка! Не пень, не пигалица даже, а... ни-что! нуль, абсурд, nihil!! Вспыхнуло во мне и осветило: ничто. Теперь бы я не смог вспомнить и пережить с той яркостью это страшное ощущение утраты всего себя, на человеческий смысл совершенно абсурдное ощущение – ничто! Но я же и перестал тогда сознавать себя человеком! Помнится мне, что тогда было страшно мучительно, – провал в бездну и растекание. Ну вот, – сердце истаяло, и сейчас – смерть ли, обморок... И такое глубочайшее ощущение пустоты при... пустоте-то!.. Может быть, это было внезапное проявление душевной болезни – кажется, очень редкой.

Бывают странные виды мании, когда больной убежден, что проглотил какой-нибудь стеклянный предмет, и страшится двигаться и ложиться: сейчас раздавит, и стекла врежутся там во все. Очень мучительная болезнь. Или, – это я как-то видел, – что нос его неимоверной длины, что он вытянулся поперек улицы и его вот раздавят. Больной в ужасе хватает себя за нос двумя пальцами, приподнимает его, как бы шлагбаум, и бешено начинает махать кому-то и кричать диким голосом: «Скорей, скорей проезжайте!.. поднят!!.» И успокаивается на время.

Так вот, я почувствовал ужас исчезновения, – свое ничто, – что я пропал, истек до последней капли, что я уже не в мире, а как бы в абстракции, – вещь в себе, – и... не могу уже «поднять шлагбаум»! Психоз! Возможно. Но вдумайтесь, – и поймете, что это еще ужаснее! Когда человек стерт в пыль, постижение этой стертости приходится называть психозом! Что же тогда – нормальное? Сознавать себя... и стоять вверх ногами? чувствовать себя человеком, а... Макарка «обалтывает уши», а другой Макарка, какой-нибудь товарищ Неназываемый, категорически изрекает:

«Или ты мою теорию признаешь и с завтрашнего же дня будешь красную философию разводить, жечь Платона и Аристотеля, трепать за вихор Канта и лобызать копыто, или же... «Явой» с мальчишками будешь торговать, и тебя милицейский будет как пыль гонять!»

Психоз ли – или уже сверхпознание утраты всего себя – не знаю, но я не выдержал этого ужаса и дико крикнул, словно меня проткнули. Этот крик я и сейчас еще слышу... – какой-то птичий!

Пигалица метнулась, вскрикнула... – и в этот-то миг–бабах!.. ба-бахх!.. – лопнуло в громе все, и я почувствовал жгучую боль в руке.

Что же произошло? Ни мир не лопнул, как мне мелькнуло, ни гром не грохнул, а вышло гораздо проще: выстрел товарища Макарки! Ну, его звали, положим, Васька, и был

он отъявленный негодяй, с звучной фамилией – Худоемов. И первое, что я услыхал при своем изъятии из ничего, – ибо я опять стал чем-то, хотя бы – целью! – было три слова... три наиклассических слова нашей гнуснейшей ругани! Чудесное пробуждение? Он выпалил их отчетливо-мастерски, одно за другим, словно забивал кол мне в ухо, – и они там остались. В глаза он мне их влепил! в душу!!

«.........! Спугнул, черт!.. Насколько я к ей подшел, ты...... спугнул?!.»

Он до того облютел, что вскинул ружье к плечу, но оно было уже разряжено.

Я... – молчал. Я зажал руку, глядел на него – и... молчал. Я опять уже был – ничто.

Он подошел вплотную и тут-то узнал меня. Он не раз заявлялся ко мне на дачу, вызывал меня в волость «ексренно», чтобы объявить свою волю и повинность. Он, Худоемов Васька, был – власть.

Узнал – и загоготал по-жеребячьи:

«А я... шут те дери... старичишка Гнусавый – думал!..»

А Гнусавый был у нас пьяница-побирушка, всегда с мешком, и нос ввинчен, – ничтожество всей округи.

«А этто сам господин... кла-дун! Ай, думаю, плевать, всыплю!..»

«Вы меня ранили!..» – крикнул я из последнего, что еще оставалось во мне живого.

«А зачем – под руку, раз стреляю?! Сколько за ей хожу... хитрые они, стервы... не подпускают... А тут совсем, был, подшел... нарошно испугали!..»

Он был, как обычно, пьян. Он насунулся на меня вонючей харей и крикнул:

«Ну, доказывай... игде я вас спортил?.. игде?!.»

Я отнял руку, показал на чесучовом рукаве два алых пятнышка, засучил рукав... Две дробинки дроздятника синели в сочившихся кровью ранках. Можно еще и теперь видеть, следы остались: пятнышки на предплечье, как оспины.

«А .... очарябало всего только... а-тлетныи!..»

Я глазами вбирал его – и только. Что я тут мог?! Кричать на него, грозить? взывать к... чему? к его «бессмертному духу»?! Жаловаться – кому?! Он был власть, безответственная до... смерти. Он вышел бы из своего суда героем. Это я сам, я сам помешал ему... я, паразит на его прекрасной шее!..

«Зайчатником бы вот ахнул!..» – усмехнулся он и пошел, посвистывая.

А я остался.

Я выдавил дробинки, – в портмоне они у меня, на память, – высосал ранки и перевязал платком, – они еще у

меня водились. И вот, после такого двойного потрясения, я таки получил «разряд»! Чаша переплеснулась, и я нашел, постиг... не рассудком, а гораздо глубже, пигаличьим нюхом, что ли, что я ничтожнее и дешевле... пигалицы! У меня не было утешения даже зайца из сказочки, который пошел топиться, увидал прыгнувшую от него лягушку и осмелел. Дробинки переплеснули чашу.

И вот когда я сидел так, разглядывая дробинки, птицы опять явились, выплакивая свое. И тут я крикнул – мной что-то крикнуло! – в ужасе, протесте и отвращении:

«Слушайте же хоть вы, пигалицы несчастные, мою клятву! Не могу я больше! Найду в себе человека!..»

И уже там, на пеньках, под ватным, померкшим небом, не вдумываясь, я знал, что буду делать, что нужно делать. После я разобрался. В эту же ночь я выстроил путаные ряды «за» и «против», привел в порядок и строго подвел итог.

И с первой минуты клятвы у меня уже стало – чем жить. Я поднял мешок и бодро пошел на дачу. У меня вырастали крылья. Я перелетал от болотца к болотцу, от пенька к пеньку... оставлял позади себя все эти бум-бумы и дыр-бул-щылы... Я нашел в себе уснувшую силу сопротивления, воли, сметки и ненависти. Я повторял себе:

«Это будет! Или – я должен кончить!»

IX

Обратили ли вы внимание, как там, – в мое пребывание, по крайней мере, – мало кончались сами?

В отраве люди забыли, что они единственное еще могут – сами! Или и этот последний выход казался уже утраченным? Или – сознание, что нельзя так беззвучно уйти из ада? уж так притерпелись?

Я видел потрясающую способность примениться и претерпеть. Видел, как иные сумели себя уверить, что есть в этом какой-то глубинный смысл и лишь сильные дерзать могут. И стали – сильными? в заслугу себе вменили сладостно на кострах сгореть, в пламени «бича Божьего». И остались при собственных квартирах. К померкшим глазам подставили шулерские стекляшки...

И я решил бежать от этого чадного обмана.

Вы уж извините меня, что я все отклоняюсь, что не развертываю перед вами волнующих картин побега, маскировок, слежек, качаний на острие над смертью... Романы приключений! Никогда им не верил раньше, – теперь скажу: какая бледная выдумка! Не до приключений мне. Я себе самому рассказываю, как пропал человек во мне, каким снова в меня вернулся. Я вытряхиваюсь; я, бывший, ищу,

ищу... Я видел очень и очень много! Перечувствовал еще больше. А какая романтика! Что за ощущения прощаний – со всем, со **всем**!.. – от писем молодости, от исчерченного каракулями стола, от каждой пустой вещички, на которой остались отблески и изъянцы жизни, лепеты прошлого, печальные взгляды и улыбки и которая скорбно просит – возьми с собой! – до последнего взгляда на пороге, где нога не хочет переступить, до поворота, откуда уже не видно родного пепелища, деревьев сада, пустой скамейки на бугорке, под елью... – до проселка в пустых полях, помутневших к ночи; до неба, которого нигде не встретишь, и до звезды, светящей над головой: одна она всюду пойдет с тобою, будет тревожить тебя ночами, слезу вырывать сверканьем, тянуть за собой – домой.

Нет, не трону своей романтики. Ее завалили груды.

Я бы мог и блеснуть рассказом, пустил бы зарю лирически, с раскатами соловьев в оврагах, с боем росистых перепелов, с запахами лесов, полей и лугов российских; похерил бы «отступления» и оставил только пейзаж и метаморфозу – и не так бы скучно вам было слушать; но... сказки у меня отняты, отнята и охота мерить слова свои, и предоставлено размышлять под небом. Метаморфоза будет...

В тот вечер я был пьян победной решимостью, и эта решимость крепла.

Я бодро выменивал катушку, торговал творог и картошку, соглашался с былым караульщиком Михайлой, что – гроб и гроб! – и вздыхал с ним о пирогах с капустой и казенке – «какая была... младенцевой слезы чище!». Соглашался и с бабой Марьей, что – господам всего надают, что теперь всем ровень, всем один рай – ложись и помирай! Моя веселость вызвала даже подозрение Михайлы, – уж не запахал ли я чего из хорошо им известного клада от старинных князьев, и я таинственными улыбками и словцами пролил в него надежду, что с Божьей и его помощью... В ту памятную зарю меня уже не томили соловьи и звали с собой, на волю.

Утром, помню, я бодро принял портфельщика из «все-рабы-с»'а или «все-раби-с»'а и горячо одобрял проект трагедии – но без Рока! – с участием «боевых кадров крестьянско-пролетарской молодежи» – в разбитом имении барона Ведэ. Накрутившаяся пружина, я от души смеялся, хлопал по плечу верткого молодого человека, радостно пучившего глаза:

«Чудесно, молодой друг... только надо высмеять, в пропагандно-агитационных целях, эту заражающую трудовой дух античность, продукт эксплуатации рабочих масс, и на переднем плане сгруппировать не растасканные еще и не побитые

статуи из парка, как символ прогнивающего старья, штурмовать их кадрами молодежи, с кузнечными молотами и цепами, и разнести на куски... – эффект!»

Он был в восторге и многозначительно жал мне руку. Он даже спросил подобострастно:

«Дорогой товарищ профессор... вы теперь совсем наш?»

У меня не хватало духу быть с ним жестоким:

«Почти, мой молодой друг! Что-то мне открывается...»

Я не кривил душой: открывалось.

Он выбежал от меня в восторге, и я из окошка видел, как он у ворот остановился, задумался, выхватил записную книжку и быстро набросал что-то. Я подумал: он может меня назначить наипочетнейшим «ком» всех искусств... он может!

В эту ночь... – я никогда не забуду эту вторую ночь после «открытия» – меня опять не томили соловьи: я перестал их слышать, – до пробуждения на заре. Ночью давил кошмар...

Красивые сны я видел, в красивых местах летал. Замки, озера, храмы, мраморы, мраморы... Легкий, крылатый, носился я над водами, по островам. Солнцем, снегами, синью подо мною моря кипели. И всюду, на горах, и по берегам, у края кипящих вод, в долинах, кипарисы черными иглами, – помните Бёклина? – купы лавровых рощ, одинокие пинии на холмах, – все недвижно. И голос во мне шептал: «Святое!» И всюду – они... связавшие мою жизнь с собою, – дивные мраморы и бронзы, камни священные, музыка вечных линий... Это был воистину мировой слет творческих гениев. Что я видел?! Было тут – и давно мне известное и не виданное еще. Не помню линий, но было непостижимое, возможное, но не созданное еще, которое не будет создано! Это тоской я понял. Я созерцал их в благоговейном трепете, как Бога, – это носившееся в мечтах – погибшее. Песни неспетые, образы непокорные, неуловимые для резца, для глаза. Созданное доселе, в сравнении с ними, – мрак! Живые были они, из тонкого камня-света, не рожденные никогда, – уже минувшие. И голос во мне шептал: «Святое!» Не красота. Слова такого нет, чтобы передать их чары. Это был взрыв всего, что билось в душе творивших. Курильницы, форм неведомых, звездного серебра, курились лазурью неба. И голос во мне шептал, что это – в полях посмертных. О, какая была тоска! Тоска – утраты. И сквозь эту тоску я слышал смутные голоса оттуда, куда я сейчас вернусь, шумы швыряющего моря, – горькие звуки жизни. Будто и соловьиные раскаты доходили, и взрывы грома, и шум дождя.

И вот очутился я в каком-то заглохшем парке. Падали сумерки, гнетущие после блесков неведомого Царства, где я

летал, напоминавшего мне Элладу и острова Эгейские. Сонные, темные, в мутно-зеленой плесени, давили меня деревья, дышать мешали. Сырые, гнилые листья ворохами лежали на дороге. И вот, с темным лицом, кто-то остановился передо мной, положил на плечи тяжелые, как свинец, руки и повалил на землю.

Я слышал, как сдавило мне грудь, как хрустят ломающиеся без боли кости... Я кричал в опустевший воздух, в глухую чашу. Кричал беззвучно. И вот я вижу... Идут, разговаривая о чем-то, прямо ко мне, двое старых моих друзей, с которыми совершил я много славных экскурсий, не порывал до последних дней, изредка получая письма. Оба – славные европейцы, гордость своих народов, высокого совершенства люди. К ним я взывал, стараясь поймать глазами, сказать глазами, чтобы они узнали. Они проходили мимо... Одеты они были во всем новом, в чудесных пальто, с биноклями, с сумочками, какими встречал их на пароходах, по Средиземью, на пристанях. У них были крепкие трости с крупными набалдашниками из слоновой кости – тяжелыми биллиардными шарами, в золотой шейке. Они ловко играли ими, крутили в пальцах и говорили о чем-то важном. Как ловко эти шары крутились! Они проходили мимо. Я крикнул: «Сэр!..» я забыл имя. Я крикнул: «Мсье!..» Эти слова я помню. Только эти. Я кричал их на всех языках, какие знал. Я задыхался, мучился, чтобы вспомнить – зовут их как же?!.. Они прошли, не заметив меня, – ушли. Я крикнул, теряя воздух... Грохот и яркий блеск вырвали, наконец, меня из этого кошмара.

Я узнал сероватый рассвет в окне, услышал ливень. Гроза сплывала. Раскаты грома становились глуше, блистало реже, но ливень продолжался. Я лежал на спине и старался вспомнить чудесное, что я видел. Осталось только одно, глазом не уловимое, не выражаемое словом... – благоговение. Я не мог вспомнить линий, но музыка их осталась. Непостижимое. И осталось еще: тоска. Ушел и ливень, и теперь только шорох дождя с деревьев трепал по лужам. А рядом, в зале, лило с потолка потоком, как банным шумом. Пахло по-банному березой и теплой прелью. Ломило голову, как с угара, и разобрал я, что это с дурманных любок, что принесла мне девчонка Марьи – за куски сахару. Отравили меня фиалки, восковки милые... вынесли в Царство Света, в кошмар швырнули.

Поднятые грозой, взбитые блеском молний, соловьи заливали все. Я услыхал их снова и снова мучился. Не помогли подушки. Я вышел в сад, полный дождя и луж, шелеста и капели. Было тепло и банно, до духоты. Крепко березой пахло, фиалками с оврагов. Тоской давило. У края сада бе-

жал поток, в его мутном беге, и в соловьиной песне, и в отблесках дальних молний чуялось беспокойство. И я сказал самому себе: надо скорей, скорей!..

До солнца бродил я в саду, по лужам.

Сон мой этот... Тут где-то, во мне или вне меня, невидимое было Царство, было! Оно же явилось мне... Неявленные мои возможности... нерожденные мои сны? Плавают они всюду, живут туманно, мукой стучатся в души. Родятся ли? Я чую слабые их следы, тысячами раскиданные по миру, гибнущие в своем сиротстве. В пыльных хранилищах что-то они лепечут – разбитые буквы Книги...

Дымился под солнцем сад. Выбитыми глазами смотрела на солнце дача. Милые тени пришли ко мне, тени из прошлого... Ужас, ужас! Здесь уже все разбито. А – там?.. Я об Европе думал. Столько там душ великих, какие сердца и силы! Сны там стучатся в души, хотят Рожденья!

И я повторял себе, надо скорей, скорей...

Помню, я подошел к решетке, глядел в зеленую глушь оврага, дышавшую золотистым паром. Соловьи заливали трелью. Я теперь мог их слушать. Родные они мне были, такие близкие! За непонятной их песнью-трелью чуялся нерожденный мир, разлитые возможности, с тревогой-болью ожидающие рожденья, гибнущие. Милые мои братья, пойте! Ожиданье, тоска и мука... – родное мне.

Это соловьиное утро ливня осталось в душе моей. Яркая зелень, блески. Розоватые тучки в небе, золотые верха оврагов, песни... И радость найденного пути. И сон, навеянный мне дурманом.

X

Начиналось чудо перерождения.

Я нашел небывалую остроту взгляда, мысли, – развил чудовищную энергию. В короткое время я обошел сослуживцев и уцелевших знакомых, и все таинственно спрашивали меня:

«У вас что-то т а к о е... Что-нибудь слышали?..»

Я таинственно ободрял.

Я хранил свою тайну, зная по опыту, как у всех обострился слух. У меня обострилось зрение, и я теперь ясно видел, какие дырявые носят маски и до чего щедровито вытряхивают остатки прежнего своего, лишь бы удержаться на гребешке.

Я видел благоустроенные квартиры преуспевающих, с приблудной мебелью, куда не вселяются «макарки» и повара с гармоньей, логовища и норы страстотерпцев, взъерошенные уголки сидящих на острие. Я увидал много людей-

ничто, нигилистов навыворот, с просительными улыбками, с суетливым сованьем руки «товарищу». Я слышал «товарищ... товарищ... товарищ...» – с беспокойством во взгляде, с бессильным отвращением перед собой – за дверью. Нетвердые позы в автомобилях, льстиво-наигранное – «что за машина у вас, товарищ!». Видел покрасневших профессоров – сваренных раков в кухаркиной лохани, с выпучившимися глазами, – от удивления перед собственной дерзостью? От стыда?.. Девушек, чистеньких когда-то, недавно чутко внимавших «красоте в искусстве», – теперь бойко потряхивающих кудряшками за машинкой в фантастическом учреждении, состоящих в браке на полчаса за милостивую поблажку щелкать и получать – на туфельки. Театральных дел мастеров, когда-то «высоко державших знамя», за пятак отвернувшихся от святого, познавших наконец-то потребность времени, с убеждением перестраивающихся от «настроений» к строю, кричащих зычно – «здравия желаю!» – но... с уважением к «священным традициям театррра...». Увидал пришпиленных на булавочку, привязанных на веревочку, застуканных до отказу и все еще подающих признаки жизни – и улыбающихся. И ни от кого не слыхал смелого крика: да смерть же лучше! Кто смогли и посмели – погибли с боем, погасли или ушли. Осталось складное или застуканное в отказ. Отбор закончен.

Постепенно я распродал все, что еще уцелело и хоть чего-нибудь стоило на рынке. За пустяк разбазарил самое дорогое, собиравшееся годами, жертвой: книги, атласы и гравюры, камеи, танагры, античные монеты, – укрытое от рук хватких, находил ловкачей-посредников, отслюнивавших мне грязные миллиарды; европейско-американских стервятников-скупщиков, бешено пожинавших жатву великого погрома, забирающих под полу все – от древней Библии в свиной коже до похабного альбома в небесно-голубом шелке с серебрецом. Иногда я раздумывал и вздыхал над книгой, над гравюрой, над безрукой танагрой... и говорил ободряюще: там, где-нибудь, мы встретимся!.. Я очищался от прошлого и переводил неповторимое в линючие миллиарды – призрак, а их в реальность. Я познал тревожный и жадный шепот летучей биржи, алчную цапкость рук и сомнительную охрану подкладок и воротников, долбленых палок, просверленных каблуков, «американских» подошв, двудннщевых чемоданов и слюнявых «сейфов», за зыбкими стенками укрывающих золотые, готовые провалиться в брюхо. Я постиг условные слова-знаки, темные чайные на углах, тупички в скверах, забытые уголки оплаканных часовен, кривые, шаткие лестницы к скупщикам и замшелые мешочки, насыпанные каратами.

Нюхом бродящего у западни зверя, закрутившейся до отказа волей я нащупал людей, до смерти дерзких, которые

знают пути и могут поднять шлагбаум... Я узнал, что в облавной сети, где бьются тупоглазые караси и жором играют щуки, есть дырки, прогрызенные щурятами.

И я решил – проскочить.

Я готовился, храня тайну. Пигалицы одни лишь знали.

В конце августа я простился с дачей. В дырья-окна я поклонился далям – золотым рощам, пустым полям. Постоял на балконе вышки, слушая шепот прошлого, снял забытую в пустоте икону... Я подарил Михайле хорошую лопату – добывать клады, а бабе Марье разбитое корыто – последнее, что осталось, – послал прощальный привет оврагам, где было красно и пусто, – соловьи уже улетели, – и переехал в город, где были «дырки».

С дорогими подошвами на пробитых буцах, с драгоценной палкой – над ней я долго трудился, и ни один досмотрщик не отыскал бы на ней ни знака и не настукал звука – я вышел налегке, на зорьке, с корзинкой, от болотца к болотцу, я разыскал опорные пункты – лесовые избушки, рыбачьи шалаши на глазу у стражи... – и вытверженная карта развернулась передо мною тропками и путями, болотами и лесами, ночами тревог и душевной мути...

Я стал свободным.

XI

И вот – Европа...

На зыбкой черте мертвого и живого, когда лодка, затаиваясь в блеске, протаскивала меня под шарившими во тьме усами сторожевых прожекторов, я мысленно протягивал к Европе руки. Она поймет! Много у ней забот и величавых планов, многого она не знает... Я расскажу ее конгрессам, мыслителям, политикам, ученым, славным ее, покажу... брюки-диагональ, дробинки, мешок, портянки... душу ей покажу свою, – какая стала!.. – пигалицей буду кричать... Она поймет. Гордой человеком, первой в нем божество узревшей, – ей станет за человека страшно. А ее хранилища, где думы Величайших, сокровища, в которых – гений, идеалы и красота тысячелетий... – и видно даже слепому глазу победное движение!..

Все она поймет.

Вечно она искала идеалы, выливала их в бронзу, из камня выбивала, ковала из железа, творила словом, линией и звуком... Я перед Леонардо встану, перед Анджело, перед Святым Франциском, перед... Победой Самофракийской... перед Прекрасной!.. – и выну из мешка осколок хлеба из шелухи, простреленный пиджак, брюки-диагональ, за которые меня таскали, которых бояться нужно... руки покажу,

скобленные стеклом, голову, прячущуюся в плечи, голос подам свой птичий, покажу душу и... победу последней мысли, на высотах!.. Скажу, что это только слабые эмблемы, что все... нельзя. Но зачем – все?.. Там – ум глубокий, сердце – во всю вселенную?..

Пришел, взглянул, поговорил, послушал... Выздоровел... – и так мне стыдно!.. Боже, в какой одежде я, с какими старыми словами, с какими думами!.. Я запихнул поглубже мешок с «эмблемами», душу завязал покрепче, чтобы не кричала... Шумно и без того. Гудки и грохоты – за облака несутся. Мимо, мимо!.. Что тут – птичий писк?!. Орлы парят...

Им я писал, друзьям, – во сне их видел... Мимо прошли они. Нет, не о помощи. «Сэр» ответил письмом чудесным. О колесе Истории... Колесо вертится! Жертвы, палачи... палачи – жертвы... Он – историк. И часто он краснеет, что колесо так вертится. Мило приглашает на съезд в Александрию.

И «Мосье» ответил... Еще чудесней. «Вы – распяты! – писал он, – но... – «кто страдает – побеждает тот», – старинный наш девиз!»

А, колесо истории! А, девиз!.. Новые слова какие!..

Недавно я написал письмо одному славному, отважному. Со льдами он умел бороться. Было там про все. Но... мысленно поднес фонарик к его глазам: льды, снежная пустыня там отпечатлелись. Холодно мне стало. Не послал. Не стоит.

И вот пришел я... в прошлое, как там – на дачу.

И встретил, дивных. Их тени я обменивал на хлеб, на дырки в сети. Встретил живых, взирающих очами своих творцов. В тысячелетьях, вечные, они смотрели.

После людей – пошел к богам. В Лувре, к Ней первой пошел молиться. Долго в Нее смотрел... Я знаю все линии Ее, все песни... Смотрел – и плакал.

Я пришел в ранний час, никого не было. Огражденная от шума, на высоте, на мягком бархате, покойном, как темное вино, Она все та же, Светлая... Слепая, Она глядела. От Нее слов не надо. Ей слов не надо. В чуткой тишине я Ей молился. Сказал Ей все... Я знаю: Она вняла. Во мне забилось болью, я не мог таиться... Ужас пустоты, утраты человека я постиг, свое – ничто... – и крикнул!.. Стоном у меня вырвалось. И увидал, на бархате... лицо! У входа, смотрит...

Сторож на меня смотрел, из-за портьеры. Ну, они привыкли к выражениям восторгов.

Я пришел в себя. В его усах, в глазах... – с усмешкой, кажется, они смотрели, – на теплом бархате, близко от Нее, я увидал знакомые черты, ту какофонию ужасных линий!.. Проступило так ярко... И столько вызвало!.. Я знаю, что лицо, конечно, было обыкновенное, ну – сторожа в музее!.. Но

тут оно меня ударило, хлестнуло грубыми чертами... – и мне мелькнуло: он и здесь?!. Миг это было, но я увидел, как расплывается оно на бархате, смотрит жадно на теплый мрамор, щупает глазами, лижет...

Я знаю: воображение мое расшатано. Я много думаю, и мои мысли принимают видимую форму, как во сне. Сны еще нелепей.

Потом я говорил со сторожем. Он был неразговорчив, но вежлив, и лицо простое. Он припомнил, что я бывал с самим директором. Корректно отозвался на наше: «Как это печально!» – и деловито спрятал франк, в память о добром прошлом.

Я вышел на Риволи в безумный час – и меня оглушило, закружило. Было тяжело в толпе. И жутко. И то, что мне явилось на бархате, прилипшее ко мне, как те три слова гнуснейшей ругани, как запах воблы... – бежало со мною рядом!.. Не галлюцинация, понятно: на улице я видел – что видят все. Но во всем я схватывал, улавливал еще другое. Звуки... Скрежещет, храпит, рычит... гудки, железный дребезг, – щелканье затворов?.. И тяжкий дух конюшни, стойла, едкий угар бензина, пота человечьего, цилиндры-будки эти, ноги там топчутся, и шляпы в ямках... – все одинаково, как в стаде! И вдруг – такими неимоверными духами!.. Лица подмаслены, в ухмылках, золотом смеются зубы... Остро раздражает. И – ни одного-то светлого лица, ни чистых линий!.. Из Лувра выходить ужасно.

Кажется?.. – говорите... Я знаю: он и здесь, и шепелявит, пальчонки в уголочке сосет! Слышу, как чмокает... Какой-то важный стержень из жизни выпал. А может быть, и стержня не было, – плелось, клеилось... Верилось, что Бога человечество родит, что вот Он. Бог в мечтах остался, у поэтов, что видят сны. Мечтатели редеют. Трезвые идут на смену. Эти наяву не будут грезить... отточат зубы, нервы заменят сталью! Глохнут уши, что слышали, умели слышать тайну. В шумящей жизни ее не слышно. Стержень выпал, все сыплется, теряет четкость линий. Я слышу, как стада... Макарок гонят пастухи лихие? Нюхом слышу, – у меня нюх птичий. Знаю, что и здесь услышат скоро три слова гнуснейшей ругани, что на болоте тогда мне в голову попали, с дробинками...

Логика хромает?.. Ах, эта логика!.. Я вон и видом изменился, и голос, замечаете ка-кой?.. Полушепотком все, голову в плечи прячу, озираюсь... Что-то будто птичье? Прислушиваюсь по ночам – мотор?.. Слух обострен, а логика моя... Знаете – шестое чувство, Бергсон-то еще говорил все..? А Ницше? Паскаль?! Они страдали. Мы страдаем неизмерно. Мы можем чуять дальше этих стен видимых. Должны!

Я теперь не в глаза гляжу, а за глаза... и всюду вижу славные черты Макарки. Всматриваюсь уж очень? Мне и глаз не нужно, – слышу! Воблин дух... и кожей пахнет! Потом совсюду пахнет, потом... Вянет Психэ, воняет псиной. Думал – с фонарем пойду искать пропавшее... Фонарь коптит. В Грецию хотел поехать, по островам. Смотреть коринку? Нюхать бочки с маслом?.. В Тарусе искать Фарос?.. Или рыться в... философии искусства?.. Бог мой! Откуда же обман весь этот?!..

Хожу в музеи. Чисто, тихо, законченно. Хранится. В камне, в бронзах – человек. Мысли – в хранилищах. Прекрасный сон, крылатые возможности. Пусть спят.

Творчество!.. Исход от идеала. Люблю – и выражаю. Любить забыли, выразить бессильны, идеал меркнет. Воплощать – нечего. Нечего в музеи. Составить описи – и запечатать. Занавес давай!

Да, вот... На днях в ученом собрании присутствовал. Были светила, слава века. Обсуждали экспедицию в Месопотамию, был диспут о грандиозном плане раскопок погибших царств, цивилизаций. Много еще тайн, сокровищ. Я сидел и слушал. Теперь я был другой, и это показались мне таким забавным. Следы погибших цивилизаций ищут!.. Для чего?! Ведь скоро... Я сидел и думал о погибшем царстве, о погибающем..

И опять со мной случилось... Перестановка планов, что ли?.. Мои мысли получили воплощение. Прищурился – и... Будете смеяться.

Вижу ясно, как вот тот старик, с румяными щеками, серебряная голова, с чудесной бородой по грудь, высокий, статный старик красавец, египтолог и богач – как он, в разбитых башмаках, в жениной кофте, в штанах из паруса, тащит по Сен-Жермен мешок, а из мешка-то... голова макрели или мерлана – почетный дар академического ранга... и холеная борода уж пакля!.. Или он под Парижем, где-нибудь в Сен-Клу... пни каштанов, и чайки, что ли, кричат и кружатся... И – ба-бах!.. Мелькнуло, что может так случиться. Доказать? Нельзя. Иррациональное ведь это... Как доказать, что человеческое дерево упало? Поросль идет, пойдет... Опять сначала?..

А вот профессор Дуайон, или кто там теперь... – в разбитом госпитале топит печь, а ему – «ссьто, товарищ Дуайон? кому сеперь ушши-то оболтали?!.» А знаменитого-то Бертело там или его преемника... два апаша с винтовками по Елисейским Полям ведут, проходом в Елисейские Поля... – Лявуазье везли? – а на знаменитом – синие штанишки с кантом, от полицейского сержанта, а из пиджака пучочек

пуаро, подобранного на пустом базаре, и бьет по тощей ляжке кусок украденного угля...

И еще я видел, как в уголочке какие-то сидят, потертые, – челюстями вперед, жуют, – и пальцы грызут-сосут... Глаза их видел! Досидят, дождутся, – и уж экспедицию свою снарядят, и египтологу при-ка-жут!.. Раком сварится, выпучит глаза, красный весь станет, – бороды-то жалко! – и будет потрошить гробницы, золота в них искать...

Быть объективным надо, говорите? Вы представьте только: наша гордость – называть не буду, – наша чуткость, совесть... слава наша, покойники!.. Представьте, живы они еще... и вдруг бы пришли бы к ним и принесли простреленные души, закричали: «Да поглядите!! люди уж кричат по-птичьи!!. отзовитесь властно! Мы готовы, умрем, вам пойдем на жертву, лишь бы услыхать... голос власти вашей, громкий голос, что «истина, добро и красота», о чем еще толкуют, – живы, сильны! что вечное не умирает! И мы уйдем спокойные...» А они бы, наши-то... никак?!.. Так бы, промеж себя... Или – про колесо Истории! вертится, а я – краснею!.. Нет, кощунство так говорить про наших.

Многое мне здесь открылось. Глаза кривые?.. Прямыми насмотрелся, с образцов музейных переносил на все. Макарка мне их исправил. Роскопок теперь не нужно: все раскопал! Сижу в музеях и вспоминаю.

Сны вижу...

Соловьев недавно слушал. Без тревоги. И трель слаба и коротка, и страсти нет той, и замиранье не выходит. Нет и посвиста раздольного, и поцелуйного разлива. Наши здесь не живут... остались там. Пустым оврагам поют по зорям.

Июль 1924 г.
Ланды

ДВА ПИСЬМА

I

Дорогой N. N.

...надо лишь глубже вдуматься!

Сейчас идет дождь, туманно, как всегда у нас в эту пору в Шотландии, на холмах. Но в моем кабинете тепло и сухо, жарко горит камин. Я только что вернулся с обычной своей прогулки, – она оказалась необычной! – и вот, вместо того чтобы сесть за работу над «Историей Возрождения», я невольно отдался встретившимся за прогулку мыслям. Во мне сейчас славная бодрость и радостность, подъем необычайный! Я с особенным наслаждением отпиваю глоточками ароматичный грог, – я немножко прозяб в прогулке, – и удобный мой кабинет, с афганским ковром, с почерневшим дубовым потолком, где еще видны крючки от клеток с перепелами и жаворонками, которых любил водить мой прапрадед, с потемневшими латами рыцаря у двери, от давнего моего предка, кажется мне еще покойней и дает больше уверенности в работе.

Итак, я перебираю встретившиеся за прогулку мысли. Они связались и с Вашим последним письмом ко мне.

Я зашел далеко – за шлюзы, за озерки. Что меня повело туда – не знаю. Я не страдаю рассеянностью, но сегодня так странно вышло. Там, близ фермы «Limit Ways», что по-русски значит – какие я делаю успехи! – «Предел дорог», – старинное название местности, – возле древней родовой нашей церкви есть очень давнее кладбище, сплошь заросшее вереском и барбарисом. Это и теперь еще очень глухое место, описанное Вальтером Скоттом. Я удивился – куда зашел! И вспомнил, что именно здесь мой дед встречал, на границе своих поместий, покойную королеву. Как Вы знаете, я далеко не мистик; но я ясно почувствовал что-то, отозвавшееся во мне тревогой. Было ли то от кладбища или это старая церковь, плачущая в дожде, тронула мою душу – не

знаю. Но помню ясно, как сейчас же сказал себе: «Свиданье!» Больше двадцати лет не заглядывал я сюда, хотя это довольно близко. И вот – свиданье. Отзвук давно ушедшего. Будто они, тысячи их, отживших, – их костяки лежали от меня близко, на три каких-нибудь ярда под ногами, и мои предки в церкви, – будто они призвали меня к себе и что-то хотят поведать. Именно это мелькнуло в моем мозгу, когда я увидал кладбище.

Дождь усиливался. Стадо овец паслось под дождем, дымилось. И я услыхал старческий хриплый голос:

– Здравствуйте, добрый сэр!

Я вздрогнул от неожиданности: из церкви голос! Это был старый пастух, в клеенке и юбочке, голоногий – у нас еще многие так ходят. Он сидел под крышей звонарни и читал Библию. Вас это удивит, быть может; у нас – обычно. И мы стали беседовать на удивительно образном языке-наречии, моем родном, которым гордятся абердинцы и грэмпьенцы, на котором дети лесистых холмов еще распевают о цветах чудесного вереска и про старого Короля. Это так чудесно. У Короля были руки из золота, тяжелые, как горы, и он просил Святого Духа Гор вернуть ему руки живые и легкие, чтобы покинуть тяжелый меч и опять молиться. Еще поют дети, но песни новые не родятся, старые забываются. Ну да: гаснет воображение.

Мы побеседовали. На раскрытой Библии старика, в старых пятнах от молока и сыра, на давней пожелтелой странице, засыпанной крошками, – представьте, какая дальность: Эдинбург, 1537 года! – я увидел чудесное место из великолепнейшего Исаии: начало 5 главы. Вы помните это место? Но чудеснее было то, что эти слова, эти слова так настойчиво и нежданно постучались в душу. Нежданно. В пустынном месте, у забытой церкви, у засыпанных костяков живших. «Свидание». Я же гулял и думал все о своем – об «Истории Возрождения», о Вашем последнем письме ко мне, которое лишь отчасти отвечало моим мыслям, о путях современного человечества, о том, как Вы называете, «тупике» или, кажется, «топчаке»? – я не совсем понимаю это слово, – куда оно, будто бы, заглянуло стадно – допустим, что заглянуло, но – только заглянуло. И вот – Исаия. И я наслаждаясь и вдохновенно прочитал два раза – и самому себе, и этому, будто вечному (ему 94 года), пастуху, и кроткому овечьему стаду в дожде, под кровом церкви, – эти слова, показавшиеся мне до осязаемости вечными:

«Воспою Возлюбленному моему песнь Возлюбленного моего о винограднике Его. У Возлюбленного моего был виноградник на вершине утучненной горы. И Он обнес его оградою, и очистил его от камней, и насадил в нем отборные

виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды. И ныне, жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите Меня с виноградником Моим».

И прочитал дальше – чудесное и грозящее, как бы историю жизни гибнущей.

«Хорошо, добрый сэр! – сказал мне пастух. – Дальше читайте, про судьбу, дорогой сэр».

И показал место корочкой от сыра. И я прочитал:

«...преисподняя расширилась, и без меры раскрыла пасть свою; и сойдет *туда* слава их, и богатство их, и шум их... Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом, тьму почитают светом, и свет тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое горьким!.. Горе тем, которые мудры в своих глазах...»

«Здесь, сэр! – еще показал корочкой старик: – Здесь суд».

И я прочитал покорно:

«...истлеет корень их, и цвет их разнесется, как прах; потому что они отвергли закон Господа...»

«Все это правда, дорогой сэр! – погрозил старик корочкой. – Неверная стала жизнь».

Мы хорошо поговорили со стариком. Слов было мало, но так – я не помню, когда говорил и с кем. Многого он не знал, конечно. Где же, при овцах, знать многое в нашей жизни. Но он знал многое, и такое, чего не знал я, историк. Он, мудрый от неба и от земли, – явился живым Исаией. И я услыхал от него его суд над жизнью. Исаия... Его, живого, я встретил – в моем шотландце. Я так был радостно потрясен. Чем – Вы спросите.' Величавою простотой и чистотою сердца. Этому – предложите все богатства мира, и он не отдаст за них свою книгу, овец, осыпающуюся церковь, свою корку сыра и кусок хлеба. Я был радостно потрясен, почувствовав в нем – святое, если оно еще есть на свете. Вы понимаете? Корни – целы. Виноградник еще хранит в зиме нашей благородную почку, которая может развернуться.

И я сказал ему это на его суд над жизнью. Знаете, что он мне ответил?

«Поглядите, добрый сэр, на это место. Больше тридцати лет тому здесь рос столетний каштан, и мне хорошо было под ним в непогоды. Его повалила буря. Побегов не было, сэр... поели козы».

Побеги будут. Они, вероятно, будут.

Сколько он знал и видел! Он связал меня с предками. Он – я и не знал того – семилетним мальчиком приносил моему прапрадеду перепелов и жаворонков, муравьиные яйца и

вересковых улиток. Видел родившегося моего отца, когда впервые принесли его в церковь. Он словом своим поднял кладбище все, всю округу – и я почувствовал, что все они еще живы, как этот вечерний свет за окнами кабинета, пробившийся из тумана и уже гаснущий. Завтра он снова будет, будет наверное. Не все же туман и дождь.

Эта встреча и земля моей родины, которую я так близко почувствовал в этот вечерний час, живые недра которой неиссякаемы, делают меня более сильным. Я крепче держу перо. Слово – великая сила, дарованная земным. Слово творящее – Слово-Бог. Тихие овцы, кроткие, и тихий пастырь. Я почувствовал непорываемую связь с моим давним, с духовно-вечным, что несли в жизни и передали нам все, укрывшиеся камнями и кустами по кладбищам. Слово – родной мой язык и мысль. Я так был счастлив, и я понес эту примиряющую тишину – к себе.

Да, я еще увижу его, пастыря. Он дал мне слово зайти на Праздник. Я ему предложил пять шиллингов. Он сказал: «А чем же я отработаю их, добрый сэр?»

И положил за чулок, покачивая головою. Завтра доставит ему почтальон фуфайку, куртку и башмаки. И он покачает головой.

Все еще ощущая неуловимый запах наших холмов и туманного неба, древних камней церковных, которые унесли меня в колыбель народа, запахи стада, овечьего сыра и пастуха и непередаваемый аромат скорбных слов древнего гения, трепетных и доселе, – я пишу вам ответ-привет.

Да, Вы отчасти правы. Много и грязи, и крови, и неправды в жизни. Много, как пишете Вы, «парикмахеров, мясников, шоферов и лакеев». Да, лакеев. И в политике, и в искусстве, и в мысли-чувстве. Много кинематографов – правы Вы. Кинематографов и шоферов. «Шоферы всюду – в вонючей коже, в вонючем масле. Мчат они в реве-гуле, рвут чаевые и «по часам» ведут машину тысячеглазую, тысячеротую, послушную, как рабы, и давят в беге своем живое, оставляя угарный след. Сбросит она порой, ударит в камень – и разбивается на куски». Да, я знаю. И безмерную пошлость, и исполинское чванство, и всемирное второклассничество. От синема, от отравляющих Дух «мовис» получаем мы и политику, и мораль, и новеллы, и – науку даже; и мысли, и речи, и жесты – все бегло, смешно и плоско и «пахнет в мире бензином», как пишете Вы, «и потешающим «Максом», паяцем и шулером всех сортов. А чудесные лилии, рожденные из Голгофской Крови...» Да, Вы отчасти правы. Взмыли моторы и на Голгофу и сбили Крест, подавили святые лилии. Да, забыто много прекрасного, и кроткий голос из Гефсиманского Сада смолк. Ушел в Пустыню – решать и думать?

С холмов я часто поглядываю в туман. Что дальше? Да, Вы отчасти правы. Не забудьте только, что когда-то «глас вопиющего в пустыне приготовлял путь Господу». Этот глас не смолкнет, пока живо Слово творящее. Мысль – тревожно ищущая. «Воззвал голос от Иордана». Голоса будут. Голоса должны быть.

Больное Ваше... Я знаю родину Вашу, знаю ее великую литературу и тревожную ее совесть знаю. И верю, что сильная мысль и чувство еще могут делать в Европе то, что когда-то в приорданской пустыне делал Великий Духом. В прогресс человечества я верю и этой вере не изменю. Надо творить и будить. Надо делать. Надо уметь быть вождями и крепко верить в себя.

Я знаю теперь и о «провале» вашем, и о крови, залившей жизнь. Вы намекаете, что и у нас быть может. Да, трещины и у нас как будто начинают проглядывать. Быть может, «гангрена» и к нам лапы свои протянет. Но у нас слишком много железной воли и много любви к культуре. Великая историческая судьба выковала наш характер. Под спудом – крепко храним мы бесценнейшую духовную культуру. А эта сила – упругая. И рыцари наши стоят на страже.

А вы... Вам не хватало воли и цепкой любви к культуре: слишком легко приобрели вы ее, усвоив. Она не проникла в недра. Вы слишком мало ее ценили. Вы слишком опрометчиво верили, что она бесконечно будет сыпаться вам, культура тысячелетняя, которую вы в один век схватили. Мы ее вам ковали – мы ее для себя удержать сумеем. Вы были слишком самоуверенны – от таланта? Вы слишком смотрели в дали и не умели и не хотели видеть, какие ценности возле вас. И когда пришел тать – не было у вас стражи рыцарской, стражи в латах. И тать расхитил и расточил. Ваши рабы – народ – (о, рабы, конечно!) понятия не имели о богатстве. Если бы знал хозяин... Но вы – простите – хозяева разве были? Мы – хозяева, и мы знаем. И нам ничего не страшно.

Близятся праздники, и я сердечно желаю Вам... Конечно, вам не до праздников. Но будем верить. Быть может, вы ближе нас, европейцев, к великому очищению. Иногда мне думается: быть может, новые пути откроются вам на пепелище. Час добрый. Ибо вы – в пламени. Правда, вы в тяжкой грязи. Но грязь отмоется, а огонь выжжет язвы.

Уже темнеет, и я поворачиваю выключатель. На черном потолке в крестовине дубовых балок вспыхивает кованый прапрадедовский фонарь, в котором когда-то горела светильня в козлином сале; теперь за мягкими стеклами теплится электричество, поданное за сотню миль. Но оковка та же. А у двери старый латник, хранимая оболочка предка, крепко держит в железной руке копье; в другой – железный,

давний-давний ночник-фонарик, с которым ходили в ненастной ночи. Фонарик, правда, помят, – в ночных набегах? – но еще крепок. Я его покрыл лаком, и он послужит. Видите, как мы связаны. Да будет и у вас так же.

Дружески Ваш Джемс У. Гуд

II

Париж? 23 дек. 192... г.

Дорогой Мистер Гуд,

...но не буду касаться этого. Слишком больно. Да, новые пути будут. Сослаться на что могу? На внутреннее мое. Да, верую. Новые пути нам должны открыться! И мы, именно мы пережитым страданием утвердим величайшую из всех ценностей человечества – образ Бога Живого в каждом, признание величайшей цены и величайшего смысла-цели за душою человека. Мы, именно. Она, душа, ее внешнее проявление – личность – у нас стерта с грязью, смешана с кровью, да. У нас же она и вознесется. Именно – будет чудо. Величайшее чудо Преображения! Через огонь и грязь, великою жаждой чуда, пронесем мы нетленное, что не только культурою добыто, а и выковано страданием. Вы говорите о культуре, дорогой мистер Гуд. Где же у вас культура?! Пишете Вы «Историю Возрождения»... Вы должны ясно видеть, что давно умерла культура. Культура – святое дерзание и порыв, культура – трепетное искание в восторгах веры, культура – продвижение к Божеству! Где они?! Ушел из Европы Бог, и умерла культура, и линючая пленка цивилизации затягивает «бродило» покровом похоронным. «Гаснет воображение», и последние песенки допевают дети! Ваши дети. И пастух Ваш вечный, «мудрый от Неба и от земли», истину Вам поведал – ее он учуял сердцем. И Вы учуяли, но бодритесь. От бывших черпнуть хотите – и радостно Вам «свиданье» у осыпавшейся стены церковной. Томится Ваша душа, ибо «провалы» чует. А вечный пастух Ваш видит. И говорит: «Неверная стала жизнь, сэр».

Простите, но не фонарями же, не латами ваших предков можете удержать живое! Как вы ни покрывайте лаком, как ни храните по музеям, ржавчина точит, точит. Сколько ни ходите на «свиданье», не почерпнете силы: она давно истаяла и переселилась в вещи, в удобные кабинеты, с пустыми латниками, светящимся электричеством; в бьющие на сто верст пушки, разрывающие на куски живое, в рев и грозу толп черни, требующей удобных кабинетов с каминами и грогом, неумолимо требующей и умеющей обращаться с

пушкой; в острую мысль, разлагающую все ядом, в усталость тоски и скуки. Допингу требуете от... кладбища. Поздно, дорогой мистер Гуд, не увидите скоро последнего вечного пастуха: сойдет! И не помогут Вам (вам) «свидания».

Не хочу быть пророком, и пусть еще долго светит латник на «Историю Возрождения». Да будет!

Исаия... – да, чудесно! Я будто вижу Вашего пастуха, кротких овец и церковь, и озерки, и вереск, и барбарис по плитам... Что за счастье – бродить по родной земле! Вы искали, и к Вам подошел Господь в образе мудрого пастуха в пустыне. Этот пастух, которого Вы назвали вечным, – Вы угадали, – вечный! Бог в душе – пастух этот. Зачем ему шиллинги, фуфайка и сапоги с курткой! «Милости хочу я, не жертвы»! Он ласки от Вас хотел, радостной и братской души Вашей! Сокрушения Вашего (у него есть свое) он хотел, Вашей тоски над жизнью. И получил, быть может. И придет к Вам на праздник, одинокий, один оставшийся с овцами, всех и все переживший. Поплачьте с ним, поднесите ему стаканчик грога, и он споет Вам чудесный гимн Рождеству на грэмпьенском наречии и вспомнит чудесные легенды, которые освежали душу у Ваших предков. И, не находя слов, – чему у овец научишься? – на прощанье скажет самое верное: «Неверная стала жизнь, добрый сэр!» Он знает. Он все ведь знает! Знает, что больше двадцати лет не были Вы у церкви, у праха предков (простите, не в осуждение!), не тосковали по детским песенкам, не знали, что отсветы Вашего прапрадеда еще подрагивают в живых путях его глаза, что в самом в нем еще живет-таится струившаяся в «прорывы» сила Ваших покойных предков! Он зарядил Вас бодростью... Да будет! Поднесите же ему стаканчик грога.

Исаия... Откройте Библию и читайте: Исаия. 2 гл., стих 6, и дальше, дальше... И старику пастуху читайте. И скажет он, покачивая головой с грога: «Народ мой! вожди твои вводят тебя в заблуждение, и путь стезей твоих испортили... Горе душе их! ибо сами на себя навлекают зло»... Он чует... – и кто знает, не придет ли и он на суд?! Случиться может.

Вы прочли у Исаии? Наше ли это? Нет. Это не мы грешили. Европа это! «И посох и трость» – у ней отымутся. Она наслала на нас – свое. Мы его быстро усвоили с «культурой». У нас все быстро. И развалились быстро – от таланта! У нас «проклятый провал» – случайность, ураган, смерч, ибо народ – младенец, да и «вожди», если не плуты, младенцы тоже. Помойное стеклышко могут принять за солнце. У нас система не прививается: мы же глядим

по далям! Наносное, как отметки цивилизации. Система – для Европы. А у нас первое солнышко «побеги» выбьет, и козы их не погложут. Но... не хочу касаться.

«История Возрождения»? Хорошо. Но как бы чудесно было, если бы Вы писали о Возрождении без кавычек! Но... близятся Праздники, ваши праздники, и я не хочу слов мрачных.

В туманы ваши протягиваю я руку и говорю желанное: с Новым Годом!

Мне повелительно хочется отзвук души моей Вам послать, отклик того нетленного, что еще осталось. Что нас связало? Культура? Величайшее Слово связало нас! Голос от Иордана. Камень нас тот скрепил, на Котором цвела культура, пока не отвергли Его строители. Мы никогда не видали один другого, может быть, не увидим вовсе. А будто прожили века вместе. Я же так ясно вижу ваши холмы, и кабинет с афганским пышным ковром, и черные перекресты балок, и латника, и башни налево, если покоситься в окно, серые башни в туманной сетке. И синеватых гусей, подтягивающихся с канала к ферме. И вялую лугов зелень – зиму в Шотландии. А я никогда там не был. О, великое Слово – Мысль! Будто встретились мы случайно, на перепутьи где-то, на глухой станции мирового перекрестка, в метельную ночь жизни, не видя лица друг друга. Мы перекинулись словом в ветре. И по одному слову, по вздоху даже – почувствовали мы оба, что не мелькнувший это случайный встречный, а близкий-близкий, из одной Кошницы – частица того огромного, чего не назовешь словом, что есть Божественная Душа, что из предвечного тянется к жизни вечной. Человеческое общение! И тот Ваш вечный старик пастух – и мой, и Ваш брат – навеки.

О, если бы перенестись на ваши туманные холмы! Все дни сидел бы я с овцами под дождем и читал у церкви. И с нами Бог! Но у нас украли эти холмы, и овец, и Великую Книгу! Я не в силах больше...

С Новым Годом! Дней благостных, и да хранит Вас Господь от потрясений! Что могу большего пожелать? Мы, русские, теперь большего пожелать не можем. Все мы знаем, всего хлебнули. Знаем падения в бездну и растленье Духа...

Я хотел бы перенестись в вашу Старую Англию, зачарованный еще с детства сказками незабвенного Диккенса. Я хотел бы услышать «сверчка», очаровательного

«сверчка» его, по которому жизнь тоскует. Я хотел бы вернуть те слезы, которыми плачут чистые, только дети. И старенькие колокола, и завыванье ветра в пустом камине, и гулы-шумы черных деревьев за ночными окошками. Я хотел бы понять таинственное в этих лохматых «гнездах» омелы, французского «gui»», в бледных и редких ее листочках и странном «жемчуге», в ее побледневшей – от страха? – «клюкве», в ее «слезах», которыми плачут бури! На днях я видел груды ее на рынке. Хотел бы слушать, как поют и потрескивают буковые дрова и уголь в каминах и очагах, как поют в дальних церквах, плитами связанных с отшедшим, псалмы и гимны и победную песнь Рожденному, Свету Неизреченному!

Я не был в Англии никогда, но я... я вижу ее и знаю. Я даже слышу запахи ее праздника, детской его одежды! И курящегося синими огоньками сладкого «плюм-пудинга», пунша и грога, и жареного гуся или, может быть, индюка, – почему-то я гуся вижу! – и особенных, на корице и имбире, сливяно-медовых пряников, и длинных конфет-ломучек, из сладкого хрусталя, – не посохов ли пастушьих или ледяных сосулек? – подающихся будто только на Рождество. И серебряные звезды вижу, и горшки гардении на столе – цветка лордов, в цветах сладких и нежных, как свежие сливки, сливками пахнущих и лимоном; и пироги со «счастьем» на день Крещенья – высокий дар Короля.

Сколько чудесного! сколько – бы-ло! Отодвинулось оно в глубь времен, и только разве бедный рыбак далекого побережья Minch'a да дровосек с Грэмпиенских Гор еще возносят молитву за Короля, – скрепляющего народ, как «ключ» в своде широком, – сурово скрестивши руки, и едят за его здоровье и во благоденствие всей страны пирог – «счастье». Уплывает взлелеянное веками творчество сердца, погасает, тлеет... Теперь «счастье» хватают на базаре с ларя торговки и кричат, – черрт! – нащупав зубами горошину или ржавый пенни. Ворчат, что прокисло тесто. Да, прокисло.

Есть ли еще по Англии старинные молотки у дверей? стучат ли?.. А колокола... смеют ли еще играть раздольно? Здесь, в Париже, я не слышу кованый глас земли, к небу поднявшейся земли-меди, из грязи вырванной человеком, запевшей под небесами! С колоколами покончено. Отзвонили. Зато лихо ревут «такси». Но еще покупают шоколадные «сабо де Ноэль», «cete» и зайчиков и ставят на стол

сахарное полено – «buche». Зачем? – забыли. Зато на Святой Вечер танцуют по ресторанам, покупают на «ревейон» кусок индюшки «aux truffes», особенной индюшки – из телятины и крольчины. Но все еще продают «вихорево гнездо» – омелу. И все еще покупают ее, уже не зная, зачем? И... – верить хочу – вздыхают. По чем? Но все меньше вздыхают... Ржавеют замки у сердца.

Мне холодно... не согревают меня камины. Камины эти вытягивают тепло, последнее... Здесь не знают нашей широкой и жаркой печи. Из чудесного кабинета, из-за зеркальных стекол. Вы любовно всматриваетесь в туман и ловите успокоенной мыслью последний привет погасающего за дождливыми облаками солнца?.. Я чаще посматриваю к Востоку. Я уже начинаю видеть... Родина наша теперь в снегах, морозы гулко палят из бревен, но стало бы так тепло, если бы заблудился я в русском метельном поле, в широком, раздольном поле!..

Но... верить! верить!!

Наши праздники – впереди, вдалеке... – но я уже начинаю видеть. Они придут. И хлынет тогда, бурно хлынет тогда в души зовущие, в души унылые, и души испепеленные... – небывалым светом и звонами такими, что радостных слез не хватит встречать Рожденье! Не хватит криков! Мы услышим колокола... свои. Они набирают силу. Мы найдем много меди, певучей и новой меди. Она подремывает в глуби. Она загудит-зазвенит под солнцем! Мы увидим звезды, наши звезды, с неба спустившиеся на наши сосны, на наши ели, – в снегах, седые, уснувшие... – и наши леса проснутся. Мы увидим, услышим Праздник. Мы должны увидеть. Наши снега загорятся, сами снега загорятся и запоют! Льды растопятся и заплещут – и вольный разлив весенний, Великое Половодье Русское, смоет всю грязь в моря.

Весна... Знаете ли Вы весенние песни наши? Мало их знают по Европе. Знают весну лишь северные народы – чудесное Воскресение из мертвых! Она проснется, новая Весна наша, Снегурка наша, потянется голубым паром в небо, озолотится в солнце... разбудит сладостную тоску по счастью. Шумят подземные ключи, роют, роют... Мы обретем ее, ускользающую Снегурку нашу, мечту нашу! Мы ее вспомним-встретим и обовьем желаньем!.. И снова, снова – откроются перед нами дали, туманные, пусть обманные, наши

дали. Дали родили нас. Наши снега, плывущие по весне, зовут за собою – в дали.

Сломаны наши связи, святые могилы взрыты, обшарены... Прошлое наше, исполненное чудес, кинуто на базар, расхватывается чужими. Не найду, никогда не найду, быть может, милых, старых фонариков моих дедов, тихих кадильниц, ржавых мечей и копий, русских кольчуг и шлемов, где кровь потонула в ржавчине, кровь святая и гордая, кропившая города и поля России... Не найду, должно быть, уцелевшей стены церковной... Вы, быть может, увидите наши святые осколки-крохи по музеям вашим, по магазинам и витринам. Пустыми, немыми будут они для Вас. Но вечные пастухи наши живы и умереть не могут. Они не читают Библии. Их руки еще не доплели лаптя. Но они то же, вечное, держат в сердце. Вечное, в наших полях убогих, в нашем спокойном небе. Молодое оно у нас, и, нищие духом, мы с верой на него смотрим. Наши глаза широки, теперь широки: слишком много увидели глаза наши. Наши глаза глубоки, теперь глубоки необычайно: страшное погрузили они в себя.

Великий Крест стоит на равнине русской. Наша Душа на нем распята. Дух пригвожден народа. И не разумеет сего Европа! Слушай: шумят при дверях оружием! Спят твои рыцари по гробницам: некому сторожить богатства. Ржавые латы их украшают музеи и салоны. Тоскует земля по рыцарям, но не разумеет сего Европа. Петры Амьенские не придут... тернии и волчцы заполоняют виноградник, и вы, лоза плодоносная, не дадите вина и одного «бата», скоро никакого «Возрождения» не будет никому нужно. Вино подают на Праздник. Что за праздник в пестрых днях? Колокола возвещают Праздник... Где же ваши «колокола»?! Не видит сего Европа! Видит и разумеет Тот – Он же все сроки знает. Уже лопата в руках Его... – веять, только подует ветер.

Вы улыбаетесь, вижу это. Но это же мой голос, неумолчный, его не измеришь меркой, не покроешь числом и фактом. Так я верую, так я верю. И, нищая духом, затерзанная, замызганная, загаженная, бродяжная, стодорожная, калика-перехожая, познает Россия свое, ценнейшее, что в недрах духа ее сокрыто, что не предалось духу тьмы, что выстрадано в борьбе, что выплакано в слезах бессилья. С холмов родины, из туманов, Вы посылаете мне слово Пророка – образ

грядущего, – Суд Его. Верю, что будет Суд. Я, с чужбины, посылаю Вам «судьбы наши»:

«Восстань, светись, Иерусалим; ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак – народы; а над тобою воссияет Господь... Возведи очи твои и посмотри вокруг: все они собираются, идут к тебе; сыновья твои издалека идут, и дочерей твоих на руках несут... Кто это летят, как облака и как голуби – к голубятням своим?»... (Исаия, гл. 60).

Да будет над всеми Солнце и не погаснет вовек!

Мой братский привет примите.

Душевно Ваш N. N.

Париж, март 1924 г.

РОДНОЕ. ПРО НАШУ РОССИЮ. ВОСПОМИНАНИЯ

ВЕСЕННИЙ ВЕТЕР

Утром белел на лужах сквозной ледок, а теперь, за полдень, бегут ручьи, нежатся на солнышке собаки и полощутся бойко воробьи. Ветер – «вскрышной», тугой, сыровато-теплый. Потянет, рванет порой: бойкий, весенний ветер. Прислушаешься – шумит-смеется! И небо – в ветре: густое-голубое за золотистыми прутьями тополей. Тепло и – свежесть. И в свежести этой – струйки: от тающего снега, от потеплевшей земли и крыш, от бьющихся в ветре прутьев, которые посочнели и сияют от ветра, от ветра, пронесшегося полями и лесами?.. И голубями как будто пахнет... – томною воркотнею их, – чуется молодому сердцу, – и теплой сыростью погребов, запоздавших с набивкою, с помягчевшим льдом, зелеными-голубыми глыбами, с грохотом рухающимися в темные зевы лавок. Весна... Она засматривает в глаза разрумяненными «жаворонками» и белыми колпачками пасох, в бумажных розанах, кивает с телеги веселой вербой – красноватыми прутьями и серенькими вербешками, золотится крестами в небе, кричит в голосах разносчиков...

Пятиклассник Федя – если бы его звали: Георгий или Виктор, что значит «победитель»! – а то все – «ах ты, Федя, съел медведя!» – сегодня совсем весенний: купленная для Пасхи легонькая фуражка, с широкою, модною тульею и с настоящим «гвардейским» кантом, весенняя шинелька, вынутая сегодня из сундука и пахнущая невыносимо нафталином, – к четвертому-то, пожалуй, выдохнется! – сияющие новые калоши и кремовый шелковистый шарфик. Шарфик делает его очень интересным. В новеньком портмоне – рубль восемьдесят пять копеек, вырученных вчера у букиниста за «Собрание сочинений Загоскина» в роскошном переплете. Но самое главное – «ровно в 4, по Спасской башне!» На Вербе, под самой стеной Кремля, где с возков про-

дается верба, условлена у них встреча с Ниной. Дивное какое имя!..

«Женщины гораздо находчивее мужчин!» – взволнованный близким счастьем, мечтал Федя, проходя мимо Иверской в ворота, где горластые молодцы орут – «а этот, с «морским», ярославским-костромским!» – а старушки курят «монашками» на жестянках и призывают сладко: «возьмите, благодетели-кормильцы, для духовного воздушка...» – «Вот Ниночка-милочка...» – «Вот на Спасской пробьет четыре, буду в Вербах!» – «А то бы и не найти, – миллион народу!..»

А над миллионом народа, над залитою дочерна великою Красной площадью, на которой, покачиваясь, ходят грозди красных и голубых шаров и незыблемо возвышаются под «Мининым» серые спины и синие шапки, с султанчиками молодцов-жандармов, – стрельчатая, увенчанная золотым орлом Спасская указывает на черном великом круге золотою стрелою – три!

Федя – в толпе, и его оглушает и гоготом, и писком, и щелканьем, и треском, и свистом-ревом, – всем миллионным гулом народной Вербы. Сверкает и плещет в ветре, пестрит и колет – бумажными цветами, вязками розочек иконных, пузатыми кувшинами с лимонадным морсом, стеклом и глазастой жестью, сусалью и подвесками, качающимися лампадками на цепочках, золотом-серебром на солнце, ризами и цветными поясками, пущенными воздушными шарами, яркими лоскутками... – звонкою пестротою торга. Кружит глаза и уши – «летающими колбасами» с визгом, «тещиными языками», с писком, издыхающими чертями, свинками, русскими петрушками, «американскими» яблочками на резинках, трескучими троицкими кузнецами, дудками и барабанчиками, пистолетиками, свистульками, щелкунами, ревущими медведями, бякающими барашками со скрипом, барабанною дробью зайчиков...

Многоглавый и весь расписной Блаженный цветет на солнце, над громким и пестрым торгом, – пупырьями и завитками, кокошничками и колобками цветных куполов своих, – главный хозяин праздника. Глазеют-пучатся веселые купола его, сияют мягко кресты над ним, и голубиные стаи округ него. Связки шаров веселых вытягиваются к нему по ветру. А строгие купола соборов из-за зубчатых кремлевских стен, в стороне от крикливой жизни, не играя старинной позолотой, милостиво взирают на забаву.

Взглядывают на них от торга – и вспоминают: «Пасха!» И на душе теплеет.

А Спасская выбивает переливом – третью четверть. «Пора к Вербам!..» – спохватывается Федя, и у него замирает сердце.

Он представляет себе тоненькую фигуру Нины, с длинными темными косами, милое личико, нежное, снежно-восковое, маленький ротик-губки, жемчужно белеющие зубки, остро закинутые брови и быстрые синеватые глаза, умные-умные, от которых он все робеет, не в силах оторваться. Он видит даже, как встряхивает она головкой, и косы ее летают... как она чуть косится, оглядывая себя и щурясь... Какой уже раз он вспоминает:

«Сама спросила... – «Вы будете на Вербе?» – и первая же сказала, что непременно будет... – «В четыре... непременно?» О, чудная, неземная... Ни-на!..»

Он медленно подвигается в толкучке, и все вокруг – будто неземное!

Пышные, небывающие, розы протягивают ему букеты, играют в ветре, кивают ему совсюду – с проволочек, с палаток, с вышек, – чудится из чудесной сказки. Колышащиеся связки шаров гибко выгибаются к небу, и он неотрывно смотрит, как оторвавшийся красный шарик тянет к Блаженному по ветру, стукается-ползет под купол, рвется по завитку, как клюква, и вот уже у креста, и вот уже над крестом, делается все меньше, меньше... – кружится даже голова.

– Животрепя-щие бабочки!.. А вот-с животрепящи-ми-та-а!

Мальчишка – с пестрым щитком товаров. Кричит до того пронзительно, словно у него в глотке дудка.

Радуют глаза блеском трепещущие яркие бабочки – разноцветные, мягкие обезьянки из синели – такие милые... Федя покупает себе и Нине – и обезьянок, и бабочек – и накалывает, как и все, на грудь.

– Па-следний чиж... самопоющие водяные соловьи!.. Чудо двадцатого века... чуввилль-чуввилль... тррр...

– Ка-му жука?.. самые американские жуки!.. Без ключа – без заводу, ор-ловские по ходу! Барыня, дозвольте жучка порекомендовать!..

– Ело-зющие му-хи... мму-хи елозющие!.. Купите мушку для удовольствия!.. Му-хи елозющие, му-хи, мму-хи!!

– Самый-то брюнет руку к сердцу прижимает!.. Барышня, барышня... даром отдам, только поглядите! В трубочке ходит – прыгает, ножкой дрыгает, семь годов картошку копал, на десятый в баночку попал!..

– Петушки-петушки, бьющие петушки! Барин, обратите такое ваше внимание – до чего яры!.. А-йя с петушками, с гребешками!

– Рыбки золотые!.. ррыбки, рры-бки живые-золотые!..

Золотая стрела на Спасской – прямо. Четыре перезвона. Подождали... – и вот четыре вязких, как по старому чугуну, удара сонно упали в гомон.

– Страшные муки загробной жизни! видение афонского монаха Дионисия в аду... с приложением фотографии!..

– Па-следний чиж... па-следний!..

– А вот, с Пуришкевичем!.. Ко-му Пуришке-вича продам?

– Паж-жалуйте-с, самый шустрый... Приказали бы уж парочку бы, барич!.. Морски-е жи-тели! самые разживые, голубые, хвост шилом-петелькой!..

– Ши-ляпина продаю... Ши-ляпина! Не скворец, а... Барыня, верьте божецкому слову... себе двугривенный!..

– Небьющие куколки-секрет! Извольте-с, мордой об морду бейте... Да-а, вам бы еще кирпичом ее... Вас бы вот так стукнули об чево!.. Небьющие куколки-секрет!..

– ...На построение храма Божия! В селе Замости, Мещовского уезда Калужской губернии... на пятое число октября... Божьим напущением... стихейный пожар-бедствие ис-пепелил... равноапостольного...

– Самый злющий тещин язык, с жалом! Шипит-свистит, на кончике-то, гляньте... пистолет! Злющая была, вчерась только сдохла-померла!..

– Издыхающая свинка! Барыня, издыхающая свинка!.. ло-пнула!.. Барыня моя, лопнула!..

– Вон, вон... шары!.. да вон, ветром сорвало!.. да вон, на кумпол-то понесло... шары! Обошли?!. По-шли! Цельная вязка пошла... капиталу сколько!.. Мальчишки срезали, боле тыщи шаров!..

Ветер ерошит розы, треплет на вышках перья, пузатит-трясет палатки, хлещет цветами в лица... Веселый ветер! Щелкают кумачи и ситцы, качаются лампадки, плещутся золотистые рыбки, играют «зайчики»...

– Мухи, м-мухи!... елозющие мухи!.. мухи елозющие... мухи!..

– Ай, ве-тер, ветрило, не дуй мине в рыло, а дуй мине!..

Феде и весело, и больно... Пробиться трудно, а уже семь минут пятого! Как же не рассчитал?.. Нина уже там, конечно... За иконным рядом, в фольге и блеске, с летающими по ветру розочками на привязи, шествуют, возносясь на палках, колко сияющие клеточки из жести, в кольчиках, с легкими золотыми канарейками.

– Самыя-то жар-птицы! Мамаша, купите дите вечную кинареечку – жар-птицу?.. Не пьет, не клюет, только песенки поет!

Феде мелькает детство, первая вербочка, золотой луч солнца, и в нем – воздушная восковая канарейка, первая радость жизни. Позванивают клетки на ветерке, мечутся «канарейки», сверкает жесть.

А вот и вербы. Они в возках. Держатся под стеною неслышно, не путаются в торге. Красноватые заросли в серых

мушках, тянутся, что кусты на пойме. Сидят мужики в кустах. Лошадиные головы кротко дремлют. Стена за ними, под нею снег... Несет холодком полей. Сколько веков – над ними, за ними, – дремлют! Мужики в охабнях – в полушубках, с широкими откидными воротами, в дремучих шапках, – исконная Россия.

Федю волнует сладко: где-то тут Нина, смотрит. Он поправляет фуражку и принимает серьезный вид.

– Хренку-то бы взял, родимый!..

Отжатые шумным торгом, топчутся на грязи с корявыми пучками, – слабеющая старость.

– Ваше степенство!.. самая святая верба, с-под Нова-Русалима!..

– Не верьте... – сипит сбоку красноносая фигура с оборванными карманами, с ворохом длинных сучьев в зеленом пухе, – обратите самое серьезное внимание!.. Перед вами не кто, а бывший чиновник консистории, занимаюсь вербой! Глядите, научный сорт по Кормчей Книге! Какой состав?.. У них прутье, а у меня в мохнатку... Э-та не в-верба?!. Самая вайя, на церковнославянском языке!..

– В Лександровском саду сейчас наломал, сторожа погнали!

– Ольха-а?!. И вы можете повторить клевету?!. Раз это вайя священная! Можете покупать, мо-жете... Но только имейте в виду, для таинства недействительно!..

Боже, но где же Нина!..

– Ах... уж хотела идти домой! – радостно, но с укором восклицает за вербой Нина. – Купила. Хотите, поделюсь?

Он прямо очарован, не может найти слова. Нина совсем необыкновенная, среди верб, в новой весенней кофточке! Ужасно идет к ней синее, и розовый бант на шейке, и синяя шляпка с широкими полями совсем назад, с крылышками, как у Гермеса!.. Похожа... на итальянку?.. Совсем как Кавальери!..

Она счастлива, понимая его восторг. Она отделяет ему пучочек. Краснея и волнуясь, Федя прикалывает ей бабочку и розовую обезьянку.

– Ну, какая же она миленькая, пре-лесть!.. – восторженно шепчет Нина и даже целует обезьянку.

– Будем ходить?.. – почему-то робея, говорит Федя, не веря счастью. – Так там ужасно весело!.. Только крепче держаться за руки, а то разобьют...

Радостная дрожь в нем. Нина как будто выше! Новые башмачки, и без калош!

– Ни-на, вы же ноги промочите!... ужасная грязь и лужи! – с ужасом шепчет он, оглядывая смущенно бурые свои калоши.

– Могу, по камушкам, пустяки!.. Купила обувь... – показывает она носочек, уже запачканный, – и не могла подобрать калош, такая маленькая нога!..

Он готов опуститься перед ней в лужу с плавающими вербочками и рваным «тещиным языком» и взять осторожно в руки эту восхитительную ножку!

Они крепко берутся за руки и сливаются с гулким морем.

– Мыши заводные, мы-ши, мы-ши! Мы-ши самые заводные, живые мыши!.. Мыши живые-заводные!..

– Самотреща-щие барабаны!.. трещащие барабаны!.. Барышня, подержите... самотреща-щие барабаны!..

– А вот длисированные лигушки! Ко-му продам, самые длисированные лигушечки!.. Барышня, глядите, – сама елозит!..

– Веч-ное стеклянное перо! Самопищее перо, вечное!..

– Спички с мышью, тайная коробка для знакомых! Желаете, парижский секрет?.. Потише, отойдемте, выскакивает воспрещенная цензура!..

– Господин гимназист, желаете... полнографию приобрести, редкое издание?.. – сыплется воровато-басистый шепот. – Полное собрание сочинений господина Баркова, любимого поэта Пушкина, «Горе от ума»?.. Редкий случай, пол-ное собрание сочинений...

– Барышня, купите про любовь: «Любовь за гробом, или драматический роман в трех частях», двугривенный! «Черная галка», веселый народный праздник, пять копеек!..

– Китайский физический секрет, магическая фотография, химическим нагревом открывает сужет! Верьте, господин, Богу, безо всякого обману, монаху в секретном помещении, штука двадцать копеек! Химическим нагревом раскрывается сужет, увлекающий научный опыт!..

– Сса-мые знаменитые садисты любви, маркиз Сад! Самые зна...

– Которые сады садят...

– Пожалуйста, проходите без любопытства! Сса-мые знаменитые...

– Всемирные анекдоты про Суворова, шута Балакирева, Наполеона, Лександру Макелонского, баснописца Крылова и проч..! Гер-рои-куртизаны, фавориты и всемирные анекдоты про Суворова, шута...

– Натурально японские розовые мыши, шесть гривен пара. Может разводиться в цветном горшке на пидистале, украшение гостиной! Розовые мыши, редкий сорт, может разводиться ручным способом...

– Моментальная електрическая вакса «Молния», без натиру!..

– Камень-стеклорез, точит-режет-полирует-сверлит заместо драгоценного алмаза: незаменимое средство для путешествия за полтинник! Гордость русского ума! магический камень-саморез заместо драгоценного алмаза за полтинник...

– ...в селе Боры, Гороховетского уезда, неисповедимым Божьим гневом... с градом попалило до основания... Петра и Павла...

– Веч-ная свеча, горит несгораемо без хлопот! Вечная...

– Последний чиж! По-следний чиж! Ку-пите чижа-секлетаря!

Рука с рукой, Нина и Федя идут в весеннем очаровании, в гик-свист, в немолчном треске сыпучей, бойкой, смешливой народной речи. Струится по их глазам, смеется и уплывает, как эти шары по ветру. Все им смешно и ново. Ловят глаза друг друга и говорят глазами: какое счастье! Шумливый ветер срывает фуражку с Феди, сбивает на Нине шляпку, – и это радость! Качает шесты в гирляндах, бешено вертит «мельнички», кокает пасхальные яички на подвесках. Какая россыпь! Сахарные, синелевые, сусальные, с херувимчиками – «хотьковские», шоколадные, плюшевые, картонные, фарфоровые, хрустальные, глиняные, живые...

– Вкладывающие яйца, дюжина в одной! Лекарь красоты, кустарей Троицкого Посаду, заграничные медали! Пунцовые вкладывающие!..

– Вечная водяная панорама, тайны океана! В ночном освещении ефект! Ве-чная панорама океана-чуда, наглядное показание!..

Любуются стеклянными шарами на подставке, с травками и одинокой стеклянной рыбкой в голубоватом «море». Роются в пестрой россыпи токарья, совсем уже им ненужного, – в кубариках, рюмочках, грибочках; покупают расцветающие в воде японские цветочки, покупают сбитого монпансье, розовато-стеклянными комами рассыпанного по прилавкам с кучами липких фиников, шепталы, мушталы, кишмиша, фисташек, рахат-лукума, халвы и заливных орешков, – всякого сладкого товара, в котором коряво роются волосатые пальцы высокого желтолицего перса в бараньей камилавке.

– Барышни, сладки товар... – блудливо мурлычет перс.

Они гуляют и сладко облизывают губы.

– Ах... что за прелесть! – радостно восклицает Нина.

Голубочки из алебастра! Они удивительно воздушны, нежны... как сливочное мороженое! лапки у них как из коралла. Носиками целуются, нежные, снеговые голубки!..

– Парочка восемь гривен. Чего-с? Это обнаковенно серые, верно-с, за полтинник. А эти... винициянские, первые образцы скульптур! В городе три целковых отдадите!

Час тому назад самые эти стоили полтинник! Но как же торговаться?.. При Нине неудобно.

– Это же бе-зумно дорого! – шептала Нина. – Зачем вам?..

– Но это же шедевр... произведение искусства!.. – шепчет смущенно Федя и видит с грустью, что остается всего полтинник.

Он бережно берет голубков, отходит и говорит, волнуясь:

– Ниночка, это... на память о нашей... встрече...

– Что за глу-пости... Федя!.. – с радостной укоризной пробует протестовать Нина, грызя орешек и быстро облизывая губки. – Конечно, они красивы, но... как вам не стыдно!..

– Можно поставить на этажерочку... будет напоминать о нашей Вербе!..

– Ну... мерси!.. – не поднимая от голубков лица, – какие у них ресницы!.. – И на щеках ее появляется румянец. – Впрочем... это нас ни к чему не обязывает, надеюсь?

– Ммм... я, вообще... – спохватываясь и ежась, не находит ответа Федя, и сердце ему сжимает. – Правда, они очень... стильные?..

– То есть в каком смысле?!

– А ввот, с животрепешими-то!..

– Мальчик, мальчик!..

Нина выбирает на щите самую уморительную обезьянку, с перышками-букетцем в лапке, и дает храбро гривенник вместо четвертака.

– А вот вам от меня! – прикалывает она Феде обезьянку.

– От вас... лучше бы самый простой цветочек! – вздыхает он.

– Вы недовольны?!.

Через минуту она выбирает крупнейшую голубую розу и прикалывает Феде к сердцу.

– Я безмерно счастлив!.. – говорит он восторженно.

Золотая стрела показывает половину седьмого. Вереница нарядных экипажей великого «вербного катанья» начинает понемногу взрываться. В толпе свободней, и видны люди, как шлепают. Но крики не слабеют. Ревут из последних сил. Много сил! от весеннего воздуха, от будоражащего все тело ветра, от праздника, уже глядящего из-за стен, от бесшабашного гомона... от благовестов ко всенощной, от силы великого народа...

– Ах, надо ко всенощной!.. – спохватывается Нина. – Вербу обещала маме!..

– Ну... еще, немножко!.. умоляю вас!..

Стайки гимназистов трещат в уши трещотками, «языками», выпаливают бомбочками с конфетти, тычут орущих свинок. Чаще летят шары. По всему небу тает клю-

ковками и голубыми бусинками. Много прижалось их в складках по куполам Благовещенского.

– А-а-а-а!!! На-ши!..

Встреча, гимназисты.

– «Ах ты, Федя... съел медведя!..»

Негодяй Калгашкин, живорыбник, болван-верзила. Расходятся, обменявшись колкостями. Нина ведет себя прямо непозволительно: вся изломалась, покатывается, как в истерике. Давится даже:

– Ойй... х-а-ха-ха... «Федя... съел ме... медведя!..»

Как это некультурно!

– Глупая пошлость, а вы... рады?!. – говорит резко Федя.

Она взглядывает на него сквозь слезы, розовая вся, хочет что-то сказать – и прыскает, перегибаясь чуть ли не до колен, роняя косы. Ужасно!.. Высокий, плотный, в бобровом воротнике, в цилиндре, сося сигару, приостанавливается и смотрит сверху на ее плечики и косы, на ее совсем детский туго обтянутый белый проборчик на затылке и позволяет себе сказать совсем незнакомой приличной девушке:

– Ах, какая чудесная девчушка!

Федя вытягивается и кричит нахалу:

– Прошу без замечаний!..

– То-то-то-то-то-то!.. – передразнивает его наглец, окидывая с фуражки и до калош нагло-развратным взглядом, – сальный альфонс, конечно! – и повторяет настойчиво: – Милю-синькая девчурочка!..

Подчмокивает даже!

Федя готов закричать – нахал! – но взлетает перед глазами клетка и его оглушает рев:

– Па-следний чиж! па-следний чиж!.. Ку-пите чижа-секлетаря!

Заметно тише. Совсюду – благовест. Слабый багрянец на куполах, с заката, не отстает сопливый, выклянчивает купить последний коробок спиц.

– Жлайте... Мсим Го-рькова... па...следнего продам!..

Пьяный, чуть на ногах, верзила в загнутом фартуке, весь в цветочках, обезьянках и бабочках, с «летучею колбасой» на картузе – султаном, разглядывает опустившегося на дно синего «морского жителя» в трубочке, яростно нажимает на пленочку – и с маху расшибает об мостовую.

– Взять!.. – пальцем городовому пристав.

– Вваше... благородие!.. да ведь... сдох ведь!!.

Федя с Ниной уже в Воскресенских воротах. Идут молча.

– Погодите... – трогает за рукав Нина, берет свою розовую обезьянку и прикалывает на грудь Феде.

– Храни ее всегда! – шепчет она значительно.

Какой золотистый вечер! Какие чудесные «монашки», курятся рубиновыми головками и по-неземному пахнут! Какие золотистые яблочки плещутся в новеньких золотистых шайках! До чего румяны и вкусны «грешники» на лотке, и какое чудно-зеленое масло льется сонною струйкой в серонoздристые их надрезы!.. Обоим хочется «грешников» – и не могут сказать об этом. Хочется и яблоков моченых. Вспоминают оба кисловатую, сочную мякоть их и розоватые зернышки в глубине, которые разгрызать так вкусно!

В остром, с навозцем, воздухе – холодок. Мелкие лужицы подергивает морщинками. Под ногами шершавей стало: морозит в ветре.

– Ниночка... – говорит Федя нежно, вдыхая необыкновенный, напитанный счастьем воздух. – Хотите... моченых яблоков?..

– Н-нет... – кокетливо говорит она, встряхивая косами. – Знаете, лучше... пирожков с яблоками!..

– Верно! – радостно говорит он, тревожно щупая портмоне. – Сейчас по Тверской, в начале... Чуев будет!

Страшно хочется есть обоим.

Почти бегут, сжимая друг другу пальцы.

У Чуева не протолкаться. Столики заняты. Но можно стоя, гораздо интересней. Стесняясь, обжигаясь, радостные, они глотают пухлые пирожки, роняя яблочную кашицу себе на грудь, на плюшевую даму за столиком, на подбородок, обсасывая украдкой пальцы...

Идут уже под ручку, Александровским садом, в сумерках. Присаживаются, болтают. Много таких же, – и все одни. Над ними уже звезды. Поверху пробегает ветром, свистит и шуршит ветвями. Звезды горят, мигают. Синяя ночь, весенняя.

На Каменном мосту черно народом: лед пошел! Стоят у чугунной решетки, смотрят. Шипит белая каша, пенится, прет-идет. Прижимает он ее руку, и у обоих кружится голова.

– Смотри!.. смотрите, едем!.. Федя!.. едем!! – радостно вскрикивает Нина, сжимая его руку.

Едет и едет мост, а река недвижна. Их уносит неслышно, плавно, а всё – стоит! Навстречу ветер, веселый, бойкий, – только держи фуражку. Едут, а всё – на месте. Направо, впереди, – смутная, под мутно-золотым шлемом, громада Христа Спасителя. Едут, а он – на месте! И он с ними? И весь притихший народ, и невидные, где-то там, Воробьевы горы, и позади – Кремль, туманный, и вся Москва, и звезды в дочерна-синем небе... Все подвигается тихо, плавно, – куда?..

Радостные, немые, они отдаются вместе этому дивному, уносящему их течению...

Идут молча. Пора. На углу надо расставаться.
– Нина, вы у Успенья говеете?..
– Да, конечно... А вы?..
– Я... Пожалуй, и я тоже!..
– У нас скоро служат, батюшка старенький...
Рук все не выпускают.
– Ах, идти... Скажу, что была... в Казанском соборе? Только вот... голубки-то?.. Подруга подарила!..
Оба тянутся за руки, смеются тихо.
– Ну... ухожу? – первая говорит Нина и, встряхивая, вырывает руку.
Бойко обертывается, и косы ее летят, как на гигантских шагах. Федя готов побежать за ней, но это неудобно: крыльцо через два дома.
– Хотите, на реку завтра... приходите!.. – неожиданно оборачивается Нина. – Непременно пойду смотреть!
– В котором?..
– Ну... в десять?!
– Непременно!
– До завтра?
– До завтра... Нина!
Сколько счастья, что он едва переводит дух. Он идет и целует вербу, которую Нина дала ему, щекочет лицо вербешками. Целует и розовую обезьянку, и необыкновенную голубую розу. Какое небо, какие звезды, воздух! Какая чудесная, неземная Нина... Какие у ней косы, глаза, ресницы, губки, пальчики, какой неземной голос!.. Идет и глядит на звезды через черные теперь прутики...
Федя сейчас заснет...
Сидят на стенке розовая обезьянка и сказочная голубая роза. Воздушно покачивает-ходит пунцовая голубая гроздь, маленькая, совсем в ладошку... – живой, небывалый виноград! Разноцветные виноградинки смешно отрываются от нее, плывут куда-то... Плывет белая река... Звезды сияют в прутиках – глаза Нины... И вот, в забытьи, в солнечном озарении, на луче, покачиваясь, сплывает к нему в сверканьях, сквозная, в кольчиках, клеточка с воздушною золотистою канарейкой... – первая радость детства.

<1927>

КАК МЫ ОТКРЫВАЛИ ПУШКИНА

Про солнце можно писать свободно, воспевать блистающие его восходы и закаты, – как оно озаряет вершины гор, зажигает огнями океаны. И тихое, и простое писать можно: как оно пригревает поля родные, заглядывает и в глушь, в оконце лесной избушки, играет на бедной люльке, в глазах несмышленого ребенка. Солнце – всегда солнце.

И о Пушкине можно говорить свободно. Он – «явление чрезвычайное». Он – стихия, и для него нет мерок. И на высотах, и в низинках жизни Пушкин – всегда Пушкин.

Итак, попробую рассказать простое и маленькое: как мы открывали Пушкина.

Мы... Это все маленькие люди, детской и обыденной жизни, обитавшие на одном дворе. До события, о котором я поведу рассказ, все мы знали одного Пушкина – с нашего рынка мясника. Я и теперь еще вспоминаю странное ощущение, когда в книжечке Ступина увидал я красивый кораблик с парусами и прочитал по складам стишки:

Ветер по морю гуляет
И кораблик подгоняет:
Он бежит себе в волнах,
На раздутых парусах.

Под ними я прочитал: «Пу-шкин».

Это «П», похожее на наши ворота, было точно такое же, как и толстое золотое «П» на мясной лавке, и все буковки были те же: я только что выучился читать по вывескам. И тут «Пушкин»! Я не раздумывал, тот же ли это самый, но осталось внутри меня, связало что-то во мне этих обоих «Пушкиных», – в книжечке, и на вывеске мясной лавки. Родные буквы?

Потом «Пушкин» связался во мне с зимой, со снегом на нашем дворе, с сарайчиком, где стояли мои лубяные салазки, с собачкой «Цыганкой».

Зима... Крестьянин, торжествуя,
На дровнях обновляет путь.

Все – знакомо: дровни-простянки, по первому снегу неслышно выплывающие рысцой из наших ворот, с ездоком Кузьмой, – ломовиком, по-нынешнему, – «бразды пушистые», взрываемые полозьями по снеговой целине, через весь двор к воротам, мерзнущие в сырых рукавичках пальцы, и грозящее мне лицо в окошке: домой!..

«Пушкин» незаметно делался своим. Лица его я не чувствовал, и не помышлял даже, есть ли у него лицо, и кто он. Так, без лица, невидимый, кто-то, «в книжке», – «Пушкин». Были для меня без лица – солнечные дни, праздники, именины, зайчики на стене. Но понемногу он стал определяться. Мне было тогда лет семь.

Помню отца, в чесучовом пиджаке, облокотившегося на стол в кабинетике. На дворе поздняя весна, кричит мороженщик. Окно открыто, свежий ветерок тянет. В кабинетике холодок, мягкий голубоватый свет, от синих стеклянных ширмочек на окошке. Я сижу на прохладном клеенчатом диване и все сползаю, – такой он скользкий. Мне как-то не по себе, печально, – от синих ширмочек? Я заглядываю за диван, в угол, на пузатое, пузырями, «казацкое» седло, вспоминаю, что отец болен, – недавно он упал с лошади, и у него кружится голова, – и мне становится жаль его. И сейчас у него болит голова, вон как он морщится и все потирает лоб. У притолоки стоит высокий, толстый приказчик Василь-Василич-Косой, руки за спину, и, почтительно наклоняясь, будто заглядывает под стол, докладывает о делах – подрядах, пищит сапогами и стреляет глазом по потолку. На меня будто смотрит, а разговаривает с отцом. Идет разговор о... «Пушкине»!

– Для чести... – говорит отец строго и все покачивается на локте. – Помни, для чести я взял подряд, не из барыша... Из уважения... Меня чтобы не оскандалить, по-мни!..

– Будь-покойны-с, понимай-ссс...

– Стояки и связи свежие чтобы, а не из расхожих там... Помни, что вся Россия будет открывать. По-нял?!

– Будь-койны-с, пымассс...

– Великому человеку памятник, Пушкину! Все знаменитые люди будут. Главные места и все ложи пройдешь фуганком... не было чтобы серости. Провесы выверить. Народ – дура, скопшится в проходах... упаси Бог, стояк подастся... скандал! на всю Россию осрамишь! Болен, сам не могу... Дураков приходится посылать. Смотри ты у меня...! Накануне сам загля-

ну... – грозится отец и все покачивается на локте. – Ни в одном у меня глазу чтобы! После, успеешь еще надрызгаться...

– Никак нет, будь-покойны-с... доглядим-с. Для такого торжества-с, будь-покойны-с...

Василь-Василич красен, говорит осторожно, в руку, но по запаху в комнате слышно, что он «успел». Теперь ему полная свобода, катает на шарабане и на дрожках, по всем подрядам.

– Ну как, двигается?

– Очень строго полиция придирается. Приказали все наглухо зашить под местами. Вчерась сам пальцимейстер приезжал! Лишних тысяча горбылю пошло, а под ложами в доску чтобы зашить велели, где начальство... Четыре сотни досок пойдет-с. Все опасаются...

– Не понимаю... чего опасаются?..

– Подложить могут-с... бомбов опасаются! Которых вот в Охотном надысь били, мигилистов... – шепчет Василь-Василич, стреляя в меня глазом. – Строго за памятником-Пушкиным следят-с. Парусиной даже закрыть велели! Доски уж с него приняли, кожух расшили... через два дни молебен с открытием, так опасаются. Двое городовых день и ночь дежурют, чтобы парусину не содрали. Слухи такие, что могут подложить-с!..

– Ври больше. Тем более! Убытку возьму, но чтоб все на совесть! Главное, стояки... прогоны не продлинять, связи крепить вплотную, а не... Пошлешь ко мне архитектора. Помни, для чести я... в ведомостях пропечатают. Ступай.

Я понимаю, но очень смутно. «Пушкину» открывают памятник. Будет торжество. Он есть, где-то. У нас никто про него не знает, но он – «великий человек». Отца я боюсь спрашивать: скажет, как всегда, – «да ступай-играй, братец... не твое это дело». Сестры не объясняют, отмахиваются: «ну, который стихи писал, поэт-Пушкин... ну, памятник ему ставят!» Дворник Гришка ничего не знает.

– Мало ли их... помер какой-нибудь, богатый! Всякому упокойнику памятники становят, кто богатый. Вот наш Пушкин помрет, – в балдахине будут хоронить.

Я знаю, что он сочинял стихи, много стихов. Я уже знаю и «Птичку Божию» и «Румяной зарею». Недавно прочитал всего «Вещего Олега» и что-то понял, поплакал даже. Я рад, что отец строит «места» для Пушкина. Это – чтобы смотреть. Он строил балаганы под Девичьим, «Ердань» на Москве-реке – святить воду, – ледяные горы в Зоологическом Саду. У него триста плотников. Теперь строит «места». Через это Пушкин становится мне близким, нашим. Я рад, но ясно не понимаю – чему я рад.

Помню толстого архитектора. Он курит толстую сигару, пускает синие клубы дыма, как из трубы. Отец отмахивается от дыма и морщится. Ему хуже, и теперь за его спиной подушка. Я сижу с ногами на диване, скриплю клеенкой, смотрю и слушаю. Отцу не до меня, и видеть он стал хуже: вчера наскочил на дверь; ходит, протянув руки.

Архитектор показывает картинку – «Памятник-Пушкина». Я даже с дивана вижу высокого, кудрявого человека, в бородке на щеках, в длинном пальто, с рукою на груди. Он стоит на высоком ящике и как будто прислушивается, чуть нагнув голову, или о чем-то думает. Должно быть, сочиняет свои стихи. Это, конечно, он, особенный, непохожий ни на кого, Пушкин.

– Знаменитый был человек! – говорит отец грустно, покачивает головой и морщится.

– Очень знаменитый, – говорит архитектор. – Великий был поэт. Это от комитета, на память вам.

– Это вот приятно, очень лестно... спасибо... – говорит отец, разглядывая картинку, и я вижу, как ходит его рука.. – В рамочку под стекло надо. Это вот приятно, лестно. Собирался все почитать, да все дела...

Я вижу слабую улыбку на пожелтевшем его лице. И другую улыбку вижу – как будто, улыбку тоже, – в е г о лице.

Радостное во мне играет: у нас – Пушкин!

– А это приглашение на места, от комитета, для вас и родственников, знакомым раздадите... – говорит архитектор и достает толстую пачку карточек. – В знак внимания. Делаем-то задаром...

– Из чести-с... – перебивает отец делая билетики веером, как карты, и кладет осторожно, уравнивая края, на стол. – Приятно, да не придется мне поглядеть, болею. Но... благодарю за честь. Кто и поглядит, может...

Я помню эти билетики. Они остались лежать в кабинетике на столе. Лежали долго, до осени. После смерти отца я взял их. Никто и не заметил. Я перечитал их все, и везде было одно и то же, – помнится: «Билет для входа на торжество освящения и открытия памятника А. С. Пушкину... сего июня месяца 1880 года». Потом я играл ими, домики из них строил.

Никто с нашего двора – кроме Василь-Василича – на открытии Памятника не был. В этот день отца перенесли в спальню. А вечером пришел в новой поддевке Василь-Василич и доложил, что слава Богу, кончилось все благополучно.

– Наро-ду было...невидимо, вся Москва! Очень парадно было... пичатели были...

Это слово он повторял торжественно – пи-ча-тели! Незнакомо оно мне было, но я его понимал как будто: это, конечно, те, которые *пи*чатают книги, – пичатели?

– Музыка была полковая, генерал-и-губернатор были... и все пи-чатели, венки держали зеленые, лавры... объясняли так! Так все довольны были... Сдернули парусину – и открылось! Все ура закричали...

– А нашими «местами»... ничего, довольны были?

– Уж так довольны... очень благодарили, за отделку. Я говорю... наш хозяин, говорю, из уважения... для господина Пушкина-Памятника, себе в убыток... матерьял первый сорт, стояки какие, скрепа на совесть! Все бальеры фуганком пройдены, никто чтобы не занозился! Ни одной-то ступеньки даже не обломилось... для Пушкина-Памятника... Сам губернатор благодарил...

– Тебя! Уж успел, назюзюкался?..

– Помилуйте, ни в одном глазу! По стаканчику только поднесли. Народу, как приказали, на два ведра вина выдал, для праздника. Так старались!.. Очень всем ндравится... памятник...

– А никто, небось, ничего не понимает... – сказал отец. – Вон, погляди, похож?

Василь-Василич приступил на цыпочках, прикрыв рот, уронил набок голову и вежливо заглянул через отца на стенку. Картинку с Памятником, в золотой рамке, только сегодня повесили над кроватью.

– Оччень похожи... – встряхнув головой, сказал Василь-Василич и быстро отступил к двери, кряхтя в кулак. – Ну, прямо, как живой... Памятник-Пушкин! Только народу нет...

Было мне лет одиннадцать. Был я в гостях у дяди. Как всегда, повел меня дядя в мастерскую, где отливались из бронзы паникадилы, подсвечники с лисьими головками и виноградом и всякие интересные вещички. Показывал нам литье высокий и очень худой старик – мастер, в синих очках и кожаном запоне.

– А это знаменитый наш Косарев, – мотнул на старика дядя, – самого «Пушкина» отливал!

Я с благоговением посмотрел на мастера.

– Не-эт-с, – не самого «Пушкина»... – ласково сказал мастер. – Я всего только правую ногу им отливал на заводе, на прежнем месте. Хозяин шутют...

Но и это было удивительно-радостно для меня, чудесно: вот самый этот человек – отливал!

– А как же кричал намедни на улице – «Я – Косарь, самого Пушкина отливал! Не можете меня в часть забрать!»?

– Ошибся я тогда маленько... – усмехнулся мастер. – Нет, одну всего ножку им отливал, правую. Да и это за честь считаю. Пушкин... – во всю Россию один! Руки дрожали, как им отформовку делал. Это не лисью головку лить... или там херувима на паникадилу... Отве-тственность!..

Мне было радостно стоять рядом, смотреть на его руки, в жилах.

Потом – я все больше и больше открывал Пушкина.

Я уже учился в гимназии, в 4-м классе, но в нашем доме из книг были по-прежнему больше молитвенники и поминанья. Приходил к нам раз в месяц «наводить булгахтерию», – Василь-Василич ставил только «крыжи» и мазал, – старший участковый паспортист, которого почему-то за глаза назвали «Крыса-Паленая», – от него пахло тряпками и паленым, – и всегда угощали перед работой, – больше стараться будет. Его сажали за чайный стол и смотрели, как он выпивал из графинчика и проглатывал кильки с головами. Он заправлялся и вел деликатные разговоры о бухгалтерии, а больше – о просвещении.

– Если бы я был царь, – говорил он, выковыривая пальцем кильку из жестянки, – я бы моментальное просвещение приказал завести, а то в Сибирь! Не желаете просвещаться – пожжжа-луйте-с в тюрьму, в темную темни-цу! Как так – зачем? Да для всего надо просвещение! Вот хоть булгахтерия! А то... серость и серость! Вот вы, молодой человек, просвещаетесь? И хорошо... рóманы читаете, «Ледяной Дом», как в древнее время жили... Или вот теперь в «Московском Листке» про Чуркина... не оторвешься! Про путешествия читаете? И это польза, хотя больше фантастический обман.

Как-то пришел он после Рождества и объявил нам:

– Желаете просвещения? Не пожалейте полторакашки для редкого случая! На подписку собираю, по знакомству, лавошникам даже рекомендую... Всего Пушкина за полтора целковых, цельную кучу книжек, дешевле пареной репы! По случаю смерти Пушкина. Кануло пятьдесят лет, и теперь все могут его печатать. Не поскупитесь для потомства, а... в память знаменитого человека! Вот, подпишитесь на листочке, напишите-ка две строчки...

И вот, как-то весной, почтальон приносит тючок в рогожке. А когда его распороли, оттуда посыпались пухлыми кирпичиками чудесно пахнущие свежей краской томики «Полного Собрания Сочинений А. С. Пушкина», в обложках фисташкового цвета. И тогда я открыл его, от детского

портрета – крутолобого кудрявого мальчугана – до Памятника ему, открыл до конца, всего. И всего его прочитал и перечитал, встретил и «про кораблик», и «про зиму», и «Птичку Божию», и «Вещего Олега», пережил снова первую с ним детскую свою встречу, с незабываемой свежестью и радостями неосознанных и загадочных ощущений, необъяснимых и до сегодня, – это непередаваемое и поныне чувствование его – без человеческого лица, без смерти. Открывшийся мне в первые годы детства духовный его образ с годами стал только глубже и, пожалуй, еще необъяснимей.

1926

КАК Я УЗНАВАЛ ТОЛСТОГО

Культура... Во дни моего детства мы – я и моя округа – и слова такого не слыхали. А она была, эта культура, проникала невидимо как воздух, вливалась в нас, порой – и смешным путем. Кругом же была она! В церковном пении, в благовесте, в песнях и говоре рабочего народа из деревни, в тоненькой, за семитку, книжке в цветной обложке, – до пестрых балаганов под Новинском, до Пушкина на Тверском бульваре. Вливалась метко – чудесным народным словом. На самом пороге детства встретил я это слово, живое слово. Потом уж – в книгах.

И вот, вспоминая детство, – скромное, маленькое детство, – вижу я в нем большое, великий подарок жизни, – родное слово.

Родное слово – это и есть культура.

Я уже рассказал страничку моей «культуры», – «Как мы открывали Пушкина». Теперь расскажу, как мы узнавали Толстого, – я и моя округа.

Впервые о Толстом я узнал от парильщика Ивана Хромого, старого солдата. Было мне лет восемь. Иван вымыл меня до лоску, попарил даже веничком на полке, и, щекоча бородою у грудки, понес осторожно в одевальню. Нес, притопывая на хромую ногу, и, как всегда уж, желая доставить мне удовольствие, хрипел любимую мою песенку про блошку:

Блошка парилась,
С полка ударилась,
На приступке приступила –
Изувечилася!..

Пахло от Ивана вином, пахло и паром, и березкой, и покачивался он на хромой ноге, которую «подгрызли ему тур-

ки», но доставил меня на диванчик в сохранности и положил нежно, как мать ребенка. Медный крестик его приятно скользнул по мне, щекотнул холодочком тело.

– Ноготки ему постръчь бы надо, как у петушка стали... – сказал он парню, ерошившему меня простынкой.

Парень стал меня мучить с ножницами, а голый Иван, в одной розовой рубахе закурил свою трубочку и, поплясывая, принялся впрыгивать в панталоны.

– А давешняя книжка где?.. – спросил он, впрыгивая. – Да какую им показать-то принес...

Мне, значит. Книжка оказалась в воде, на подоконнике. Иван поднял ее двумя пальцами, отряхнул, как тряпочку, о колонку, брызнув мне на лицо, – тоненькая была она, розовенькая, – и подал мне на ладони:

– Говорят, шибко вы читать стали, почитайте-нате, чего пишут. Левон мне дал поглядеть, лакей от графа Толстого из Хамовников подарил, мылся. Его, говорит, барин сам эти книжки пишет, граф Толстой-писатель.

До «графа» мне дела не было, а книжки меня интересовали. Я поглядел картинку, – кажется, знакомый сапожник сидел на липке, – и прочитал буковки-завитушки: «Чем люди живы», Этого я не понял. Что такое – «чем люди живы»? Я любил про «Бабу-Ягу», про «Солдата-Яшку»... – пачки их лежали у Соколова в лавочке. А тут даже и заглавие непонятное. Я отложил книжечку и стал слушать, что говорили Иван с парнем. Говорили они про «графа». Совсем рядом, за Крымским Мостом, в Хамовниках, живет граф Толстой, который сам ходит за водой на басейну; даже и признать нельзя за графа, одевается по-деревенски, в полушубок и валенки, а живет в собственном доме, и богач страшенный; что дворник от него и лакей ходят к нам в «дворянские», а сам будто – за пятак, в «простые», и берет даже веничек за монетку, любит попариться; но только нипочем никого не допустит спину потереть, а все сам! А когда придет – никто углядеть не может, раным-рано: ни за что не обознать, скрывается!

– А почему он скрывается? – спросил я, чуя таинственное.

– Значит, такое уж у него расположение. Может, в святые хочет выйтить! Вон, у Троицы, пустынник один хоронится... ночью только выходит на речку воды набрать... Еще был Сергий Преподобный... Нам Иван Иваныч как начнет рассказывать под котлами...

Иван Иваныч – сын арендатора бань, – еще мальчик, но уже стоит у сборки, получает деньги с гостей. И всегда на локотках, нагнувшись: читает книжку.

– А он тоже святой, граф?.. – спрашиваю я Ивана.

– Неизвестно.. Собственный дом, и дворник, и лакей... Значит, не святой. Святому не полагается.

То же и я подумал.

Книжечу я взял почитать домой, но она мне мало понравилась. Было приятно, что Ангел помог сапожнику – сшил толстому человеку босовики, на смерть, и пожалел хроменькую девочку. Печально от книжки стало.

От лавочника Соколова, где я покупал «издания книгопродавца Шарапова и Морозова», три копейки пара, я узнал, что граф Толстой – «имеется такой» – написал кучу книг, но сейчас только одна – «Три смерти».

– Про страшное?

– Понятно, про страшное! «Три смерти»! Не одна, а сразу три!

Я любил страшное, не раз читал в поминанье, как душа ходит с ангелом по мытарствам и трепещет, и сейчас же купил «Три смерти». Страшного не было, но мне стало еще грустнее, чем от «Чем люди живы». Помнится, я заплакал, как умирала березка. Но было и интересно: и в книжке разговаривали люди, – совсем, как у нас на дворе, наши.

Соколов подтвердил, что граф Толстой живет совсем рядом, в Хамовниках, у пивоваренного завода, и что он большой чудак: по воду ходит и «ничего такого не признает».

– Почему он чудак?

– Ну, чудит! Не желает быть графом, а ему не дозволяют. Царь велел быть графом – значит, и будь графом, а не капризничай. Умнеющий человек! Да все умнеющие всегда чудаки. Один такой в бочке жил. В святые из них выходят.

С той поры я перетаскал от Соколова много тоненьких книжечек «Посредника». Стали они мне нравиться.

Было уже мне лет четырнадцать.

Как молодой хозяин, я пользовался в банях уважением: мне показывали водокачку, где ходили по кругу слепые лошади, и тянулись из глубины железные ведра на цепищах; водили к котлам, откуда подают горячую воду в бани; показывали огромные, как дома, красные баки на подпорах, где шумела вода по трубам. Парильщик Иван был теперь водоливом, сидел у котла, в тепле, подкидывал поленья в топку и шил сапоги на рынок. Я мечтал сделать его приказчиком и своим другом – строить мосты и бани.

И вот, однажды, когда я осматривал бани, ко мне подошел вежливый Ваня Сахаров, сын нашего арендатора, и сказал, как говорят аристократы.

– После баньки прошу вас пожаловать ко мне на чашку чая.

Мне очень польстило это. Я знал, что у Вани книг, – прямо, до потолка! – и что он даже сочиняет стихи-романы. Ему было лет восемнадцать. Он не учился в гимназии, а окончил только городское училище. Мне казалось, что Ваня хочет похвастаться, показать мне свои богатства. Я подумал: пожалуй, ему сказали, что я тоже сочиняю стихи и прозу, – а я уже написал «Путешествие на луну учителя-Мартышки», – и он хочет со мной сойтись, как с писателем. Он стоял в банях «за выручкой», имел кучи денег и мог покупать, что хочешь. Мне было интересно.

После бани я сидел в уютной Ваниной комнате, над «*Семейными номерами с мраморными ваннами*», – значилось так на вывеске бань, – и слушал «собственноручное сочинение Вани Сахарова» – так называлось сочинение, – «Страшные Цепи-Оковы из московской жизни, быль».

По случаю моего посещения стол был уставлен всякими сладкими закусками, пирожными от Воронина, с «безе», пряниками, тянучками, изюмом и шепталой, а посредине высилась удивившая меня бутылка портвейна! Это мне было особенно приятно: меня уже считают солидным человеком. И я держал себя подобающе: облокотился и морщил лоб, временами покрякивал. Ваня называл меня по имени и отчеству, пожимал мне руку и говорил восторженно:

– Мы теперь с вами сами сочинители!

Растроганный, я продекламировал ему стихи – «О чем шумите вы, леса?» – где был, помнится, такой стих:

Шумели все леса,
Молчали небеса!

Ваня показал мне множество книг в роскошных переплетах и все повторял:

– Сами понимаете, стою при сборке... но это не воровство, если я у папаши беру. И я не на кабак, а на библиотеку откладываю. Глядите: на каждой книжечке – В. С. – Ваня Сахаров! Не может никак пропасть. Вечное владение.

Чай нам подавала в стаканах на подносе с розанами, с вареньем в блюдечках, девочка поразительной красоты, с личиком ангела. Ваня гладил ее по пальчикам и называл нежно – «Танечка, мой ангел!»

Как я ему завидовал!

– Знаете... – мечтательно говорил он мне, – хочу образовать ее при посредстве библиотеки и потом жениться. Надо всем рваться к свету и стать энтелегентами. Жаль, не удалось попасть в гимназию. Завидую я вам!

Волнуясь, краснея, поминутно вытирая потевший лоб, Ваня прочитал мне рассказ про одного молодого банщика, который должен был влачить жалкую жизнь среди сырых

стен, слушать вопли и заунывные свисты сверчков и получать грязные пятаки, когда душа рвется неумолимо к свету. Герой любит красавицу и хочет уйти с ней на край света просвещать тьму народную, но скряга-отец грозит проклятьем, «ежели ты бросишь родовое, банное наше дело!». Ваня читал со слезами в голосе и все попивал портвейн. Попивал и я и слушал вдумчиво-строго, как уже умудренный. Помню и до сего дня стихи, сочиненные героем, в мечтаньях бессонной и роковой ночи:

Прочь от веников, от бани,
От зеленых пятаков!
От ужасных сих оков!

Стихи мне не очень понравились, но я покивал сочувственно. Но герою убежать прочь так и не удалось: отец угрожал проклятьем. Тогда герой, Лопушков, у которого в комнате «все стены были уставлены книгами и портретами всех знаменитых писателей», в одну ужасную ночь, когда метель выла по снежным улицам, потрясая крыши и стены домов, – решился на страшный шаг. Он поджег горы сухих веников, вспыхнувших, как порох, и огненный вихрь вмиг охватил эти проклятые бани, где в вони и мыльной грязи погибали тоскующие души. Бани сгорели дотла, но – чудо! – заветная комната с книгами осталась невредимой. Огонь не дерзнул испепелить *священное* и портреты славных писателей продолжали взирать из пламени пожара, паря над огненной стихией, как... Фениксы! «Фениксы» меня смутили, но я промолчал, делая вид, что знаю. Отец героя умирает от потрясения, так как бани были не застрахованы, а герой остается на пепелище, с сокровищами нетленными и... с прекрасной подругой жизни и смерти.

Рассказ произвел на меня сильное впечатление, – Танечка даже утирала слезки, – и мы порядочно выпили портвейну. Два дня мне было нехорошо. Но с той поры я стал захаживать к Ване и брать книги. Нравилась мне и Танечка.

Как-то Ваня встретил меня восторженно:

– Ах, если бы вы знали, к т о у меня!..

На стене, в золоченой рамке, появился портрет Толстого. Мало того: на белой кайме, внизу, стояло тонким и длинным почерком:

Л. ТОЛСТОЙ

– *Сам!... Сам* расписался! – кричал со слезами Ваня, снимая портрет, и благоговейно целуя в стеклышко. – Посвятил мне подпись, собственноручно!..

Я и глазам не верил.

– Ей-Богу! – крестился Ваня. – И прочитал мое сочинение!..

– Прочитал... он?! сочинение?!.. – изумился я, и у меня защемило сердце.

– Да, «Страшные Цепи-Оковы»!

И я услыхал невероятное, толкнувшее и меня – попробовать. Об этом я расскажу как-нибудь потом. А вот, что узнал от Вани.

Ване сказали, что в «дворянских» моется человек от графа Толстого, из Хамовников. Он перехватил его еще в «горячей», когда тот парился, и упросил зайти на чашку чая, как и меня. Там, за вишневочкой и мадерцой, он умолил «человека» взять его сочинение и показать великому писателю. О том, что сказал граф про «Страшные Цепи-Оковы», Ваня рассказывал сбивчиво: то – будто «очень понравилось», то – будто бы граф Толстой улыбнулся и сказал, что «все хорошо, только поджигать нехорошо»!

– Сам господин лакей графа Толстого говорил! Была у *него* тетрадка! в руках его, *его!!..* даже написал на ней!

– Написал на тетрадке! *сам?!* – поразился я. – Но ведь это же драгоценность, если фак-си-ми-лэ!.. Дайте посмотреть!

Но тут... Ваня заявил, что тетрадка у переплетчика. Так я и не видал тетрадки: была все еще у переплетчика.

Осталось тайной: написал ли и что написал Ване Сахарову граф Толстой. Как-то отец Ванин рассказал потом, что – «так его тот граф за глупые пустяки отделал, что три дня Ванька ходил, как мокрый. Дурака ему написал». Так и не разъяснилось. Но портрет был самый настоящий, с самой настоящей надписью. Были и тут неясности. Сначала Ваня восторженно говорил, закатывая глаза, словно молился на небо, что это сам граф Толстой «прислал» ему свой портрет. Потом... как-то уж выяснилось, что портрет купил Ваня в городе за два рубля и уговорил «человека из Хамовников» упросить графа расписаться, и дал ему за это пять целковых.

Как бы там ни было, но я с того случая проникся к Ване почтением и стал мечтать, что вот накоплю два рубля, куплю портрет Толстого, отправлюсь в Хамовники и умолю лакея – не отойду от дверей! – выхлопотать и мне подпись. А пока принялся читать «Собрание сочинений Л. Н. Толстого», в роскошном переплете, появившееся в Ваниной комнатке, на отдельной полочке, за занавеской из кумача.

А вскоре произошло событие...

Случайно ли это вышло, или Ваня наконец-то осуществил мучившую его мечту – «прочь... от ужасных сих оков», только произошел пожар в банях. Самые-то бани уцелели, – сырые, что ли, они были, – вода и грязь! – а «Семейные

номера с мраморными ванными» сгорели как есть дотла, а с ними сгорела и заветная комнатка с книгами и портретом Толстого с надписью. Ваня метался на пожаре и умолял отстоять. Не отстояли. Говорили, что он был вдрызг пьяный, кидался в огонь, как чумный, и его отвезли в больницу. Недолго пожил после этого случая: от скоротечной чахотки помер. Рассказывали у нас, что красавица Танечка ушла будто бы в монастырь: грамотная стала, по-церковному бойко читать могла.

Приходил к нам Ванин отец, тяжелый человек, с нависшими веками, безглазый, – рассказывал:

– Моя вина, не доглядел. Книжками этими дóсмерти зачитался. От них, знаете... получается в голове! И книжки его сгорели, и его за собой потащили.

С ним соглашались и жалели: всякие бывают книжки... а на слабую-то голову если...!

А я оставался при своем: прикопить два рубля, купить портрет, пойти в Хамовники, – дом-то я уж разглядывал, – повидать того самого «человека» и через него как-нибудь дойти. Решил написать роман и уже заглавие придумал – «Два лагеря». Мечтал: напишу, получше перепишу и понесу на суд самому Толстому. И вдруг он скажет, что...

Чудесное это было время. Радость надежд и священный трепет.

1927 г.

КАК Я СТАЛ ПИСАТЕЛЕМ

Вышло это так просто и неторжественно, что я и не заметил. Можно сказать, вышло это непредумышленно.

Теперь, когда это вышло на самом деле, кажется мне порой, что я не делался писателем, а будто всегда им был, только – писателем «без печати».

Помнится, нянька, бывало, говорила:

– И с чего ты такая балаболка? Мелет-мелет невесть чего... как только язык у тебя не устает, балаболка!..

Живы во мне доныне картинки детства, обрывки, миги. Вспомнится вдруг игрушка, кубик с ободранной картинкой, складная азбучка, с буквой, похожей на топорик или жука, солнечный луч на стенке, дрожащий зайчиком... Ветка живой березки, выросшей вдруг в кроватке, у образка, – зеленой такой, чудесной. Краска на дудочке из жести, расписанной ярко розами, запах и вкус ее, смешанный с вкусом кровки от расцарапанной острым краем губки, черные тараканы на полу, собравшиеся залезть ко мне, запах кастрюльки с кашкой... Боженька в уголке, с лампадкой, лепет непонимаемой молитвы, в которой светится «Деворадуйся»... Обрывок няниной песенки –

. . . .
Туру-ногу пишет,
На золотом блюде,
Селебреном стуле,
Яво жена Марья
Сына породила,
Царя Кистинки-на...

И страх и радость.

Черная кочерга у печки – бабы-яги нога. Постоит – да вдруг и поведет по полу со звоном.

. . . .
Сидит баба-да-яга,
У ей костяна нога,
У ей ращены рога,
Железная пятка,
А ж. .а-то мягка..
Пошел котик во лясок,
Нашел котик поясок...

Я говорил с игрушками – живыми, с чурбачками и стружками, которые пахли «лесом», – чем-то чудесно-страшным, в котором «волки». Что это – «лес»? Не знаю. А – «волки»... Страшное.

Он зубами – ляс-ляс,
А хвостищем – тряс-тряс...

А «лес»... –

Во Ягоровом лясу
Лиса лычки драла,
Лиса лапотки пляла...
Петушки, ня пойте,
Во-лки, ня войте,
Дите успокойте...

Но и «волки» и «лес» – чудесные. Они у меня – мои.

Я говорил с белыми звонкими досками, – горы их были на дворе, с зубастыми, как страшные «звери», пилами, с блиставшими в треске топорами, которые грызли бревна. На дворе были плотники и доски. Живые, большие плотники, с лохматыми головами, и тоже живые доски. Все казалось живым, *моим*. Живая была метла, – бегала по двору за пылью, мерзла в снегу и даже плакала. И половая щетка была живая, похожая на кота на палке. Стояла в углу – «наказана». Я утешал ее, гладил ее волосики.

Все казалось живым, все мне рассказывало сказки, – о, какие чудесные! Буравчик, похожий на червячка, был добрый: он высверливал дырки-глазки, чтобы доски могли глядеть. И они глядели, и я через них глядел, в светлую дырочку, на небо.

– А ты гляди, покажу-то тебе что... – говорит мне плотник и ставит тонкую доску, с сучочками. – На сучочки-то погляди, на солнышко! Кровь-то у ней как ходит! Кровь-смола в ней, красная-то какая, как вишенька...

Я смотрю на сучочки, и светится все, как кровь. Живые доски!.. Все напевало песни: и белые бревна, в капельках – в горьких слезках, и тоненькие стружки, падавшие с досок

колечками, и звонкие зубчики пилы. Песни-то распевали плотники, – всякий знает, – а мне казалось, – и так хотелось! – что это поет рубанок. Рубанок имел язык, синенький язычок из щелки, лизавший доски, гладивший их до лоска. Гладил – и пел, и пел.

А что говорить о саде, где глухие углы, сырые, заросшие лопухами и крапивой, казались страной чудесной. Там у меня был «лес», в котором водились «волки», – белые чурбачки. Бывало, лежишь под лопушками, под крапивой. Через них – светло, зелено, если глядеть на небо. Зелень такая сочная, живая. И на этом «небе», на этом живом небе, плавает большая птица, с желтыми крыльями – залетевшая бабочка. И еще птички, красные: мелкие бабочки в крапиве. И неотрывно смотришь, как царапается-ползет тяжелая, похожая на ягодку-рябинку, поменьше только, божья коровка – для меня настоящая коровка, ползет по «небу». А «волки», белые чурбачки, пасутся. И вот помню испуг и счастье: пришла коса! Добрый, лохматый плотник встал надо мной, над «лесом»...

– А ну-ка, выбирайся... а то порежу, вострая у меня коса! – страшно сказал он мне, взмахивая косой над «небом».

Я закричал, заплакал. А он показал мне зубы и поманил:

– А ты гляди-ка, какая штука!

И достал из кармана дудочку – поиграть. Но я не умел играть. Дудочка была белая, в кружочках, в дырочках. Он повертел ее, заиграл пальцами по дыркам, и дудочка запела. Плотник присел ко мне и играл долго-долго. И пел знакомую песенку, которую пел и я:

Ды-я поеду на родину,
На родине дуб стоит,
На дубу сова сидит,
Сова-то мне те-о-ща,
Воробушек шу-у-рин,
Глазыньки прищу-у-рил...

– Валяй и ты про сову, – сказал он ласково и дал мне дудочку поиграть, – валяй дуй!

Я стал дуть в дудочку, но она не хотела петь, только сипела-плакала, – капало из нее на травку. А плотник звенел косой. Падали лопушки, крапива – мои «леса», звякало в них косою: зык-дзык... зык-дзык... Смерть им пришла – я знал. Смерть – очень страшное. Это я видел на картинке, у плотников, на стенке: смерть, из костей, с косой. Когда плотник устал косить, я сказал:

– Это ты у смерти взял косу?

Он вдруг посмотрел на меня страшными глазами, замахнулся косой на небо и зарычал:

– Я теперь сам смерррть!..

Это был первый ужас. Я заметался с криком. Меня унесли из сада.

Дудочка и коса... и смерть! Я помню: и страх и радость.

Помню я «переменки» в пансионе и старенькое лицо учительницы, Анны Димитриевны Вертес. Как я ее боялся в первые дни ученья! Я думал: оборотень она! За белой дверью, где учились большие девочки, она говорила непонятно:

– Мед-муазель!..

Иногда вскрикивала строго – будто понятное – «сортир», но это было совсем другое, а вовсе не то, что называется так у нас. Что значит «оборотень» – я знал от плотников. Она не такая, как всякий крещеный человек, и потому говорит такое, как колдуны. Стоя за ее стулом, я всматривался в ее спину и затылок, в кучку волос за сеткой. Перекрестить если, она опрокинется! Я незаметно крестил ее и шептал: «А ну, спрокинься!» Но она оставалась все такая. Потом я понял, что это – «столпотворение вавилонское». Батюшка нам рассказывал и показывал в книжке башню, почему стали разные языки. И я подумал, что и Анна Димитриевна строила большую башню и у ней смешались все языки. Я спросил ее, было ли ей страшно – «столпотворение вавилонское», и сколько у ней языков. Она долго смеялась, велела высунуть мне язык и показала свой. Нет, у ней был только один язык.

– Скоро и у тебя будет «столпотворение», – сказала она смеясь, – будешь учить Марго и, конечно, плакать.

Тут она позвала из-за белой двери большую девочку и велела «долбить Марго». Девочка плакала над книжкой и все долбила:

«Сеньор-бенил-увраж... Сеньор-бенил-увраж...»

Мне стало неприятно: если и мне так будет. Скоро я узнал многое.

Аничка Дьячкова, самая красивая девочка, выскочила из-за белой двери, взяла меня за ручку и крикнула:

– Пойдем, я научу тебя танцевать, хочешь?

Она завертела меня по залу, под музыку рояля, топала и кричала весело:

– И-раз-два-три... и-раз-два-три!.. и-раз-два-три... и-раз-два-три!..

Потом понеслась со мной по коридору, присела передо мной, как маленькая, дала мне изо рта мятную карамельку в рот и стала учить стишкам:

Рэгарде-машер-сестрица,
Кельжоли-идет-гарсон,

Сэтасе – богу-молиться,
Нам-пора-алямэзон!

– А, хорошее «столпотворение»? – спросила она меня, целуя.

– Хорошее... – сказал я, слыша, как пахнет карамелькой, – пропой еще!

Она пропела еще, и я без ошибочки повторил. Она взяла меня за ушки и поцеловала в губки. С тех пор, на уроке танцев, я с замиранием ждал, когда Аничка схватит меня вертеться. Так весь и обомлеешь, как она разбежится через залу, раскатится в прюнелевых башмачках на тонких ножках, сделает мне так ручкой и присядет. Коричневое ее платьице так и надуется и разъедется по полу, как веер, и мне почему-то стыдно, словно на нас все смотрят, и это очень нехорошо. И мы вертимся-вертимся... пока Анна Димитриевна не крикнет от рояля:

– Анэт, вы его совсем, бедненького, завертели, сэтасе!

А мне хоть бы без конца вертеться. Но только с Аничкой.

У ней были синие-синие глаза, а губки аленькие и сладкие, и всегда от них пахло карамелькой. Она часто утаскивала меня в темный коридор, усаживала на большой сундук и приказывала рассказывать. Я многое ей рассказывал, чего и она не знала. Рассказал даже, как барин отнял у старика жернова, а петух его все стращал: «Барин-барин, отдай стариковы жернова!» – и как барин велел петушка зарезать и съел до перышка, а петушок высунул из барина головку и закричал опять: «Барин, барин, отдай стариковы жернова!» – и как барин велел голову петуху рубить, а петух-то и уюркнул назад, а слуги и отрубили барину... Тут я не мог сказать. Она не отставала и все допытывалась:

– Скажи, чего барину отрубили? Дам еще конфетку!

Я сказал, что говорят это плотники, а я не могу сказать. Тогда она научила еще стишкам и повела меня на другой сундук, под шубы:

Пуговицы-вицы-вицы,
Лебутон-тон-тон,
Баринина-нина-нина,
Лемутон-тон-тон!

И все-таки я не мог сказать. Тогда она еще научила:

Кескевуфет?
Пошла кошка в буфет,
Нашла фент конфет,
Донмуа! Ах, нет!..

Тут она развернула карамельку, взяла ее в зубы и стала меня дразнить:

– Скажи, чего барину отрубили... тогда дам! Не скажешь, не дам! – И ущипнула меня за носик, и очень больно. Но и тут я не смог сказать. Тогда она мне сказала, что она и без меня знает, чего барину отрубили. Я начал спорить:

– А вот не знаешь, не зна-ешь!

Но она так щипнула меня за мягкое, что я вырвался от нее и крикнул, как у нас плотники:

– Лешая голова!

Нас застала Анна Димитриевна и долго бранила Аничку. С тех пор Аничка меня не трогала, и я очень по ней скучал. Кажется, и она скучала. Пройдет мимо меня, сунет карамельку в губы, рот мне погладит будто и ничего не скажет.

Но уже многие стали приставать, чтобы я рассказал сказочку. Сказочек я знал много, от наших плотников. Бывало, меня обступят, – и все старшие девочки, – сажают на колени и слушают, дают даже и шоколадные конфетки. Я жую и рассказываю, будто сам себе. И вдруг через головы нагнется... Анна Димитриевна! И скажет:

– И чего ты болтаешь все! Ну-ну, рассказывай...

Мне делается стыдно. Разве можно при ней рассказывать, как поп на своем работнике катался и как ругался! Или – как попадья сметану воровала, а сама на Миколу-угодника сваливала?! Или вот про пилу, которую плотники наши заставляют пилить доски, а доски плачут и роняют опилки-слезки, и даже пила плачет! Она засмеется и пристыдит:

– Ну, как ты... такие глупости!

А сама любит слушать. И сколько раз бывало, – взглянет на свои золотые часики на цепочке до живота и вскрикнет:

– Мед-муазель... кляс! кляс!

Много у меня было о чем рассказывать. Народ на нашем большом дворе менялся, как менялся народ на улице: приходили и уходили плотники, столяры, маляры, штукатуры, кровельщики, конопатчики, кузнецы, колесники, кирпичники, глиномялы, землекопы, плотогоны, лесовалы, свайщики, парильщики, банщики, водоливы, барочники, ездоки, всяких дел и ремесел люди. Приходили они совсюду, со всех губерний округ Москвы, со своими рассказами и песнями, с радостями и горем, каждый – со своим говором. Много я послушал, от первых дней. Многое мне запало в душу.

Должно быть, за постоянную болтовню прозвали меня в первом классе гимназии – «римский оратор», – и кличка эта держалась долго. В бальниках то и дело отмечалось: «Оставлен на полчаса за постоянные разговоры на уроках».

Это был, так сказать, дописьменный век истории моего писательства. За ним вскоре пришел и «письменный».

В третьем, кажется, классе я увлекся романами Жюля Верна и написал – длинное и в стихах! – путешествие наших учителей на Луну, на воздушном шаре, сделанном из необъятных штанов нашего латиниста «Бегемота». «Поэма» моя имела большой успех, читали ее даже и восьмиклассники, и она наконец попала в лапы к инспектору. Помню пустынный зал, иконостас у окон, в углу налево, – 6-я моя гимназия! – благословляющего детей Спасителя, – и высокий, сухой Баталин, с рыжими бакенбардами, трясет над моей стриженой головой тонким костлявым пальцем с отточенным остро ногтем, и говорит сквозь зубы – ну прямо цедит! – ужасным, свистящим голосом, втягивая носом воздух, – как самый холодный англичанин:

– И ссто-с такое... и сс... таких лет, и сс... так неуваззытельно отзываесса, сс... так пренебреззытельно о сстарссых... о наставниках, об учителях... нашего посстенного Михаила Сергеевича, сына такого нашего великого историка позволяес себе называть... Мартысской!.. По решению педагогического совета...

Гонорар за эту «поэму» я получил высокий – на шесть часов «на воскресенье», на первый раз.

Долго рассказывать о первых моих шагах. Расцвел я пышно на сочинениях. С пятого класса я до того развился, что к описанию храма Христа Спасителя как-то приплел... Надсона! Помнится, я хотел выразить чувство душевного подъема, которое охватывает тебя, когда стоишь под глубокими сводами, где парит Саваоф, «как в небе», – и вспоминаются ободряющие слова нашего славного поэта и печальника Надсона:

Друг мой, брат мой... усталый, страдающий брат,
Кто б ты ни был – не падай душой:
Пусть неправда и зло полновластно царят
Над омытой слезами землей..

Баталин вызвал меня под кафедру и, потрясая тетрадкой, начал пилить со свистом:

– Ссто-с такое?! Напрасно ссчитаете книзки, не вклюсенные в усенисескую библиотеку! У нас есть Пускин, Лермонтов, Дерзавин... но никакого вашего Надсона... нет! Сто такой и кто такой... На-дсон. Вам дана тема о храме Христа Спасителя, по плану... а вы приводите ни к селу ни к городу какого-то «страдающего брата»... какие-то вздорные стихи! Было бы на четверку, но я вам ставлю три с минусом. И зачем только тут какой-то «философ»... с *в* на конце! – «филосов-в Смальс»! Слово «философ» не умеете написать, пишете через «в», а в философию пускаетесь? И во-вторых, был Смайс, а не Смальс, что значит – свиное сало! И ника-

кого отношения он, как и ваш Надсон, – он говорил, ударяя на первый слог, – ко храму Христа Спасителя не имели! Три с минусом! Ступайте и задумайтесь.

Я взял тетрадку и попробовал отстоять свое:

– Но это, Николай Иваныч... тут лирическое отступление у меня, как у Гоголя, например?

Николай Иваныч потянул строго носом, отчего его рыжие усы поднялись и показались зубки, а зеленоватые и холодные глаза так уставились на меня, с таким выражением усмешки и даже холодного презрения, что во мне все похолодело. Все мы знали, что́ это – его улыбка: так улыбается лисица, перегрызая горлышко петушку.

– Ах, во-от вы ка-ак... Гоголь!.. или, может быть, гоголь-моголь? Во-от как... – и опять страшно потянул носом. – Дайте сюда тетрадку...

Он перечеркнул три с минусом и нанес сокрушительный удар – колом! Я получил кол и – оскорбление. С тех пор я возненавидел и Надсона, и философию. Этот кол испортил мне пересадку и средний бал, и меня не допустили к экзаменам: я остался на второй год. Но все это было к лучшему.

Я попал к другому словеснику, к незабвенному Федору Владимировичу Цветаеву. И получил у него свободу: пиши, как хочешь!

И я записал ретиво, – «про природу». Писать классные сочинения на поэтические темы, например, – «Утро в лесу», «Русская зима», «Осень по Пушкину», «Рыбная ловля», «Гроза в лесу»... – было одно блаженство. Это было совсем не то, что любил задавать Баталин: не «Труд и любовь к ближнему как основы нравственного совершенствования», не «Чем замечательно послание Ломоносова к Шувалову «О пользе стекла» и не «Чем отличаются союзы от наречий». Плотный, медлительный, как будто полусонный, говоривший чуть-чуть на «о», посмеивающийся чуть глазом, благодушно, Федор Владимирович любил «слово»: так, мимоходом будто, с ленцою русской, возьмет и прочтет из Пушкина... Господи, да какой же Пушкин! Даже Данилка, прозванный Сатаной, и тот проникнется чувством.

Имел он песен дивный дар
И голос, шуму вод подобный, –

певуче читал Цветаев, и мне казалось, что – для себя.

Он ставил мне за «рассказы» пятерки с тремя иногда крестами, – такие жирные! – и как-то, тыча мне пальцем в голову, словно вбивал в мозги, торжественно изрек:

– Вот что, муж-чи-на... – а некоторые судари пишут «мушчи-на», как, например, зрелый му-жи-чи-на Шкробов! – у те-

бя есть что-то... некая, как говорится, «шишка». Притчу о талантах... пом-ни!

С ним, единственным из наставников, поменялись мы на прощанье карточками. Хоронили его – я плакал. И до сего дня – он в сердце.

И вот – третий период, уже «печатный».

От «Утра в лесу» и «Осени по Пушкину» я перешел незаметно к «собственному».

Случилось это, когда я кончал гимназию. Лето перед восьмым классом я провел на глухой речушке, на рыбной ловле. Попал на омут, у старой мельницы. Жил там глухой старик, мельница не работала. Пушкинская «Русалка» вспомнилась. Так меня восхитило запустенье, обрывы, бездонный омут, с «сомом», побитые грозою, расщепленные ветлы, глухой старик, – из «Князя Серебряного» мельник!.. Как-то на ранней зорьке, ловя подлещиков, я тревожно почувствовал... – что-то во мне забилось, заспешило, дышать мешало. Мелькнуло что-то, неясное. И – прошло. Забыл. До глубокого сентября я ловил окуней, подлещиков. В ту осень была холера, и ученье было отложено. *Что-то* – не приходило. И вдруг, в самую подготовку на аттестат зрелости, среди упражнений с Гомером, Софоклом, Цезарем, Вергилием, Овидием Назоном... – что-то опять явилось! Не Овидий ли натолкнул меня? не его ли «Метаморфозы» – чудо?

Я *увидал* мой омут, мельницу, разрытую плотину, глинистые обрывы, рябины, осыпанные кистями ягод, деда... *Живые*, – они пришли и *взяли*. Помню, – я отшвырнул все книги, задохнулся... и написал – за вечер – большой рассказ. Писал я «с маху». Правил и переписывал, – и правил. Переписывал отчетливо и крупно. Перечитал... – и почувствовал дрожь и радость. Заглавие? Оно явилось само, само очертилось в воздухе, зелено-красное, как рябины – *там*. Дрожащей рукой я вывел:

У МЕЛЬНИЦЫ

Это было мартовским вечером 1894 года. Но и теперь еще помню я первые строчки первого моего рассказа:

«Шум воды становился все отчетливей и громче: очевидно, я подходил к запруде. Вокруг рос молодой, густой осинник, и его серые стволики стеной стояли передо мною, закрывая шумевшую неподалеку речку. С треском я пробирался чащей, спотыкался на остренькие пеньки осинового сухостоя, получал нежданные удары гибких веток...»

Рассказ был жуткий, с житейской драмой, от «я». Я сделал себя свидетелем развязки, так ярко, казалось, сделал, что поверил собственной выдумке. Но что же дальше? Литераторов я совсем не знал. В семье и среди знакомых было мало людей интеллигентных. Я не знал и «как это делается», – как и куда послать. Не с кем мне было посоветоваться; почему-то и стыдно было. Скажут еще: «Э, пустяками занимаешься!» Газет я еще не читал тогда, – «Московский листок» разве, но там было смешное только или про «Чуркина». Сказать по правде – я считал себя выше этого. «Нива» не пришла в голову. И вот вспомнилось мне, что где-то я видел вывесочку, узенькую совсем: «Русское обозрение», ежемесячный журнал. Буквы были – славянские? вспоминал-вспоминал... – и вспомнил, что на Тверской. Об этом журнале я ничего не знал. Восьмиклассник, почти студент, я не знал, что есть «Русская мысль», в Москве. С неделю я колебался: вспомню про «Русское обозрение» – так и похолодею и обожгусь. Прочитаю «У мельницы» – ободрюсь. И вот я пустился на Тверскую – искать «Русское обозрение». Не сказал никому ни слова.

Помню, прямо с уроков, с ранцем, в тяжелом ватном пальто, сильно повыгоревшем и пузырившемся к полам, – я его все донашивал, поджидая студенческого, чудесного! – в резиновых грязных ботиках, шагал я по «ботвинье», в мокром снегу навозном. День был весенний, солнечный, бойко текли канавки, дворники скидывали с крыш снег. Переписанная в тетрадку «рукопись» лежала в ранце. Помню, – иду и думаю: «И никто не знает, что я написал рассказ... и вот я его несу, и его, может быть, напечатают, и тогда узнают». Что я стану писателем, что за этот рассказ что-нибудь мне заплатят, – совсем не думал. Просто не приходило в голову. А вот и вывесочка, нашел. Взглянул – и обмер: «Русское обозрение»! В этих словах, написанных церковно, буквами необычными, почувствовалось мне вдруг, мелькнуло, *что-то в этом* – важное для меня и страшное. Мелькнуло – и забылось, другим покрылось, сегодняшним, а ну как выгонят?..

Спросил, помню, извозчика, – где журнал? Извозчик не знал. И никто не знал. Какой-то студент долго глядел на вывеску, глядел в переулок и на небо. И он не знал. Я пошел наудачу в переулок. Попавшийся почтальон довел меня до крыльца и бросил: «Теперь найдете». Крыльцо с каменными ступеньками, дом унылый. В полутемных сенях пустынно. Я позвонился робко. Встретил меня швейцар: «Вам чего?» – чуть приоткрывши дверь. Он поглядел на мой ранец, на грязные ботики, подумал: «Впускать или не впускать?» Так показалось мне. И решил, что впускать не стоит.

– Ну, давайте... – сказал он вяло, – сам отдам *им*. Приходите через два месяца.

Тут же, в сенях, у двери, – я насилу мог справиться с волнением, отстегивая ранец, – достал я заветную синюю тетрадку. И меня охватило страхом: а вдруг обманет, не передаст?.. Я держался за синюю тетрадку, которую он тянул.

– А можно мне самому отдать... главному отдать?.. – спросил, попросил я робко.

Я забыл даже, что «главный»-то называется – редактор. Мы встретились глазами. Швейцар подморгнул мне хитро, совсем нестрого, – будто я ему нравился, – тронул за локоть, даже и сказал совсем ласково:

– Сами написали? Ну, хорошо... ладно! Сами *им* и отдадите!

Он отворил дверь пошире, впустил в высокую комнату и указал мне на желтенький диванчик: подождите. Потом приоткрыл огромную, под орех, дверь и сунул голову в щель, что-то проговорил кому-то. Там скучно крякнуло. Сердце во мне упало: крякнуло будто строго?.. Швейцар медленно шел ко мне.

– Пожалуйте... желают вас сами видеть.

Чудесный был швейцар, с усами, бравый! Я сорвался с диванчика и, как был, – в грязных, тяжелых ботиках, в шубе, с тяжелым ранцем, ремни которого волоклись со звоном, – все вдруг отяжелело! – вступил в святилище.

Огромный, очень высокий кабинет, огромные шкафы с книгами, огромный письменный стол, исполинская над ним пальма, груды бумаг и книг, а за столом, широкий, красивый, грузный и строгий – так показалось мне – господин, профессор, с седеющими по плечам кудрями. Это был сам редактор, приват-доцент Московского университета, Анатолий Александров. Он встретил меня мягко, но с усмешкой, хотя и ласковой:

– Ага, принесли рассказ?.. А в каком вы классе? Кончаете... Ну, что же... поглядим. Многонько написали... – взвесил он на руке тетрадку. – Ну, зайдите месяца через два...

Я зашел в самый разгар экзаменов. Оказалось, что надо «заглянуть месяца через два». Я не заглянул. Я уже стал студентом. Другое пришло и захватило – не писанье. О рассказе я позабыл, не верил. Пойти? Опять: «Месяца через два зайдите».

Уже в новом марте я получил неожиданно конверт – «Русское обозрение» – тем же полуцерковным шрифтом. Анатолий Александров просил меня «зайти переговорить». Уже юным студентом вошел я в чудесный кабинет. Редактор учтиво встал и через стол протянул мне руку, улыбаясь.

– Поздравляю вас, ваш рассказ мне понравился. У вас довольно хороший диалог, живая русская речь. Вы чувствуете русскую природу. Пишите еще.

Я не сказал ни слова, ушел в тумане. И вскоре опять забыл. И совсем не думал, что стал писателем.

В первых числах июля 1895 года я получил по почте толстую книгу в зелено-голубой – ? – обложке, – «Русское обозрение», июль. У меня тряслись руки, когда раскрывал ее. Долго не находил, – все прыгало. Вот оно: «У мельницы», – самое *то, мое*! Двадцать с чем-то страниц – и, кажется, ни одной поправки! ни пропуска! Радость? Не помню, нет... Как-то меня пришибло... поразило? Не верилось.

Счастлив я был – дня два. И – забыл. Новое приглашение редактора – «пожаловать». Я пошел, не зная, зачем я нужен.

– Вы довольны? – спросил красивый профессор, предлагая кресло. – Ваш рассказ многим понравился. Будем рады дальнейшим о-пытам. А вот и ваш гонорар... Первый? Ну, очень рад.

Он вручил мне ...во-семь-де-сят рублей! Это было великое богатство: за десять рублей в месяц я ходил на урок через всю Москву. Я растерянно сунул деньги за борт тужурки, не в силах промолвить слово.

– Вы любите Тургенева? Чувствуется у вас несомненное влияние «Записок охотника», но это пройдет. У вас и свое есть. Вы любите наш журнал?

Я что-то прошептал, смущенный. Я и не знал журнала: только «июль» и видел.

– Вы, конечно, читали нашего основателя, славного Константина Леонтьева... что-нибудь читали?..

– Нет, не пришлось еще, – проговорил я робко.

Редактор, помню, выпрямился и поглядел под пальму, – пожал плечами. Это его, кажется, смутило.

– *Теперь*... – посмотрел он грустно и ласково на меня, – вы *обязаны* его знать. Он откроет вам многое. Это, во-первых, большой писатель, большой художник... – Он стал говорить-говорить... – не помню уже подробности – что-то о «красоте», о Греции... – Он великий мыслитель наш, русский необычайный! – восторженно заявил он мне. – Видите – этот стол?.. Это его стол! – И он благоговейно-нежно погладил стол, показавшийся мне чудесным. – О, какой светлый дар, какие песни пела его душа! – нежно сказал он в пальму. И вспомнилось мне недавнее:

Имел он песен дивный дар,
И голос, шуму вод подобный.

– И эта пальма – *его*!

Я посмотрел на пальму, и она показалась особенно чудесной.

– Искусство, – продолжал говорить редактор, – прежде всего, благо-говение! Искусство... ис-кус! Искусство – молитвенная песнь. Основа его – религия. Это всегда, у всех. У нас – Христово слово! «И Бог бе слово». И я рад, что вы начинаете в его доме... в его журнале. Как-нибудь заходите, я буду давать вам его творения. Не во всякой они библиотеке... Ну-с, молодой писатель, до сви-да-ния. Желаю вам...

Я пожал его руку, и так мне хотелось целовать его, послушать *о нем*, неведомом, сидеть и глядеть на стол. Он сам проводил меня.

Я ушел, опьяненный *новым*, чувствуя смутно, что за всем этим, моим, – случайным? – есть *что-то*, великое и священное, незнаемое мною, необычайно важное, к чему я только лишь прикоснулся.

Шел я как оглушенный. Что-то меня томило. Прошел Тверскую, вошел в Александровский сад, присел. Я – писатель. Ведь я же выдумал весь рассказ!.. Я обманул редактора, и за это мне дали деньги!.. Что я могу рассказывать? Ничего. А искусство – благоговение, молитва... А во мне – ни-чего-то нет. Деньги, во-семьдесят рублей... *за это*!.. Долго сидел я так, в раздумье. И не с кем поговорить... У Каменного моста зашел в часовню, о чем-то помолился. Так, бывало, перед экзаменом.

Дома я вынул деньги, пересчитал. Во-семьдесят рублей!.. Взглянул на свою фамилию под рассказом, – как будто и не моя! Было в ней что-то *новое*, совсем другое. И я – другой? Я впервые тогда почувствовал, что – другой. Писатель? Это я не чувствовал, не верил, боялся думать. Только одно я чувствовал: *что-то я должен* сделать, многое узнать, читать, вглядываться и думать... – готовиться. Я – другой, другой.

1929 – 1930

КАК Я ВСТРЕЧАЛСЯ С ЧЕХОВЫМ

I. ЗА КАРАСЯМИ

Это были встречи веселые, в духе рассказов Антоши Чехонте. Чехов был тогда еще А. Чехонте, а я – маленьким гимназистом. Было это в Москве, в Замоскворечье.

В тот год мы не ездили на дачу, и я, с Пиуновским Женькой, – упокой, Господи, его душу: пал на Карпатах, сдерживая со своим батальоном напор австрийской дивизии, за что награжден посмертно Св. Георгием, – днями пропадал в Нескучном. Мы строили вигвамы и вели жизнь индейцев. Досыта навострившись на индейцах, мы перешли на эскимосов и занялись рыболовством, в Мещанском саду, в прудах. Так назывался сад при Мещанском училище, на Калужской. Еще не чищенные тогда пруды славились своими карасями. Ловить посторонним было воспрещено, но Веревкин Сашка, сын училищного инспектора, был наш приятель, и мы считали пруды своими. В то лето карась шел, как говорится, дуром: может быть, чуял, что пруды скоро спустят и всё равно погибать, так лучше уж погибать почетно. Женька так разъярился, что оттащил к букинисту латинский словарь и купил «дикообразово перо» – особенный поплавок, на карасей. Чуть заря – мы уже на прудах, в заводинке, густо заросшей «гречкой», где тянулась проточина, – только-только закинуть удочку. Женька сделал богатую прикормку – из горелых корок, каши и конопли, «дикообразово перо» делало чудеса, и мы не могли пожаловаться. Добычу мы сушили и толкли питательный порошок или, по-индейски, – пеммикан, как делают это эскимосы.

Было начало июня. Помню, идем по зорьке, еще безлюдным садом. В верхушках берез светится жидким золотцем, кричат грачата, щебечут чижики по кустам, и слышно уже пруды: тянет теплом и тиной, и видно между березами в розоватом туманце воду. Только рыболовы знают, что творится в душе, когда подходишь на зорьке к заводинке, ви-

дишь смутные камыши, слышишь сонные всплески рыбы, и расходящийся круг воды холодком заливает сердце.

– А, черррт!.. – шипит, толкая меня, Женька, – сидит какой-то... соломенная шляпа!..

Смотрим из-за берез: сидит – покуривает, удочки на рогульках, по обе стороны. Женька шипит: «пощупаем, не браконьер ли?» Но тут незнакомец поднимается, высокий, голенастый, и – раз! тащит громадного карасищу, на-шего, черноспинного, чешуя в гривенник, и приговаривает, баском таким: «иди, голубчик, не упирайся», – спокойно так, мастера сразу видно. И кому-то кричит налево: «видали, каков лапоток?» А это, сбоку, под ветлами, Кривоносый ловит, воспитатель училищный. А незнакомец на кукан карася сажает, прутик в рот карасю просунул, бечевочку под жабры, а на кукане штуки четыре, чисто подлещики, с нашей прикормки-то. Видим – место всё неудобное, ветлы, нельзя закинуть. И Кривоносый тащит – краснoперого, золотого, бочка оранжевые, чуть с чернью. А карасище идет, как доска, не трепыхнется. Голенастый, в чесучовом пиджаке, в ладоши даже захлопал: «не ожидал какое тут у вас рыбье эльдорадо! буду теперь захаживать». Смотрим – и на другой удочке тюкает, повело... Женька шипит – «надо какие-нибудь меры... самозванцы!» А незнакомец выволок золотого карасищу, обеими руками держит и удивляется: «не карась, золотая медаль!» Сердце у нас упало. А Кривоносый орет – «а у меня серебряная, Антон Павлыч!..» А незнакомец опять золотого тащит... – и плюнул с досады в воду: плюхнулся карасище, как калоша. Ну, слава тебе, Господи!

Подошли поближе, уж невтерпеж, Женька рычит: «а, плевать, рядом сейчас закину». Смотрим... – чу-уть поплавок, ветерком будто повело, даже не тюкнуло. Знаем – особенное что-то. И тот сразу насторожился, удочку чуть подал, – мастера сразу видно. Чуть подсек, – так там и заходило. И такая тишь стала, словно все померли. А *оно* – в заросли повело. Тот кричит: «не уйдешь, голуба... знаю твои повадки, фунтика на два, линь!..» А линей отродясь тут не было. Стал выводить... – невиданный карасище, мохом совсем зарос, золотце чуть проблескивает. А тот в воду ступил, схватил под жабры и выкинул, – тукнуло, как кирпич. Кинулись мы глядеть, и Кривоносый тут же. Голенастый вывел из толстой губы крючок, – «колечко» у карасины в копейку было, гармонья словно! – что-то на нас прищурился и говорит Кривоносому, прыщавому, с усмешкой: «меща-не караси у вас, сразу видно!» А Кривоносый спрашивает, почтительно: «это в каком же смысле... в Мещанском пруду-с?» А тот смеется, приятно так: «благородный карась любит ловиться в мае, когда черемуха... а эти, видно, Аксакова не читали». Прият-

ным таким баском. Совсем молодой, усики только, лицо простое, словно у нашего Макарки из Крымских бань. – «А вы, братцы, Аксакова читали?» – нам-то, – «что же вы не зажариваете?..» Женька напыжился, подбородок втянул, и басом, важно: «зажарим, когда поймаем». А тот вовсе и не обиделся: «молодец, – говорит, – за словом в карман не лезет». А Женька ему опять: «молодец в лавке, при прилавке!» – и пошел направо, на меня шипит: «девчонка несчастная, а еще «Соколиное перо», черт... сказал бы ему, наше место, прикормку бросили!» Стали на место, разматываем. Ветлы нависли сажени на две от берега, чуть прогалец, поплавку упасть только-только.

Размахнулся Женька, – «дикообразово перо» в самом конце и зацепилось, мотается, а мотыль-наживка над самой водой болтается. А там опять карасищу тащут! Женька звонил-звонил, – никак отцепить не может, плещет ветками по воде, так волны и побежали. – «Плевать, всех карасей распугаю, не дам ловить!» А «дикообразово перо» пуще еще запуталось. Незнакомец нам и кричит: «ну, чего вы там без толку звоните! ступайте ко мне, закидывайте, места хватит!» А Женька расстроился, кричит грубо: «заняли наше место, с нашей прикормки и по-льзуйтесь!» И всё звонит.. А незнакомец, вежливо так: «что же вы не сказали? у нас, рыболовов, правила чести строго соблюдаются... прошу вас, идите на ваше место... право, я не хотел вам портить!» А Кривоносый кричит – «чего с ними церемониться! мало их пороли, грубиянов... на чужой пруд пришли – и безобразничают еще. По какому вы праву здесь?» А Женька ему свое: «по веревкинскому, по такому!» Кривоносый и прикусил язык.

А клевать перестало, будто отрезало: распугал Женька карасей. Похлестали они впустую, незнакомец и подошел к нам. Поглядел на нашу беду и говорит: «Не снять. У меня запасная есть, идите на ваше место», – и дает Женьке леску, с длинным пером, на желобок намотано, – у Перешивкина продается, на Маховой. – «Всегда у нас, рыболовов, когда случится такое...» – потрепал Женьку по синей его рубахе, по «индейской»: – «уж не сердитесь...» Женька сразу и отошел. – «Мы, говорит, не из жадности, а нам для пеммикана надо». – «А-а, – говорит тот, – для пеммикана... будете сушить?» – «Сушить, а потом истолкем в муку... так всегда делают индейцы и американские эскимосы... и будет пеммикан». – «Да, говорит, понимаю ваше положение. Вот что. Мне в Кусково надо, карасей мне куда же... возьмите для пеммикана». Вынул портсигар и угощает: «не выкурят ли мои краснокожие братья со мною трубку мира?» Мы курили только «тере-тере», похожее на березовые листья, но всётаки взяли папироску. Сели все трое и покурили молча, как

всегда делают индейцы. Незнакомец ласково поглядел на нас и сказал горлом, как говорят индейцы: «Отныне мир!» – и протянул нам руку. Мы пожали, в волнении. И продолжал: – «Отныне, моя леска – твоя леска, твоя прикормка – моя прикормка, мои караси – твои караси!» – и весело засмеялся. И мы засмеялись, и всё закружилось, от куренья.

Потом мы стали ловить на «нашем» месте, но клевала всё мелочь, «пятачишки», как называл ее наш «бледнолицый брат». Он узнал про «дикообразово перо», и даже про латинский словарь, пошел и попробовал отцепить. Но ничего не вышло. Всё говорил: «как жаль, такое чудесное «дикообразово перо» погибло!» – «Нет, оно не погибнет!» – воскликнул Женька, снял сапоги и бросился в брюках и в синей своей рубахе в воду. Он плыл с перочинным ножом в зубах, как всегда делают индейцы и эскимосы, ловко отхватил ветку и поплыл к берегу с «дикообразовым пером» в зубах. – «Вот!» – крикнул он приятному незнакомцу, отныне – брату: – «задача решена, линия проведена, и треугольник построен!» Это была его поговорка, когда удавалось дело. – «Мы будем отныне ловить вместе, заводь будет расчищена!» Брат бледнолицый вынул тут записную книжечку и записал что-то карандашиком. Потом осмотрел «дикообразово перо» и сказал, что заведет и себе такое. Женька, постукивая от холода зубами, сказал взволнованно: «отныне «дикообразово перо» – ваше, оно принесет вам счастье!» Незнакомец взял «дикообразово перо», прижал к жилету, сказал по-индейски – «попо-кате-петль!», что значит «Великое Сердце», и положил в боковой карман, где сердце. Потом протянул нам руку и удалился. Мы долго смотрели ему вслед.

– Про-стяга! – взволнованно произнес Женька, высшую похвалу: он не бросал слова на ветер, а запирал их «забором зубов», как поступают одни благородные индейцы.

Мимо нас прошел Кривоносый и крикнул, тряся пальцем:

– Отвратительно себя ведете, а еще гимназисты! Доведу до сведения господина инспектора, как вы грубили уважаемому человеку, больше вашей ноги здесь не будет, попомните мое слово!

Женька крикнул ему вдогонку: «мало вас драли, грру-биянов» – сплюнул и прошипел: «бледнолицая с-со-ба-ка!..»

Припекло. От Женьки шел пар, словно его сварили и сейчас будут пировать враги. Пришел Сашка Веревкин и рассказал, что незнакомец – брат надзирателя Чехова, всю ночь играл в винт у надзирателей, а потом пошли ловить карасей... что он пишет в «Будильнике» про смешное, – здорово может прохватить! – а подписывает, для смеха, – Антоша Чехонте. А Кривоносого выгонят, только пожаловаться

папаше, – «записано в кондуите про него – «был на дежурстве не в порядке, предупреждение». Женька сказал: «черт с ним, не стоит». Он лежал на спине, мечтал: нежное что-то было в суровом его лице.

Случилось такое необычное в бедной и неуютной жизни, которую мы пытались наполнить как-то... нашим воображением. Многого мы не понимали, но сердце нам что-то говорило. Не понимали, что наш «бледнолицый брат» был, по истине, нашим братом в бедной и неуютной жизни и старался ее наполнить. Я теперь вспоминаю, из его рассказов, – «Монтигомо, Ястребиный Коготь...» – так, кажется?..

Июль, 1934 г.
Алемон

II. КНИЖНИКИ... НО НЕ ФАРИСЕИ

На Рождество пришли к нам славить Христа «батюшки» из Мещанского училища. Пришли, как всегда, к ночи, но не от небрежения, а по причине служебного положения: надо обойти весь служебный и учительский персонал и объехать всех господ членов Попечительского Совета, всех почетных членов и жертвователей, а это всё люди с весом – коммерции и мануфактур-советники. Значится-то как на сооружении-ковчеге нашем? – «Московского Купеческого Общества Мещанские Училища и Богадельня»! И везде надо хоть пригубить и закусить.

Отец протоиерей и дьякон Сергей Яковлевич люди достойные, и строгой жизни, но теперь, после великого обхода и объезда, необыкновенно веселые и разговорчивые. Батюшка принимает стакан чаю со сливками, но отказывается даже от сухарика: пере-полнен! Дьякон, после упрашиваний, соизволяет принять мадерцы, и принимает размашисто, цепляя елку, и она отвечает звяканьем и сверканьем по зеркалам. Батюшка говорит со вздохом: «мадерца-то, мадерца-то как играет, о. дьякон!» А о. дьякон в смущении отвечает: «да, приятная елочка». Замечает на рояли новенький «Вокруг Света» и начинает просматривать..

– Замечательный журнальчик братья Вернеры придумали! Увлекательное чтение, захватывающее. Тоже увлекаетесь? – спрашивает меня. – «Остров Сокровищ» печатался... роман Стивенсона! Не могу забыть «морского волка», на деревянной ноге! Мо-рроз по коже...

– Был случай в одном приходе... – говорит батюшка, – надо «Восстаните», всенощную возглашать, а о. дьякон на

окошке, у жертвенника, одним глазом «Вокруг Света» дочитывает, про сокровища. Вот, увлечение-то до чего доводит.

Все смеются, и громче всех о. дьякон.

– Или, возьмите, Луи Жаколио, – «В трущобах Ин-дии»! Всё иностранцы пишут, наши так не умеют. Или Луи Буссенара, – «Черные Флаги», кажется... про китайских пиратов?!. Мороз по коже!..

Глухая старушка-родственница переспрашивает: «про китайского императора?» – и все смеются. Дьякон перелистывает журнал и говорит, что сейчас дома разоблачится и предастся увлекательному чтению, – и ему принесли новенький номерок, да не успел еще и взглянуть. Рассказывает, что и «Сверчок» получает, тоже Вернеры издают, на ве-ле-невой бумаге! И какой же случай! Как раз сегодня имел честь познакомиться с писателем, который пописывает в сем «Сверчке», остроумно пописывает, но далеко не так увлекательно, как Стивенсон или Луи Буссенар. Но, надо сказать, человек наиостроумнейший. И что же оказывается: братец ихнего надзирателя Чехова, какое совпадение! Но подписывается из скромности – А. Чехонте.

– Были у г. инспектора, Ивана Петровича Веревкина. У стола нас и познакомили, Иван Петрович друг другу нас представил. А он, прямо, зачитывается! И «Будильник» еще выписывает, и там тоже г. Чехонте пописывает. Чокнулись с ним мадерой Депре-Леве, я и позволил себе заметить, что вот, почему наши писатели не могут так увлекательно, как иностранцы? Мо-роз, говорю, по коже! А он... остроумнейший человек! – так это прищурился и говорит: «погодите, о. дьякон, я такой роман напишу, что не только мороз по коже, а у вас во-лосы дыбом встанут!» Так все и покатились. И так вот, руками над головой... про волосы.

Я представил себе, как встанут дыбом волосы у о. дьякона, – а у него волосы были, как хвост у хорошего коня, – и тоже засмеялся. И о. дьякон загоготал, так что батюшка опять попробовал сдерживать, говоря: «мадерца-то что, о. дьякон, делает!»

– Одобрил я его, комплимент сказал даже, как он изобразил дьякона в баньке. Ну, до чего же то-нко и остроумно! Нет, далеко до него Мясницкому или, даже, Пазухину. И какой же конфуз вышел, там же у инспектора... Опять мы с ним чокнулись, для знакомства... ах, компанейский человек-душа! – взял он финик со стола, чай мы пить стали... и говорит, скорбно так: «и почему у нас не сажают фиников! а могли бы, и даже на Се-верном Полюсе!» Так все заинтересовались. Да как же можно, ежели наш суровый климат не дозволяет? А он пенсне надел, лицо такое вду-мчивое, и говорит: «Очень просто, послать туда... секретаря консистории

или хорошего эконома! никто лучше их не сумеет *нагреть* – !! – месте-чка!..» В лоск положил всех, животики надорвали. Ве-ликий остроумец.

На прощанье дьякон сказал, что у них в библиотеке имеется и книжечка г. Чехонте, – «Сказки Мельпо-мены», – ударение на «о», – от самого писателя дар.

– Забавные историйки, про артистов. Но, правду сказать, не для нашего с вами чтения. Нам вот про «Остров сокровищ»... про пиратов бы!..

И опять зацепил елку рукавом. И елка, и все мы засмеялись.

Я знал, про кого рассказывал о. дьякон: про нашего «брата-бледнолицего», которому Женька подарил летом «дикообразово перо». Осталось во мне об этом приятное воспоминание. На всякий случай я записал название книжечки, чтобы взять ее из «мещанской» библиотеки, где мы были своими людьми, благодаря Сашке Веревкину, сыну инспектора.

* * *

Как-то зимой, в воскресенье, Сашка позвал нас с Женькой есть горячие пироги с кашей. Мещанское училище славилось своими пирогами. Идешь, бывало, от обедни, спускаешься по чугунной лестнице, а в носу так щекочет пирогами с кашей. По улице даже растекается: «эх, пироги пекут!» Всем обитателям белых корпусов-гигантов, – а обитателей было не меньше тысячи, – полагалось в праздник по хорошему, подовому пирогу. Говорили, что есть особенный капитал – «пирожный», оставленный каким-то купцом, на вечные времена, «дабы поминали пирогами». И поминали неукоснительно.

Идем мы по длинным коридорам, видим огромные столовые, длинные в них столы, уставленные кружками с чаем, и у каждой кружки – по большому пирогу с кашей, – дымятся даже. И мальчики, и девочки, и призреваемые старички и старушки, все прибавляют шагу – на пироги. Взяв по горячему пирогу в буфетной, мы едим на ходу, рассыпая кашные крошки на паркетные и асфальтовые полы. Разыскиваем бородатого библиотекаря Радугина, который тоже у пирогов. По праздникам и библиотекарь отдыхает, но для Сашки закон не писан. Радугин, говорят, у надзирателей. Идем в надзирательский коридор. И тут тоже пахнет пирогами. Сашка входит в огромную комнату, разделенную перегородками на стойла. В самом заднем слышится смех и восклицания. Сашка входит, а мы затаиваемся у двери. В щель всё-таки отлично видно: за столиком у окна сидят надзиратели без

сюртуков и... наш «бледнолицый брат»! – брат надзирателя Чехова. Женька шепчет: «спросить бы, как мое «дикообразово перо»... здорово, небось?» Сашка валится на диван и ест надзирательский пирог. Радугин дает ему ключи от библиотечных шкапов, но Сашка и не думает уходить. И мы не думаем: щелкает соловей, самый настоящий соловей! А это Кривоносый, регент, шутки свои показывает. Писатель Чехонте сидит в пиджаке, слушает Кривоносого и тоже ест пирог с кашей, стряхивая с брюк крошки. Кривоносый начинает скрипеть и трещать скворцом, – ну, прямо, живым скворцом! Писатель даже в ладоши хлопает и говорит приятным таким баском: браво, брави-ссимо! – «А можете жаворонком?» – спрашивает. – «А вот... «на солнце темный лес зардел...» – говорит прыщавый Кривоносый: и начинает петь жаворонок, нежно-нежно, самое тихое журчанье! Потом представляет чижика, индюшку, выфьекивая, как самая настоящая индюшка: «Фье-дор, Фье-дор... я озя-бла... купи-башмаки!» И уточку – «ку-пи-коты, купи-коты». И – удивительно, дух даже захватило, – «майский вечер». Сидит на террасе помещик и слушает «майскую симфонию»: кричат лягушки в пруду: «Варварр-ра... полюби Уваррр-ра» – а Варвара ругается: «вар-варрр! вар-варрр!» Все покатываются, а мы с Женькой прыскаем за дверью. Чехонте, «бледнолицый брат», просит еще что-нибудь. Кривоносый, – откуда только, у прыщавого! – говорит: «Весенний вечер, пруд засыпает, камыши спят...» – «Нет, каков Кривоносый-то! мо-ло-дчи-на!.. не знал...» – шипит Женька, возненавидевший Кривоносого за его «мало вас драли, грубиянов!» – «И вот», – продолжает Кривоносый, выпивая предложенную ему рюмочку, – и вот, камышевка, бесхвостая птичка, во всём мире теперь одна, бессонная... спрашивает другую, на другом конце озера: «Ты-тита-видел? ты-тита-видел?..» А та, в том же тоне, ответствует: «видел-видел-видел... пить-пить-пить!..» – И по сему случаю... Все выпивают и закусывают пирогами с кашей. Так бы вот и стоял, и слушал этого прыщавого Кривоносого, регента. А Сашка-дурак уже прет с ключами: идем, ребята!

Мы роемся в огромных шкапах великой «мещанской» библиотеки, – учительской. Библиотека знаменитая: много жертвовали купцы на просвещение, отказывали «книжные капиталы» и целые библиотеки. Отказывали и призревавшиеся старички, старушки, – порой, старинные, редкостные книги. Я уже отчитал «приключения» и теперь дочитываю исторические романы. Сашка отпирает нам все шкапы и уходит раздобыть еще пирогов. Мы роемся в богатствах, как мыши в мучном лабазе. Женька отыскивает – «еще про Наполеона». Он читает теперь только «военное», остальное – «всё болтовня». Мы накладываем по горке книг до следую-

щего воскресенья, как раздается басистый голос: «вот оно, самое-то книгохранилище! И тут пирогами пахнет». Входит Сашка с грудой пирогов у груди, придерживая их рукой; в другой руке у него графин квасу, «мещанского», который тоже славится, как и пироги. В высоком молодом человеке с открытым лицом, в пенсне, мы узнаем «брата-бледнолицего» и стесняемся есть при нем. А Сашка говорит без стеснения:

– Хотите, Антон Павлыч?

– Можно, люблю пироги... замечательные ваши пироги, подовые... – говорит «брат», берет из красной Сашкиной лапы поджаристый пирог и начинает есть, роняя сыпучую начинку. И мы начинаем есть. Приходит русобородый Радугин, Сергей-тоныч, как *называют* его мальчишки, – Сергей Платонович, – и еще высокий худощавый надзиратель, брат «бледнолицего», и начинают выбирать книги.

– Всё к вашим услугам, Антон Павлович, – предупредительно говорит библиотекарь, – только вы, небось, всё уж прочитали.

– А вот, посмотрим, где же всё прочитать. Много читано... Бывало, таким вот был... – показывает он к нам пальцем, взглядывая, прищуриваясь, через пенсне, – в неделю по аршину читал.

– То есть, как по аршину? – не понимает Радугин, и мы не понимаем.

– А так. В неделю с краю аршин отхватишь... понимаете, книг? в городской библиотеке, что попадется. У нас за библиотекаря один старичок был, временно заведовал... всё, бывало, кожаные калоши чистил. Как ни забежишь, все он калоши начищает. И всегда почему-то Костомарова предлагал читать. Просишь Тургенева, или там Диккенса, а он всё: «да вы бы Костомарова-то читали!» Фамилия, должно быть, нравилась. Так вот, понимаете... надоели ему записочками... надо по записочкам искать книги, он и – «да чего там записочки, отхватывай с того уголка помаленьку, так всю читальню и прочитаешь. А лучше бы Костомарова читал!» Вот я и отхватывал по аршинчику в неделю... очень интересно выходило, все книжки перемешаны были, всякие неожиданности получались.

И он ласково посмеялся, глядя на нас с прищуром. Мне опять понравилось добродушное его лицо, такое открытое, простое, как у нашего Макарки из бань, только волосы были не ежом, а волнисто зачесаны назад, как у о. дьякона. Вскидывая пенсне, он вдруг обратился к нам:

– А, господа рыболовы... братья-краснокожие! – сказал он, с усмешливой улыбкой, – вот где судьбе угодно было столкнуть нас лицом к лицу... – выговорил он особенным, книжным, языком. – Тут мы, кажется, не поссоримся, книг вдоволь.

Мы в смущении молчали теребя пояса, как на уроке.

– А ну, посмотрим, что вы предпочитаете. Любите Жюль-Верна? – обращается он ко мне.

Я отвечаю робко, что уже прочитал всего Жюль-Верна, а теперь... Но он начинает допрашивать:

– Ого! А Густава Эмара, а Фенимора Купера?.. Ну-ка, проэкзаменуем краснокожих братьев... что читали из Густава Эмара?..

И я начинаю перечислять, как по каталогу, – я хорошо знал каталоги: Великий предводитель Аукасов, Красный Кедр, Дальний Запад, Закон Линча, Эльдорадо, Буа-Брюле, или Сожженные Леса, Великая Река...

Он снял пенсне и слушал с улыбкой, как музыкант слушает игру ученика, которым он доволен.

– Ого! – повторил он значительно. – А что из Майн Рида прочитали? – и он хитро прищурился.

Я был польщен, что такое ко мне внимание: ведь не простой это человек, а пописывает в «Сверчке» и в «Будильнике», и написал даже книгу – «Сказки Мельпомены». И такой, замечательный, спрашивает меня, знаю ли я Майн Рида!

Я чеканил, как на экзамене: Охотники за черепами, Стрелки в Мексике, Водою по лесу, Всадник без головы... Он покачивал головой, словно отбивал такт. Потом пошел Фенимор Купер, Капитен Марриэт, Ферри. Когда я так чеканил, Женька сзади шипел: «и всё-то врет... половины не читал!» Ему, конечно, было досадно, что занимаются только мной. Робинзона?

Я даже поперхнулся. Робинзона Крузо?! Я читал обоих Робинзонов: и такого, и швейцарского... и еще третьего, Лисицына! *Он*, должно быть, не ожидал, – снял пенсне и переспросил прищурясь:

– Это какого... Лисицына?

– А «Русский Робинзон... Лисицын»! Это редкая книга, не во всякой даже библиотеке...

И я принялся рассказывать, как Лисицын, купец Лисицын, построил возле Китая крепость и стал завоевывать Китай... притащил пушку и... всё один! *Он* остановил меня пальцем и сказал таращившему глаза Радугину, есть ли у них «про этого купца Лисицына»? Тот чего-то замялся: как всегда, ничего не знал, хоть и библиотекарь. Я за него ответил, что здесь Лисицына нет, но можно его найти на Воздвиженке, в библиотеке Бессоновых, «бывш. Ушаковой», да и то растрепанного, с разорванными картами и планами. Он сказал – «вот, знаток-то!» – и спросил, сколько мне лет. Я ответил, что скоро будет тринадцать. И опять Женька зашипел: «и всё-то врет!» Но я нисколько не врал, а мне, дей-

ствительно, через десять месяцев должно было исполниться тринадцать.

– Ого! – сказал *он*, – вам пора переходить на общее чтение.

Я не понял, что значит – «общее чтение».

– Ну-с... с индейцами мы покончим. А как Загоскина?..

Я ему стал отхватывать Загоскина, а он рассматривал в шкапу книги.

– А... Мельникова-Печерского?

Я видел, что он как раз смотрит на книги Мельникова-Печерского, и ответил, что читал и «В лесах» и «На горах», и...

– «На небесах»?.. – посмотрел он через пенсне.

Я хотел показать себя знатоком и сказать что читал и «На небесах», но что-то удержало. И я сказал, что этого нет в каталогах.

– Верно, – повторил он, прищурясь: – э-того... нет в каталогах. Ну, а читали вы романы про... Кузьмов?

– Про Кузьмов?..

Я почувствовал, не подвох ли: случается это на экзаменах. Про Ку-зьмов?.. Он повернулся к Радугину, словно спрашивал и его. Тот поглаживал золотистую бороду и тупо смотрел на шкап.

– Не знаете... А есть и про Ку-зьмов. Два романа есть про Ку-зьмов. Когда я был вот таким, – показал он на меня пальцем, – у нас, в городской библиотеке, сторож-старичок был, иногда и книги выдавал нам... говорил, бывало: «две книжки про Кузьмов были, и обе украли! читальщики спрашивали – дай про Кузьмов! – а их украли». А есть... про Кузьмов! Ну, знаток, кто знает... про Кузьмов?

Меня осенило, и отчетливо, словно на стене написалось, выплыло: «Кузьма Петрович Мирошев, или Русские в... году»?.. «Кузьма Рощин»?..

– Загоскина?.. – сказал я, а Женька шипел мне в ухо: «врешь, Кузьма Минин!»

– Браво! – сказал экзаменатор, сдергивая пенсне, и пообещал устроить меня старшим библиотекарем Румянцевского музея, – непременно уж похлопочет.

Он не знал, что я мог бы отхватить ему наизусть весь каталог «романов, повестей, рассказов и проч.» ушаковской библиотеки, – Авсеенко, Аверкиева, Авенариуса, Авдеева, Ауэрбаха... всех Понсондютерей, Поль де Коков, Ксавье де Монтепенов... русских и иностранных, которых, правда, я не читал, но по заглавиям знал отлично, так как чуть ли не каждый день сестры гоняли на Воздвиженку менять книги.

Сказав – «на пять с плюсом», экзаменатор принялся за Женьку, назвав его «краснокожим братом»: помнил! Женька напыжился и сказал в подбородок, басом:

— Я пустяков не читаю, а только одно военное... про Наполеона, Суворова, Александра Македонского и проч...

Так и сказал: «и проч»... — и соврал: недавно показывал мне книгу — «Английские камелии» и сказал: «а тебе еще рано, мо-ло-ко-сос!»

— Ну, будете героем! — сказал «бледнолицый брат».

Прошло тридцать лет... и Пиуновский, Женька — стал героем.

— А ваше «дикообразово перо»... — всё помнил! — действительно принесло мне счастье: целого леща поймало в Пушкине! Всегда с благодарностью вспоминаю вас.

Женька переступил с ноги на ногу, подтянул подбородок и перекосил пояс, засунув руку, как всегда у доски в гимназии.

— Вот, — обратился *он* к зевавшему в свою бороду Радугину, — настоящие-то книжники! Книжники... но не фарисеи! А есть у вас известная книга, Дроздова-Перепелкина... «Галки, вороны, сороки и другие певчие птицы»?

Радугин вдумчиво поглядел на полки.

— Кажется, не имеется такой. Впрочем, я сейчас, по каталогу...

— Да нет, это же я шучу... — засмеялся *он*. — Это только у дедушки Крылова ворона поет, а в каталогах где же ей.

Все весело засмеялись... Я осмелился и сказал:

— Отец дьякон мне говорил... Сергей Яковлевич... у вас книжка написана, «Сказки Мельпó-мены»? Я непременно прочитаю.

— Есть, — улыбнулся *он*, — только не Мельпó-мены, а Мельпо-мéны, на «ме» ударение. Не стоит, неинтересно. Вот когда напишу роман — «О чем пела ворона», тогда и почитаете... это будет поинтересней. Есть же роман — «О чем щебетала ласточка»...

— Шпильгагена! — сказал я.

— Непременно похлопочу, в Румянцевский музей.

Он еще пошутил, набрал книг и пожелал нам с Женькой прочесть все книги, какие имеются на свете. Я почувствовал себя так, словно я выдержал экзамен. И было грустно, что кончилось.

Была лавочка Соколова, на Калужской, холодная, без дверей, закрывавшаяся досками на ночь. В ней сидел Соколов, в енотовой шубе, обвязанный красным жгутом по воротнику. Из воротника выглядывало рыжее лицо с утиным носом, похожее на лисью морду. Всегда ворчливый, — «и нечего тебе рыться, не про тебя!» — он вырывал у меня из рук стопочки книжек-листовок, — издания Леухина, Ма-

нухина, Шарапова и Морозова... Стоишь, бывало, зажав в кулаке пятак, топаешь от мороза, перебираешь – смотришь: какое же богатство! В лавочке были перышки, грифельки, тетрадки... но были и книжки в переплетах, и даже «редкостные», которые выплывали к Соколову из Мещанской богадельни, после скончавшихся старичков.

Как-то зимой, в мороз, с гривенником в кармане, рылся я в стопках листовок: хотелось выторговать четыре, а Соколов давал три.

– Ну, достали Четьи-Минеи? – услыхал я словно знакомый голос и узнал *его* – в пальто с барашком, высокого, с усмешливыми глазами за пенсне.

– Еще не освободились наши Четьи-Минеи. Справлялся в богадельне, говорят – недельки две надо погодить, – сказал Соколов, отнимая у меня стопочку.

– Какая богадельня, что такое?..

– А который... Четьи-Минеи-то хозяин. Уж постараюсь, очень хорошие, видал я. С часу на час должен помереть. Эконом мне дешево бы, и я с вас недорого возьму. Вода уж до живота дошла, а всё не желает расставаться. Раньше мукой торговал, а любитель до книг.

Он усмехнулся, подышал на пенсне, протер и сказал мягко:

– Во-он что... как гробовщики ворот. Нет, пусть уж поживет старичок, не беспокойте... – и стал перебирать стопочки «житий».

Меня *он* не узнал или не приметил. Хотелось сказать, что у нас есть Четьи-Минеи, старинные, после прабабушки Устиньи. Хотелось бы подарить *ему*. Но они были под ключом в чулане, и я смотрел на них раз в году, когда проветривали чулан. *Он* отобрал стопочку «житий», заплатил и ушел, говоря: «а старичка вы, пожалуйста, не тревожьте, мне не надо». Было грустно, что *он* не узнал меня. Я переглядел стопочку: ничего интересного, это я читал – про святых. Уже много после я понял, что было интересного в этих книжечках – для *него*. Много после мне вспоминалось, – отражение снов как будто, – когда я читал Чехова: вспоминалось в словечках, в черточках, что-то знакомое такое... Вспоминалась и неведомая птичка, кого-то всё спрашивавшая в камышах, на озере, после захода солнца: «ты-Ники-ту-ви-дел?» – и повторявшая себе грустно: «видел-видел-видел»...

Август, 1934 г.
Алемон

III. «ВЕСЕЛЕНЬКАЯ СВАДЬБА»

Скорняк с нашего двора, по прозвищу «Выхухоль», выдавал замуж дочку Феню. Свадьба готовилась такая, что ахали: бал и вечерний стол, на Якиманке, в доме Клименкова – «для свадеб и балов», с духовой музыкой, с лавровыми деревцами в кадках и с благородными шаферами, как, например, студент Иван Глебыч, который пенсне носит. И выдавал не за кого-нибудь, а за ученого землемера, – с серебряным знаком ходит! Полугариха – сваха в месяц свертела дело, а мы все думали, что Фене нравится Иван Глебыч. Все ходил к скорняку, доучивал Феню после Мещанского училища: нанял его скорняк развивать ее, чтобы была настоящая барышня, и они все читали книжки – «Дворянское Гнездо», и... разные. Принесешь скорняку Загоскина, а они грустные стишки читают – Надсона там или «Парадный подъезд»... а «Выхухоль» слушает и вздыхает над лисьим мехом. И под гитару пели – «Глядя на луч пурпурного заката», – нравилось скорняку. Горкин всё его пустодумом звал: «до лысины всё лыцаря-Гуака своего читаешь – вот и начитал дырку в голову». Бывало, сидим на рябине с Женькой, а они про «Дворянское гнездо» всё – вот и начнем дразнить «ах и-Феня-Феня-я – Феня ягода моя!» – даже язык устанет. Иван Глебыч камушками швыряет, – «какие же вы неразвитые!» – а мы свое. Так и уйдет из сада. Феня была красивая: в русском костюме, темная коса, карие глаза, личико круглое, румяное, – ну, ягодка. Даже и Жене нравилась, а он все говорил, что любовь может развратить и не совершишь подвигов, как Юлий Цезарь, и барышень всё дичился. А тут будто и ревновал, сердился: «коша-чьи амуры... из ведра бы!..»

И так неожиданно – за землемера, собственный дом. Ну, домишка на огородах, в спарже там жулики ночуют... а, главное, с серебряным знаком ходит. И... де-сять тыщ чистоганом дает скорняк, на кошках под бобра капиталец какой накрасил!..

При мне и с Фирсановым рядились, с кондитером.

– ...и амуровые чтобы канделябры, для молодых.

Старик Фирсанов, высокий, в баках, похожий на лорда Гленарвана, из «Детей капитана Гранта», загибает пальцы:

– Амуровые канделябры – самое первое, сахарные голубки на плите – второе-с... рог изобилия, с конфектами в ажуре, и с зеркальцами, и в кружевцах, четыре рубли фунт, «свадебные», не Кудрявцева-с, а Абрикосова-Сыновья, – три?..

– Английской горькой побольше, Болховитин-прасол будет, обещался.

– Бу-дет-будет – всё будет! – говорит Фирсанов скороговорочку, – и горькая, и хинная, и рябиновка... семи сортов. Буфет, холодное и горячее, соляночки на сковородке, снеточки белозерские, картофель пушкинский, свирепая каена, перехватывает глотку, – фирсановское открытие! Из рыбного закусона: семга императорская, балык осетровый, балык белужий, балычок севрюжий, хрящ уксусный, сигов трое, селедка королевская... икра свежая, икорка паюсная-ачуевская...

– Да уж пировать так пировать... событие такое... как исторический роман! за благородного отдаю, серебряный орел на груди!..

– Хорошо их знаю. Пешком не ходит, всё на извозчиках ездит в клуб, все городовые козыряют. И еще... буфет прохладительный, аршады-лимонады, ланинская вода, зельтерская для оттяжки... фруктовый сортимент...

– Пришлет золотую карету под невесту! Шафера от него – учитель рисования, при орденах во фраке, – во дворцах рисовал! и еще, тоже со знаком, ихний. И у меня не жиже: студент в мундире со шпагой, в пенсне ходит... и еще, тоже из образованных, экзе-кутор из суда, со шпагой тоже, и двое про запас, Болховитина сынки, в перчатках, учащие.

– Да уж бу-дет-будет – всё будет! – говорит Фирсанов, закуривая сигару: только сигары курит.

Пригласительный свадебный билет с золотым обрезом: «...пожаловать на бал и вечерний стол...» Вся Калужская перед домом: ноябрь, падает снежок. Подкатывают шафера в коляске. Перед ними картон с букетом. Оба в сияющих цилиндрах, в белых, как мел, перчатках, крылатые шинели, на груди что-то золотится. Лица румяные, с морозцу. В толпе говорят: ар-ти-сты! Я бегу к скорняку. Шафера отбивают каблуками, кричат с порога «жиних ожидает в церкви!» – и всем делается страшно. Трещат скорняковы канарейки. Шафера сбрасывают шинели, вынимают белый букет в путающихся атласных лентах и подают невесте. Феня похожа на царевну: беленькая, во флердоранжах, светится сквозь вуальку, щечки чуть-чуть алеют. Женька вздыхает сзади. Вспоминается, грустно-грустно – «ах-Фе-ня-Феня-я...» Скорняк схватывает образ, скорнячихе суют кулич, Феня опускается, в вуальке. Скорняк, в сюртуке, похож на старого барина; скорнячиха, в шумящем платье, вся обливается слезами. Женька шепчет: «нечего тут сыропиться». Вскрикивают за нами: «да Андрюша, образ-то кверх ногами!..»

Кричат шафера – «карету под невесту!» Ахают все – ка-ре-та!.. Атласная – золотая, окна – насквозь всё видно, в мелких, подушечках, атласных, – будто играет перламутром.

Двое лакеев, в белом, в цилиндрах с бантом. Шафера откидывают дверцу. Иван Глебыч – в мундире, с флердоранжем; светится рукоятка шпаги, перчатка откручена на пальцы, лицо в тревоге. Кричат – «Божье благословение, мальчика-то вперед пустите!» Андрюша, в бархатных панталончиках, вихрастый, с образом на груди, тычется на подножку, в страхе; под носом у него «малина», с медовых пряников. Тощий, высокий экзекутор, в мундире и со шпагой, держит невестин шлейф: студент нежно поддерживает Феню, словно она стеклянная. С треском захлопывают дверцу. Шафера прыгают в коляски, кричат – «с Богом!» Все крестятся. Скорняк корит Кологривова: «что ты мне под невесту подал! Бога у тебя нет, такое под невесту!..» Каретник, с заплывшими глазами, божится: «да... покойничков у меня эти не возят... а что Паленова вчерась возили, так это из уважения, не в счет». Скорняк уходит, махнув рукой. Говорят – «не к добру, покойницких лошадей прислал». Каретник ворчит: «приметил скорнячий глаз... лошади – не кошка, под бобрика не закрасишь».

В доме Клименкова горят окна. Мы с Женькой топчемся у ворот: рано, войти неловко. По двору пробегают поварята, тащат с саней корзины, звенят бутылки. Музыканты приехали: пробуют, слышно, трубы. На боковой подъезд, во дворе, выбегает Фирсанов, во фраке, с салфеткою под мышкой: «че-рти, куда заливное сунули?» Здороваемся с Фирсановым. – «Да что... опять, мошенник, нарезался, заливное никак не сыщем, а еще старший повар!» Поваренок кричит: «нашли заливно, в дрова засунута... а Семеныча снежком оттерли!» – «Ну, слава Богу... соли в мороженое бы не попало!» – кричит Фирсанов и приглашает заправиться: закусочные пирожки готовы. Это наш придворный кондитер, правит все свадьбы, поминки и именины, еще от дедушки. Подъезжают на своих и на лихачах. Прасол вываливается кулем из саночек. Бегут барышни в белых шальках, духами веют. Подкатывают – мясник Лощенков с семьей, в карете, краснотоварцы Архиповы, Головкин-рыбник, портной Хлобыстов, булочник с семейством: Ратниковы, Баталовы, Целиковы, бараночник Муравлятников с сынками, Сараев – башмачник с дочками... – какие-то все другие, в хороших шубах. Молодые сейчас приедут. Сумерки, плохо видно. Кто-то высокий столкнулся с Женькой и извиняется, идет на подъезд за всеми. Женька шепчет: «ты знаешь, это кто?.. *он*, ей-Богу! да «дикообразово-перо»-то подарил я, *тот*, писатель!» Я не верю... не может быть! И радостное во мне: будто знакомый голос, баском таким: «ах, простите, пожа-

луйста...» Надо сказать Фирсанову, угощали чтобы... и скорняку, что писатель у него на свадьбе. Всё хотел – «живого бы писателя посмотреть, Загоскина бы». Но тот уж помер, а это живой писатель.

Входим под фонари подъезда в большие сени, с зеленой куда-то дверью. Пахнет парено-сладковато, – осетриной, сдобными пирожками, сельдереем, – особенным, поварским духом. Идем по широкой лестнице по малиновому ковру. В высокой зеркальной зале, под мрамор с золотом, с хрустальными люстрами из свечей, – свадебный стол, «покоем». Белоснежные скатерти, тысячи огоньков хрустальных – от разноцветных пробок от бутылок лафитничков и рюмок, блеск от бронзы и серебра. Музыканты, на хорах, пробуют робко трубы, сияет медь. – «После «встречи», – кричит Фирсанов, – «Дунайские Волны» пустишь, а там скажу!» Потягивая бакенбарду, он оглядывает парад, что-то соображая пальцем. На «княжем месте» на серебре, – рог изобилия, из которого рушатся конфекты. «Амуровые канделябры» – по сторонам: золотые амурчики целуются под виноградом, выбросив в воздух ножки. Мы выискиваем по зале – где *он*. По стенам, сидят недвижимо гости, положив красные руки на колени или подпершись, самоваром, – все краснопикие, в стесняющем крахмале, в тугих сюртуках, в манжетах. Белоногие барышни смирно сидят с мамашами. Официанты несут подносы, звенят бокальчики. Фирсанов кричит в фортку: «как завидишь, – бенгальский огонь, пунцовый!»

Нет *его* и в малиновой гостиной: старые дамы только, сонно сидят на креслах. Нет *его* и в ломберной – угловой, и в малой, где «прохладительное» для дам... нет и в буфетной, с «горячим» и «холодным», где разноцветные стенки из бутылок, в которых плавают язычки огней, где всякие соблазнительные яства: пулярды в перьях, заливные поросята, осыпанные крошкой прозрачнейшего желе, сочные розовые сиги, масляно-золотистые сардины, хрящи белужьи, бочоночки с зернистой, семги и балычки, салаты и всякие соленья, – хрусткая синяя капуста, огурчики – недоростки в перце, кисленькие гроздочки винограда, смородины красной венчики, «свирепая каена», похожая на кирпичный соус, соляночки, снеточки, румяный картофель пушкинский... – и здесь даже нет *его*! Женька шепчет – «в прохладительный заглянуть, кстати и ананасной хватим?» Толстый прасол сонно глядит на нас, будто хочет спросить, – «вы это... в котором классе?» Вьется официант с тарелочкой – «не прикажете-с!» Прасол тычет в бутылку с перехватцем: «а ну, огорчи, любезный», – английской горькой. Мы вытаскиваем сардинку, и роняем... – в окнах вдруг полыхает красным, грохают медные тазы над нами, – играют «встречу»: приехали!

В дверях гостиной шелковые старухи спутались бахромой, толкаются локтями, сердито шипят – «успеете, пострелы». Мы проскальзываем у них под локтем. У входа в залу стоят новобрачные на розовом атласе. Фирсанов держит корзиночку, все бросают овсом и хмелем. Мы тоже бросаем, в Феню. Она – царевна, только ужасно бледная, – не ягодка уж, а ландышек. Новобрачный – какой-то неприятный, чернявый, глаза косые, бородка таким скребечком. Фирсанов кричит на хоры – давай! Официант с баками встряхивает салфеткой, и на молодых сыплются цветочки. Скорняк всплескивает руками, все расхватывают – на память. Иван Глебыч шепчет на ушко Фене, и она дает ему розу из букета. Начинают просить другие, но Фирсанов вежливо говорит, что букет теперь целомудренный, а к разъезду... тогда растрепим. Говорят и смеются: пра-вильно! Иван Глебыч как будто недоволен, всё поджимает губы. Он перед молодым, красавец: высокий, волосы так, назад – как Рославлев у Загоскина. Женька ворчит: «косогла-зого выбрала!» Я говорю – «скорняк это, не пожалел дочери несчастной». Фирсанов просит пожаловать в гостиную, сейчас будут поздравлять шампанским. Мы идем с Феничкой, но какая-то старушенция в «головке», выпятив зуб, скрипит: «нечего вам тут», – даже скорнячиху оттолкнула, Женька ей нагрубил: «а вы чего щипитесь когтями?» Дамы шепчутся – шлейф уж больно задирают. Старушенция велит Ивану Глебычу опустить, но он не слышит. Лощенова говорит Аралихе: «убили бобра, днюет и ночует в картах, весь профершпилился». Молодых сажают на золотые кресла, Фирсанов разливает шампанское, все подходят. Мы чокаемся с Феней, она мило кивает нам, но я чувствую, что она несчастна. Говорит нам – «ах, милые». Вместе с горы катались. С косоглазым не чокались, давка очень. Скорняк спрашивает – «ндравится тебе, знак-то какой, ученый!» Говорю – видели тут писателя, только найти не можем. Он не верит: «вы, говорит, это с шампанского», – смеется. А *его* нет и нет.

Сейчас будет «вечерний стол», куда только нас посадят, не на задний же, с музыкантами? Старшая сестра ухватывает меня: «мамаша зовет... испортил тебя Женька, как уличный мальчишка себя ведешь!» Я убегаю в залу. Почему это уличный мальчишка! Сам Фирсанов подлил в бокальчик, из уважения, сказал – «скоро жениться будете, без Фирсанова уж не обойдетесь». И Горкин всё говорил: «не корыстный Фирсанов наш, провизия всегда свежая и не в обрез... играть твою свадьбу будем – его обязательно возьмем».

Фирсанов потягивает бакенбарду, оглядывает парад, – на сто на пятьдесят персон! Поправляет цветы под рогом изо-

билия, опять оглядывает, – «еще букетик! на крылья бутылочек добавить!» Играют «Дунайские Волны», вальс. Фирсанов машет, велит: «Черноморов – марш» грохайте, кушать когда пойдут, а пока «Невозвратное» валяйте, поспокойней». Скорняк радуется – «акое же пышне богатство вида!» Для затравки, обносят пирожками, с икрой зернистой. За новобрачными, которые с утра говеют, – старушенции подают, косоглазого мать, оказывается! Говорят – коровница, молоком торгует, такая скря-га! Схватила, как когтями, три пирожка и зернистой икры черпну-ла... – официант даже закосился. Женька шипит: «карга, под шаль пирожок спустила, мешок у ней!» Фирсанов приглашает: «в буфетик для аппетиту... все мужские персоны там». Идем сардинки попробовать, а там и не подойти, такое звяканье: мясники, булочники, мучники... Прасолов голос слышно: «Глебыч... огорчимся?..» Иван Глебыч чокается со всеми, подергивает пенсне, и очень бледный. Хлобыстов сига гложет, пальцы всё об портьеру обтирает. И Муравлятников, и Баталов... – все с тарелочками, едят, на окошке буфет устроили, из графинчика наливают. Учитель рисования – подшофе, козлиной бородкой дергает, притопывает всё ножкой. Протодиакон Примагентов в углу засел, все его ублажают: надо ему загрунтоваться, многолетие будет возглашать. Огромный, страшно даже смотреть, как ест. Голосом лампы тушит! Женька просит какого-то: «пропустите, пожалуйста, закусить», а тот ему – «а в котором классе?» Фирсанов углядел – сиротами мы стоим – нам по килечке положили и балычка. Прасол манит Фирсанова: «видал, бычки-то мои, бодаться уж начинают», – на завитых пареньков из практической академии, запасные шафера которые, – «женить скоро тебя возьму». Слышим – «Черномора» тарахают, – и нет Фирсанова. Валят гуртом, притиснули нас в дверях. Иван Глебыч бежит вприпрыжку, прасол бухает в пол ногой – та... ра-ра... та... ра-ра... – под «Черномора», под барабан турецкий.

Отходит шумно «вечерний стол». Уже прочел по записочке Фирсанов – «за здоровье». За новобрачными – старушенцию: «за здоровье глубокоуважаемой родительницы...» какой-то... кажется, Епихерии Тарасьевны. Уже поднялся протодиакон, и всё покрывает рыком – многая... ле...т-та-а-а-а!.. Расхватывают на память «свадебные конфекты». Старушенция так и вцепилась коршуном, цапнула полной горстью. Еще кричат молодым – го-рько!.. горь-ка-а!.. Молодые целуются. И вот «По улице мостовой» играют, танцы сейчас начнутся. Иван Глебыч раскатывается, придерживая пенсне, – «господа кавалеры... ангажируйте дам!» За ним ковыляет прасол, – плывет саженками. Фирсанов перехватывает мяг-

ко: «в стуколочку-с... отец протодьякон ожидают». В карточной уж трещат колоды.

«Невозвратное время»... – и вот, Иван Глебыч с Феней, – молодой танцевать не хочет, – «бычки» за ними, подхватили сестер Араповых; накручивает землемер Лощенову, экзекутор выписывает с Коровкиной, винтит с присядцем – фалдами подметает – козлоногий учитель рисования подцепил рыбничиху Головкину – не обхватишь, сшибает стулья.

«Не шей ты мне, матушка, красный сарафан»... – кавалеры отводят дам в «прохладительное», к аршадам. Молодого утянули в стуколочку, по три рубля заклад. Иван Глебыч – без флердоранжа: нашли в буфете, Феня ему прикалывает. Он склоняется к ней и шепчет, она его ударяет веером. Обносят сливочным и фисташковым мороженым, несут подносы с мармеладом и пастилой – старушкам. Говорят – будут и пирожки с зернистой, протрясутся когда маленько. Старушенция задремала на диване. Женька шепчет: «на кресле мешок забыла, рябчики даже там... наплевал ей, и пепельницу еще... а не щипись!» Козлоногий зельтерской окатил кого-то, кричат – «платье изгадили!» Гремит – «ах, и сашки-канашки мои...» Иван Глебыч выносится на середину залы, мундир расстегнут... – «гран-ро-он!.. ле-кавалье, ф-фетляшен!..» Говорят – «шафер-то уж нагрелся». Козлоногий вырезывает вприсядку – «сени новые – кленовые – решетчатые!» Скорняк всплескивает – ух-ты-ы!.. Врываются вереницей из гостиной: Иван Глебыч, головой вниз, вытягивает Феню, за Феней, – вот разорвут ее, – головастый «бычок» с толстухой... «Тарелки» секут на хорах – «ах, вы, сени мои, сени...» – «бычки» скорняка подшибли, у каждого по две дамы, вниз головой несутся, – бодаются... – «ле-каввалье-э-... шерше-во-да-амм..!» Около козлоногого гогочут, – какие-то рожи строит – нашептывает: – «ах, вы, сени мои, сени... так при-ятель мой по-ет... и своей мо-рдашке Фене...» – за хохотом неслышно. – «Вью-шки-и!!..» Музыканты полы ломают, бухает барабан – «вери-вьюшки-вьюшки-вьюшки...» – стучат по паркету каблуками, – «на барышне башмачки... сафьяновые!..» Полугариха – сваха, в шали, ерзает на ноге – «ах и что ты, что ты, я сама четвертой роты...» Бежим за другими в «прохладительный», допиваем аршады-лимонады, официант даже удивляется – «и как вас только не разорвет!» Феничка раскраснелась, откинулась на спинку, веером на себя, смеется... Иван Глебыч, зеленый, волосы на лбу слиплись, глаза рыбьи какие-то, галстух мотается, пенсне упало, – за руку всё ее, чего-то шепчет, качается. Дамы шушукаются – «срамота какая лезет, прямо, при публике... чего ж молодому-то скажут?» Экзекутор посмеивается: «клещами не оторвешь, сотенки скорняковы продувает, – в любви везет... про-

тодьякон всем там намноголетил». Иван Глебыч совсем склоняется, а Феня веером его всё, хохочет... – с шампанского, говорят, от непривычки. Аралиха так и ахает – «до безобразия дойтить может!» Иван Глебыч дергает Феню за руку и кричит: уйдем от них!.. ту-да... где зреют апе...льси-ны... и л-ли...моны!»... Феня старается вырвать руку, прижалась к столу, а он всё – тянет. Козлоногий топает на него – «вы пья-ны!.. извольте оставить молодую... особу!» Иван Глебыч не отпускает Феню, качается, вскидывает пенсне... – «к черту... пьяней меня...» Кричат – «не выражайтесь при дамах!.. позовите же молодого... безобразие!..» Фирсанов упрашивает – «прошу вас, ба-ла не страмите... вас ждут в буфете...» Иван Глебыч выхватывает шпагу... – «прочь, ха-мы!..» Молодой схватывает сзади, Фирсанов вырывает шпагу и отдает косоглазому. Косоглазый кричит официантам – «убрать пьяного нахала!» Феня... глаза такие, будто чего-то увидала, вся бледная, руками отстраняет... кричит – «да что же это?!» – ее подхватывают. Официанты тащат Ивана Глебыча. Он кричит – «хамы.... мою шпагу!.. погубили жизнь!..» Чтобы не слышно было, музыканты играют «Сени». Косоглазый размахивает шпагой... и – в форточку! – «Вот его место, на мостовой!» Мы проскальзываем на лестницу, сбегаем и смотрим кверху. Ивана Глебыча волокут с площадки, торчит манишка, пенсне разбили. Он вырывается и вопит – «молодую жизнь... ха-мы... на дуэль... темное царство!..» Косоглазый вверху кричит: «дайте ему, скотине!» Мне жалко Ивана Глебыча... И вот я слышу – будто знакомый голос, баском таким: «ве-селенькая свадьба!»

Возле зеленой двери – *он*, писатель! В сером пиджаке, в пенсне с грустно-усмешливой улыбкой. Кто-то еще за ним. Женька меня толкает – «там *он*... смотри...» – но дверь закрылась.

После, мы прочитали, на карточке: «Антон Павлович Чехов, врач». Он жил внизу, под вывеской – «для свадеб и балов». Он видел! Может быть, и нас он видел. Многое он видел. Думал ли я тогда, что многое и я увижу – «веселенького», – свадеб, похорон, *всего*. Думал ли я тогда, что многое узнаю, в душу свою приму, как все, обременяющее душу, – для чего?..

Сентябрь, 1934 г.
Алемон

КАК Я ПОКОРИЛ НЕМЦА

(Рассказ моего приятеля)

Раздавая нам бальники за 2-ю пересадку, «Воронья Головка» насмешливо закончил: «и 27-й, по-следний... родителям на утешение, решительно развратившийся лентяй...» – и пустил веером через весь класс, ко мне. Бальник метко попал мне в руки, и жирное «27» неотвратимо удостоверило, что я решительно развратился.

– Не всем, конечно, быть Соколовыми... сколько кому отпущено... – продолжал «Воронья Головка» долбить меня носом в голову, – но мог бы и постараться... хотя бы предпоследним!..

– Захотел бы – и первым был! – вызывающе крикнул я.

При общем смехе, надзиратель пригрозил вызвать меня на воскресенье.

Ничего удивительного не было: я не учил уроков, читал запоем и писал исторический роман из жизни XVI века. Роман начинался так:

«Зима 1567 г. выдалась лютая, какой не запомнят старожилы: на лету замерзали галки. В один из дней января, когда термометр показывал 40 гр. мороза, по сугробам Замоскворечья пробирался вершник с приторочённой у седла собачьей головой и метлой. Читатель догадывается, что это был опричник. Встречные шарахались в подворотни, а почуявшие запах собрата псы яростно завывали по дворам...»

Дома сестра сказала ужасным шепотом:

– Боже мой, ка-ак ты па-ал!..

И начала наставление о выработке характера, иначе я потеряю уважение окружающих и докачусь до Хитрова рынка, как Евтюхов, стоящий в опорках у Никиты Мученика, против Межевого института, который он кончил с золотой медалью! Я сказал, что вот же, и с золотой медалью... Но она не дала сказать:

– Да... но с тобой будет еще хуже! Ты превратишься в жулика и, может быть, даже в каторжника!..

Я представил себе, как меня гонят по Владимирке, в кандалах, и все грустно качают головами: «и за что пропал! из-за каких-то аористов и «пифагоровых штанов!». В заключение, она велела мне прочесть книги, которые меня подымут, – знает по опыту: «Характер», «Самодеятельность» и «Труд» – Смайльса. Я прочитал их залпом. Она не поверила и стала спрашивать. Я отхватал ей примеры, как люди погибали, но, выработав волю и характер, поднимались на высоты славы. Она смягчилась:

– То-ник... если ты только захочешь, ты не только не погибнешь, а сделаешься человеком и полезным членом общества. Ну, постарайся за 3-ю пересадку... ну, хоть 15-м!..

Я сказал, что буду 10-м даже, только трудно по математике, и еще с этим проклятым немцем, который мне никогда не ставит больше двойки. Она сказала, что по математике мне наймут репетитора, а по-немецки займется она сама. Она, сама?!.. Она начнет с самого начала, по Кайзеру... с «рычание льва устрашает человека»!..

– Да, мы начнем с самого начала, за все классы, и ты увидишь! А это твое маранье... – и она показала мне тетрадку с моим романом, – помни: я изорву в клочки, если ты не поправишься.

Я поклялся, что буду даже 8-м, – «только, ради Бога, не разорви!..»

Зять, межевой, привез инженера Евтюхова, прямо от Никиты Мученика, велел сводить в баню, поприодеть, – «и за четвертной этот гений сделает из него самого Лобачевского!». Смущенный я смотрел на смущенного тоже Евтюхова: этот, низенький и широкий, в опорках, с клочьями ваты, вылезавшей из грязной кацавейки, с напухшими глазами, головастый, курносый, лысый, похожий на Сократа... – инженер с золотой медалью? ге-ний?!..

Начал он непонятно, с самого трудного: с «задачи о курьерах». Я взмолился, но он прохрипел мрачно: «это моя система! я потащу тебя в необъятные сферы мысли, и ты познаешь великое блаженство!»

Я смотрел на его необъятный лоб, на котором дышала жила, в виде алгебраического знака – радикала.

И он так потащил меня, что математика стала для меня блаженством.

– Жизнь... – хрипел он, обдавая меня застрявшим в нем духом перегара, – грязь и свинство. Уйдем из нее в необъятные сферы мысли! – тыкал он в воздух циркулем. – Какая красота, когда точка... мыслимая точка, проецируется в своем движении... пронзает бесконечность... молнией!.. Мы поднимаемся до геометрии в пространстве, через полгода – к Лобачевскому!..

За Святки я одолел все трудности. Евтюхов сказал: «ты наш брат! ты а-ри-хмед пока, но через месяц станешь и Архимедом!» Через месяц он пошел за папиросами в лавочку и пропал. Через месяц классный наставник сказал: «по-греческому... четверка?!» – и выставил за Овидия пятерку. Математик выслушал доказательство «пифагоровых штанов» по Евтюхову, прищурился, погонял по всей геометрии, пожал плечами... погонял по всей алгебре, выслушал небывалый еще разбор «задачи о курьерах», по Евтюхову тоже, – и поставил решительно пятерку. Греку я отхватал, сверх заданного, двести стихов из Одиссеи, объяснил все тонкости «гар» и «ге», и костлявая рука «Васьки» вывела мне пятерку. Только Отто Федорыч, немец, ставил всё тройки с минусом. Как ни переводил ему любимые его каверзы – «он, казалось, был нездоров», «он, кажется, будет нездоров», «он, казалось бы, не был бы нездоров», даже – «он, не казалось бы, что будто бы будет нездоров»... как ни вычитывал Шиллера и Уланда, как ни жарил все эти фатер, гефеттер, бауэр и нахбар... – ничто не помогало. Он пучил стеклянные ясные глаза, и румяное, в пятнах, лицо его, похожее на святочную маску с рыжими бровями и бачками, сияло удовольствием: «ошень ка-ашо, драй!»

Но почему же – драй?!.

Руски ушенник не мошет полушайт фир, немецкий мо-шет.

Соколеф? Он каврит, ви айн Берлинер. Бу-лы-тшоф? Он полюшайт фир с минус: «нихьт айн ошипка ф-диктант». Мне нужен был не фир, а – фюнф; у меня выходило – на первое место в классе, я брал последний барьер с канавой, выходил уже на прямую, но... проклятое это драй! Круглая голова была неодолима: «руски ушеник не мо-шет!». Я ненавидел щегольской галстук немца – зеленый с клюковками, в розовых клеточках платочек, которым он вытирал потную лысину, тыкал в стеклянные ясные глаза, когда, растроганный, декламировал нам шиллеровскую «Лид фом Глокэр» или «Уранэ, Гросмуттер, Муттер унд Кинд ин думпфер Штубэ бейзаммен зинд»... – как накануне Троицы убило молнией четверых. «Жестокий, он притворяется добряком, он тычет в глаза платочком, чуть не рыдает даже: «Унд моэн ист... Файэртаг!..» – у, фальшивый!» Я вычитывал ему с чувством «Дер Монд ист ауфгеганген, ди гольдене Штернэ пранген» – драй и драй! – только 2-е место. Вспоминал Евтюхова: «жизнь грязь и свинство!» На эту тему я написал стишки. А, плевать!.. Просил у сестры роман, но она сказала решительно: «когда докажешь что...» – «Но у меня же всё круглое – пять и пять!..» – «А по-немецки?..» Я поклялся сжечь Кайзера и хрестоматию Бертэ. Да, задано перевести из Бертэ «Ди Рахе дес Эреманнес». «Мщение честного челове-

ка, целых полторы страницы. Завтра последний урок перед пересадкой. Немец сказал: «это ушасни истори... сами пляшевни... о, тяшоли!..» – и закатил ясные глаза. У, фальшивый!..

Я перевел, выписал слова. Правда, история была ужасная. И я начал переводить... стихами:

Настала ранняя весна,
Златое солнце сильно грело,
В прозрачных рощах не одна
Певица звонкая запела...

Жизнь – грязь и свинство, драй! А вот... –

На берегу глубокой речки
Стоит избушка лесника.
Я был недавно в том местечке...
Избушка та теперь ветха,
Она совсем уж развалилась...

Я вижу, чего совсем нет в Бертэ...

На крыше пять иль шесть жердей
Торчат, как руки великана,
Все мертво, только пеликана
Гнездо под крышею висит
И о минувшем говорит.

Лесник, по имени Ятамар... но как же рифма на Ятамар?..

В сторонке горестно лежит
Остаток старого амбара,
И речка быстрая бежит
Вблизи избушки Ятамара.

Я горел до зари, пока не затухла лампа. В слезах дописывал:

Теперь я понял, что за мщенье
Считает честный человек!
Молю, отец... молю прощенья,
Готов молить его весь век!..

Я уже не мог заснуть, я видел:

Ятамар встречает жалкого старика, набравшего хворосту, чтобы согреться, грозит ему, хватает вязанку и бросает в реку. Старик рыдает. Проходит пять лет. Весна, всё ликует, скоро ледоход. Сын лесника идет из школы. Лед трогается. Из леса выходит старик и кричит: «мост рухнет, остановись!» Лесник бранит старика и велит сыну переходить. Мост рушится, ребенок тонет. Старик бросается и после

долгой борьбы со льдами спасает мальчика. Лесник падает в обморок. Старик... Боже, как хорошо!

«Твой сын здоров! очнись, лесник!»
Лесник вскочил и зарыдал:
«Благодарю, о, старец честный!
Теперь, теперь я увидал,
Что ты святой, что я бесчестный...»

Пора в гимназию. Немец на 4-м, как долго ждать!

Стихи – у сердца. Немец «выводит» за 3-ю пересадку...

– От-то Федрыч... позво-льте поправиться!..

– Я сказал, сажайтесь... кругли драй! ви нетофольни?!..

– Но я перевел стихами! Пусть драй... но я хочу прочитать, стихами!..

Он пучит стеклянные глаза. Я показываю листочки, они трепещут...

– Ну, ка-ашо. Будем стлюшайт... стики. Штилль! Шетверть кончен.

А мне всё равно...

В руках он нес ветвей вязанку,
Их собирал он целый день,
Тащил к себе домой, в мазанку,
Устал и сел на старый пень.

– Ошень ка-ашо... сел на пень? Ка-ашо! – и удивленно оглянулся.

Вскипел лесник, увидя старца,
Схватил за шиворот рукой...

– За ши...ши-ворот? Этого нэт, но... ошень ка-ашо!

«Я задушу тебя, мерзавца!
Эй, говори, кто ты такой?»
– «Я честный человек», – сказал
Старик несчастный Ятамару, –
«И топоров моих удару
Никто в лесу здесь не слыхал.
Сегодня рано я поднялся,
Бродил голодный целый день...»

– Та, та... голедни и холетни... – прошептал Отто Федорыч, и на его лице я уловил сострадание.

«Ты лжешь, старик, пустой бездельник!
Еще в запрошлый понедельник
Я липу старую срубил,

А ты, презренный лжец, обманщик,
Украдкой сучья обрубил?..»

Лицо немца всё больше напрягалось. Он прошептал – «ушасно!» – и посмотрел через мою голову, моргая.

«Охотник, Бог тебе судья!
Порубок ты нигде не видел,
Напрасно ты меня обидел...»

– Та, та... о, шю-стфо, шюстфо!

Немец моргал всё больше. По его доброму лицу я видел, что он жалеет несчастного старичка. Нет, он вовсе не фальшивый... и тогда... – «унд мо-эн ист Файер-таг»... – он вздыхал искренно... нет, он не фальшивый!

И я продолжал, с жаром:

Старик несчастный прослезился,
Рукой дрожащей шляпу снял
И на колени опустился...
И горько-горько зарыдал...
....
...Вязанку взял у старика,
Взмахнул рукой полоборота
И бросил в глубь водоворота.
И вмиг исчезло всё в волнах...

Немец прошептал – о!.. – и из ясного его глаза как будто выкатилась слеза: он вынул платочек в розовых клеточках и ткнул у глаза. Вот никогда не думал... Но – дальше:

Прошло лет пять. Весна настала.
Вода на речке скрыла лед.
Семейство лесника уж ждало,
Что вот, наступит ледоход.
Сын лесника под вечер раз...

Начиналось самое страшное. Немец вытянул палец...
– Ви... ти писал драма... большой драма!

«Постой, постой!» – раздался крик,
Ребенок вздрогнул, обернулся,
Взглянул – и в страхе отшатнулся:
Из леса выходил старик.
«Меня не бойся, я не злой,
Не зла, добра тебе желаю», –
Сказал старик, – «и заклинаю:
По мосту не ходи домой!»
Мальчик колеблется, лесник... –
«Ага, тебе старик проклятый

Такие страсти насказал?
Ага, мошенник бородатый,
Опять ты здесь? – лесник вскричал...

– О, Поже мой... и мальшик итет... и... – ужасно!..

Мост дрогнул, жутко заскрипел.
Взломался лед, погнулись балки,
С ребенком вместе рухнул мост...
......кипит и пенится вода,
И шепчут волны, злобой полны:
Погиб твой сын, и навсегда!

Немец тычет в глаза платочком. Губы его скосились...

«Мой сын», – кричал отец несчастный, –
«Мой сын, мой сын... приди сюда!..»
Не слышен вопль под рев ужасный,
Гудит, кипит, шипит вода.
....
Но, вот и берег. Слава Богу!
Старик приплыл. Ребенок жив.
С тревогой в сердце, понемногу
Ребенку чувства возвратив,
Он на колени опустился
И молча, горячо молился...
«Твой сын здоров... очнись, лесник!»

Немец... закрылся платочком в розовых клеточках... и вдруг, взглянув на меня сияющими, влажными глазами:

– О, шю-ство, шюство! у тепья... руски душ... немецки душ, фесь душ! Тут... – ткнул он в Бертэ, – сукой слово... у тепья шюство, фесь!..

И тут... – мог ли я думать! – он схватил перышко, ткнул – проколол чернильницу, уронил огромнейшую, густую кляксу, чего никогда не случалось с ним, и всем своим плотным телом поставил мне... думаете. – фир? Нет: *фюнф*! Мало того: соскочил с кафедры и крепко пожал мне руку. И взял у меня листочки, чтобы читать всем классам. Соколов, в крахмальном воротничке, с масляным хохолком, наклонил в книжку голову: я стал первым! Потом я, правда...

Сестра не поверила, когда я крикнул – «немец – фюнф!» Я перекрестился.

– Вот видишь, что значит воля! Мы все, с самого начала...

Я кричал, что это стихи, мои... чего и в книжке-то не было!.. Она не верила. Однако, всё это правда.

Ноябрь, 1934 г.
Париж

МИЛОСТЬ ПРЕП. СЕРАФИМА

То, что произошло со мною в мае сего 1934 года, считаю настолько знаменательным, настолько поучительным и радостным, что не могу умолчать об этом. Мало того: внутренний голос говорит мне, что я должен, *должен* оповестить об этом верующих в Бога и даже неверующих, дабы и эти, неверующие, задумались... Чудесно слово Исаии: «О, вы, напоминающие о Господе! не умолкайте!» (Исаии, гл. 62, ст. 6).

Старая болезнь моя, впервые сказавшаяся в 1909 – 1910 гг., обострилась весной 23-го г. Еще в Москве доктора, к которым я обращался, предполагали, кишечные мои боли надо объяснить неправильным режимом, – «много работаете, едите наскоро, не жуя, много курите... очевидно, изобилие и крепость желудочного сока способствуют раздражению слизистой оболочки желудка и кишечника... Расстройство нервной системы также способствует выделению желудочного сока и мешает заживлению язвочек... Меньше курите, пейте больше молока, это пройдет, вы еще молоды, поборете болезнь». Отчасти они были правы. Правда, ни один не предложил исследования лучами Рентгена, ни один не предписал какого-нибудь лекарства... но, повторяю, отчасти они были правы: не определив точно моей болезни, они всё же указывали разумное: воздержание и некоторую диету. Временами боли были едва терпимы, – в области печени, – но я опытом находил средства облегчать их: пил усиленно молоко, старался меньше курить, часто, днями, лежал и много ел. Поешь – и боли утихали. Странная вещь: во время болей, продолжавшихся иногда по два и по три месяца, я прибавлялся в весе. Это меня успокаивало: ничего серьезного нет. Проходили годы, когда я не чувствовал знакомых и острых или, порой, «рвущих» болей, под печенью. В страшные годы

большевизма, в Крыму, болей я не испытывал. Правда, тогда питание было скудное, да и куренье тоже. А может, нервные потрясения глушили, давили боли физические? – не знаю. Пять лет жизни во Франции, с 1923 по весну 28-го г. я был почти здоров, если не считать мимолетных болей – на 1 – 2 недели. Но ранней весной 1928 года начались такие острые боли, что пришлось обратиться к доктору. Впервые, за многие годы, один наш, русский, доктор в Париже, – С. М. Серов расспросами и прощупываниями установил предположительно, что у меня язва 12-перстной кишки, и настоял на исследовании лучами Рентгена. Исследование подтвердило: да, язва... но она *была*, а теперь лишь «раздражение», причиняющее порой боли. Мне прописали лечение бисмутом – ou nitrate de bismuth и указали пищевой режим. С той поры боли затихали на месяц, на два, и возобновлялись всё с большей силой. Я следовал режиму, не ел острого, пил больше молока, меньше курил, совершенно не пил вина, но боли стали появляться чаще, давали отсрочки всё короче. Наконец, дело дошло до того, что я редкий день не ложился на два – на три часа, чтобы найти знакомое облегчение болям. Но эти облегчения приходили всё реже. Доктора вновь исследовали меня лучами Рентгена, через 2 года, и вновь нашли, что язва *была*, а теперь – так, ее последствия, воспаляется оставленная язвой в стенках 12-перстной кишки так называемая на медицинском языке «ниша». Что бы там ни было, но эта «ниша» не давала мне покою. Бывало, я хоть ночами не чувствовал болей, а тут боли начинали меня будить, заставляли вставать и пить теплое молоко. Я стал усиленно принимать «глинку» (caolin), чтобы, так сказать, «замазать», прикрыть язву или «нишу». Теперь уже не помогала и усиленная еда, напротив: через часа два после еды, когда пищевая кашица начинала поступать из желудка в кишечник, тут-то боли и начинали рвать и раздирать когтями, – в правом боку, под печенью. Пропадала охота к работе, неделями я не присаживался к письменному столу, а лишь перекладывался с постели на диван, с дивана – на постель. С горечью, с болью душевной, думал: «кончилась моя писательская работа... довольно, пора...» Только присядешь к столу, напишешь две-три строчки... – они, бо-ли! *Там, где-то,* меня гложет *что-то*... именно, гло-жет, сосет, потом начинает царапать, потом уже и рвать, когтями. На минуту-другую я находил облегчение, когда выпьешь теплого молока. Полежишь с недельку в постели – боли на недельку-другую затихают. Так я перемогался до весны 1934 года. Ранней весной я стал испытывать головокружения, слабость. Боли непрекращающиеся. Я стал худеть, заметно. Я ел самое легкое, (и, между прочим, бульон, чего как раз и не следова-

ло бы), курить почти бросил, давно не ел ничего колбасного, жирного, острого. Принимал всякие «специалите» против язв... – никакого результата. Мне приходило в голову, что язва, может быть, перешла в нечто более опасное, неизлечимое. Начались и рвоты. Еда уже не облегчала, напротив: после приема пищи, через два часа, боли обострялись, начинало «стрелять» и «сверлить» в спине под правой лопаткой, будто там поселился злой жук сверлильщик. Я терял сон, терял аппетит: я уже боялся есть. Всю Страстную неделю были нестерпимые боли. Я люблю церковные песнопения Страстной, и с трудом доходил до церкви; преодолевая боли, стоял и слушал. Помню, в Великую Субботу, в отчаянии я думал: не придется поехать к Светлой Заутрене... Нет, преодолел боли, поехал, – и боли дорогой кончились. Я отстоял без них Заутреню. Первый день Пасхи их не было, – как чудо! Но со второго дня боли явились снова и уже не отпускали меня... до конца, до... чудесного, случившегося со мной.

Весь апрель я метался, не зная, что же предпринять теперь. Мне стали советовать обратиться к французам-специалистам.

Обычный вес мой упал в середине апреля с 54 кило до 50. Я поехал к известному профессору – французу Б., специалисту по болезням кишечника и печени. Он взвесил меня: 48 кило. Исследовал меня тщательно, всё расспросил, – и выражение его лица не сказало мне ничего ободряющего. – «Думаю что операция необходима... и как можно скорей... – сказал он, – вы можете еще вернуть себе здоровье, будете нормально питаться и работать. Но я должен вас исследовать со всех сторон, произвести все анализы, и тогда мы поговорим». Меня исследовали в парижском госпитале Т. Это было 3 мая. Слабый, я насилу добрался с женой до этого отдаленного госпиталя. Боли продолжались: *что-то* сидело во мне и грызло – грызло, не переставая. Мне исследовали кровь, меня радиофотографировали всячески, было сделано 12 снимков желудка и кишечника, во всех положениях. Меня измучили: мне выворачивали внутренности, сильно нажимая деревянным шаром на пружине в области болей, подводили шар под желудок, завертывали желудок и там просвечивали – снимали. Совершенно разбитый, я едва добрался до дому. Я уже не был в силах через три дня приехать в госпиталь, чтобы выслушать приговор профессора, как было условлено. Я лежал бессильный, в болях. Мало того, этот барит или барий, который дают принимать внутрь перед просвечиванием, – я должен был выпить этой «сметаны» большой кувшин! – застрял во мне, и я чуть не помер через два дня. Срочно вызванный друг-доктор, Серов, опасался

или заворота кишок, или – прободения. Температура поднялась до 39°. Молился ли я? Да, молился, маловерный... слабо, нетвердо, без жара... но молился. Я был в подавленности великой, я уже и не помышлял, что вернутся когда-нибудь – хотя на краткий срок! – дни без болей. Рвоты усиливались, боли тоже. Пришло письмо от профессора, где он заявлял, что операция необходима, что язва 12-перстной кишки в полном развитии, что уже захвачен и выход из желудка (пилор), что кишка деформировалась, что стенки желудка дряблы, спазмы и проч... – ну, словом, я понял, что дело плохо.

Я просил – только скорей режьте, всё равно... скорей только. А что дальше? Этого «дальше» для меня уже не существовало: дальше – конец, конечно. Ну, после операции, – месяцы, год жизни: уже не молод, я так ослаблен. Профессор прописал лекарства – беладонну (по 10 кап. за едой), висмут, особого приготовления – Tulasne, глинку – «Gastrocaol», лепешечки, известковые, против кислотности... (Gomprimées de carbonate de chaux, Adrian) и еще – вспрыскиванья 12 ампул, под кожу (Laristine). – «Это лечение – я даю», – писал он, – «на 12 дней вам, чтобы немного вас подкрепить перед операцией, но думаю, что это лечение не будет действительным». Я начал принимать уже лекарства с 12, помню, мая. Принимать и молиться. Но какая моя молитва! Не то, чтобы я был неверующим, нет: но крепкой веры, прочной духовности не было, во мне, скажу со всей прямотой. Молился и Великомуч. Пантелеймону, и Преп. Серафиму. Молился и думал – всё кончено. Сделал распоряжения, на случай. Не столько из глубокой душевной потребности, а скорее – по православному обычаю, я попросил доброго и достойнейшего иеромонаха о. Мефодия, из Аньера, исповедать и приобщить меня. Он прибыл со Св. Дарами. Мы помолились, и он приобщил меня. Этот день был светлей других, и в этот день – впервые, кажется, за этот месяц, не было у меня дневных болей. Это было 15 мая. Должен сказать, что еще до приема лекарства профессора, с 9-го мая кончились у меня позывы на рвоту. И, странное дело, – появился аппетит. Я с наслаждением, помню, сжевал принесенную мне о. Мефодием просфору. Знаю, что обо мне в эти дни душевные друзья мои молились, да вот же, эта просфорка, вынутая о. Мефодием!..

Меня должны были перевезти в клинику для операции.

Известный хирург – по происхождению американец, друг русских, много лет работавший в России и в 1905 году покинувший ее, д-р Дю Б... затребовал все радиофотографии мои. Мой друг Р. привез эти снимки от проф. Б... Я поглядел на них – и ничего не мог понять: надо быть специа-

листом, чтобы увидеть на этих темных листах – из целлулозы, что ли? – что-нибудь явственное: там были только пятна, светотени, какие-то каналы... – и всё же, эти пятна и тени сказали профессору, что «l'opération simpose», – операция необходима. На каждом из 12 снимков сверху было написано тонким почерком, по-французски, белыми чернилами, словно мелом: «Jean Chmeleff pour professeur B...»

И вот мой друг повез эти снимки и еще два бывших у меня, старых, к хирургу Дю Б. Это было 17 или 18 мая. В ту ночь я опять кратко, но, может быть, горячей, чем обычно, мысленно взмолился... – именно, взмолился, как бы в отчаянии, Преп. Серафиму: «Ты, Святой, Преподобный Серафим... мо-жешь!.. верую, что Ты можешь!..» Только. Ночью были небольшие боли, но скоро успокоились, и я заснул. Заснул ли? Не могу сказать уверенно: может быть, это как бы предсонье было. И вот, я вижу... радиоснимки, те, стопку в 12 штук, и на первом – остальных я не видел, – всё тем же тонким почерком, уже не по-французски, а по-русски, меловыми чернилами, написано... Но не было уже ни «Jean Chmeleff», ни «pour professeur B...» А явственно-явственно, ну вот как сейчас вижу: «*Св. Серафим*». Только. *Русскими* буквами, и с сокращением «Св.». И всё. Я тут же проснулся или пришел в себя. Болей не было. Спокойствие во мне было, будто свалилась тяжесть. Операция была уже нестрашна мне. Я позвал жену – она дремала на соседней кровати, истомленная бессонными ночами, моими болями и своею душевной болью. Я сказал ей: вот, что я видел сейчас... Знаешь, а ведь Святой Серафим всех покрыл... и меня, и профессора... и нет нас, а только – «Св. Серафим». Жене показалось это знаменательным. И мне – тоже. Словом, мне стало легче, душевно легче. Я почувствовал, что *Он*, Святой, здесь, с нами... Это я так ясно почувствовал, будто *Он* был, действительно, тут. Никогда в жизни я так не чувствовал присутствие уже отшедших... Я как бы уже знал, что теперь, что бы ни случилось, всё будет хорошо, всё будет так, как нужно. И вот, неопределимое чувство как бы спокойной уверенности поселилось во мне: Он со мной, я под Его покровом, в Его опеке, и мне ничего не страшно. Такое чувство, как будто я знаю, что обо мне печется Могущественный, для Которого нет знаемых нами земных законов жизни: всё может теперь быть! Всё... – до чудесного. Во мне укрепилась вера в мир иной, незнаемый нами, лишь чуемый, но – существующий подлинно. Необыкновенное это чувство – радостности! – для маловеров! С ним, с иным миром неразрывны святые, праведники, подвижники: он им дает блаженное состояние души, радостность. А Преподобный Серафим... да он же – сама радость. И отсвет радости этой,

только отсвет, – радостно осиял меня. Не скажу, чтобы это чувство радости проявлялось во мне открыто. Нет, оно было во мне, внутри меня, в душе моей, как мимолетное чувство, которое вот-вот исчезнет. Оно было во мне, как вспоминаемое радостное что-то, но что – определить я не мог сознанием: так, радостное, укрывающее от меня черный провал – мое отчаяние, которое меня давило. Теперь отчаяние ослабело, забывалось.

Дневные боли не приходили. Мне предстояла операция, я об этом думал с стесненным сердцем, – и забывал: будто может случиться так, что и не будет никакой операции, а так... Может быть и будет даже, но так будет, что как будто и не будет... Смутное, неопределимое такое чувство. Мне делали впрыскивание под кожу «ля-ристин'а» 12 ампул, я принимал назначенные лекарства и не мог дождаться, когда же дадут мне есть. Аппетит, небывалый, давно забытый, овладел мною, словно я уже вполне здоров, только вот – эта операция! я смотрел на исхудавшие мои руки... что сталось с ними! А ноги... – кости! Я всё еще худею? и буду худеть? Но почему же так есть мне хочется? Значит, тело мое здорово, если так требует?..

22 мая меня повезли к хирургу Дю Б..., на его квартиру. Он слушает рассказ – историю моей болезни, очень строго: не любит многословия. Велит прилечь и начинает исследовать: «больно?» – нет... «а тут?..» – нет. Захватывает, жмет то место, где, бывало, скребло, точило: нет, не больно. Я думаю, зачем же операция? Хирург поглаживает мне бока и говорит, но уже ласково: «ну, хорошо-с». Просматривает доставленные ему еще вчера рентгеновские снимки. «Эти снимки мне ничего не говорят... ровно ничего... – и подымает плечи, – я ничего не вижу! я должен сам вас снова просветить на экране... Ваша болезнь... коварная! Ложитесь в наш госпиталь, и чем скорей – тем лучше». Странно, снимки ничего не говорят, «я ничего не вижу...» Но ведь говорили же они профессору Б.? и он видел?! Я вспомнил «сон»: «Св. Серафим»! Он покрыл, «заместил» собою и меня, и профессора Б. Может быть, закрыл и то, что видел профессор?.. и потому-то хирург Дю Б... не видит?.. 24 мая меня положили в лучший из госпиталей, в американский, где Дю Б. оперирует. Меня взвешивают: 45 к., опять падение! А, всё равно, только бы дали есть. Я один в светлой большой палате, – в дальнем углу какой-то молодой американец. Я пью с жадностью молоко, прошу есть, но мне нельзя: завтра будут меня просвечивать. А пока делают анализы, выстукивают меня, выслушивают разные доктора, смотрят снимки и – ничего не видят?! Но там всё же «каналы» и светотени. Сестры на разных языках спрашивают, как я себя чувствую. Прекрасно,

только дайте поскорей есть. Мне дозволяют молока, – только молока. Я попиваю до полуночи, с наслаждением небывалым. Чудесное, необыкновенное молоко! Я – один, мне грустно: за сколько лет, впервые, я один, – и всё же, есть во мне какая то несознаваемая радость. Что же это такое... радостное во мне?.. Я начинаю разбираться в мыслях... да-а, «Св. Серафим»! Он и здесь ведь! вовсе я не один... правда, тут всё американцы, француженки, шведки, швейцарка даже,– чужие всё... но Он со мной. Поздно совсем входит сестра, русская! – «Вы не один здесь», – говорит она ласково – «за вами следят добрые души», – так и сказала «следят»! и «добрые... души»! «мы ведь вас хорошо знаем и любим». Правда?! – спрашивает моя душа. Мне светлее. Кто же она, добрая душа, – русская? Да, сестра, здесь служит, племянница В. Ф. Малинина. Я его знаю хорошо, москвич он, навещал меня в начале мая. Я рад ласковой сестре, душевной, нашей. Она говорит, что знает мои книги... «Неупиваемая чаша» – всегда при ней. Я думаю: она так, чтобы утешить лаской меня, больного. Мне и светло, горестно: всё кончилось, какой же я теперь работник! Она уходит, но... нет, я не один, у меня здесь родные души, и Он, со мной, тоже наш, самый русский, из Сарова, курянин по рождению, мое прибежище – моя надежда. Здесь, в этой – чужой всему во мне – Европе. Он всё видит, – всё знает, и всё Он может. Уверенность, что Он со мной, что я в Его опеке, – могущественнейшей опеке во мне, всё крепнет, влилась в меня и никогда не пропадет, я знаю. И оттого я хочу есть, и оттого не думаю, что скоро будут меня резать. С непривычки, мне одному мучительно тоскливо: жена придет ведь только завтра, на два часа всего. И всё же, мне это переносно, ибо не один я тут, а – всё может случиться так, что... Я боюсь додумывать: «что операция и не будет». Может... Он всё может! Утром меня снимают, долго смотрят через экран: сам хирург и специалист – рентгеновец, оба люди немолодые. Гымкают, пожимают плечами. Нажимают – не сильно пальцами, спрашивают – больно? Ничего не больно... ибо всё может быть. Я опять пью «сметану». Мне говорят – можете идти, очень хорошо. Для них? поняли? нашли? всё ясно? Мне ничего не говорят.

Наутро хирург Дю Б. говорит мне: «пока ничего не могу сказать... болезнь коварная...» Да что же это за «коварная» болезнь? Я хочу есть и есть. Об операции мне скажут? – дня через два. Мне начинает думаться, что дело плохо: стоит ли и делать операцию, – потому и не говорят, – не знают? Мне подают подносы с разной пищей, очень красиво приготовленной: американцы! Я удивляюсь: острые какие блюда, а бифштекс, с крепким бульоном даже, прямо, яд! Я сам наз-

начаю себе диету, и мне дают... Да, ведь здесь только оперируют... меня-то привели сюда оперировать, а не лечить. Я плохо сплю, но болей нет и ночью, – первая ночь, когда у меня нет болей!

Сегодня меня будут оперировать? Нет, пока. Приходит Дю Б. Говорит: – «Ваша болезнь коварная...» Опять! – «я не вижу необходимости в операции.... так и напишу профессору. Я не уверен, что операция даст лучшие результаты, чем те, которые уже есть...» Он говорит по-русски, но очень медленно и очень грамматически правильно, старается. А я с бьющимся, с торжествующим сердцем, думаю: *«покрыл и его»*. Да: *Он, «Св. Серафим», покрыл*... Это Он... – «лучшие результаты». Лечение проф. Б.? Да, лечение, полезное, но... *Он покрыл.* Я знаю: Он и лечению профессора Б. дал силу: ведь сам профессор ясно же написал, – у меня цело его письмо! – «в активность лечения не верю», – а уж ему ли не знать, когда десятки тысяч больных прошли через его руки! – «и потому считаю, что операция необходима». А вот хирург Дю Б. говорит – не вижу повелительных оснований для операции. А он всё видит, всё знает и направляет так, *как надо*. Ибо Он в разряде ином, где наши все законы Ему яснее всех профессоров, и у Него другие, высшие законы, по которым можно законы наши так направлять, что *«невозможное»* становится *возможным*. Мне говорит дальше хирург Дю Б., что желудок хороший, что пилор – выход из желудка, не затронут, что... Одним словом, я, пробыв в госпитале пять суток, выхожу из него, под руку с поддерживающей меня женой, слабый... кружится голова, но, Боже, как чудесно! какие великолепные каштаны, зеленые-зеленые... и какое ласковое, радостное небо... какой живой Париж, какие милые люди, как весело мчит автобус... и вот, дыра «метро», но и там, под землей, какие плакаты на стенах, какие краски! Только слабость... и ужасно есть хочется. А вот и моя квартира, мой «ремингтон», с которым я прощался, мой стол, забытые, покинутые письма, рукописи... Господи, неужели я еще буду писать?! Сена под окнами, внизу. Какая светлая она... теперь! Вон старичок идет, какой же милый старичок!.. А у меня нет Его, образа Его... Но Он же тут, всегда со мною, в сердце... – Радость о Господе!

Я ем, лечусь, радуюсь, дышу. Через две недели мой вес 49 кило. Еще через две недели 51 кило. Болей нет.

Я уже не шатаюсь, ступаю твердо, занимаюсь даже... гимнастикой. Какая радость! – Я могу думать даже, читать и отвечать на письма. Во мне родятся мысли, планы... рождается желание писать. Нет, я еще не конченный, я буду... Я молюсь, пробую молиться, благодарю... Страшусь и думать, что Он призрел меня, такого маловера. Но *знаю*: Он – призрел.

Слава Господу! Слава Преподобному. Ходатаю: вот, уже семь месяцев прошло... я жил в горах, гулял, взбирался на высоту, – ничего, болей – ни разу! Правда, я очень осторожен, держу диету, принимаю время от времени лекарства – «глинку». Боюсь и думать, что исцелен. Но вот, с памятного дня, с 24 мая, с первого дня в госпитале, боли меня оставили. Совсем? может быть, вернутся? Но что бы ни было, я твердо *знаю*: Преподобный всех нас *покрыл*, всех отстранил, – и с нами – законы наши, земные... и стало возможным то непредвиденное, что повелело докторам внимательней всмотреться – может быть, втайне и вопрошать, что *это*? – и удержаться от операции, которая «была необходима». Может быть, операция меня... – не надо размышлять. По ощущениям своим я знаю: радостное со мной случилось. Если не говорю «чудо со мной случилось», так потому, что не считаю себя достойным чуда. Но внутренне-то, в глубине, я *знаю*, что чудо: Благостию Господней, Преподобного Серафима Милостию.

28 декабря 1934.
Париж

СТАРЫЙ ВАЛААМ

В поминальном очерке – «У старца Варнавы» – рассказано, как, сорок лет тому, я, юный, двадцатилетний студент, «шатнувшийся от Церкви», избрал для свободной поездки – случайно или неслучайно – древнюю обитель, Валаамский монастырь. Эта поездка не прошла бесследно: я вынес много впечатлений, ощущений – и вышла книжка. Эта первая моя книжка, принесшая мне и радость, и тревоги, давно разошлась по русским городам и весям. Есть ли она за рубежом – не знаю; вряд ли. Перед войной мне предлагали переиздать ее, – я отказался: слишком она юна, легка. Ныне я не писал бы так; но суть осталась и доныне: светлый Валаам. За это время многое переменилось: и во мне, и – вне. Россия, православная Россия – где? какая?! Да и весь мир переменился. Вспомнишь... – а Троице-Сергиевская лавра? а Оптина пустынь? а – Саров? а Соловки?!. Валаам остался, уцелел. Все тот же? Говорят, все тот же. Слава Богу. Ну, конечно, кое в чем переменился, – время, новая судьба. Говорят, – туристов принимает, европейцев. Это не плохо, и для него не страшно: «да светит миру». Как-то я читал в «Матэн» о Валааме. Журналист-француз, конечно, многого не понял «в Валааме», но – уважением проникся. Помню, писал: «своей идее служат... мужики-монахи». Не плохо, если «мужики» – идее служат. Сколько перевидал французский журналист, что может удивить его? А Валааму удивлялся. Не плохо это. Да, стал другой немножко Валаам. Но жив и ныне. Раньше – жил Россией, душой народной. Ныне – Россия не слышна, Россия не приходит, не приносит своих молитв, труда, копеек, умиленья. Но он стоит и ныне, Светлый. Его не разрушают, не оскверняют, не – взрывают. Суровая Финляндия к нему привыкла. Ведь и в прошлом он не был в ее границах: природа их объединила. Помню, сорок лет тому, «полицейский надзор» над ним держали те же финны. Валаам чужим им не был: такой же,

как и они – суровый, молчаливый, стойкий, крепкий, трудовой, – крестьянский. Валаам остался на своем граните, «на луде», как говорят на Валааме, – на островах, в лесах, в проливах; с колоколами, со скитами, с гранитными крестами на лесных дорогах, с великой тишиной в затишье, с гулом леса и воли в ненастье, с трудом – для Господа, «во Имя». Как и св. Афон, Валаам, поныне, – светит. Афон – на юге, Валаам – на севере. В сумеречное наше время, в надвинувшуюся «ночь мира», – нужны маяки. Я вспомнил светлую страницу – в прошлом. Недавно, как бы в укрепление себе, узнал, что два послушника, кого я мимоходом повстречал на Валааме, пометил в книжке, совершили за эти годы подвиг. Узнал, что стали «светом миру», что они живут. Валаам дал им послушание. И вот, живые нити протянулись от «ныне» – к прошлому, и это прошлое мне светит. В этом свете – тот Валаам, далекий. И я подумал, что полезно будет вспомнить и рассказать о нем: он все такой же, светлый.

I. К ВАЛААМУ

...В половине 3-го часа утра разбудил меня звонок в коридоре гостиницы. Было еще совсем темно. Видно только, как бегут в небе тучи, то открывая, то заслоняя звезды. Очертания собора высятся над березами. Озеро гремит, шумят березы. На колокольне ударили к полунощнице. Стучат сапоги монахов по каменной дорожке – тянутся иноки к собору.

– Во имя Отца и Сына и Святаго Духа...

– Аминь.

– «Александр» через час отходит, – говорит брат Тихон, послушник, – с вечера еще пришел, волны берегся.

– Неспокойно озеро?

– Да не так чтобы... волнисто. Большой бури не будет, а покачает.

Опять это «покачает». Из Шлиссельбурга вышли на «Петре Первом» – так трепало, что мы сошли на Коневце, отсиживались, приготовлялись к Валааму. И вот, теперь, и на «Александре» покачает.

– Это ничего-с, – успокаивает нас брат Тихон, – для испытания вам, наше озеро дух смиряет, а потопления вам не будет, преподобный Арсений сохранит.

Я смотрю на его простоватое лицо: нет, он не шутит, он твердо верит, что «потопления не будет». Вспоминаю шутливые слова гостинника – «а потому вас и раскачало, чтобы мимо Преподобного не проезжали... вот и привелось к нему заехать... а теперь хорошо вам будет». Да будет ли? Я слышу, как накатывает море.

Идем в собор – проститься. Охватывает сырость и особый, глубинный, запах разбушевавшейся Ладоги. В небе бегут разорванные тучи. У святых ворот преп. Арсений, в схиме, благословляет нас из полутемного залома. В двери собора видны редкие огоньки свечей. Мы входим в пустынный храм и слышим проникновенный возглас служащего иеромонаха: «Услыши ны, Боже Спасителю наш, упование всех концов земли, и сущих в мори далече...» – и я вспоминаю о бурном море, – ...«и милостив, милостив буди, Владыко...» И я молюсь о милости и вспоминаю, как петербургский извозчик-хозяин, ехавший на Валаам на «Петре I», приговаривал: «кто в море не бывал – тот Богу не молился».

Разноцветные лампады над ракой преп. Арсения Коневского мерцают сонно. Над ними, в красивых сборах, малиновая бархатная сень. Старенький, едва двигающийся монах, разинув от слабости рот, ставит обеими руками дрожащую в них свечку. Накрытый складчатой мантией, неподвижно простерся перед ракой монах в молитве. Под сводами мрак, в темноте алтаря цветными огоньками теплится седьмисвечник, а кажется мне, что стою за полунощницей на Светлый День: только тогда бывает такая тишина и сумрак. И вдруг, с озера, загудел грозно пароход, – звал в путь. Бросив прощальный взгляд на тихие лампады над серебряной ракой Преподобного, я пошел к выходу. «Доброго пути...» – сказал мне кто-то. Я оглянулся. На дощатом полу чернела мантия, складки закрыли голову. «Спасибо», – сказал я с чувством невидимому иноку.

Начинало светать. Старичок-гостинник уже отправил на пристань наши вещи. Мы сердечно простились с ним, расцеловались даже. – «На Валаам съездите – нас и забудете... далеко нам до Валаама». И я вспомнил, как он рассказывал с сокрушением, что не стало у них нынче схимонахов. – «А каждому желательно схимонаха видеть... всякому хоть поближе быть к высокому подвигу желается». Мне жаль было этого старичка, обиженного за свою обитель, полного веры, что захочет Господь – и покажет славу обители: дарует и им подвижника.

Второй гудок. Мы сбегаем под гору, к пристани. Монашек сбрасывает причал и смотрит вслед. Дальше и дальше уходит лесом поросший Коневец. На неспокойных водах поднимается огненное солнце, огромное в тумане. «Сартанлакс!» – кричит штурман. Перед нами – «Чертов залив» – «Сартанлакс» по-фински, куда опустилась некогда черная стая воронов, изгнанных Преподобным из-под страшного «Коня-камня», где было капище. Это глубокий залив, окаймленный лесом. Видны домики, пристань, бочки, белый маяк-игрушка на косе. Небо ясно, солнце уже в пол-

неба, и видно, как на водах лежит, весь освещенный солнцем, покинутый нами Коневец.

Бросив на пристани ящики и бочки, «Александр» идет финским берегом. Березки, елки, каменистые косы с белыми маячками у воды. Озеро не бушует. Говорят – камни не допускают, а вот как свернем в открытое – молись Богу!

– На Валаам изволите ехать? – спрашивает краснощекий парень в лаковых сапогах и пиджаке. – Молиться... это хорошо-с. Я вот десятый раз подвизаюсь. По железной части. Великие мастерские у монахов, мы и скупаем которое железо остается, оковку из кузниц ихних, пудиков по триста. По опасному месту едем, камни невидимые, чуть прошибся капитан – прощай. Но только они не прошибаются. И потом – по священному делу едут, не для гулянок.

Я спрашивал себя – а я, по какому делу? И – не знаю.

Плывем в тихих проливах, среди целой щетины «шхер». Это надводные камни, гряды, поросшие тощей елкой. В береговых утесах виднеются деревни, крытые светлой дранью, желтые тощие полоски – овес, ячмень. «Кронобор!» – кричит штурман. Деревянная «лютерова» церковь с тонким шпилем. Сумрачные финны, в куртках и крепких, тяжелых сапогах, курят трубки: ни улыбки под их разухими шляпами. Кончились остановки. «Александр» поворачивает в озеро – к Валааму. До него, говорят, верст семьдесят.

Прибегают матросы, крепят паруса потуже: ветер! Черные волны будто маслом подернуты, кажутся мне расплавленным графитом. Паруса щелкают. Пароход теперь мчится, склонившись набок. Нас качает и бортом, и килем, руль взлетает и падает с треском, и вспоминаются мне качели. Старик финн, шкипер, обходит борт, что-то тревожно смотрит. Говорят – следит, как бы цепь не порвало, рулевую, – «тогда – куда затащит, на камушки выкинет – сушись». Паруса рвет и щелкает. Матросы бегут крепить.

– Не Валаам ли? – спрашиваю я шкипера, что-то как будто видя.

– Нэйт Валямо... трисать вэрстэ.

Капитан высматривает в трубу. Налетает туча, сечет дождем. Теперь ничего не видно. Говорят – как бы туманом не хватило, тогда – прощай. Вон, матросы уж слушать стали – не позывает ли? Что позывает? А колокола валаамские: как видимость пропадает, монахи позывают, «сюда, в тихую пристань, к Преподобным!» Серебряный звон, хороший, ясный. Нет, не слышно серебряного звона, не синеют острова валаамские. Томительные часы проходят. Дождь переходит в ливень, визжит ветер, хлопают паруса. Богомольцы, в кучке, поют – «Не имамы иные по-мощи... не имамы иные наде-э-жды... разве Тебе, Владычице...»

«Валаам видать!..» – слышу я. Слава Создателю... показался!

Перед нами высокий темно-зеленый остров. Пеной кипит округ него озеро-море. На гранитную стену бежит «Александр», вот ударит! Ближе – остров дробится на острова. Видно проливы, камни, леса. Древностью веет от темных лесов и камней. Из-за скалистого мыса открылся Монастырский пролив, великолепный. Слева, совсем на отлете, каменный островок, на нем белая церковка, крест гранитный, позади – темный бор. Это маяк и скит, страж Валаама и ограда – Никольский скит. Чтимый Святитель бодрствует на водах, благословляет входящих в тихие воды монастырские, указывает путь «и сущим в мори далече».

Входим в пролив, двигаемся в отвесных скалах. На них, высоко, леса. Воздух смолистый, вязкий. И – тишина. Чувствуются лесные недра. Покой. Богомольцы как бы передают охватывающие их чувства. Поют – «Свете тихий, святы-ые-славы... Бессме-э-ртного Отца Небесного...» Сердце дрожит во мне. «В раю вот так-то... – слышится чей-то возглас. – Лучше и быть нельзя». Острый гудок катится по проливу. Отвечают ему леса и скалы. Влево, на отвесной скале, высоко, – собор. На голубых куполах, без солнца, кресты сверкают – червонным золотом. По высоченной скале лепятся клены, висят над фруктовым садом. – «Са-ды у них... нигде таких нет садов!» На скале черная ниточка – решетка. Точками смотрят на пароход монахи. На соборе благовестят к вечерне. Спускается по горе повозка. На деревянной пристани встречают богомольцы. Монахи-певчие выступили вперед и ждут.

«Воскресение Христово ви-девше, поклонимся Святому Господу Иису-усу...» – поют на пароходе и крестятся на кресты Собора.

«Единому безгре-ешному...» – вливаются с пристани монахи и огромная масса богомольцев.

Я вижу слезы, блистающие глаза, новые лица, просветленные. Стискивает в груди восторгом. Какая сила, какой разливающийся восторг! И – чувствуется – какая связанность. Всех связала и всех ведет, и поднимает, и уносит это единое – эта общая песнь – признанье – «Единому безгрешному». Все грешные, все одинаки, все притекаем, все приклоняемся. Такого не испытывалось ни от Штирнеров, ни от Спенсеров, ни от Штраусов, ни от Шекспира даже. Я чувствую – мой народ. И какой же светлый народ, какой же добрый и благостный. Не предчувствую ничего.

– Потрепало маленько, – говорит встречающий знакомец, питерский извозчик, – а мы на «Петре» чисто как по стеклу доехали. Намаялись, теперь будет утешение душе.

На пристани гранитная часовня. Перед иконой Богоматери служат благодарственный молебен. Небо дождливое. На всем – серая пелена ненастья. Но – благодатное на душе. Крепкая низкорослая лошадка быстро несет нас в гору, к величественному зданию гостиницы. На этих скалах, в лесах – такое! Не ждал, не думал. И я вспоминаю – дорогой говорили: «такие чудеса увидите!.. И все – они все, своими трудами, и все сами, до последнего гвоздика!..»

II. – НОВЫЙ МИР

Навстречу, с горы, спускаются к пароходу богомольцы. Валаам вчера праздновал Преображение Господне, было большое стечение народа: новый собор, сияющий нам крестами, – во имя Преображения. На пароходе говорили, что весь Валаам полнехонек, народу со всех краев. Я спрашиваю возницу, подростка в скуфейке, – много ли богомольцев. Он не отвечает. Я спрашиваю громче; уши его краснеют, плечи чуть ежатся, но он не оборачивается, молчит. Спрашиваю еще громче, почти кричу. Уши его краснеют еще больше. Я понимаю, что он слышит... и вспоминаю, – рассказывали нам на пароходе: «там все на послушании... не благословлено кому – от того слова не добьешься». Пожалуй и наш возница не благословен разговаривать. Ему, видимо, хочется ответить, но он несет послушание и потому, от скромности, краснеет. Да и вид наш, пожалуй, его смущает. Мы совсем не похожи на богомольцев. Встречные больше простой народ, с котомками и мешками, или мещане-горожане, с узелками и саквояжами, народ положительный, «сурьезный», а мы – «ветром подбиты», как назвала нас на пароходе одна пожилая женщина, питерская, сказавшая про себя: «у меня сынки по торговой части, большая у нас рыбная лавка в Апраксином». И определила метко: поклажи у нас только чемоданчик, и одеты мы налегке, словно вышли «пройтись для воздуха». Жена, девочка совсем, – в летней шляпке с вишенками и в «живой» тальмочке, по локоть, модной: тальмочка в круглых дырках, и через эти дырки сквозит серебристая подкладка. Я одет несколько солидней, в студенческом кителе, шинель внакидку, фуражка – на ухо. Выехали из Москвы в жаркую погоду, а тут, на озере-море, «на севере», вдруг завернули холода. Женщина нас жалела: «Да как же это вас так пустили! у нас тут, милые, в августе и снежок бывает... ишь вы какие несмысленные». И всю дорогу укутывала жену платком.

Встречные богомольцы смотрят во все глаза, – кажется, говорят: «богомо-льцы, тоже... гулять приехали!» Я думаю смущенно: и монашенок не отвечает, и уши у него краснеют, – от непристойности.

Подъезжаем к белой величественной гостинице. На ее вышке, в «гнезде», написана икона валаамских чудотворцев, преподобных Сергия и Германа. Преподобные стоят, в золотых венчиках, и держат свитки с писанием. Юные глаза остро видят, и мы читаем: на левом свитке – «Братие, покоряйтеся благоверному царю...», а на правом, у преп. Германа, – «Три-Солнечный свет Правосла...» У ног Преподобных – озеро; над ними, в лазурном небе, – Преображение; за ними – между ними – белая валаамская обитель, пониже их.

На широком каменном крыльце встречают несколько человек гостиных служек, в белобумажных подрясниках, стянутых кожаными поясами, и во главе их коренастый, низенький старичок, – в потертой камилавке, испытующе вглядывается в нас: видно – не ожидал таких. Это «хозяин» гостиницы, о. Антипа. Взгляд его серых глаз смущает: я вспоминаю, как та женщина опасливо говорила нам: «Вот и Бог соединил, а как бы не разлучили вас! вас в одну келейку, а супружечку в другую. Лет тридцать тому были мы тут с покойным мужем, нас разлучили... такой уставный закон у них, старца Наза-рия, Саровского, очень строго». Жена измучена морской болезнью, я тоже едва держусь, как же ее оставить? Это меня пугает, и я даю слово, если это случится – с первым же отсюда пароходом!

– Благослови, Господи, доброе пребывание... Дело хорошее, Преподобные радуются на вас... – ласково, но с сомнением, встречает о. Антипа, а глаза смотрят строго. – Из Питера изволите?..

Взгляд испытующий. Я ожидаю в тревоге, что «разлучит». Почтительно ожидают служки.

– Нет, из Москвы... – отвечаю я и вижу общее удивление.

– Из Мо-сквы-ы?! – с сомнением говорит о. Антипа, – сда-ле-ка вы... – в голосе нерешительное что-то.

Надо сказать, что московские богомольцы на Валааме редки; большинство – питерцы, псковичи, новгородцы, олончане, финны. А теперь – какие?..

Ответ не удовлетворяет мудрого о. Антипу. Пронизывая взглядом, он задает «роковой» вопрос:

– Вы кто же... братец и сестрица?..

– Нет, муж и жена!

Мой, несколько вызывающий, ответ, – о, юность! – производит сильное впечатление. О. Антипа озадачен, даже поправляет камилавку. Послушники – как изваяния.

– Вон кто-о..! из Москвы, сдалека...

Он смотрит на нас над нашими головами, вдаль. Что думает? Думает ли о юных, кто перед ним, о далекой Москве, где не был, о строгом ли уставе старца Назария... или

вспомнил слова молитвы – «яже Бог сопряже, человек да не разлучает»? Видно, как он колеблется. Мы растерянно смотрим и ждем решения. Но он не решает сразу.

– Минутку обождите, милые... – говорит он не строго, и в широкие двери видно, как он поспешно идет по лестнице, на второй этаж. С кем-то советоваться будет?..

Мы остаемся с немыми служками. Они смотрят на наши ноги, мы на их рыжие сапоги с гвоздями. Играют часы на колокольне, кричат стрижи. Рыжие сапоги переступают. Слышится бег шагов: это о. Антипа. Он спускается с лестницы, подбирая под камилавку седые пряди, скрывается за дверью, гремит ключами... и – приказывает вести нас в келью № 27, в первом этаже, подать самоварчик, «с далекой дорожки упокоить». Чудесный, светленький старичок. Мне хочется рассказать ему... кого-то он мне напоминает, кого уже нет на свете.

Послушник берет наш чемоданчик, ведет по исхоженным беловатым плитам.

– Пожалуйте, Господи благослови... в келейку.

Чудесная келейка. Белая, светлая, узковата немножко, правда, – но как чудесно! Две чистые постели. В углу икона знакомых Преподобных. Теплится розоватая лампадка. Окно – в цветник. Там георгины, астры, золотисто-малиновые бархатцы, петуньи. И – тишина. Направо – собор, над монастырскими кровлями, за корпусами. Прямо – дикие скалы за проливом, на них леса. Новый, чудесный мир, который встречал я в детстве, – на образах, – стелющийся у ног Угодников: голубые реки, синеющие моря, пригорки, белые городки, озерки, плоские и кривые сосны, похожие на исполинские зонтики, и все – под белыми облачками-кудерьками... мир, в котором живут подвижники, преподобные, неземные... – мир Ангелов и небесных человеков. И этот забытый мир, отшедший куда-то с детством, – пришел, живой. Помните, в раннем детстве видали в церквах иконы с «пейзажами»? На первом плане – большой Святой, и свиток в его руке белеет над синим морем, над бурыми холмами, над городком? Таинственный мир, чудесный, детскому глазу видимый, детскому сердцу близкий.

Нам очень нравится. В келейке пахнет елеем от лампадки, свежевымытым еловым полом, чем-то душисто-постным, черными сухарями богомолья. Вызванивают часы на колокольне и потом отбивают мерно – четыре раза.

– Молитвами Святых Отец, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй на-ас!..

Смотрю на дверь: почему же никто не входит? Опять кто-то позывает:

– Молитвами Святых Отец... Господи Иисусе Христе Боже наш?...

Дверь тихо подается, просовывается большая книга, а за ней намасленные власы, падающие с плеча на книгу, и вступает благообразный послушник.

– Уж извините, для порядку наставлю вас. На возглас приходящего поаминить надо, без аминя у нас не входят.

Я поражен, обрадован. Како-е «уважение к личности»! Мне, студенту, не думалось встретить такое «у святошей»! Я уже разрешил вопросы о «тунеядстве монахов», о «ханжестве», о «ненужности этих пустяков». Чернышевский, Белинский, Добролюбов и все, доказавшие мне «свободу человека от этих предрассудков», такого никогда не говорили: «Без аминя у нас не входят»! Я готов горячо пожать руку этому новому учителю, но она держит книгу.

– Позвольте, запишу ваше имя-звание в гостиничную тетрадь, по полицейскому правилу... мы под финской полицией. Мы паспортов не смотрим, по виду верим... – говорит послушник. – Гостиница наша не мирская, а по благословению от Преподобных. Нет, у нас за постой не полагается, – ни за трапезу, ни за постой... что вы-с!.. Почитайте наши правила, у нас полная душе свобода. Как силы будет, так и дают, кто может, по достатку... от Преподобных уставлено.

Я – в изумлении. «Корыстные монахи»? Да что же это, почему про это не говорил ни Бебель, ни... «Как силы будет... по достатку... полная душе свобода»!..

– Сту-дент..? – говорит послушник, – значит, науки происходите? У нас редко они... Говорят вон, студенты... Да не надо праздное говорить, Господь с ними.

Я спрашиваю, есть ли у них подвижники и схимонахи. Десять схимонахов, обитают по всем скитам. А прозорливцы есть? Он улыбается:

– Все у нас прозорливцы: знаем, что завтра будет.

Смиренно кланяется и уходит. Почему он мне так ответил? Должно быть, показалось, что спрашиваю я из любопытства. Может быть, думает, что я не знаю, что значит – прозорливец? Не знает, что я видел прозорливца на днях, у Троицы, – батюшку Варнаву, благословившего нас «на путь». Может быть, думает – студент, все у них так, в насмешку.

– Молитвами Святых Отцов, Господи Иисусе Христе Боже наш, по-ми-луй нас!..

Я говорю – «аминь». Послушник, новый, бухает в дверь ногой и вносит бурлящий самовар на медном подносе, с чашками. Он – простоватый, толстоносый, круглое лицо сияет, как самовар.

– Буду вам служить. А зовите меня брат Василий. Земляки мы с вами, тоже из Москвы я, с Сухаревки... посудой папаша торговали. Ну как Москва, все еще стоит, не прова-

лилась? Как так не может провалиться? Может провалиться. Греха так много. Грешные города всегда проваливаются... Содома – Гоморра провалилась! Ну, вкушайте на здоровье.

По коридору проходят служки, напевают вполголоса стихиры. От праздника осталось много богомольцев, но их не видно: стоят вечерню. А нам снисхождение, с дороги – самоварчик.

Как мышки тихо ложимся мы отдохнуть на каменные валаамские постели. Глаза закроешь, и – будто укачивает в море. Отбивают часы на колокольне, и вспоминаются на пароходе «склянки». Из окошка веет вечернею прохладой, дыханием Ладоги. Сон крепкий-крепкий...

Открываю глаза... – где день? Мутно белеет занавеска, пузырится от дуновенья – веянья валаамской ночи. В щелку от занавески видно: лес за проливом смутен, небо зеленовато-бледно, точками намекают звезды. Вспоминаю, что я на Валааме, в чудесной дали. Радость поет во мне. Тихо иду к окну, чтобы не потревожить спящую, отдергиваю тихо занавеску. Какая тишина! Темная глушь на скалах за проливом, в ней ничего не видно, – острые пики елей? Где-то, чуть слышно, Ладога – еще тревожна. Это направо, у Никольского островка – скита, зоркого стража Валаама. Там, говорят, маяк. Так, говорят, Святитель – «зовет огнем». Пахнут петунии. Падают сонные удары – ... три... семь... восемь... Восемь...

– Молитвами Святых Отец, Господи Иисусе Христе Боже наш, поми-луй нас...

Это брат Василий. В келье розовый свет – от дремлющей лампадки. Брат Василий зажигает стеариновую свечку в красно-медном подсвечнике. Приносит на подносе миски.

– О. Антипа благословил, с дорожки, а то общая у нас трапеза. Завтра о. игумен как возвестит, а покуда уж в келейке вкушайте.

В мисочках щи с грибами, с лавром и перчиком, каша с конопляным маслом, винегрет, посыпанный семечками тмина и укропцем; стопа душистого хлеба валаамского, ломтями, – черный хлеб монастырский в славе, а «валаамский» – «в преславности», – пузатый графин темно-малинового квасу.

– Отведайте нашей пищи, во славу Преподобных. Наша пища секрет имеет.

– Секрет..?

– Даже два секрета. Поначалу она не вкусна для чистого богомольца. Хлебнет, понюхает и положит ложку. А как подберется в чемодане, глядишь – и привыка-ет, да так привыкает, что и мыть мисочку незачем. Другой..? А другой секрет вот какой. Поначалу с нашей пищи слабнуть начинает непривышный человек, похудает, побелеет... и тут будто

что переломит в нем! Пойдет и пойдет в силу входить, и такая в нем сила объявляется... в миру не было такой силы, когда всякую снедь вкушал. Наша пища благословенная, с молитвы. Над ней песнопения поют, дух-то силу и набавляет. Сами дознаете – поживете.

10 часов. Богомольцы потрапезовали, помолились в соборе и спят давно. Монахи еще в храме, слушают правило. Собор темнеет громадой на сумеречном небе. Блистают кресты – от месяца? Дремлет суровый Валаам на камне, водами от мира огражденный. Спят леса на святых горах, укрытые скиты – по островам и дебрям. Светлеет за проливом: из-за черных еловых пик разливает сиянье месяц.

III. – ГЛАС В НОЩИ

Уставши от впечатлений дня, я бездумно заснул на каменном валаамском ложе.

Резкий звонок пробудил меня на пороге глубокой ночи. Странное ощущение – тревоги, радости... что-то знакомое..? Будто бы я в гимназии, и старик швейцар, прозванный за кругло-лысую голову «Цезарем», возвестил радостным звонком, что латинский урок окончен и можно бежать домой. Но кто-то, таинственный мешает... будто учитель пения, призывает на спевку – «после уроков – в зал!» И знакомое чувство – как-нибудь увильнуть от спевки, от трудного «Бортнянского», где никак мне не удается «соло», а дома у нас, в саду, дожидается недоделанный каток, – остро меня тревожит.

«Пе-нию вре-мя...» – слышится заунывный голос, – «моли-тве ча...а-ас!» – и резкий звонок, за дверью, говорит мне неодолимо, что от спевки не увильнуть. И вот где-то уже поют... и как будто отец диакон, церкви Николы в Толмачах, приходивший в гимназию служить панихиды и молебны с гимназическим батюшкой, почему-то грустный, уже возглашает в зале: «Господи Иисусе Христе... Бо-же наш...» – и умолкает. Я хочу спать, но о. диакон не уходит. Я чувствую, что я ему очень нужен, и он где-то стоит за дверью и ждет меня, и опять начинает возглашать: «...поми-луй на-ас..!» И звонит, и звонит за дверью.

Сколько же лет прошло с той валаамской ночи? Со-рок лет! А я еще слышу этот звонок и возглас. Думалось ли тогда – что будет?! Думал ли я, что о. диакон от Толмачей – не простой диакон, а знаток творений Отцов Церкви и... Достоевского, что он станет иеромонахом, примет схиму, примет великий подвиг русского старчества, как о. Варнава у Троицы, как старец Амвросий Оптинский, как старец Макарий Оптинский, послужившие для Достоевского прообразом

старца Зосимы в «Карамазовых»! Думал ли я тогда в прочной российской безмятежности, что придет страшная година, и этот о. диакон призван будет из крепкого затвора, из Смоленско-Зосимовой пустыни, как почитаемый православной Русью подвижник иеросхимонах о. Алексий, на Всероссийский Собор и ему выпадет высокий и строгий жребий – вынуть из-за иконы «Владимирской Богоматери» написанное на бумажке имя Святителя – Патриарха – Мученика Тихона? Думал ли я, что этот звонок и возглас «о. диакона» – «время пению, молитве час», – как бы приснившийся мне, станет и для меня знамением чего-то?!.

Но вот кто-то, ожидающий за дверью, перестает звонить. Я слышу знакомый голос – и вспоминаю, что нет никакой гимназии, я студент, я на далеком Валааме, вчера приехал, что я женат, что будят к полунощнице и ждут от меня ответа – «аминь». На молитвенный возглас – здесь надо «поаминить». Так вчера наставлял меня послушник, и это ему, пожалуй, голос о. Антипы, гостинника, говорит негромко: «не буди, Федор, пусть отдохнут с дороги... следуй дале».

Я слышу, как скребут по плитам коридора шаги «будильщика», печальный напев уходит дальше, звонок отдается глуше. Слышно неторопливые шаги по коридору, похлопывают двери келий, проходят богомольцы и служки, напевают вполголоса: «Се Жених грядет в полунощи»... «Заутра услыши глас мой...» Я чиркаю спичкой, смотрю на свои часы – только без пяти час... самая ночь глухая! – и слышу, как ударяют в колокол, будто Святой Ночью! Радостное во мне волнение. Все уходят, надо и мне... – но сон обрывает мысли.

Ясный, голубоватый день. Бледно-голубое небо, молочные облачка, тонкие, как кисейка. На выбеленном окне веселые полоски солнца. Может быть, от далекой Ладоги, еще тревожной, бьется бойкое отражение от волн – «зайчик» на потолке. Я раскрываю окно, вижу бархатные леса на скалах, за проливом, вдыхаю воздух... – не воздух, а юность, силу, надежды, радость – вижу и чувствую, в сердце своем таю – «улыбку ясную природы». В цветнике – обрызганные росой астры, свежие звезды голубые, розовые и белые – «земные звезды», пышные георгины, темные, как церковное вино, – все освеженное росистой ночью, все бодрое и, кажется, – все святое. И в кусту отцветающего шиповника – август, а здесь еще не отцвел шиповник! – какая-то пичужка бойко высвистывает короткую песенку малого северного лета. И надо всем, свежим, светлым и радостным, – благословляющий перезвон – к «Достойно». Я делаю перед окном привычные по утрам движения – «комнатную гимнасти-

ку», – дышу и дышу, вбираю в себя крепкий настойный воздух – с великих далей, с лесов и Ладоги. Такого воздуха нет нигде. Он до того прозрачен, что видно за проливом отдельные деревья, пестрые мхи на камне, трещины и «слойки»... как мотается мачта на монастырской сойме... как чертят по голубому небу черные точки ласточек... как по краю горы, над пристанью, чернью блестит на солнце чугунная решетка.

– Молитвами Святых Отец, Господи Иисусе Христе Боже наш...

Мы одеты, чего-то ждем, почему-то смущаемся высунуть нос из кельи, и возглас брата Василия восхищает нас. Я кричу радостно – «аминь!» Брат Василий, умасленный и новый, он теперь мне напоминает молодца-лавочника, – вносит... обед! А чай-то как же?

– Рано у нас обедают. Одиннадцать уж, все намолились – наработались. А чаек бывает после ранней, кому желается. Ну, может, отец гостинник и благословит чайком.

Он ставит поднос с мисками. Пахнет ужасно вкусно – будто перловый суп? Я засматриваю по мисочкам: будто и суп – и каша! Монастырская крашеная ложка, с благословляющей ручкой на стебельке, с написанным в выдолбке собором, стоит в похлебке – не падает. По винегрету рассыпаны кружочки лиловой свеклы и глянцевитые рыжички. Брат Василий выглядывает за дверь, не идет ли отец Антипа: видно, хочет поговорить, – московский!

– Хорошо спали-почивали? Это вот хорошо. Пользительный, значит, воздух... – и губы его шевелятся, хоть он и умолкает.

Я спрашиваю его, что это он всё шепчет. Он почему-то запинается, но видно, что ему хочется мне ответить.

– Это и вам пользительно. От всяких забеглых мыслей и суемудрия надо творить «Иисусову молитву». Знаете?..

Я не знаю. Он говорит, раздельно: «Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй мя грешного».

– Великая от сей молитвы сила, но надо уметь, чтобы в сердце как ручеек журчал... этого сподобляются только немногие подвижники. А мы, духовная простота, так, походя пока, в себя вбираем, навыкаем. Даже от единого звучанья и то может быть спасение.

Я не понимаю. Я даже спорю, что от «звучанья» не может быть спасения. Брат Василий выглядывает за дверь.

– Надо вас просветить, – вздыхая, говорит он. – По скудоумию нашему Господь снисходит, просвещает даже и звучаньем святого слова. Я уж вам поведаю, какое вразумление мне было. Вы и запомните, для назидания. В миру этого не понимают, а приехали на Валаам – просветитесь для пользы души. Вот, как и вы, спервоначалу и я сомневаться стал.

А это мне, значит, от него было искушение. Стал раздумывать, а уж он и поселился в душе, стал нашепчивать: «Не молись походя, не шепчи пустой душой великое слово!» Стал я пугаться... может, это ересь во мне стала, страх-то? Пошел к своему «старцу»... Какому «старцу»-то? И это не знаете?! Обязательно должны знать, как же. Это в миру у вас все беспастушные, как овцы без пригляда, а у нас нельзя. У нас враг спасения о-чень напрягается смущать, ему в монастыре-то особенно хочется победить, а в миру-то – все под его началом. Вот, для спасения души, о. игумен каждому назначает старца, опытного в духовном делании. На всю жизнь старец назначается. А вот мы ему должны все начисто открывать, всякое помышление греховное или сомнение какое, а он и наставит. Будто всю тяготу с души на себя берет, и нам от сего облегчение, как у Христа за пазушкой. И укрепляемся против наступления врага. И пошел я к своему старцу. Мудреющий старичок, очень любвеобильный. Пришел я, а он так на меня и воззрился. И вижу я, что ему известно, что у меня в душе дух злобы гнездо вьет. И говорит мне старец: «молись, молись, и да не усумнишься!» Будто провидел, сказал-то как – «и да не усумнишься!» Я ему в ноги пал и все ему открыл, усумнение-то мое. Он меня благословил и возвестил. Возвестил-то? А так у нас, на Валааме, всегда говорят – возвестил. Значит – приказал. «Кайся, – говорит. – И вот тебе по пятьсот поклончиков на день, за твое суемудрие. На сорокадневие. Да вот еще я тебе, говорит, во вразумление скажу одно словечко, вроде как притчу». И такую притчу сказал... сразу я проникся понятием смысла. Потому духа высокого мой старец, вроде как прозреватель.

– Какую же притчу? – спросил я, жаждавший узнавать.

– А вот какую, но только вы уж меня не искушайте, не посмейтесь. Была, говорит, у одного архиерея ученая птица, зовомая – попугай, потому что красные перья на хвосте носила. И знал тот попугай многие словеса кричать, наслышан был от того архиерея. А у архиерея была привычка... строгий был архиерей... все так, как кого наставляет: «не дерзни!» – так все говорил, и очень строго. Попугай и перенял, и полюбилось ему то слово. Все, бывало, его кричал – «не дерзни!» И случилось тому попугаю отлететь от архиерея... ну, скажем, не досмотрел служка. И взвился тот попугай в самые небеса. А за побег послан был на его ястреб. Цап-царап его сверху, в спинку ему вцепился... Попугай как заверещит со страху, да и крикни, в полную свою глотку, – «не дерзнии!..» Ястреб как услыха-ал человеческий голос, перепугался да со страху попугая и выпустил! Вот такая притча. Понятно, никто такого не видал, а такая притча, для вра-

зумления. Искуситель змий, враг довечный, как ястреб стерегет, и самый звук имени Господня ему престрашен. Вот он меня и смущал сомнением – «не молись, не поминай!» Обернуть хотел: дескать, суесловлю я, легкодушно святое Имя в уме держу. И получил наставление...

– Молитвами Святых Отец, Господи Иисусе Христе Боже наш... – слышится за дверью, и на ответный «аминь» входит озабоченный о. Антипа.

– Чего застрял, суеслов? – шутливо пугнул он брата Василия, – дам вот послушание, недельку помолчать... Отдохнули с дорожки? – спросил он ласково, и его взгляд уставился на блюдечко с окурком. Он вздохнул, но ничего не сказал.

Я знал от богомольцев и читал «правила» на стенке кельи, что курить в монастыре не разрешается. Я возмущался «строгостью», но признавал, что монахи имеют на это право: они меня не звали, я сам приехал, а «в чужой монастырь со своим уставом не суются!» Это мог бы сказать о. Антипа, но не сказал: может быть, не хотелось смущать меня. Я сказал откровенно:

– Простите, батюшка... не воздержался.

– Да-да, слабость греховная. Бывает, и лба не покрестят, как проснутся – за курево. – Я так и делал. – Да не в табачке дело, а в слабости, в плоти угождения. Воздержание первая ступень. Поотдохнули?

– Все очень хорошо, – говорю, – только жестко, бока болят.

– Же-стко?! – укоризненно посмотрел о. Антипа. – А там мягко нам будет? Перины пуховые пагуба. Тело нежится, а душа спит. А псалмопевец какой стих поет, а? Не знаете... «Человек, яко трава дние его, яко цвет сельный тако отцветает: яко дух пройде в нем, и не будет, и не познает к тому места своего».

– Так что же тут..?

– А вот то же. Не ублажай тела, потому оно – прах, а о душе пекись. Душу-то забываем. У вас дух-то и немощен, против табачку не можете, а что уж, как поважнее что будет. Я к слову так. А теперь надо вам соблюсти устав, к отцу игумену объявиться, благословения на жительство испросить. Я и поведу вас... вы московские, а настоятель наш, игумен Гавриил, маленько московский тоже, земляки будете... вот и поведу.

– Очень рад, – говорю, – с благословения вашего, батюшка, и пойдем... – стараюсь я попасть в монастырский тон, – и чувствую, что выходит нехорошо.

О. Антипа машет на меня:

– Да нет, не иеромонах я, не достоин благословлять... монах я простой, гостиничное послушание несу. Тлен, по-

нятно, и греха много, а нельзя обители без хозяйства... вот и хозяйствуем.

После, приглядевшись к нам, о. Антипа немного приоткрылся, и я понял, что тут не послушание только, а подвиг, и трудный подвиг: о. Антипа поборол искушение: искушение, как он говорил, «принять наитруднейший подвиг».

– Какой я иеромонах буду, ежели все среди мирян в гостинице пребуду? Либо иеромонах, либо гостинник. А я попривык к делу. Ну, милостив Господь, потерпит грехам моим.

Он надевает подрясник побелее и ведет нас, «московских-диковинных», к святым воротам, к сердцу обители, к собору.

IV. – У ОТЦА НАСТОЯТЕЛЯ. – ЧУДЕСА

Мы проходим в монастырские ворота, которые называются – святые: над ними церковь Петра и Павла. Дальше – еще ворота. Говорю: «как в крепости живете!» О. Антипа не понимает будто и говорит с улыбкой:

– Пустынножителям всегда надлежит в крепости пребывать. А, про камни вы разумеете... Это дело хозяйственное, строено на века. А на врага у нас крепость – Крест Господень. От врага камнем не оградишься. Крестом да крепостью духа ограждаемся.

Проходим еще ворота, и открывается «монастырский двор». Справа – великолепный собор Преображения Господня. Какой лучезарный свет! какие синие купола в лазури, золотое крестов блистанье! Всплывает, от детских лет: «Лик его был как солнце, и ризы белы, как снег». Нет, не забыл еще. Как раз об этом рассказывал на экзамене, когда поступал в гимназию. И вот, тоже 7 августа, как тогда, – такой же солнечный день, с северной крепкой свежестью – и вижу, как и тогда я видел. Преображение Господне. Только тогда был Горкин, рассказывал про «трех Спасов»[1] и утешал: «не робей, впустят тебя в училищу». И вот «впустили», и вот уже я студент... Милого Горкина уже нет на свете, но вот почти такой же, такой же русский и ласковый, – о. Антипа. И говорок его чуть похожий. Только не говорит – «милок».

– А теперь, милые, проведу вас благословиться к о. игумену Гаврилу. Добрый он, не бойтесь, благословит на доброе пребывание.

«Не бойтесь»... Словно, бывало, Горкин: «ты не робей, впустят».

---

[1] «Лето Господне»: – Яблочный Спас.

Слева, против собора, блестит на солнце широкое застекленное крыльцо – вход в настоятельские кельи. Послушник, в белом подряснике, поклоном, молча, встречает нас. Чисто, крашеные полы, ковровые «дорожки», фикусы в кадочках, огромная лапистая арма. О. Антипа подходит к арме, снимает пальцем капельку с широкого копьевидного листа и говорит шепотком, благоговейно:

– Господом указано цветку сему возвещать погоду: как начинает плакать – жди дождичка. Сию арму еще о. Дамаскин садил.

Потолок – сводами; по белым стенам – картины, разные виды валаамские, труды наезжих художников, дар за гостеприимство. А вот, на портрете в раме, – суровый хозяин валаамский, великий устроитель, о. Дамаскин покойный. Чтут его на Валааме крепко. Куда ни пойди – везде наткнешься на дела рук его и железной воли: мосты, дороги, кресты гранитные, канавы, обложенные камнем, водопровод... Возле высоких старинных часов в футляре, мерно отсчитывающих неспешное время валаамское, стоит смиренно старушка-богомолка, в лиловых лапотках. И ее примет владыка валаамский? Всякого принимают тут: «нет у нас зрения на лица».

– Понятно, каждому свое уважение... – шепотком говорит о. Антипа. – Ина слава солнцу, ина слава луне... Ну, ее после примет, а вас я наперед проведу. Надобно мне к гостинице поскорей, да и московские вы, на вас слава далекая, а дальнему особое уважение – почет.

И серый глазок его смеется. Я спрашиваю про бледного послушника у двери, опустившего голову в печали, – почему он такой, приговоренный.

– А провинился. Это место, у притолоки, – для горького покаяния. Вот и ждет послушания себе. Вы уж на него не смотрите, он и без того сокрушается. Не велик грешник... так, маленько чего ослушался.

Из соседней комнаты выходит настоятель. Старушка хочет к нему приблизиться, но о. Антипа ограждает: «Не лезь первая, тут покажи смирение – там зато будешь первая. Ты уж другажды добиваешься, я тебя знаю, а мы в первый раз».

Игумен Гавриил – настоящий властитель валаамский; высокий, крепкий, с умным взглядом добрых и светлых глаз. Говорит неспешно, плавно, видимо – думает, пойдет ли к делу. Благословляет нас. Провинившийся послушник земно кланяется ему и становится ждать у притолоки. О. Гавриил удостаивает нас чести: приглашает на чай, в гостиную. О. Антипа доволен, ласково мне мигает, словно хочет сказать: «говорил – не бойтесь!»

Мебель гостиной – старинная, красного дерева, тяжелая: стол овальный и опять – высокие часы с курантами: помнить надо – «время пению, молитве час». Над столом картина Шишкина, писанная художником в море, «за две версты». Святые острова, дремучие леса на скалах и белый монастырь, благословляющий крестами; скит Никольский, скит Всех Святых, и над водами – чайка.

– Знаменитый Шишкин это, – говорит о. игумен, – во славу Божию здесь трудился. Художники нас не забывают, любят природу Божию. У нас и свои художники, весь собор сами расписали. У нас и школа живописная. Все посмотрите, и святыни, и мастерские наши. Из Москвы́ вы... А Донской монастырь вы знаете?

Господи, Донской!.. Там похоронен мой отец... и Горкин. О. игумен учился там:

– В духовном училище там учился, Москва – родная мне.

И грустно улыбнулся, вспомнил.

– Благословляю вас, посмотрите все. И на лошадке можно, куда подальше. И на лодке, и на нашем пароходике, по скитам.

Мы получаем благословение – «на все благое». Это здесь очень важно. Здесь без благословения ни шагу, строго.

Перед нами – собор Преображения Господня, уходит в небо высокой колокольней. Тридцать и три сажени! Синие купола горят. Гранитные колонны в окнах и у крыльца. Гранитные кресты на камне. Все опоясано гранитом. Строено на века. И все построили монахи, сами. Не верится.

– Все сами?! – спрашиваю проводника-монаха.

– Работа братии, – ответствует он смиренно.

И я вспоминаю, как часто говорилось: «монахи – тунеядцы»! Да как же так? «Все, до последнего гвоздочка, сами», «Бог помог», «для Господа трудились». И все без похвальбы, смиренно. Чудеса!

Входим в законченный нижний храм, – здесь престол преп. Сергия и Германа. Колонны, своды, стены – в узорах, в херувимах. На голубоватом своде – звезды. И это са-ми? Все? Работа братии. И этот иконостас, резной, розовоголубой и золотистый, – сами? Господь помог.

– А иконы..?

– Работа братии.

– А... кресты на куполах?..

– Здесь лили. Из братии трудились... – смиренно ответствует монах, перебирая четки.

Поют старинным, «знаменитым» распевом – валаамским. Слышится мне народное, п р о с т о е, трудовое, – и грусть, и вскрики. И голоса – простые, простонародные. Слышится

мне родное: певали так артелью, у нас, бывало... Мне нравится.

В колоннах, справа, – серебряная рака, «спуд». Мощи Преподобных, Сергия и Германа, – под спудом. Монах поясняет скупо: лет семьсот тому, из Нова-Города вернулись Преподобные «на родину»; от шведов увозили мощи, дабы не надругались «лютеры», и вот, «глубоко», под спудом почивают. Мы преклоняемся, прикладываемся к ликам на серебре. Поют молебен. Недалеко от раки – схимонах. Укрылся схимой, лица не видно. Я с содроганием смотрю на схиму: шито белым по черному – крестики, слова, – молитва? – череп, кости... Чтобы о смерти помнить? Вспоминаю: «человек, яко трава дние его...» Не понимаю, но... узнаю? Заговорить бы..? Но схимонах недвижен, весь – в ином. Схимонахи... кто же? Я, студент, этого не знаю. Для чего – не знаю. Или – знаю? Как будто рассказывал мне Горкин..? Старый плотник – знал. А я не знаю.

Верхний храм – в отделке, там леса. Провожатый неразговорчив, ведет нас в сети перекладин, охраняет: «вниз не смотрите, тут опаско». Идем несмело. Расписывают стены, висят на тоненьких дощечках – жуть. Старый худой монах, весь в краске, с кистью, поясняет:

– А это фарисеи... носы-то ишь у них какие... горбатые! А это – притча...

И начинает объяснять нам притчу.

– Да они учены, – говорит монах, – все притчи знают. Ты, о. Федул, своди-ка их на колокольню, про колокола скажи, а притчу они знают, ученые. Мне к тебе ведено свести, с рук на руки отдать.

– Уче-ные, – оглядывает нас о. Федул. – Ничего ученые не знают! Ученые и Господа не почитают. А вы Господа почитаете? – спрашивает он нас, в упор и строго.

– Ну, о. Федул... – смущенно говорит наш провожатый, – тогда зачем же к Преподобным они приехали!

– Вы не обижайтесь... – говорит о. Федул, и во взгляде из-под седых бровей я вижу пытливое сомнение. – Много ученых нонче, кои Господа не почитают. А что апостол-то говорит? Где умные и разумные, а? где совопросники века сего, а? На Страшном Суде ответят. Ну, пойдемте на колокольню, Господь с вами.

Идем за ним. Чувствую я, смущенно, что есть и некая правда в словах о. Федула. Идем по широкой гранитной лестнице. Навстречу попадаются монахи, в рабочих рясах, с шайками извести и кирпичами. В первом пролете – громадный колокол.

– Ты-ща пудов! – говорит о. Федул. – «Андреевский», за полсотни верст, в Корелах слышен. Апостол Андрей Перво-

званный сам сюда и входил и Евангелие изуверам возвестил. И «во всю землю изыде вещание и в концы вселенные глагол его». А звон у него ма-а-линовый! И что Исаия пророк говорит? Ну... вы, ученые, ну? Вот и не знаете. «Да воздадут Господу славу и хвалу Его на островах да возвестят». Вот и возвещаем на островах.

Виден весь монастырь, пролив, пароходик «Св. Николай» у пристани, сверкающая на солнце Ладога.

– На сем колоколе чудо сказалось!

– Чудо?..

– Вера горами движет. В отсечении воли мы, и что возвещено нам – исполняем, ежели даже и не разумеем, а по вере все нам дано есть!

Сказав это, о. Федул перевел дух и посмотрел на меня, как бы говоря: понял, ученый?!

Я не понял.

– Чудо не чудо, а и чуду не уступит. У нас каждого к делу приставляют, на послушание. Да мужички у нас больше земельку знают, а по мастерству уж Господь наводит. Вот и о. Леонид, в кузнице был. То был литейщик, а тут и возревновал. Пошел к о. игумену и говорит: «мало мне работы в литейной, благослови, отче игумен, в кузнице поработать». О. Дамаскин и благословил: «только не возгордись!» – сказал. А тут и привезли этот самый колокол из Питера, ввезли на гору, поставили у часовни. Надо его теперь пока на столбы привесить, собор и не начинали класть еще. А хозяин кузницы заболел, в больнице лежал. Вот игумен Дамаскин и посылает казначея к о. Леониду: «возвести ему, чтобы сковал восемь хомутов, колокол чтобы на столбах держали... он у меня сам на это напросился». Пошел казначей к о. Леониду и возвестил. А тот только гвоздочки ковал, учился. Убоялся, заплакал: «не смею такое послушание принять... не токмо что ковать хомуты, а видать-то не видал, каки и хомуты бывают». А колокол бо-льшие деньги стоит, – ну, сорвется с плохих хомутов... какой разор-то! Ну, возвестил казначей игумену. «Иди, говорит игумен, возвести о. Леониду, благословляю я его». О. Леонид в но-ги казначею, слезами обливается... – «не могу послушания принять, недостоин я!» Ну, опять благословил его батюшка Дамаскин: «иди и возвести: сам возревновал, пусть и орудует... благословляю я его, скует хомуты, Господь поможет!» И что же думаете!.. – воззрился на нас о. Федул, – просветление на него нашло, сам рассказывал, – такие-то расчудесные хомуты сковал..! Самые мастера потом дивились.

Под ними вились стрижи, кружились округ крестов, влетали в просветы колокольни. Мы поднялись на последний ярус.

— На скиты-то гляньте, где наши схимонахи обретаются, в лесах живут, как звери полевые, хвалу Господу воздают.

— И молчат?..

— И молчат... а что? Потому — воли отсечение. Молчи — и молчит. В Предтеченском скиту схимонах Василиск другой год молчит. И больше промолчит... и со-рок лет промолчит! Сколько благословит игумен — до срока и молчать будет, и в радость ему это. А слыхали про схимонаха Иоанна, на острову жил? Любил он, как я вот, грешник, с добрым человеком поговорить. А у батюшки Дамаскина покойного все на виду. И задумал послушание его испытать. Призвал — и говорит: «считай себя недостойным с людьми говорить, молчи! разрешаю тебе с Господом беседовать, да, когда придется, со мной али с духовником». До 14 лет так-то! А потом, чтобы смирение его пуще испытать, и возвестил: «недостоин ты такой подвиг нести... говори, как и обычно». И заговорил, и не возроптал. Ну, а у вас есть такие?

— А зачем все это? — не понимаю я.

— Ученые, а не разумеете. Да я не в осуждение, Господь прости. Да как же мы с самым страшным врагом бороться можем, ежели волю свою не скуем? Все на приказе, все на самоусечении стоит, когда Господу служим, а Он по пути ведет. Грех Адамов из чего пошел? Из непослушания. Так и всякий грех на земле. Тут у нас кузница божьих деток, святых работников... во славу Господа и для жития земного устроения. Будут времена горшие, и тогда восплачем. Ну, выше еще полеземте.

Над нами был самый последний ярус, «непроходимый» — сказал так о. Федул, — «зрящая труба». Оттуда в подзорную трубу следит приставленный к послушанию, когда нанесет туман.

— Можно, брат Ляксандра, ученых этих туда подать? — спросил о. Федул брата — «назирающего» за Ладогой: блуждают в тумане корабли, а «назирающий» — смотрит, и как завидит в тумане искру — велит звонить.

— Не смею, батюшка... — замялся несмело послушник, — о. игумен только меня благословил. Коли возвестит — пущу.

О. Федул похвалил послушника.

— Упражняйся, брат Ляксандра. И знаешь, что трубе ничего не сделается, а нельзя, ежели нет благословения.

— Хорошо здесь, какая красота — даль!

— Стой и зри, коль красна вселенная! — согласился о. Федул. — Да о душе-то помни, пекись о ней. Сказано: не прилепися к сокровищу. Во-он, — показал старик на лесные дали, — скит Всех Святых. Там у нас схимонахи есть. Вон Предтеченский, тоже схимонах живет. А во-он, чуть видать, Коневский, тоже схимонах обретается, о. Сысой, прозорли-

вец. А вон – и Ляксандра Свирского. Вся тут, пустыня наша. Леса темные, кресты гранитные, церковки среброглавые, святые места. Тишина у нас, покой душе. А который человек с воли, дух в нем и ходит непокойный, и нет мира в костех его.

– Да вы философ, о. Федул! – пошутил я.

О. Федул поглядел с сомнением: незнакомое слово его смутило.

– Ишь вы чего сказали! По-вашему, может, и обидно, а мне что... суемудрия не приемлю. А почему вы такое слово сказали? А потому, что дух суемудрия в вас мятется. Ишь, высь какая! Вам, небось, и глядеть-то страшно, а у нас, повыше еще, монашек кумполок красил да молитвы пел. А старичок, за шестьдесят ему было. Ветром его, словно на озере, об кумполок раскачивало-потукивало, а он – «Царю Небесный», да пел-то как!.. А почему? Благословение, воли отсечение. «Лезь, о. Анфим!» – возвестил игумен, – он и лезет, и молитвы поет. А тридцать три сажени!.. Вон, братия из храма пошла, трапезовать час пришел. Ну, пойдемте, заговорил я вас.

Мы стали спускаться с колокольни.

V. – В ТРАПЕЗНОЙ

– Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас...

Брат Василий вносит обед.

– Я уж на одну персону только принес. А вам о. Антипа послушание назначил, – с улыбкой говорит он мне, – в трапезную пойти. Там у нас чинно, под жития вкушают.

Я не понимаю, спрашиваю его: что это значит – «под жития»?

– Все вкушают, а очередной чтец читает про «жития». Это, чтобы вредные мысли не входили. Пища молитвой освящается, тогда и питание на пользу. Никакой чтобы заботы в мыслях.

Я удивлен: как раз и в физиологии это говорится, – читал недавно «Физиологию» Льюиса. Оказывается, и монахи знают.

Я говорю брату Василию, что об этом и в науке говорится, чтобы принимать пищу в полном спокойствии, без раздражения. Он глядит на меня с сомнением, не подвох ли в моих словах.

– Вашу науку мы не знаем, а святые отцы так установили, из древних лет. Такой наказ есть, старца Назария Саровского: «вкушать молча, как бы какое священнодействие совершаешь».

– Это называется – физиология питания! – говорю я.

– А по-нашему наказ старца Назария, – говорит упрямый брат Василий, – чтобы хлеб насущный не осквернять дурными помыслами. А для женска пола, для их персоны... – показывает он на мою жену, – трапезная при гостинице у нас. Но для них чина не полагается, без «житий» вкушают.

– Вот это грустно, – говорю я. – А если дурные помыслы? Несправедливо оставлять женский пол без охраны от искушений.

Брат Василий чувствует мою шутку и улыбается. Говорит, что наказ для братии установлен, но и в женских обителях, говорят, тоже под «жития» вкушают.

Далекое, наивное: милый простак, просвещавший меня духовно, – и я, юный студент, учивший его ученой мудрости.

Я иду в трапезную палату. Она в монастырском четыреугольнике, против ворот, при церкви Успения Пресвятой Богородицы. Встречается о. Антипа, несет корзиночку. Я заглядываю в нее и вижу: крупная красная смородина! Это изумляет меня, как чудо. В Москве она отошла давно, там и малина уже сошла, а тут – снова вернулось лето. О. Антипа достает кисточку, показывает мне и сам любуется: смородина сочно сквозит на солнце – живые яхонты!

– Крупная-то какая, будто клюква. На праздник Преображения Господня десять пудов собрали, а это остаточки, благословил о. настоятель на трапезу, в гостинчик. Сады-то наши не видели еще? Посмотрите. Все монах Григорий, великим тружением своим. Через него и смородина у нас и яблока сколько собираем, и слива есть, и вишня, во славу Господа. Двадцать лет на себе землю таскал, сыпал на голый камень, на ржавую луду, а теперь вся братия радуется, и богомольцев радуем. У нас даже восточная травка произрастает.

– Это какая же... восточная?

– А как же, неужто не знаете... ис-соп! Царь Давид в псалмах как взывает?.. «Окропиши мя иссо-пом... и очищуся...» На Востоке он жил, вот и восточная, потому. Сходите вкусите с братией, поучения послушайте, и во здравие питание вам будет. Сами потом скажете, вкусная какая ваша пища... С молитвы такая вкусная, освященная.

Я вхожу в трапезную. Длинная, невысокая палата, своды. Вижу длинные-длинные столы, простые, непокрытые, и на них, чинными рядами, миски, светлые липовые ложки, белые ручники, холстинные, накрывающие попарно миски, – все ровными-ровными рядами, солоницы, оловянные уполовники, приземистые широкие сосуды – чаши, будто из тускло-старинного серебра, налитые бордовым квасом, с плавающими, как уточки, ковшами, темные ломти хлеба, и эти белоснежные ручники – холстины, похожие на крылья

чаек... – так мне напоминает былинные «бранные» столы и что-то близкое и родное мне... – рабочие праздничные столы нашего старого двора в далеком детстве? Пахнет густо и сладковато-пряно – квасом и теплым хлебом. Вдумчиво-сокровенно смотрят с пустынных стен – благословляют преподобные подвижники, в черных схимах.

Молитву уже пропели. Братия сидит чинно за столами, в глухом молчании. Чувствую я смущенно, как испытующе смотрят на меня, такого невиданного здесь, в серой студенческой тужурке, в золоченых пуговицах с орлами, отыскивающего себе местечка. Кто-то мне шепчет строго: «подале, подале, за братию... богомольцы там, во второй палате». Я прохожу рядами темных, немых столов, взирающих в строгой тишине, и нахожу местечко – рядом с бледными старичками-олончанами. Против меня сидят притихшие питерцы – извозчики, ехавшие на пароходе с нами. Они знакомо моргают мне, как будто хотят сказать: «здесь, брат, не поговоришь... стро-го здесь!» За старичками-олончанами сидит тощий монах, глядит на пустую мисочку, не поднимая глаз, и, кажется мне, тоже говорит в молчанье: «да, строго здесь».

Вдали, в первой палате, за головным столом, перед самым иконостасом, кто-то властный звонит резко-тревожно в колокольчик. И сразу, как по команде, встают от столов прислужники и идут в поварню за кушаньем. Перед иконостасом какой-то инок истово-чинно крестится и кладет земные поклоны. Я спрашиваю тощего монаха, почему это кланяется инок, а не сидит со всеми. Монах не отвечает. Знакомый питерец опасливо говорит: «провинился, надо полагать». Тощий монах шепчет, не поднимая глаз: «за трапезой у нас молчание полагается».

Прислужники вносят оловянные мисы с кушаньем, ставят их на столы рядами, одну мису на четверых, и теперь видно мне, как вытягивается по столам оловянная полоса – дорога, дымится душистым варевом. Начинается хор нестройный, что-то молитвенное как будто. Это прислужники возглашают вполголоса, ставя мисы: «Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас». Старшие за столами ответствуют им – «аминь».

Трапеза начинается. Возрастает немолчный шорох, благостно-сдержанный, – плесканье, звяканье; взмывают белые ручники, варево льется в миски, мелькают ложки, темнеют куски хлеба, склоняются чинно головы. Кажется мне, что совершается очень важное. Звучный, напевный голос вычитывает с амвона «житие» дня сего. Инок перед иконостасом все так же кладет поклоны.

Я вслушиваюсь в шорох, в мерное, углубленное жеванье сотен людей, и приходит на мысль не думанное раньше: ка-

кое важное совершается! Я как бы постигаю глубокий смысл: «в поте лица твоего будешь есть хлеб твой». Впервые чувствую я, забывший, проникновеннейшее моление: «хлеб наш насущный даждь нам днесь». Смотрю на старичков-олончан, как благоговейно-радостно вкушают они этот хлеб насущный... не едят, а именно, вкушают, как дар чудесный... не услаждаются, а принимают молитвенно, чинно, в смирении... – и думаю: «как это хорошо! и это не простое, не обиходное, а священное что-то в этом, возносящее, освящающее человека!»

И вспоминается мне далекое, ушедшее.

В детстве Горкин мне говорил, плотник наш: «кушай, милок... это хлебушка наш насущный, заработали мы его с тобой... крестись, на хлебушку всегда креститься надо, дар Господень». Тогда и я вкушал, – и с каким же благоговением! – кислый рабочий хлеб, с плотниками, в артели, и необыкновенно сладок был этот «хлеб насущный», забытый в детстве. И вот воспомнился, отозвался здесь, на Валааме, в иной артели – тех же русских простых людей, рясой прикрывших свои рубахи и трудовые плечи, только людей особых, отобранных , собравшихся с сел и полей российских во имя Божие, – «идейно», как я говорил тогда. «У нас мужички все больше», – помнились мне слова о. Антипы.

За нашим столом трапезуют богомольцы, больше простой народ, и даже нищая братия, и эта нищая братия ест из такой же миски и такой же ложкой, липовой, с благословляющей ручкой на стебельке, как и о. настоятель, блюститель трудового, святого Валаама. Старички-олончане, в заношенных сермягах, благолепно-старательно хлебают густую перловую похлебку и озираются. Кажется мне – не верят, что они равные здесь, – кажется, что боятся: а ну как скажут – «ступайте-ка отсюда, не вам тут место!» Нет, не скажут. Тощий монах ласково говорит им: «ешьте, братики, на здоровье, во славу Божию», – и еще подливает им похлебки. Они смотрят несмелыми глазами и крестятся.

– Не часто, небось, приходится так обедать, – шепотом говорит питерский извозчик, показывая мне глазом на старичков, – бедный народ, эти олончане да корелы, рады – до чистого хлеба дорвались.

– В рай попали... – шепчутся старички и крестятся. – Уж так-то сытно да сладко... И слова никто не скажет.

Вижу других, таких же, с истомленными лицами, в заношенной одежде, робко взирающих, прислушивающихся к напевному голосу чтеца: «богатый в питиях и яствах пребывает, а о бедных и о душе забыва-ет...» Слушаю я, смотрю на нищую братию, и закипает в сердце. Думаю привычно, по-студенчески: «этого не знает Бебель... это тоже социализм,

лизм, духовный только... приехал бы сюда, монахи наши могли бы внести поправки в его социальную систему...»

Миски меняются. За перловой похлебкой приносят мятый картофель с солеными грибами. Старички ужасаются: все несут! Ставят новую мису: щи с грибами, засыпанные кашей.

– Ешьте, братики, на здоровье... еще подолью, – шепчет тощий монах, – поправьтесь на харчиках Преподобных Сергия и Германа. Они тоже были, как мы с вами, работнички... долю вашу знают.

Кажется, и конец трапезе. Нет, ставят еще прислужники: каша, с постным маслом.

– С маслицем никак... Го-споди-батюшка!.. да еще с духовитым! – изумляется старичок, принюхиваясь к ложке, – за что такая милость... да с елейным..!

И вот разносят на оловянных блюдах чудесную красную смородину, взращенную на валаамском камне великими трудами неведомого инока Григория.

– А это уж баловство-о... – говорит питерский извозчик, радуясь.

И старички ухмыляются, любуются на смородину, как дети на конфетку, пошевеливают несмело пальцем: да уж есть ли. Посматривают на квас в чаше и робко спрашивают монаха: кваску-то можно?

– Да сколько охотки будет, – говорит монах, зачерпывает ковшом и подает.

– У-у, ква-сок... дю-же хорош квасок... – говорит, задыхаясь, старичок, передавая другому ковшик. – Знатный квасок... забыли, когда и пили такой квасок...

Трапеза заканчивается пением благодарения «за брашно». О. настоятель благословляет, братия чинно кланяется и отходит по келиям. Инок у иконостаса продолжает класть земные поклоны. Я спрашиваю знакомого монаха, почему инок не обедал, а молился.

– О. игумен так возвестил. А за провинность, смирение его испытует, в послушание ему и возвестил поклончики класть. За трапезой, у братии на виду. Это уж для смирения, такое послушание.

– Да за что же т а к о е испытание, на всем народе?

Монах вздыхает.

– О. настоятель возвестил, для назидания всем. Вот, говорите – испытание, на всем народе... будто для стыда. В радость ему это, что на народе, будто покаяние принимают от него все. И никто не осудит. Наша воля у Господа.

Я выхожу из трапезной. Богомольцы идут вздремнуть. Кто отходит к решетке поглядеть на просторы Ладоги; кто спускается к пристани, посидеть в холодке, в ожидании часа,

когда можно будет попить чайку, – раньше половины 3-го часа не полагается.

На пороге гостиницы о. Антипа встречает меня, раскинув руки, словно обнять хочет, – чудесный старичок, право.

– Ну что... посмотрели, как у нас трапезуют?.. понравилось?

– Чудесно, о. Антипа! И как трапезуют и как поклончики отбивают...

– Ах вы, шутник, право... – смеется о. Антипа. – Смирение – путь во спасение.

– Знаете, о. Антипа... – говорю я, чувствуя, что не могу не сказать самого важного, что переполняет сердце, – я вам так благодарен, что возвестили мне послушание...

– Нет-нет... – остерегает о. Антипа, – недостоин я возвещать... это только о. игумен, по уставу. Да это я шутил, послушание-то... Понравилось – и слава Богу.

– Узнал у вас самое важное, самое глубокое... понял, как вкушают хлеб насущный... и что такое... вкушать!

Понял ли меня о. Антипа? Он взглянул ласково и потрепал по плечу.

VI. – НА КЛАДБИЩЕ. – САДЫ. – О. НИКОЛАЙ

На высокой скале, над «Монастырским» проливом, покоится старое валаамское кладбище. Так и сказал нам кто-то из монахов: «покоится». Отделяет его от святой обители каменная белая ограда. В обители глухая тишина: дремлет Валаам под усыпляющий шепот сосен, под всплески Ладоги; а здесь уж не тишина, а глуше и глубже тишины: покой. Так и подумал тогда: «могильная тишина». И стало понятно мне книжное это выражение. Старые клены, липы, в золоте и багрянце августа, роняют листья на бугорки-могилки, поросшие травою. Весь Валаам из камня, много гранита и мрамора у него, но не видно надгробных памятников. Не любят иноки валаамских надгробий: память – богоугодное житие. У Господа – все на памяти. Круглые камушки на травяных бугорках кой-где.

«Послушник Василий. Преставился лета 1871, апреля в 26-й день, 23 лет от роду», – читаю я на круглячке могильном. Кто он, откуда родом, зачем пришел на это глухое кладбище в такие годы? «Меня еще и на свете не было, а уж он...» – пробегает в душе печалью, и заливает радостное сознание, что я жив, молод, а впереди... сколько же впереди, всего! Я смотрю на мою жену, юную, как и я, и говорящие глаза наши встречаются в одном чувстве: какая радость, и сколько же впереди – всего! Нам тесно на этом кладбище. Уйти бы... Но провожающий нас монах смущает: сразу уйти неловко, надо взглянуть «на схимонахов».

Вот, вдоль дорожки, под тенистыми кленами и липами, лежат голые каменные плиты. Все одинаковые, – как и те, что лежат под ними. Это могилы схимников, обитателей дебрей валаамских, скитов, пустынек. Одиннадцать их покоится, молитвенников, подвижников, молчальников. Самому старшему 95 лет. Я знаю, что все эти подвижники – отдали свои жизни на служение «идее», что все они люди могучей воли, но непонятно мне, юному, студенту, зачем оставили они жизнь и близких, ушли в леса. И что же от них осталось? Только надгробные плиты да «жития». Я говорю монаху. Он вздыхает.

– Как можно... – говорит он, – а сколько же людям утешения от них было? А в Евангелии у Господа как написано? «Да оставит тленная мира и возьмет крест свой и по Мне грядет». Благое иго избрали себе. Как же так – для чего! Вот я вам скажу, какое дело. Вы как же душу-то за пустяк принимаете? А в ней все дело, ее сохранить надо, воспитать для вечной жизни, как ей назначено, в приуготовление. Как так не можете понять? Нет, вы над душой подумайте. Вот послушайте. У нас здесь глухо, а все-таки народ доходит до самых глухих пустынек, до дебрей самых, желает от святого человека-подвижника благословения и молитвы... душа его желает. Вот один схимонах у нас и возревновал, надумался, в соблазне: надо мне душу спасать, очищать, а тут мне развлечение от людей. А жил он на дальнем островке, туда раз в году к нему народ добирался, требовал утешения. Он и возревновал: хочу совсем от мира отрешиться. И вот, глядите, какое произволение над ним, какое ему было указание. Значит так, будто подвижник ты, а про малых сих памятуй. И вот, благословился у о. игумена, у настоятеля, и ушел в пермские леса, в самую глушь глухую, где только одни медведи проживают. Ушел в Пермский край. В лес глубоко забился, поставил себе келейку, вроде конурки в ямке, землей прикрылся-пришипился и живет, молитвы правит. И было ему первое предостережение. Пошел он на ключик водицы взять, приходит в свою пустыньку, а шалаш его весь разметан, и сидит на пеньке медведь будто. Ну, он убоялся того медведя, схоронился в кусты. Ну, медведь посидел – ушел. Поправил свою келейку отшельник, опять молиться стал. И уж тут будто тот медведь, подумаешь-то, дорожку к нему и указал: пришли к келейке страждущие, ищущие утешения, стали досаждать ему нуждами, совета-благословения просить. Он еще дальше ушел, в самую-то разглушь глухую, оградой оградился, ставенки к оконцу навесил... – и туда дорожку к нему нашли. Станет он на молитву, а в ограду-то стук-стук народ ломится, через ограду перелазят, в оконце стучат, утешения-благословения просят. Тут уж ему и от-

крылось: сколько же горя непокрытого кругом, жалко народа стало. Может, ему Господь на мысли так послал. А он-то – схимонах простой, не иеромонах, не может благословлять, не в праве, благодати не сподоблен. Уж тут ему даже горько стало, так проникся слезами приходящих. И вот, во снисхождение мирской скорби и ему в успокоение, разрешил ему преосвященный благословлять. Вот как взыскуют у нас подвижников. А вы говорите – зачем из мира уходить! Для подвига, для утешения, он уже выше мира обретается, подвижник-то, души ведет... как можно! Поглядите, как к нашим схимонахам влекутся. Значит, душа желает очищения, а вы говорите – для чего такое. Нет, недаром они на подвиге стояли. Поживете – узнаете.

Пожил я – и узнал, многое узнал. И как бы хотел теперь, через десятки лет с того августовского утра, найти крепко на подвиге стоящего, отрешившегося от всего земного, – благословиться. Где Россия, творившая светлых старцев, духовников народных? Есть ли они теперь, на новом Валааме? Сердце мне говорит, что есть, в необъятных родных просторах, неявные, может быть, прорастающие только в великом народе нашем. Придет время – и расцветут редкостные цветы духовные: Господний посев не истребится.

Тут же, у плит, из пня столетней липы мудрый монах устроил кресло, дабы пришедший сюда присел отдохнуть возле этих одиннадцати подвижников, поднявшихся над суетою мира, и поразмыслил над бренностью преходящего. Мы присели. Желтая бабочка покачалась на стебельке, выросшем из плиты, и полетела, порхая, за ограду. Падали бесшумно листья кленов, ровно плескала – вздыхала Ладога под скалой, медленно проплывали облачка... – все говорило о движенье, о времени, ускользающем... куда?

На краю кладбища – длинная, травою обросшая плита. Говорит на ней каменная надпись, что покоится здесь... король! Невероятно. Магнус II Смек, краль Шведский: «быв в короне, и схимою увенчался». Был такой, но едва ли бывал на Валааме. А может быть... Жизнь творится легендами, творит легенды.

Высокий гранитный крест осеняет покой отшедших – схимонахов, монахов, трудников: «Со святыми упокой, Христе Боже, раб Твоих...» У его подножия – аленький запоздавший мак, в росе еще. Жена робко его срывает, – можно ли... здесь? И, взявшись за руки, с облегчением мы выходим за ограду, на вольный воздух.

По краю скалы – чугунная решетка. Внизу, глубоко, – пролив. Солнце ярко горит, плещется на волнах, слепит. Скалы на той стороне пролива не так угрюмы, лес, на них в солнце, повеселел. Видно, как бредет там берегом, по кам-

ням, монашек с берестяной корзинкой, сходить по грибы благословился, для братии; красная лодочка с монахами-гребцами плывет к островку в Проливе. А вправо – вольная Ладога, спокойная. Редко вспыхнет на ней барашком сизая волна, плеснет на камни у Никольского островка. Скит на островке – пустыня, ни единой не видно ряски. Прямо против него, на той стороне Пролива, как другой страж безмолвия лесного царства, светится над островерхими елями солнечным золотым крестом среброверхая колокольня Большого Скита – Всех Святых.

Я гляжу вниз. Под скалой раскинулись монастырские сады, а по самой скале тянутся могучие клены, шелестят под ногами у нас вершины, багряные и золотые. Нет земли под ногами, а каким-то чудом висишь над океаном листьев. За краем его, внизу, – сады. Слава трудников Валаама, слава – чудо. На камне – лудой называют на Валааме этот камень, – взошли сады. Правильными рядами идут раскидистые яблони, груши-дули, сквозные вишневые деревья – радость. Вон и любимые ягодные кусточки смородины и крыжовника, взятые чинно в жерди, – видно отсюда даже блистающие грозды ягод – сквозные яхонты красной смородины, тяжелые сережки крыжовника. Прижавшись к скале гранита, чернеет деревянная беседка, вся в зелени, в черемухе, в сирени и жасмине. Весной-то какая красота!..

– Садиком любопытствуете? – спрашивает старичок-послушник в скуфейке. – Да, по весне рай у нас. Соловушки, ангельское дыхание воздухов, цветики Господни. Голову даже заливает, не отойдешь. Яблока у нас на весь год братии хватает. А какая антоновка..! На Благовещенье моченым яблочком утешаемся. А с чайком-то заваришь... И подумайте то: ведь на камне произрастание красоты такой! Двадцать лет трудился тут монах Гавриил, землю таскал на луду плешивую, все сам насадил. А вон, поправей, у моста через овраг, другой сад. Там у нас лечебные травы произрастают. Там на каждой яблоньке, может, десятка по два сортов родится трудами о. Никанора премудрого. Награды имеем за яблочки, медали золотые. А цветов-то сколько, какие и – аргины, и... чего-чего нет! Иконы убираем, и Крест Животворящий, на Воздвиженье, и на хоругви, на крестный ход когда... Ли-лии произрастают даже, белые, чистые, вот архангел-то Гавриил пишется, с ли-лиями... самые такие, все трудами. У нас по озеру в июнь-месяце льдинки еще похаживают, а уж сады цветут – благоухают, дыханье ангельское такое... вон куда уйдешь, а все слыхать, как черемуха подает себя... по всему-то монастырю, томит даже, окошки уж прикрываем, размаривает душу.

– Поедут по скитам-то? – спрашивает знакомый богомолец, извозчик питерский, ехали с ними на пароходе.

– Поедут беспременно. Вишь, пароходик-то наш дымит, пары разводят. А куда ездить изволили?

– К «Коневской» ездили, к Александру Свирскому... А теперь куда повезут?

– О. казначей возвестил, чтобы к Андрею Первозванному, часовенка там, на высоте, очень живописная красота расположения. Бывали?

– Как не бывать, мы каждый год все скиты объезжаем, завсегда уж по скитам, душу радуем. Когда еще и парохода у вас не было, так на лодках ходили, годов тому двадцать. Мы старинные богомольцы, тогда билетов этих не выбирали. А теперь по билетам, за денежки.

– А как же-с... пар-то развести надо? То на своем пару возили, на веслах, а теперь надо пароходик оправдать. А с бедного богомольца мы не взыскиваем. Кто побогаче – за него мзду и положит, вот и ладно выходит, по-Божьи. Не правда разве? А не от корысти мы. Мы для богомольца всякое удовольствие предоставляем. Стих даже для богомольца поют, монашек наш придумал. «Пречудный остров Валаам» – называется, «обитель избранных людей».

Видно сверху, как на пристани, у пароходика, чинно расхаживают в долгополых рясках и острых шлычках, перетянутые кожаными поясами, мальчики-монашонки, отданные родителями в духовное наставление на год-другой. Ведут они себя чинно, солидно даже, как настоящие монахи. На их лицах – присматривался я к ним подолгу – залегла несвойственная их летам сосредоточенность, вдумчивость, сознание некоего подвига. Пожалуй и хорошо это. О. Антипа все говорил бывало: «от святого не будет плохого, молитвами силы набирают». Невольно улыбнешься, когда услышишь, как мальчуган, серьезный не по годам, входя к вам в келью с видом смиренного брата, напевно тянет: «Молитвами Святых Отец, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, по-ми-луй на-ас...»

Неподалеку вижу я коренастого старика в священнической шляпе. Он стоит у решетки и смотрит к Никольскому скиту. Загорелые кулаки его постукивают по решетке, будто от нетерпения. Оттуда, с Ладоги, приходят пароходы. Но там еще ничего не видно. «Пароход!» – слышу я хриплый возглас, тревожный, возбужденный, и вижу, как рыжий сапог старика бьет по гранитному столбику решетки. «Слышите... гудит?» – тревожно говорит старик сам с собой. Я посмотрел к Ладоге – нет никакого парохода. И услыхал: «и сегодня нет».

Я спросил: «Вы ждете парохода..? Вы из богомольцев?» Он махнул рукой, устало, – безнадежно, так показалось мне.

– Прислан сюда, под начал, на исправление, указом. Прошли все сроки... все жду... три года здесь...

Он говорил отрывисто и, показалось мне, раздраженно. Взглянул на нас и улыбнулся растерянно, словно хотел сказать: «видите, какое положение», – жалобно как-то улыбнулся, виновато. И я смутился: священник, старый человек и – для исправления, как мальчик! Мне было стыдно спросить его – за что же он под начал, на исправление. Но он сам начал говорить:

– Знаете, господин студент... там ведь у меня семья, шестеро ребят, попадья горюет, поджидает, а они забыли! Далеко, под Поневежем, Олонецкой губернии, глухое место наше. Ну, провинился, каюсь, пил. Да пора бы уж... Господь простил, видит мое раскаяние. Трудно попадье, просвирней в селе стала... дочка в селе учительствует, парни мои в семинарии...

– Что же вы не едете, если пора..?

– Нет консисторского указа, да и приход мой занят. А у попадьи моей денег нету, чтобы хлопотать. Все и жду, – вот пароход придет, указ пришлют, приход дадут... письмецо попадья напишет.

Тихо, словно на колесиках подкатился, подошел мальчик-монашонок и бухнулся в ноги священнику:

– Благословите, батюшка о. Николай.

Старик истово благословил его и дал поцеловать руку.

– Что, парнишка, не скучаешь? – потрепал он монашонка по щеке. – Отец его привез, по обещанию, потрудиться на монастырь. В бабки, чай, хочется сыграть, с мальчишками подраться, а?

– Не-эт... – смиренно-грустно сказал мальчик, – греха много...

– Ишь, греха много... что говорит-то! Да знаешь ли ты еще грех-то? Грех, братец..! Господи, прости мои согрешения...

О. Николай не договорил. Загудел пароход на Ладоге и показал из-за мыса дым. В скиту Никольском, на островке, появились две черные фигурки: вышли отшельники поглядеть на вестника покинутого мира. Белый пароход входит в пролив, оглашая могучим ревом тихие леса на скалах. Подвигается ближе, ближе. Видно темную толпу богомольцев на палубе. Слышно, как стройно поют на пароходе, церковное, вызывая лесное эхо: «...да воссияет и нам гре-шным... свет Твой присносу-у-у-щный...» Монахи на пристани отвечают: «...молитвами Богородицы, Светодавче, слава Тебе». Монастырская тележка с грохотом скатывается к пристани. Монах с книгой важно спускается по гранитной лестнице. Бегут богомольцы по горе – «мир» встречать. Подходят к решетке, смотрят. Говорят:

– Отец Николай-то как побежал... весточку поджидает все.

– Хоть и попривык к нам, а на грешную волю рвется... – говорит старый послушник, – а отчего? Суемудрие все питает, в отсечении воли своея не приобык.

Нам страшно от этих слов. Невыразимо жалко бедного батюшку. Нам понятна его тоска. Мы крепко беремся за руки, идем к гостинице и взглядами говорим друг другу: нет, никогда не разлучаться! Нас встречает благовест к вечерне, вечерний отсвет на куполах, на крестах.

VII. – ТРУДЫ ПОСЛУШАНИЯ «ВО ИМЯ». УСТАВ СТАРЦА НАЗАРИЯ

На высокой скале гранита – сажен тридцать – белое здание мастерских и водопровода. В нижнем ярусе – черное жерло кузницы. Входим. Как раз мальчик-монашонок набрасывает на колесо приводной ремень, и огромный машинный мех начинает выбрасывать из горна вихри слепящих искр. Мех тяжело вздыхает, сопит и хлюпает. Нам жарко стоять и у порога. Кузнец-монах хмуро встречает нас немым поклоном. Жилистые его руки ударяют мерно по добела раскаленной полосе тяжелым молотом, и за каждым сухим ударом слышится влажный подхрип. Это в его груди. Над ним золотое сиянье искр. Даже на нем, даже в его седой бороде вспыхивают и гаснут искры. Седеющие его кудри подхвачены ремешком, волосатая грудь раскрыта, на ней черные струи пота. Это «хозяин» кузницы, о. Лука. Ему, пожалуй, к шестидесяти годкам, а он с утра и до вечера с железом, огнем и молотом, – трудится послушанием во имя Божие, во славу Валаама. А нам страшно стоять и у порога. Тут и литейная. Закопченный монах возится с лампочкой-коптилкой, формует в черной земле отливку. Даже не видит нас.

– Нам не надо надсмотрщиков, – говорит провожатый-монах, – для Бога работаем, а Бога не обманешь. Ревнуем во имя Божие.

Пораженный, я думаю: «здесь ни борьбы», ни «труда и капитала», ни «прибавочной ценности», одна «ценность» – во имя Божие. Во имя, – какая это сила? Там – во имя... чего? А эти, «темные», все те вопросы разрешили, одним – «во имя».

Осматриваем лесопильню, баню. На втором ярусе – слесарная, токарная, сверлильная, точильная, сушильная... – и всюду кипит работа, всюду визжат станки. И всюду – они, «темные»: послушники, монахи, трудники.

– Бог в помощь! – говорит провожающий нас монах, входя в новое отделение мастерских.

Никто и не посмотрит, работают. Только монах-хозяин молча поклонится. Стоят у станков и богомольцы: пришли

«Бога ради», по обету, – потрудиться на монастырь. Кто они? Питерские рабочие, «все превосходные мастера-специалисты». Глазам не верю: питерские рабочие... мастера?! А как же, все говорили там... на сходках в университете, что питерские рабочие самый оплот в политической борьбе за..? А вот, и они – «во имя», во имя Божие. Я вижу лица, хорошие, светлые, русские, родные, человеческие лица, добрые, вдумчивые лица. Ни злобы, ни раздражения, ни «борьбы».

– И подолгу работают?

– Да разное бывает... бывает, что и на месяц остается, а то... душой охватит, войдет в него благостное, понравится ему святое дело, он и на полгодика останется. А бывает, что и совсем останется, избранные которые, призваны. А это уж как Господь. Человек человеку рознь. У одного души во плоти больше, она и покорит плоть. А вот монахи-хозяева – все первейшие мастера с питерских заводов, самые мозговитые, знатоки. А как работают-то... до кровяного пота. Потому что – во имя Божие.

«Что нам лениться? мы для Бога, мы уж на то пошли своей волей!» – слыхал я на Валааме часто. А там...

Смотрим водопровод, спускаемся в бесконечную глубь земную. Вода поднимается насосом на тридцать сажен. С пролива Монастырского видна гранитная высоченная скала. Прорвали ее порохом монахи, устроили в ней водопровод. Те самые валаамские монахи, крестьяне больше, которые за всенощным бдением в темных углах собора, припав к каменным плитам, смиренно перебирают четки, творят Иисусову молитву.

– Сто сорок две ступени... – шепотом говорит монашек.

Мы внизу, в небольшой каморке из кирпичей. Стены сочатся каплями. В полу – «окно», закрытое решеткой.

– Не угодно ли заглянуть, ладожская водица плещется... не бойтесь, не глубоко, саженьки четыре только... в граните этот колодезь прорван. Сажени на две от берега ведет воду из озера труба... а отсюда машиной поднимаем.

Я встаю на колени, наклоняюсь, гляжу в глубину колодца: черная глубина, вода.

Создателем этого «чуда» валаамского, знамения духовной силы иноков валаамских, был настоятель Дамаскин. Монахи рассказывают, что один инженер просил десять тысяч рублей за план и руководство сооружением. Игумен Дамаскин ответил: «Где нам, беднякам, такими миллионами швыряться!» – и отказался от плана инженера. Мудрый и деятельный старец решил делать хозяйственным способом и нашел «инженера» у себя – иеромонаха о. Ионафана. Когда-то тот работал на питерском заводе, понимал механическое дело.

Он создал план и руководил работой. Весь Валаам работал – «возревновал о Господе». И вот, после четырехлетних трудов кровавых, явилось чудо, – для Валаама, несомненно, чудо! – которое так потрясло монахов, что даже и тогда, когда посетили мы Валаам – 30 лет после сооружения, – иноки говорили восхищенно об этом «чуде» и обращали на него внимание приезжих. И что же? Всегда и во всем суровые, строгие к себе, такие трудовые-деловые, мудрые, все еще радовались они «нашему водопроводу», радовались не как знамению силы своей, а как ребята замысловатой какой игрушке. Они совсем не ставят себе это в подвиг, не относят ко «скудоумию» своему, почти и не говорят о том, как шли работы, они забыли даже имя строителя и приписывают его лицу, под управлением которого они жили в обители:

– При игумене Дамаскине сооружено. Он, батюшка, такую штуку воздвиг.

В валаамских книгах об этом значится: «В 1860 г. о. Дамаскин начал и в 4 лета кончил весьма важное для монастыря и замечательное само по себе сооружение». Только и всего. В камере водопроводного тоннеля – 142 ступени! – высечена на камне запись: «Поднята вода 1863 лета, декабрия в 12 день». Такие же точно «глухие» начертания встречаете вы повсюду на молчаливом Валааме. Вот чудесная грунтовая дорога в лесной дебри, крепкая – «из хряща». Сколько труда положено было, чтобы провести ее по болотам, по «луде», в трущобах. Сказано об этом скупо: «проведена сия дорога 1845 года». «Сей мост сооружен 1848 года». А кем – ни слова. Тут труды безымянные, «глухие», не для славы, а – «во имя». А раз «во имя», какие же тут могут быть слова о трудностях, о лицах, – «о суемудрии»!

Показывал нам водопровод монашек-парнишка, «механик при машине», совсем мальчик, лет шестнадцати, худенький. А какая осмысленность в скупой речи, какая сознательность в действиях, какая проникновенность служением во имя! И сквозь эту осмысленность так сквозила наивность-детсткость и... радость, что все это, что только мы здесь видим, – ихнее, братское, дарованное им Господом. Он, например, совершенно преобразился, оживился, когда привел нас на третий этаж, где стояли большие водоемы, и показал на веревочку: «а тут как бы живой глаз-дозор»!

– Это братия измыслила, сама... наш водомер тут. Как вода дойдет до краев, сейчас гирька на звонок надавит, и пойдет тревога. Я сейчас ремень с машинного привода долой, насос и перестает накачивать!

Я не сказал ему, что это давно в физике Краевича имеется: жалко было разочаровывать простягу. Возможно, что они и сами это изобрели, без нашего Краевича. Потом брат Ар-

темий показал нам сушильню для белья – «сухим паром», потом – гидравлический пресс для отжиманья белья, подъемный кран, поднимающий грязное белье из бани в прачечную. И тут я вспомнил слова купца на пароходе: «на все у них машина»! На ферме, на скотном дворе, на пристани, в мастерских – все машины да «приспособленьица». Вокруг нас всюду шуршали приводные ремни, работали станки, визжали сверла. А я-то думал – косный народ монахи. А эти монахи – сплошь простаки-крестьяне – знали неизмеримо больше меня, студента, в «делах земных». А в «неземном»... – что уж тут говорить. Они постигли сердцем великую поэзию молитвы. Они знали каноны, акафисты, ирмосы, стихиры, какие-то – я не понимал, что это, – «кондаки», «гласы», «антифоны», «катавасии»... Они как-то достигли тайны – объединить в душе, слить в себе нераздельно два разных мира – земное и небесное, и это «небесное» для них стало таким же близким, таким же почти своим, как видимость. Я тогда еще смутно чувствовал, что они неизмеримо богаче меня духовно, несмотря на мои «брошюрки» и «философии».

Я знал их устав – «старца Назария Саровского». И пришла игривая мысль – искусить парнишку. Было это на пустынной лестнице водопровода. Я вынул кошелек и достал новенький двугривенный.

– Это вам за труды...

Брат Артемий покачал головой в смущенье:

– Нет-с... мы денег не берем.

– Ну, на бараночки вам, с чайком попьете...

– Нет, не могу принять. Устав почитайте наш.

Мне стало стыдно. Но я пробовал уговаривать. Мне хотелось и поблагодарить милого мальчугана за рвение, с каким показывал он «славу обители».

– Да и зачем нам здесь деньги? Все равно, если и устав нарушишь, подашься на соблазн... все равно нечего на них купить здесь. Только душой намаешься.

И говорил это мальчик; говорил мне, студенту.

И так все, кому ни предлагал я плату за услуги: «уж если такое ваше желание благое, положите в монастырскую кружку, на нужды святой обители... пойдет от вашей лепты на бедных, много их к нам приходит». Раз только, сказал мне один брат, тоже отказавшийся от «злата»:

– Уж если желаете оказать мне любовь вашу, пришлите книжку священную... епископа Феофана либо Брянчанинова... ежели только о. игумен благословит.

На стене гостиницы, у входа, висит за стеклом устав монастырский, обязательный для богомольцев и монахов. По этому уставу, без благословения о. игумена, ни богомолец к

иноку, ни инок к богомольцу, ни даже богомольцы друг к другу войти не могут. Но слаб человек, и потому установлен надзор за ним.

Входя в гостиницу, вы заметите строгого лицом монаха. Это дозорщик. Он или стоит на крыльце, или расхаживает по коридору. В кармане у него книжка, где он делает свои заметки. Например: «брат Тихон заходил в келью № 28 и оставался там 10 минут». Это – «око» монастырское, для пресечения нарушений. Иноки говорят: «для слабых духом, для новоначальных и неокрепших с воли».

Какой-нибудь не укрепившийся еще инок узнает, например, что с прибывшим из Питера пароходом приехали его родные. Какое же искушение для «неокрепшего»! Сунется монашек к о. игумену за благословением, а тот по делам в отлучке. Он к о. казначею, – и о. казначей по делам ушел. А повидаться хочется. Вот и бежит монашек в гостиницу и – юрк в келью. А по пятам «око» – наблюдающий: «зачем»? – «С родными повидаться». – «С благословения?» И назад оборотит да еще о. настоятелю доложит. И возвестит настоятель ослушнику «поклончики» или еще, построже. Тогда, сорок два года тому назад, на старом Валааме крепки были порядки, введенные суровым «хозяином» Валаама – о. Дамаскиным, устав старца Назария соблюдался строго – неукоснительно. Как-то теперь там?

Грех силен. «Мир» со своими «прелестями» старается прорваться или пролезть в тихий, укрытый от греха Валаам, смутить и без того мятущуюся иноческую душу. Грех этот проникает с каждым пароходом в сумках и узелках паломников. И потому Валаам особенно зорко следит за новоприбывшими.

Как только раздастся пароходный гудок в проливе, с горы спускаются «дозорные», на которых лежит послушание очень важное: следить, чтобы пароход не спустил на берег «зачумленного» – пьяного питерца, что бывало, и чтобы раньше прибывшие богомольцы не проскользнули на пароход и не купили бы чего «зловредного». Монахи и послушники, по уставу Валаама, не имеют доступа на пристань, исключая назначенных для досмотра и певчих. Если кто из иноков свободен от послушания, – что очень редко случается, – тот с высокой скалы, от чугунной решетки, только взирает на оживленную пароходом пристань, на вестника иного мира.

Новоприбывшие поднимаются к гостинице, и здесь премудрый о. Антипа делает строгие опросы. Посылочки, письма, «гостинчики» заносятся в особую книгу, препровождаются к о. игумену, и когда тот возвестит – вывешивается объявление, кому из братии присланы посылочки или пись-

ма. При Дамаскине было с этим строго. В наше посещение – попроще: только контроль игумена.

– А при батюшке Дамаскине покойном... ох, наплачешься, бывало, с посылочкой... – рассказывали мне на Валааме. – Разморит тебя о. игумен словом своим, что каленым железом сердце твое прожгет, вот как было.

– Да зачем же это?

– Строгость была в нем несокрушимая. Он, может, сам сколько искушений претерпел, вот и ревновал о благочестии. Опытом знал, как грех внедряется. Да вот, расскажу я вам один случай. Поступил к нам послушничком из Питера один человек. Ну, зиму пробыл – ничего. Только, как сейчас помню, пришел к нам мая 12 первый пароход. Раньше нельзя к нам достигнуть, лед по озеру носит. И приехала с этим пароходом сестрица того послушничка, брата Василия, купчиха она была. Приехала сестрица и гостинчиков корзиночку привезла: ну, икорки, пастилки, рыбки, вареньица, изюмчику, – все по-постному, чинно. Брат Василий и увидь ее в церкви. Ну, та ему и пошептала мимоходом, что вот, мол, гостинчика тебе привезла. После обедни брат Василий к о. игумену за благословением: «так и так... приехала сестрица, благословите, батюшка, гостинчик принять». А батюшка Дамаскин прозорливец был, смаху, бывало, ничего не делал. Сейчас – казначея. «О. казначей, поди, говорит, дознай, какая-такая к брату Василию сестрица приехала, какой-такой гостинчик ему привезла. Позови-ка ее сюда к нам с гостинчиком-то ее». Ну, пришла сестрица благолепная такая, торгового сословия, такую вот корзиночку с собой принесла, еле тащит. Посмотрел о. игумен в корзиночку ту... да говорит, грустно-проникновенно так: «и сколько же ты, мать моя, денег-то извела... и на что только! Такую пищию-ту генералам только вкушать-услаждать мамону... а нам где, грешникам... нам бы щец постных похлебать – и то слава Тебе, Господи». Та было оправдываться, то-се, расстроилась с непривычки: «от достатку нашего, батюшка... братца порадовать... привышный он к такому...» – «Брате Василичко! – говорит о. игумен, и таково жалостливо: – ну, чем тебе у нас худо? голодно, что ли, тебе у нас? вкушать, что ли, нечего тебе у нас?..» Тот ему в ноги, со всем усердием. «Простите, батюшка... сама привезла, не просил я...» «Брате Василичко! – опять говорит о. игумен, и жалостливо все так, – я-то, грешный, икорку вкушаю, что ли... пастилкой услаждаюсь; а? И не стыдно тебе, брате Василичко... обидел ты обитель нашу...» Ну, а сестрица все просит гостинчик принять, во славу Божию. Ласково так взглянул на нее о. игумен. «Не надо нам твоего гостинчика, матушка... И к чему это нам, такие роскоши... ведь на соблазн! Станет брат Василичко икорку

есть, а увидят у него братья и отцы и сами возжелают, и коль раньше не просили, так просить зачнут, чтобы и им родные икорку да пастилку привозили...» Так и не благословил принять гостинчик.

– Ну, а теперь осматривают у вас посылки?

– Да как же не досматривать-то? Да мало ли чего в посылку напхают. В миру-то диавол лесть свою как внедряет? Все норовит, чтобы все шито-крыто было... а ты разверни с благословением-то, обмозгуй, ан пакость его и выплывет наружу. Такой у нас, к примеру, случай был... Приходит к нам табашная книга... А вот такая, табашная. Прислали одному брату книгу священную, поучения Иоанна Златоуста... Ну, сейчас к о. наместнику, игумен в отлучке был. Тот, благословясь, и давай ее разворачивать. Развернул, – а там... табак насыпан! да так хитро, листов через десяток... и незаметно вовсе, тонко так, рассеяно, для сокрытия греха. Ну... сжечь велел в пещи огненной. И в скляницах присылают непотребное... Есть тоже разные богомольцы, разве его прознаешь. Иной приедет не для моленья, а чтобы развратить-соблазнить... а потом и смеется, как он монахов обошел... не он, понятно, а через него нечистый проникает, с пути свести. Это тоже знать надо, искушения эти. Он-то вот как ополчается на святое дело... иноки только чувствовать это могут. Вас-то, мирских, чего ему соблазнять, вы у него в кармане, а он тут норовит сработать, тут ему крепость поперек дорожки стоит, вот и старается одолеть. Вы опытных старцев поспросите, они вам скажут, как о н ожесточается, когда видит, что человек над своими страстями поднялся, ветхую плоть одолевает, чистый дух в нем проявляется. Вот тут-то самая страшная борьба, даже до видимости. Все великие подвижники эти свидетельствуют, самые высокочистые особенно. А вы чего так улыбаться стали, не ве-рите вы..? Ах, эти образованные неверы... да ведь это-то века та-ак... читайте отчие книги, отецкие... все святые Отцы...

Тогда я улыбался. Тогда я чувствовал мир, реальный, вот этот мир, и только. И многое объяснял – «физиологией». Ныне... Ныне стала скромней сама наука, осторожней: и ей открываются «миры иные»: знаемый мир ей тесен, ищет она – иных. Не называя – ищет.

VIII. – НА ПАРОХОДИКЕ ПО СКИТАМ. – ОТКЛИК ИЗ ДАЛИ ЛЕТ. – В НИКОНОВОМ ЗАЛИВЕ

В сенях гостиницы монах продает билеты на пароходик монастырский: собираются ехать к часовне Андрея Первозванного, что на горе у Никонова залива, – служить молебен.

До двадцати часовен на Валааме, по островам, на пустынных дорогах, в дебрях: воистину – глушь святая. Бывало, зайдешь в леса: какая первозданность! Белки тут не боятся человека, и птицы не боятся. Да что белки! Не боится и крупный зверь. Слышишь – трещит по чаще. Стоишь и ждешь. И вот выходит на дорогу... олень? Олень. С ветвистыми рогами. И смотрит, вкопанный, влажным, покойным глазом, – без удивления, без страха. «А, это ты, человек... знаю тебя...» – так будто говорит молчанием, взглядом. И – ничего, перейдет дорогу. Пугает как-то нежданная такая встреча, будто нездешняя. И смутно припоминаются как будто: где-то... такое было..? Пройдешь – и новая встреча, тоже совсем нежданная: часовня. Глушь, дебри непроходимые, а тут, в полумгле заломчика, в часовне, – Богоматерь, лампада, воск, корочка хлеба, оставленная как дар – какому-нибудь доброму лесному зверю: Божий дар. Изумишься: в дебрях лампада теплится! светит не Лику только, а этим дебрям, лесной глуши, чистой природе Божией. «Человек освящает дебри...» – помню, бродили во мне мысли, светлые мысли, рожденные этим светом валаамским. Топили, крыли – «физиологию». Из этих дебрей возвращался я чем-то исполненный, чем-то новым, еще неясным... – благоговением?

Путь к часовне у Никонова залива идет проливами, мимо отвесных скал, покрытых лишайником и мохом, зарослями брусники и черники, – целые ковры на камнях, алые, бордовые, черные, в глянце-мате. Вьются проливчики между скал, и вдруг – откроется Ладога, вольная гладь озерная, морская. На скалах леса, леса. Вон мшистая ель упала, вырвало ее ветрами, висит высоко-высоко, корнями уцепившись, вот свалится. Или – вдруг вынырнет из-за скалистого мыса весь сказочный какой-то, зачарованный островок. На нем сочная, нежно-зеленая трава, не хоженная никем, дремотная. Золотые на ней стрекозы, уснувшие в полете. Сон-дрема. И тихие, светло-зеленые березки, белые-белые, дремотные. Не простые березки, а святые – так они чисты, девственны, детски-нежны. И видишь – грибы под ними! И грибы сказочные, дремотные. И сколько же раз, бывало, поднималось желание в сердце: «вот хорошо бы остаться здесь». Такое только во сне бывает: сказочное, дремотное – неземное. Или – заросли камыша, тихая-тихая вода, кувшинки, желтые, белые, – глубина. Вот кончилась всякая вода, нет дороги, впереди высоченная стена гранита. Как же наш пароход пройдет? Под стеной, на солнце, красный ковер брусники: сочная, крупная, нездешняя. Протягиваешь руку – до того близко это, сейчас за бортом, царапает пароходик берег... – и вдруг отошла стена, и снова залив широкий, и в глубине его, между скал, голубеет приволье Ладоги.

Пароходик «Св. Николай» – не больше хорошей лодки: как мы усядемся? Столько народу едет. Из окна нашей кельи вижу, как направляется к пристани о. Николай, присланный на исправление старик-священник. Его послушание – ездить с богомольцами по скитам и служить молебны. Монашонки-певчие чинно идут за ним. Пора и нам. Теперь я понимаю: пароходик потащит лодки. Нас приглашают «в почетные», поедем на самом пароходике, в каютке: на случай непогоды. Лучше бы в лодке, чудесная погода, какое солнце!

– А вы на нашу погодку не полагайтесь, у нас сразу надвигает, озерная погодка, – говорит послушник с шестом, для продиранья в проливчиках.

И правда: ясный и теплый день напрасно поманил нас августовской прощальной прелестью. Надвинулись низкие дождевые облака, леса на скалах померкли, заволоклись. Ехать ли? На Валааме с погодой не считаются: и непогода от Господа, принимай. Озеро разбушуется – пусть бушует. Маленький пароходик кутается в дыму, шипит. Машинист-послушник, коренастый малый, сидит на дровах, поджидает, когда усядутся богомольцы в лодки.

– А чего это машина твоя так шипит? – спрашивают его. – Уж и старинный ваш пароходик, котла-то не разорвет?

– Что?! – с изумлением отвечает машинист, словно и не слыхал никогда, что котлы разрывает.

– Да... котла, спрашиваю того... не разорвет?

– Да разве можно? да что ты, брат..?

– Да почему же нельзя? – спрашивает, видно, знающий, может быть, тоже «механик», питерец.

– Да нельзя... да как же это... разорвет! да тогда скольким людям погибель!..

– Про то-то и говорю...

– Не-эт, у нас это не бывает, чтобы котлы рвало... да разве это можно? У нас так, что и не умемши машиной заправляют, а ничего... сипит только, боле ничего.

Говорят бывалые, что с этим машинистом можно хоть в океаны ехать, дело знает. Вон пароходик стоит, чуть побольше-то, «Валаам»... так он с ним «Петра» в Питер водил по всей Ладоге, и то ничего, довел. Сломал «Петр» винт, на камень напоролся. Ну, «Валаамушка» его и повел по озеру, глядеть забавно: сам махонький, а энтот громадина какая! Да тут никогда плохого не случается, Угодники наблюдают.

Богомольцы набиваются в две большие лодки. Пароходик свистит по-детски, отчаливаем с молитвой: «Волною морско-о-о-ю-у... скры-ы-и-вшего...» На кормах лодок стали крепыши-послушники с шестами – править. В каютке сел о. Николай, печальный. Тут же с нами устроились три питерские

девицы в платочках. Рыжий послушник-певчий, видимо, старался показывать свое искусство перед девицами: пел с выражением и вздохами. Девицы поглядывали на него и чего-то шушукались. Стали капризно возмущаться: и что-то все из духовного поют... романсик бы какой спели!

– Есть у нас для вас и романсики, духовные только! – слышу я не без удивления галантный разговор послушника, нарушившего тем самым – разговором с девицами – все правила валаамского устава.

– На свободе здесь, – вздыхает о. Николай, – меня-то они не стесняются. – Природа... годы молодые, дух-то и не удержишь.

Мальчики-певчие убегают на палубу, и оттуда слышится их возня.

– Трубу!.. трубу сымай!.. – кричит рулевой.

Подъезжаем к каменной арке Владимирского моста. Этим мостом проходит дорога в скит Всех Святых. Труба снята, и пароходик проползает под мостом, кутая нас в дыму. Поем «Достойно». Прибегают в каюту два монашонка. Один надевает шляпу о. Николая, другой подходит к нему смиренно и говорит: «благословите, батюшка». Монашонок в шляпе истово благословляет. О. Николай кротко улыбается на них, треплет по раскрасневшимся личикам. Вспоминает, должно быть, своих ребят.

– А не пропоете ли, мадамы, стишок наш валаамский с нами? – галантно, как питерский приказчик, восклицает рыжий певчий и сует девицам книжечки со «стишком».

Девицы весело соглашаются. Рыжий принимает позу, как тенор на театре, и, заложив живописную руку за кожаный пояс своего полинявшего подрясника, баском зачинает «стишок». «Дозорное око» далеко, а о. Николай... кто же его боится!

«Стишок» трогательный и длинный. Его сочинил молодой инок, рясофорный монах о. Петр, спасающийся в скиту Александра Свирского, «на горе». Скит этот дальний, глухой, подвижнический. О. Петр готовится там принять полный чин ангельский. Может быть, и схимонахом станет. Стих выражает восторги инока перед неземной красотой обители. В памяти моей сохранились еще иные строфы. Вот, помнится:

О, дивный остров Валаам!
Рука божественной судьбы
Воздвигла здесь обитель рая,
Обитель вышней чистоты.

Богоизбранная обитель,
Пречудный остров Валаам!

Тебя дерзнул воспеть твой житель:
Прими его ничтожный дар!

Не знаю, как воспеть сумею
Твои долины и поля,
Твои леса, твои заливы,
Твои священные места

Мне перечесть не хватит силы
Твоих подвижников святых,
Но их поросшие могилы
Легко пополнить могут стих.

Девицы легко осваиваются с простым мотивом и поют с увлечением. Рыжий послушник, видимо, забывает, где он. Он лихо поправляет свою скуфью, ерошит пышные волосы, чтобы падали на спину волнисто, очень приметно охорашивается. Девицы кричат ему: «нежней, нежней пойте!» «С нашим удовольствием-с!» – восклицает рыжий.

Я о тебе сказать не смею:
Ты так прекрасна, хороша!
Сложить я песни не умею:
Перед тобой она бледна.

Конечно, инок-стихотворец разумеет под ней обитель, но рыжий, кажется мне, разумеет совсем другое. Он смотрит на девиц, и его рука прижата к сердцу. Понимают это и девицы: прыскают вдруг в ладошки. О. Николай вздыхает: «ах, молодость, молодость...»

Думал ли я тогда, слушая стишок этот и подпевая вместе с юной женой моей, что к концу моей жизни, нашей жизни, отзовется в душе моей этот ненастный день, – какой же чудесный день! – и вспомнится живо все – глубокая тишина лесная, сеющий дождик, кулички на отмели, о. Николай, которого уже нет на свете, и – этот рыжий игривый послушник! Всю жизнь хранилось это во мне, крепко забытое, и вот срок пришел, и все восстало нетронутым, ярким, до ослепительности. И связанное с ним, другое, важнейшее.

– Вы откуда изволите..? – спрашивает меня худощекий инок, приятный такой лицом, смиренный.

Я его давно приметил. Он сидел на палубе под дождем и смотрел на леса и воды грустно-внимательно.

Я сказал, откуда. Он продолжал смиренно:

– И мне скоро придется Москву увидеть. Послезавтра уезжаю туда, а оттуда в Восточную Сибирь.

– Почему же так далеко... в другой монастырь переходите?

– Такое послушание дано нам. Мы с братом, – назвал он другого послушника, сидевшего тут же, молча, – назначены, и принимаем душевно послушание сие... во Владивосток. Монастырь там открывается.

– А давно вы на Валааме?

– Годов пятнадцать. Трудно расставаться, все тут родное. Вот и езжу теперь по скитам, прощаемся. Ах, хорошо у нас, век бы не ушел...

Он грустно глядел на стены серых скал, на редкие елочки в щелях утесов.

– И не поверите, как грустно. Сибирь... там чужое все. А здесь у нас братство. Я из крестьян, трудно крестьянам... а здесь – братство у нас...

Встреча, каких много в пути бывает. Думал ли я, что эта встреча отзовется во мне, почти через полвека, в конце жизни, чтобы я что-то уразумел, важнейшее..? Думал ли и он, отъезжавший в неведомую даль, что назначено ему, как и молчаливому его спутнику, великое исполнить, светом всю свою жизнь наполнить и, может быть, – да так оно и случилось, – много жизней наполнить и освятить! что наши пути некогда опять скрестятся, духовно встретятся? А вот случилось...

Осень, 1935 год. Прошло как раз сорок лет с той прогулки на пароходике. Я получил письмо. Письмо было не ко мне, а к моему собрату, с просьбой передать мне некоторые, может быть, небезынтересные для меня сведения. И правда: сведения оказались не только интересными, но – для меня – значительности великой и бодрящей.

После поездки на Валаам я написал первую свою книжку, юную, наивную немножко, пожалуй, и задорную, – студент ведь был! – задержанную цензурой, – пришлось из отпечатанной уже книжки изъять более 30 страниц и заменить их, с поправками – написал книжку – «На скалах Валаама». Давным-давно разлетелась она по всей России. Еще перед войной не мог я найти ни одного экземпляра даже у букинистов. Одну книжку послал я на Валаам игумену Гавриилу, принимавшему нас когда-то в своих покоях. В книжке была описана и поездка к часовне Андрея Первозванного, бойкость рыжего певчего и встреча с иноками, принявшими послушание в далекую Сибирь. Некто из хорошо знавших Валаам, читавший мою книжку, и прислал письмо, полагая, что для меня небезынтересно будет узнать судьбу описанных мною лиц. Я глубоко признателен автору письма, напомнившему мне забытое. И что же! Давно забытые – сорок ведь лет прошло с той поры! – оказались и по сей день живыми. Жизнь их поистине удивительная. Вот что пишет мой доброхот.

«Как мною уже сообщалось Вам ранее о рыжем послушнике Георгии, которого И. С. Шмелев так неподражаемо представил в своем сочинении и который впоследствии настолько остепенился, что принял монашество, священство и даже великую схиму и теперь в великом смирении совершает свой великосхимнический подвиг; так мне хотелось бы сообщить о двух иноках, упоминаемых И. С., которые одновременно с рыжим послушником совершали свою последнюю поездку по скитам родной обители, так как на другой день этим двум инокам предстояло навсегда расстаться с родным для них Валаамом. В эту памятную поездку И. С. с ними беседовал и добрым словом помянул их в своей книге. Эти два инока – Сергий и Герман – на другой же день после встречи их с И. С. отправились на Дальний Восток на святое послушание. Там они основали Новый Валаам, святую обитель, под наименованием «Уссурийский Свято-Троицкий Николаевский монастырь». Эти два валаамских инока, Сергий и Герман, настолько идеально поставили дело устройства новой обители, что, по созидании ее, обитель эта славилась не только в Сибири, но даже и в России своей примерной монашеской дисциплиной, строгостью своего устава и своим благотворным влиянием на все окружающее. В некоторых отношениях обитель эта даже превзошла свою духовную матерь – Старый Валаам. Именно, оборудованием собственной типографии, которая печатными произведениями снабжала не только весь Уссурийский край и Сибирь, но даже делилась со Старым Валаамом.

Упомянутые иноки Сергий и Герман доселе живы, пребывают они в России, в Ростовском крае.

Старейший из них, о. игумен Сергий, святостью своего подвижнического жития снискал к себе такое уважение, что ему митр. Сергий предлагал сан епископа, но о. Сергий умолил владыку, по своему глубочайшему смирению, оставить его в сущем сане.

Уссурийская обитель не избежала общей страдальческой участи: все ее братство большевики разогнали, большой книжный и иконный склад монастыря сожгли, деревянные храмы тоже сожгли, а в братских корпусах устроили свой пресловутый «совхоз».

Так на бывшем месте святе – стала ныне мерзость запустения!

Преподобнейший о. игумен Сергий, в течение четверти века неусыпными, сверхчеловеческими трудами создавший идеальную иноческую обитель, сам видел все ее разрушение и все сатанинское издевательство над ее святынями... Теперь, горькими слезами оплакивая общее крушение и разорение своего детища, он ждет смерти от Господа, как желан-

ного успокоения от всего жизненного подвига его. В монастырской библиотеке есть портрет сих двух иноков – Сергия и Германа».

Эти строки многое мне открыли. Что говорю я, – многое! Огромное мне открыли, чего и предполагать не мог автор письма того. Открыли таинство человеческой судьбы, неисследимую духовную глубину и силу человеческой личности. Раскрылась завеса прошлого, почти полувекового, и что же я увидел! Жизнь творящуюся увидел и жизнь – творящую. За эти сорок лет, неведомыми чудесными путями, создавался «духовный человек», возрастал из заурядного парня-молодчика в послушнической ряске – в великосхимника-подвижника и смиренного служителя Господня.

Взрастил его Старый Валаам – русского молитвенника-старца. Подвиги его неведомы, и если нельзя нам пока учесть, что он дал малым сим, приходившим на Валаам за духовным хлебом, ясен для нас его личный подвиг: совершенствованья духовного – во имя Господа.

А те два инока... За эти десятилетия, изо дня в день, несли они великое послушание, творили высокий подвиг духовного просветительства, выполняли завет Христов: «шедше убо научите вся языки...» – «возьмите иго Мое на себе»... Крестьянские парни русские, пошли они с Валаама в далекий и дикий край и понесли туда Свет Христов. Сколько тягот и лишений приняли, жизни свои отдали Свету, стали историческими русскими подвижниками, продолжателями дела Святителей российских. И в этих подвигах и страданиях сохранили святое, и это святое в них, видимое народу, среди мерзости духовного опустошения, какой же пример и сдержка для окружающих, ободрение и упование для алчущих и жаждущих Правды. Такими жива и будет жива Россия. Таких взрастил и посылал в мир Старый Валаам.

Многое мне открылось, великое. И еще, важное. Закрыты человеческие судьбы; в явлениях жизни, случайных и незначительных, таятся, порой, великие содержания: будь осторожен в оценках; в трудную пору испытаний не падай духом, верь в душу человека: Господний она сосуд.

Подумать только... четыре десятилетия! Сколько всего ты видел, получил радости – и страданий тоже, – и жил большею частью, для себя. А эти, трое «случайных встречных»... Их жизнь – вся в подвигах: в подвигах возрастания духовного, служения «малым сим»... до полного отвержения себя. И еще, радостное, бодрящее: это – родное, от твоего народа.

Мы – в глубоком Никоновом заливе; глубина его, говорят, до сорока саженей. На угловом утесе белый фонарь-

маяк. Когда на озере буря, фонарь призывает плавающих в спокойный залив. Деревянная пристанька, домик для рыбаков. Тишь и глушь. Говорят: а «куда укрылся, поглядели бы скит Александра Свирского, вот где глушь-то! а высота... воистину с Господом беседа». Глухая тишина залива, лесов и камня действует на душу. Певчие умолкают. Держатся еще в памяти строки «валаамской песни»:

Андрей Апостол – есть преданье –
Крестом рассеял мрак греха,
Предрекши веры процветанье,
Поста, молитвы и труда.

Начинается настоящий дождь. Бежим в гору, к часовне. О. Николай поет молебен. Богомольцы прячутся от дождя под лапами старых елей. С высоты видно озеро, мутное за дождем, сумрачные леса, утесы, крестик заброшенного в леса скита. Возле часовни стоит деревянный крест, знаменуя тот, древний Крест, поставленный, по преданию, Апостолом Андреем. Дождь переходит в ливень. Бежим с горы по тропинке, раскатываясь на скользких иглах. Народ набивается в каюту, давка. О. Николая притиснули, но он кроткий, не скажет слова. Говорят опасливые: «сколько набилось-то... ну, пароходишка затонет!» Этого быть не может: нельзя потонуть на Валааме, Угодники не допустят, никогда такого не случалось.

Певчие в ободрение поют: «Волною морско-о-о-ю-у...» Подхватывают все радостно, уповая: «Го-о-нителя, му-у-чителя... под землею скры-ы-и-и-ша-а»...

Вступаем в узкую канаву. На камне врезано: «сооружена сия канава 1865 года».

– Стоп, машина-а!.. Го-тово дело!.. – весело кричат с лодок.

Дно пароходика скребет, пароходик дрожит и хряпает. Мальчик-монашонок свешивает за борт голову.

– Что, брат ты мой... сели на мель! – весело говорит он мне и хлопает по плечу: доволен.

И все богомольцы рады. Кричат: «поддай пару, машинист!» – «чего там пару, будем зимовать!.. Эх, хорошо, братцы... пропадай, Питер»!

– Братия, слезай на луду, пароходик облегчить! – кричит машинист, – корма села!

Богомольцы прыгают на островки, принимаются собирать бруснику. Монахи-кормщики недвижно стоят на лодках. Машинист с кочегаром отпихиваются шестами, повисли в воздухе над водой. Монашонки шмыгают с кормы на нос.

– Брат Пётра, налега-ай! – кричат с лодок. – Угоднички, выручайте!..

Советуют спеть «Дубинушку», но постарше – остерегают: она к святым местам не подходит, тут молитва верх берет. Наконец, после общих усилий богомольцев, монахов и машины, после тропаря и «Дубинушки», которую все-таки затянули на лодках не очень громко, пароходик высвободился, – и опять вереница заливов тихих, громад гранитных, проливчиков, островков, старый сосновый бор, таинственный, безмолвный. Вон уж и монастырь. Воцаряется благочиние. Монашонки опять смиренны. Певчие зачинают тропарь Преображению. На лодках крестятся – кресты золотые видно! – и подхватывают раздольно-весело:

Преобразился еси на горе-э..

IX. – СВЯТОСТИ. – В БОЛЬШОМ СКИТУ. – ВРАЗУМЛЕНИЕ

Под сводами ворот, в заломе, – монастырская лавка «святостей». Строгий монах-хозяин не предлагает богомольцам свои товары: не умеет, что ли, – или грехом считает. Ответит только, сколько стоит. Скажет – и стоит в раздумье. Все – только для богомольца из народа. Валаам не угождает случайному туристу, нет ему дела до туристов: лучше бы их и не было, соблазна меньше. Старый Валаам – суров. Богомолец его – по нем, простецкий, трудовый, духовно-постный: требует крестики и образочки, «из жития», картинки-притчи. Слышишь только:

– Для святого угла бы... за полтинник.

– Из божественного... наставительного чего бы.

Или, редко: «Библию бы, настоящую большую, самую... чтобы уж и внукам проникалось, сколько годов все собирался, со святого места...»

Нам хочется чего-нибудь из местного.

– Нет ли у вас валаамского чего-нибудь, художественного?

Монах не понимает. Смотрит недоверчиво, как будто: «эти питерские, из чистых... развлекатели, все бы им для забавки...» – думает так, пожалуй:

– Это чего, худо-ственного... как разуметь?

Стараюсь объяснить, попроще: ну, поделок из валаамского гранита... ну, пресс-папье, каких-нибудь фигурок... на письменный бы стол... Он не понимает, что за пресс-папье!

Стоит – молчит.

– Может быть, ларчик для колец... такой, изящный? на Урале делают, такие...

Нет, молчит.

– Тут для богомольцев, «святости»... поделок нету.

Фи-гурки..? из валаамского гранита? игру-шки..?!

– В Питере... там всякие безделки. Тут – «святости».

На Валааме не тратят время на безделки. Рыбу на удочку не ловят: баловство. В проливе не купаются: грех, вода святая. По грибы, по ягоды ходить для развлеченья – прихоть: ходят в послушание, во благовремении, для обихода.

Есть только деревянные изделия – святыньки: крестики из можжевелки, из кипариса-дерева, свято-афонского, да ложки с видом Валаама и «благословеньем» на черенке: станешь вкушать – Валаама вспомнишь.

Мы выбираем ложки.

Древний старичок, совсем слепой, что-то ковыряет за прилавком – нанизывает большой иглой оливковые косточки, свято-афонские, для четок. При каждом новом покупателе он еле подымается с отлакированной годами табуретки и не голосом, а выдыханьем – до того он слаб, – смиренно предлагает свое изделие: «на святую обитель, пожертвуйте... тридцать хоть копеечек, щедрость ваша...» Мы покупаем четки. Старичок светится улыбкой, поверяет угрюмому монаху, как ребенок: «дал Господь-то... вот и еще четочки приняли... сла-ва Тебе, Создателю...» Он детски счастлив, что еще может послужить обители во славу Господа. Вспоминаю и корю себя: зачем не взял у него еще, еще, все четки, какие только были. Вот бы доставил радость! Ведь труд для него – святое, подвиг, как молитва. На Валааме все – в трудах: от самого игумена, от столетнего схимонаха – до мальчугана-монашонка, привезенного отцом «на выправку», – по обещанию, «для Бога». Здесь все в работе – и душа и тело. И все – во имя. С зари до зари. А ночь? Да есть ли ночь на Валааме! Чуть забылись, а в половине 2-го ночи очередной «будильщик» призывает: «вре...мя пе-нию... мо...ли-тве ча...а-а-ас..!» И все звонит, звонит.

А вот и схимонахи, на фотографии. Это купить необходимо: это уж – «валаамское», туземное. Десять их, в схимах-колпаках, с крестами, костями, черепами. Стоят рядком, потупясь, смиренные. Должно быть – непривычно было. Но – н а д о было. Во главе – игумен. Н а д о было: требовал народ, «из святостей», под образа, украсить «святой угол». Это – свет Валаама, его слава. Какие лики! Святые старцы, из древности, – о т ц ы. Самый высокий – схимонах Иоанн, молчальник, четырнадцать лет молчал. А вот, с краю, схимонах Сергий, смиреннейший. Долгие годы мучительно страдал в болезнях и, несмотря на боли, ни единой службы не опустил. Мне про него рассказывали на Валааме.

Сильный духом был смиренный Сергий. Болезнь «заживо его съедала». Какая – неизвестно. Болел он долго, т а я л. Может быть, и рак. Однажды, за долгой службой, не смог и он преодолеть ужасной боли. Подошел – подполз к

своему старцу-духовнику, в слезах, – может быть, в слезах стыда за немощность, – и стал просить: «отпусти, отче, в келью... помираю... благослови отойти...» Но строг был старец. Мотнул головой, сказал: «а кто канон будет стоять за тебя! правило кто слушать будет?» – «Невмоготу, отче, силы нет стоять...» – «Не можешь стоять – сиди». – «Ох, не могу уж и сидеть, отче...» – «Не можешь сидеть – лежи. Лучше во храме Божием отойти, на молитве стоя». И не отпустил. И выстоял смиренный Сергий.

Рассказывал мне о его кончине инок Серафим:

– При храме нес я послушание. Помню, кончилась обедня. Подходит ко мне схимонах Сергий – чуть шепчет, как дуновение от ветерка: «прощай, отец Серафим... прощай...» А сам так-то светло плачет, обильными слезами. А я раньше еще приметил, как он во всю святую литургию плакал... так-то плакал! И вопрошаю его: «чего ты, отче Сергие, так плачешь?» А он мне, как бы дуновением, чу-уть слыхать, во сне уж будто: «ах, отче Серафиме... кабы всегда так пели, как нонче... век бы не ушел... как ангельские гласы... и уж так мне хорошо-сладостно, оттого и плачу... будто я был на небесах...» И вся мантия у него заплакана... вся мокрая-мокрая, от слез. – «И причастился я Св. Христовых Тайн... и так-то теперь легко мне... и боли мои не мучают, уснули...» Полобызались мы в плечико. А как стали звонить к вечерне, он и преставился. А это уж дух его тленное попрал, боль и уснула... заранее одухотворился. Вот был смиренный..!

Нам понравился образ угодника: светлый проникновенный лик. Спрашиваю угрюмого монаха: чья работа.

– Отца Алипия. Иконописной ведает.

Алипия... Я вспомнил. Говорили мне про него.

– Когда-то в высокой академии учился, медали золотые получал за свои картинки... «мир» писал.

Теперь не пишет «мира»: иконы только. Когда-то не совладал с бореньем, оставил Валаам.

– Духа не смог смирить... Перестал спать, мутился.

И вернулся – покорился Валааму. Не стал уходить в леса, на острова, писать в безмолвии природу Божью. Принял постриг. Пишет святые лики, только. Я возмущался таким порабощением: вытравил из него Валаам живую душу! Мне говорили:

– Нет, не так все это. Наш Валаам освободил ему живую душу, а не поработил. Святые лики ниже, что ли, по-вашему, земной красы, которая прахом распадается? Святой лик есть отображение Господня Света. Ну-ка, напишите кистью Господень Свет..? Тут уж не живописное искусство, а благодать Господня. Вот наш о. Алипий теперь и прозирает духом, ищет в ликах Господень Свет... подвиг высокий

принял. Никакое не порабощение, а воодушевление. Нетленное пишет, небесно-вечную красоту.

Теперь я знаю: высокое искусство в вечном.

Шестой час вечера. Солнце совсем над лесом, скоро за Валаам укроется. Надо бы в Большой Скит, неподалеку; завтра в Коневский едем, а там – отъезд. Не поздно ли? О. Антипа советует, даже понуждает мягко:

– Ножки у вас молоденькие, чего вам – поздно! поглядите наш Большой Скит, строгие там подвижники, и строение богатое, храм какой. Только супругу-то не впустят, женский пол только на Престол пускают, в день Всех Святых. Ну что же, проводите супруга, за воротами обождете. Ишь, дружные вы какие, все-то вместе. А то и на лошадке вас свезут...

Не надо нам лошадки, пробежим, – в лесу чудесно.

Быстро идем, бежим: надо вернуться к трапезе, не огорчить о. Антипу; строгий он, порядок любит.

Мимо пустынной пристани, проливом. Солнце зашло за Валаам. Померкло, засвежело. На берегу монашек-старичок складывает щепу – для пароходика. Рыбаки-монахи растягивают на державках сети; только что осмолили: крепкий запах, до сердца проникает. Пахнет щепой еловой, смолой, водой и... ладаном? Валаамом пахнет. Это запах вечерней свежести, сетей смоленых и – святости? – запах Валаама, обители «за гранью мира», – называл я так, – впитался в память, и доселе слышу. Трудники все еще копошатся, рубят гранит, чеканят, пилят... проволочной пилой! – как странно. Хочется смотреть, а надо к трапезе вернуться. Бежим. Молотки гранильщиков постукивают реже, трудники устали, посиживают на гранитных глыбах.

Вот и лес. Дрема и тишина ползут из чащи. Скоро доползут и до собора, служка ударит в колокол, и день закончится. Кончится день на Валааме, а там, на Ладоге, еще заря: там еще огненное солнце.

Рука с рукой, бежим мы глушью. На дороге еще светло. Видно, как прорыжело что-то... белка! Смотрим, как вьется в елях. Под ними уже сумрак, гуще. Пахнет теплом еловым, пряным. Дорога в гору. Видно с холма, как извивается дорога, на поворотах дремлют сосны. Вот где глушь-то! Что-то шуршит над ними, мягко, рыхло... – большая птица, потонула в чаще. В зеленоватом небе уже белеют звезды-точки. Смотрим в небо. Белые кисейки-облачка, недвижны. Слушаем... – ни звука. Вот она, тишина глухая. И почему-то грустно. Бежим.

По каменному мосту, над водой. Черная вода, глухая. Заглядываем, в жути: верхушки елей, небо – тьма и свет. Как жутко опрокинуто в бездонность! Бежим... Часовня! Нет, не одни мы здесь. Лик Богоматери, взирает. Лента, венчик, све-

тится подсвечник. Смотрим... Ладаном как будто пахнет. Войти? Не входим, поздно. А хорошо молиться в дебрях. Ну, успеем...

Лужайка, звон колокольца, треск сушняка... Что это... лошадь! Выходит на дорогу, протягивает губы, просит хлеба. Жаль, нет с нами хлеба. Монахи приучили, носят хлеб. Ласкаем, треплем по губам. Кроткая какая, нежные какие губы... бархат. Бежим, оглядываемся: все стоит, ждет хлебца, смотрит.

Высокий крест, гранитный, черный. Странно – крест в лесу! Стоит – и смотрит. Оглядываемся – он смотрит. Нет, не жутко, а легко теперь: стоит, благословляет.

Вон что-то забелелось, – стены башни, – скит Всех Святых. Где-то вода блестит в деревьях. Пруд? Рощица, там... холмик? Могила чья-то, крест. Нам грустно. Проходим мимо огорода. Ворота на запоре. А вот калитка. Тут предел: женщинам нельзя. В калитку видно: двор, трава, густая, темная. Башня на углу – как крепость. Надо расставаться. Жена робеет, просит – поскорей, недолго... Садится у ворот на травку. Вот странно – женщинам нельзя! Только почему-то – в праздник. Жалею, зачем пошли сюда. Глухое царство, мрак.

Иду по травке – и шагов не слышно. Тишина, глухая, как... в могиле. Храм, тихий, в пустоте. Вон казармы словно... низенькие – кельи? Холодный отблеск в окнах, неуют.

Досадую, зачем зашли сюда, «в могилу». Думаю – вернуться, и слышу кашель, глухой, тягучий. Оглядываюсь. Темный кто-то, чуть надвигается, от храма. Схимонах? Прямо ко мне, ползет. Мне жутко.

– Кто там..? не вижу... кха-а-а...

Ползет. Вспоминаю «Вия», – «подымите мне ве-ки». Жуть берет. Говорю, робея, и слышу, как четко отзывается от келий:

– Я, богомолец... скит посмотреть...

И чувствую, что говорю неправду: теперь мне нечего смотреть здесь, скорей бы выйти на свободу. Но поздно: он надвигается.

– Кха-а... поздненько, уже трапезуем, ночь. Ну, кто такой?.. – смотрит на меня из-под куколя, с крестами, – из ученых, что ли? А, студент... вот кто... это какие всех умней... слыхал. Сдалече?

Голос у схимника глухой, «могильный».

– Из Москвы.

– Из Москвы... далече. От нас все далеко. От земли дальше – к небу ближе... – показывает в небо пальцем. – Ну, пойдем... покажу наш храм. Вот, только псалтырь читал. Псалтырь-то разумеешь? Хорошо. День и ночь читаем по отшедшим отцам и братиям. Все отойдем в свой срок... нас

будут поминать. Человек, яко трава дние его... разумеешь? Ну, пойдем.

Иду безвольно в сумрак храма. Мерцает одинокая лампада. Ладанный, душный воздух. На сводах – иноки, тенями. Темный иконостас чуть золотится, смутно. Старый псалтырь на аналое. Схимонах затепливает свечку. Я различаю под куколем с крестами мертвый нос, мохнатые седые брови, – строгий лик, бородка клинушком, как пакля. Вспоминаю такие же бородки у наших плотников и штукатуров, в детстве видел. Думаю: все тут, на Валааме, из народа. Черный покров на аналое, в серебряном глазете, – поминальный. Подвижник тычет по аналою свечкой, нащупывает вставочку. Говорит «загробно»:

– День и ночь читаем по два часа, очередное. По-церковному-то разумеешь? Ну, чти... послушаю, как ты разумеешь... мы-то мало учены... послушаю.

Я в смущенье: экзаменует, этого недоставало. Знает, что слаб я по-церковному? И почему я должен ему читать? что я ему, мальчишка? вот попал-то. И ничего не видно: желтый лист, весь в воске, в пятнах, титла эти... кто тут разберет!

– Ну, чти... вот, кончил я... чти... – в лист, тощим пальцем.

Мне тесно. И не могу ослушаться, неловко как-то. И стыдно, что осрамлюсь. Мелькает в мыслях: «может быть, он провидец... знает, что пришли «из любопытства»... и нарочно, чтобы пристыдить, экзаменует?.. святому это не подходит, это уже издевательство...» И не могу ослушаться: попался. А он все тянет:

– Ну, чти... ка-к ты разумеешь..?

Захлопнуть книгу, повернуться, и..? Нет, непристойно. В волненье вглядываюсь в строки – поразобраться в титлах... и – радость! Знакомое... с детства помню, из «Шестопсалмия»! С Горкиным читали, от всенощных осталось крепко. Читаю твердо, не глядя на титла, –

...«скажи мне Господи, путь, в оньже пойду, яко к Тебе взях душу мою...»

«Что, слышишь? – думаю, – что, лихо? вот тебе и «из ученых»!»

...«Научи мя творити волю Твою, яко Ты еси Бог мой: Дух Твой благий наставит мя на землю праву».

– Ишь, хорошо разумеешь... во-ка-ак... – хвалит схимонах, а я-то думаю: «нет, не поймаешь, не провидец...» – А разумеешь ли, что сказано... тебе? Враз ведь ты попал... какое слово-то! а, разуме-ешь?..

– Разумею... – отвечаю я, не разумея.

Выдержал экзамен. Выходим. Мне легко. И схимонах приятный. Пахнет лесом, волей. Гляжу на башни.

– В крепости живете? – говорю-шучу: легко мне.

– С кем нам воевать, от греха оплот. В лесу живем, по чапыге ползем, неприметно, тихо... ан к могиле-то и подполз, и зары-ли... вся и жизнь тленная, земная.

Всю жизнь ползти к могиле! Не понимаю. Кто-то у Шекспира... про бренность жизни... да, в «Гамлете», «бедный Иорик», над черепом смеялись, а этот так спокойно, страшно... Валаам вдруг представляется могилой... все ползут, накрывшись мантиями, с крестами, черепами... «непристойно, тихо» подползают и...

– День отжил – к могиле пододвинулся... – вздыхает схимонах, спокойно.

– Чем вы питаетесь? – спрашиваю я зачем-то.

– А капусткой, водицей, хлебцем... Все едино червю могильному на пожрание приуготовляемся тленною плотию. А душа-то... туда! – показывает он в небо.

В зеленоватом небе – звезды. Ночь. Прощаемся. Старец плетется к кельям – «приуготовляться». Бегу к воротам.

– Как ты до-лго... – слышу я милый голос – облегченный вздох.

Беремся за руки, бежим во мраке. Из чащи веется жутью. Глушь, мрак. И вот, радость, – колокол, вдали. Это в монастыре, «повестка»: к трапезе. Теплом пахнуло. Берег, сети. Старичок плетется в гору, к монастырю.

– Трапезовать, батюшка, пора... кончился денек, слава Всевышнему... помилуй нас, Исусе-Спасе... – ласково говорит он нам.

Мы рады, идем с ним, говорим. Так славно – «Исусе-Спасе», – с лаской.

С горы все царство Валаама видно. Свет за нами: на озаренном небе – четкие верхушки елей. Восходит месяц, золотится в елях. Свет и впереди: белый собор, кресты сияют, видят месяц.

О. Антипа спрашивает, понравился ли скит. Говорю – да... только грустно там... и страшно. Он не понимает:

– Ка-ак... страшно? Да что ж там страшного... святое место, самый главный скит наш, подвижники приуготовляются... чего же вам страшного там показалось?..

Говорит с укором. Мне досадно, что я смутил его. Стараюсь объяснить, чтобы он понял наше настроение:

– Не знаю, батюшка... настроение...

– Че-го... не-строение?

Нет, не понимает.

– Да как вам объяснить, не знаю... такое наше настроение... все только о смерти да о смерти, все приуготовляются, всю жизнь! И все кресты там, и могилы... и ночь еще... вот и показалось страшно.

Он смотрел с сокрушением.

– А, ка-кие вы... пу-ганые! Чего же это вы кре-стиков страшитесь? Это бесы только креста страшатся. А мы, православные христиане, крестом живы. А могилок чего пугаться! За могилкой-то и отворится... жизнь вечная, во Христе... духовному-то человеку. А бесчувственнику, не-строение у кого, – чего же может отвориться..! А, какие несмысленные, а-а-а... Ну, Господь направит. Небось устали? Ну, скажу уж, принесут вам в келью, Господь с вами. Не-строение..!

Легко от вразумления о. Антипы, от кроткого его журенья. Есть хочется. Хватаем свежий просфорный хлеб, крутой, душистый, валаамский. Окно открыто. Веет прохладой. Ладогой. Жуем и смотрим. Месяц уж над лесами. Жизнь чудесна! И все чудесно. Так и будет – все дни и дни, все завтра, завтра... бесконечно. Не считаем дней, не думаем. Жуем и смотрим.

X. – СТРОИТЕЛЬ ВАЛААМА. – НИКОЛАЙ СМИРЕННЫЙ. – СТРАННИК

Все величавое, крепкое, что видите на Валааме, связано с именем Дамаскина. Это был замечательный хозяин, строитель, строгий подвижник, железный характер. Часовни, кресты, дороги, каналы, скиты, гранитные лестницы, водопровод, корпуса, колодцы, сады, храм великолепный, мастерские, фермы... – все это создано его волей, его умом. Он собрал живших по лесам и дебрям отшельников-одиночек и водворил по скитам. Он пополнил устав мудрого старца Назария Саровского, ввел суровую дисциплину. Это был игумен с железным посохом. И этот железный человек пишет в своем завещании такое:

«Я всю жизнь любил Валаам, любил каждого из вас. Мое сердце было всегда отверзто для нужд ваших... Но я был человек грубый, простой, необразованный, – естественно, что искренняя, глубокая моя любовь к вам иногда не находила себе приличных внешних выражений».

Это писал крестьянин, не получивший в миру никакого образования. Судьба его примечательна.

С юношеских лет Дамиан – мирское его имя – восчувствовал тяготение «к мирам иным»: пошел странствовать по монастырям, отыскивая себе место «душевного усовершенствования», пока не водворился на Валааме. Замечательно, что несколько странных явлений – «знамений»? – как бы указывает ему пути.

Когда он шел впервые на Валаам, встретились ему старцы с Белого моря, шедшие с Валаама в монастырь Алек-

сандра Свирского. Старцы эти низко поклонились ему, юноше, одетому по-крестьянски.

Когда он пришел на Валаам и шел лесной дорогой в скит Всех Святых, встретился ему монах Феодорит и сказал: «Оставайся-ка у нас. Трудись на послушаниях, в скиту и в пустыне. На, возьми мои четки».

Когда он пришел в скит Всех Святых, старец Евфимий, прозванный монахами «духовной улицей» за умение уловлять души, земно поклонился новоприбывшему.

И юноша остался в лесах и пустынях Валаама.

Старец Евфимий видел в юноше Дамиане готовность идти путями, какие будут ему указаны. И он приступает к ковке великого характера – будущего игумена-хозяина, строителя и подвижника. Он, например, устраивает длинную выдвижную палку и каждую ночь, в 12 часов, приходит будить своего ученика на полунощную молитву и стучит палкой в окошко во втором ярусе, где была келья брата Дамиана. И юноша бурной зимней ночью, по пояс в снегу, шел из рабочего дома к полунощнице в монастырь. Этот старец Евфимий был – или казался только, приняв это за подвиг, – юродивым, всем земно кланялся и непрестанно плакал «горючими слезами». В архиве монастырском хранится письмо монаха Иллариона, где тот свидетельствует, что по его горячей просьбе явился ему воочию умерший старец Евфимий, обещавший это ему при жизни.

Нестяжательность юного Дамиана старец испытывал, например, тем, что взял у него икону – благословение старика-отца. Он запретил ему обмывать бренное тело и даже менять белье. Наконец Дамиан удостоился принять иночество, и старец его оставил – удалился на житье в пустыню.

По благословению игумена, монах Дамаскин водворился за шесть верст от монастыря, в непроходимой глуши лесной, на берегу двух озерков. Было ему тогда 32 года. Он стал избегать встреч и разговоров, ел гнилую пищу, изнурял плоть свою и носил вериги. В бурные осенние ночи дождь стучал по стеклу оконца, завывал в трубе ветер, гудел страшными голосами бор, а Дамаскин стоял на молитве. И так – семь долгих лет. Иногда в ночи – говорит его житие – из озерка поднимался кто-то страшный, с растрепанными власами, стучал в окно кельи, ломился в двери. Иногда тьма бесов плясала вокруг кельи, и келья содрогалась, как мельница.

Потом – трудная жизнь в скиту Всех Святых, потом долголетнее игуменство, полное кипучей деятельности, всяческое строительство – хозяйство.

– Не хотите ли взглянуть на последнее деяние нашего батюшки о. Дамаскина, новое кладбище? – предложил нам

всюду нас провожавший монах-руководитель. – Увидите и лесной питомник.

К этому кладбищу ведет от монастыря длинная аллея из пихт и лиственниц. Кругом – царство лесных пород: кедры, дубы, клены, липы, пихты, серебристые тополя, березы, лиственницы, орешник... – все трудами Дамаскина.

– Тут и питомник наш, любители выписывают в Питер, и благодетелям посылаем в подарочек. А больше по островам рассаживаем, камушки наши одеваем, украшаем.

Возле красивой церкви, с византийским сводом, – кусты жасмина, шиповника, жимолости, сирени, роз и какой-то «пахучей елочки».

– А вот могила о. Дамаскина.

Высокий гранитный крест над гробницей из темного гранита, кругом цветы, много душистого горошка – любил его о. Дамаскин суровый. Недалеко от церкви – келья старца Назария Саровского, перед ней опять крест гранитный. Любил о. Дамаскин сооружать, и сооружал из гранита, на веки вечные. Даже на ферме двуярусные «венские» погреба – из вечного гранита. И лестницы, и мосты, и обшивка канав-каналов – из гранита. Монахи говорили, с лаской: «да и сам наш батюшка будто из гранита тоже: сколько трудился-то, и силы на все хватало... и не от болезни помер, а повалил его паралич».

Куда ни пойдешь на Валааме – всюду встретишь, совсем неожиданно, крест гранитный или гранитную часовню. Зайдешь далеко в лес. Дорога неведомо куда уходит. Впереди лес стеной, камень-глыбы. Забываешь, где ты... – и вдруг на повороте, под широкой елью, как под шатром, – часовня. Дверь открыта; на аналое крест и евангелие; кадило, псалтырь, старинный, и благодатно взирает Богоматерь, или Спаситель, кроткий, призывает к Себе трудящихся и обремененных. Иногда вылетит пичужка, покрутится над вами и влетит в часовню. А кругом первобытный лес. Ветерок – откуда-то вдруг прорвется, шевельнет голубенькую выцветшую ленту на иконе. Хорошо здесь сидеть, подумать. Воистину, тишина святая. Белка над головой порхает, роняет шишки. А то, случится, выйдет к вам на дорогу олень рогатый или широкобокий лось постоит совсем неподалеку, поглядит в обе стороны, заслышит колеса по «луде» гремучей или молитву инока и повернет неспешно в чащу, похрустывая буреломом. Необыкновенное чувство испытаешь, когда увидишь лесную часовенку такую: так вот будто и осветит, и дебри не хмурятся и не пугают глушью, а свято смотрят, в самую душу проникают. И веришь, *знаешь*, что это все – Господне: и повалившаяся ель мшистая, и белка, и брусника, и порхающая в чаще бабочка. И постигаешь чудесный смысл: «яко кроток есмь и смирен сердцем». И рождается

радостная мысль-надежда: «если бы так все было, везде, везде... никаких бы «вопросов» не было... а святое братство». И тогда еще, в юные, безоглядные дни, в этом лесном уединении, наплывали неясно думы, что все, что ты знаешь, школьного, выбранного из книг, случайного... – все это так ничтожно перед тайной жизни, которая вот раскроется чудесно, которую, быть может, знают кроткие эти звери, белка, птичка и бабочка... недрами как-то знают... которую знают духом отшельники по скитам, подвижники, тяготеющиеся земным.

От кельи старца Назария спускаемся под горку, идем березовой рощицей, очень светлой и ласковой, и подходим к избушке под навесом. Углы избушки прогнили, бревнышки поросли плесенью и мохом.

– Эту избушку сам себе схимонах Николай Смиренный выстроил, келейник старца Назария. Один, говорят, топориком работал. Сто лет ей, и все стоит. Он-то, батюшка, на полу спал. Зимой, бывало, снегу набьет, по осени скрозь дырявую крышу дождя нахлещет, а он на полу подвизается. А мы-то, грешные, на кроватях спим да еще жалуемся, что жестко... – говорит монах, будто намек это нам, что жаловались мы на жесткие валаамские постели.

Келья маленькая, аршина два-три. Старая сосна над нею.

– Вот, и тесна, и грязна, и низковата... у вас в Питере, собашники, небось, лучше ставят, а сюда сам Государь изволил входить, склонившись, со старцем беседовать изволил, не погнушался... вот что-с. Александр Первый... слыхали-с про него? Вот то-то и есть. А какой Государь-то был, самого первого воина на свете покорил, грозного Аполеона-французского, Бонапарта называется, по книжке! А вот и не погнушался, преклонился... дверка-то низенькая, а он, сказывали, высокого постава был, солидный... и преклонился, так уж, значит, ему надо было, преклониться-то, перед Смиренным батюшкой Николаем... и даже трапезовал репкой у него. Батюшка Николай-то наш простой был, и не в страх было. Ну, принял у него репку... «нечем, говорит, вас, батюшка Государь, угостить мне, гостя такого... вот сладкая репка у меня...» И принял, как за хороший гостинчик... похрустал, пондравилась ему репка. Да-а, как поглядишь на все... и-и-и..! где величие, где слава, во что обратится, когда призовет Господь от тлена его земного? Где величие-то, а? – спрашивает нас монах. Мы молчим. – В смирении величие, потому – что есть мы перед величием мудрости Господней! А вот и могила его, косточки его покой приняли.

Деревянная гробница закрыла могилу схимника Николая, Смиренного. Надгробными исполинскими свечами стоят над могилой сосны.

– Уж вы простите меня... – сказал вдруг проводник-монах.

Я удивился: за что простить его!

– Да много вам насказал. Не мое дело помышлять такое, а я про величие помыслил... уж простите. Забыл, как батюшка о. Дамаскин в стих писал.

– В стих? – удивился я, – как, разве он сочинял стихи?

– Хорошо умел проповеди говорить... как святой стих высказывал. Начнет таково напевно, заслушаешься.

– Так вы застали о. Дамаскина?

– А как же-с, сподобился. Я в уме держу стиховные его слова, сладостные. Про нас, пустословов, очень говорил явственно, вот я и вспомнил, во исправление суемудрия моего. Батюшка и сам перед нами каялся, пример давал. А вот, извольте послушать, я каждый день поминаю его стих:

Много сегодня я, братие, грешный, говорил,
Но сам ничтоже пред Господом благо сотворил.
Горе мне грешному и сущу, благих дел неимущу,
Глаголющу, а не творящу.
Учай других – себя не учиши.
Увы, увы! душе моя, горе тебе!

Святой был человек. И других, слабых, к святости приводить старался.

– В чем же его святость проявилась?

– Чем проявилась-то? – задумался монах. – О благочестии ревновал, ковы бесовы расторгал. Как расторгал-то? Да вот как. Хочет инок из монастыря утечь – бес его донимает, – а наш батюшка и не допустит. Такой у нас был случай. Собрались двое монахов от нас уходить. Усовещевал их о. игумен, нет, не берет его слово их, сердца окаменели, онемели. «Так ступайте же, говорит, к раке преподобного Сергия и Германа да там и скиньте иноческие одежды. Там вы обет давали – там и расторгните. А от меня нет вам на то благословения». Вот как им обернул ответственность. Ну, те и побоялись, и остались. И прозорливец был. О прелестях мира сего хорошо говорил, в стихи, тоже:

Кто к миру пристрастится,
Тот с пустынею распростится.

Вот и опять суесловлю, уж простите. Борюсь, а мало, мало во мне смирения.

XI. – ЛЕСНАЯ ВСТРЕЧА. – РАССКАЗ СТРАННИКА. – ЖУРАВЛИ

Мы идем по лесной дороге, не зная, куда приведет она. Всюду гранит, мохом поросший, брусникой. Едим бруснику и не осыпавшуюся еще чернику. Много и зарослей малины, только она сошла. Должно быть, много здесь рябчиков – знакомые свисты слышны. На Валааме не стреляют. Чувствует это птица, прилетает сюда и держится. Говорят, и лебеди бывают, и гагары. В Коневском скиту можно и гагар увидеть, – совсем ручные.

Нас обгоняет монах на одноколке, кланяется и говорит: «путь вам добрый, с вами Господь!» Пропал за поворотом, только слышен раскат колес по встретившейся плите «луды». Затихло. Вон, в стороне, упавшее дерево, столетнее, должно быть. Мох забрался в пустое дупло. Я тычу палкой – одна труха. Сколько же лет прошло, когда оно упало, – полсотни, сто? Из дупла тянется ромашка, повилика. Из-за мшистого пня высматривают глаза... как странно! «Смотри, кто это там... глаза?» – говорю я жене. Радостная, она мне шепчет: «да это... лисичка!». Да, лисичка, совсем ручная. Глядим на нее, не шелохнемся. Глядит и она на нас. Странное чувство – близости и доверия, и неизъяснимой радости... отчего? Самая обыкновенная лисичка, только... умильная. Миг – и куда-то скрылась. В дупло, пожалуй. Может быть, там и лисята.

Идем и думаем: чудесная какая встреча! Ну, конечно, чудесная. Жизнь здесь какая-то иная, чем там, в миру. Зло как бы отступило, притупилось. И зло, и страх. Зверь не боится человека, и человек тут тоже другим становится. И вспоминается мне слышанное за трапезой из «житий», как лев защищал какую-то святую от осквернения безумца. Возможно ли? А почему и нет?

Места священные, освященные молитвой. Меняются здесь люди, меняются и звери. Люди здесь не обычные, как везде: здесь подбираются «по духу», – кто-то нам говорил, – «как сквозь решето отсеяны».

Эта лесная встреча на многое наводит мысли. Люди меняться могут! Что-то есть в людях р а з н о г о... В деревне, откуда был родом Дамаскин, славный игумен Валаама, были другие мальчики, но они не пошли и с к а т ь, а вот Дамиан пошел, – «сквозь решето отсеялся». Значит, есть ч т о - т о в человеке, что тянется к святому, и щ е т. Особенное... душа? – то, что не умирает, как верят эти отшельники, что может в о о ч и ю являться, как свидетельствует письмом посмертным монах Илларион о любимом старце Евфимии, – явившемся ему о т т у д а, по обещанию. И это, земное наше, стало быть, как-то связано с т е м, что – т а м?..

Прочитанные мною книжки, которым я, студент, безотчетно верил, открывшие мне «точное знание», доказанное научным опытом, отвергающие чудесное, называющие веру в чудесное фантазией и «детским», крепко сидят во мне; но я закрываюсь от них уловкой: ну да... знание отрицает, объясняет научно все сверхъестественное, но... наука идет вперед и, может быть, как-то, когда-то проникнет в то..? Вот же Лобачевский, установил новый какой-то мир, совсем непохожий на наш, земной, – мир, четве-ртого измерения! И оказалось, что доказанное нашей, эвклидовской, геометрией, – истина очевидная! – что параллельные линии никогда не пересекутся... – чистейшая ошибка! Я не знаю еще, как это доказал Лобачевский, не знаю и какого-то «четвертого» измерения, но я рад, что Лобачевский действительно это доказал, – это же все признали и прославили гениальность нашего математика! – доказал, что параллельные непременно должны пересекаться – где-то там, в бесконечности. И кажется, этот гений был очень верующим, как и Ньютон, как все эти добрые валаамские монахи, как старец Варнава, недавно назвавший нас «петербургскими», как-то провидевший, что завтра мы уезжаем в Петербург! Монахи, конечно, совсем необразованные, не знают «Рефлексы головного мозга» Сеченова, не знают и «Происхождения видов» Дарвина, где сказано и почти доказано, что человек произошел от обезьяны, не читали ни «Прогресса нравственности» Летурно, ни «Психологии» Рибо, ни Огюста Конта, ни Иоганна Штрауса, где отрицается божественность Христа... но все-таки удивительные они... разрешают сложнейшие социальные вопросы, над которыми столетие бьются Прудоны, Фурье, Бебели... и даже воздействуют на природу, на нравы зверей, как-то их освящают... своим примером? Тут же я вспоминаю, что на Валааме... – это непременно надо рассказать всем, интересующимся прогрессом нравственности, об этом, конечно, не знают в мире! – что здесь, на Валааме, строго запрещено даже замахиваться кнутом на лошадей! тут даже и кнута не найти, как говорил мне о. Антипа: «у нас все лаской, и лошадка ласку понимает и слово Божие... заупрямится или трудно ей, у вас в Питере сейчас ломовик ей в брюхо сапогом или кнутом по глазам сечет, а у нас слово Божие: скажешь ей – «ну, с Господом... отдохнула, теперь берись», – она и берется весело. На Валааме никого не бьют, пальцем не трогают, лик Божий уважают в человеке... – какая высокая культурность и гуманность! – а только послушание возвещают, поклончики и покаяние, перед всеми, за трапезой. Конечно, монахи некультурны в смысле научных знаний, но... они дают удивительные примеры воли, характера, силы духа. Конечно, мне чуждо многое в них, –

нельзя же смотреть на жизнь так, как смотрит тот схимонах в скиту, для которого вся жизнь только подползание к могиле, где бренное тело будет червями пожрано, это не жизнь, а ужас! – аскетизм их иногда ужасен, но духовная сила их мне очень симпатична. Часто они – как дети, но... сказано: «сокрыл от мудрых – и открыл младенцам!»

Помнится, такие мысли вызвала в нас с женой – я многое высказал ей тогда, и она радостно слушала, – удивительная эта встреча с лисичкой возле прогнившей ели, – «лесная встреча». Чудесна была эта прогулка: одни, в лесах, без проводника-монаха, один на один с природой. Но нас ожидала и другая встреча, многое нам открывшая.

Лес становился глуше, попадались болотца. Совсем перед нами низко перелетела дорогу большая птица, похожая на курицу, даже заклохтала, и за ней поменьше, штук семь, как крупные цыплята, – может быть, большая куропатка или, скорей, тетерька. Мы постояли, послушали, как чвокали птицы за кустами, совсем близко. И вдруг гранитная часовня, под елями! Ели положили на ее кровлю широкие свои ветви. На каменном приступке сидел старичок и постукивал палочкой по земле. Это был не монах, как я сперва подумал, а богомолец-странник. На нем был заношенный, в заплатках, полушубок, уже по-зимнему. Мы сели к нему и разговорились. Он пришел издалека, из-под Воронежа, поклониться угодникам.

– Жена давно померла, сын неведомо где... работы пошел искать, вестей нет. Вот и надумал я странствовать. Здесь поживу, а к зиме в Соловки пойду, поклониться преподобным Зосиме и Савватию.

– Нравится вам здесь, на Валааме?

– Хорошо здесь, душевно. Вот сижу и гляжу, чего белки разделывают. По благословению о. настоятеля в Коневский скиток сходил... вот рай-то где, тишина святая... батюшке о. Сысою поклонился, схимонах он там, в пустынной самое пустыне, у озерков. Там игумен Дамаскин трудился, показывали и постелю его – гробок... в гробике спал. Побывайте у Коневской, такая тишь-красота, век бы не ушел. А остаться не могу, тянет меня с места на место, как птицу перелетучую... третий год и брожу, гляжу, где лучше. Монастыри-то? А чего лучше монастыря? Тут все по правде, человека не обижают, ласковы... и покормят, и благословят, и хлебца на путь-дорожку дадут. А в городе, как что – только и разговору: «ты бродяга, такой-сякой, пачпорт покажь...», а то в каталажку посадят, а за что – неизвестно... а то грозятся – «на родину тебя вышлем...» Места, что ли, им жалко... то ли человека опасаются? Разве так можно! А тут доверяют, видят – старый я человек, и работы не спрашивают, а – иди, потра-

пезуй... и щец подольют-повторят, и чайку отпустят на заварочку, – рай прямо. Зима тяжела, а летом одно удовольствие. А что я вам скажу, господин... у них тут зверушки совсем освоились, человека не боятся. Намедни лисицу видал, на пеньке сидела, хвостиком завилась, облизывается. Я встал – дивлюсь, а она ничего, ей и без надобности, будто даже разговору желает, только, понятно, языку нашего у ней нету, не дал Господь. Перекрестил я ее – Господь с тобой, творение разумное, – сказал ей, пошел. А она мне вослед глядит, облизывается. Прямо диво. А сейчас вот на белку радовался... Она тут все сигала, над часовенкой, будто ей помолиться надо. Гляжу, а в часовенке шишки лежат, еловые, натаскали они, что ли, на зиму себе... а то так, в игру какую играют. А в скиту рыбы-ы... утром был я, глядел. Мне монах и говорит, при схимонахе Сысое живет: «трогай ее клюкой, погладь, они даются». Собралось рыбы, на солнышке, чесуя так и горит, только не щуки, а эти... нет, не караси, а... вроде как голавь, гла-дкие такие... а может и сиги... не знаю прозвания. Ну, я вот этой палочкой и посунул в рыбу, в стаю ихнюю... Ни-чего, не пужаются, трутся возле палочки моей, погладил их, поддел... как уха там, густая-разгустая. На монастырь берут, когда затребуется. А сами ни-ни, там рыбки и на Пасху не полагается, строгий скиток. Заведет наметкой, а то, говорит, и корытом можно, легко даются. А грыба сколько... рыжик уж пошел, по горочкам... и груздь есть, и боровики какие... и свинухи, и подосиновые... весело ходить. А брать не благословляют... все по череду, для обители послушание дают грыбникам. Намедни ходил я за послушание, вот такую корзину им приволок. А что, сказывают, скоро будто нашему свету конец будет... не слыхали?

– Не слыхали. А кто сказывает?

– А шел, теперича сказать, я Тверской губернией, в одном селе в ночевку зашел к мужичку. Так богомолка там сказывала: «как будет Благовещенье на Пасхе в четверток, так и ждите свету конец». Не слыхали? Может и так, наплела. А то, сказывали еще, большая звезда оборвалась, на нас прямо несется... может повредить нас... не слыхали? Это мне один странник сказывал, от барина узнал. Она уж давно оборвалась, тыщу лет все летит, и лететь ей, прикидывали по стеклам, еще тыщу лет, а тогда может повредить, большой пожар, говорит, зажгет, жару в ней много, железная вся, звезда та. Говорит, на ней тоже, может, люди какие проживают, только самые грешные... много нагрешили, их звезда и не смогла сдержать, от грехов-то... значит, уж ей так от Бога назначено, в наказание грешникам... ну, и сорвалась с устоя... Как скажете... вы хорошо грамотные?

– Пустяки, говорю, посмеялся над тобой кто-нибудь.

– Нет, не пустяки. Сам видал, как звезды летают. Тут сколько летало намедни, на Прохора-Никанора видал, к полунощнице шел – видал. Как-то срываются. Кто ж это их оттуда сошвыривает?

Я попробовал ему объяснять, как метеоры пролетают, но он, должно быть, не мог понять. Да и сам я нетвердо знал про падающие звезды.

– Все возможно, у Бога всего много... никакие ученые не могут всего дознать. А чего дознают, это уж как Господь дозволит. Господь Иисус Христос сколько воскресил мертвых, а ученые хошь кого бы воскресили! Уморить могут, а вот от смерти выправить – не-эт. У меня грыжа, это место мешком затягиваю натуго... Ходил я, барыня посоветовала, к дохтуру... Мы, говорит, тебя порезать можем, доверься нам. В хорошей больнице я был, а барыня записку дала. А могу, спрашиваю, помереть от вашего ножа? Ну, он рассерчал: «я не колдун, сказать не могу... бывает, что и помирают». Не дался я. В Оптиной был, монах мне отсоветовал: помажь то место святым елеем. Совсем хорошо стало, ушла грыжа внутрь, хожу, ничего. А вот будто звезды в море-океан падают, люди говорили... потому и теплые моря те, и тепло там, зимы нет. Есть такие земли, теплые. От нас туда народу много пошло, вольной земли искать, за море. Турки там только нехристи. А жить там хорошо. Это за Сибирь, за горы. Звали меня воронежские наши, да куда мне, один я... думаю, по святым местам похожу, душу порадую.

Свистела какая-то пичуга, глухо падали шишки на дорогу. Белочка перепрыгивала в вершинах, пышный хвост ее рыжевато светился на солнышке, в просвете неба. Задумался я... И вдруг – звон легкий, особенный звон – с подтреском, будто на деревянных струнках сухих кто-то перебирал, часто-часто. И все громчей, все ближе – накатывало стучащим звоном.

– Э, журавли, пожалуй... – сказал странник.

Мы посмотрели в небо. Там протянулась темная линия, в сверкании. И от этой линии, треугольником, с неровными краями, великим углом звенящим, сыпалось стукотливым рокотом тревоги, радости, будоражной какой-то спешки.

– Как есь журавли, от холоду летят-торопятся... на теплые места, на полдни... – задумчиво сказал странник. – Они знают, морозы скоро будут. За море летят?

– Да, в теплые страны, на теплые воды.

– Знают, куда лететь. Туда и наши воронежские пошли, по машине поехали с ними, за Сибирь, нарезка им будет... землю дает казна, только хлеба больше сейте, велела. А хлеб там, сказывают, сам родится, только посей, чуть поковыряй. А тра-вы там... под самую крышу... житье там! Вот, жура-

вель... птица, а свою пользу понимает. Господь и птицу умудряет, и не голодает она. Не сеет, не жнет, а сыта. И-эх, зажаривают-то... гляди-ка, еще косяк!

Длинный сверкающий косяк пропал за елями. Слабей крики, отдельные выкрики отсталых. И стало тихо, шорохи белок слышны.

– Шабаш, кончилось лето красное, осень подошла... – сказал странник.

Я глядел в светлое небо, за елями. Умолкнувшие крики тревоги-радости остались в душе моей. Остались накрепко. Эта встреча у валаамской часовни, в лесной глуши, не прошла для меня бесследно. Теперь я знаю это. Отозвалась через много лет, отозвалась неожиданно, в унылые дни жизни, когда я искал себя – и не находил, – когда я служил во Владимирской губернии, и служба мне становилась в тягость. Сколько раз спрашивал я себя, какую же мне избрать дорогу, чего ищет моя душа. Смутны были эти тяжкие дни блужданий, недовольства собой, сомнений. Так и буду до конца дней ездить по городкам, проверять торговлю, ночевать на постоялых дворах, играть в преферанс и в винт, выпивать после роббера, ожидать наградных и повышения по службе. Иногда намечался просвет какой-то, вспоминалось, что когда-то писал, печатался, начал сразу с почтенного, «толстого» журнала, студентом, на первом курсе... написал книжку даже, – правда, незрелую и дерзкую, «На скалах Валаама», задержала ее цензура, вырвали тридцать шесть страниц из нее, и пришлось переделать и вклеивать... хвалили меня за эту книжку и бранили... – и после того замолк. Десять лет не писал, ни строчки. Не думал, что я писатель, страшился думать, не смел. Писатель – это учитель жизни. А я? Я же так мало знаю. Писатели, это – Пушкин, Гоголь, Достоевский, Толстой... И я забыл о писательстве.

И вот пришло. Помню, в конце августа, в тяжкие дни сомнений и блужданий, чуть не отчаяния, пошел я за реку Клязьму – уйти от себя, забыться. За Клязьмой, за луговою поймой, тянулись леса, леса. На пригорках, по ельнику, уже появились рыжики. Я зашел в глушь, в чапыжник, – ушел из мира. Вспомнился Валаам, святая его пустыня. Такие же ели мшистые, такая же тишина глухая. С той поры десять лет откатилось, был я тогда студентом, – как же это давно было! Тогда казалось, что все впереди, что жизнь только вот начинается. И вот ничего уже впереди, лямка одна чиновничья, в командировку завтра. Так до конца и будет. Помню, лежал на пригорке, думал в тоске давящей, искал «пути». И вдруг: как в лесах на Валааме... далекий-далекий звон, особенный звон, с подтреском, будто на деревянных струнках перебирает кто-то... ближе, громчей, слышней. Накатывало

стукотливым звоном. Вспомнилось – журавли?! С той, валаамской, «встречи», – как раз десять лет минуло! – больше я не слыхал такого звона, звонкого гомона тревоги, радостно-будоражной спешки. Все во мне взбило и перепутало криком этим. Я глядел в небо за елками, ждал тревожно, с волнением и болью.

И вот, как тогда, – они. Тот же косяк, углом, с неровными краями, тот же... как там, на Валааме, когда вся жизнь была еще впереди – самое радостное и светлое, – не было сомнений, ни томлений, ни тревожных вопросов – куда определиться, чего искать. Звонкий, сверкающий косяк птиц, хорошо знающих свою дорогу, влекущий, радостно-будоражный и торжествующий. Все позабыв, мыслью я уносился с ними в голубизну. Затихли крики, угасло последнее сверканье – потонуло за елками. А я все провожал его, все следил: во что-то смотрел, не видя, – только голубизна, влекущая. Не думая, не сознав, – нашел. Эти две «встречи» слились в одно. С того и началось писательство.

В тот же вечер написал я первый, после десятилетнего ожидания, рассказ, детский рассказ – «К солнцу». Послал в «Детское чтение». Его напечатали охотно и просили прислать еще. Забыв службу, я писал радостно и легко, не видя, – «в голубизне». Жил и не жил, не сознавая. Не задавал вопроса – куда идти? Скоро почувствовал я силу сказать жене: «кажется, я нашел, что надо... надо бросить службу». Она сказала спокойно, твердо: «я на все готова, лишь бы тебе было хорошо». Не зная, что ожидает нас, она с верою приняла открывшийся неизвестный путь, трудный путь. И ободряла меня на нем всю жизнь.

Думал ли я тогда, у лесной часовни, что все это как-то отзовется в жизни, как-то в нее вольется и определится? И вот, определилось. Связал меня Валаам с собой. Вспоминается слово, сказанное нам схимником о. Сысоем, в скиту Коневском, неосознанное тогда, теперь, для меня, раскрывшееся: «дай вам Господь получить то, за чем приехали». Тогда подумалось – а за чем мы приехали? Так приехали, ни за чем... проехаться. И вот, определилось, что – за чем-то, что было надо, что стало целью и содержанием всей жизни, что поглотило, закрыло жизнь, – нашу жизнь.

Будоражный, зовущий крик журавлей оставил в нас смутно-грустное, неясный порыв куда-то, мечту о чем-то. О чем... – этого мы не сознавали. Мы долго тогда сидели у часовни, в лесной тиши. Верхушки елей тронуло чуть багрянцем, густившимся золотом заката.

– В монастырь пора, чаек-то уж пропустили... – сказал странник, – скоро и к трапезе покличка будет.

И мы пошли, задумчивые, из этого лесного царства, где освящаются дебри часовнями и крестами, где покоятся останки великих духов, где звери смотрят доверчиво, без зла и страха.

XII. В СКИТУ КОНЕВСКОМ. – ПРОЩАНЬЕ. ВАЛААМСКИЙ ДАР

Мы едем в Коневский скит, – во имя Божией Матери Коневской, верстах в шести от монастыря. К крыльцу гостиницы подан тарантас, запряженный сивой лошадкой. За кучера – монашонок-карел, «молчальник». Он всегда возит о. игумена и сидит на козлах по уставу: со страхом и трепетом. Во всю дорогу он не произнес ни звука. Лошадка неторопливая, ленивая, могла бы и походчей идти, но кнуток Валааму неизвестен: «блажен иже и скоты милуяй».

Погода серенькая, дождливая: унесли лето журавли. Едем лесом. Остро пахнет грибами, осеннею горьковинкой хвои. Намокшие лапы елей цепляют нас за шляпы и осыпают дождем. Неуютно теперь в лесах. А как пойдут настоящие осенние дожди да бури, леса зашумят-завоют, повалят лесные буреломы, – жутко тогда в лесах. А отшельники по глухим скитам будут выстаивать ночи на молитве, а днями колоть дрова и собирать валежник. А рыбаки-монахи на своих древних ладьях выйдут на бурную Ладогу закидывать свои сети-мрежи; на кирпичном заводе трудники будут мять мокрую глину на кирпичи, каменотесы – ломать на горах гранит; машинист-монах пойдет на качливом «Валааме» за многие версты на дальние острова. Бури, ливни, метели, – все едино: Валаам не остановит своей работы-служения «во имя» подвижнических трудов, молитв. К полунощнице – движутся старцы по сугробам, лесам, проливам. Светит им Свет Христов.

Едем орешником. Осенняя на нем ржавчина. Под колесами жвакает, сочится. Что это там краснеет? А, рябина. Мокрые кисти виснут. Скука и неуют. Вон болотце: унылая осока, шатаются камыши под ветром. Мокрый монашек повстречался, несет розовые грибы – рыжики, молоденькие, промытые. Весело нам кивает, словно и нет дождя. Опять часовня, плачет осенними слезами черный гранитный крест. Белки теперь по дуплам, и лисичка подремывает где-то. Вон, над полем с гнилым сараем, тряпками носятся вороны в ветре – какие-то у них дела. Гремят по «луде» колеса тарантаса. Прокатили: мягко, опять по иглам. От игол тянет душною скипидарной сыростью. Ну вот, приехали. Поперек дороги мокрый плетень из хвороста, – дальше и нет пути: тупик, скит.

Монашонок молча остановил лошадку и остался сидеть, как мумия, – так и не обернулся к нам. Стало быть, выходить. Отыскиваем в плетне проходик. Видим с холма озерки, кусты и церковку. Сеет дождик, скучно шуршит по листьям. Идем мимо черных огородов, доходим до деревянной церковки, – ни души. Воистину – скит, пустыня. Церковка заперта. За огородом, на холмике, две смежные избушки. Это кельи пустынников, связанные сенями. Плачут в дожде оконца, дымок курится и стелется, дождь надолго. В каменистой горке выбита криво лесенка. Мы, скользя, поднимаемся к избушкам. Да где же скитники? Заглядываем в сени и видим: вот они, жители пустыньки. На полу сидят трое: седенький, тощий старичок в скуфейке, приятный такой лицом, мертвенно-восковым, бескровным; черноватый монах, лет сорока, кряжистый, с горячими глазами, и юный послушник, светлоликий, с тонкими чертами, в золотистых локонах, как пишут ангелов. Сидят молча и старательно чистят лук, режут ботву с головок.

– Бог в помощь, здравствуйте!

Возглас пугает их. Так они были заняты работой – а может быть, и мысленной молитвой, – что не слыхали, как мы вошли.

– А, Господи помилуй... – сказал старичок-схимник, и я понял, что это о. Сысой, о котором говорил нам странник. – Лучок вот режем, Господи помилуй.

Прочие только поклонились и продолжали резать. Не вовремя мы, видно, попали. Стоим, молчим. А они продолжают резать, будто нас здесь и нет. Наконец схимонах говорит опять, будто с самим собой:

– Лучок вот режем, Господи помилуй.

Я думаю: они разучились говорить и молчат от смущения. Прошу показать нам церковку и келью о. Дамаскина.

– Возьми ключи да покажи им... все обскажи про батюшку... – говорит старичок мальчику в локонах. – А угостить-то вас и нечем... Господи помилуй...

Мальчик ведет нас к церковке, скребет огромными сапогами по камням. Церковка небогатая, бревенчатые тесаные стены, скромный иконостас; дощатый, в сучочках, пол. Пахнет сосной и ладаном. Я спрашиваю мальчика, давно ли он на Валааме.

– Год скоро. А здесь, в пустыньке, шесть месяцев.

Из Питера он, служил в экспедиции государственных бумаг.

– Что привело вас на Валаам?

– Не знаю... Читал про Валаам, и понравилось, как живут тут, Богу служат.

– Но ведь тут трудно, в такой неуютной обстановке... особенно после Петербурга?

– Святые отцы жили... – говорит он.

Я смотрю на его локоны ангела. Может быть, и он «отсеянный»? Таким, должно быть, и юный Дамиан был. Есть такие, особенные, родятся как-то, чуждые «сему миру».

Идем к озеркам. Соединяет их деревянный мостик, над проточком. Берега заросли осокой.

– Говорят, много у вас рыбы?

– Уха живая. Ловим только на монастырь, а здесь рыбку не позволяется и в великие праздники вкушать. Ручная у нас рыба, черпать корзиной можно. Сейчас хмуро, а солнышко когда, так спинки и синеют, перышками играют. У нас в обители там рыбу из икры разводят, завод такой есть. И форель разводят, и сигов, и лосиков... Чего-чего только не делает братия у нас. У нас прямо целое государство, только духовное, конечно. И свечной завод, и кожи мочим, и скипидар гоним, и переплетная у нас есть, и лекарственные травы растим, и сукна валяем, и посуду обжигаем, скудельный заводик есть... и лесопильная, и конный завод, и граниты шлифуют, и мрамор полируют. Господь умудрил, и мастера-рабочие тянут к нам, с питерских заводов да и совсюду. Ведь разные люди на свете... есть и озорники, рабочий-то народ, а есть и в рабочем народе «зернышко Господне», на слово Божие идут. Вот и живем, как царство.

Мальчик удивил меня разумной речью.

– Вы где учились?

– Городское окончил, а потом меня папаша к себе в экспедицию устроил, краски мешать-тереть. Я там рисовать стал... У нас там граверы тонкие, первые граверы во всем свете.

– А жалованье вам платили?

– Конечно. Я получал 24 рубля на месяц, подростковое, как ученик. У нас там особое жалованье, там люди отборные берутся, верные, отца к сыну, даже дедушки служили. Ведь там и деньги заготовляют, и надо держать секреты, там все крепкие люди, верные.

И он – ушел! Значит, тоже крепкий, «отсеянный». Юный совсем – и такое жалованье, театры, всякие соблазны, лакомства в магазинах, семья, очевидно, зажиточная... – и ушел в глушь сюда, в скит, в пустыньку, лучок режет, гремит в таких сапогах – ноги небось натерло... – «понравилось, святые отцы жили»!

– Вы читаете здесь какие-нибудь книги?

– А как же, отцов Церкви... Исаака Сириянина, Макария Египетского... что «старец» укажет, о. Сысой. Он тоже зна-ет Писание. Простой он с виду и очень смиренный духом, а твердый в искусе. Он руководит хорошо, толкует мне. Только он, конечно, меня жалеет, добрый очень... Строже бы на-

до, а он что же... за искушение сто поклончиков, а больше и не возвестит.

К нам подходит схимонах Сысой.

– А вот здесь, – показывает он на камень у воды, – птицы-гагары гнездо вьют и птенцов выводят... и нас не боятся. Гагара – птица нелюдимая, самая строгая, любит самую даль-крепь... глухие, значит, места. А вот, еще при о. Дамаскине, когда молодой он был, больше полсотни годов все ведутся гагарки-то. И каждый год только одна пара прилетает.

– И сегодня прилетали?

– Нет, ноньче что-то не воротились, первый год так. Малоптенцовые они, больше парочки не выводят. И вот первый год не прилетели, а то всегда. Это их в миру злой человек, может, напугал... пострелил, может.

– Вы давно здесь в скиту?

– Два годика. А то все дозорщиком был в Никольском скиту, на островке. До схимы о. Стефаном звали.

– А это что такое – «дозорщик»?.. на Никольском островке служили?

– Монастырь берег, от приходящих. Зимой по льду к нам бредут... ну и стерег, обыскивал. Дело Божье, нельзя пропускать... искушение несут нам, есть такие озорники. Грех протащить хотят, запретное. Слабые есть из братии. Ну, я табачок в озеро, и еще чего, похуже... об камушек. И огорчения бывали... били меня лихие люди. Потрудился я, а вот теперь на отдыхе – грядки копаю, лучок сажаю. Молиться-то?! И молюсь по малости... Господи помилуй. Ну, дай вам Бог получить, за чем приехали. Проводи их, сынок, покажь келейку батюшки Дамаскина... – сказал о. Сысой послушнику. – А я уж пойду, лучок режем. Ну, спаси вас Бог, Царица Небесная.

Он заковылял к своей келье, а мы перешли мостик и поднялись на горку, где под дубками, кленами и липками стояла пустая теперь келья игумена Дамаскина.

На стене сруба прибит четырехаршинный крест, работы Дамаскина.

Мы вошли в келью-клеть. Эта клеть, простая изба, разгорожена на четыре клетушки. В одной он работал, – а и повернуться негде; в другой молился, в третьей переписывал священные книги, в четвертой почивал.

– Вот его моленная.

Клетушка шириной в аршин, длиной в два. Аналойчик, икона, стул. В крохотное оконце виден краешек озерка, холмик, поросший лесом. Здесь искушали его бесы, устрашали, осенними бурными ночами, в этой живой могиле. А он молился. И продолжалось это семь долгих лет, до главного подвига – строительства царства валаамского.

– А вот его постель.

В клетушке, под оконцем, дощатый гроб на полу и в нем рогожка.

Мы вышли. Дождь перестал. Всюду висели на листьях капли, сверкали живыми алмазами на солнце. Выглянуло оно из тучи, сияло в мелкой волне озерка холодным блеском. Кораллами горели обвисшие рябины. За озерком о. Сысой – на огороде, копает лук.

– Прощайте, о. Сысой! – подошел я к нему.

– Бог простит, Бог простит... простите нас грешных...

Я пожал с грустным чувством его восковую руку – ручку. Было мне почему-то его жалко, думалось, старенький, не долго ему пожить осталось. И еще подумал: «а ему, может быть, это радостно... ведь он верит в вечное, небесное...»

– Прощайте... больше уж не увидимся... здесь... – сказал он, словно на мои мысли, и посмотрел мне в глаза. Было в его глазах что-то... чего он не высказал словами: «там свидимся»?

Я прошел в сени келий. Черноватый монах все еще обрезал лук.

– А, уходите... Вы уйдете, а мы останемся. А скажите... слыхал я, немцы, будто, войну воевать хотят... не слышно? – таинственно спросил он.

– Не слышно.

– Ну, а как у вас там, в России, ничего?

– Ничего.

– А мне вот богомолец один сказывал... будто у России с Францией дружба завязалась... правда?

– Правда.

– Ну... неладно это. Француз, – он хитрый. Напрасно Россия с ними связывается. А что... голод будто недавно был?

Этот был обыкновенный, до мира жадный, с живыми, даже горячими глазами, – «неотсеянный»: так и останется «в решете».

– На будущее лето, может, заглянете, новенького чего расскажете. В лесу живем, птица пролетит – не скажет, хоть и много видит.

Этот не «отсеется» никогда.

Мы сели в тарантас. Недвижный, насквозь промокший мальчик-карел сонно повел вожжами. Бойко пошла продрогшая лошадка, посыпало крупным дождем с орешника.

В сенях гостиницы стоит у дверей о. Антипа с блюдом. Мы кладем нещедрую жертву нашу за щедрое гостеприимство. О. Антипа кланяется в пояс.

— Маловато погостили, маловато... — жалея говорит он, — хорошо себя вели, и привык я к вам, милые. Скажете о нас доброе словечко там.

Мы обнялись и поцеловались.

— Скажу, батюшка... есть что сказать. Много видел я доброго, чего и не ожидал увидеть.

— Вот и не забывайте нас добрых-то. Хоть и отбились мы от мира, а все люди... не забывайте нас, проведайте. Сейчас вы к о. игумену, проститесь... да к угодникам прежде сходите поклониться, к Сергию — Герману, батюшкам нашим. Они вас в пути сохранят. А поклажу вашу мы на пристань доставим. Ну, с Господом.

Мы поклонились угодникам и поднялись в покои о. игумена — получить, по валаамскому обычаю, благословение в путь.

— Ну, как вам у нас показалось? — спросил о. игумен.

Я сказал — что сердце велело мне. Он видимо был доволен.

— Далеко нам до высоты подвижнической... тщимся, сколь можем, в меру духовной скудости нашей... — сказал он просто, благословляя нас. — Всегда вам рады будем. Скорбеть будете — приезжайте помолиться. Молитва — все и богатство наше.

Сходим по гранитным ступенькам к пристани. Грустно нам уезжать — привыкли? Пароход «Петр» привез новых богомольцев, на праздник Успения, послезавтра; тянутся они в гору к гостинице. Говорят, что на 28 июня, день памяти преп. Сергия и Германа, бывает до пяти тысяч богомольцев. Всходим на палубу. Внизу монахи поют «Достойно». О. Николай грустно смотрит на отъезжающих. Мне жаль его. Кричу — «прощайте, о. Николай!» Он подходит нервными быстрыми шагами к борту, растерянно моргает, силится не заплакать. Голова поникла, руки заложены за спину, — приговоренный будто.

— Прощайте... — уныло говорит он. — Туда, на родину вы... к своим...

Вытирает красным платком лицо и задерживает платок у глаз.

— Ведь четыре года я здесь... и никакого распоряжения! Забыли, не дают прихода. А как же мне без прихода-то... семье на шею. Бедные мы, бессильные... У кого связи, а у нас — ничего.

Я с грустью думаю, что и у меня нет связей, ничем не могу помочь. Жаль только.

– Истомился... – шепчет старик, чуть слышно, – чувствую, скоро и совсем обсижусь тут, не будет и тянуть туда. Прощайте, голубчики мои.

Впоследствии я узнал, что опасения о. Николая оправдались, он навсегда остался в монастыре.

По сходням идет монах, машет нам чем-то, завернутым в белую бумагу.

– Обители благословение на путь вам.

Я беру с поклоном, развертываю и вижу – хлеб! Чудесный хлеб валаамский, ржаной, душистый, с тонкой корочкой, пахнет и пряником, и медом. Отрезок длинной ковриги, фунтов на пять. Тут же мы и едим его, крестясь на золотые кресты и синие купола собора. И с этим валаамским хлебом вкушаем в последний раз, впитываем в себя, в сердце кладем себе благостное, что видели и вняли, что осветило нас, первые шаги нашей жизни. Мы едим валаамский хлеб, тесно у нас в груди. Глаза смотрят на все прощально, жадно. Никогда больше не увидим? Никогда. В грезах увидим, в снах.

Гудок. Прощай, Валаам, чудесный, светлый. Мы говорим друг другу – говорим взглядами и понимаем: как хорошо мы сделали, что выбрали – почему-то – Валаам целью поездки нашей, первого в жизни путешествия. Говорим глазами:

– Правда ведь хорошо?

– Правда, хорошо.

Второй гудок. Матросы закрыли борт. Певчие-монашонки звонкими дискантами зачинают: «Преобразился еси на горе-э...» Послушники поддерживают басами. На пароходе подхватывают тропарь. Катится по Монастырскому проливу, в камнях отзывается, в лесах.

Третий гудок. Пароход отваливает от Валаама. Богомольцы снимают картузы, крестятся на собор. За решеткой, на высоте у монастыря, одинокие черные фигуры смотрят, – не разобрать: иноки провожают прощальным взглядом. Ползет за ним пенистый хвост воды, расходится длинными косами, катится к каменистым берегам, шлепает белой пеной. Мимо скита Никольского, – Ладога там блестит.

– Прощай, Валаам... до будущего года! – слышатся голоса на палубе.

На гранитных утесах лес островерхих елей. Над ними золотится крестик скита Всех Святых.

Вот и вольная Ладога играет. Пролив – за нами. Виден весь Валаам, весь в солнце, зубья его утесов. Где-то на высоте, за соснами – деревянная церковка-игрушка: дальний скит, Александра Свирского. Снежно сияет светило Валаама – великолепный собор с великой свечою-колокольней. Дремлет. Лазоревые его главы начинают вливаться в небо, лазоревое тоже. Белеют стены в зеленой кайме лесов. Снежная колокольня долго горит свечой – блистающим золотом креста. Мерцает. Гаснет.

1935

РУБЕЖ

В начале осени 36 года мне довелось посетить древний русский край, отрезок Псковщины, и ныне русский до глубочайших корней, но включенный игрой судьбы в пределы эстонские: побережье Чудского и Псковского озер. Городище, Изборск, Печоры... Много я вынес из этого посещения: и радостного, и горького. Видел Россию-Русь. Она была тут, кругом, – в проселках, в буераках, деревеньках, в песнях, в голых полях, в древних стенах Изборска, в часовенках столбушках у перекрестка дорог, в глазах любопытной детворы... – о, эти глаза узнаешь из тысячи глаз! – в благовесте, в березах, в зорях. Помню, первое ощущение, что я здесь, что это земля – родная, испытал я на ощупь, еще ничего не видя. Поезд пришел в Печоры. Было поздно, глубокий вечер. Я сошел с вокзального приступка и споткнулся: площадь у станции замощена булыжником, и я разучился ходить по нему. Этот толчок земли так все и осветил во мне, и я сразу узнал осенний воздух родного захолустья, – вспомнил. И стало родное открываться – в лае собаки из темноты, в постуке – где-то там – телеги, в окрике со двора бабьим визгливым голосом – «да черти, штоль, тебя окаянного, унесли... Мишка-а?», в дребезге подкатившего извозчика. И стало так покойно, укладливо, уютно на душе и во всем существе моем, будто все кончилось и теперь будет настоящее.

Трудно все это выразить словами, и не об этом хочу сказать. Из поездки в Псковщину самым острым во мне осталось – странное чувство рубежа, впервые испытанное мною.

Туманное утро, холодновато, зябко. Автомобиль выбирается из проселочных буераков на шоссе. Шоссе старинное – тракт: Санкт-Петербург – Псков – Рига, ровное, как стрела. Машина идет странно, все вертится справа налево, и опять направо, и опять налево. Что такое? «Фортификация», – говорит парень, за шофера. Что?! «Чтобы задержать наступление врага! – мотает он головой ко Пскову. – Он и задержится, дорога-то пере-

рыта канавками, то с этой стороны, то сажен пять с другой... задержится... а его они будут из пулеметов поливать... последнее слово военной фортифика-ции...» Говорит без усмешки, кажется. И открывается, наконец: «А покуда мокрая погода, килек напустят в канавки, все-таки доходишка». А я думаю: «Вон что... сознание превосходства в парне». И вспоминаю вчерашний разговор с дедом на завалинке двухсотлетнего дома, срубленного из корабельного леса, времен Петра: «Он мне ласково говорит... ихний... празиден, называют его так... ты, старик, не бойся меня... А я ему говорю: «а чего мне тебя бояться? я самого царя не боялся, хлеб-соль подносил... а тебя я буду бояться! в пинжаке – бояться! А ты скажи чинам твоим, зачем не велят робятам по-нашему петь в трактире? чего они наших песнев боятся? ты им накажи, стро-го... Как сами пьяны напьются, наши песни кричат без толку, а нашим сапожникам в трактире не велят играть, а? Пусть наших песнев не боятся».

В полуверсте от рубежа – караульный дом. Не совсем охотно дается разрешение на посещение «границы». Строгое предписание: не говорить с красными пограничниками, «не раздражать». Рубеж. Кустики, болотца – по ту сторону; с этой стороны – те же кустики, и у самой проволоки сторожевая вышка. Там часовой, в зеленом. Русского языка не понимает, по-немецки может. Я не верю: здесь не раз за день проходят советские, попарно, переговариваются: часовой должен понимать по-русски, вслушиваться, о чем разговор. Входим на вышку. Неожиданно говорю: «Дайте мне взглянуть в ваш...». Часовой снимает с шеи полевой бинокль, дает. Отлично понимает.

Пустое поле, за грядкой кустиков, в стороне какие-то постройки, – там, говорят, комендатура. Гепеу. Были деревушки – снесли. Пустыня. Мертвая страна, но где-то тут... таится что-то, – такое во мне чувство. И оно вот-вот скажется, и я узнаю тайну. Меня влечет – туда. Я не могу стоять на вышке. Я хочу ступить, коснуться родной земли. Вот проволока, в пять рядов, на кольях, – все обычно. Пограничный столб, красное с зеленым, на утолщении выжжены серп и молот. Я подхожу вплотную, не слушая окриков эстонца, который может стрелять. Пусть стреляет. Там – только кустики, пустая боловатая дорога-стрела на Псков. Серо, пустынно там. И вдруг – луч солнца, из щелки в тучах, и вижу... – снежное яичко! – там, на конце стрелы. Оно блистает, как серебро. Он влечет к себе, сияньем. Это собор от-

крылся. Блеснул оконцем, белизной стен, жестью. И – погас. Странное чувство – ненастоящего, какой-то шутки, которая вот кончится. Так я воспринимаю это заграждение, «предел пути». «Отойдите! – кричит эстонец по-немецки, по-русски все-таки не хочет! – Могут убить!».

Я не ухожу. Это же шутка – и преграда, и пустота, и «убить». Там – все мое, века мое, всегда мое. И оно, не мое, меня зовет.

«Смотрите... идет... вон, из кустов... – шепчет мне спутник и кричит: – Здравствуйте!» Я вижу солдата, в зеленой куртке, крепкого, статного, с медным загаром, с винтовкой за плечом. Он молча глядит на нас, выходит на дорогу. Бывало, отвечали бранью. Бывало, отзывались свысока: «Ну, как вы там, на вашем хуторе, живете?» Все, что вне их, – лишь хутор, мелочишка, так. Я пытливо жду, что будет. Солдат оглядывается на Псков, вынимает из кармана куртки... чистый, белый платок и трижды машет нам. Что это, привет? Да, несомненно. Круто повертывается и четким солдатским шагом уходит туда, на Псков. Должно быть, смена караула, полдень.

Мы смотрим, долго смотрим. Он все уходит, все мутнеет, этот солдат зеленый. Идет на Псков, к собору, укрывшемуся в мутной дали. Сквозь сеточку дождя ли, слез ли... – белеется дорога, как стрела, кусты, болотца, рябина в гроздьях, дымок... тяжелые вороны или грачи полетывают над полями... – все мое, родное. Откуда же рубеж, что за рубеж? Там Псков, соборы, давнее мое, святое... И здесь, за мной, со мной, мой, давний, крепость-монастырь. Изборск, Печоры, дед, детские глаза, родные песни, булыжники... – спотыкнулся! – все кругом дышит знакомым, родным, моим. Мой воздух, древние мои поля, родимые. Рубеж... – сон, наважденье, шутка? И горечь, горечь.

Апрель, 1940
Париж

ПУБЛИЦИСТИКА

КРЕСТНЫЙ ПОДВИГ

Светлой памяти
Умученных и павших за Россию.
Доблестной Чести
За Нее бившихся и верою в Нее
живущих.

Я раскрыл журнал «Студенческие Годы», – и мне попались стихи:

О, юность мертвая...

Кто написал так – про юность?!

Речной песок, приставший к колесу,
Оторванный проселочной дорогой.
Бренчит телега. Плачет колесо:
Который раз отсчитывает версты?
О, юность мертвая...

Я читал дальше...

Ночь и ночь, и нет исхода...

Нет исхода...

Перепутьями, ночами –
Одиноки плачем мы,
. . . .
Вьются вихри жгучей боли,
Льются слезы без конца,
Не видать нам в темном поле
Лучезарного Лица!

Какое отчаяние... Кто это? И кто оно, Лучезарное Лицо это?!

И слышу, как за мной ползут –
Пожары, казни и разгромы...

. . . .

А Русь?!.. О, Господи, ответь!..

Оно проступило в ночной тиши, и я узнал, я понял... Я узнал исхудавшие, почерневшие лица, истертые шинели и – глаза, глаза... Я увидал поля – снега, реки в разливах, жгучее солнце степи, горы, леса... и их крученое железо, русское железо! Я вспомнил, как оно закаливалось в сталь. Оно... плачет?! Сталь звенит, сверкает, бьет... – и никогда не плачет! Плачет – медь. Сталь никогда не мнется.

Я увидал еще... я вспомнил все. Да, может и сталь заплакать, но... как?!

Явись Венчанная Жена!
Качни возмездия светила!!

Только так. Так плачут бури.

Я узнал, кто это. Это – они, обманутые жизнью. Ваши, мои, наши, – русские бойцы, разбросанные теперь по свету, – от Африки до Калифорнии, от Боснии до Парижа, до Марселя, до... Где конец?.. Это – наши дети и наши братья. Это – Россия.

Я хочу говорить о них.

* * *

Третий год Великой Войны кончался. Новые наборы, новые маршевые колонны. Солдаты, офицеры, – видавшие не раз смерть. В бой снова, снова.

Они появлялись на день, на два, – присесть у родного огонька, согреть душу... На свежей, забытой простыне; на свежей соломе, с родного поля. Мы – живы! одолеем! Россия...

Это слово каждый таил в себе. Не поминали всуе. За что же болеть – биться? за что же – «себя отвергнуть»?! Вот за это, – маленькое как будто: за эти стены, за этот лесок, за эту, мою церковь, за снега – поля, за дали, за – Россию. За весны и зимы эти, за осени непогожие, за воздух, которого нет нигде! За старый, мой Кремль, – за все мое, за русское увязанное Калитой, и Грозным, и Петром, благословленное из далей Славными, Святыми... За наше небо, за грозы-зори, за счастье говорить и думать на моем, чудесном языке... И – надо всем – Она, прекрасная Немая, – Родина, Россия, греза грез, но... без Кого – нельзя!

Надо знать тоску и боль разлуки, тревоги, – и надежды!

Все ясней надежды. Конец все ближе. Силы на исходе, но... скоро, скоро!

А пришло другое: смута. Опять сначала?! Все насмарку! Все смерти, муки, миллионы благословений, в затертых письмах, надежд, обетов! Напряженье бесконечных дней-годов, боев, опасностей... миллионы ран, болезни, море крови, ночи без сна, ночи голодные, снега, дожди, дожди... смрадная грязь окопов... – все стерто?! Кто посмел на это?!!

Далеко, за фронтом, все решили – без них – взбунтованные толпы, слабость власти, рок...

В награду дали... приказ бесчестья! Подлостью – одних, преступной слабостью других, – приказ бесчестья. Сотни тысяч ответственных бойцов предали: бросили в бесчестье, в травлю, в смуту, – чутких к чести, молодых, сменивших другие сотни тысяч – уже забытых по чужим полям.

Я помню письма... Недоумение и боль. За что?!!

Впереди, в тылу, кругом – враги. Не свои, а орды буйной черни, вооруженной, которой брошено намеком: ну, можешь!.. Невидимые своры «друзей свободы» – зудят, кричат: «чего на них смотреть? им выгодно! домой, за землю!» А впереди – враг, и – надо стоять и сдерживать. Сдерживать и этих, серых, сбитых с толку, смутных. Уже расправились в Свеаборге, на Юге, в Выборге, под Ригой, – поубивали, пошвыряли в море, – лучших. Душу вынимали по кусочкам, по плану, – всюду.

Они растерянно смотрели. Новая власть... такая!?

Под плевками, в издевках, они стояли, были верны долгу. Они умели умирать: без веры, без надежды. Бились и умоляли биться, защищать Россию.

Много страшного, проклятого... и клевета, и злоба... Из тыла, отовсюду, – лили, лили, – и залили кровью, те, кто не дал за Россию и капли крови, не видел смерти на войне, кто управлял Россией разговором. Они связали русское геройство, под подозренье взяли; собой закрыли всю Россию, души прополоскать хотели... И достигли. Вождей войны стравили, заключили в тюрьмы... и сдались, прикрывшись девушками русскими... Одни – прилично – за государственной работой, заседая, как римляне пред галлами; другие...

А они – стояли! Сотни тысяч русских офицеров, молодежи, – стояли на распутье, среди отравленных солдат, на фронте, верные России. Ждали русской власти.

Что было у них в душе?! Этого не скажешь. Жгучая обида? Слова мало. И за свое, растоптанное, за свои надежды, – ведь столько ждали! – и за безмерное, за тайну, повелевающую жизнью, – за родину. А где ж Россия?! Не она ж их травит, кидает на них толпы опоенных ложью, плюется в душу? Не она ж срывает с них погоны, «знак долга», издевкой смещает в кашевары, – в штыки водивших?! Это не

Она! Она им возложила кресты на грудь – за верность. Не Она срывает. Так – Она не может. Мать не может.

И они остались ей верными.

Я видел эти муки. Не муки: больше! Вот письмо:

«...Я еще держу свой боевой участок, на Стоходе. Наши «англичанки» теперь молчат. У пехоты идет «братанье». На фронте каша... Лошади гибнут, бродят всюду. Не могу смотреть, как гибнут... плачут! Фураж не доставляется, идут митинги. Люди начинают растекаться. Даже наши артиллеристы, в общем славные ребята... И их «зараза» заливает. Пишут отпуска себе и требуют у меня печать и подпись. Я не даю. Грозятся силой взять. Пускай. Не посмеют, знают, как я стреляю. Пока мой карабин заряжен... А там... немцы захватят наших «англичанок». Тяжело...»

«Тяжело»! В этом слове – сколько?!

То были – не «помещичьи сынки», не «барское отродье», не «контрреволюционеры», «не враги народа», – как лжецы писали: то были сыновья России. Были среди них казаки, и сыновья – купцов, рабочих, мещан, крестьян, дворян, – всего народа. Это знают. Они оставили училища, прилавки, инструменты, косы, плуги, книги, свои стихи, своих невест, свои надежды, – юные надежды! – не без страданья и во имя долга! Потом... – пошли искать, добыть Россию. Пошли за честь России, проданной и ставшей им еще дороже – через страданье. Да, и за свою, поруганную, честь пошли, – за все свое, разбитое...

Москва, октябрь... Растерянная власть молила: защищайте! революция в опасности! Им крикнула. Им это слово было теперь совсем чужое: не Россия! Россию защищали они на фронте! Но они пошли, кто мог. Иные не захотели защищать издевку.

Я помню одного? георгиевец, мальчик. Володя – его звали. Где-то он теперь?! Он был проездом. Он пошел. Я знаю, как он дрался – «за Кремль»!

Они стекались, без оружия, случайные, – в Училище. Были представители «революционной власти» и говорили речи. Давали, как обычно, «директивы», говорили о «моменте», о гибели «завоеваний»... И – ни слова о... России.

– Неловко было, – рассказывал потом Володя. – Так они перепугались... нас, случайных, спрашивали, удержится ли власть! решали – не послать ли парламентеров! Своей тревогой они вносили беспорядок. Мы таким не верим. Нужна была команда! нужен был – твердый голос!

Так говорил герой.

И этот голос крикнул. То был голос русского матроса, гвардейца, костромича-красавца, – на голову всех выше:

– Кончить канитель – и за винтовки!

Пошел к ружейной пирамидке, – и «директивы» кончились. Он дрался, костромич-гвардеец, он лихо дрался. Семь дней дрались дружины, против пушек... Потом...

Потом – годы борьбы: Юг, Север, Ледяной Поход, Сибирь, Урал, Кубань... И Крым.

Они стекались, пробивались, сочились, – из Красного Полона. Их ловили. Поднимали восстания. Их тысячами расстреливали по подвалам, в лесах, в полях, на улицах. Они искали свою Россию.

Чем исчерпать взятый ими подвиг!

Три года они бились – в пожаре. Не было оружия – они его добыли. С голыми руками пошли они... и доходили: до Орла – от Юга, до Казани – от Океана, до Петрограда – с Запада. Им ставили капканы, их предавали, их продавали, выбрасывали с пароходов в эвакуациях, оставляли больных и раненых в полях, в станицах. Предавали в тылах. Многие за ними укрывались. Ими многие спаслись от смерти. И потом, иные, швыряли им: «белогвардейцы»! «молодцы»! – в кавычках – «погромщики»! Их расстреливали в спины. Сотни тысяч их полегли в боях, сотни тысяч умучены по чрезвычайкам, брошены в овраги, в ямы, в реки, в моря. В плечи и глаза им забивали гвозди – чины-издевки, резали ремни из кожи, ошпаривали руки и «снимали барские перчатки», возили грузовиками с боен – недобитых...

Завоеванья революции? Вот сущность. Других – не видно.

И есть еще и до сего дня люди, – пыль людская; – смеющие грязнить крестный подвиг, самоотверженно взятый теми, кто не знал часа отдыха за шесть лет! Родное ли сердце такое себе позволит?!

Они боролись за... угнетение России? за привилегии?! за козырянье прохожего солдата?! Что за низость!

Они доходили до экстаза. В геройстве только можно биться одному против сотни, заживо сгорать – не сдаваться – в танках. В подвиге только можно срывать с себя последнюю шинель, кров походный, и отдать огню, взрыву, лишь бы не отдать врагу бронепоезд, отрезанный от базы. В порыве только можно версты отступать по туркестанской степи, с пальцем на боевой пружине револьвера, с последней пулей! – между стенами орд красных, думая каждую секунду – кончить?.. Тысячи таких были. Только жертвой перед Безмерным можно признать такое!

Ночи, ночи и ночи, – годы ночей в огне, в стуже, в дождях, в голоде, во вшах, в струпьях, в тоске безмерной, в ранах, в предсмертном бреду горячек! За привилегии?! за господство?! «за земельки?»!! Верную яму, вороньём заживо исклеванное тело, изорванное собаками и волками, – кинули

они на весы России, чтобы... вернуть «земельку»? Какой же приговор русской молодежи, студентам русским, которым недавно поклонялись! Кто говорит так? Кто смеет?! за... угнетение?!!

За честь!! Такое – лишь за сжигающую любовь, лишь за священную Честь – по силам!

Кто напишет о них достойное их Слово?

История уже написала. Записанного не замазать. Напишет снова – Великий Нестор – России, напишет глухое к страстям Время.

И – преклонятся.

Скажут – и давно кричат и швыряют грязью! – а расстрелы? а грабежи-погромы? а зверства? То же кричали и – в Лозанне. Ответила Лозанна – совестью свободного народа. Да, были. А кто вызвал? Или можно в борьбе насмерть остаться небесно-чистым? пройдя реки по горло, сухим выйти? на бойнях не замараться кровью? Было, как бывает в жизни. Но «зверством» – не закрыть Жертвы! Были и преступления. Но кто найдет в себе силу бросить камнем – после всего, что было!

Они не сдались. Они не могли сдаться! Они ушли из России, в себе понесли Россию, – и носят в себе доселе. И опаленную, Ее, и свою честь носят и живы ею. И доживут до дня судного, дождутся. А не дождутся... – другие встанут, за них, за святые их тени встанут, и скажут властно. Кости с полей восстанут и потребуют Суда Правды! И получат.

Здесь, за рубежом, их – и за них – многие сотни тысяч, – и казаки, и горожане, и крестьяне... И там, в России, – многие миллионы. Все русское, для кого Родина – не пустое слово! Кто знает, – здесь, быть может, и тот матрос Гвардейского Экипажа, если не связал себя с родиной – могилой. Все они ее смутно чуют. Они ее увидят. Им, – прежде всех, им! – принадлежит выстраданное право сказать о ней, Ей сказать про свои за нее муки, когда ее увидят. Они ж ее предстатели. Они за нее все отдали и получили за все – чужбину и, от иных, издевки и подозрения. «Галлиполийцы»! «Наемники»! Или это вождей их только? Или не знают, как чутки к вождям солдаты?! Или сами они – пустое место?!

Время придет, – и они сами скажут. Теперь они – в работе. Выбивают свой кусок хлеба: не может им дать его связанная Россия.

Пишу – и вижу: не скажешь, не охватишь величия-ужаса трагедии российской. Что взяла на себя и свершила русская честь и сила – офицеры, солдаты, казаки, гимназисты, студенты, кадеты, мужики-парии-землепашцы, – будущая Великая Россия, – все те, что теперь копают французские ви-

ноградники, бьют щебень на славянских дорогах, рубят леса в горах Боснии, работают по заводам, грузят чужие пароходы, торгуют, катают публику, учатся и часто гибнут, забытые русскими же людьми, это – гордость России, дети ее, избранные ее, ее кровь и крик, боли ее и слезы, – ее Слава. Только одни они оправдали ее перед целым светом, перед Правдой! В грязь и смуть последней истории российской они вложили прекрасные линии, кровью своей вклеили величественные страницы, подняли Крест Великий и показали слепому миру: смотри! Распята на Кресте том Правда, за которую они боролись.

* * *

И вот, когда я ночью читал стихи, этот крик истомившейся молодой души, – они сердце мое сдавили. Сколько их, ограбленных до... души!

Все неслышно звуков песен,
Нет мерцания огней...
Сколько зим и сколько весен
Под опалой быть Твоей?!.

Чуете ли, умеющие видеть только тлен?! Чуете ли смирение?! Такой крик души, углубленность духа, самоотреченность такие, что только подвижник может! Ведь это он, поэт, – к Ней, ведь это он про Ее опалу!.. За Нее, столько, – и... опала! Ведь так рыцари только могут, те, давние... кого уже перестала рожать земля! Ведь тут, измученный, ограбленный весь, до сердца, он и ласки найти не может в себе большей, ниц перед Ней, окровавленной падает: может, оскорбил тебя чем! не опаляй!! воззри, Родная!! Чувство-то тут какое!!

А то – «за земельки»! Эх, вы, выветрившиеся души!

И вот:

Ползет над миром тишина,
Безмолвье жуткое застыло..

Воистину – безмолвие. Нет людей. Люди пропали, люди! А что же себя забыли?! Вы же слагаете Лик Чудесный, Лик Человеческий!

И вот – к Ней, опаляющей, – крик призывный:

Явись, Венчанная Жена!
Качни возмездия светила!
Предгрозье? Сердцу ясно. Да!
Не смыть обмана договором!

Ясно, да! Никакого договора быть не может. Так только и мог сказать поэт-солдат – или – за солдат! Он

выразил – за всех, приявших Крест России. Не может! Ни с кем из тех, кто вынимал душу из России! Она – Венчанная Жена. Она – Россия! Это не из того Апокалипсиса. Это – из нашего. Это – Она, терновым венцом венчанная.

Слышится мне крик боли... И хочется мне сказать... не слово утешения: я не смею. Не ласки слово: они забыли ласку. И не слова надежды: они давно ее завоевали – «страстями», жертвой. Я хочу поклониться им, великому их страданию. Я хочу братски, отцовски, во имя мертвых и живых, себя отдавших, сказать:

Сыновья, братья, друзья мои! Да, вы бьете камень на чужих дорогах, разнимаете проволоку на полях битв не ваших... – выбиваете хлеб чужбины. Вы потеряли матерей, отцов, жен, сестер, детей... – и они потеряли вас... Вы, многие-многие, молодость свою потеряли – не видали! – не целовали юно русскую девушку-невесту, и лучезарное лицо милой не является вам во снах. Но вы... Ее приобрели, Ее лучезарную! Вы так себя с Ней связали, что она навеки пойдет за вами, вовеки будет звать вас! Или все ваше – в ветер? Или не вами рождено то, что там, на русских полях осталось, за что положили душу?! Оно уже колосится, оно шумит.

«Аще не умрет – не оживет»!

То, что вы были, – это пропасть не может!

И самоотвержение, и неоправданные обиды, и мученья, и погибшие в пытках, и слезы, и кровь, и жертвы, – все это – есть, все – сущность! Это пути к правде неистребимой, к Богу в человеке, в народе нашем! Они не позволят угаснуть в России нашей – великому смыслу жизни! Это же пути к вечности, пути Божьи, какими человечество движется к величайшему завершению. Это же те черты, те чудесные линии, из чего создается Лицо Лучезарное, Душа России! Это – искры и огни Света, и намекает из них туманный еще пока, божественный образ в человеке. Незримо, но совершается.

«Камень, Его же отвергли строители...»

Вы суть камни и душа того Здания, которое воздвигается. И вы – увенчаете его! И жизнь опять чаши наполнит, что расплескали, и поставит опрокинутые столы! Вы открытой грудью подойдете к великому страдальцу, к народу-брату, и он узнает вас! он увидит и раны ваши, и муки ваши, – он все поймет и сольется нерасторжимо с вами. Он уже много понял. И то, что он уже понял, – нечуемо вы вложили.

Вы умеете слышать. Вы первые услыхали шепот призывной Родины, шепот предсмертной боли. И вы – пошли. Вы умеете слышать. Вы уже слышите и теперь, издалека, Ее

дыханье. Болеющее сердце – чутко. Оно никогда не спит. Оно не может уснуть. Ваше сердце изранено. Ваше сердце связало себя с Россией нитями крови, жертвы. И не оторвется вовек.

«Смертию смерть поправ»!

Помните: с вами те, что умучены, что на полях битв пали, отдали себя в жертву! Они смертью своею попрали Смерть, смерть – России.

И – да воскреснет!

6/19 января 1924 г
Париж

ДУША РОДИНЫ

I

Я не собираюсь учить любви к родине: многие знают это лучше меня, доказали на деле и носят доказательства в себе. Я хочу выбить из души искры, острей ощутить утраченное, без чего жить нельзя. Если бы все мы любили так, как те, кто отдал себя за родину! За *что* отдал?! А мы, за *что* влачимся вдали от Той, которая носила полное тайны имя – Россия?! Я хочу попытаться сказать – за *что*... – подумать о том, *как* найти Родину и сделать ее своей и светлой.

В путях исканий мы должны видеть верный маяк, минуя обманчивые огни, что мигают и там, и там...

Что это значит – найти Родину? Прежде всего: душу ее почувствовать. Иначе – и в ней самой не найти ее. Надо ее познать, живую! Не землю только, не символ, не флаг, не строй. Чуют ее пророки – ее поэты; по ней томятся, за нее отдают себя. Отдают себя за ее Лик, за душу; ими вяжет она с собою. Люблю, а за что – не знаю, не определить словом. Тайна – влекущая за собой душа Родины: живое, вечное, – и ее только. Поэты называют ее Женой, Невестой; народ – матерью, и все – Родиной. Что же родное в ней? Все, что заставляет трепетать сердце, что переплеснулось в душу, как через один взгляд неожиданный вдруг перельется из родных глаз бездонное, неназываемое... без чего – нельзя. Ей шепчут в ночи признания. Ее в снах видят. Она смотрится в душу родным небом, солнцем и непогодами. Она говорит нам родною речью – душою слов, своими далями и путями... Вяжет с собой могилами... Вливается в сердце образами Великих, раскидывается в летописях и храмах, в куполах, в колоколах... Чуется вся в свершенном, зовет-увлекает далями. В путеводных огнях-маяках видится нам ее Дух-водитель, – Бог ее!

Россия имела свои маяки, и уделено ей было непобедимой волей, я скажу – Божьей Волей, что и всем народам, исполнить пути свои.

Народ не знает, что такое его Россия, какие пути ее. Чувство Родины для него узко, мелко: свое у каждого. Но из этих мельчайших нитей скручена великая пуповина: она вяжет народ в одно. И непонятными нам путями творит народ свою великую эпопею, – многоглазый, слепой Гомер. Постигают Родину просвещенные, и глубже – одаренные творчеством. Эти умеют чуять, эти в душу вбивают Родину и выступают от ее имени полноправно: они ее выразители. Они подлинно ее дети, ее певцы, кормчие и советчики, защита и оправдание, – выражение ее Лика. В них ее чувства, цели. На всех путях ее мы знаем таких Великих, через них крепче вяжемся. Они сказали о ней, ласковой и широкой, отыскивающей Правду. Какую Правду? Давнюю, что залегла в сердце Христовым Словом, принесенным на берега Днепра неистовому и светлому народу. Ту Правду русский народ называет Божьей, и слово поэта: – «всю тебя, земля родная, в рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя...» – крепкое чаянье души России. Вот тот маяк, по которому – пусть сбиваясь – направила свой путь Россия. От пушкинского «Пророка» – «...и Бога глас ко мне воззвал: «Восстань, Пророк, и виждь, и внемли, исполнись волею Моей! И, обходя моря и земли, Глаголом жги сердца людей!» – от гоголевских провидений судеб Руси, от некрасовского «Власа», богоборцев, провальников и голубиных душ Достоевского, – до его каторжан из Мертвого Дома, до исканий Правды Толстым, до мягких образов русских у Короленки, до баб немых у костра, вешней холодной ночью, в рассказе Чехова, и дальше, в литературе нашей, все – сильное и глубокое – пронизано лаской, светом, стоит на Христе, – на Боге и от Бога. Вот они, цветы наши, набирающие жизнь-силу от корней Родины: так слагалась душа России. Теперь цвет этот побит морозом.

В великом сонме Святых России, кого своими назвал народ, вы признаете его дух и плоть: Сергия Радонежского, Тихона Задонского, Нила Сорского, Митрофания Воронежского, Серафима Саровского, всерусскими ставших с урочищ и уездов, и многих-многих, души высокой, народных подлинно. Вы встретите обвеянного народной лаской, нашего Миколу-Милосливого, данного русской литературе творчески Куприным, и Богородицу-Печальницу, и милосердного Ее Сына-Спаса, и даже ветхозаветного Илью-Громовика своего, мужика строгого, хозяина, и по-мужичьи справедливого, – его величавый образ создал чутко и жутко Бунин. Они, Святые, открывают тайник народного Идеала, русского Идеала, народной Правды, – до поражающего явления русских «старцев», хранителей духовности народной, тех таинственных глубиной колодцев, к которым пытливо и углуб-

ленно подходили два великана – Толстой и Достоевский, и в них гляделись. И лишь один Горький, отщепенец светлого духа России, остался и слеп и глух к певучим родникам Родины. Это искание Правды, желание строить жизнь с Богом и «по-Божьи», взыскание Града Небесного, Китеж-Града, тоска, что все еще нет его, что не кажет его и видимая Церковь, толкает народ на сотни путей сектантства. «По-Божьи» – заветное слово русского народа. Вот с этим-то – «по-Божьи» – творчество наше так и войдет – и уже входит! – в сокровищницу мира, и этой печати Божьей не отнять от нас, не сорвать, как бы кто ни дерзал на это! Может быть, за «печать»-то эту и получаем мы, русские, удивление разумных европейцев, кличку «странных», что идут туда – не знаю куда, ищут того – не знаю чего. Да, ищем. И найдем, быть может!

Вот, что такое – Светлая сторона души России! Вот, чем она нас вяжет! Града Небесного взыскует, тянется к книге Голубиной. Ищет золотые ключи, что отомкнут неведомые двери в неведомое Царство, – ключи, о которых и до сего дня грезят, которых пока не найдено. Это знали иные нетерпеливцы, и – одни сослепу, другие – из темных чувств – сунули в руки искателя отмычку. Но не открылось. Тогда сунули топор в руки, – и проломил народ свои двери...

Вина за это лежит и на русской интеллигенции. Не на всей: не на выразителях подлинно русского духа, светлой стороны духа этого, не на создателях русской славы, а на отщепенцах духа, послуживших потемкам духа, на вождях неправды, на серой интеллигентской туче...

Об этом, важном и страшном явлении русской жизни, я скажу в свое время, как и о путях неправды, по которым вели властители. Дух Живой уходил из жизни, как уходит теперь повсюду. Дух Живой уходил от Церкви, она ослабела: правила оболочку, а не душу. Порабощенная властью Церковь не оплодотворяла душу. А она, молодая, ждавшая Жениха своего, вся в порывах на высоту и в дали, искала, разметавшись, ждала... И не дождавшись Града, метнулась к аду... И ринулась!..

II

Русская душа – страстная, в созерцательности восточной. Это душа художника и певца, музыканта и лицедея, юродивого и кликуши, богатыря и дерзателя, которому все по силам. Ее познали чуткие из европейцев. Жозеф-де-Местр сказал метко: «Если бы русское хотенье смогли заточить под

крепость, – оно бы взорвало крепость»[1]. Он чутко сказал о дерзаниях и о «жажде» русской и – дивное дело! – за столетие предвидел: «Представим себе, что такому народу дана свобода, и я решительно утверждаю, как в ту же минуту повсюду заполыхает пожар и пожрет Россию»[2].

Пророчество оправдалось.

Наша интеллигенция безотчетно и безоглядно хватала все, что вином ударяло в голову, – до безбрежья социализма. Она не жевавши сглотала все философии и религии, царапалась на стремнины Ницше и сверзлась в марксистскую трясину. От «ума» вкусила, поверила только пяти чувствам – и отвергла Бога: сделала богом человека. Она любила минутно и отлюбила множество идеалов и кумиров. Руководимая отсветами религий, «до слез наслаждения» спорила о правде и справедливости и взяла за маяк – туманность. Этот маяк был для народа смутен. Народ вынашивал своего, Живого Бога Правды, ему доступного, веления коего непреложны. Народ понимал чутко и Свет, и Тьму, грех и духовный подвиг. Этого Бога в народе не раскрыли: ему показали иного бога – его самого, человечество, – бога-призрак. Народ сводили с высот духовных, вели от Источника, к которому он тянулся. Над его «суевериями» издевались. Над миллиардами верст святой страды, над путями к Угодникам – смеялись. Теперь эти пути закрыты, и останки Великих Духом с издевкой кинуты. Теперь гонят народ к иным «мощам», где кадят пороховым дымом, где вместо духовных песнопений кричат всечеловеческую песнь ненависти, и утишающий свет лампад заменили рефлектором. Народу показывали в далях туманный призрак. Ему давали тусклые «гуманистические идеалы» – мало ему понятное. Народу-мистику, жадному до глубин духовных, указали пустую отмель. Он Живого Бога хотел – ему указали мертвого. Он ожидал Неба – ему предложили землю, глушили совесть. Ему с исступленностью внушили: человечество, свобода, равенство, братство! Для него это было – сухие листья, что с пылью сметает ветром, – лишенное тайны и повеления. Ему был нужен Бог во плоти, Любовь, и Живое Слово, Учитель кроткий: ему показали злобу, зависть и – «коллектив». Его подвели к провалу. И – он оторван.

И вот, сила русской интеллигенции на чужбине, а народ там где-то... И вот, здесь теперь происходит выварка, искание истинного маяка. Здесь лучшие, что не приняли большевизма, этой издевки над всем ценнейшим, учения лжи и

---

[1] Le Comte Joseph de Maistre – Quatre Chapitres inédits sur la Russie, Paris, 1859, p 21.

[2] Ibid., p. 22.

смерти. Не мог принять его и народ, ибо чует Зверя. Интеллигенция, в массе, не приняла. Кто же принял? Тот сухостой, которому все едино, на каком ветре ни мотаться. Но живые, с корнями, не принимают. Кто же?

Одни – не могут познать Живого Бога, не могут вместить в усыхающую душу, узкую и земную, вольных просторов Христианства – и все же тщатся найти ключи от дверей жизни... справедливой. Они стоят на путях пустынных. Я говорю не о социализме: из этой религии только плоти выход один – в тупик. Крайние этой секты, коммунисты, это смердяще показали. Более скромные – разбавка. Я говорю о «демократах», что не могут выбить из своей души искру живой веры, народной веры, – без Бога демократах. Они честны, но... динамита, которым взрывают души, они не знают. Теплы – и только.

Равенство!.. Больше столетия топчутся все на том же месте. Где только прах, только неповелительная туманность гаснущих идеалов, – равенства никогда не будет. Тепловатым словам не вырвать из человека занозу власти и корысти. У демократии-невера нет тонкого инструмента, который равняет без обиды, чудесной почвы, на которой все равны перед Беспредельным! Равенство во Христе: равенство дружных, Христовых, достижений!

Не в силах они ввести и братства: братство не от ума рождается, а из живого сердца, которое носит Бога. Ну, во имя чего мог бы я стать братом хотя бы для Мак Дональда? Что человеческое у нас лицо, и только? Вот если бы он признал во мне отражение Божьего Лика, если бы и он уверовал, что мы оба имеем божественную душу, оба мы равные песчинки, затерянные в Беспредельном, оба в Лоне Господнем пребываем... если бы он на мое – во Христе брат мой! – ответил душевным братством, мы почувствовали бы это братство и пошли бы в нашем пути юдольном рука в руку. И он не пожал бы тогда – за выгоду! – руки убийцам миллионов братьев!

Дайте же Цемент, крепчайший Цемент, чтобы спаять человеческие осколки! Нет у вас Цемента, а в ваши прописи я не верю: они рвутся и затираются. Обманны, смутны велеречивые прописи – демократия, человечество, культура, свобода, равенство...

Борясь смертной природой, не могут демократы создать свободы. Свобода там, где обуздываем себя, во имя Освобождения Величайшего, во имя вселенских целей. Что проку, если получим и все свободы по парламентскому декрету, а самой главной, свободы духа, и не получим?! останемся рабами плоти?! А свободы духа не даст никакой парламент. Тогда – грызня. Ибо мы – сами боги! И к каждому надо

приставить городового. Так это и есть свобода?! Так эти права-то человека?! Чего такие права стоят..

Права человека... Есть высокое учреждение, на основе гуманности и демократизма, – Лига Прав Человека! вся из прописных букв! Много талантов, умов и благородных сердцем... И вот, смотрите: какую заслуженную нотацию прочитал этой высокой Лиге профессор Милюков, сам демократ и республиканец! Да, демократ, но... русский демократ и русский республиканец! Сказалось русское. Он решительно подчеркнул измену Лиги даже основам человечности, указав на старания Лиги, чтобы признали большевиков хозяевами русского народа, полноправными членами семьи народов, признали этих убийц, сознательных и исступленных, пославших миллионы людей на бойни! мучивших пытками, разоривших Великую Россию! Что для Лиги живые?! В хлопотах о правах Человека, с прописной буквы, Призрака-Человека, Лига забыла о миллионах теней человеческих: они вышли из «человеческого оборота», – выписаны в расход! Забыла и о работающих бойнях. Признать право на убийство – высокое право Человека! Вот оно Слово Высокой Лиги! Вот куда точеный гуманизм, утонченный «демократизм» – уводят!

Вслепую тычется человечество, нет у него основы: ушел из него Дух Божий. Или не видите тупика, где жизнь толчется, где демократия без души – суть и бог? А величавые перспективы, где? Их нет, и слышно, как вздрагивает земля.

Я не отвергаю народовластия – народной души и воли. Да будет оно! Оно – на основе Христовой Правды. Это народовластие – куда шире! Этот демократизм – живое. А тот, рассудочный, прописной, – неповелителен и легко тускнеет. Взгляните на великие города – точные отражения нашей жизни, – на эти торжища человечьего стада, рвущегося за мясом жизни! Нет уже духа жива, и люди – шоферы и лакеи, рвачи-шоферы, в вонючей коже, в вонючем масле... Мчат они в реве-гуле, рвут чаевые и «по часам». Ведут машину – тысячеглазую, тысячеротую, покорную, как рабы. И давят в беге своем живое, оставляя угарный след. Сбросит она порой, ударит о камень, – и разбивается на куски. Пошлость безмерная, исполинское чванство, всемирное второклассничество! От кинемо получают Слово! Все бегло, смешно и плоско, и пахнет в мире бензином и потешающим «Максом», паяцем и шулером всех сортов. А чистые лилии, рожденные из голгофской Крови?! Взмыли моторы и на Голгофу и сбили Крест, подавили святые лилии. Жизнь мелеет...

Есть и еще, иные, у которых хватает духу, во имя уязвленной национальной гордости, во имя будто-нравственных оснований, звать: возвращайтесь на родину! Туда, где зама-

тывают душу и убивают тело. Идем к народу, страдать! Не возрождаться и возрождать, – этого там не дозволяют, – а примириться в скорби! с убийцами матери примириться, с убийцами души примириться, признать их народной властью. «Ведь примиряемся мы с грязью, по которой ходим?!» Сравнение-то какое, – скользкое! как грязь!! Или это – смирение инфернальное, сладостное «провальным душам»? не во имя попранного Бога? Гниет душа, – дальше, дальше от ее смрада!

Что бы сказала совесть народная такому инферналисту? Сказала бы «не отымай последнего! там, за рубежом, хоть и без меня – мое зреет, – душа моя! Не тащи на свалку!»

Придет время и народ свое скажет: Правда его не выбита.

III

Я бегло отметил слои – зарубежной интеллигенции, попробовал их – на Правду. И думаю: не от чистой они души России.

Но есть многие, души российской, которые знают сердцем. Они Бога в душе несут, душу России хранят в себе. Они за нее боролись безотчетно, отдавали себя в порыве. Они Правду России чают. Из них первые – горячая молодежь наша. Из них первые – истинные сыны народа, не от сословий и не от классов, а от целой, живой России. И вольные сыны степи и рек вольных, буйная кровь России, с Тихого Дона и Кубани, – казачья сила, покорная лишь своей воле да России. И от трудовой земли – крестьяне, от Креста-Христа принявшие крестное свое имя. И – ото всех русских состояний и сословий, молодые. Они, лучшие, принимали и смерть, и муки. Они на своих знаменах унесли незапятнанное, полное тайны имя – Россия. Они не сдались. Они вернут России ее Имя-Душу! Они связаны с нею кровавой пуповиной! Здесь они, крепкие. Здесь – и ищут. На тяжелых работах, в шахтах, на заводах, на чужих дорогах, под чужим небом, в глуши и в пышных городах мира, израненные телом, с язвами и камнями в сердце, – и все же они живые! Израненные души чутки, и они ищут прочные устои. Многие разуверились в духовных вождях своих, какие у кого были. В одном не разуверились: в своей Правде, в своем праве и долге – найти Россию! Они чуют-видят, какая кругом неправда. Этим выковывают – свое.

Да, нужно пересмотреть пути, – и не молодежи только! – и выбрать верный, что по душе России, – путь не мелкой, заманной «будто-правды», а Великой Правды, которую нельзя нарушить. Христовой Правды, Правды величай-

шего дерзанья, Правды и Любви великой. Нужно прислушиваться к тем, кого русский народ мог бы назвать своими, если бы слышал и постигал; к тем, кто верит в Великую Христову Правду, верит, что надо ее свести на землю. Есть такие за рубежом, – учители русской Правды. Они прислушиваются к недрам, они их чуют. Они знают и чутко верят, что нужно Величайшее положить в основу, – Слово Животворящее, Слово Бога. Будить и поднимать души, звать – к подвигу:

«Да отвержется себе и возьмет крест свой и по Мне грядет!»

Грядем, Господи! Мы берем Крест и мы понесем Его! И жизнь освятим Крестом. Души свои отдадим на Крест! Умеющие слушать да прислушаются к душе России! Она им скажет пути свои, пути Божьи, пути прямые. Этих путей не видно слева, – там коллектив и его корыто. Там нет – Неба! А что – направо? Прокладываются ли пути Света? Божьи ли пути метят? Если и там без Христа, если и там старые дрожжи только и мясо жизни, и «наши земли», и камергерские мундиры, и там нет братства, и там не в силах сказать – брат мой! – не с ними пути наши! Наши пути прямые, пути Божьи, пути широкой души народной, объемлющей Любовью! Пути творящие великую, братскую Россию! Душу свою выковать для этих путей надо!

«Приидите вси вернии! приидите, труждающие и обремененные! чистии сердцем, приидите – и поклонимся Христову Воскресению!!» Может подвигнуть себя, Россия?! Подвигни, дерзай, есть сила! Верю, – есть сила.

Время идет, придет. Россия будет! Мы ее будем делать! Братски, во славу Христову делать! По деревням и городам, по всей земле русской пронесем мы Слово творящее, понесем в рубищах, понесем в огне веры, – и выбьем искры, и раздуем святое пламя! Мы все сольемся в одно, – мы вырвем из себя грехи гордыни и преимуществ, ибо мы все ничтожны перед Беспредельным!

Не о пустыне говорю я, не о пещерной жизни, не об опрощенстве, что может грезиться в сиротстве и нищете нашей. Нет, мы освятим Светом и жизнь «плоти»! Мы часто слышим голоса силы и молодой мощи: Россия станет Америкой! Пусть станет. Новой Америкой одухотворенной плоти! Мы – молодой народ, сильный, у нас величайшие таланты. Но кому дано много, с того во многом и взыщется. Не затучнеем и не задремлем! И всему миру покажем пути иные! Жизнь запылает силами. Но пусть эта жизнь, на американскую колодку, будет пронизана Светом Разума во Христе! Без этой основы, без Христовых далей – пуста Земля, и дичает... К чему тогда и мораль, и идеалы? для

смазки, что ли, чтобы не скрипело? Плевать тогда на тебя, идеал случайный! «Хочу автомобиля!» И если силен – вышвырну и сам сяду! Где пределы дерзаний сильному, оголившемуся человеку?! Все можно. Можно человека под ярмо взять, миллионами убивать на бойнях, на подметки пустить во имя... босоногого человечества! Сказка ли это? Это же подлая быль порабощенной Руси, где миллионы душ пущены на навоз для неведомой жатвы будущего! Это везде намекает в мире. А какие же говорились речи! Где поручители, что и у других речистых их речи не потекут кровью? ярмом не скажутся?! Где нет Бога – там будет Зверь.

Опаляющим огнем веры зажжем душу свою и народа душу, – и отвалим от гроба камень, дадим волю живым ключам. Как загорится тогда Россия, Живого Бога познавшая! Что за взрывы духовные увидим! Они взорвут самые недра и освободят подспудное. Вся цитадель взорвется, вся крепость Дьявола! За теми пойдет народ, на все дерзающий, кто сможет душу его понять и оплодотворить ее.

Разбудите же в себе силы созвучные, раздуйте в пламя! Миссия, миссия России! Вот она, миссия, – Бога найти Живого, всю жизнь Богом наполнить, Бога показать Родине и миру! Не гогочущую в реве-раже машину – человечество, а нового человека явить миру, воплотившийся Образ Божий, Спаса! Иначе – смерть. Вот она, миссия! Во имя сего – стоит дерзать, дерзать!.. И тогда только окупится вся кровь и все муки; только таким дерзаньем!

16 февраля 1924 г.
Париж

РУССКОЕ ДЕЛО

I

Россия будет строиться и собираться. Великой стране долго оставаться втуне невозможно: обвалом лежит она на большой дороге – и мешает, и всем нужна; и еще больше нужна – себе.

Страна из году в год не в силах пропитать население: можно ли говорить о значении ее в мировом круге! «Шестая часть света», «без нее мировой кризис изжит не будет» и прочее – лишь опошленные словечки. Население вымирает и всячески выбывает – да, Россия – «дикое поле», и многим зудится чужими конями на нем пахать – верно: рвачи еще выпарывают, что можно; но близок срок, когда выхватывать станет нечего, все пожравшая саранча скинется, и на опустошенное поле, к одичавшим насильникам его придут разметанные теперь по свету, претерпевшие, повидавшие и многому научившиеся братья. Им-то, не забитым в отказ, не потерявшим воли и цели жизни, выпадает на долю ответственная задача: поднять русское поле и открыть затуманенные глаза живущим.

К этому надо готовиться, верою в это – жить.

Пока есть время, надо разобраться в планах всяческого строительства. Это должное дело многих специалистов: государственников, хозяйственников, военных, педагогов, философов, ученых. Готовы ли?! Ни государства, ни хозяйства, – никакой культуры: случайность существования, развал, XIV век, послетатарщина. Нужно остановить вымирание, наметить просеки всяческого строительства, – и помнить, что делать это придется самыми несложными инструментами.

Можно ли думать о каком-либо социальном переустройстве?! Классы стерты и перетерты, население – пыль людская. Нечего социально переставлять: все перебудоражено, все – в куче: голые люди отыскивают себе питание! Что

делать в поле – социалистам! труд, излишки, орудия производства, прибавочная стоимость, земельная рента... – ничего нет. Земля – перекати-поле носится, могилы, ямы... Какие партии нужны XIV веку! Их – полнокровная жизнь рождает. В России они проявили себя случайно, дико и поглотили даже самих себя. Социальные перестройки имеют смысл, когда строение социальное необходимо нуждается в плодотворном и чутком усовершенствовании частей, и... когда умеют за это взяться. А теперь – и строения никакого нет, а так, кочевье. И совершенно ясно, что социалистическим партиям на задичавшем поле не предстоит работы: придется им распылиться, отдаться будничному строительству; или, если они вмешаются в беспланную жизнь пробуждающегося поля, – быть стертыми в мятежах. Надо это честно сознать и – отойти до времени. Их песня, начатая несрочно и неладно, дико дотянута коммунистами.

Русское поле придется долго чистить и прибирать. Только группы строители могут получить место-дело на русском поле. Партии политические, основа и цель которых, – приобщение народа к государственно-политическому участию, понадобятся поздней, когда оглядевшийся народ, заручившись планомерным трудом и хлебом, проявит охоту-волю к более сложной жизни, чего, в условиях разгромленности до корня, случится никак не может. Знакомые с проявлениями изнуренного организма, это полностью подтвердят: в первом ряду – растительно-восстанавливающие процессы. Представителям политических партий грешно обманываться: надо быть особенно чуткими в период опустошенности народной жизни, когда побитый в корень народ меньше всего способен к государственному строительству, и не навязывать народу своих хотений.

России придется крохоборствовать, жаться, оберегать каждый грош и каждый гвоздь скаредно забивать в необходимое место стройки. Придется довольствоваться простейшим орудием управления. По первым месяцам революции мы знаем, во что обходится политическая горячка, проекты всяческих обновлений, комиссий и комиссий, агенты и ревизоры, съезды, съезды и съезды, с конгрессами в перспективе. Нищей стране не по карману пышно-говорливое представительство, бешеная энергия впустую «целителей» народных, с перспективами штатов и окладов. Великое кумовство, рухнувшее на кошель российский с первого дня Великой, послужит строгим уроком стране нищих. Нужны будут немногословные, умеющие жить коркой, вынесшие уроки жизни, с чистым сердцем и крепкими руками делателей, живущие одной думой: поднять, а не добивать Россию. Такие должны найтись: и там, и еще больше –

здесь. Там люди творческой силы выбиты, обеспложены, разбиты, подавлены до неверия. Здесь – за родину отдававшие себя, сохранившие волю и идеалы, познавшие опытом ценную суть и обманчивую форму культуры, должны готовить себя на высокую и трудную работу.

России будут необходимы созидатели практики, руководители самоотверженные. Не дорогое государственное управление европейского образца, с громоздким и медлительным аппаратом всенародного правительства, с капризными отставками кабинетов, – продукт налаженно-нетревожной жизни, – а широкая сеть местных самоуправлений из местных людей-строителей, объединенных центральным, сурово-первичным планом.

Этот первичный план должен быть заблаговременно разработан знатоками.

II

Какая же группа-сила имеет законнейшее право на бытие?

Только та, которая окажется способной положить в основу своей работы первично-необходимое, чутко учитывая возможности и жизненные потребности народа. И потому – лишь кровно любящая народ, знающая его бытие и душу, – национально-хозяйственная. Только такой силе-группе может быть дорого не проведение во что бы то ни стало теоретически-справедливых принципов политической науки, верность основам своего миропонимания, а воздвижение страны из мертвых, хотя бы и с нарушением законов идеальной правды, – как по нужде спасают. Та созидающая группа-сила, куда пойдут, без различия привилегий, все национально-мыслящие и кровно любящие, крепко взятые святой волей – ставить свою Россию. Партия национального склада и практического закала.

Оголодавший, нищий народ, живущий на семи ветрах, не в силах заинтересованно-вдумчиво осуществлять дело народоправства: ему впору чиниться, добывать кусок хлеба, осмотреться. И как ни трудно будет это иным, верующим в целебную силу народоправства, – им придется на опыте убедиться, как народ, отброшенный к XIV веку, займется первичной кладкой на пепелище, передав «государственное» немногим, верным, – возможно, что и с наказом. Затейливая резьба будет потом навешена, когда подведут под крышу.

Строить будут «под кнутьями». Неприятное это слово. Не под ременными кнутьями рабьего застенка, не под ядовито-острыми кнутьями соблазна, какими недавно гнали на-

род под веселую музыку к могиле, а под кнутьями жестокой необходимости. И счастлив будет народ, если не станут ему мешать: раны зарастут скоро.

Национально-хозяйственная – не политическая разных красок! – группа-сила должна вобрать в себя все национально-здоровое, творческое, что уцелело еще в стране, и заблаговременно учесть все, что можно знать теперь о положении народа. Должна быть создана основа, должно быть положено бродило, которое оживит массы волей любить родное, строить его и хранить. А форма государственного накрытия... Но – накрывать-то нечего!.. Накрытие будет соответствовать наличной сути: во все времена, у всех народов, когда страну накрывает гибель, верховная власть дается крепкой руке, а рождает ее и питает силой жизненное чутье народа. Так и будет. Но, что загадывать?!.

Дело русских людей, верующих в неизбежность великой стройки, – найтись теперь же, наметить первичный план, чтобы не метаться, когда застигнет время. Должно быть сбито ядро, национально чувствующее и мыслящее едино, – вне разлагающих и дразнящих политических устремлений. В нем должно быть равное место представителям всех племен, которые готовы с Россией строить, судьбы свои связать. В него должны войти, подав крепко друг другу руки, представители былых партий, честно сознав, что время теперь иное, дела иные, что первое дело – родина и народ, что надо собрать остатки и ставить на ноги. Надо отказаться от иллюзий и красивых планов и идти в черную работу.

Вопрос стоит жутко-просто: страна вымирает, страна отброшена к XIV веку. Надо ее подымать, кормить, одевать и – показать дорогу, по которой она шла когда-то, по которой идут народы.

Сентябрь 1924 г

УБИЙСТВО

I

Вспоминаю я март 1917 года...

Зачинающаяся, но уже хмельная, весна, сибирские просторы и дали, и «поезд свободы», от паровоза и до хвоста – в красных флагах, в полотнищах кумача с золотом и коленкора с дегтем, с крикливыми изречениями из прокламаций, где бряцали побрякушечные слова, совсем опошленные потóм тысячами трибунных глоток, – все эти: «кошмары тираний», «вековые цепи рабства», «крестные пути скованной революционной мысли»); все эти «долой!», «да здравствует» и «вперед» (на случай сдобренные выхваченными стихами из поэтов). То был (необычный) Поезд, доселе еще нигде невиданный, – (поезд) освобожденных политических каторжан. (Воистину – пьяный поезд).

Тогда, в хмельном от революции марте, все было пьяно, тревожно-бесшабашно, беспланно, безудержно.

(Многотысячные) толпы солдат, вдруг «застрявшие» по дороге к фронту (мгновенно учуявшие свободу). Волны народа на узловых (станциях), пытливо приглядывающиеся, с опаской приглядывающие – «возможности», но не принимающие пока всерьез. Мальчишки сел придорожных, (версты дующие за поездами,) истошными голосами орущие: (а-ти-лату-ры-ы) а-зет! раздирающие подав руки (предусмотрительно) запасенной «литературы», революционного хлеба-камня, что пошвыривали из окон радостно-щедрые руки будущих творцов жизни. Линейные сторожа, вдруг позабывшие про шлагбаумы и попивающие чаек за окошечками своих будок, выслав с флажком девчонку. Серые кучки матерых (бородатых) каторжников, (на радостях) пущенных гулять по России, исподлобья высматривающих (пути свои) с потеплевших откосов, с пустынных полустан-

ков, (с городских окраин) цепляющихся за (каждый) поезд, чтобы поспеть «на праздник», рассказывающих таинственные истории мук, принятых «за свободу народа» (– уже натачивающих ножи). Начальники станций, веселящие революционный глазок яркой красной фуражкой, конфузливо ею машущие под раскатистое ура. Свалившиеся под откос костяки слетевших с рельс поездов, колесами к небу, вскрики разболтавшихся паровозов, призывающие самые недра тайги спешить на пир, – все было пьяно сорвавшеюся с винтов жизнью, заманчивой жизнью без колеи.

А в этом замутившемся хмелю (– от неожиданных и заманных возможностей –) (безудержном) народном море, по первым валам его, мчался «корабль революции», славный поезд (героев революции), (шестисот) политических каторжан, (пусть героев второстепенных, пусть даже революционной «шпанки»), но все же героев неподдельных. Так, по крайней мере, они именовали себя (просторам и серым толпам на станциях).

Генералы от революции уже прокатили (особь) в экспрессах, с солидными «путевыми», (с почетными кортежами,) под трубные звуки оркестров и шелест революционных знамен, с букетами роз пунцовых, шустро добытых из теплиц сибирских капиталистов, (неопределенно заулыбавшихся в неясный лик Революции) уже сотрясали аудитории (добрыми зовами и огневыми речами закружившейся истерички, возомнившей себя королем испанским, уже формировали – будили «революционное самосознание масс» на пути (через Самару в Москву и) в Питер, где сотни рук взволнованно-цепких старались выхватить друг у друга опустившиеся (и путающиеся) поводья понесшейся «Русской тройки», где уже принялись забивать в обнаженный хребет российский всякого рода колья с красными флагами всяких фирм, с громогласными изреченьями, где «да здравствует» и «долой» сплетались в великолепные обещания – дать все, от бесплатной бани и дров до... «рая», до осуществления обета из интернациональной сказки – «кто был ничем – тот будет всем», – выводя речами и действиями таинственно заманчивые разводы, по которым вдруг захмелевший народ приучился читать одно: все можно!

Но и эти «шестьсот» героев, несколько запоздавших к революционному кружалу, все же могли блеснуть революционным прошлым: тайными типографиями, конспирациями, прокламациями и бомбами, расстрелами (русских мужиков-городовых – из-за угла, ни в чем не повинных мужиков, которых они подводили под экзекуцию, бунтуя по деревням и фабрикам, каторжными годами,) чахотками, нажитыми подпольной жизнью, разбитыми жизнями и той вполне оправданной злобой на судьбу неудачников, которую

они питали за себя лично к «проклятому старому режиму», наивно воображая, что при новом режиме они будут много таланнее.

Плохо ли, хорошо ли, но *свою* и *собою* жизнь творивший народ, тысячелетней своей путиной создавший Гнездо Российское, жилами своими связавший великое государство на страх врагам и на зависть соседям алчным, силившийся в богатстве имущественном, росший и подымавшийся из низин духа, еще не сознавая своей великости и грядущего Воскресения *своими*, стихийными путями, смотрел выжидательно и с тупым удивлением (и с недоверием) на этих людей в пиджачках, в мягких шляпах, в каскетках и в инородческих треухах, на этих бледных и худощеких людей, кричащих из окон и с площадок вагонных на языке, едва напоминавшем родное слово, неслыханные слова: «без аннексий и контрибуций», «идеологические надстройки», «авангард пролетариата», «импульсы революционного самосознания», «углубление революционных достижений», «великие имена Маркса и Энгельса», – и кучи-тучи сыпучего мусора, годами ссыпанного с брошюрок в некрепкие головы и теперь свободно посыпавшиеся на сибирско-российские просторы. В сыпучем треске (слов-звуков) серые толпы улавливали одно, подмывающее: теперь *все можно*!

По инструкциям-телеграммам «из центра» – «сближать население с борцами за революцию», «будить революционные чувства масс», (–спешно передаваемым за несколько станций вперед комиссарами и всякими агентами, забывшими, что кроме Революции есть Россия, требующая в острое время особенного внимания,) – в стороны от (сибирского) пути пущены были воззвания и приказы: будить, подымать, сзывать, жертвовать, жертвовать, жертвовать, доказать внимание и оказать уважение, – и «освобожденный» сибирский народ, всегда бывший свободным (и крепко сбивавший свое хозяйство), приносил иногда «чувства сознательного гражданского отношения» (так заявляли ораторы): красный флаг, наскоро состряпанный в паровозном депо из кумачовой рубахи, пару труб медных, занятых «на такой случай» из пожарного оркестра, пяток окороков, пожертвованных хитрым торговцем, раздумчиво почесавшим в затылке и сказавшим (резонившему его) комиссару от революции: – «Да, Господи... да мы... по случаю как борцы... кровавого самодержавия... с великим удовольствием...» (пуд сливочного масла «союза (сибирских) маслоделов»), (ящик-другой виноградного вина, вытребованного специально) телеграммой – «ввиду особенности состояния».

Над этими дарами произносились речи о трогательном единодушии, о крепкой связи масс с передовыми борцами

революции, о радостных слезах освобожденного народа... «когда-то все принужденного отдавать прожорливой гидре самодержавного деспотизма», о сорванной голове «гидры тирании», которую необходимо «прижечь», у которой надо вырвать ядовитые зубы и щупальцы-кровососы; о важности углублять и углублять передовые траншеи революционного фронта (военные термины особенно яро звучали из уст бледнолицых и слабогрудых «борцов», в первую голову интересовавшихся, дадут ли им годовую отсрочку призыва в подлинные траншеи немецкого фронта), дабы очнувшаяся «гидра» не вонзила отравленного ножа в спину революционного народа.

Я хорошо помню, как один сибирский мужик, с разинутым ртом слушавший (маленького) кипучего оратора, размахивавшего с вагонной площадки измятой шляпой, (все время) поправлявший (пышный) красный бант на груди, этого (неистового), неустанного шафера от революции, вдруг крикнул, поняв «свое» что-то:

– А уж они там... (учнут добираться)! Свое нагонють!

А другой, толкнув локтем, повоздержал:

– О-ставь... (шпиены у них...) Им деньги платють... ка-к расстраивается... бе-да!

Этих «расстраивающихся» с часу на час становилось больше.

Питая необъяснимую страсть к «учету сил революции», любители классификаций, пунктов и литер в своих программах, жадные до революций, конференций, делегаций, интерпелляций, фракций и депутаций, сторонники национализаций, конфискаций, деклараций, экспроприаций, с потенциальным запалом в сторону террора и страшных до помрачения кровавых экзекуций, до оголения внешние, ходячие и сухие схемки неуловимых и отвлеченных выводов, они с первых же дней так легко нежданно давшейся революции потеряли из вида живое лицо, тело и душу родины и России. Дети ее по метрикам, знавшие ее мало или совсем не знавшие, они принимали ее как отвлеченное нечто в революционном суждении своем. Часто совершенно чуждые ей по крови и духу, не знавшие и не любившие ее тысячелетней истории, ее не открывавшихся им недренных целей и назначений в мире, они выделывали-кроили ее историю, как хотели, нанизывая на своего идола-болвана, изготовленные по мудрой указке Маркса, все подходящие лоскутки, которые они смогли подобрать из богатейшего ее скарба. Отбросив неподходящее им из великой сокровищницы, собранной историками и делателями России, – вплоть до исторической философии Данилевского, нащупываний и пророчеств огромного Достоевского и гениально-блещущего ясностью вы-

водов Ключевского, – эти нищие мыслью и глубокими чувствами «лакеи мысли благородной», привыкшие «осознавать» на лету, довольствовались большею частью тощенькими и лживо-подтасованными разглагольствованиями Шишко, самоуверенно-хлестко сумевшего приспособить крикливые факты к приятно-революционному пониманию, для которого тысяча юбок Елизаветы, нос императора Павла или попойки Петра являлись необходимейшим поводом для исторического «комаринского» на трепещущем жизнью прекрасном теле России.

Им было и чуждо, и непонятно (и недосужно, быть может) то великое и величавое по судьбе российское напряжение, Духом Жизни указанное в удел России, то напряжение не по силам, которое она приняла на себя, из которого вышла с честью, оберегая века культуру, от которой ей упадали крохи, от которой ей доставались, с случайным даром, ядовитые экскременты. Через искривленные стекла, через цветные стекляшки выкинутых из европейской кухни использованных пузырьков, смотрели они на мудрое, часто стихийное, делание Святой Руси, на мучительное, со всеми народными силами, проявление государственной мысли, со времен Александра Невского, Калиты, Донского, Святителей и Митрополитов Руси, духовных и политических вождей народа, до терзаний Смутного Времени, великих кроек Петра, блестящих десятилетий гениев русского творчества, обретавших жемчужины в формировавшемся российском хаосе, – до последних и крестных мук, последнего испытания великого народа войной и государственным нестроением, из чего должна была иметь силы выйти Россия, если бы!.. Нет, они не умели и не хотели смотреть на ее историю здоровыми, самою жизнью живой дарованными глазами. К ней, молчаливой и трепетной, они подошли, по оголтелой указке своих «историков», с отвагой подпольников-прокламаторов, взяли из ее жизни все, способное раздражить-озлобить, неумело или сознательно проглядеть и ласку, и муки, и жертвы-слезы, взяли заплевали все ценное и прокричали хулу, только бы раскачать, только бы растревожить темное народное море, поиграть на его волнах с юркостью школьников-мореходцев, которые не понимают бури, не сознают, что придет она неминуемо и потопит богатые народные корабли, на которых неведомая им (и не любимая ими) рождающаяся Россия уже выплывала на великочеловеческий Океан, с ликом прекрасным, и вдохновенным, и мощным. Потопит их и поглотит.

С первых шагов (своего революционного делания, с первых шагов) по земле (так) доверчиво им открывшейся, еще в пустых просторах сибирских, они принялись искать новых

путей борьбы, совершенно забыв, что уже не с кем теперь бороться, что надо давать и давать, давать и стране и жизни, чтобы заставить ее творить. Они не знали (или не сумели узнать), что жизнь – самая мудрая из хозяек, что есть у нее закон – дай, и я дам! Они, слепцы из подполья, знали другой, свой закон – давай и давай! – и только. Они ведь вынесли на своих знаменах пустопорожнее слово, трескучезвонкое слово безответственных болтунов во сне рожденного Интернационала:

Весь мир насильно мы разроем
До основанья... а затем...

Ну, а затем... могила, (в которую упадут и сами, если не оставят для себя предусмотрительно заготовленного «ковчега»). Но они об этом не думают. Они бросают ожидающим «чуда» массам такую чудесную заманку, ради которой можно, пожалуй, и им поверить:

Кто был ничем – тот будет всем!

(Великий секрет алхимиков, который им, конечно, известен: из ничего сделать – все!)

II

Я взял поезд «освобожденных» не случайно.

Такие поезда не поезда везли и несли на Русь тучи охотников править и устраивать жизнь по своему, вернейшему, способу, который им написали и с точностью выверили прекрасно знавшие Россию: Маркс и Энгельс, Либкнехт и Адлер, (Плеханов) и Чхеидзе, Чернов и Церетелли, Рамишвили и Ленин, Троцкий и Радек, Роза Люксембург и Клара Цеткин, Вандервельде и Бела Кун и десятки и сотни больших и малых учителей и пророков, многие из которых в ближайшее время нашли-таки, наконец, истинное свое призвание – палачей-убийц. Они не взяли в руководители гениев русской мысли и русских чувств: национального Пушкина, муками пытавшегося охватить смысл России Гоголя, (великого ученого и патриота) из недр Руси исшедшего Менделеева, чуткого и мудрого Пирогова, Данилевского, Аксакова, Соловьева, Достоевского, Ключевского, – десятков славных людей русского имени и русского духа, – вплоть до Толстого и Чехова, – для которых (Россия и) народ русский были не (отвлеченностью), не элементиком в формуле, а волевой (и болевой) сутью их жизни. Все, что ценнейшего выдавил из себя народ в области чувств и мыс-

ли; все, что сливала в чудодейственный фокус живая жизнь, духовная и телесная ткань тысячелетней России, – национальная культура, народный дух-гений, – все это было и чуждо и неизвестно самозванным политикам, единую школу познавшим – политическое подполье, владевшим единственным полномочием – дерзостью неудачника.

Но перед этими «силами-чарами, как бы перед явившейся вдруг головой Медузы, все действительно ценное на Руси вдруг почему-то залепетало невнятно и занемело, может быть, честно себе призналось, что не отросли от них корни, не связались с корнями народной глубинной жизни, и не пришло еще время народной массе править пути свои в единении тесном с водителями России. Но эти чувства-ответственности перед собой и судьбой народа – чужды и незнакомы были другим, самоуверенно-дерзко назвавшим себя вожаками народа, навязавшим нагло ему себя, заговорившим от его имени, имея фальшивый ключ, (ключ)-отмычку к темным дверям многогранной души народа, – (ложь, клевету) злобу, и (безудержное) потакание инстинктам. На этом ключе-отмычке подполье вырезало заманчивые слова: «все можно» и «нашарап!» (Они хорошо учли магическую силу этого – «нашарап!» И не ошиблись.)

Что-то еще лепетали потерявшие голову Маниловы-либералы, приветствовали «гениальный порыв», великий праздник народа, «сбросившего вековые оковы рабства», воспевали чистоту и святость народа, так бескровно и т. д. А поезда несли и несли совсюду – из глубин Сибири, из-за Океана, из-за вражеского фронта, из всех стран и народов – вдруг взметнувшийся «авангард мировой революции», людей зеленого возраста, никогда не видавших России, или оторвавшихся от нее, в кафе и биргалках международных готовивших верные планы, по которым Россия должна отныне, под их водительством, править пути свои.

На этих поездах и кораблях, вдруг задвигавшихся совсюду «по директивам из центра», десятки тысяч «революционного авангарда» везли революционный пыл и азарт, туго взведенную пружину «революционной воли», желчь и злобу за прошлое, за исковерканные жизни, за свои неудачливость и бездарность, за мызганье по чужим дорогам. (Иные) – надежды на устройство при кулебяке российской, самой жирной из кулебяк, ароматы которой донесло и до стран заокеанских. Везли личные страсти, может быть, для самих везущих и бессознательные, чудесно укрытые «любовью к народу и человечеству». Везли и вражеские директивы, и вражеские деньги. Везли шпионов и провокаторов, ловкачей и предпринимателей, чуящих, что приспело время вцепиться в хребет российский, порядком обнаженный вой-

ной. Везли уязвленное самолюбие, самоуверенную бездарность и просто глупость, пышно увитую попугайски заученными словечками пылких чужих речей, занятых напрокат из архива Великой Французской революции. Везли на «праздник России» самоопределение народностей, любвеобильный мир без аннексий и контрибуций; наполнили собой столицы и города, вызвав к «революционному образу жизни» и в пять минут влив в себя революционизированные, между парой жгучих речей и шелушением семячек, ленивые и уставшие народные массы, которым не предъявишь ответственности. Наполнили поселения, посады и деревушки, всюду напустив снабженных мандатами на будущее удовлетворение агентов, недурно оплаченных и теперь, снабдив их «общею линией поведения», сманивая, разлагая, обещая, призывая потачками грабежа, якобы разрешенного неведомым, но очевидно всесильным Марксом, очевидно царем каким-то для всех народов (такое толкование было!), и оправданного отравляющим волю словом: «грабь награбленное!» Пополнили ряды свои убийцами и ворами, выпущенными «для-ради праздника» слабоволием сладкосердных либералов, отказавшихся (по своей государственной мудрости?) установить власть на местах, предоставив сие созревшему вдруг народу, доказавшему свое право и т. д. Набрали для сбиваемой с толку армии комиссаров фронта. Нагнали шпионов и агитаторов, продажной и гнусной сволочи, которая, частью на немецкие сребренники, на русских харчах, автомобилях и поездах, пошла и пошла шмыгать по фронту, въедаться, вползать, вгрызаться в защищавшую родину серую толщу войск, – и там, в обстановке смерти, когда дело идет о самой великой жертве, на которую только человек способен, эта гнусь-мразь, прикрывшаяся высокими лозунгами «человекобратства», разжигала, мутила и ослепляла массы, натравливала-науськивала, клеветала, травила; разлагала и растлевала; продавала и предавала лучших, срывала с них знаки их сыновнего и отчего долга, плевала им в незапятнанную душу, поселяла сомнение и отчаяние, подкапывалась и взрывала, чтобы приготовить майдан-базар, на котором впоследствии можно было очень и очень недурно поработать.

Я не закрываю глаза на чистые побуждения, на светлые надежды и устремления иных делателей революции российской. Я вовсе не хочу мазать все единой краской. Но что могли эти отдельные и разумные, когда и лучшие-то из них не в силах были понять то простое, простым, но цельным людям понятное (а такие были, и было их немало!), что в момент величайшего напряжения, с каким страна отстаивала право свое на национальное бытие, нельзя оставаться свиде-

телями и потатчиками, помощниками разлагателей народной мощи, нельзя убивать силу обороны, нельзя выхватывать из ее машин «сердце», нельзя шулерски-гнусно обещать все и всем, свое выдавать за мнение народа, которого у него и не было; нельзя расшаркиваться перед советом сбродно-случайных депутатов, сами себя таковыми объявивших, в котором, рядом с глупцами, ставшими вдруг политиками, возомнившими, что они Солоны и Ликурги, заседали и вели подтачивающую работу или маньяки, или заведомые Иуды, или наймиты вражеского стана, или ловко носившие маску вождей пролетариата российского, возглавители совета, вскоре оказавшиеся «гражданами своего отечества», за кровный счет русского рабочего человека ловко обстряпывавшими с в о е дело и теперь еще домогающимися у Европы признания правоты своей.

Но я опять отвлекся от «поезда», несшего России желанную свободу.

III

Борцы за освобождение народа, еще не выбравшие костюмов, в которых им приятнее всего будет устраивать жизнь и счастье народных масс, только еще в пути, стали искать позиций. Они стали производить дознания-анкеты, како кто верует. Воистину, это были еще политические младенцы. Три (!) анкеты успели они провести на пути от Иркутска и до Москвы, и всякий раз менялись их партийные группировки, (а посему и их «линия поведения»), и всякий раз нарождались партийные из беспартийных, социалисты-революционеры из народников-социалистов, интернационалисты из социал-демократов, максималисты из просто социалистов-интернационалистов, левые из менее левых, левые крайние, до... анархистов. Правда, это были рядовые работники, многие из них – просто тихие и добрые люди, обремененные семьями, страшно уставшие, которым только бы доткнуться до угла тихого и благостного, но они неудачно попали в кипево, в бучило всяких брожений, и, так как положение обязывает, они не могли не завертеться. И завертелись. Правда, многие из них не могли бы сказать о России двух связных слов, не вычитанных из прокламаций и листовок, и отчетливо знали разве только «Пауки и Мухи» Либкнехта, смутно-«коммунистический манифест» Маркса и Энгельса и твердо две-три революционных песни, в которых ни одним звуком не говорится о любви к родине и об ответственности перед ней, в которых нет: «Allons, enfants, de la Patrie», а есть только одно: ненависть, ненависть и ненависть; есть беспредметное, с ножом, с топором, с дубиной и кувалдой,

«вперед!» (на врага внутреннего), есть подтасованная схема жизни, в которой две краски – белая (красная), для «рабочего» и черная, для «деспота» и иже с ним пребывают; в которой только два положения – сосущий пот-кровь и «сосомый», в котором одно и одно: желчь-злоба.

Я не знаю, какая тупая и узкая, от злобы слепая голова могла сочинить эту пошлую российскую «марсельезу», эту песню недалекой, животной злости, – не злобы, – эту гнусную песню с балаганными полотнищами «деспота, пирующего в роскошном дворце, тревогу вином заливая!» – где вся жизнь величаво-страшная и громадная в творчестве и сложнейшей борьбе и завоеваниях сведена для понимания масс (и их разжига!) к «твоим потом жиреют обжоры», к «бей-души их, злодеев проклятых», к – «смерть паразитам трудящихся масс!» Но она очень удачно попала в точку, создав это пустопорожнее (и самому народу смешное, но иногда «удобное») и мелкотравчатое – «попили нашего поту-кровушки», с каковым отпуском всех грехов и пошли православные «работать», как со знаменем и щитом, на поток, разграбление и насилование всего решительно, чего душа добивалась. Но она удивительно отвечала всему нищенскому багажу делателей революции, не исключая и их вождей, что они вскоре так блестяще и доказали, усвоив себе занятие: мешать непременно всему, что могло бы втащить жизнь хотя бы на плохенькие рельсы, и всемерно способствовать валиться в прорву еще не свалившимся частям ее, чтобы прочистить дорогу главным гробовщикам и насильникам, которые, изнасиловав и ограбив, пришпилив к жертве красный ярлык «отдана на позорище», под чем надо понимать – костер для будущего всемирного пожара, – теперь пытаются поиграть в государство, недвусмысленно заявляя, что они «немножко ошиблись», что первый опыт не совсем удался; что надо, видите ли, опять создавать капитализм и культуру, обыкновенную буржуазную культуру, которую они имели неосторожность выкорчевать и сжечь; что надо уметь и торговать и торговать; что нужно идти путями кооперации, которые они также взорвали и перепахали, что... одним словом, надо все начинать сначала. Как будто никогда не было России, которую они убили, ее особливой, ее бесценной культуры, которая пошла уже рыть себе торные пути на Запад, восхищая его, весь мир, и которую они испепелили на ее родине, отняв ее у более чем стомиллионного народа, который только начинал познавать ее.

Но я опять отвлекся.

Шел поезд «освобожденных», и уже на первых значительных остановках началась словесная музыка, «сибирская увертюра», вскоре разразившаяся потрясающей оперой-монстр, во всероссийском масштабе.

Безответственные, не постигающие еще, какая страшная каша начинает вариться в великом котле российском, не перевалив и Урала, но уже заряженные десятки лет тому назад созданными революционными лозунгами, лежавшими по подвалам, как обракованный, сбыта не находящий товар, эти насвистанные попугаи, которым раз навсегда «вожди» забили в затылок клинья, раз навсегда надвинули на глаза шоры, посылали и посылали трескучие и гнилые слова: долой войну навязанную буржуазией империализма! братайся с немцами! грабь ограбивших! не верь интеллигенции, прихвостню буржуазии! углубляй и питай ненависть! вставай-подымайся, не повинуйся никакой власти, кроме власти пролетариата! истребляй офицеров, продукт господства буржуазии, этих купеческих и помещичьих сынков! отбирай землю, фабрики, заводы, банки! и т. д. Всю эту ложь-правду, весь этот лелеемый багаж подполья и продукт злобы, зависти и тоски, и умственной ограниченности, накопленной годами жизни на воле, в которой не удалось найти причала и удачи по бездарности ли или слабоволию, или вследствие увлечения непродуманными перспективами, захватившими дух у людей с воробьиным мозгом, – весь багаж этот, сдобренный желчью и муками подневольной жизни в глуши сибирской, они, слепые рабы «вождей», мавры от революции, не прочитавшие вдумчиво ни одной страницы истории своей родины, многие даже вовсе не имевшие этой родины никогда, не имевшие ни малейшего понятия о сложных законах, которыми управляется жизнь человечества, видевшие перед собой только первую поросль русского леса, – посыпали и посыпали они штампованными речами, сдобренными жаром и блеском глаз, взмахами рук, биением кулаками в грудь, слезами, обещаниями, хрипами, обмороками.

Помню, как один из них, бывший ткач из Иваново-Вознесенска, с деревянным лицом кретина, но с крепкими скулами и шишковатыми кулаками, впоследствии сделавшийся видным деятелем подвальных казней, вытвердивший на поселении десяток пустопорожних, оскомину набивших фраз, которые для него были лишь звуками сотрясающими, вроде, например: «адеологические постройки», «результат классовой дифференциции», «эксплоторская индеология», – начал свой путь строителя «оазйса» будущей мировой революции с того, что купил в Иркутске десять фунтов зернистой икры, (де-шево, по два рубли!), потребовал себе, не в пример прочим, отдельное купе 2 класса (многие требовали отдельное купе!) и с женой и сынишкой ел столовыми ложками эту икру, закусывая сладкой плюшкой и запивая мадерой. Бросал икру перед большой станцией, вытирал локтем губы и, еще прожевывая сладкую плюшку, становился на

площадке вагона, имея шустрого герольда с ревущей глоткой:

– Товарищи и граждане! Сейчас к вам будет держать речь бывший политический каторжанин, три года томившийся за ваше светлое будущее в казематах Верхнеудинской каторжной тюрьмы, представитель от рабочих Иваново-Вознесенского района! Ура товарищу!..

– Ура-а-а! – товарищ – любитель икры и печальник народный, прочистив горло, начинал неизменно одно и то же:

– ...интеллигенция на тонких ногах и широкозадая буржуазия будут приходить к вам в овечьих шкурах и петь соловьиные песни! будут дуть в ухи, что наша революция совершилась и кончен разговор! Мы, представители мирового пролетариата, отлично знаем, что это есть иксплоатация и адеалогия класса! Они боятся, что пролетариат вырвет у них сладкие куски, пышные столы с питиями и яствами! Но мы должны вырвать змеиное жало! И я зову вас создать великий оази́с... мировой революции! Не верьте и не ждите! Кидайте ружья, протягивайте через окопы братскую руку жертвам мирового империализма, берите землю у помещиков-кровопийц, а всем, приходящим к вам в шляпах и брюках, ломайте ноги!

Это было в сибирских просторах, но это уже начиналось всюду – вливание гнилой крови в организм народа, лишь начинавшего приобщаться к гражданской свободе и к пониманию своего национального образа.

Эти призывные слова, не встречавшие отпора у представителей других политических течений – долбивших и долбивших каждый свое, вплоть до полусумасшедшего «анархиста-чревовещателя», совавшего из окна вагона черное знамя с коленкоровыми черепами и костями, по которому было нашито упрощенное до идиотизма – «Хлеб и Воля!» – были бы забавны и только, были бы знамением пустоголовости и пустодушия болтунов, если бы они, слова эти, не отвечали, как вода губке, серым многотысячным толпам, которые планомерно двигались (только что) к фронту делать очень важное, в исторической перспективе, может быть, не совсем ясное для народа, но естественно выдвинутое жизнью дело, корни которого таились глубоко-глубоко в прошлых ошибках ли, или в прошлых событиях, но которые (корни) нельзя было оборвать без потрясений неисчислимых.

Бьющие по такому доступному массам и такому желанному – по своекорыстию и по страху за жизнь, – эти речи оставляли народные толпы в брожении, в воспалении сразу и бурно начинавшей действовать прививки.

А поезд все шел и шел, а товарищи подкреплялись дарами народа, – икрой, окороками и маслом, грудами солонины

и флагами, трубами и ура-ми, качаньем солдатских рук, сразу вдруг зачесавшихся, вдруг зарядившихся кулаками – для приятной работы – грабить кем-то награбленное, где-то (везде?!) без охраны лежащее, – лицами и ртами, благодарно орущими:

– Ослободители!.. борцы вы наши!!. Урра-а-а!..

Сотни поездов, там и там в российских просторах, с разливающимися шире и шире, чарующими, заповедными – теперь все можно, гу-ляй! – неслись и неслись к сердцу России, в Москву и в Питер, где уже начинали бурно работать лаборатории ядовито гнилых прививок, оборудованные интернациональными доцентами и экстраординарными профессорами от революции, по инструкциям заслуженных профессоров, собирающихся двинуться из-за немецких окопов, в запломбированных вагонах, – профессоров-магов, у которых уже было все разработано и был наготове план: «зажечь и перевернуть мир».

IV

Поезд освобожденных шел...

И вот случилось... случилось в пути страшное, явился как бы знак предостерегающий, знамение, показанное Судьбой, тревожный сигнал в пути: «блюдите, како опасно ходите!»

Бесснежны, голы были сибирские просторы. Кажется, 28 марта, а может быть, и первого апреля была Пасха. Весенняя тишина стояла в тайге, шумели ручьи. Вечерами пустынные огоньки костериков давали приют подтягивавшимся к городам освободившимся с революцией каторжанам уголовным. Бритоголовые, серые, поглядывали они на призывающие к свободе плакаты поезда-ревуна, выведывали что нужно на остановках.

Иные из них подсаживались и в поезд, рассказывая про горевую свою судьбу и «зловредность проклятого самодержавного режима», ни за что, ни про что высосавшего из них «трудовую пот-кровь». Их принимали братски. Они «отходили» на людях, с красными бантами на груди, с их лиц сползала сероватая нелюдимость-тайна, и удивительные истории подвигов и страданий иногда развертывались перед сочувствовавшими им слушателями. Почти каждый из «пострадавших» мог с недомолвками намекнуть, что и он принимал участие в «великом деле освобождения». Здесь были и пострадавшие за «народную правду», проломившие череп или выпроставшие «черево» у старшины-живоглота. Были потерявшие заработок по проискам разных «лакеев самодержавия», по капризу господ вынужденные пойти в услужение «к генералу Кукушкину», и почти все убийцы

были убийцами «из души», «из правды», и почти у каждого жертвами были буржуи-толстопузые, исправники, становые, урядники, сыщики и городовые.

Они соскакивали иногда перед большой станцией, руководствуясь только одним им ведомыми географическими признаками, урочищами, товарищескими связями и планами. На место одних подсаживались другие, в смешанном одеянии, в шляпах и папахах, в кофтах и даже бурках. Много их было по откосам, еще больше, конечно, в тайге. И все они были теперь свободны.

Наступил вечер Великой Субботы, солнечной Субботы, вдруг потемневшей, захмурившейся ночи. Вдруг повалило снегом, и белая, зимняя Сибирь уже белела за окнами. В салон-вагоне и по вагонам-столовкам освобожденные, немного затихшие почему-то, разговлялись. Пасхи из творога и куличи в розанах из бумаги, в красных цветах рождающейся весны-Пасхи, красные яйца горками, без радостного «Христос Воскресе», и бегущая в загустившейся за окнами ночи белая, зимняя Сибирь, – все вызывало неопределенную тоску по чем-то, уже утраченном. Это чувство передалось и матерым революционерам. Помню, один из них, принимая из рук печальной сестры-санитарки крашеное яичко, спросил ее:

– Почему вы такая грустная?

Она пожала плечами, дернулась.

– Почему?.. У нас уже больше не будет Светлого Дня...

– У нас теперь все дни будут светлые! – лихо ответил матерой революционер.

– Как вы наивны и близоруки! – выкрикнула сестра. – Или лжете сами себе. Что вы делаете с народом?! Вы его убиваете!

Он только пожал плечами. А она со слезами, с болью начала говорить, говорить, кричать истерично.

Была уже глубокая ночь. Густая метель крутилась за окнами. Сугробы уже наметало в лиственницах, на рельсах, у верстовых сторожек. Черная собачонка прыгала по рыхлому снегу, увязая по уши. Я стоял в коридоре вагона. Кто-то, рядом со мной, чавкал. Кто такой? Это был вышедший подышать из купе представитель рабочих Иваново-Вознесенска. Он стоял у окна, угрюмо смотрел на снег, тяжко сопел и обгладывал куриную ножку. Пахло крепкой мадерой.

– Да-а-с... – сказал он в мою сторону. – Вот и Пасха-с! С праздничком вас...

Тут не было никого больше. Главное: не было слушателей. И я многое высказал ему – с глазу на глаз. Он все молчал. Потом, вытянувшись так, что хрустнули все суставы, сказал, зевая:

– Так-то оно все так... и право, полегше надо!..

Но он все же не стал «полегше».

А когда он ушел в купе, появился возле меня «матерой» и долго, молча смотрел, как бежала зима за окнами.

– Конечно, вас не убедила сестра?

Он ответил задумчиво:

– Да, правда... что-то не совсем ладное...

Утро встретило нас зимой, пышной зимой под сибирским небом, белесым, туманным. Метель затихла, снег таял, валился с лапистых лиственниц. Выглядывало на миг солнце. Поезд подходил к станции.

– Какая?..

– «Зима»!

– «Зима»?! Нет, серьезно?..

Действительно это была станция «Зима». Обычная сибирского типа, станция, кажется, деревянная, длинная, с поленницами дров швырковых, с мужиками в треухах и лохматых папахах, в валенках, в тулупах. Вдруг быстрые-быстрые шаги, и в дверь вагона кричит побледневшее лицо черноватенького герольда, возвещавшего обычно публичные выступления:

– Вы слышали, что случилось сегодня ночью?! Каторжане целую семью вырезали у станции...

Да, случилось. В эту метельную ночь, первую революционно-пасхальную ночь Сибири, на станции «Зима», мало кому известной, освобожденные революцией каторжане зверски зарезали семью из семи человек, семью машиниста товарного поезда: молодую жену, мальчика и двух девочек, свояченицу-подростка, шурина-прапорщика и заночевавшего неизвестного никому солдата. Русскую трудовую семью русского трудового человека.

Зарезали освобожденные каторжане, двое болтавшихся с вечера «матерых», двое волков из тайги, на человечьих ногах, с человечьими лицами, пропавших в метельной ночи.

И пошло из вагона в вагон:

– Слышали? Какой ужас!..

– Вы слышали?! Вырезали семью...

Слышали все и никому в голову не пришло, что на великой станции человечества, их же руками совершается величайшее из убийств, еще неведомое истории, – убийство целой страны, убийство многомиллионного народа – растление его духа.

Прошел «поезд свободы», не заметив красного флага, тревожного знака, поставленного в пути Судьбой: «Блюдите, како опасно ходите!»

Пошел и пошел...

V

Пошел к сердцу России.

Там уже ходко работали лаборатории: запасы гнилой прививки были огромны. Газеты стряпали жгучую «Правду», вливая ложь, передергивая, извращая факты, разжигая злобу, капля по капле вливая гной в буйную кровь народа.

Но были силы сопротивления: там, на фронте. Сотни тысяч сынов России, – русское офицерство, молодежь русская, проходившая школу, – бывшие студенты, окончившие гимназии и городские училища, выходцы изо всех народных слоев и, главным образом, из крестьянства. Эти сотни тысяч были опасны углубителям революции: они получили образование хотя бы настолько, чтобы чуять неизмеримую сложность жизни и всю опасность безумных кроек ее по-новому; настолько, чтобы не верить в бесстыдные обещания шулеров. Не верить и удержать массы.

Эти сотни тысяч отдавали себя за родину, примером внушали массам исполнить долг, собой защитить ценнейшее – право народа, право России на жизнь по силам ее и свойствам, право идти с другими к прекрасному будущему. Понимали они, что взрывом не развязать сложный узел ошибок, приведших к страшной войне; что для России не выход – уничтожение наций, превращение всех в покорное стадо, в стадо людей без прошлого и без будущего, под единственным знаком – человек № n+1, – превращение во что бы то ни стало, какими бы ни пришлось жертвами, хотя бы уничтожением всей культуры и всех несогласных, путем жесточайшей из тираний.

Эти сотни тысяч были опасны. Их нужно было смести.

Носители новой, «интернациональной», веры облегчали себе борьбу отказом от той морали, которой жило все человечество, которая полагала предел в выборе средств борьбы: все заповеди они заменили одной – все можно.

И вот, полилась отрава. Раскинуты были перед глазами масс, неспособных на сознательный подвиг, все животные блага мира, все те соблазны, которыми соблазняет дьявол: право на все решительно, до безнаказанного убийства.

Носителям «новой веры», работавшим на вражеские деньги, помогали и многие, не принимавшие новой веры. То были или близорукие, переоценивавшие свои силы, или не учитывавшие последствия, или захлебнувшиеся в величайших возможностях, или настолько стыдливо-робкие, что боялись упорством скомпрометировать свое прошлое перед «прозревшим народом», подделывались к нему, потакая, не имея мужества сознаться перед собой в трусливости, про-

должая бояться все еще пугающего клейма: старорежимник и черносотенник. Иные из них, умеренные по политическим взглядам, не оказали сопротивления, иные – даже способствовали приказам, убивающим силу фронта, и не помешали гнусному делу натравливания солдат на офицеров.

Трагедия лучшего слоя страны, бедной культурными силами, слоя, почти целиком захваченного войной на командные должности, – надежда России в будущей напряженной работе просвещения и строительства, – его обреченность гибели – была видима многим, не захваченным вихрем власти. Но эти зрячие могли лишь взывать и писать в газетах. Их голоса пропадали в вихре.

А гной продолжал вливаться, при попустительстве и содействии так называемых «демократов», поплясывавших у социалистического болота и все не решавшихся в нем заплавать. Пока они пробовали делать маленькие дела по комиссариатам, выглядывали «покушения на свободу», следили, чтобы революция «развивалась», и подымали тревожный крик, как пуганые вороны перед кустом, когда являлся их испуганному воображению призрак «белого генерала». Впоследствии они каялись и писали воспоминания, позволяющие сделать только один вывод: что за ничтожество тогда направляло жизнь! У них, с маленькими головками, у этих бывших статистиков и народных учителей, долго мечтавших о роли двигателей и направителей народных, спирало дыхание от власти, от игры в государство на совещаниях, от горделивого чувства, что они «направляют корабль российский», что смотрит на них Европа, что их имена и портреты печатаются в газетах! Спирало дыхание, разбегались глаза, мутились умы, горели от волнения души, трепетали сердца от делания. Они говорили дерзости генералам; они, стоя в автомобилях, принимали величественные, иногда перед зеркалами заученные, позы, – они принимали цветы и лавры, как балерины, наигрывали командные голоса, вычитывали из книг когда-то и кем-то сказанные речи, приказывали, отменяли, обещали, убеждали, назначали, дарили лаской. Они геройски-отважно закладывали «первые ячейки», выступали перед солдатскими массами в качестве укротителей, не забывая об удобствах автомобилей, отдельных вагонов и экстренных поездов, – с мандатами чрезвычайными. Былые кропатели журнальных и газетных статеек, выдававшие сами себе звание публицистов, провинциальные адвокаты, вдруг ощутившие в груди наполеоновские призвания, валявшиеся по царским постелям из мещанского честолюбия, – все это пробовало проявлять свою деятельность и на фронте, где большевизм уже разливал гангрену. Тряпками слов своих пытались они заткнуть прорвавшуюся плотину. Часто на их

глазах или сейчас же за их отъездом натравливаемые агитаторами солдаты, словно по спискам, убивали и всячески «убирали» лучших из генералов, адмиралов и специалистов, смещали лучших в военном смысле командиров, засыпая жалобами комиссаров, присвоив и утвердив за собой право оценки доблести офицерской, мечтая лишь об одном: уйти в тыл, грабить и делить награбленное.

Для кого-то еще виднелось оплеванное лицо России, но для большинства из активных политиков того исторического позора, который еще и до сего дня торжественно именуется Великой Революцией, Россия не существовала, как родина, как итог, живой и прекрасный, тысячелетнего творчества крови и духа поколений; не естественное чувство любви и народной гордости двигали ими (над сентиментальностями Карамзина только бы посмеялись, а об органическом и планомерном развитии государственности российской, Ключевского, и не думали): им Россия была нужна, как удачное место для проведения в жизнь своих идеалов-планов, наскоро и часто рабски призанятых из брошюрного обихода (что за историки и государственного опыта люди они были – это они доказали ярко!) и, возможно и вероятно, как место для пряно-острых переживаний в почете, и власти и сытости, если бы удалось им оставить власть за собой, что потом так наглядно показали большевики-коммунисты.

Я отлично предвижу, как «серьезные» историки революции с усмешкой мне укажут (а может быть, и не снизойдут до этого), что многое я сгустил, что многое у меня ненаучно, необоснованно, дано в освещении и преломлении «обывательском». Я хочу предварить их упреки и замечания: я даю не «историю революции». Я даю лишь картину того разложения, того растления государства российского, того проклятого гноя, который упорно, систематически вливали в народ; картину всего того, что убило Россию нашу. Убило, и теперь только чудо может случиться, чудо Великого Воскресения.

Оно случится.

Факт изнасилования и убийства великой страны – налицо. Факт десятков миллионов слепо и зверски отнятых человеческих жизней, – лучших молодых жизней – и миллиардных богатств имущества и культуры, собранных тысячелетним трудом России, не может быть возмещен ничем. Он останется голым и гнусным актом глупости и безволия того слоя российской интеллигенции, который несет ярлык, отныне роковой и жгучий ярлык – интеллигентский демократизм. Он, этот факт растления и убийства России, станет отныне памятником, поставленным героям от социализма, памятником из человеческих трупов, позора и нищеты, что

навеки поставлен глашатаям «новой веры». Его не закроют ни ссылки на народную темноту, ни оправдания в ошибках и преступлениях, ни упреки и взаимные обвинения боровшихся групп. Этот чудовищный памятник все накроет собой, этот постыднейший крах демократических и социалистических устремлений живой подоплекой народа будет усвоен и никогда не забудет его народ, уцелевший еще от гибели. Вывод зреет и, верю, уже явно созрел в народе. Созрел, ибо наиболее чуткие, пророки народа, стихийно созданные неведомыми силами русской жизни, духовно мощные люди русские, – писатели, мыслители, ученые и общественники, – и там, в бывшей России, и здесь, в Европе рассеянные, – уже предвосхищают и образуют народное сознание происшедшего и смело и сильно показывают пути, по которым будет совершаться ход воскресшей России.

Не странно ли? Лучшие художники слова, лучшие выразители национальной сути, мыслители, ученые и общественники, люди с русскими именами и русским сердцем, явно и резко отмежевали себя не только от социалистических упражнений всякого сорта, но и от «республиканско-демократических» устремлений, чуя и в них опасность для возрождения.

Достаточно вспомнить и перечислить их имена, известные и в России и в Европе, чтобы увидеть, что главные силы духовно российской мощи, ее 99% удельного веса, не отдали своего святая-святых, ума своего и сердца, творцам могилы российской и другим, не покинувшим планов проделать и новый опыт. Что удержало их? Ведь для них открывались пути и почета и славы, и обеспечений, и трубные звуки, и лавры, и почетные титулы! Удержала духовно-кровная связь с народом, чуткость к болям России, духовное знание путей ее. Глубоко глядят они, видят дали российские, чуют умом и духом. Они не пошли на *опыт*. Они не остались с *теми*. Ибо они, прежде всего, люди самостоятельной мысли, люди глубокого, не разменного чувства, понимающие ответственность. Они – на высотах мысли и духа, они наделены чудесной способностью обобщать и провидеть; люди большого духовного напряжения, они способны мерить глубокой мерой и видеть и предвидеть именно то, что зацветает в душе народа, который вылепил их из лучшего материала жизни неведомыми путями, с которым они кровно-духовно связаны, как пророки и вдохновенные, чуют и прозревают. Это невидимые щиты, которыми бессознательно оберегает народ *свое*. Это великие охранители, которым незримо доверяет народ ценнейшее – сберечь и пронести в дали. Они сберегут, пронесут в дали и укажут пути ему.

И уже указывают пути.

Когда-то их голоса тонули в вое революционных шакалов, вопле гиен, волков и стервятников, слетевшихся и сбежавшихся на пир совсюду. Теперь их вещие голоса начинают слышать. Скоро начнут внимать. «Имеяй уши слышати да слышит!» Через них говорит онемевший русский народ.

Но тогда, в вопле революционном их голоса тонули. Тогда шли на шакалий вой, – простая и легкая дорога, – там падаль. Россию выволакивали на свалку! Наконец-то! Проклятую, ненавистную Россию, которая устраивала погромы, угнетала народности, грозила медвежьей лапой «лихим наездникам», нациям чужеродным, точившим зубы и когти на ее богатства. Наконец-то, Россию валят! Валят, волокут в майдан! Туда и дорога ей! В зверином вое не слышали и забыли Россию великих дел, Россию – стража и возбудителя мировой культуры, Россию – народный ум, из лесных дебрей, снегов, песков и степей собравший великое государство, под защитой которого процвели, сохранились и окрепли народы, теперь частью сметенные, частью разрываемые на части. Россию валят! Сколько великих политиков потирало руки! Сколько авантюристов предвкушало! Но занято время было войной, и казалось иным, что пока это несвоевременно. Прошло – и потиравшие руки молчаливо одобрили «убийство». Это было очень для них удобное «дело», удачный исход в соперничестве, развязка для легкого достижения национальных целей, в ущерб самым жизненным целям великороссийского народа, чего массы народа не сознавали, что было вовсе недорого для огромной части «политиков», по многим причинам лишенным чувства кровной связи с Россией.

Историки и философы национальных движений и революций потом разберут вопрос о национальных задачах России и значении их для мира и дадут объяснение, в силу каких причин в недрах российской интеллигенции вырос проклятый чертополох – людей без родины. Бывают дети, чуждающиеся родителей, как и птицы, загаживающие гнездо свое. Бывают и духовные босяки, человеческий сухостой, лишенный корней национального культа и национальной чести, как есть люди, не понимающие звуков и красок.

И вот, сибирский поезд политических каторжан, подпольщиков и восторженных сумасшедших, шулеров слова и мысли, своекорыстных, обиженных жизнью и затаивших злобу и просто радующихся легкой возможности перемен, поезд, выросший в апокалиптическое чудовище, обрушился на помутившуюся Россию.

VI

Разрушив верхнюю смычку сложного здания государства, свора социалистов всех мастей, безвольно направляемая изъянами их программ, невежеством и неопытностью и скрытыми указаниями крайней клики, пошла раскидывать и разметывать все, до самого основания, то наступая дерзко, то пугливо отскакивая, чего-то еще стыдясь, что-то еще проглядывая, чего-то опасаясь, что грозным предупреждением вставало даже перед опьяненными легкостью свершений и возможностей – очень не емкими мозгами. Раскидала, порою пробуя что-то строить, не веря друг другу в правительстве, подозревая измену принципам, родине, заданиям партии. То отваживаясь на крутые меры, до смертной казни включительно, столь противной любвеобильному сердцу социалиста, то вдруг ощериваясь на последний призывной вздох, на последний молящий взгляд погибающей родины: Корнилова затравили и обезвредили.

Эта постыдная травля Корнилова, выдвинутого Россией стихийно из ее недр, казака-рыцаря, которому Россия будущая воздвигнет великий памятник горя и гордости народной; эта трусливая суетливость всех перед дерзкой кучкой, которой из трусости развязали руки; этот постыдный отказ от власти, так легко и доверчиво давшейся и так малодушно брошенной, – все это закончилось, наконец, позором: власть взяли, подняли власть упавшую – власть над отравленной и горячечной Россией, которую уже ничто не мешало насиловать, кто как хочет.

Но в спазмах предсмертных, давимая врагом извне, терзаемая внутри, травимая миллионами сбитых и одураченных, и опьяненных возможностями сынов своих, Россия даже в такую пору величайшего из отчаяний смогла еще выделить из себя здоровую кровь, перед которой оказался бессильным гной безумнейшей из безумных революций, революции ненациональной, революции, «углубленной» безответственными пришельцами. Эта здоровая кровь – великое белое движение, порыв десятков тысяч российской молодежи, студентов и офицеров и лучших детей народа, казаков и солдат русских, почуявших вдруг нутром, что дело идет всерьез, не о классах, не о мужиках и барах, не о материальных благах, а о том, чего не взвесишь и не измеришь, чего не купишь, чего не найдешь нигде. Дело идет о родине-России, той колыбели общей, из которой все вышли голыми и в недра которой сойдут одинаково голыми все. Дело идет о высшем благе, о чести имени русского, о величии, о существе и ценности всего русского, – прошлого, настоящего и будущего, – о том, часто даже неуловимом что может быть

высказано только глубоким вздохом скорби и радости, или вдохновенным стихом поэта. О том, чего не наполнить словами, но что сольешь в одно слово – Россия.

Была борьба, были победы, удачи и неудачи, геройские подвиги и зверства, порожденные зверством тех, что еще недавно кричали яро: долой смертную казнь! Чистые ряды умиравших за родину героев и толпы появившихся в тылу шакалов, агитаторов и тупиц. Ряды святой, самоотверженной молодежи, лучшей крови России, погибающей в неравных боях, изнурявшейся от несчитанных ран и голода, и безудержные тылы уже отравленных ядом очертиголовства, произволом начальников и пропагандой. Порывы светлых вождей – Корнилова, Алексеева, Деникина, последние напряжения Врангеля, пытавшегося удержать распад, – и явная слабость власти, неумение отрешиться от домогательств былого класса владетелей, вовремя крикнуть слово, народу нужное, – слово, которое должно было претвориться в дело по совести. Предательства со стороны социалистов-партийников, в страшные для армии дни рывших подкопы под нарождающуюся власть России, закончившиеся выдачей на смерть другой гордости и отваги русской – Верховного Правителя Колчака – и ему поставит Россия памятник героя и гордости – и эта великая и святая борьба за родину, борьба против великого разложения души и тела России, кончилась выходом на чужбину. Оставленная союзниками белая армия, тень и душа России, ушла из нее, и живет, и бьется, и ждет. И держит Россию в сердце.

А Россия... Она прошла все испытания, еще невиданные ни одним народом. Преданная, обманутая, забитая, она все еще бьется в муках. Еще проделывают над ней опыт прививки коммунизма-социализма, еще пластают и раздирают тело. И равнодушно поглядывают на нее народы. Иные приглядывают куски, иные довольствуются дешевкой соков ее. Но Россия еще живет, живет какой-то особой посмертной жизнью. Кучка прививщиков, увеличившая свои ряды за счет очертиголовства и уголовников, проделала со статридцатимиллионным народом все, что приходило ей в голову, чтобы заставить его жить не так, как он хочет, но он все же живет – своей, недренной жизнью, для многих – какой-то странной, посмертной жизнью. Но Россия живет – в могиле. И придет время – воскреснет. Миллионы сынов ее убиты казнями по подвалам, миллионы лучших детей ее. Побито, потерзано по подвалам лучшее, жившее сердцем родины. Миллионы хозяйств крестьянских стерты с лица земли. Десятки миллионов трудившихся на земле погибли голодной смертью. И гибнут, гибнут. А Россия еще живет, посмертною живет жизнью. Разбита и убита промышленность, поби-

ты, бежали ее хозяева, и новый, разбойничий, вид торговли, и разбойным народам неведомый Нэп дуется гнойниками, все заражая собой, захватывая своей гангреной и самих делателей «новой жизни». Гной течет и течет, буровит и разлагает кровь русскую, и Великие Инквизиторы Человечества пытаются разложить и духовный оплот народа – Православную Церковь. Расстреляв на Руси и в подвалах тысячи священнослужителей и вождей церковных, они пытаются самую Церковь сгноить и этим окончательно отравить душу России.

И все же – жива Россия, потусторонней, посмертной жизнью. В мучениях жива, пронесших ее заветы. В сердцах и душах жива, жива в тайниках народного сердца.

1924 г.

«ДРАГОЦЕННЫЙ МЕТАЛЛ»

Прочитал в статье г-жи Кусковой: 1) «в России не осталось камня на камне от прошлого»; и 2) «в революционной лаве, вулканически выплеснувшейся в 17 г., рядом с отвратительным шлаком есть и драгоценный металл, из которого будет строиться...» и т. д.

Статья спокойная как будто, но под покоем чуется движение, удовлетворение победой. Так в омуте – пройдет вдруг чуемой лишь дрожью, но глаз уловит, как в глубине метнулось что-то, сглотало – и пропало.

И так – завоевания: полный разгром, «вулканически выплеснувшаяся лава» и – «драгоценный металл». Слышен пафос: «ворочались пласты», «вулканические события», «революционная лава, вулканически выплеснувшаяся», «драгоценный металл», «новая биологическая порода», «абсолютное умерщвление прошлого», «преображение»... Крепко. Правда, старая водичка, от «светлых дней», но милое не скучно. Слышится акафист: радуйся!.. А под величавой гладью –

– «Думаете – уцелело что-то? Камня на камне не осталось!»

И пробегает струйкой недовольство: иллюзии еще питают, в прежнюю Россию верят, – а и камня от России не осталось!

Добились, значит. За пустяками дело: «поверьте, ничего же не осталось, и покоряйтеся! Идемте «засыпать ров», сплавляться с «вулканически выплеснувшимся драгоценным металлом!».

Программа завершена. Еще в 70-х годах писали – просвещали:

«Вы – краеугольные камни будущего строя, рабочие-герои! А мы, интеллигенты, ни к черту не годны. Мы, дворяне, все дрянь!..» («Хитрая Механика»).

«Эх, – «дрянь» писала, – да подожди, проснется народ, да скинет с плеч своих выносливых пьяниц-бар да кулаков и заживет тогда припеваючи!» («Хитрая Механика»).

Скинул. А как припевает, про это читай Мельгунова – «Красный Террор» и статистику побитых голодным мором.

«Министры с боярами (!), фабриканты и помещики, все монахи лицемерные, все мучители народные, все получат воздаяние за грехи свои тяжелые. Всех сотрет народ с лица земли – и потом заживет припеваючи!»

Опять – припеваючи!

«Не сдержать клетке орла могучего, не сдержать тюрьме добра молодца...» («Четыре Странника»).

Сбылось. Поотворяли все клетки и все остроги, – и «драгоценный металл» выплыл.

«Эх, мы уедем, братцы, на Русь-Матушку, мы пойдем будить православный народ: «Уж вы встаньте, встаньте, мужички черные, вы почуйте свою силу могучую! Поднимайтесь, православные, как божья гроза, уничтожьте всех своих недругов...» – и, конечно, – «заживете припеваючи» («Четыре брата»).

Спели. Сбылось: «вулканическая лава излилась», «драгоценный металл» поднялся. Продолжение следует...

Выполнено отменно, и потому – вулканическое: пласты, лава, извержение, преображение... Пьяниц не стало, мужички живут припеваючи, камня на камне не осталось. Дальше что? Не выполнена еще программа?

Очевидно, еще не выполнена: за «грамотками» – вулканические статьи. Воинственны – и идут по-казачьи, *лавой*. До трех миллионов еще не обращено в «православные» и в «припевающие». И не слышно аплодисментов.

«Да признайте же, что камня на камне не осталось! Мужики живут припеваючи, «драгоценный металл» излился.

Аудитория безмолвствует.

«Идемте же засыпать ров...!»

Или страшно идти одним? Или – жутко таинственное молчание?..

Попробуем разобраться: куда это так упорно приглашают?

От прошлого камня на камне не осталось. Верим.

Церковь? Осквернена. Читай «Черную книгу» – и узнаешь.

Царь, род Его? Знаем. Читай Соколова, Дитерихса, Жильяра...

Миллионы молодежи русской – истребили? миллионы народа «низового»? Самое слово русское, – растлили? Знаем.

Это тоже – «завоевания». О них молчат. А вот – «выплеснутый вулканической лавой драгоценный металл»...

Проверим его свойства.

В статье находим:

«Помню... в 1918 – 1921 гг. различного рода «кампании»... По сбору вещей, хлеба, людей на фронт, людей на работы, людей на просвещение, по сбору налогов... на каждую находилось множество людей с поразительной, дьявольской энергией, шмыгающих по России в мороз и бурю... новых, бодрых, подвижных до головокружения».

Видали и знаем все. Знаем энергию обезьян над чурбаном, и «головокружительную» – сумасшедших. И «по сбору вещей» – насильников всякого калибра, с дьявольской энергией. Не они ли – «металлы драгоценные»?

Знаем - и «по сбору на работы»: загнали стариков, девушек гоняли чистить нужники и потешать красноармейцев. Бывало – народ жалел. Не гоняли ли эти – «металл-то драгоценный»?

Знаем и «людей на просвещение» – безграмотных нахалов и наглецов, бездарных подхалимов и каторжан, грозивших «осветить мозги». Знаем просвещение «металлом», погубленную школу, сотни тысяч ребят, бредущих невесть куда, учительниц, забитых, отданных на издевку хулиганам. Пусть читают «Шкраба» (XXIII кн. Совр. Зап., ст. Талина).

Знаем и людей по сбору продразверстки, огнем и мором прошедших по России. Показали дьявольскую энергию – расстреливали мужиков «в мороз и бурю». От иных коммунистов слышал: ужасались! Или это «драгоценные металлы»?

Знаем и людей, «шмыгающих по России». Шмыгали с дьявольской энергией, из горла вырывали, сбрасывали с вагонов под колеса, дрались на крышах, насиловали за фунт хлеба, «снимали» из винтовок. Знаем орды до зверства доведенного народа. «Драгоценные металлы»?

Но почему же забыты те, с дьявольской энергией, трудящиеся так, что «на четыре вершка» ходили в каше из волос, костей, мозгов и крови? Об этом говорить не любят. Читай, читатель, очевидца! («На Чужой Стороне», кн. XI).

Почему же... – «ни один диктатор теперь не сможет повторить ни Плеве, ни Столыпина, усмирителя революции 1905 года»?

Два миллиона расстрелянных – известны или не известны? Или – казненных Столыпиным и Плеве принимают одного за тысячи т е п е р ь казненных? Другая цена крови? Подешевела? Т а к и х не будет? Е с т ь! есть злейшие, сотни неизмеримо злейших. Бэла Кун, Дзержинский, Землячка, Лацис, Петерс, Зиновьев, Троцкий, симферопольский Михельсон, Урицкий, Володарский, Свердлов... – и сотни им подобных, на местах? Места нет на Руси, где не было б диктатора, перед которым и Плеве, и Столыпин – совсем младенцы! Тяжело писать об этом.

Вы, призыватели... вы боролись с режимом царским, искали Правду. Я верю в пробужденья, – но почему теперь зовете к примирению или – к забвению, что ли? к «засыпке рва»? Нет у вас искры прежней? «ненависти святой» и пыла? Почему же тогда не звали? Почему вы теперь – за «христианство»? Почему же теперь руку протянете на помощь, если будет тонуть хоть Троцкий, как заявляли? Радовались же, когда бросали бомбы, тех убивало, ненавистных?

Да когда же смолкнет эта болтовня соблазна? когда же, наконец, закончат отравление последнего, что остается – веры в Правду?!

Меня не соблазнить сиренам, но кто не знает – может думать, что у нас никогда и не было ничего драгоценного, что нужно было «извержение вулкана». Скажу для этих:

Россия богатела, могущества ее страшились. К 1923 году завершался план всеобщей грамотности. Росла культура. Ложь, красное словцо, конечно, что за время царского правления культуры не давали массам. Голая ложь политиков бесплодных, статистиков упорных. Культуры по приказу не бывает – «всем, всем, всем»! Культура проникала постепенно, слепому глазу незаметно. Веками творят культуру, а не брошюркой, не «ударным фронтом», не «людьми на просвещенье», «до головокруженья подвижными». Русская культура шла упорно, непрестанно, как соки под корою. Лучших выдавал народ культуре, срастался с ними. Кто знал состав студентов, воспитанников средней школы, техников, курсисток, механиков, сотни тысяч ремесленников, мастеров; кто ездил по России не для шмыгов, – тот знает, сколько было подлинных детей народа. Экономическая мощь росла гигантски. Темп Европы замедлялся. В ином Россия обгоняла даже Штаты. Сам Прокопович писал об этом, почтеннейший ученый. Высший по роду класс слабел и таял. Земля переходила к землепашцам. Столыпин проводил реформу великого масштаба. Новая кровь вливалась из низов в верха. Из глубин народных вышла промышленность, торговля, – от мужика. Земства, школа, государственное дело, армия, наука, само искусство – высшая культура – все, получало свежие притоки – от народа. Пусть имена считают, статистику «притока». Россия была народней многих «демократий».

А духовная культура! Культура познается не техникой, не изготовлением только милинитов, смертогазов, стакилометровых орудий, треском речей, братоубийственным порывом. Где было больше – человеческой культуры? Где было столько приютов, больниц, училищ, богаделен, клиник, «странных» домов, – во имя? во Имя Божие?! Где столько капиталов оставлялось по духовным на Божье дело? Вот она, культура, а не «детдомы»! Знают ли находчики «металла», сколько богоугодных и всяческих гуманных уч-

реждений содержалось именами и средствами Российского Двора? Сколько сиротства, старчества, убожества (слово «некультурного» народа, от «Бога» – слово!), прикрыто было именами ненавистными? Знают ли огромный, великолепный «Ксениинский» приют, в Москве, для сирот ссыльных, политических ссыльных даже? А теперь – где дети от расстрелянных, где миллионы детей, – при «металлическом» режиме?! Сгорели? пошли на «шлак», как вулканически, теперь привыкли выражаться?

Не было культуры в массах! – говорят. В каждом городишке вам называли имена, рассказывали чудеса о «добрых людях». Исстари ведется. Прочтите у Ключевского! А имена – российских? Ляпины, Третьяковы, Бахрушины, Шанявский, Солдатенков, Лямин, Солодовников, Голицыны, Шереметьевы, Базановы, Алексеевы, Лепешкины... перечесть нельзя. А по Сибири! Где было столько благодетелей, стипендий, столько жертв от «неизвестных», капиталов городских и земских, – на школы, на приюты, на стариков, на бедных девушек-невест, на бесприютных, на сирот, на вдов, глухонемых, слепых, калечных, инвалидов, матросов?.. Сколько революционеров вышло из даровых жилищ, вскормилось на стипендии «дающих»?! В благодарность – их... куда?! Это вот – культура! А верстовые корпуса «домов» – вдовьих, воспитательных? Целые улицы тянулись – в приютах и больницах, «клинические городки»... А храмы по России? Только-только памятники начинали ставить: Божье Дело не отпускало! Где все это? Статистику имеем? Этим наши статистики не занимались, – некультурным делом! Все шло неслышно, величаво, полно, как русская великая река. Без перебоев, мерно. Куда спешить? Долго жить России, еще увидят. Зачем шуметь? О Божьем Деле не кричат.

А наше офицерство, которое травилось искони, истреблялось нещадно, ненавистно? Кто они, – до миллиона! – втянутые войной под погоны, «извержением» – под «мушку», в пытки? Больше половины – дети крестьян, мещан, казачьи, рабочих, – русского народа! «Статистикам» известно это? Кровь «низовая» – «верхнюю» пока забудем – на кого падет?..

И этого-то прошлого – камня на камне не осталось! – говорят нам бодрое.

Я хочу спросить: где же этот «драгоценный металл», который мы должны признать, в сплав, с которым нас приглашают на разгроме? Эти, «по сбору вещей, людей...»? с дьяволовой энергией? Их теперь признать за «соль» России?! «Подвижных до головокружения»? Пытателей, убийц, воров, насильников, кокаинистов, венериков? Или – «шкрабов» несчастных, или подхалимов, продавших душу, или – спекулянтов на крови, на чести, на Кресте? или –

растратчиков и лихоимцев, чем полны советские газеты даже? Самодуров и дураков, перед которыми бледнеют все ненавистные для «признающих»: Держиморды, генералы от Щедрина, Кит Китычи и помпадуры, Сквозники и Пришибеевы, все Хлестаковы и Кречинские, все Чичиковы, ростовщики?.. Это ли – «металл»? Или жеребцы, с половой сферой планетарной, люди-кобели? И об этом пишут в «советских», и им-то омерзило, портить начинает воздух! Комсомольцев и пионеров растленных, растлевающих, – несчастных? Да где же «драгоценные металлы»?!!

Камня на камне не осталось? Человека не осталось! А что осталось из ценного, – лежит подспудно, на глубине, и страждет, отгорает неприметно. «Новая биологическая порода» лезет? Признать ее, такую? С нею воссоздавать Россию?! Да что же это, обмолвка или... залихватскость? Или, просто, признается факт? А Россия... не была ли – фактом? Почему же ее не принимали, лучшую и чистую неизмеримо? Теперь – признать «остатки»? Из гнили... возрождать Россию? Нет. Если только гниль, только «драгоценные металлы», – лучше пусть сгорает.

Подлинная драгоценность есть – Россия, в недрах. Она не кружится, дьяволовой силы не проявляет. В нее мы верим, ею грезим. Верят в нее и те, грешившие, теперь сознавшие ошибки и преступленья. Им простит Россия. С ними, непримиримыми, не призывающими на «засыпку рва», кто бы ни были они по прошлому, – Россия примирится, если они ее хотят иметь, Россию чистую, Россию Правды, а не Дьявола, не «драгоценного металла».

Есть здесь, за рубежом, Россия, прошлая: выплавлена огнем войны, боевым страданием за родное, мукой. Она не подалась под ковкой красных кузнецов, не распылилась, не перегорела. Это – наше, молодое, русское, безмерным, от начала мира еще невиданным страданьем очистившееся от подлых шлаков, что там. Этот металл не сплавить с «дьявольским металлом», «драгоценным». «Драгоценный», если не сгорит в угаре, провалится, откуда выплыл в «вулканически выплеснувшейся лаве». Для сплавки с таким – рва засыпать не будут, ибо из такого сплава выйдет только «шлак». Не о засыпке будут думать, а дожидаться новых «извержений», если уж пошло на вулканизм. Будут «изверженья» – и «драгоценный» сгорит мгновенно, обратится в золу, как дьявольский, или – практичней – пойдет на те работы, с которых сорван, – на добывание полезного металла, в рудники.

Ноябрь, 1925 г.
Париж

КАК НАМ БЫТЬ?

(Из писем о России)

Иногда я получаю письма, написанные болью за Россию, всегда волнующие, порой очень горькие, безоглядно указывающие на виновников небывалого разгрома, полные убежденности, что – «теперь, уцелевшие и сохранившие еще силы бороться за нашу поруганную родину, мы должны вдуматься в наше прошлое, решительно покончить с «идеалами и фетишами» так называемой прогрессивной, или передовой русской интеллигенции, в сущности безнациональной, – должны познать подлинное свое, творить и хранить его».

Редкое письмо не заключало в себе вопроса: «как нам быть?» Давались и решения:

«Надо выработать основы «заповеди», как и за что стоять, свято поверить в них и осуществлять только их, чтобы не тратить бесплодно сил».

«Мы должны отбросить вопросы «вечные» и «проклятые», над чем больше века трудилась наша радикальничавшая интеллигенция, требовавшая «прямых ответов»; должны покончить со всеми этими рассуждениями о «правде-истине» и о «правде-справедливости», чем щекотали мозги досужливые люди, мучившие себя вопросом – «имеем ли мы право погружаться в искусства, в науки... получать образование на деньги, выколоченные с бедного народа, пребывающего во тьме?» – это образование получавшие, сидевшие в редакционных креслах, поджигавшие на политические убийства, тайно рукоплескавшие им, из безмерной «любви к народу», будоражившие «народ», толкавшие молодежь на дело смерти и, в конце концов, столкнувшие Россию в пропасть!..»

«Мы должны решать наши вопросы, близкие русской жизни, наше должны познать, а не весь свет любить и за него терзаться, – терзается он за нас? – укреплять наше, не отделять «народа» от России, принимать всю ее, со всеми

ее классами, не отщелушивая все лучшее, что выделяла страна веками на всяких поприщах. Только, укрепив «поле русское», попробуем засевать и «мировое поле», если семена найдутся, если суждена нам «миссия»!»

«Наша миссия – возрождение России. Снова и снова – подвиг, подвиг нового созидания России, в поте и крови монаха и солдата, вечных русских подвижников! Вот наши идеалы. Не самоуверенность политиков с провалившимися программами, не любование своим идеализмом перед целым светом, не прикрытые пафосом патриотизма чаяния «вернуть свое», а великое послушание России, великое за нее стояние!»

«Где духовные вожди, наши?! Сколько их было у «отцов», и куда привели они!.. Почему не руководили лучшие? почему осмеивались достойнейшие? Надо «разрыть могилы», надо воздвигнуть лучших, услышать непонятый их голос. Есть они! Они же Россию создавали, указывали пути светлые. Тихие их лампады манили ее из тьмы. «Огни мира» сожгли ее. Как же нам быть?!»

Я отвечал вопрошателям. Я чувствовал, что они мучаются всем этим, что они ждут совета. Меня смущало, что я не имею опыта в решении государственных и исторической важности вопросов, да еще при таком разгроме, при таком-то провале идей и идеалов! – что я не мыслитель, не политик, не проповедник и не судья тяжких и роковых ошибок поколений. И все же я отвечал посильно. Я понимал, что новое поколение жаждет нового наполнения и новых идеалов, что без идеалов оно существовать не может: оно же русское поколение! Мне было ясно, что мои вопрошатели отвергли специалистов политики и «проклятых вопросов», что эти специалисты для вопрошателей – банкроты, что иные из них, как бы и виновники разгрома. Я должен был отвечать хотя бы для того даже, чтобы утишить огонь сжигающий. Я чувствовал иногда по письмам, что святой огонь, которым горели души лучших людей и поколений, еще горит в опаленных и оскорбленных, лишенных родины; что не «прометеев» это огонь, а чистый огонь России, огонь жертвы, любви и веры, – огонь от ее лампад. И не «проклятые» вопросы ставятся, а воистину это крик страдания. Я начинал постигать, что теперь, над всеми «проклятыми» вопросами былого, поднялся – святой вопрос, что этот святой вопрос – о бытии России. И, преодолевая сомнения, отвечал, прислушиваясь к душе России – к душе вопрошателей моих.

Чтобы не повторяться, я счел полезным выступить как бы с общим ответом вопрошателям. Я не считаю эти мои ответы-письма исчерпывающими. Это как бы мои беседы.

Я имею перед собой не искушенных в «государственных опытах» знатоков, а искренно мучающегося собеседника-друга, большей частью из поколения, выросшего в войне и разгроме, отдавшего себя в жертву за Россию, близкого мне по духу, – из того несчастного поколения, которое не видало улыбки и ласки родины, которое «у чужой притолоки слонится», воздухом чужим дышит, но которое страстно хочет увидеть лелеемую в мечтах Россию, хочет найти ее и крепко ее беречь.

Вот для этих, сердечно близких, и пишу я, посильно хочу ответить моему многоликому, но единому в духе вопрошателю.

I

Ваше письмо, полное горечи и боли, какое-то исступленное местами, – особенно там, где вы проклинаете «виновников», – взволновало меня искренностью, исканиями и кипеньем души вашей. И чрезвычайно обрадовало. Не страстность, не пыл раздражения обрадовали, – далеко не все справедливо в обвинениях ваших, – а ваш духовный запас обрадовал, ваше «не поддаюсь!» – ваше страстное чуяние России и жажда ее познать (пусть пока через изучение написанного о ней) – вера в нее – после всего! – вот что меня обрадовало. Этого-то как раз и не хватало огромной части нашей интеллигенции, в России жившей и так мало знавшей ее. Я поражаюсь, сколько в вас пламенной тяги к ней, любовного к ней горения, словно вы в ней одной соединили все чарования невесты, матери и сестры, все восторги, не отданные вами любимой, которую вы не знаете... которую только ждете, которая должна быть, должна быть суждена вам! Вы ее любите страстно-больной любовью, какой матери любят незадачливого ребенка.

Много больного в ваших словах о ней. Много трепета и огня, священного, чистого огня. Вы еще не любили в жизни. Ваши любви не нашли себе выхода, наливались и увядали, сожженные. Именно – чистого огня, несмотря на всю грязь и кровь, на все ужасы, через которые вы прошли, борясь неустанно и непрестанно, не поддаваясь, веря. И сохраниться таким, каким я чувствую вас в письме, «девственником», – как рыцарь, который «имел одно видение, непостижимое уму», – сохранить себя при таких условиях, беспричальной, бродяжной жизни, в работе под землей, в глуши, без единственной близкой, живой опоры, при убивающем дух сознании, что кругом, по всей Европе и по всему миру, никому, кроме раскиданных соотечественников, нет никакого дела до нашего! Все против нас. В нашей даже среде –

сколько есть против нашего, сколько разъединителей и гасителей воли и веры нашей! А вот, не угасает воля, не умирает вера. Вы живы и под землей, в черной и душной шахте, и, как рыцарь былых эпох, верным остались Той, прекраснейшей из прекрасных, которая ни одной улыбки не подарила вам, которая не ваша, за которую вы приняли столько мук.

Понимаю вас, когда вы говорите:

«Если бы не она – мучающий меня так сладко ее призрак, в котором и погубленная моя невеста, и бедная моя мать, и мои пропавшие без вести сестры... если бы не последняя моя вера, что Россия все еще где-то есть – и будет! – давно бы с собой разделался!..»

И еще:

«Во имя ее прошлого, во славу ее будущего – страдаю. Но дайте, дайте живого дела!»

Видите, вот уж и идеалы. А вы с таким отчаянием сказали: «Над всеми «идеалами» – крест!» Не обойдетесь без идеалов. Многое придется отвеять из «идеалов», выправить и ввести новые идеалы, придется и в самой русской интеллигенции отбор сделать и выяснить, чем была передовая, как вы называете иронически, русская интеллигенция, и какою она должна бы быть; но без идеалов, без окрыления и озарения жизни – ни жить, ни творить нельзя.

Об этом мы еще побеседуем. А пока укажу вам на авторитет, называемый и великим, и национальным, называемый так почти всеми, даже несхожими с нами в отношении к нашему, – чтимый теперь, как святыня культуры нашей, – на Пушкина. Приведу чудесную его веру, – она-то и в вас горит:

«Два чувства дивно близки нам –
В них обретает сердце пищу –
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
(На них основано от века
По воле Бога самого
Самостоянье человека, –
Залог величия его
Животворящая святыня!
Земля была без них мертва;
Без них наш тесный мир – пустыня,
Душа – алтарь без божества)».

Правду этой, Пушкинской веры вы должны чувствовать очень остро. Разве вы чувствуете – пустыню? разве ваша душа – без божества? Нет, пока в душе – она, вы можете еще молиться. Вот – правда и вера Пушкина,

заповедь его, национального, нашего Учителя, которого мы еще мало знаем. Читайте и перечитывайте его. Он весь – национальный. И, весь национальный, полный национального, он и занациональный, он – всякий, как Достоевский открыл его. В нем как бы знамение будущей России, ее возможностей! И вот, это его вещание – главнейшее из основ бытия всякого народа. Это – религиозное. Это – религия, духовная связь с родиной. Это – национальный идеал. Это глас Божий в нас. И это он в вас, с самого вашего рождения, с первой каплей молока матери, с первым звуком родного слова, во всех чувствованиях ваших, во всех грезах. Это весь опыт прошлого, корни прошлого, отсветы солнца прошлого, освещающие нам путь, с истоков родины нашей, с первых, детских ее шагов – до торжественно-властной поступи в истории народов! Это голоса славных гробниц наших, заветов и заклинаний тех, что пали за дело родины. Эти голоса наполняют духовное наше существо. В этих беззвучных отзвуках слышны и шепоты надежды, и укоры, и мерцанья-грезы из снов далеких, и мудрые веленья... Это – история. Это песнь, вещая песнь России, вещий голос чудесных ее Певцов, их «глас пророков». Это – мерцающие лампады у гробниц, опаляющие огни великих испытаний.

Великое богатство предков, их опыта, – навеки связало вас, и ведет, если вы подлинно кровный, ихний. Вы – кровный. Вы чутко слышите зов заветов, вещания голосов подземных. Они, эти голоса, слышимые через Великих, чуемые инстинктом, шумят непрестанно в вас, стучат в вашем сердце кровью, ведут на страшные испытания, поддерживают ваш дух надеждой, шепотом в вас влюбленной, рвущейся к вам России. Почему – тоска? Да потому, что она, единственная, к вам рвется, болью своею знает, что вы отдали за нее... потому, что она вам дороже всех миров. Вы связаны с ней навеки, и она с вами связана. Связь неразрывна и по смерти!

«И хоть бесчувственному телу
Равно повсюду истлевать,
Но ближе к милому пределу
Мне все б хотелось почивать!»

Здесь – тайна родины, родины; – тайна тайн. С вами Она, всегда. Беззвучный шепот и зов ее – на вашем бездорожьи, под тяжкою землею, в шахтах. Этот – родины зов беззвучный – и в вашем письме ко мне, и в трепете вашем страстном, и в проклятьях ваших, и в молитве... в единственной молитве – за Россию!

Ваша неправда мне человечески понятна. Проклинаете, угрожаете, судить хотите?.. Оставьте маленькое, не опа-

ляйте духа. Для творческого дела храните святой огонь. З л о е коварно прельщает вас – растратить себя впустую. Соберите себя, готовьтесь к выдержанной борьбе. Духовно вооружайтесь: п р и д е т время.

Я понимаю, к а к кровоточит рана...

С первого курса университета – в войне, три года боевой жизни, раны, опять на фронте, борьба за Москву, два героических года б е л о й борьбы, раны, эвакуация, Галлиполи... Вы в с е прошли. И с т о л ь к о потеряли!.. Лично потеряли.

Потеряли невесту. «Забыла...» – пишете. Отца вашего, скромного педагога, расстреляли. Вашего брата забрали в красную армию, – он застрелился. Мать выгнали с последнего клочка, и она умерла с голода, от горя. Сестры не дают о себе вестей... Да, вы мученик. И ваши проклятия «отцам», не всегда справедливые, оправдываются тем «адом», который в вашей душе, в котором вы прожили лучшие годы ваши. Вам 32, семь лет вы в боях, дважды пробита грудь. Теперь – п о д землею, бьете киркою в черную стену шахты, как раб, работаете на бывших врагов, близких по прошлому, за чью свободу ваш дед проливал кровь под Плевной! Вы часто бьетесь, – пишете вы в письме, – «этой незадачливой головой в душную стену, черную, как вся моя жизнь!» И вот, после всего т а к о г о, вы сохранили любовь к Е д и н с т в е н н о й, сохранили чудесное – вашу веру!..

Вы чудесный идеалист. Всей своей героической жизнью – эти тринадцать лет – б о л ь ш е, чем жизнь! – вы доказали, что «идеалы» не пустое слово, что они двигатели, что с ними нельзя покончить. Идеалы вели и «передовую» русскую интеллигенцию, и с ними она не могла покончить и, думается, никогда и не покончит. Другой вопрос, насколько все эти идеалы были необходимы, ценны, – насколько связывались они с главным Идеалом. Не было ли пустой работы и, что ужаснее, работы во вред и гибель – Ему? А без идеалов... как же?..

Вы во многом правы, когда так страстно вините «отцов», «вождей». Но зачем – огульно? Не в с я интеллигенция русская была такою. Были и верные направления, законнейшие течения р у с с к о й мысли, здравые государственно-национально; но, роковыми путями, не вобрали они в себя г л а в н ы е силы русского общества и растратили свой огонь впустую. Нет, не впустую, впрочем: от них-то и светится в вас о г о н ь; от них-то и разгорится пламя! О н и н е с о з р е л и к с р о к у...

Вы обвиняете «вожаков-отцов» в легкомысленном отношении к России, в непонимании – ч т ó е с т ь р о д и н а, в беспочвенности, в отсутствии патриотизма, в рабском подчинении «европе», в стыде за отсталость нашу, за нашу ис-

торию, за угнетения втянутых в нас племен, за корыстный захват пространства, с которым мы не в силах будто бы совладать, за легкомысленные мечты о «мире», за фальшивое «христолюбие» и «богоношение», за «мессионство»... Вы обвиняете их в стыде за *такую*, «отсталую», «Великую Россию». Вы обвиняете их, что они *отказались от наследства*, от колыбели, качавшей их. Вы обвиняете их в самолюбовании и гордыне: «на целый мир замахнулись», – это вы так о левой интеллигенции, – «о вненационально-мировом *обществе* возмечтали, а *что* дали, *что* из России сделали!» Вы обвиняете их в корыстном захвате власти, во властолюбии, в безверии, в рабстве мысли, в поклонении «фетишам», в непонимании национальных ценностей, в погоне за призраками, за решением «астрономических» вопросов, вместо того, чтобы постигать смысл и ценность родного «чернохлебья». Вы обвиняете их в трусливости, что не вышли с вами на Сатану, что оказались терпимыми к Сатане, признав кое-что своим из его программы, поверив в *добрую* его волю, досадуя на его «ошибки». Вы обвиняете их в ненависти к ошибкам былой власти, которые они называли «преступлениями». Именуете их слепцами, неспособными видеть великого роста родины, которую они проглядели *всю*, не желая видеть великих достижений, пугавших и изумлявших мир.

«Предать – *такую*!!»

Вы во многом правы, частично правы. Не *вся* наша интеллигенция такова: неоднородна она, разноголоса в главном, без скрепы «великим стержнем». Она и теперь разноголоса, она и теперь без «стержня», и потому – бессильна. И вы, новое поколение, чудом каким-то проявившее крепость воли, имеете право обвинять ее в дряблости. Вы, проявивший *чуткость* к беззвучному голосу России, имеете право обвинять их в слепоте и глухоте, в нечуянии «почвы». Вы имеете оправдание: вы показали жертвенность, превыше программ и разнобоя поставили вы Россию, кровью купили право судить, ибо и вашу кровь, и кровь миллионов братьев, неповинных ни в чем решительно, – «пустили» – как говорите – «на подливку к чертовой каше, которую приготовили из России отцы-вожди, – для кого?!» Не с «народа» же спрашивать! И мне понятно, что после таких-то нечеловеческих страданий, «как каторжник в рудниках, работая из-за горсти бобов, стискиваешь бессильно зубы и бьешься незадачливой головой в душные угольные стены!»

«Пусть же раздумаются «отцы» над этим!»

Они раздумываются. Лучшие из них уже давно раздумываются, и... – с вами. Оплакивают, и так же бессильно бьются незадачливой головой об душные стены... мира. Они

сознают ошибки. Непримиримы к неисправимым будьте.

Вы сильны, и терпеливо выслушаете меня. Я обвинять не буду только для того, чтобы обвинять. Я буду и оправдывать «отцов».

У многих из них сердце облито кровью: их дети – мученики. Вы и сами обмолвились: «да что проку в моем непрощении и суде! Основоположников-то разгрома, пожалуй, и нет давно. И безлики они, как была безлика для них Россия. Останется для суда – камень, разбивший чудесный Лик, осквернивший святое в Ней. А тело... сверлят и пожирают черви. Червей не станешь судить: их растоптать, только!»

Не только «отцы-вожди», – эта законная делегация народа, интеллигенция: придется поговорить и о правителях.

Пишу вам не для того, чтобы искать виновников: надо познать ошибки и преступления, чтобы не повторять их.

Вы избрали, по-моему, верную дорогу: познать причины, основные причины «краха» и подвести фундамент под будущее строение. Вы начали с познавания России. Необходимо знать историю России; познать, что не простая это история, а как бы священная история, совершенно особенная, чем история других европейских народов, – вторая священная история, как была когда-то первая; – история со своей Голгофой! Об этом мы побеседуем особо.

Вы перечитали Ключевского, «Россию и Европу» Данилевского, славянофилов, Герцена, Константина Леонтьева; – «открытие!» – говорите, – «все у Достоевского, что написано им о «русском»...» Все это очень нужно. Большинство русской интеллигенции интересовалось больше историей европейских идей и особенно – революций. В мое время историей русских идей и идеалов интересовались одиночки. Большинство же так называемой «революционной», или, как вы иронически называете, – «передовой» интеллигенции – увлекалось по русской истории критикой, стыдилось «взлетов двуглавого русского орла» – «хищного» орла! – к «шелеста знамен русских». Для этой интеллигенции в истории России приятнейшими страницами были разве «вольные Новгород и Псков»; «Боярская Дума»; споры ученых, – была ли «конституция» при избрании на царство Михаила Романова; бунты Стеньки и Пугачева, «проявления масс»; – и темнейшими пятнами являлись эпохи Николаев и Александров, – расцвет России. С увлечением остротцой, прочитывались книжонки, сработанные для пропаганды, – о «тайнах Российского Двора», о разврате Петра, о юбках Елизаветы, о любовниках и фаворитках, об интимностях переписок, о подробностях умерщвления царей, о

«расхищениях народного достояния Самодержцами», об угнетении «народа», о подавлении самодеятельности и независимости племен, «стоящих на высшей, чем мы, культуре», о поражениях России... – хулу и пошлость, мелочи исторического сора. Можно сказать, пожалуй, что большинство нашей – партийной и политической – интеллигенции, считавшей себя передовою, было недовольно русской историей и не сказало бы так чудесно, как сказал когда-то в письме к Чаадаеву мудрый и благородный Пушкин:

«...клянусь вам честью, что ни за что на свете я не хотел бы ни переменить отечества, ни иметь другой истории, как историю наших предков, такую, какой нам Бог ее послал».

Вы читали Герцена... Да, он очень подчас стыдился... и даже извинялся, что он – русский! И очень неприятно извинялся. Мы наклонны к самооплевыванию. Было и раболепство перед «европейским», и зависть к европейской истории, к революциям и крестьянским войнам, к ее эффективности. Наша история... – какая «простота», какая «будничность»! Теперь мы имеем – эффективнейшую, наикровавейшую из всех историй...

Вы ознакомились и с идеологией русского образованного слоя. Досадно: в освещении пристрастном. Покаявшимся «отцам» следовало бы самим осветить «путаные дорожки», написать теперь «критику русской общественности», при свете полученного «эффекта». Вы делаете вывод: «какое рабство перед «европой»!» Да, плохо. Плохо, что без критики поклонялись, пересаживали, не приготовив почвы, в священном восторге пересаживали, упуская из вида первейший из идеалов – идеал Родины, знание своей почвы, неразрывную связь с прошлым, с «гробами предков», – родину подменив отвлеченным понятием «народ».

Вас возмущает и «болтовня философов», ложных философов. И меня возмущает иногда, как же не возмущаться вам?! Вы – участник дела, жертва, истекали кровью, борясь со Злом, видя его воочию... – а они – «блаженно-самовлюбленно плавают и полощутся в легком теченьи мыслей... упражняются в диалектике, словно играют в теннис!» Они «играют в мысли». Не обращайте внимания, пусть играют. Слушайтесь вашей совести, не спорьте с ними, не возражайте им. Это, своего рода, – спорт. Не возмущайтесь «куриною слепотою» их, ничего не осмысливших, не знавших боя, рассматривающих Зло, как философскую категорию, и горячо порицающих, «с точки зрения христианской», сопротивление Злу мечом.

«Как они смеют, – пишете вы, – осуждать меч на Сатану, меч – Крест, когда они ни меча не держали, ни ран от него не получали, ни Сатаны не видали и даже верят в него, как в «философскую категорию» а Крест для них только условный символ?!»

Какое до них вам дело? Пусть себе осуждают, пишут. Скользите мимо играющих.

Величайшей ошибкой было, что наша интеллигенция, за редкими исключениями, не дерзала критиковать все то, что прельщало ее «идеей», казалось новым: – жила импульсами. Она прислушивалась к «философам», принимая «процесс» за истину, и крики часа сего – за вечное. Вдохновенно-страстно бежала она по крику и горячо возмущалась, что правители не внимают «мудрецам».

История европейских «идей» обильна примерами того, как возвещанное «мудрецами» раскалывало передовые массы любой страны. Для нас в этом было роковое. Наша интеллигенция получила в короткий срок множество всяких «идей» и «категорий», и, скороспелки, запутались мы и расщепились. Мы расщепились глубже и пагубнее, ибо мы, скороспелки, ходом нашей истории обречены были догонять. На нас, не имевших крепкой, национальной, почвы, многоплеменных, поставленных судьбою между Западом и Востоком, обильно высыпались «идеи». И эти «идеи» раскололи, расплющили зарождавшуюся единую основу, – помешали образованию крепкого, национального, русского ядра. Вот тут-то, в несложении крепкого национального ядра, в расщеплении сил лучшей части народа, в центробежности этих сил, – и лежит главная причина свалившегося на нас разгрома. Тысячи «проклятых» вопросов раздирали русское образованное общество. Множество сил ушло на «прямые ответы», на разрешение этих вопросов, часто далеких нам, когда требовалось железной жизнью, сущими интересами России ставить единый, святой вопрос – укрепление бытия России.

Вы пишете:

«Предали нас, своих детей... уводя от России в мир, водя по миру, чтобы в конце концов пустить и Россию, и всех нас – по миру! Любя всех, в сущности не любили никого. Не познали России и не научили и нас познавать ее. Мы узнали ее сами, да! Мы встали за нее по инстинкту, сохранившемуся в нас от веков связанности с нею через предков, через их кровь-труды, через что-то в ее истории, от ее воздуха, от ее природы, от ее хлеба, – по инстинкту, в нас крикнувшему – спасай! – как часто бывает в жизни, когда угрожает любимому смертный час, когда любимый где-то, далеко где-то, – и вот, защемит и захолонет на сердце. Они, ведущая век интеллигенция, любили призрак, а не живое тело, не живую душу России».

Да, вы за нее встали – по инстинкту. Вы почувствовали Россию. Вы не познали ее реально, любовнейшим изучением ее, непосредственным проникание в нее, – у вас не было

времени на это, – но вы восприняли ее через душу постигших ее творцов, великих национальных, наших, – Державина, Ломоносова, Петра, Крылова, Пушкина, Гоголя, Тургенева, Лескова, Тютчева, Мельникова-Печерского, Менделеева, Достоевского, Толстого... и многих-многих, – через истинно полноправных представителей России, слушавших трепет души ее. Вы постигли ее через великих собирателей ее – от Александра Невского до Петра, Екатерины, Александров, – через сподвижников их, через подлинное национальное, а не «европейское», – и вы полюбили Россию детскою чуткостью, взяли ее – инстинктом. И за нее боролись. Вы полюбили не «народ», как почему-то была влюблена наша «передовая» интеллигенция, а всю ее, не делимую на сословия и классы, вне всего преходящего, связанную со всем и всеми, что в ней, и на ней, и с ней, что было у ней, что есть, что будет. Полюбили так, как любили ее Великие... как любили ее и цари... да, цари... как любит, не сознавая того совсем, и весь народ русский... и, запоздало, – многие теперь русские интеллигенты, даже с «программами». Вы, герои, полюбили ее и отдали за нее все, – за светлую, грезящуюся вам Россию, за Белую Россию, – не за могильный саван ее, а за белые пелены Рождения! По вере вашей, по мукам вашим – родится она, должна родиться! И больно, что есть люди, русские люди, которые все еще не хотят прозреть, все еще не хотят понять, что ваша борьба за Нее есть жертва за прошлые ошибки и преступления, великая жертва необходимости, страшная историческая правда, а не ошибка, или чуть ли не преступление!

Русская интеллигенция, роковым образом, не смогла создать крепкого национального ядра, к которому бы тянулось самое сильное, самое яркое по талантам изо всего русского, живого. Не было национально воспитанной, сильной, русской интеллигенции. Был великий разнобой сил, и равнодействующая сил этих пошла не по России, а вне, – в «пространство». Русская интеллигенция переоценила это «пространство», сочтя его своим. Пространство не отозвалось. Оно показало себя – своим, не нашим, даже враждебным нам, оно показало в себе много совсем чужих, национальных ядер, которые охраняли свое, которые не пожелали принять безродное; – и, откинутая в пространство, Россия пошла куда-то... – и попала туда, где принимают безыменных, – в цепкие лапы Интернационала, – безродного, безгосударственного, безбожного, алчного и завистливого, умерщвляющего живое. Попала, несмотря на героическую, – увы! – запоздалую борьбу вашу. «Народ» безмолвствовал. Ибо пра-

вит жизнью не «почва», а «сеятели». Вина не в одном моменте, как и спасение: не через момент. Вина давно назревала. И освобождение – путь величайших напряжений.

Надо к нему готовиться. Лучшей части народа, его интеллигенции, надо понять свое национальное назначение, понять Россию, ее пути, – каждый народ имеет свои пути, – и, понявши, идти покорно, покорно целям, указанным Судьбою – Смыслом истории – Богом. Идти и вести. Сознать ошибки, пороки и заблуждения и преклониться перед Россией, перед ее путями. Она пойдет. Силы ее велики, и надо уметь с ними обращаться.

Август 1927 г.
Ланды

«ПОХОТЬ» СОВЕСТИ

Стыдно уже взывать, обращаться «к миру», повторять, – в какой уже раз! – «избитые слова» – воистину, избитые! – о том, как, мол, не стыдно людям, – и не дикарям как будто, – отмалчиваться, когда перед их глазами вот уже лет десять... и так далее, – конечно, о России... Но наша больная правда не может примириться и продолжает кричать: очнитесь!

Все слова сказаны, мир знает. Знают, какая была Россия и какой стала. Знают, как и кого спасала, что дала миру; знают, что над ней делают вот уже десять лет, и как делают. День изо дня почитывают, как убивают там, пачками, без суда. Знают, что огромный, полуторастамиллионный народ попал в положение скота на бойне, хуже... Знают, молчат – и только.

Мы уже претерпелись к такому бесстыдному равнодушию – и сами как будто отупели. Весь мир охватила какая-то... вялость сердца? Кажется: сделай теперь с Россией, ну что угодно... взорви ее всю и истреби поголовно всех ее жителей, до грудных младенцев, – мир отметит только – «стихийное явление» и двинется на очистившееся место – раскапывать.

Да что же случилось – с совестью?

Говорят: война притупила нервы... вот, отдохнут, тогда!.. Но прошло уже девять лет, – пора бы уж, кажется, очнуться.

Для облегчения совести, – так сказать, частной совести, – для введения ее в русло, чтобы не расплескивалась напрасно, созданы «лиги» – и между прочим – «лига защиты прав человека и гражданина», с тысячами отделов. Можете быть спокойны: за вас скажут, и авторитетно скажут!

И что же эти... конденсаторы совести?! Они – восемь лет... молчали! Я помню – они заступились раз за одного провинциального учителя, уволенного за что-то с места... за женщин, в... Китае, кажется... Но за миллионы казненных

бессудно русских граждан, человеков... – заступки не было. Вот, за убийство Войкова в Москве расстреляно без суда двадцать «заложников» и расстрельщики объявили об этом миру. По всей России прошла и еще проходит – и уже десять лет не кончается – обычная «мера устрашения». А – мир?.. А – конденсаторы совести?! Отписались. Ни митингов, ни «остановок движения», ни процессий-манифестаций, ни мощного голоса «Великих»!

Можете продолжать!

Вот, уже больше месяца, в некоторых европейских газетах все-таки напечатали обращение группы русских писателей оттуда, – «к писателям мира», подлинный крик отчаяния, истинный голос из могилы: «Вы, чуткие, отзовитесь!» Спят «чуткие». О том, что они проснутся, не слышно что-то. Запомни это, бедный русский писатель, замордованный русский человек... запомни! Это называется – «европейская культура»! Но слышны все-таки голоса – мудрых: «А если через наше вмешательство еще худшие репрессии применят к этим беднягам?!» И – так мне писали из одной европейской страны, страны культурнейшей, – «собрание журналистов и литераторов раскололось и не пришло ни к чему! Может быть еще соберутся, потолкуют...» Из другой европейской страны – кажется, еще более культурной, – мне пишут: «Наши «демократические» газеты, – пишет иностранец, – пожали плечами, только. Не хотят беспокоиться. Европа поправилась, она опять сыта, не хочет расстраивать себе нервы. «Солнца мертвых» не видно слишком живым, живучим. Разве только ударит гром над собственной нашей головой – тогда услышат. Наш писатель... дал одному своему роману заглавие – «Вялость Сердца». Вот что!»

Да, вот что: «вялость сердца». Болезнь человеческого сердца?

Приходит иногда в голову: а не от того ли отчасти это, что... русская совесть перестала тревожить мир? Живая была совесть. Мудрец из Ясной Поляны тревожил мир. Ушел. Угас великий очаг человеческого духа-света; из мира ушла Россия! Бывало, она будила. Правда, будили и другие.

Вспомним недавнее, когда совесть была – живая. Письмо Золя: «Я обвиняю...» Золя обвинял. Толстой, по другому поводу, кричал на весь мир – «Не могу молчать!» Эти знали, для чего их авторитет... Совесть сияла в них, и они освещали спящих. Теперь говорят «лиги», действуют на демократических началах, – говорят от имени «масс», действуют механически, безлично, безыменно, – и считаются с ними куда меньше, чем с отпиской из канцелярии.

Вспомните «дело Дрейфуса». Тысячи-тысячи статей, памфлетов, тысячи книг, сотни тысяч петиций и протестов,

миллионы подписей, тысячи собраний по всему миру. Все сколько-нибудь влиятельные писатели, ученые, политики, депутаты, академики, корпорации, общества, члены парламентов, партии, социалисты всех стран, священники, философы, телеграммы, каблограммы... – радио тогда не было. А в России что было, помните? Волновались университеты, ученые общества, академики, профессура, адвокатура, магистратура, гимназисты... народные учителя, педагогические курсы, педагоги, земства, биржевые общества, городские думы, комитеты... Даже школьники городских училищ, союзы поваров и ресторанные лакеи – и все посылали телеграммы. Какие были речи, статьи... Какие поражающие итоги этой борьбы за правду, за доброе имя одного, и с ним – за честь целого народа, его народа! Тогда «мировая совесть» одержала блестящую победу...

Теперь – что видим?!

Не волнует судьба великого народа, когда-то столь отзывчивого на человеческую неправду. Судьба – могила стапятидесятимиллионного народа – не волнует! Вот награда за трепетную совесть. Не смущает «мировую совесть» десятилетие наглых издевательств над целою страною, десятилетие убоя миллионов; не пробуждают спящих замогильные голоса и стоны; не возмущают надругательства над целым светом, над человеческой совестью...

Запомни это, отринутый русский человек, замордованная Россия! Это – современная европейская культура, демократическая культура!

Вот, например, дело двух итальянцев-анархистов, Сакко и Ванцетти, обвиненных в убийстве и ограблении. Проснулась совесть!..

Да что же такое с совестью?..

Ее можно как будто встряхивать, и она начинает шевелиться?... Начинает кричать неистово, начинает безумствовать... Бурные перебои в ней. Словно... жгучая похоть охватывает совесть!..

Встряхнули, как-то встряхнули совесть, – и совесть закричала в гаме. Газеты всего мира вот уже две недели держат нас в курсе, до мелочей, до подсчета дней голодовки осужденных, – го-ды умирания с голоду в России – подсчета не дождались! – до минут, часа, когда приехал палач, до восклицаний радости, что палач неизвестно куда исчез, до сумрачного утра, когда вышел судья из дома, когда защитники принесли – в какой уже раз! – протест, когда... и так далее. Во все концы мира разносит радио, по миллионам квартир, последние вести о... Сакко и Ванцетти. Сыплются петиции, протесты, телеграммы, письма, угрозы, статьи, запросы... десятки бомб разрываются там и сям и калечат и

убивают ни в чем неповинных... Бешенство совести... Проснулась, наконец, совесть – и как проснулась! Расталкивают королей и папу, президентов, диктаторов, писателей, академии, ученых, синдикаты, конференции, партии, даже сестер и теток покойных президентов, знаменитого Линдберга, мать, потерявшую героя-сына, – все сгодится! Являются смехотворные «добровольцы» – сесть на электрический стул за осужденных, останавливаются заводы, шахты, прерывается движение поездов и пароходов... световые сигналы режут ночное небо, секут небо... – проснулась совесть! Многотысячные митинги шумят на улицах, идут на приступ. Десятки тысяч жандармов и полицейских во всех широтах стараются удержать бушующее море проснувшейся человеческой совести. Пулеметы и артиллерия готовы к делу. А телеграммы летят, а газеты гремят в набат, а бомбы взрывают подземные дороги, а посольства страшатся нападений... – проснулась совесть! Ради ли двоих бедняков только? Нет, конечно. Ради... поруганной правды, говорят все, ибо... проснулась совесть! И своего добилась: одержала временно победу. Слава Богу. Во имя высокой цели можно принести и жертвы – сотню-другую раненых и убитых бомбами. Ведь – проснулась совесть!..

Странно проснулась странная эта совесть. Проснулась – с бомбами.

Но... как же это?.. Проснулась – и не видит, что там все еще продолжается. Не видит, что там не двое итальянцев-анархистов дожидаются казни, которой, Бог даст, не будет, а миллионы за десять почти лет уже дождались бессудной, подвальной казни, и еще миллионы, миллионы же дожидаются бессудных казней... и не видно конца сему, и проснувшаяся так бурно совесть не протестует... короли и диктаторы не посылают дружеских телеграмм, и нет ни петиций, ни делегаций, ни протестов, ни манифестаций, ни митингов, ни забастовок, ни бомб... – не проявляют себя никак носители такой совести! Оттуда взывают к «мировой совести», к «чутким из чутких», к писателям мира, – и... молчание и молчание, как в пустыне.

Да что же с человеческой совестью?! Ведь не двое итальянцев-анархистов, а великий народ, сто пятьдесят миллионов – в кровавом деле и – на кресте! Народ, который в годину войны народов спас – знает это история! – не один народ; который дал же кое-что миру, а не только уголовно прославился; который внес в человечество, может быть, не одну чудесную идею, богатства которого, – его труд – наполняют великие мировые сундуки и все еще продолжают наполнять... – и такое глухое отношение!? Что за странная вялость и странная бурность сердца, – такие перебои?!

Тут все смешалось. Но есть и немножко сердца. И ясно: оно испорчено. Все это – яркая клиническая картина его болезни, его порока. Не долго оно протянет.

Живое отмирает в мире? угасает духовное? умирает культура духа?

Умирает, ясно.

Совесть... Отмирая, как будто вспоминает она былые функции, и вдруг механически – бурно взметнется спазмой. Она уже труп, почти. Через нее пропускают ток, и, гальванизированная, она начинает судорожно биться. Это уже механические движения, и эти порывы – последние спазмы отмирающего высокого человеческого движения – любви? Любви уже нет, любви, дающей новому человеку жизнь: осталась похоть, бесплодная, убивающая похоть.

Август, 1927 г.
Ланды

ВЕЧНЫЙ ЗАВЕТ

Закон ограниченного человеческого духа, человеческого духовного ока, – познавать лишь на расстоянии, во времени. Десятилетие протекло с того исторического дня, когда «горсточка» добровольцев, «брошенная всеми... истомленная длительными боями, непогодою, морозами, по-видимому, исчерпала до конца свои силы и возможность борьбы...» – писал генерал Алексеев, – ушла в степи Кубани, начав Ледяной поход. Теперь, через десять лет, нам открывается глубочайший смысл этого «странного» исторического факта, и в этом «безумии» мы начинаем усматривать потрясающее величие человеческого духа! Дух – не подчинился материи, нетленное не поддалось тлену. В ледяных степях Кубани разыгралась великая мистерия! Разыгралась во имя вечного: вечной борьбы духа и материи, света и тьмы, добра и зла, жизни и смерти.

Неумирающая, незамирающая трагедия человеческого естества. Вот почему этот частный, как бы провинциальный для человеческого мира «случай» должен принять характер извека длящейся трагедии человека на земле. Перед «горсточкой» поставлен был жизнью выбор. Извечный выбор. Выбор – отсвет того далекого Выбора, когда дьявол «показывает Ему все царства мира и славу их, и говорит Ему: все это дам Тебе, если, падши, поклонишься мне». И, маленькие, решили: идти путем Его. И показали зрителям мира, что есть ценности, которые отдавать нельзя, за которые платят жизнью!

Исторически Ледяной поход суживается для нас во времени и смысле, но и в таком масштабе остается величием: вся Россия – во власти Зла, насилия, соблазна; полтораста миллионов населения, неисчислимые военные запасы, все богатство, сама природа – в распоряжении беспощадного врага, перед которым безвольной оказалась даже победоносная Европа... – и вот, «горсточка» сильных духом, большею

частью юных, ведомая достойными вождями, не могла склониться, духовно сдаться, – и ушла в ледяные степи, – в неизвестность! – чтобы продолжать бороться, до последнего вздоха, – за Россию. Не за Россию только. Но последнее разве на расстоянии поймется...

В то страшное смутой время, когда «трезвые» называли этот уход безумием, спасались, куда могли, или отдавались на волю Зла, рассчитывая хоть этим сохранить жизнь себе, уход в ледяные степи не мог еще получить даже исторического смысла, российского ослепляющего смысла, какой получает для нас теперь: лучше умереть, чем отдать родину на позор и тленье! В день 9/22 февраля 1918 года был поставлен великого искушения вопрос: подчиниться ли тьме, приняв от нее возможное спасение и предав душу свою и с ней Россию, или – ледяные степи, неизвестность, борьба и смерть? Новая Россия, родившаяся в тот день, руководимая белыми вождями, выбрала смерть в борьбе.

Мы теперь знаем, какою доблестью озарилось это «безумие», этот подвиг рыцарей без щита и копья, с раскрытой грудью, по которой, кровью написано – честь и верность! В этот день 9/22 февраля русская «горсточка» доблестно показала страстную волю к жертве, к голгофе – за свободу, за право верить и жить свободно, за право России – быть. Из этого похода возгорелось святое пламя – освобождения.

Этот подвиг – а сколько же их было и сколько отдано жизней! – не увенчался конечной победой: красное ярмо еще давит и тлит Россию. Но зажженное пламя, «светоч», – горит, не угасая. Горит и в России, горит и здесь. И будет гореть, пока не сожжет всю тьму.

Вот духовный и исторический смысл, неумирающий смысл великого 9/22 февраля 1918 года, – ухода в ледяные степи. Смысл, родившийся из бессмертного Смысла Голгофской Жертвы, родственный самым чудесным мигам истории человеческого мира, тем мигам, когда на весах истории и жизни взвешивались явления двух порядков: тленного, рабства, безволия, бесчестия... – и, с другой стороны, – нетленного, свободы, воли, чести.

Подвиг, начатый «горсточкой», есть начало Священной Революции, высоко-духовной революции против тьмы. В ней бились и будут биться за ценности иные: за право оставаться человеком! Дата 9 февраля – знаменательная дата подлинно-русского, высокого демократизма! Все, кто чувствует себя русским человеком, человеком, а не скотом, – все с нами, все – в неизвестное, где и смерть, и жизнь, но и смерть и жизнь – только по нашей воле, но и смерть и жизнь – во-имя! Ни классов, ни сословий, ни пола,

ни возраста, ни языка, ни веры... – а все, Россия, – во имя святой свободы, во имя свободы личной, во имя России общей! И пошли «горсточкой», понесли свое, общее, всенародное, святые демократы, равные друг другу во всем, до смерти. И доселе зовут – идите с нами!

Ледяной поход – одна из светлейших, по чистоте духовной, одна из белейших страниц русской истории. Эта сверкающая снежная страница закрыла многие темные. И свет этот, хранимый здесь, на чужбине, в тоске по родине, хранимый и там, в России, в безмолвии и тоске, хранимый лучшими, будет сиять и греть. Из него разгорится пламя, не опаляющее, пламя святого Света.

Ледяной поход все еще продолжается там и здесь: продолжается чистыми. Он – вечен, как вечный Дух, неугасающая сила человека, человека-света. Вечная память павшим. Вечный завет – живым.

22 февраля 1928 г.
Севр

МУЧЕНИЦА ТАТЬЯНА

Онегин, я тогда моложе,
Я лучше, кажется, была,
И я любила вас; и что же?
Что в сердце вашем я нашла,
Какой ответ?

А. Пушкин

Нет, мы не празднуем ныне великой годовщины – 175-летия основания старейшего российского университета – Московского Императорского Университета. Праздновать мы права не имеем, и нет у нас оснований праздновать: нашего университета нет. Мы можем его только поминать; и, поминая, каяться. Обольщать себя нечего: дожили до таких поминок, и будем чистосердечно скромны; будем и справедливы перед великой тенью. Преклоним голову, вспомним Мученицу, какая она была, какие были мы... – и постараемся из утраты нашей – если бы только временной! – извлечь назидательный урок и, если возможно, утешение. В этом и должен быть смысл поминок.

Значение Дома Мученицы Св. Татьяны для российского просвещения известно каждому русскому образованному человеку. Об этом много будет написано, итоги будут подведены сполна. Я хочу сказать о другом, о чем, возможно, никто не скажет. Сам питомец Св. Татьяны, не замечал я, – должен, увы, сознаться, – в те годы, когда носил фуражку с синим околышем, золотых слов фронтона о просвещающем всех Христовом Свете. Из дальней дали вижу я их теперь... и не могу не сказать о Свете, излить который в сердце своих питомцев – в сердце и ум России – предназначено было Первому Университету.

И – о другом еще.

Храм Просвещения... Он был и он много дал. Многое дал и мне, скромному поминальщику его. И что же? После тяжелых испытаний, на чужой стороне, без родины, ныне я вспоминаю с болью, что ни от кого из служивших в Храме ни разу за все четыре года я не услышал внятного слова о просвещении, о русском просвещении... о том Просвещении, истинный смысл которого сиял на словах фронтона. О том просвещении, которое, по слову Достоевского, есть «свет

духовный, озаряющий душу, просвещающий сердце, направляющий ум и указующий ему дорогу жизни». Ни разу в этом родном Храме Просвещения не слыхал я сильных и вдохновенных слов – о родном. Чувствую, как иные возмутятся: а лекции по истории России, а курсы литературы русской, а русская философия, а...! И все-таки, повторяю: многое получил, но не получил главного – русского Просвещения. Конечно, в Доме Мученицы Св. Татьяны, за долгие годы мирного бытия его слышались и речи о России, о нашем славном, о нашем драгоценном, порой будилась и любовь к родному, вскрывались и сокровища родные... Но не было это отлито в систему, не было прохвачено основною нитью, связывающей юные души с родиной, с национальным, с нашим. А в мое время – родного и духу не было. Много сему причин, и теперь не место о сем распространяться.

Дом Мученицы Св. Татьяны, светя золотыми буквами, открывал полную возможность вливать в русские молодые души золотое слово – любви к России, познания России, слово – хранения России, гордости Россией. Я не слыхал его. Меня, в лучшем случае, в Европу уводили, в человечество уводили, и не вели к России. Говорю это с прямотою. В укор ли Мученице? Она неповинна в этом. Она светилась, Татьяна наша. Она томилась, она ждала... И не она повинна, что ныне осквернена, что образ ее нетленный – прообраз России-Мученицы – разбит.

Скажут: дело университета учить науке, а не любви к отечеству. Не так. Дело родного Университета – в самой науке учить родному. Или и это непонятно, и опять станут возражать? Попробую показать примером.

Учить науке можно по-разному. Можно, в науке, быть чуждым жизни, духу и существу народа. Можно и по-другому: науку освещать Светом, отблесками души народа. Русское просвещение вышло особыми путями, через Христово Слово, пошло от Церкви. В основе русского просвещения, с первых шагов его, заложено Слово Божие, и путь нашему просвещению – так уже случилось это – особенный указан. Нравственно глубоки основы – корни русского просвещения. И цвет его был – свет Истины. Это было – в ранней заре его. Просвещались и ум, и сердце. С годами отмирало, и, наконец, отошло совсем.

Вспомните медицину русскую. Вспомните славные заветы Пирогова. Это ли не русские заветы? Найдете такие, где? Русская совесть, божеская совесть сияла в сердце подвижника – русского врача, меньшого брата и ученика Св. Великомученика Пантелеймона. Вспомните присягу русского врача – всегдашней и скорой помощи – и помощи безвоз-

мездной. Вспомните и статьи закона, карающие статьи нашего закона. Русское сердце в просвещении – вот оно, наше просвещение. Воистину, человеческое.

Вспомните право русское – Русскую Правду, милостивую. Особенное право, наше. Вспомните – права женщины, обязанности детей к родителям и родителей к детям; отношение к сирым и убогим. Отношение к преступлению. Отношение к наказанию. Вспомните о церковном покаянии, о преступлении, как грехе. Правоведы полнее скажут. Вспомните, что в основе Закона нашего положено Божье Слово: совестливость и сердце; сознание человеческого несовершенства, греховности. В основе нашего Права и Суда незримо лежит Завет Священный. Вспомните русские присяги – это священное «Обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом перед Святым Его Евангелием и Животворящим Крестом... целую Слова и Крест Спасителя моего. Аминь». Вспомните письма Пирогова. Вспомните Менделеева и его «К познанию России». Вспомните Ключевского и его «добрых людей», и вещее его – «Преподобный Сергий Радонежский». Многие ли внимали страшному – и, увы, пророческому, – его глаголу! Многие ли готовы были понять, что грозит нам страшное впереди, когда иссякнет сокровищница души народа – погаснут лампады у гроба великого Угодника? Не вняли, не озаботились влить елей. Вспомните, что все великие наши учители родного были религиозны – Ломоносов, Гоголь, Пирогов, Менделеев, Хомяков, Аксаков, Самарин, Ключевский, Леонтьев, Достоевский, Лесков, Данилевский, Вл. Соловьев... и – хочу утверждать это – Пушкин. Эта великая основа – Божия – благотворно питала их, крепко крепила силы. Ею они – великие. Религиозны были, церковны были, были от Духа Святости, пребывающего в народе русском. Вот они, воистину просветители России. Вот из какого источника должно бы бессменно течь русское просвещение – в науку. Вот кто бы должен бессменно, физически чередуясь с новыми, пребывать при науке в Храме и учить познаванию России, ее духовности. Тогда бы Она была, и святившая Храм Татьяна не была бы изгнана из него, вовеки.

Мученица, воистину. Вспомним Ее, молитвенно и смиренно, каясь.

Да, не было системы: системы познания России. Русские Университеты не знали первой из всех наук – науки о родном, столь для родного важной: науки о России, науки познания России, обязательнейшей для русского. Только, увы, теперь, когда нет у нас близко родины, видится ясно нам эта священная наука. Разрываем теперь пласты, отгребаем бесплодные наносы, швыряем шлаки с души, – и

радуются глаза сквозь слезы блеснувшему внове золоту... увы, недоступному нам теперь. Мы еще можем, как нищие, бережно подбирать крупинки. И мы подбираем их.

Я не ученый, знаю. Но сердцем и болью знаю, что нет и не было никогда первой у нас науки – науки о России. Ее мы должны создать. Вернее – должны собрать. Она уже есть, в возможностях, – богатая наука. Она – чуть ли не вся она – в нашем Пушкине. Его изучают много. Но немногим дано сердцем познать его. Его и возьмут в науку о России: он для сего и есть. Его изучать будут по-другому – учиться по нем России, с младенчества и до зрелых лет. Он пройдет от начальных школ и до университетов, и новая наука – «О России» – будет священна Пушкиным. Время придет – и создадут Русский Пантеон, и свет Пантеона нашего, озаренный Христовым Светом, разольется в великий Свет – радостного познания России – польется из Храма Мученицы Св. Татьяны. Придет время.

У нас – великое наше счастье, великая гордость наша – есть двое величайших: Пушкин – Достоевский, одно – двое. От них-то, познанных до возможного, пойдет новая, русская, наука – наука о России и человечестве: в данной ими гармонии. Оба вышли из дальних далей, из беспредельного, из общей начальной точки, как бы дочеловеческой, – из Духа Господня, – для откровения России. И принесли откровение. На наших земных глазах, в пространстве трех измерений, идут они, двумя параллельными путями, как будто не сливаясь. Один – ясный, как Божий день, такой определенный. Поэт чистый. Светит светом дня Божьего. Через него все видно, все, что только могут узреть его «вещие зеницы, как у испуганной орлицы». Через него только мы можем обнять весь мир, как ни через кого, можем познать Россию – внять Ей. Познать свое место в мире – высокое! Можем постичь небесное и земное –

И горний ангелов полет,

. . . . ,

И дольней лозы прозябанье.

Такой всеобъемлющий – и ясный. Такой человеческий и русский! Все наше можем познать, и с такой свежей светлостью, как только доступно детям. Помните, от Евангелия – «открыл младенцам»?

Другой – Достоевский, мудрый из величайших, вскрыватель недр – потемок и провалов в человеке до подсознательного. Не только. Он и вещатель взлетов человека, парений его духа, его души. Изобразитель тонкий высоких и низменных движений, ключарь человеческого рая, ада, ведун

общей душевной жизни, всечеловеческой, и – яркого выражения ее – всечеловечности – души русской и русского существа, всего. Страшным даром ему дано внимать

«И гад морских подводный ход» – в душе.

Ему же дано в удел и томление – величайшая «духовная жажда» – сладкий и горький подчас удел духа русского – и власть утолять ее. Он так же мало еще воспринят, как и его дружка Пушкин. Вот два величайших моря-океана, две великих воды, две «живых воды», от которых мы будем сладко и долго пить и, пия, познавать Россию и мир. Бесконечно идут они, будто бы не сливаясь. Они сливаются, невидимые для нас, в беспредельности, замыкая собой как бы великий эллипс, русскую сферу нашу, и с ней – общечеловеческую. В них одних все, что человечеству можно и надо знать, чтобы *быть* в мире неслепым, чтобы достойно жить. Это чудеснейшая, неслышная еще нам гармония – ток этих сильных вод, родственных так друг другу, как никто, никому, нигде. Восполняя один другого, дают они *человека* в завершении, дают полноту возможного человеческого духа и, особенно, русского. И не странно, а так понятно, почему, переживший, Достоевский влекся к другому, к Пушкину. Внял его – и себя восполнил. На пороге своей могилы открыл его и показал нам. И властно сказал – примите! И на единый, короткий час захватил столь бурливое, ищущее предела духовное море русское и сказал – утихни. Расплескалось опять оно, и нет берегов его, и плещется бестолково, смутно. Достоевский открыл нам Пушкина – «явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа», – сказал Гоголь, – «и пророческое», – добавил Достоевский. Открыл – и, через него, пытался дать синтез *человека*, русского человека – деятеля в мире и – России. Это наука нам, завет нам и наставление. Это замогильный голос великого Пророка: Россия, познай себя, – и перестроишь мир! Не услыхала Россия, не поняла, не вняла. Не вняла ни гармонии Пушкина, светлой, простой и ясной; ни обещанному ПОЛЕТУ после ВНЯТИЯ Пушкина, – Достоевского! И теперь – что же с ней!

Вот основы русского просвещения, первой науки нашей, те крепкие оковы, которые мы или потомки наши должны положить в постройку – в будущее строение России. «Познай себя» – таинственные Слова на Храме. Познай себя, через Свет Христов, при свете величайших, единокровных с тобою гениев. Познай, – и не будет того, чему ныне соученики.

Поминки по Мученице Татьяне должны многому научить и нас, готовых принять урок, и тех, кто все еще не считает себя виноватыми. А не научимся этому уроку – так и не

внидем в Храм, так и останемся вековечными «русскими европейцами», «интернационалистами», «мировой обшмыгой».

С горестной высоты блуждания видится мне невиденное раньше. Татьяна..? Обе во мне объединяются: Мученица, память которой ныне, и другая Татьяна, Таня, пушкинская Таня, образ утраченной России... «Мировые обшмыги», «русские европейцы», мы не сумели понять, познать... утратили – и теперь рвемся к Ней, горько томимся и страдаем. Тщимся теперь по забытым чертам воссоздать убегающий милый образ... Теперь мы чутки. Теперь мы, в томлении, ловим

.......тайные преданья
Сердечной, темной старины,
Ни с чем не связанные сны,
Угрозы, толки, предсказанья...

Теперь по-иному вчитываемся:

Тогда – не правда ли? – в пустыне,
Вдали от суетной молвы,
Я вам не нравилась... Что ж ныне
Меня преследуете вы?
Зачем у вас я на примете?..

Теперь и особый смысл чудится нам в словах:

Прости ж и ты, мой спутник странный,
И ты, мой верный идеал...

Мы теперь вполне постигаем этого «спутника странного» и несколько запоздало готовы расстаться с ним, и звенит в ухе горькое – «международный обшмыга». Теперь мы видим его, этот сокровенный идеал Пушкина, – а сколько его разгадывали и теперь, кажется, все разгадывают! – всегда, всегда идеал его, – видим через боль, через утрату, через страшный «магический кристалл» терзаний... Видим Россию нашу и в ней – Татьяну нашу...

Кто даст нам откровенье, утешенье? Узрим ли, найдем ли? Оно – в Пушкине. Не можем не найти.

В надежде славы и добра,
Гляжу вперед я без боязни...

Найдем. К т о - т о обретет Татьяну. Не те, чудища сна ее, кошмара, «как на больших похоронах», не те – «в рогах, с собачьей мордой», на «череп на гусиной шее, в красном

колпаке», – к которым затащил медведь Татьяну, – медведь!? – затащил туда, где –

Мельница вприсядку пляшет, –

где –

Лай, хохот, пенье, свист и хлоп.

Этот кошмар пройдет, и вновь обретет Татьяну мужественный, русский человек, кто примет ее, как редкий из редких даров, дар за муки, за доблесть, за жертвы, за раны свои, за пылкую и глубокую к ней любовь. Обретет и сохранит навеки. Ибо подлинно будет ценить ее, бесценную, и детей научит хранить ее – великой науке познания своей Матери – России.

Январь, 1930 г.
Севр

ДУША МОСКВЫ

(Памятка)

Нет, не только «темное царство», как с легкого слова критика повелось у нас называть русского купца XIX века – излюбленного героя комедии А. Н. Островского в России – в Москве особенно – жило и делало государственное и, вообще, великое жизненное дело воистину именитое купечество – «светлое царство» русское. Не о промышленности и торговле речь: российское купечество оставило добрую память по себе и в духовном строительстве России. Ведь труд и жертва на поприще человеколюбия – помощь сиротам и обездоленным, больным и старым, пасынкам беспризорной жизни, – дело высокой духовной ценности, и его широта и сила показывают ярко, на какой высоте стояло *душевное* российское просвещение. Корни его глубоки: вспомните трогательный обзор Ключевского – «Добрые люди древней Руси». Великое древо жизни росло и крепло. Где оно, это древо, – ныне?..

Почтим, помянем.

Эта заметка-памятка не притязает на полноту. Неисчерпаемо море щедрых даров купечества во имя человека-брата; не перечислить имен достойных, не вспомнить минувших дел, всех, сполна: нельзя охватить Россию. Эта памятка говорит только о Москве. Перечисляю по памяти: нет под рукой справок, и неведомо – где они.

Не только дело «богоугодное» нашло в московском купечестве силу великого размаха: российское просвещение в науках и искусствах также многим ему обязано.

Всему миру известна московская «Галерея Третьяковская», в тихом, кривом и узеньком Толмачевском переулке, в Замоскворечье, – величайшее из собраний картин русских художников, можно сказать – живая история русской живописи. Все великие мира, кто только не заезжал в Москву, все побывали в этом глухом углу, где заборы с на-

битыми гвоздями охраняют купеческие дома с садами, где поют соловьи весной, где по зимам вздымаются сугробы, а в высокое половодье подчаливают лодки. В этой купеческой усадьбе зародилась жемчужина – сокровище русского искусства. Именитые иностранцы по ней о Москве судили, о России, о русском гении. Вложила она немало в добрую славу о России. Великую эту галерею всю жизнь собирали Третьяковы, именитые москвичи-купцы. Бережно собирали и хранили. Собрали, затратив миллионы. И принесли в дар Москве, – дар бесценный. И еще капитал оставили, с усадьбой и завещанием: хранить, продолжать и – доступ бесплатно всем. Рассказывают, что Александр III, думая о музее в Петербурге, сказал, разумея русские картины: «Посмотрим, что-то оставили купцы Третьяковы на нашу долю».

Помню еще собрания Цветкова, С. Щукина. Библиотеку Хлудовых, из редкостей по церковному расколу. Собрания древней русской иконной живописи – К. Т. Солдатенкова, С. П. Рябушинского, Постникова, Хлудова, Карзинкина... Картинную галерею И. А. Морозова, на Пречистенке... – что еще?..

К. Т. Солдатенков, «друг литераторов», – между ними, если не ошибаюсь, Герцена и Белинского, – положил важное начало изданием «тяжелым», недоступным предпринимательству в то время. Без его щедрой жертвы русское образованное общество не скоро бы получило многие капитальные труды европейской ученой мысли: Адама Смита, Рикардо, Дж. Ст. Милля, Дарвина, Бокля, Спенсера... не говоря уже о томах Всемирной Истории. Писавший не совсем грамотно, – приглашал друзей «на обед», – Солдатенков вошел в историю русской грамотности.

Московские клиники известны. Немало они способствовали доброй молве по свету о русской медицине, немало придали блеску науке русской. Члены международного съезда врачей, собравшегося в Москве, были поражены «нежданным чудом» – целым клиническим городком, вольно раскинувшимся в садах на великом Девичьем Поле. Москва – «азиатский город» – открыла европейцам чудеснейшее лицо свое. Клиники эти тоже вложили что-то в добрую славу о России. Созданы они жертвой московского именитого купечества. Создавались по волшебству, «в минуту», по обету. Так бывало:

Знаменитый профессор говорит, довольный: «полагаю, опасность миновала». Обрадованный, отец ли, муж ли, крестится вольным взмахом и, забирая профессорскую руку, говорит быстро, отсекая: «будет-с, как обещал-с... изготовьте, дорогой профессор, сметочку, что надо-с... дело хорошее-с, о-чень рад-с!» И – через неделю: «так-с... триста тысяч-с... до пятисот гоните-с, ширьтесь». И – чек.

Клиники воздвигались, словно по волшебству, в 80 – 90 годах минувшего века и все продолжали разрастаться. Жертвователи соревновали, «из-за чести». Большинство клиник – именные. Насколько помню, – за точность не ручаюсь, справок у меня нет: гинекологическая клиника имени Т. С. Морозова, клиника по нервным болезням В. А. Морозовой, клиника по раковым опухолям, «зыковская», – ее же, детская клиника Мазуриных, по внутренним болезням...

Многие больницы созданы тем же купечеством московским: глазная Алексеевская, бесплатная Бахрушинская, Хлудовская, Сокольническая, Морозовская, Солдатенковская, Солодовниковская.... – все без платы.

Богадельни: Набилковская, Боевская, Поповых, Ка́закова, Алексеевская, Морозовская, Варваринская, Ушаковская, Мещанские – Купеческого Общества, Солодовниковская... – на многие десятки тысяч престарелых. Многие детские приюты, убежища для вдов, сиротские дома... – без счета.

Дома дешевых квартир для неимущих, Бахрушина... Ночлежные дома Крестовниковых и Морозова, на 3 – 4000 бездомных...

Коммерческий Институт, коммерческие училища, Практическая Академия, техническое училище имени Комиссарова, – того самого мещанина Комиссарова, что вышиб из руки Каракозова оружие, направленное на Царя-Освободителя, – Мещанские училища – гиганты, десятки ремесленных училищ и школы рукоделий... – все создано купцами. Их обеспечивавшие капиталы составляли перед войной сумму около десяти миллионов рублей – 130 миллионов франков. Где они?..

Родильные приюты, училище для глухонемых, Рукавишниковский приют для исправления малолетних преступников, с мастерскими и сельскохозяйственной школой в собственном имении, прядильно-ткацкие образцовые школы, школы технического рисования, школы фабричных колористов, литейщиков, художественной ковки, слесарей, монтеров... – на все широко давало купечество. Легко давало. Много дел человеколюбия и просвещения остались безымянными, по Слову: «пусть левая рука твоя не знает, что творит правая». Сотни миллионов разбросал Солодовников по всей России. Часть из них воплотилась в богадельни, приюты, школы, гимназии, народные дома, больницы, в приданое невестам-бедным; большая часть была застигнута революцией. Ныне – пропало все.

Московский Биржевой Комитет и Московское Купеческое Общество стояли у порога огромных начинаний – для народа. Война задержала их. Революция поглотила все.

Скончавшаяся во время войны В. А. Морозова оставила «в помощь жертвам войны» 6 000 000 зол. рублей – 75 000 000 франков. Они пропали.

Ю. И. Базанова – московка-сибирячка, «друг студентов». За невзнос платы за учение тысячи бедняков-студентов могли потерять университет. Они его не потеряли, благодаря Базановой. И если бы их было десятки тысяч, все бы внесли – из щедрого кошеля ее.

В. О. Ключевский сказал когда-то: «Добрые люди есть еще и у Новой Руси, слава Богу... доброе семя живо: стипендиальный наш фонд ушел уже за два миллиона!»

Это было в 90-х еще годах. Теперь?..

И как же легко и просто выкладывались деньги! Вот картинка.

М. Ф. Морозова, строгой жизни, почтенная, богомольная старуха. Ну, какое ей дело до... театров! К ней заезжает внучка, М. Д. Карпова, говорит, что надо для развлечения рабочих, для отвлечения их от пьянства, достроить, наконец, театр при фабриках в Орехово-Зуеве... стройка давно остановилась, выстроили только стены, срам! – «А много ль надо?» – «Да тысяч двести, я думаю». – «А не маловато будет?» – «Ну, прибавьте». Старуха нажимает пуговку у звонка. Является лакей. – «Миша, скажи в контору... выписали бы чек! да из моих личных, чтобы... да ты не спутай: на двести пятьдесят тысяч». Это – три с лишним миллиона франков. И в две минуты. Выписывали и в миллионах п р о с т о.

Мелькают имена – С. И. Мамонтов, Меркушев из Сибири... – всего не вспомнишь. Какие силы и надежды, какие взмахи, души... Где все теперь?! Не хлопотали о народе, не кричали, не суесловили. А делали, без шума, п р о с т о.

Их надо вспомнить. Надо записать все – и помнить.

А тысячи церквей, по всей России! Школы, больницы, богадельни, приюты, университеты, народные дома, театры, библиотеки, музеи – по городам, по городкам, по селам. Видал я сметы городов и земств. В холодных цифрах, в этих «стипендиях и капиталах» – сколько!.. Надо знать. По всей России и не сочтешь. И много, очень много безыменных. Я сказал только о Москве, что вспомнил. Все это создавалось – кем? Русскими, православными людьми, – «вчерашними мужиками» создавалось.

Много я ездил по России, бродил по глухим углам, и узнавал такое... – не поверишь. Ни в Питере, ни в Москве не знали. Знали на местах и не дивились: чему же удивляться, – «добрый человек» – и все. Иначе как же? Помню, в Глазове, Вятской губернии, среди лесов и болот, встретил... дворец-гимназию. «На капиталы Солодовникова». На пустыре, в глуши, во тьме, чудеснейший «дворец света», воистину – свет из тьмы.

И это – «темное царство!» Нет: это свет из сердца.

Март, 1930 г

СОДЕРЖАНИЕ

НОВЫЕ РАССКАЗЫ О РОССИИ

РАССКАЗЫ О РОССИИ ЗАРУБЕЖНОЙ

РОДНОЕ. ПРО НАШУ РОССИЮ. ВОСПОМИНАНИЯ

ПУБЛИЦИСТИКА

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ШМЕЛЕВ

Собрание сочинений

Том 2

ВЪЕЗД В ПАРИЖ

Рассказы Воспоминания Публицистика

Редактор **В. П. Шагалова**
Художественный редактор **Г. Л. Шацкий**
Технический редактор **И. И. Павлова**
Корректор **А. З. Лазуткина**
Компьютерный набор **Г. Н. Злотникова**
Компьютерная верстка **А. М. Токер**

Лицензия на издательскую деятельность ЛР № 010058 от 23 X 1996 г
Подписано в печать 29 05 98. Формат 84x108/32
Бумага офсетная Гарнитура Петербург Печать офсетная
Усл печ л 26,88. Уч-изд л 30,40 С-006 Тираж 5000 экз Зак 320
ЛХ-129

Издательство «Русская книга»
Комитета Российской Федерации по печати
123557, Москва, Б Тишинский пер, 38

Отпечатано в ГУП ИПК «Ульяновский Дом печати»
432601, г Ульяновск, ул Гончарова, 14

«РУССКАЯ КНИГА»